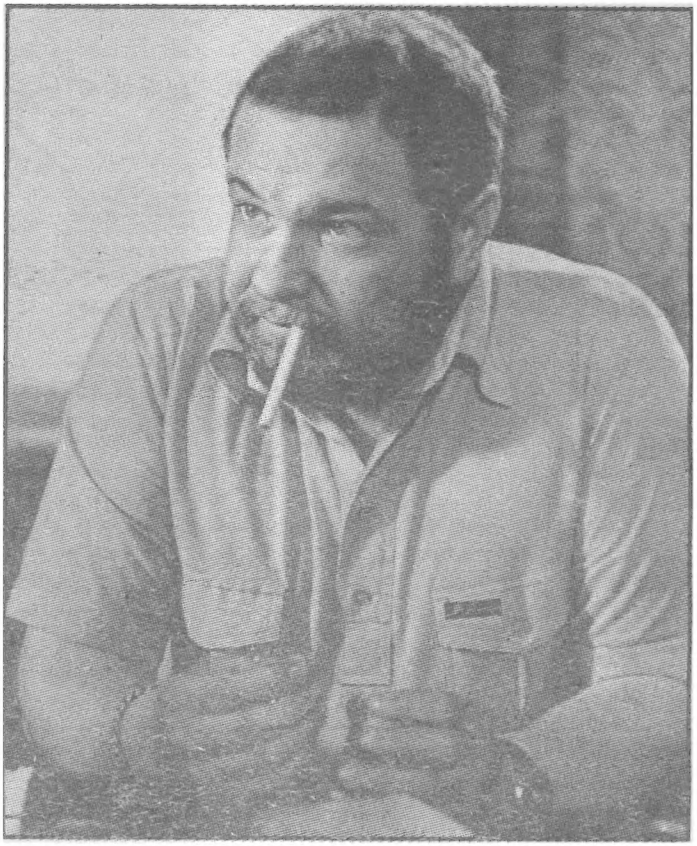
ЮЛИАН
СЕМЕНОВ

wirtschaftsmi
1687/43
dieses Geschäftszeichen und den
weiteren Schreiben anzugeben
Reichsminister für Rüstung
Kriegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- OVIA -
E 1 1
помнят роли, сыгранные ими.
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.
— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскор
после того как здесь выпустил
мою книгу "Дочь адмирала"
отец умер в звании адмира
флота США, — маме отказыва
в выдаче паспорта. Я обратил
за помощью к тому сенатору
которого голосовала, — Бро
После совещания в его
мне ответили: "Если бы
просилась в эмиграцию, сн
вам, для воссоединения
мы бы могли оказать ка
помощь. В ином случае
невская администрация
кажет: "Давать или не
выездной паспорт для
в гости — наше
дело..."
Год жизни - это и мало
Тысячи писем, поступ
7. Выступать против той с е к
ину и его банде создать камеры
енки, Катыни, а его ученикам - п
На этом мы стояли и будем стоять.
иудины!
ветствия от Библейского Общест
ктеров, художников, режиссеров,
chaftsminister
7/43
Geschäftszeichen und den
eren Schreiben anzugeben
minister für Rüstung
tion - Rüstungsamt
z.S. v. H

Антон Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



Homer

ТОМ СЕДЬМОЙ

ПОВЕСТИ

Москва
МШК МАДПР, ДЭМ
1994

ББК 84.3Р7
С30

Редакционная коллегия
Л. АННИНСКИЙ
А. БЕНЕНСОН
В. КОЗЬМИН-БОРОЗДИН
О. СУЛЕЙМЕНОВ

Художники:
Б. БЕЛЯКОВ, В. ПОМОЧИЛИН,
М. ШЕСТОПАЛ

ISBN 5-85207-038-6 (Т. 7)
ISBN 5-85207-019-X (общий).
© Ю. Семенов. Т. 7, 1994
© Составление и оформление МШК МАДПР, ДЭМ, 1994

ВЕРСИЯ I (СМЕРТЬ ПЕТРА)

ЧАСТЬ I

«Сир!

Событие, кое привлекло внимание здешних иноземных наблюдателей при дворе русского императора, было, конечно же, заключение брачного договора между дочерью Петра шестнадцатилетнею Анною и герцогом Голштинским, случившееся в ноябре сего, 1724 года.

Посланники, обмениваясь между собой суждениями, отмечали прежде всего то, что брак русской принцессы с голштинским герцогом есть весьма дерзкая политическая акция Петра, которой он родственно поддерживает того, кто, будучи сыном старшей сестры шведского короля Карла, вправе претендовать на скандинавский престол. Притом кое-кто трактует сей неслыханный дотоле в истории России брачный союз как попытку Петра выстроить надежный аллианс со Швецией, в коем он весьма заинтересован, ибо знает, сколь много трудов прилагают Лондон и Париж, дабы оторвать Стокгольм от России, сделав саму идею дружественности между двумя государствами невозможною.

Мне, однако ж, сдается, что брак между Анною и герцогом Голштинским есть операция еще более глубокая и рискованная, чем о сем говорят ныне, ибо юный герцог никогда не скрывал своих притязаний на Ганновер, а ведь в Лондоне правит ганноверская ветвь, которая никогда с притязаниями юного герцога не согласится.

Отчего же Петр решился на столь смелый и рискованный шаг?

Осмелюсь, ваше высочество, выдвинуть на ваш милостивый суд свой консенс.

Поскольку Петр действительно превыше всего радеет

о благе России, свой интерес не блюдет, об персоне собственной не думает, хоть детей, Анну и Лисавет, любит нежно, то вполне можно предположить, что император сим шагом своим, весьма горестным для родительского сердца, решил оказать нажим и на Данию, которая по сю пору отказывается внять просьбе Петра и не взимать «зундскую пошлину» с российских торговых кораблей, идущих из Питербурху в Антверпен и Лондон, через Зундский пролив.

Подать, взимаемая датчанами, значительна и весомый урон наносит как престижу, так и казне России.

Петр, полагаю, предпринял лишь первый шаг в своей «Балтийской политике», а каков будет шаг последующий — предсказать трудно, но что он случится, — зная государственный характер русского императора, — сумлеваться не приходится: вопрос лишь в сроке.

Остаюсь вашего высочества покорнейшим слугою,

Людвиг Хоорст

Декабря, третьего дня, года 1724-го».

* * *

«Генваря 1725 года, шестого дня.

Я, доктор медицины Блументроост, провел очередное обследование здоровья августейшего пациента и нашел нижеследующее:

1. Обычные для осенне-зимней непогоды бронховые тяготы в этом году так же проявлялись через озноб и некоторое повышение температуры организма.

Однако же втирание горячего гусиного сала с тертым чесноком вдоль по спине и в верхней части груди — правую и левую — принесли желаемый эффект, озноб прошел, а температура понизилась до уровня, принятого почитать за нормальный.

2. Осеннее промывание олонецкими и московскими минеральными водами пользы дало поболее, нежели чем лечение карлсбадскими источниками. Тем не менее августейший пациент изволит жаловаться на жжение во рту наутро после ассамблей, даже не глядя на то, что сентябрь месяц был отдаден одним лишь промываниям желудочного тракта.

Предписанное употребление капель, составленных из выжима сока ягод облепихи и шиповника, покудова

облегчения не принесло, но ежели на ассамблее Кубок Большого Орла пит не был, досадного ощущения во рту и некоторого жжения не ощущается, из чего можно заключить, что органических изменений в кишках и печени не усматривается.

3. Жалоба августейшего пациента на ломоту в затылке накануне перемены к непогоде, дождю со снегом или же, наоборот, к солнцестою объясняется тем, что атмосфер давит на кровь и оная выше обычной нормы поднимается, заполняя мозг в избытке.

Однако ж пьявки, прикладываемые на загривок августейшего пациента, в течение часа боль снимают, и наступает сон, после коего следует полное облегчение при некоторой слабости, проходящей к утру следующего дня.

4. На тринадцатое генваря сего, 1725 года назначен концилиум, который должно провести перед выездом августейшего пациента в Ригу.

Профессор, доктор медицины
Блументроост».

* * *

7 января 1725 года

1

Последние два месяца Петр спал мало.

Пробуждался он теперь не в три часа, как прежде, до петухов еще, а в полночь. Первое время он неподвижно лежал в постели под белой буркой, подаренной ему Багратионами, глаза не раскрывал, полагал, что удастся еще подремать, но по прошествии недели понял — с прошлым покончено; видимо, началась бессонница; куда ни крути — шестой десяток; то, что раньше переносил, ныне уж не мог.

«И мужание и старение, — думал Петр, — происходит в одной мете времени, а поди ж ты, как долог день в детстве и столь быстролетен к старости!»

Поднявшись, он зажигал свечу, садился к столу, много читал, правил рукописи, держал корректуру «Санкт-Петербургских ведомостей»; вспоминал маменьку, братца Ваню, дядьку Артамона Матвеева; остро чувствовал запахи детства — воск, свежевыпеченный хлеб, сестрицыны благовония; близко виделись ему узоры льда на узких стрельчатых слюдяных оконцах в кремлевских палатах: этот кружевной лед прият-

но было облизывать языком, сладостно таясь от мамок, развлекавших его песней, игрой в жмурки и прятали со считалочками на «лебедь — белый, гусь — сизый».

Петр вспоминал, как измайловская мамка Надежда, самая любимая его — толстая, высокая, ласковая, — кормила поутру горячими оладьями со сметаной и медом; масло он отчего-то не жаловал, называл «склизким», норовил незаметно помазать им стол, чтобы блестело дерево, а вот мед из Воронежа (золотистый; пчелы лугом кормятся, мятой, липой и шалфеем пахло, когда вскрывали берестяные жбаны) поедал ложками; сметану велел разбавлять теплыми желтыми сливками, чтобы «ножик в ней не торчал»; а еще нравилось ему, когда приходили караваны с Волги и на стол подавали стерляжью желтую икру и розовую рыбу, чуть присоленную, — во рту таяла; на масленой неделе мог съесть не менее взрослых; маменька-покойница радовалась: «Государь наш батюшка горазд не только умом да смекалкой, но и брюхом мужицким, — двадцать восемь штук, да с икрицей, не каждый такое осилит...»

Лицо маменьки Петр видел чуть что не каждую ночь теперь; она была очень близко; глаза ее громадны, и в них по-прежнему крылась тайна; как, повзрослев, он ни пытался расспрашивать — матушка замыкалась, испуганно шутила, говорила безделицу, целовала за ухом, а потом, пряча слезу, шептала: «Сиротинушка ты мой длинноногий, орелик ты мой горный...»

Матушка отчего-то появлялась за мгновение перед тем, как проснуться; правда, несколько раз он видел исхудавшего, серо-голубого братца Ивана; плакал во сне, когда явился ему двухлетний Петр Петрович, сыночек ненаглядный, — не уберег, нет прощения от Бога, за мои грехи взял самое святое, что было, — наследника, продолжателя, кровушку родную! Один раз вскинулся в ужасе оттого, что сестра София склонялась над ним, щекочет распущенными волосами, а вместо зубов — клыки; ведьма, бесовка, хоть в глазах слезы, а пальцы добрые, подушечки мягкие, аж коже холодно, как нежны...

...Но сегодня, генварской ранней темью года 1725-го, Петр никого не увидел во сне — ни маменьки, ни братца, ни даже Софии (из живых-то и раньше

никто не являлся ему, только покойники) — и проснулся, будто кто толкнул локтем; часы пробили час с четвертью; поднялся с кровати тяжело, натянул толстые носки, заштопанные давеча Мишкой; умылся, пощупал щеки, решил сказать денщику Василию Суворову позвать цирюльника; зажег вторую свечу (три никогда не держал, считал расточительством) и сел к столу — править прожект, над которым сидел последние три недели и про который не знала ни одна живая душа.

...Он сел к столу как раз в тот момент, когда первый лорд Великобритании сэр Александр принял в своей резиденции шефа Адмиралтейства сэра Дэниза, — все говорили об этом человеке как о вероятном кандидате в премьер-министры, несмотря на его молодость — всего пятьдесят пять лет.

По Гринвичу было девять пятнадцать. Только-только отзвонил Большой Бен; только-только начали набирать силу балы, — во французском посольстве праздновался день рождения наследника, а у хозяина верфи «Грейт» — помолвка внучки с португальским капитаном Магелланом, потомком известного первопроходца; только-только взошло к апогею веселье простолюдинов в пивных и портовых кабаках, подогретое добрым янтарным пивом и пенистым черным портером; только-только начались споры в клубах о сегодняшних дебатах в палате общин по поводу корректив в морском праве; только-только закончили работу журналисты, отправляясь из своих редакций на угол Флитт-стрит, к Полу Веккерсу, чтобы выпить там традиционную чашку настоящего кофе из Америки; только-только Исаак Ньютон вышел из дома прогуляться перед сном по улице, освещенной долгим рядом фонарей — будто светлячки в ночи; только-только опустился занавес театра, — режиссер Джордж Вэдфорт предлагал зрителям новое прочтение «Гамлета», созвучное, как ему казалось, нынешнему времени, показывая не мстителя, но нервического наследного принца, которого не дело интересует, а лишь мысль — сама по себе, очищенная от суеты; только-только пограничная стража запретила, вывесив три фонаря, вход в лондонскую гавань десяти голландским, двум испанским, французскому, ганзейскому и русскому судам; только-только стал успокаиваться огромный город на берегах Темзы...

Первый лорд империи, как и всякий человек, вынесенный к вершине могущества, давно оторвался от всех этих вечерних лондонских застолий, споров, амуров, стычек, интриг; он жил одним лишь — наукой политики. Порой она виделась ему точной, как расчеты старого друга Ньютона, — главное заключается в сохранении устойчивого баланса разностей; в случае невозможности достичь этого — тщательный поиск «неизвестного», то есть повода к войне, необходимой для того, чтобы силою и мором восстановить нарушенный баланс интересов.

Ощущая постоянное, порою излишне шумное давление на кабинет его императорского величества со стороны финансистов, заморской администрации, Адмиралтейства, со стороны набиравших силы, а потому особенно деятельных мануфактурщиков, церкви с ее бесчисленной армией миссионеров, разбросанных по всему миру, — сэр Александр только в самом начале своей карьеры чувствовал из-за этого тревогу и неудобство; постепенно, с годами привыкнув к подъему по мраморным ступеням иерархической лестницы, он научился радоваться тому действу, которое каждодневно разыгрывалось в парламенте, палате лордов, во время аудиенций в Букингемском дворце; он ощущал острое чувство счастья и за себя и за империю, которая — после всех тревог кромвелевских времен, после тягот войны за испанское наследство — заставила Францию с Испанией подписать мир в Утрехте, присутствовала при заключении Раштадтского договора, горделиво включив в свои владения акадские земли по Гудзонову заливу в Северной Америке, отторгнув их от Франции; Мадрид же передал Лондону Гибралтар и Гвиану, Гамбию и остров Христофора, порт Магон и Минорку, да еще право ввоза рабов в испанские колонии. Ныне Англия набрала сил и готовилась к борьбе за доминирующее европейское лидерство.

Две могущественные державы — Швеция, с ее огромным, трехмиллионным населением, с высокоразвитой металлургией, мобильной армией и высокой грамотностью, да восьмимиллионная Россия — заботили ныне Лондон особенно.

Россия виделась как бы сквозь сигарный дым: зыбка, непонятна, и хотя на картах, которые печатались в Лондоне, Ливерпуле и Глазго, территория, объятая

империей Петра, была самой большой в Европе и подчас казалась первому лорду зверем, затаившимся перед броском, серьезный анализ ситуации в мире делал скифскую угрозу не столь страшной... Россия, по мнению первого лорда, стояла перед выбором — либо, идти на устойчивое дружество с Западом, либо, наоборот, предпочесть политику союзничества с таинственным, диким и властным Востоком; третьего не дано.

— Дано третье, — чуть улыбнулся сэр Дэниз, стряхнувший пепел с длинной черной сигары (только-только стали завозить в Европу, поначалу думали — туземная безделица, а принялась эта мода сразу; биржа начала успешно торговать огромные оптовые партии). — Дано третье, ибо Россия, радением Петра перестав быть окраинным государством, сделалась фактором европейской истории, и могучим, увы, фактором. Это держава, сэр, непредсказуемых тактических решений при единой стратегической концепции.

— То есть?.. — Первый лорд подвинулся еще ближе к бело-синему огню в камине.

— Стратегическая, глубинная концепция очевидна — это поступательное движение к могуществу при дальнейшем сближении с нами. В данном случае я имею в виду не столько Остров, сколько запад Европы в целом.

— Но ведь Петр — и в этой своей концепции — наталкивается на сопротивление своего самого близкого окружения...

— Концепция дружества с Европой принадлежит не ему, а его отцу. Именно царь Алексей впервые в истории своей державы привез в Москву наш, европейский театр; начал выпускать — правда, всего восемь экземпляров, да и то под секретом ото всех — первую русскую газету, назвав ее опять-таки не газетой, а «курантом»; он же начал обсуждать вопрос об учреждении школ по нашему, западному образцу...

— И при этом ссылал в каторгу своих просвещенных вельмож, — заметил первый лорд усмешливо, — за то лишь, что те читали книги, напечатанные не по-церковно-славянски, а на польском языке. Что касается театра, то кому-кому, а вам, мой друг, наверняка известно, что, привезши из Европы труппу в Московию, отец Петра не рискнул самостоятельно разрешить представления, а обратился за разрешением к своему духовному надзирателю: «Можно ли глядеть лицедей-

ство?» И, лишь получивши ответ: «Да, можно, это не претит русскому духу и православной вере, ибо в Византии при дворе императора тоже случались увеселения, разыгрываемые лицедеями», посмотрел на подмостках сказку. Какая великолепная верность традициям, не правда ли? Вообще чем сильнее тяга к традициям древности в иных государствах, тем большая нам открывается перспектива утвердиться в лидерстве, поскольку обеспеченное будущее наших подданных важнее наивных мифов о былом величии англов, саксов и кельтов во время борьбы с легионами Цезаря!

— С этим можно спорить...

— Можно, но не нужно.

Сэр Дэниз понял, что первый лорд империи чрезвычайно серьезно подготовился к беседе, если знает все и о театре, и о сосланных боярах просветителях, — этот вечерний вызов на Даунинг-стрит был, видимо, далеко не случаен и давно продуман. Поэтому свою мысль — а сэр Дэниз был известен как сторонник англо-русского сближения — он продолжил осторожно, но тем не менее твердо:

— России слишком хорошо знаком ужас чужеземного ига, сэр, чтобы серьезно тяготеть к Востоку. Поверьте, ее тайная мечта, несмотря на оппозицию московских традиционалистов, — обручение с нами.

— Упаси нас бог от этого, особенно после брачного союза его дочери с герцогом Голштинским...

После долгой паузы сэр Дэниз задумчиво спросил:

— Вы полагаете более разумным повернуть Россию в объятия безбрежной Азии?

— А что вы называете Азией? — спросил первый лорд рассеянно.

— Скорее всего Поднебесную.

— А отчего не Турция?

Сэр Дэниз ответил сразу же — твердо:

— Оттого, что вера Магомета бескомпромиссна. Следовательно, сколько-нибудь прочный и долгий союз христианского православия с кораном невозможен.

— А кого вы прочите в гипотетические союзники России — если будущее измерять не годом и не десятилетием, но веком?

— Вы бы хотели получить ответ, который можно трактовать таким образом, что союзником России я хочу видеть не могучую Турцию, но Поднебесную империю?

— Но там же слепая вера в Будду, — улыбнулся первый лорд.

— Во-первых, Будда, — не Мухаммед, он терпим и любопытен. Во-вторых, при дворе богдыхана множество католических миссионеров; их резиденции не только возвышаются в Бейпине, но и в Шанхае и Кантоне. И доминиканцы, и иезуиты — персона грата в Поднебесной империи; миссионеры даже Конфуция причислили к лику святых, наравне с Франциском Ассизским. Они — сила в Поднебесной империи...

— Тем более, — задумчиво произнес первый лорд. — Тем более альянс России с Востоком, который рано или поздно вольется в лоно ватиканской церкви, пусть, увы, еще не протестантской, но Христовой, и станет, таким образом, цивилизованным регионом, — выгоден нам, ибо мужем сделается Азия, Санкт-Петербургу суждено быть супругой, а в этом — залог страдательности. Не станете же вы спорить против того, что у католичества еще есть шанс заключить мир с православием? И, наконец, последнее. Кто вам сказал, что мы намерены допустить прочный союз «Россия — Восток», если не только вы — а я вижу ваше несогласие со мной, — но и другие эксперты почитают такого рода альянс опасным для Острова? Мы же смогли сделать так, что Турция ныне стала главной угрозой Петру на юге? Мы же смогли вызвать смуты в Иране, сделав его нестабильным, а поэтому особенно опасным для Петербурга? Мы можем многое и на севере, разве нет? Швеция и Дания — карты в нашей игре. А на западе? Чего стоит вопрос о польской короне? И Швеция, и Австрия, и Пруссия претендуют на это золото... Словом, мы имеем достаточно сил, чтобы заставить медведя жить в своей берлоге безвылазно.

— Ну а если медведь все-таки выйдет из берлоги, сэр? — спросил шеф Адмиралтейства. — Угроза скифского вторжения в Европу в таком случае станет вопросом не веков, но десятилетий.

— Петербургские консерваторы клянут знания, — задумчиво произнес первый лорд. — Наука для них — бранное слово; маленькое тело нашего фрегата мужественно противостоит стихии океана, оттого что оно — дитя дерзкого разума; сотни слуг короны его императорского величества будут властвовать над миллионами чужеземцев, ибо мы являем собою знания, они — слепую массу. Мир вступил в эру философии и ремесла, мы идем по это-

му пути, мы не намерены сворачивать; я ведь прав, когда говорю, что в Петербурге наличествует весьма могущественная оппозиция знанию и технике, не так ли?

— Русский государь столь широко развернул свои реформы, что я не удивлюсь, если в России наука, несмотря на определенное противодействие Петру, сделает неожиданный для нас рывок в качестве и количестве.

— Я жду более определенного ответа. Мне приятна ваша симпатия к России, но, как я мог понять из донесений представителей при дворе Петра, в северной столице очень многие не поддерживают новации государя. Я бы считал разумным помочь тому, чтобы консервативная сила, стоящая в оппозиции императору, сделалась доминирующей в России. Для того чтобы мои консерваторы могли надежно править Островом, надо сделать так, чтобы русские консерваторы провели законы о запрещении строительства новых городов, мануфактур, бирж; надобно бы подсказать им мысль об эмбарго, как это было раньше, на все и всяческие общения российских подданных с коварным, отвратительным, низким, гниющим Западом, — так, кажется, старорусская партия называет нас в кулуарах?

— Да, — согласился сэр Дэниз, — такого рода определение можно услышать в Москве, вы правы, и не только в кулуарах, а вполне открыто.

— Я весьма тщательно изучил возможность ставки и на российских прогрессистов, на тех, с кем Петр сделался одной из крупнейших фигур нынешнего века. Люди эти сами по себе интересны и талантливы, слов нет, но ведь они случайны: многие из них — немцы, голландцы, англичане. Петр, будучи баловнем судьбы, выиграл их. За ними нет истории. А Россия — страна традиций; достоинства человека там, сколько я слышал, исчисляются — так же, впрочем, как и у нас в палате лордов, — древностью рода, слепой послушностью власти, желанием сохранить в недвижности мгновение, полагая, что в этом именно и сокрыт путь к бессмертию. Если бы у нас не было капитанов дальнего флота, губернаторов заморских территорий, фабрикантов и биржевиков, наша палата лордов легко превратила бы Остров в факторию Сингапура; именно так: не Сингапур — наша фактория, а мы бы сделались факторией Сингапура... Поверьте, тот, кто вознесся вместе с Петром, уйдет вместе с ним в героическую сагу. Но ведь саги лишены материальной силы; в плане политического баланса они — суть память, а па-

мять делается взрывоопасной лишь по прошествии века, после того, как политический поворот стал фактором истории... Меншиков по-прежнему не появляется на балах?

— Последняя почта была от второго генваря, сэр. До того дня светлейший князь нигде не был замечен дипломатическими представителями.

— Вот видите... А Меншиков — ключевая фигура. Против него идет интрига. Или он сам начал свою? В чем причина охлаждения к нему Петра? Все это чрезвычайно интересно, не находите?

— Нахожу.

— Если я прав, значит, ставка на русских консервативных традиционалистов более разумна, чем надежда на нынешних радикалов?

— Мы разрабатываем такого рода стратегию, — кивнул сэр Дэниз. — Она абсолютна в том смысле, что отталкивает Россию от прогресса в науке, делая, таким образом, зыбкою державой, значительно более слабой, чем прусские и германские княжества, допусти мы вероятие их объединения. Согласен, игра стоит свеч, подступы к консерваторам у нас есть. Ну а если мы представим себе некий катаклизм на Острове? Упаси нас, господь, от этого, конечно же, — и все-таки? Мор, ураган, торжество интриг материковых государей, растущие амбиции мадридского двора?

— Мадрид как потенциальная сила перечеркнут, сэр Дэниз, с того момента, как Эскориал начал слушать слова святых инквизиторов, пренебрегши делами мануфактур и бирж; Испания обречена на медленное, но неуклонное сползание в ничтожество. Сначала дело, сэр, сначала дело, ибо слово служит его оправданием и началом для дел новых. Конечно, какой-то риск в том, что мы станем отталкивать Россию в болото, вспять, — очевиден. Процессы, вызревающие в темноте, опасны, спору нет. Но я хочу спросить вас, во что может превратиться Россия в ближайшее десятилетие, если уже за четверть века петровского владычества они, начав с нуля, достигли следующего...

Первый лорд резко поднялся, подошел к столу, достал из шкатулки листочки бумаги, исписанные мелким, убористым почерком, вернулся к камину и начал лениво перечислять:

— До Петра в России не было могучего металлургического дела, — железо он привозил из Швеции. Сей-

час не только в Туле, но и на Урале его люди поставили мощные железоделательные заводы... До Петра в России не было виноградарства; он начал культивировать под Астраханью, а затем стал производить вина на Дону — как мне донесли, не хуже, чем на севере Португалии. До Петра леса в России — то есть чистое золото — вырубались произвольно, а он приказал описать каждое дерево империи на сорок миль от берегов больших рек: за самовольную порубку ввел смертную казнь — акт высшего понимания цены общегосударственного богатства. До Петра в России практически не было общеобразовательных школ, он их учредил, несмотря на яростное сопротивление, — первый лорд впервые заглянул в свои листочки. — Оппозиция сформулировала свое негативное отношение к образованию весьма любопытно: «Не нами положено, не нам менять, лежи оно так до века!» До Петра в России не было колледжей. При нем — с помощью и наших навигаторов — открылись. Впрочем, вводя образование в ранг государственной политики, русский император отказался от римско-католического просвещения и обратился к нам, к голландцам и немцам за помощью в становлении прикладных лишь наук; ватиканских гуманитариев к себе не пускает; и тем не менее этого человека консервативная оппозиция называет антихристом, запродавшимся немецкой партии. А ведь за один лишь указ Петра — собирать в епархиях русские жалованные грамоты и летописи с передачей всего этого государственного богатства на вечное хранение в синод — нация обязана при жизни ставить ему памятники, ибо никто еще из политиков за всю историю мировой цивилизации — до Петра, я имею в виду, — не придавал государственного значения истории как науке будущего... До Петра в России не было суконных мануфактур, не было культурного овцеводства, не было, наконец, губерний, то есть категории жесткой общенациональной государственности, не было налога с каждой живой души в имперскую казну. Если Петр продолжит свои реформы, величию Острова будет нанесен урон; Россия может стать первой державой Европы. Я серьезно опасаюсь напора этого гениального, сумасбродного, расчетливого русского варвара...

Первый лорд аккуратно свернул листочки, положил их на место; шкатулку темного железного дерева запер узорчатым ключом, вернулся и, медленно опустившись в кресло, заметил:

— Возраст человека определяется не по тому, как он ходит, говорит, смеется или плачет, но по тому лишь, как он поднимается с кресла...

Сэр Дэниз улыбнулся:

— Вы сказали об этом, опустившись в кресло...

— Не ищите хитростей там, где их нет, — в тон ему ответил первый лорд. — Садиться еще труднее, если норовишь не очень-то поддаваться возрасту... Итак...

— Итак, консервативная оппозиция в Санкт-Петербурге...

— Я бы несколько скорректировал... Какая угодно оппозиция, — после долгой паузы сказал первый лорд, — любая оппозиция, лишь бы дестабилизировать Россию. Поскольку московские консерваторы тянут к идеальному прошлому, — а такого, как известно, нет и не было; поскольку они в высшей мере интригабельны; поскольку, наконец, они негативно относятся к знанию, уповая лишь на собственный опыт, почерпнутый ими из изустных легенд, — сейчас, в ближайшем будущем, видимо, они сделаются нашей ставкой. Но вы порасспрашивайте своих друзей, аккредитованных послов в Санкт-Петербурге, попробуйте обозреть тамошнюю ситуацию с разных точек зрения, более тщательно и в то же время более свободно. Возможность вольно фантазировать — путь к успеху в деле. К вам приходит, сколько мне известно, информация от саксонного двора, от шведского... По моим чувствованиям, в России грядут события. Я не очень понимаю, отчего Петр отправил в опалу Меншикова; мне до конца не ясно, что кроется в отстранении вице-канцлера Шафирова... До меня доходят слухи о некоем неблагополучии в семье русского императора... Так ли это?.. Действительно, он решился на подписание брачного договора между своей дочерью Анной и герцогом Голштинским. Верно, это вызов нашим интересам. Но отчего он пошел на такой шаг? На что надеется? Сколько сильны его позиции? Как надежна экономика? Верны ли ему все его соратники? А если нет — кто именно верен, а кто нет?.. Воистину, там грядут события... А если так — в какой мере мы к ним готовы? А если готовы, то каким будет наше действо? Ведь мы уговорились: Петр слишком силен и мудр, чтобы мы и далее бездействовали.

2

— Скажи мне, бога ради, Феофан, отчего так повелось у нас спокон веку, что лгут царям, лишь угодное говорят, в глаза заглядывают, желание норовят прочесть, каприз — не мысль...

— Тогда и ты мне ответь, государь, — отчего так повелось у нас, что владыки рубят головы именно тем подданным, кои говорят правду?

— Тебе ведь не рублю...

Архиепископ Феофан Прокопович легко поднялся с темной, мореного дерева лавки; кресел, столь угодных нонешнему голландскому вкусу, не завел у себя в доме, и хоть окна были сложены не по-старомосковски, стрельчатыми и узенькими бойницами, а по-новому, широкие, в июне всю ночь глаз не сомкнешь, светло, что на улице, зато убранство залы было подчеркнуто старорусским: и сундук с татарским замысловатым узором (чеканка по серебру с голубой эмалью), и шкаф темного дерева со светлою инкрустацией — хвостатый павлин глаз закатил поволокою, вот-вот околевать станет, околеет, да снова глаз откроет, хитрый черт; в углу стояла чуть что не детская люлька — кровать архиепископа. Сколочена она была словно бы наспех, — куда там до меншиковских балдахинов с зеркалами; без узоров; истая люлька или как в келье, в монастыре: на людях не должно быть и мысли о блуде...

Опустившись возле сундука на колени, Феофан нажал потаенную кнопку, поднял тяжелую крышку, достал папку коричневой кожи, распахнул ее и, обернувшись к государю, сказал:

— Это отчет посольства нашего Измайлова в Китай. Никак не решался тебе отдать.

— Да я же читал, — удивился Петр. — Лет пять назад...

— Четыре. Я тогда смог так дело поставить, что тебе огрызок на прочтение дали... Главное утаил я... Ты лишь измайловские слова про то, как он на коленях к богдыхану полз, прочел и пером отчеркнул, а подробность, которую посольский толмач Бадри записал, здесь была схоронена.

— Кто таков Бадри?

— Грузин, из сирот, к языкам сколонен, два года у моих друзей обучался в Италии, умен и хваток.

Петр глянул на образа: лица святых были скорбны.

(Петр вдруг заметил: «Все как один безбородые, значит, истинно русские — брились!»)

— Отчего ты мне лишь сейчас эту новость открываешь?

— Пора подоспела... Три раза проверял... Это как хан в былые времена дань собирал... Не слыхал притчу? Первый раз послал он к нам в Суздаль баскака. Тот забрал скот, коней, курей; вернулся в орду. Хан его, однако, обратно отправил: «Мало привез, езжай проверь!» Нагрянул баскак во второй раз, все подчистую выгреб, прискакал домой, а в орде все одно недовольны, еще хотят. Баскак дурной был, правду любил: «Клянусь аллахом, все подобрал! В сусеки лазил! Баб за косы таскал, позорил! Нет у них ничего более, плач и стон в Суздале стоял!» А хан ему в ответ: «Когда плачут, значит, есть еще припрятанное; плохо — тогда люди смеются, это, значитца, вправду шаром все уметено и труд твой во благо орды закончен, — разор в Руси полный, навряд поднимутся...»

— Полагаешь, смех ныне стоит в империи?

— Пока, слава богу, плачут. Но смеяться начали те, что ближе всего к тебе...

Петр сразу понял, что Феофан имеет в виду; последнее время он перестал прощать казнокрадство даже самым любимым своим вельможам.

— Пусть десницу в мою казну не суют, — отрезал Петр, — не стану казнить.

— А как им жить и ассамблеи устраивать? На какие шиши? Мы же русские, мы лицом в грязь ударить не можем. Уж коль ассамблея, так чтоб не хуже была, чем у соседа, и чтоб сахарных лебедей на стол поставили, и чтоб с Волги осетров привезли, и чтоб зайцев зажарили да оленей... Платил бы ты служивым людям поболее — не воровали б...

— Денег нет, Феофан.

— А ты позволь процент с удачи брать, прибыль позволь делить; тогда им вертеться надобно будет; не до жульничества... А так ведь все по твоему личному указу делается! Черту дозволенного — о коей никто не знает толком — переступать не моги...

— Они тогда только и станут делать одно — воровской процент с чужой удачи вымогать! — Лицо Петра замерло, словно перед страшной судорогой, но Феофан, влюбленный в государя, знал, что это другое у него (от какой-то обиды; он в такие мгновения детское в себе

прячет, словно ежик топорщится); припадок у него от застенчивости бывает или от ярости, когда сил нету полюдски ответить, потому как противостоит дурь, вздор или хитрость, а как им противоборствовать — не баба ведь, не искричишься, не заплачешь...

Феофан вздохнул:

— Вон Демедовы — твои ведь крестники, — какие алебарды ноне производят на своей железной мануфактуре?! А посмотри, как другой твой крестник оборачивается — Павел Васильев! Эк ловко краску бакан открыл, сколь золотых денег казне сохранил, чтоб у голландцев не покупать для судов?! Да один твой Аптекарский остров что значит?! Оттуда пошли лекари и аптекари российские — когда раньше об этом мечтать можно было?! А почему? Потому что прибыль с оборота имеют люди. А Матвей Евреинов? Отдал ты ему в откуп тресковый и тюлений промысел — и сколько лет ноне солдатские ботфорты держатся, не гниют, сколько сала пошло в склады?! При казенных порядках, государь, ничего доброго не было на Руси в мануфактурах и торговле, да и впредь не будет.

— Ну, позволю я процент с оборота брать господам вельможам, — как бы себе ответил Петр. — А кто тогда станет порядок блюсти в империи? Кто учет подведет? Как все цифири в одну подбиты будут, для отечества общую?

— Была бы цифирь побольше, учетчиков найдется, вертелось бы дело живо, без помех — порядок сам по себе сохранится, да и гвардия у тебя рядом, и тайная канцелярия бдит...

— Ты к чему это, Феофан? Ты мне говори суть — открыто и ясно! При сем помни, что народ наш как дети, которые за азбуку не примутся, пока не будут силою приневолены мастером, и сперва станет досадно им, и лишь когда выучатся — начнут благодарить! А разве мы все уж успели в науке, особенно касающейся ремесел и торговли?! Особый закон власти — это закон резерва и времени.

— Слова твои истинны, все так, но времени может не хватить, государь. Смех страшнее ропота, оттого я и решил открыть тебе полный отчет посольства Измайлова.

— При чем же процент с прибыли к делам Поднебесной империи?

— При том, что лишь в сравнении можно познать

истину, а путь лишь тогда верен, когда наперед знаешь, от чего идешь и к чему стремишься.

— Словно навет читаешь, — усмехнулся Петр. Фискал Нестеров перед своей поганой погибелью таким же голосом пересказывал мне свои красоты на господ губернаторов, требуя их казни...

Про фискала Нестерова тот же Феофан Прокопович говорил Петру: «Не верь тому из старцев, кто из кожи лезет, доказывая преданность кровавым делом; он для того твоим именем страх на всех наводит, чтобы ты его прежнюю службу — батюшке твоему и старшей сестре Софии — позабыл. Он не за правду губернаторов твоих казнил, а за то лишь, чтоб его самого чаша твоей мести минула; только б памятью былое заросло, только б кто тебе не напомнил, что он и со стрельцами был, и старине предан в глубине души своей, хоть и парик пудрит...»

Петр тогда Феофана не послушал. Он часто не слушал его, хоть и понимал, что тот прав; потом, впрочем, ярился на себя, но ведь тех слушают, кто душу мутит; самых ближних, как правило, бегут. Не слушал Петр архиепископа поначалу. С интересом наблюдал, как обер-фискал Нестеров, будто новый Малюта Скуратов, чистит империю метлою и стращает людишек оскаленной собачьей мордой. Собачьей ли? А не его ли, государев, оскаленный лик виделся за этим? Помоложе тогда Петр был — нравилось ему, что обер-фискал грязную работу делает, ужас наводит, разносы устраивает, порядок вроде бы держит, а как за пятьдесят перевалило, как взорвалось горе в своем доме, так начал любви искать, милости и благодарности, а где их взять, когда историю за морду держишь, а по пальцам кровавые слюни текут? А отпусти на миг, ослабь, и полетит все в тартарары, кто потом соберет?

А в прошлом году повелел Нестерова казнить за взятки; сам повелел, без чьего-либо подговора...

Феофан кивнул на два листка, исписанных убористо, без прикрас, делово.

— Глянь — разрешить такое в Лейпциге печатать или порвать?

— Что это?

— Мне посвящение, — усмехнулся Феофан. — Иност ранные профессора признали, их ученый президент при слал.

Петр приблизил лицо к свече, пробежал первые стро ки; заинтересовался.

«Я часто смотрел на вас, — шепча, читал Петр, — когда вы опровергали басни древних народов или нелепейшие мнения философов; вы как будто вводили меня в своих беседах в Рим, а когда вы припоминали события всех веков, то мне казалось, что я внимаю образованнейшему человеку, как в словесных науках, так и в высших искусствах. С каким удовольствием слушал я вас, когда вы описывали мне памятники древнего времени, виденные вами в Италии, говорили о состоянии просвещения, о ваших путешествиях и занятиях науками. Какая сила мысли и наблюдательности, какое изящество латинской и итальянской речи, какие живости и изящество во всем!»

Петр поднял сияющие глаза на Феофана:

— Нет воистину пророка в отечестве своем! Саксонец должен был к тебе прийти и понять то, что на поверхности лежит, а наши ревнители мне на тебя подметные письма пишут... Пусть печатают, благодарность ему отпиши, ты ж не царь, тебя хвалят не за корону, а за голову.

Феофан хотел скрыть улыбку, хотя видно было, что слова государя приятны ему.

— Спасибо, Петр Алексеевич.

Убрав странички, присланные иноземным ученым, положил на стол папку с посольским отчетом:

— Мне читать или сам станешь?

— Читай. Канделябров не держишь; глаза ломать — и так они у меня сдавать стали.

— Поставь я канделябры, духовенство мне и вовсе верить перестанет.

— Дурни старые, — беззлобно ощерился Петр. — Неужели лучше стать слепому, но при одной свече жить, чем сохранить зрение англицкими канделябрами и зоркость блюсти до старости?!

— И я о том же. — Феофан вздохнул, приблизил свечу к страницам отчета. — Посол Измайлов — умнейший, доложу я тебе, татарин...

— Какой он татарин?! Чьему делу человек служит, той он и есть нации! Кому мои немцы да португальцы со шведами, голландцы с жидами да татары с англичанами служили? России, Феофан, России. Не будь их — не видеть бы нам с тобою ни Питербурху, ни каналов ладожских, ни сибирского золота, ни уральской меди, ни могучего флота! Думаешь, не знаю, что злые языки за моей спиной шепчут? Вещают, будто есть в наших жилах грузинская кровь. Чушь и вздор! Какой я грузин, коли но-

вую столицу на морской север вынес?! В болота и хляби, а не к черноморскому берегу, хоть тепло мне по сердцу куда как более, нежели чем здешний дождь со снегом...

Феофан обнял чуть осунувшееся лицо государя своими огромными рублевскими глазами и, откашлявшись, начал читать:

— «Все Поднебесье, по представлению тамошних жителей, подчинено богдыхану, имеющему под своей властью два рода государств — Срединную империю, называемую так оттого, что она якобы находится в центре вселенной, и вассальные государства, кои заселены не китайцами, а варварскими народами — англичанами, русскими, французами, немцами, обязанными повиноваться богдыхану. Сие исключает самостоятельность всех иных народов. Являясь сюзереном, сиречь владыкою всех других народов и государств, Срединная империя не может вести войны, ибо, коли, по тамошнему понятию, не существует других самостоятельных от нее государств, то с кем же ей воевать? Объявление Поднебесной империи войны другим государством есть невозможная глупость, разве вассал вправе объявлять войну сюзерену?! Это не война, а восстание, бунт темных европейских басурман».

Петр покачал головой:

— Чисто наши боярские деды пыжатся; тьма теменью, а презрением полны ко всем, кого не понимают, хоть у тех и дом краше, и одежда добротней. Этот Бадри, видно, мне подмаргивает: «Вон, мол, сколько твои враги внутри имеют союзников вовне...»

— И я так его понимаю.

— Читай, Феофан, читай дальше...

— «Останется ли Поднебесная империя навсегда такою, какова она есть ныне, — продолжил Феофан, — зависит, по моему разумению, от того, начнут ли здешние жители выезжать за свои границы, дабы с новшествами мира знакомиться и к изменениям жизни нынешней готовыми быть, либо заплесневеют в своем замкнутом царстве...

Хоть история не сохранила многих данных о первоначальном проникновении христианства в Поднебесную, можно полагать, что первыми христианскими проповедниками в этой стране были несторианцы, и отнести их пребытие сюда должно к началу VI века. Стало мне известно, что монахи, привезшие в 551 году шелковые коконы из Китая в Константинополь, были несторианцы. Единственным памятником деятельности несторианцев в

Срединной империи служит мраморная плита, обнаруженная сто лет назад в городе Сининь-Фу, что в Шэньси. На плите этой выгравировано восхваление христианства, озаглавленное: «Апология распространения славной религии в Китае, с предисловием; сочинение Цинцина, монаха Сирийской церкви». Говорят, что итальянский путешественник и купец, а по мне, мудрый лазутчик, Марк Поло, подтверждает раннее существование христианства в Китае; упоминая о христианских церквах в Ханьчжоу, Чинкиане и в других пунктах империи.

Истинное же начало католической работы, ведомой Ватиканом, почитать можно с конца XIII века. Первых посланцев (миссионеров) отправил папа Николай IV; его монах Монтекорвино прибыл сюда в 1291 году. Несторианцы возопили, убоявшись потерять свое влияние, однако же монах Монтекорвино заручился покровительством здешнего богдыхана Хубилая, разрешившего ему построить церковь и заняться проповедью. В 1307 году Монтекорвино так преуспел в своей работе, что был назначен архиепископом китайской церкви, в помощь ему были присланы из Рима семь епископов. Здешние люди говорят, что во время Монтекорвино число обращенных в католики лишь в одном бейцзине достигало тридцати тысяч. Следом за Монтекорвино был архиепископ Никола. О том, что творили католики в XIV и XV веках, известий сохранилось мало, однако ж грамоты говорят, что миссионеры действовали весьма успешно не только во внутреннем Китае, но и на окраинах, особливо среди монгольских кочевников. В 1582 году иезуитским миссионерам Михаилу Руджиери и Матвею Риччи удалось получить от губернатора Гуандунской провинции разрешение приобрести землю для устройства церкви и католической миссии. Дабы не навлечь на себя подозрения мандаринов, эти проповедники действовали с большей осторожностью и постепенством. Когда дела основанной ими христианской общины стали процветать, Риччи заручился покровительством местных сановников и при их содействии перенес свою деятельность в Нанкин. Правды ради заметить должно, что проповеди Риччи и его монахов не имели токмо религиозного характера; в своих обращениях к пастве они касалися и научных предметов, особливо физики и астрономии. В Нанкине означенный монах Риччи завязал сношения с одним из евнухов богдыханского гарема, коему доверял сам здешний владыка, и через его посредство добился приглаше-

ния в Бейцзин, где вскоре нашел влиятельных покровителей при дворе. Богдыхан Ванли назначил ему вспомоществование и позволил его помощникам и другим единоверцам поселиться в столице. Риччи успешно повел проповеди, работая не только среди простого люда, но и с образованными конфуцианцами, из коих многие сделались его последователями. Особенную ревность к христианству проявил мандарин Сю, получивший имя Павла, и его дочь Кандида. Не довольствуясь исповеданием новой веры, семейство Павла приняло участие в проповедях и занялось делами благочестия и благотворительности. Кандида за совершенные ею добрые дела удостоена была императором почетного титула «добродетельной женщины». Впоследствии она и ее отец были причислены к народному пантеону, словно святые.

Под искусным вождением Риччи католичество в Поднебесной сделало большие успехи, несмотря на зело сильное сопротивление здешних конфуцианцев и мандаринов. Успех Риччи объясняется как человечьими качествами сего «миссионера», так его добрым знакомством с истинно китайским характером. Риччи вел свое дело исподволь, стараясь мягко примирить языческие верования китайцев с догмами католичества. Чтобы легче достигнуть цели своей, он допустил фикции, дозволив, например, считать христианским культ предков, не возбранял поклонение Конфуцию и идолам, как богам, но под условием, чтобы на сих языческих изображениях был крест.

После Риччи христианская церковь в Китае пережила краткую пору беспокойства...»

— Что за пора? — сразу же заинтересовался Петр.

Феофан снова обнял лицо его своими длинными черными глазами-маслинами, пояснил:

— В 1617 году, после ссор с португальскими купцами в Макао был обнародован указ, коим миссионеры, да и вообще все басурманы, изгонялись из Поднебесной вон. Последствий, однако ж, указ сей не имел; вскоре после того католики добились его отмены. Свержение Минской династии и воцарение Маньчжуров сопровождалось кровавыми смутами, что отразилось на положении христианства. Миссионеры, и во главе их ученый иезуит, как сумели обосноваться на севере Поднебесной, на границах с Россией, так поспешили объявить себя приверженцами Маньчжурского дома. Шааль посему сумел заслужить доверие нового монарха и сделан был начальником астрономического приказа.

— Шааль — француз? — поинтересовался Петр.

— Они нацию свою не любят открывать, коли отдались ватиканской службе... Но сдается мне, что он — голландец, его родня вроде б к амстердамской бирже близка, в деле люди горазды...

— Далее.

— «Успехи папства продолжались до кончины в 1662 годе богдыхана Шунджи. С переходом власти в руки регентства и началом новой смуты говор и ропот супротив христианства возобновился. В представленном регентам докладе христиане были обвинены в извращении древних верований и в подлом намерении изничтожить государево устройство Поднебесной империи. Монахи Вербист и Шааль были заключены в тюрьму, где последний и отдал богу душу. Однако ж богдыхан Канси, воцарившийся в 1671 году, прекратил избиение и вновь привлек миссионеров к своему двору. Слух ходит поныне, что посольские дарования патера Вербиста таковы были, что сумел он заслужить доверие нового богдыхана, указавши на грубые ошибки, допущенные составителями календаря, и обнаружил сим темное невежество китайских астрономов. В благодарность за исправление календаря богдыхан назначил Вербиста на место убиенного Шааля начальником своего астрономического приказа, даровал ему титул «даженя» и возвел предков его в дворянское достоинство. Некоторые люди выражали мне мысль, что Канси покровительствовал христианам оттого, что сам склонен был к принятию веры Христовой, однако ж вероятнее, что Канси поддерживал миссионеров, дабы легче брать от них научные познания, ибо патер Вербист исполнил многие астрономические и математические работы по заказу китайского правительства, а для сего из Ватикана прислали в Поднебесную умельцев, ученых и философов...

Католики ныне, не глядючи на все перипетии, крепко осели в Поднебесной, и дружественности по отношению к Российской империи в них мало, хоть европейцы они, как и мы. Поэтому, сдается мне, коль мы не наметим стратегию общения с Поднебесной, придется нам вскорости не только с него горя хлебнуть, но и с миссионерами, кои идут караванами через море и через Индию в столицу Поднебесной. А здесь они возбуждают противу нас двор, говоря про то, что мы и такие и сякие, а главное — религии особой».

Государь мягко, прощающе улыбнулся; было много грусти в его улыбке:

— «У нас чуть что не так, совсем недавно писали, когда за книжку на латинице человека в каторгу гнали»

Петр погрустнел еще более; лицо, хоть и осунувшееся, но крепкое, словно рубленое, застыло, напомнив Феофану маску, которую рисовали на белых стенах венецианские артисты, изображая неутешность или отчаяние, прежде чем перенести это на свои лица перед выходом на сцену, сколоченную за ночь на пьяцетте старого города...

— Откуда родом этот толмач? Где обретается ныне?

— В иностранной коллегии, сдается мне.

— «Сдается»? Узнай и сообщи точно. А это мне дай. — Петр протянул свою огромную, в ссадинах ладонь. — Напечатать выдержки велю в газете.

— Нет, — отрезал Феофан. — Если станем отдавать даже государю все, что принадлежало памяти и разуму империи Российской, как же потомки научатся европейскому порядку?

— Это к тому ты, что барин сам свою избу крошит?

— К тому, — ответил Феофан.

— За Бадри — спасибо. И вправду его вовремя мне открыл, ко дню... Кушать не стану у тебя. — Петр поднялся. — Скоромничаешь, норовишь быть святее синода. Зря. Не оценят. Так что в другой раз, когда приду, вели грешневой каши натомить, гуся пущай нашпигуют яблоками, и скажи осетра разварить, только аккуратно, чтобы по ниткам не пополз. Мы, как татары, норовим все прокипятить в семи водах, словно за Астраханью живем, в песках! Из водки настойку сделай тминную, чтобы желтой была и в нос шибало.

Встав, Петр не кивнул даже Феофану, шагнул к двери, распахнул ее своей суковатой тростью (сколь силы надо, чтобы такой поигрывать!) и, чуть склонивши круглую (сзади похожую на детскую) голову, нахлобучил круглую мягкую шляпу чуть не на самые глаза.

Последнее, что заметил Феофан, были сбитые набойки чиненных неоднократно ботфортов; если бы не протирали денщики тюленьим салом ежедневно, стали бы рыжими, в белых потеках, ни дать ни взять — корабельный мастер идет на черную работу

3

Беринга государь принял в своем домике на Неве, в столовом кабинете; угостил хорошим итальянским «чо-

келатом»; поинтересовался, не хочет ли капитан испробовать вина; согласно кивнул, выслушав отказ; спросил рассеянно:

— Как ты, Витус Иванович, относишься к Птолемеевой работе?

— Единственная, по моему мнению, книга древних, — ответил Беринг, — которая при всей ее талантливости подлежит быть переписанной наново.

Петр пожал плечами, несколько раздраженно заметил:

— Коли книгу надобно переписывать наново, какой толк в ее талантливости? Лучше уж новую сочинять.

— Государь, я не предлагаю в ней менять тенденцию, я говорю лишь о том, что ее следует дополнить теми открытиями, которые обогатили знание, начиная с Колумба и Америго.

— Не слишком ли легко отказываешься от первой своей фразы? — строго спросил Петр. — Мне люб спор более, чем покорное согласие.

— Так государю лишь кажется, — возразил Беринг. — Однако же на практике каждый владыка более всего чтит согласие с его мнением.

— Значит, я плохой владыка, Витус Иванович. Ответь теперь на мой следующий вопрос: отчего я — при нонешней нищете в казне — тем не менее дал тебе все, чего только можно желать, для предстоящей экспедиции?

— Полагаю, оттого, что богатства, кои рассыпаны на восточной оконечности русской земли, того стоят.

Петр неожиданно спросил:

— Домой, в Копенхавен, не тянет, Витус Иванович?

Беринг отодвинул недопитую чашку чокелата, холодно поинтересовался:

— Я дал вашему императорскому величеству повод быть недовольным моей службой российскому флоту?

Петр покачал головой:

— Все вы, иноземцы, гордитесь своей свободою вольно обращаться со словом... И правильно гордитесь... Почему ж нас лишаете такого же права? Вольность — понятие двустороннее и означает возможность открыто спрашивать про то, что тебя интересует, а не один лишь политес соблюдать...

— В Копенхавен меня не тянет, государь, ибо родина человека там, где его дело, где близкие его живут и дру-

зья. Все это у меня в России; ею во время странствий моих грежу.

— Спасибо. Службу твою ставлю высоко, однако нонешняя твоя экспедиция мне важна не столь теми ценностями, кои, бесспорно, лежат на восточной окраине державы, сколь ее политической функцией. Как полагаешь, в чем я ее вижу?

— В укреплении и обживании всех пограничных оконечностей империи.

— Нет. Это рано еще, силы не те.

— Тогда просил бы вас, государь, изъяснить мне истинную цель предстоящего похода...

Петр поднялся из-за стола, походил по маленькой своей зале, чуть не касаясь головою темного, мореной сосны потолка, остановился возле окна, уперся лбом в стекло, долго смотрел на то, как снег змеился по Неве, потом заговорил:

— Видишь ли ты, Витус Иванович, я сегодня довольно долго просидел в иностранной коллегии, в архиве, а засим в синоде, просматривая те материалы, кои относятся ко времени крестовых походов. И родилась у меня некая консепсия, относящаяся к началу сего тысячелетия, а посему, вполне вероятно, она может быть в действии не один и не два века — нашим потомкам хватит ее расхлебывать...

Беринга как человека морского, то есть сугубо определенного в решениях, всегда поражала манера русского царя «лить» фразы, строго следуя логике, причем, как отмечал неоднократно капитан, тот строил свои рассуждения наподобие спичей, которые произносились при дворе князя Багратиони, — самое важное, основное, ударное, подчас противоположное, казалось бы, строю всего предшествующего рассуждения, — у д а р я л о в самом конце. Поэтому Беринг внимал каждому слову Петра, каждой интонации, фразе, — пустых не было, всякая несла смысл и тонкость.

Петр вернулся к столу, продолжил:

— Ватикан сугубо хранит свои тайны. Однако же чем объяснить столь определенное движение Цезаря на север и запад? А Барбароссы, наоборот, — с севера на юго-восток? Полагаю, что толчком к Барбароссовым кумпаниям был Птолемей, ибо его консепсия до сей поры во многом истинна: «Кто владеет морями, тот правит миром». Не могло не пугать западных европейцев и то, что Птолемей писал о «варварах», причисляя, понятно,

и нас к ним Произошло, коли хочешь, некое смыкание идей Цезаря и Барбароссы, не говоря уж о папе Иннокентии Третьем, отце крестовых походов, в их желании видеть Европу единой, растолкавшей все иные племена и народы. Сдается мне, что крестовые походы были не чем иным, Витус Иванович, как кумпанией по выходу Западной Европы в подбрюшья Азии, в Византию, откуда открыты все пути на Восток. Прогляди схемы их движений, и ты убедишься, что версия моя не лишена некоторого основания. Марко Поло не просто венецианский Беринг, не только искатель новых земель; я склонен считать его талантливейшим папским лазутчиком, познавшим путь через земли варваров в империю иноцветных. Китай не был страшен в ту пору папскому двору: только у наших художников, Ивана Никитина с Танауэром, разные краски, смешиваясь, являют новое качество. О смешивании китайцев с европейцами Ватикан не помышлял и не помышляет, понимая, что отталкивание сильнее притяжения, особливо в вопросе племенном. Марко Поло прознал и про Урал, и про пути туркестанские, и про Каспий, и про Понт Эвксинский. Ватикан дела свои впрок готовит, и не тогда ли еще возникла мечта отправить в Поднебесную миссионеров, дабы окружить нас, русских, неким общим фронтом: с западу — единые нам по крови поляки с чехами, подданные католичества, с юга — мусульмане, с востока — либо буддистские богдыхане, либо — коли успех будет сопутствовать Ватикану — желтые католики. Сколь тут не бейся, как ни рубись через Балтику к Ганзе и Лондону, все одно силы государства станет высасывать оборона западных, южных и восточных границ. От Иерусалима, куда так алчно смотрел Ватикан, до Китая — через Персию — рукой подать. Почему я и полагаю, что твой поход на крайний Восток должен не токмо поиском новых островов ограничиться, не одним лишь охранением наших богатств в дальней Татарии, но и поиском удобного сообщения с Америкой, открытой Колумбом...

— Полагаете обратить Новый Свет в нашего союзника? — спросил Беринг.

— Кто не дерзает, тот проигрывает, Витус Иванович. Почему нет?

— Там дикость царствует, там индейцы бьются против британской и гишпанской короны, там зыбко все, государь...

— А у нас сто десять лет назад тому, в году смуты,

не было зыбко?! А во время ига?! Но ведь и тогда Ватикан внимательно следил за тем, что происходит в Московии, и после первой же победы начал слать послов и к Калите, и к Василию, а Иван Третий и вовсе сочетался браком с Сонькой Палеологовой...

— Но ведь она была православной...

— Европейское православие — игрушечное, Витус Иванович; только в нашей державе, суровой климатом, лежащей на берегу Ледовитого океана, в него верят, потому как из-за нищеты нашей лишь церква праздник приносит людишкам, надежду, упование на счастье на том свете.

— А ну как нищету искоренить, государь?

— Что ж, русский Лютер может появиться, не спорю, но вера ноне — неистребима, таков мой народ.

— Папы во время походов такое же говорили о западных европейцах, а сколь потом новых религиозных школ создалось?

— На святое голос не подымай, Беринг!

— Сами ж призывали меня к спору...

Петр усмехнулся;

— А ты колюч.

— Попробуй будь иным, в сей же миг схарчат!

— Ладно, ершись, только открой мне российский путь в Новый Свет, это главный смысл твоей экспедиции, но про этот главный смысл только два человека знают: ты да я. О будущем думать надобно загодя, побеждает тот, у кого есть могучий союзник, а могущество определимо двумя параметрами: обилием земель и множественностью народа. У нас его тьма, чуть что не восемь миллионов, оттого и боятся нас... За океан дорога из Гавра дальняя и опасная, а все одно едут — начинать с чистого листа охочи многие; Америка — воистину чистый лист; мы тоже начисто Питербурх зачали, в этом наше сходство. От нас, коли все толком разведать, путь в Америку легок, безопасен и выгоден. Знаю, что и от этой моей препозиции многие шарахнутся, но Спиноза был прав, утверждая: «Верум индекс суи ет фалси»; именно так: «Лишь истина — пробный камень как себя самой, так и лжи».

Помолчав, Беринг словно бы себе заметил:

— Государь, короткую фразу, как и простую мысль, легче понять множеству; вы же мыслите высоко и сложно, говорите как философ, уповая лишь на таланты, восхищенные вашим гением. Не слишком ли рискованно?

— Витус Иванович, коли в политике подстраиваться лишь под малых — умом и ростом, тогда не Русью надобно править, а каким-нибудь княжеством, которое мечтает о том, чтобы удержать существующее. Мы же будущее своего народа иначе видим.

ЧАСТЬ II

«Сэр! Мое предыдущее донесение, датированное днем тридцатого декабря года 1724-го, посвященное сложной ситуации при дворе русского императора, требует внесения корректив, а поскольку Вы приучили меня к мысли, что не ошибка страшна, но упорствование в оной, я полагаю своим долгом отправить с нарочным это короткое донесение.

Суть в том, что дипломаты парижского двора, а также кавалеры из Нидерландского королевского посольства в беседе с моими людьми вчера, после ассамблеи у графа Толстого, весьма подробно исследовали состояние здоровья Петра Первого; говорили, что, мол, русский государь хвор и его поездки минувшей осенью на воды вполне могут служить тому подтверждением.

Все это так, но капитан парусника «Мэри Лю», знакомый Вашей службе Джеймс Ричардс, поставляющий Двору вино «Эрмитаж», доложил мне, что Петр проводил на борту его корабля самоличную дегустацию и был в отменном здравии; весел; пил зело, не как человек, организм коего источен изнутри тяжким недугом.

Я, как и положено лазутчику Вашей, сэр Дэниз, выучки, счел за долг провести исследование мнений, столь разных, и мне открылась прелюбопытная картина: поскольку аналогии позволяют понять явление более, чем дерзкое предположение, нелишне вспомнить, что русские государи — так было с Иоанном, прозванным Грозным, — накануне резких поворотов своей политики, будь то внешний ее аспект или внутренний, предпринимали шаги, кои долженствовали посеять недоумение среди подданных, породить в них желание определенности и ясности. Иоанн сказывался больным, покидал Кремль, отказывался от царства, ожидая, как простолюдины и армия ответят на демарш такого рода.

Мои вновь приобретенные русские друзья полагают, что Петр начал именно такого рода кумпанию, однако же каковы его истинные планы, никто предположить покудова не может, слишком уж неожидан быстрый ум русского государя, слишком резкими бывают повороты его курса.

Тем не менее, сэр Дэниз, даже не будучи в состоянии сообщить, что намечается в северной столице империи, я почитал себя обязанным доложить Вам о том, что ныне представляется наиболее интересным.

Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой.

Питер Киберлэнд

Санкт-Петербурх, генваря 1725, день седьмой».

* * *

«Сир!

Мои друзья, весьма близкие к могущественным вельможам государя, сообщили, что Петр не далее как следующим летом намерен провесть переговоры с Турцией, дабы решить — по возможности — спорные вопросы, ибо всем в Питербурхе ясно, что покусительства Оттоманского двора на Персидские земли страшат императора, поелику за сим видит он угрозу христианскому Кавказу, особенно Армянским и Грузинским землям. Говорят, что истинною причиною прошлого персидского похода Петра была единственная цель: отнюдь не приобретение новых земель за Каспием, но лишь удержание тех княжеств, кои входят или же тяготеют к его державе.

Понятно, что Париж, стоящий постоянно за союзнической ему Турцией, делает все во имя того, чтобы подтолкнуть своего симпатизанта на Восток, дабы, пользуясь смутою, царящею в Персии, захватить ее земли и таким образом продлить свою границу с Россиею за Каспий. Сие не может не нанесть урона казне Петра, поскольку он должен будет — в случае успеха его противника — держать сильное войско для охраны своих южных границ, что есть разорительно для экономики державы. Поскольку же Петр до сих пор не смог добиться дружественного союза с Людовиком, тот делает все, чтобы подвигнуть Турцию к новому походу против России или же Персии, что равнозначно удару по России.

Сие заставляет меня думать, сколь угодно нашей политической доктрине, ибо, узнавши Россию близко, могут утверждать, что победить ея силою оружия невозможно,

а озлобить, превративши в вооруженный лагерь, весьма и весьма просто.

Меч достать из ножен легче, чем вложить его — без крови — обратно.

Осмелюсь, Сир, высказать суждение, суть которого кроется в том, что искать ключи к ослаблению — в наших интересах — империи Петра надежнее не вдоль по его границам, но внутри державы, ибо по сей день здесь существуют силы, кои не устают твердить про то, что смысл России не в европейской или же южной ея политике, но лишь в делах домашних, внутренних, обращенных на охранение древних традиций, столь угодных боярским консерваторам, бегущим дела, кои почитают они суетным и недостойным величия. В случае, ежели Вы, Сир, всемилостивейше разрешите мне провесть беседы с Долгорукими, выступающими против реформ Петра, и с Голицыным, который, сказывают, имеет свой, особенный взгляд на будущее империи, я не премину встретиться с ними для подробного обсуждения дел. Сказывают также, что — с противной стороны — вельми и вельми интересен для нас Петров любимец Остерман.

Остаюсь Вашего Высочества покорнейшим слугою,
Зигфрид Дольм».

* * *

8 января 1725 года

1

В гавани пахло дегтем; самый любимый с детства запах; потешный ботик сразу же вставал перед глазами; все связано воедино в жизни нашей: запах — образ — мысль; одно слово — память, а сколько же оно вмещает в себя! Ботик — запах озера — чумазый Алексашка (мин херц, сукин сын, неужели ж дружбу продал?!), ночные ужасы, когда, затаившись, ждал — вот ворвутся стрельцы и айда сечь головы; кровь брызжет; вопль стоит, матушка, посинев щеками, бьется на каменных плитах.

...Петр журавлино вышагивал по пирсам, глядя вроде бы только перед собою, как вдруг, словно бы споткнувшись обо что-то невидимое, встал, как замер.

— Что в тюках? — ткнув тростью в грубую британскую мешковину, спросил государь таможенного ассистента Акимкина, покорно семенившего сзади, рядом с адъютантом Суворовым.

— Еще не вызнал, — с торжествующей искренностью в голосе отозвался Акимкин, и Петр сразу понял, что смотритель врет: все знает, черт.

Повернувшись, государь легонько ударил Акимкина тростью по бедру и сказал тихо:

— Ну?

— Да неведомо, неведомо мне, господи! — взвыл Акимкин, но, угадав, видимо, движение руки царя за долю мгновения перед тем, как он снова взмахнет палкой, воскликнул: — Не знаю! Не знаю, хоть сдается, сукна привезли из Ливерпулю!

— Кому?

— Ну вот хоть казни...

Петр резко поднял трость, и Акимкин ответил упавшим голосом:

— Купцу Гордейкину.

Петр процедил сквозь зубы Суворову:

— Гордейкина бить кнутом и гнать в Сибирь с позволением поставить там торговое дело, но без праву продавать заморские ткани, кои русским урон нанесть могут... Тварь, скот, сколь сделано, чтоб своя суконная мануфактура набрала силу на благо отечеству, а он аглицкий тонкий материал, вишь ты, несмотря на таможенный запрет, тайком в лавку к себе тащит! А ведь ворот рвет на себе: «Я — истинно расейский! Купец из Москвы! Для меня благо отечества всего превыше!»

— Он с Твери, не московский, — заметил Суворов.

— Сколько с него взял? — спросил Петр Акимкина. — Не лги только, Фома, я тебя из дерьма поднял — в него ж и верну...

— Да не брал я ни деньги, ни деньги не брал! — тонко запричитал Акимкин. — Черт меня попутал! Гордейкин-то говорит, мол, не сукно это, а матерьял, а я почем знаю, какой именно матерьял в каждом тюке? Не вспорешь же!

— Сколько взял? — повторил Петр.

— Кожу сдери — ничего не брал, вона табаку он мне привез, голландского, я с нашего чихаю и кашляю...

— Фома, ты ж знаешь, что мне купец Гордейкин всю правду откроет. Он про отца родного мне скажет, лишь бы кнута избегнуть! Повинись, Акимкин...

Тот бросил шапку под ноги, скинул в грязь свой кафтан, затрясся аж:

— Стегай кнутом — не брал, и все!

Денщик Суворов уважительно заметил:

— Взял, видно, много, но не откроется, жила крепкая.

Петр усмехнулся:

— За то и держу супостата.

Акимкин, поняв, что пронесло, начал браниться, зло задирать купцов, капитанов, господ вельмож, власть; но смотрел все же при этом на государя выжидающе, жалостливо, со слезою.

Петр огладил острые усы и приказал:

— Мешки взрежь, сукна бросишь в воду, прорубимши прорубь!

— Сделаю, батюшка!

— Вот и делай, я подожду. И каждый отрез при мне проколи тесаком, да с поворотом, чтобы дыра осталась. А коль решите без меня ливерпульский матерьял со дна поднять, высушить да в Тверь отвезти, дабы несмышленышам моим из-под полы сторговать задешево, — простись с жизнью... Суворов, один мешок брось-ка в коляску, он нам с тобою для казенного дела пригодится, только аглицкую мешковину сдери и тонкое сукно оберни российским матерьялом, чтоб пожалостливее да победнее выглядело, да отыщи здесь рулон нашего сукна, рубах пару и тулупов.

...Петр не ушел в контору до той поры, пока Акимкин не покидал в море все отрезы, исколовши их предварительно тесаком, шепча при этом слезливые проклятия.

...Капитан-президент петербургской гавани Иван Петрович Лихолетов видел в окно, как государь гонял своего любимца Акимкина (тот отличился под Полтавою, а затем выучил в Голландии навигационные науки и весело бранился с иностранными капитанами, торгуя с них более золота за быструю и добрую разгрузку, хорошее место на причале и чистый пакгауз, все деньги вносил в казну; Петр это знал, ценил высоко, потому только и прощал «маленькие шалости» с табачком от купца Гордейкина). Лихолетов опасался, как бы государь, вконец разгневавшись, не столкнул Акимкина в ледяную воду, но пронесло, из конторы не вышел, и не потому, что боялся попасться на глаза, а оттого, что государь не любил, когда перед ним лебезили; уважал достоинство в себе, это же превыше всего ценил в окружающих; тех, кто бегом к нему через лужи бёг, почитал за дремучих холопов, наивно полагавших, что, называя себя дурьими, шутовскими именами да бухаясь в грязь

ниц, тем изображают истинную преданность отечеству и царю.

На сдержанное приветствие Лихолетова государь не ответил, сел на высокий подоконник, струганный как в Англии, — чистое дерево, промазанное маслом, — и сказал грозно:

— До каких пор взятки будет брать твой прохиндей?!

— Мой прохиндей — твой подданный! Взятки берет не он один, а все, и будут брать до той поры, покуда служат букве, а не делу.

— Ты что ж такое несешь, а?! Ты что, взятку оправдываешь?! Лихоимство?! Побор?!

— Я не оправдываю, государь, я объясняю... Ты вон только скажи своему кухмайстеру, что каши хочешь али мяса кусок коровьего, — тебе и гречки сварят, и мяса; повелел своему камергеру для дочек сапожки стачать — тут как тут сапожки, загляденье — носы наверх и бисером расшиты! А у Фомы Акимкина сын на двор не выходит — не в чем, бос. Жалованье уж как год нам казна не платит, а и платила б, все одно не хватило бы на кашу и на сапожки! Либо на стол, либо на одежку! Копейкой твоей сыт не будешь, с гроша не оденешься...

Петр вздохнул:

— Все вы здоровы разнос государству давать, а кто б выход предложил, першпективу...

— Ты, государь, меня принудил ученье постичь, благодарен тебе за это, через тебя искусство математики и химии постиг, а ни одна из этих наук без логики невозможна — для того латынь учу в старости... Не гневись, скажу так: правишь ты не по науке, а по одному лишь гению своему. Геометрию ты нам велел постичь, сам экзамены принимал, а что ж ныне государственной геометрии бежишь?!

— Это как? — несколько даже оторопел Петр. — Ты что говоришь, Иван? Разумеешь, что говоришь, али нет?

— Говорю, что думаю! Сам приучил! Твое слово — закон для меня... Ты смотри, что ноне выходит в державе, государь: ты норовишь с господами вельможами сам всем править — суконными мануфактурами, и аптекарскими товарами, и флотом, и ассамблеями ночными, и купецкими ремеслами, и фасонами, кои надлежит подданным твоим перенимать, и длиною париков, и очередностью блюд за столом... Да разве ж можно такое?! У тысячесильного мочи не хватит, не то что у тебя! Ты себе главное оставь, государь! Ты флот себе оставь

с армией, да законоположение, да иностранную коллегию, да образование с финансами, но дозволь же, ради Христа, фабриканту мануфактурой заниматься без подсказов твоих чиновных людей; мастеровые пущай по своему деловому — тебе подотчетному — усмотрению берут умелых людей и счет ведут с ними сами, ты лишь срок им дай и цену назови, пущай не бумагою, но делом отчитываются перед тобою! Дозволь строителю самому дела с плотниками ладить! Прикажи купцу барышом отчет давать в казну, а не взятку волочь в коммерц-коллегию, потому как в той коллегии такие же люди сидят, кои запретить все могут, а вот честно заработать, то бишь в долю войти с рудных дел мастером, портным али купцом, — что казне выгодно, а потому государству резон есть, — никак не вправе, оттого и получается взятка, сами ж к ней толкаем, а голландец с немцем злобствуют: «Русский — от природы вор!» А он не вор, русский-то, он добряк от природы и работник, только стало так, что руки ему повязали жгутом, а развязать никак не хотят... Эх-хе-хе, государь, казни, не пойму, зачем тебе на себя все брать? Пусть — согласно науке, по геометрии — не на тебя одного весь груз отечества давит, а и на свободных твоих подданных. Ты направление мыслям да границу империи береги, да науки вводи, да казну множь. Чем богаче у нас каждый станет, тем держава будет мощней... Оттого, что все нашему человеку воспрещено от века, кругом одни «нельзя», неподвижность плодится и страх, а посему — леность и постоянное желание жить по приказу. «Ты прикажешь мне, а я, глядишь, покряхтемши, выполню спустив рукава, от приказной работы мне выгоды нету, мне б форму соблюсти да отчет сделать...» Ну ладно, ты — Петр, твой указ умному да ученому — люб, а коли на трон другой придет? Тогда что? Ждать, покуда помрет? На неведомого нового уповать? А кто он? С чем идет? Верен ли твоей задумке или совсем у него на уме иное?

После долгой паузы Петр заметил:

— Дерзок ты.

— Правдив.

— Одно и то же.

— Тогда прости.

— Расспроси-ка аглицких и португальских капитанов, — задумчиво сказал Петр, — кои в Великую поднебесную китайскую империю товар свой возят, — что за страна, каковы тамошние коммерсанты, что за нравы

на побережье, разнятся ли от обычаев континентальных, сколь сильна ихняя вера, есть ли там опора церкви ватиканской?

— Исполню... Но сей миг я другое в разговоре с капитанами слышу: страшится тебя Европа, больно силен...

Петр пожал плечами, стал оттого еще больше ростом:

— Страх в государевом деле не помеха, особливо когда дурни его испытывают али честолюбцы... Плохо, когда умный боится, он тогда думать перестает, а сие — державе убыток...

— Державе убыток оттого, что казна все в своих руках держит, — нет человеку простору для деятельности: ни мануфактур поставить по собственному, а стало быть, государственному уразумению, ни трактир открыть — все ноги обобьешь, пока бумагу получишь, ни постоялый двор или лавку для какого товару...

— Врешь! — как-то устало, а может быть, даже сочувственно Лихолетову возразил Петр. — Коли с умом и весомо обратиться, коллегия не откажет умелому человеку ни мануфактуру поставить, ни лавку открыть или постоялый двор при дороге. Я ж знаю, напраслину не говори!

— Государь, — вздохнул Лихолетов, — это тебе реляции из коллегии пересылают, что, мол возможно, а ты пойди да сам попробуй разрешение получить! Замучат тебя, завертят, малость тебе твою же докажут, и все оттого, что у нас лишь один человек решает за всех — ты! Кому охота твое право на себя примерять? Ан не угадает?! Ты ему за это по шее — и в острог! Нет уж, лучше не разрешать — за это ты побранишь, но голову на плечах оставишь: у нас ведь только за «да» голову секут, за «нельзя» — милуют!..

2

Во двор острога, что при тайной канцелярии, татей и злоумышленников, приговоренных к отправке в Тобольскую крепость, выгнали поутру, покуда еще тюремное начальство отдыхало после ассамблеи. Кандальники были построены на плацу, кованы по рукам и ногам; фельды лениво, в который раз уже, перекликали имена каторжан, экзаменовали на рядность и парность; томительна жизнь служивого человека по острожной части — ему хоть бы чем заняться, а занятия нету, вот переклик и есть утеха от скуки.

Увидав Петра, вышагивающего по темному еще плацу, старший из фельдъегерей восторженно поднялся на мыски и высоко прокричал:

— Слу-ша-а-ай!

— Чего слушать-то?! — глухо оборвал его Петр. — Глядеть надо было зараньше, покуда я шел, глаз обязан поперед уха быть, — попомни сие! Где Урусов?

— Пятым во втором ряду, — ответил фельдъегерь срывающимся от счастья голосом: когда еще такая честь выйдет, что с государем говорить!

— А ну, ко мне его!

— В подвал? Для пытки?

— Нет. Сюда.

— Из пары выпрячь? Он ведь у нас с другими татями в упряжи.

— Сколь их там?

— Тринадцать душ, чертова дюжина, — для того, чтобы позор и бесправие цифирью подчертить.

— Ну-ну, — усмехнулся Петр, — отчеркивай...

Придерживая шпагу одной рукой, а второй — не по размеру большой парик, фельдъегерь рысцою бросился через плац к воротам.

Петр не смог разобрать длинные, свирепые слова команды, которую тот прокричал, но каторжане, видимо, поняли его сразу, глухо загрохотали через плац деревянными колодками и, подбежав к государю, замерли.

Петр кивнул фельдъегерю:

— Ну-ка, изволь пригласить сюда денщика, господина Василия Иванова Суворова, — он коня моего чистит возле шлагбаума, и донеси сюда тот узел, что в двуколке лежит, в ногах.

Фельдъегерь — по-прежнему аллюром — бросился к шлагбауму, а Петр, обведя тяжелым взглядом серые, истощенные лица каторжан, заметил:

— Главного, дурни, добились — скоро вновь бородами обрастете, души свои потешите... Кто здесь Урусов?

— Я, государь, — чуть шепеляво ответил голубоглазый блондин с поразительно маленьким, совсем не мужским, а скорее детским еще ртом.

— Ну, Урусов, повтори открыто при честной кумпании — пытать тебя более не станут и головы не посекут, — что ты возле церквей людям говорил?

— Говорил и повторять буду, что губят народ русский! Повторял и говорить стану, что нехристи немецкие

да аглицкие взяли нас всех в кабалу и ростовщичий рост — из рук антихриста!

— Это с моих, выходит, рук?

— С твоих, государь!

— Грамоте учен, Урусов?

— Нашим книгам, кои древними буквицами рисованы, душа моя предана.

— А что в тех старых книгах напечатано про то, какой была Россия двадцать лет тому назад? Рисовано ли в тех книгах, где границы нашего государства простирались?

— Не книжное это дело, государь.

— А чье же?! — смиренно удивился Петр. — Ты ведь по России скорбишь, а державу и ее честь определяет размер территории и величина народонаселенности! Когда антихрист Петр на трон пришел, ты морей не видел. Питербурх на страх врагам не стоял, Азов словно штык был нам в подбрюшье! Ты Ригу — города, ныне нашего на века, — трепетал как форпоста, любезного для европейского завоевателя, будь то хоть наш брат и враг Карл, король шведский, будь то кто иной! А ныне?!

— Душу русскую потеряли мы ныне! — воскликнул Урусов, быстро облизнув верхней, чуть выступавшей губой нижнюю, маленькую.

— Значит, тебя только душа наша заботит? Тело — бренно? Так, что ль?

— Тело духу принадлежно, государь. Как на наше тело надеть аглицкий камзол, да прусский ботфорт, да французский шелк-батист, то и душа переменится! Мы долгие века свое носили, домотканое; своим умом жили, не басурманским; свои дома рубили — окном во двор; свой порядок в доме блюли — жен на поруганные взгляды не выставляли; не чужие читали книги — свои!

— Нишкни! — воскликнул Петр. — Это кто ж «читал»?! Ты за кого говоришь?! Коли у тебя дядья да тетки в теремах да палатах были грамоте учены, то этих, — он кивнул на каторжан, — кто этих-то учил?! Для чего ж ты раньше, до меня, не выучил их хоть старые книжки читать?! Школу б для них поставил! Академию б открыл. Хоромы у твоей семьи богатые, для полсотни учеников места б хватило!

— Я б открыл, государь! Да ведь твои супостаты вмиг объявятся и повелят мне бесовской геометрии холопов учить, а не церковному сказу!

— Так ты б открыл поначалу школу, а уж потом бы

против меня говорить начал, в тот самый час, как мои супостаты б пришли к тебе. Языком молоть все горазды, а ты б за русский дух делом против меня восстал!

— Нет такого права, чтоб школы открыть без твоего дозволения.

— Ну и плохо, — после паузы, несколько обескураженно ответил Петр. — Это ты по делу сказал, отменим ту букву закона, чтоб всякую безделицу у высшей власти выспрашивать! Да только, думается мне, коли б и не существовало этой нашей половецкой дури — лоб бить перед каждым, чтоб свое получить, — все равно ты бы лишь языком молол; дела бежишь — оно вчуже тебе, барину!

— Дай волю, открою школу в Тобольске, когда в ссылку дойду.

— И геометрии станешь учить?

— Все тленом будет и ты станешь им, государь, науки эти твои заморские — антихристово наваждение — сделаются тленом, исчезнут с нашей земли, памяти по ним не будет.

— Да ну?!

— Истый тебе крест!

— Как же ты без геометрии новые города намерен ставить? Как ты без сей бесовской науки мог бы северную столицу возвесть?

— А я не возвожу ее. Мы ее не возводим. Ее французишки да немчура возводят.

— Наш господь, Урусов, не только сам учил, но и учился.

— Так он же у своих учился.

— А коли у нас своих нету? — спросил Петр устало. — Тогда что?

— Значит, и не надо — каждому отмечено от господа свое!

— А где же русским людям жить? — спросил Петр.

— А где спокон веку жили: в наших селениях, в тихих да светлых деревнях! Только тебе память по нашей святой старине незнакома, государь!

— Да плакал ли ты слезами счастья хоть раз, сидя у слюдяного оконца, раскрашенного первым ноябрьским инеем?! Сердце твое разрывало тоскою по деревушкам в сосновых борах, когда утром дымы в темном небе белыми кажутся и хлебом пахнет, а ты, проживаючи по делам государевой надобности в славном городе Аахене, где родной печи нет и люди чужие, от тоски исходишь?

Это знакомо тебе?! Нет, тебе бездельная лень боярская угодна, чтоб на тебя все окрест гнули спину, а ты бы в ухе пальцем ковырял да на юродивых смеялся! Я, российский государь, землю нашу знаю и сердцем ей предан, но, чтобы ее со стариною первозданной сохранить, мне города-крепости у морей потребны, дураку не ясно!

— Ты нас дурнями всех полагаешь, — словно бы не слыша государевых слов, гнул свое Урусов, цепляя лишь зыбкую форму того, что говорил собеседник, но никак не вникая в смысл, в душу мысли. — Коли любил бы ты нашего человека, разве б посмел немцам повелеть подушную опись каждого из нас составить, всех, будто скот, оклеймить и расписать по губерниям, похерив тем нашу вечную свободу?!

— Это ты под игом был два века свободен? Это ты под Лживым Дмитрием и его поляками был свободен? Это ты под Шуйскими свободою надышался?! Коли и был у нас Новгород вольным — с Ганзой и Амстердамом повязанный торжищами, — так ведь во прах сами же его и обратили, за то самое дело, что и поныне тебе столь ненавистно! Тьфу! Слеп ты и глух — оттого что дурень!

Урусов снова запел что-то свое, понять его становилось все труднее и труднее. Петр решил было задуманное в гавани утром еще отменить, но, вглядываясь в ждущие лица каторжан, скованных с Урусовым одной цепью, сказал Суворову, давно уже стоявшему за его спиной:

— Пусть фельдъегерь раскладывает.

И, зная, что сейчас происходит за его спиною, Петр обратился не столько к Урусову, сколько к остальным каторжанам:

— В сердце моем не токмо одна жестокая справедливость живет, но и сострадание к человецем. Путь тебе, Урусов, предстоит долгий. Своей императорской милостью я даю тебе право не в нагольном тулупе идти в Тобольскую крепость и не в колодках, а по-людски. Выбирай — в дар от меня — сукно на дорогу да обувку.

— Себе одному не возьму, — ответил Урусов плачуще. — Мы, каторжники, единым миром мазаны.

— Молодец, — согласился Петр, — молодец, Урусов. Остальным тоже дадут. Что ты поначалу выберешь, то и остальные получат. Начинай.

Петр обернулся к Суворову. Тот стоял рядом с фельдъегерем, маленький, стремительный, носатый, задумчиво потирая замерзшими тонкими пальцами свой пу-

шистый мягкий ус. У его ног на большом куске фланели лежали меховые башмаки, тяжелое сукно, фризовые рубахи (такие же как и на государе, но не красные, а темно-синие), легонькие меховые безрукавки из желтой овчины; рядом лежал отрез тонкого ливерпульского сукна, взятый утром в гавани; разложены были и меховые тулупчики, только работы грубой и размером поболе.

Урусов, поклонившись государю, кивнул на то, что было лучшим, — на ливерпульское тонкое сукно.

— Для чего же толстое сукно не берешь? — спросил Петр, ткнув палку в не гнувшийся на морозе, словно бы картонный отрез.

— Коли теплый да тонкий взять нельзя, то и за толстое сукно низкое спасибо, — смиренно ответил Урусов, — из него порты пошью, как-никак смена будет.

Петр — без взмаха, в слепой ярости, стремительно — перетянул Урусова своей палкой по короткому туловищу; голос задрожал, лицо побагровело:

— Ты отчего же аглицкой мануфактуры выбрал матерьял, сукин сын?! А что ж наше не взял?! Отчего от родимого рыло отворотил, а заморское выбрал?! А я хочу, чтоб это заморское русским сделалось! И чтоб мужик не пудовые шальвары из нашего сукна сшил, а такие, коим ни снег, ни дождь не страшны! «Петр, антихрист, хочет русских в аглицкий заклад отдать!» — передразнил государь Урусова и снова перетянул его палкой.

Плюнувши под ноги, отвернулся, пошел через плац: возле шлагбаума спросил фельдъегеря:

— Остальные, что в упряжке с ним, — кто?

— Тати, государь!

Петр хотел было что-то еще сказать, да не стал, махнул рукою, заторопился к повозке.

Суворов незнамо каким путем сидел уж на козлах, хорохористый и неприступный, лениво сдерживая коней...

3

На верфь Петр не поехал — знал, там сегодня отменно работают, потому как намедни застращал лентяев, нагрянувши раньше времени, теперь хватит пороху дня на три, потом снова надобно заявиться...

А в сенат сейчас самое время, шесть уж часов, скоро

пушка ударит; господа правители, видно, уж расселись по своим коллегиям, делают сумрачные лица; запалили, видно, канделябры; ассистенты им перья точат; у всех в жизни свой отсчет, а когда привычки известны — отсчет не так уж труден: как не был государь в сенате пять дней кряду, жди, к шести явится; служивые умеют высчитывать будущее по-своему.

Вдруг Петр повелел Суворову осадить коней, выскочил из легкой — русской работы — двуколки (предмет особой гордости Петра) и, неслышно догнав невысокого, в желто-синих толстых шерстяных чулках голландского шкипера (издали еще определил по круглому голубому помпончику на красной шапке), опустил тяжелые руки на его плечи:

— Как живется тебе в Питербурхе, мастер Ен?

Тот обернулся, не сразу, видно осознав, что этот великан в белых холщовых штанах, бордовой куртке, поверх которой был натянут темно-зеленый, штопанный у плеча камзол, — российский император; узнавши Петра, пыхнул теплым дымом из уютной трубочки-носогрейки, смешно округлил глаза и спросил:

— Перед тем как ответить, хочу спросить — падать ниц или можно вести себя с императором по-новому?

Петру не понравилась расчетливость, заложенная в вопросе мастера, приглашенного им в Россию уже на второй срок. Конечно, надо по-новому: лизоблюдства не терпит, но коль расчетливая, хоть и с долей юмора, дерзость была произнесена, следовало отвечать.

И Петр — неожиданно для себя — приказал:

— Ниц!

Мастер Ен, испугавшись, но и удивившись одновременно, аккуратно опустился на деревянные доски тротуара, точно определив, где сухого снега намело за ночь и не было еще грязи; локотки ловко выставил перед собою, чтобы не замазать живот («В Амстердаме худой был, — подумал Петр, — на наших хлебах отожрался!»); лег, замер.

— Ну а теперь давай здороваться по-новому, — сказал Петр и сразу же ярко, в деталях вспомнил свой домик в Голландии и друзей, с которыми пил холодное пиво, окончивши дневную работу на верфи. — Поднимайся, я тебя к завтраку приглашаю.

И, посадив мастера рядом с собою, Петр отправился к графу Толстому.

Тот словно бы знал заранее, что государь явится

именно в этот час, и не один, а с гостем, легко хлопнул в ладоши, велел слуге накрывать стол, затем склонил голову перед оробевшим мастером Еном, который начал выделывать такое дрыгоножество перед могучим вельможею, что Петр, подобрев лицом, погладил мастера по вспотевшей шее, принял из рук графа маленький стаканчик хлебного вина, настоянного на лютом перце, выпил медленно, смакуя, похвалил качество зелья, спросил, не малороссийское ли, сказал налить еще.

Проследив зорко за тем, как выпил мастер Ен, как от перца глаза его округлились, как он испугался кашлять и потому начал багроветь, пытаясь сдержаться, Петр, ударивши гостя по загривку, заметил:

— Я же сказал — по-новому, как после Голландии у нас стало. Кашляй!

Все-таки Ен кашлял с опаскою и от этого ему становилось еще хуже, пока наконец Петр не гаркнул свирепо:

— Выкашляй по-людски! Не молоко с цицки пил — водку!

Затем, повелев Толстому налить мастеру еще, посоветовал:

— Заедай, коль по-русски не можешь.

Толстой снисходительно улыбнулся:

— Так ведь они до того, как пить, зело откушивают. Это мы ее, сладенькую, на голодное брюхо берем, а лишь потом кашею перекладываем да гусиным салом.

— Да, мы водкою заключаем пиршество, — поняв Толстого, согласился мастер Ен. — Водка, на мой вкус, значительно слаще после еды.

— Водка всегда сладкая, — ответил Петр, начавший, видимо, терять интерес к мастеру Ену оттого, что в том проглядывала чрезмерная обстоятельность и несколько испуганное неестество, а когда человек хоть в чем-то несправедлив, пусть в самой даже малости, занятность его сводилась к нулю: государь исповедовал определенность во всем; недоговоренности избегал, поскольку, ежели надо было хитрить для пользы государева дела, обмозговывал хитрость загодя, относясь к ней в высшей мере серьезно, словно как к плану предстоящей баталии.

— Но, строго говоря, — заключил мастер Ен, искавший во всем абсолютной точности, — мы никого ни в чем не неволим, каждый может пить как до еды, так и после нее. Зачем человека принижать в малости?

— Хочешь сказать, что, мол, достаточно его прини-

жают в большом? — хохотнул Петр, и мастеру Ену показалось, что усы герра Питера сделались острыми, как у громадного таракана.

...Гусь был обжарен отменно, таял во рту; каша с ы п а л а с ь, шкварки, томленные вместе с нею в чугуне, сделали каждую крупинку крупной, отдельной.

Петр ел быстро, много, красиво. Ровные, крепкие зубы его обгрызали косточки так ловко, словно он только тем и занимался, как преподавал уроки хорошего тона боярскому юношеству, соромившемуся «выкушать» на людях. Петр вспомнил, как Ромодановский однажды рассказывал о тех двух боярских недорослях, что самозабвенно поднимали мужиков на бунт, стараясь зажечь в них ярость рассказами про государево повеление все тайное делать открытым, явным для всех — жен с собою водить на проклятые ассамблеи, есть на людях; то, что всегда раньше свершалось в уединении, дома, ныне кощунственно открыто всем, новая уступка чужеземцам, басурманам, панским лазутчикам.

«Я пытал их, — похохатывая, рассказывал глава тайной канцелярии, — кто подговаривал такое говорить темным мужикам, они же ответствовали в слезах и стонах, что это кровь говорит и преданность предкам, и никто подговорить к оному не в силах, да и нужды нет, — весь народ так же думает».

Петр вспомнил, как Нарышкина (семейство, он знал, его кляло, лишь двое молодых защищали, считая, что сам государь — русский человек, не антихрист, только «немцы им, бедолагою, крутят») распускала слух по столице, будто во время молитвы снизошел к ней, к Нарышкиной, старец Тимофей Архипыч и отдал ей свою бороду: «Покуда хранить ее будешь, счастье с тобою останется». Нарышкина, сказывают, упала в беспамятстве, а когда откачали ее, принялась баба-дура всем рассказывать, что-де в молитве своей она сетовала всевышнему на то, как Петр, продавши душу иноверцам, позорит русских женщин, заставляя их открывать лицо на обозрение всем и терема покидать, а мужчин лишил главного русского украшения — бороды, стали словно бабы, как голомордым из дому выйти всем на позор?! Мужицкая морда без бороды на задницу похожа! И нет ведь на антихриста управы, сетовала Нарышкина, а все оттого, что в слове «император» сокрыты числа и буквы антихристовы: кто бы стал слово русское «царь» менять на римское «император», как не сатана?!

«Знамение всему этому давно было, когда Петр еще младенцем был, — причитала Нарышкина. («Мужик у ей хлипкий, оттого и кликушествует», — хихикнул было Ромодановский, слушая рассказ государя, но, заметивши, как враз посинели зрачки и дернулась щека, оборвал себя, поняв, что сдуру не туда попал.) — Мать его грешница, оттого и он ирод!»

...Петр до сих пор отчетливо, до ужаса, помнил, как побелело лицо матушки, когда он, младенцем еще, во время приема послов, разбаловавшись (надоело стоять букою, пока бородатые дядьки бились лбами об пол), побежал вдруг по залу, стукнул ладошками в дверь, половинки ее распахнулись, и послы увидели женщину, стоявшую на коленях.

Мать-царица наблюдала за младшим сыном, глядя в замочную скважину, опасаясь, как бы Софьины бояре именно здесь, во время приема, когда пятилетний мальчик был без материнского ежеминутного попечения, не дали бы ему какую чарку — «так, мол, при делах посольских полагается», — а в ней зелье, что изводит младенца: всякие зелья умеют делать при государственных дворах, как же без этого, — зелье да плаха, лишь это открывает одному путь вверх, а другого сводит в беспамятное бесславие. Главное — извести, покойник свою правоту не докажет, за покойника говорят враги, а те знают, что сказать...

...Тогда, сорок семь лет назад, иностранцы впервые увидели лицо русской царицы открытым, и случилось это потому лишь, что того пожелал — волею ль, невольно — пятилетний всея Руси государь Петр Алексеевич.

«А ведь кликуша-то Нарышкина, — горестно подумал Петр, — какая-никакая, а чуть что не родня, чего ж тогда от других ждать?! Не может мне до сей поры простить, как несмышленышем ладошками двери открыл и лицо матери чужие увидали!»

— Мастер Ен, скажи-ка на милость, сколько людей ты почитаешь своей родней? — неожиданно спросил Петр, принимаясь за крыло гуся, словно бы замерзшее, — так оно было пупыристо, покрыто поджаристой кожицей.

— Жена и дети, герр Питер, — ответил Ен, не задумавшись (впервые за те минуты, что встретил императора), — вопрос, видимо, показался ему прямым, без подвоха: какой тут подвох, коли про родных?!

— Ну а отец с матерью? — поинтересовался Петр.

— Женившись, уходят от них... Своя семья, свой дом; ведь если два хозяина, тогда война.

— А двоюродная тетка по матери тебе кто?

— Не знаю. Я просто не знаю ее, герр Питер.

— А если б знал?

— Я б, конечно, здоровался с ней при встрече, — ответил мастер Ен, — и на рождество дарил бы ей розовую ленточку.

— Ясно? — устало спросил Петр Толстого; тот сразу же прочел в глазах государя желание и задержал взгляд на денщике, стоявшем у дверей, что вели во внутренние покои и кабинет.

Тот подошел к мастеру Ену и, склонив голову в поклоне, сказал:

— Я покажу мастеру Ену корабельную библиотеку государь, коли разрешите.

— Чего ж не разрешить? — согласился Петр. — Покажи.

И, порывшись в карманах, достал серебряный рубль, только что отчеканенный на монетном дворе:

— Держи, мастер Ен, от меня за добрую службу.

...Когда дверь за шкипером затворилась, Петр сумрачно хмыкнул:

— Экому политесу своих людей обучил, а?! «Корабельная библиотека!» — передразнил он денщика. — Забыл небось, как в ногах у меня валялся, когда я тебя — в прошлом веке еще — за границу в путешествие гнал, уму-разуму учиться?

— Помню, — ответил Толстой с достоинством. — Потому я верен тебе как пес.

— Ты мне как человек будь верен.

— Собака верней.

— Эк стал горазд свое гнуть! Не иначе как у вольнодумных западных басурман научился вступать в спор, истину отыскивая?! Хоть с господом богом спорь, молодец, потому как истина всего дороже, и государеву делу от нее навар гуще, чем от нашего рабьего согласия! — вздохнул Петр и передразнил того прежнего, еще молодого Толстого: — «Не позволь, государь ты мой батюшка, в злые неверные страны-грязи мне ехати, не разреши заразы западныя прикасаться, гноем ихним обмазаться, неверием черным захворать!»

Петр помнил, как ему после каждой приходившей из-за рубежа почты доносили о перемене настроения

Толстого: тот выехал, проклявши заранее то, что ему надлежало увидеть в поганой, чужой, грязной Европе. Однако после первых двух писем из Польши (в коих Петр Андреевич сокрушался по том, что он видит в Вене) настроение его переменилось, а в Венеции просто понравилось ему — порядок и красота, и люди не водку пьют, а чокелат, и одеты удобно для движения, а в Риме все друг дружке улыбаются куда как более, чем бранятся, и легко вступают в разговоры, и свободно входят во дворцы, где заседают коллегии юстиции и коммерции, и никто им путь не преграждает, и дамы отменно хороши оттого, что света в них много, солнечно.

Потом Толстой писать перестал, нанял себе учителей — а ему уж тогда пятьдесят стало — и принялся за изучение итальянского и французского языков; выучил легко, отказался от толмача; в Италии вельможи потрясались достоинством, юмором и умом доверенного петровского посланника...

...Покончив с гусем, Петр выпил еще одну рюмку, но тяжелый блеск его глаз был по-прежнему тревожен, хотя государь казался спокойным, и лишь тот, кто знал его много лет, мог заметить, что каждый мускул сильного лица, хоть и несколько одутловатого сегодня, с тяжелыми брыльями, собран воедино огромным напряжением воли. Отпусти себя Петр, позволь на миг взыграть чему-то тому, что изнутри тяготило его, щеку враз перекосит, глаз поползет вбок, лицо сделается испуганным, как у младенца, — зови дохтуров, приступ!

Раньше, до середины ноября, Екатерина была лучше любого лекаря; положит прыгающее лицо мужа на грудь себе, начнет гладить лоб и щеку мягкой большой рукою); поцелует вихрастый (хоть и с наметившейся проплешиной) затылок, и Петр затихнет, страданий и судорог не будет боле — уснет

Теперь, однако, после того, как Толстой и Остерман с трудом отговорили Петра от того, чтобы казнить августейшую супругу, — на следующий день после того, как был обезглавлен ее камергер, кавалер Виллим Монс, — император избегал бывать во дворце: Екатерина приглашалась лишь на официальные выезды, и Петр до того с нею был учтив и рассеян, что ясно было каждому: дни государыни сочтены.

Впрочем, что поражало самых близких Петру людей, чухонка держалась достойно, ни в чем перемены своего положения никому замечать не позволяла, — беззабот

ная улыбка не сходила с мягкого лица; участливость ее ко всем была прежней; оставалось только диву даваться: откуда столь высокий государственный ум в этой бабенке, подобранной светлейшим князем на улице в часы дымного упоения победой над грозным северным соседом.

«Только бы удержать ее; никого б не казнили, страх не нагоняло б ежечасный, — подумал вдруг Толстой, наблюдая, как Петр нетерпеливо, а оттого грубо резал окорок. — И нас как-никак пока слушает, не одного лишь Меншикова, и ум у ей скорый, а лицом и глазами так и вовсе словно б урожденная императрица».

Толстой не уследил за собою, дал волю фантазии, ужаснулся своей этой мысли, а оттого, словно бы от удара, откинулся на спинку высокого стула с витыми, голландской работы львино-мордастыми ножками.

— Ты что? — спросил Петр, будто бы угадав ужасную мысль Толстого. — А?

— Размышления всяческие сами по себе в голове шелобродят, — неожиданно для самого себя ответил Толстой полуправдою. — Дьявол в каждом сокрыт, и не всегда Бог над нами сильней.

— А ты молись чаще, — посоветовал Петр, и странная улыбка на какое-то мгновение смягчила его лицо. — Молись, мин фрейнд!

...Граф Пушкин намедни рассказывал Толстому, что когда Петр — по доносу мил друга генерал-прокурора Ягужинского — нежданно-негаданно вернулся из Шлиссельбурга во дворец, сказавши перед этим, что будет лишь через два дня, и застал в уединенном месте августейшую супругу в обществе своего любимца, кавалера и камергера Виллима Монса, а сестрица его, генеральша Балхша, сидела возле дверей, при карауле, да не укараулила, стерва, Петр, хрястко взявши за уши жену — вроде бы ласкал, — приблизил к ней свое белое, враз ставшее старческим лицо и сказал:

— Ну, молись, мин фрейнд!

На что государыня спокойно, но только шепотом ответила:

— По принуждению можно делать все, что угодно, только не молитву, тем более что, по-моему, ухо вами наполовину оторвано.

Петр разжал пальцы, отошел к камину, опустился на маленький стульчик, где только что сидел кавалер Виллим Монс, и словно окаменел.

Так продолжалось долго; Екатерина не смела шелохнуться; шершавили минуты аглицкие часы, медленно отзванивали свое, отскрипывали, и снова ужасающая тишина давила залу, давила все, что было в ней, даже столик, казалось, делался шатким, вот-вот ножки хрястнут, посыплются, не удержат саксонского, голубого фарфора статуэтку, — счастливый супруг с супругою, а вокруг херувимчики с детишками играют.

Облегченное освобождение от этой тяжести наступило, лишь когда Петр, словно бы сорвавшись, вскочил со стульчика, подбежал к окну, забранному тончайшим венецианским стеклом с сине-красно-желтым рисунком, и с размаху шлепнул ладонью по этой диковинной, чужеземной, сработанной итальянским мастером красоте. Стекло обсыпалось на пол белою искристой пылью, ни красного, ни желтого, ни синего цвета не было уже, одно слово — осколки; ладонь государя окровавилась; он переметнулся ко второму окну, что выходило в залу, где собирались придворные, и, не в силах удержать начавшейся пляски лица, крикнул, как выдохнул:

— И это в пыль превращу!..

Не поднимаясь с кресла, бледная до синевы, Екатерина ответила обычным мягким своим голосом:

— Стоит ли красоту превращать в пыль, государь? Куда как нравственнее пыль обратить красотою. Именно это угодно просвещенному гению.

...С тех пор государь не был в покоях Екатерины ни разу — полтора этих долгих месяца...

— Скажи-ка, мин фрейнд, — откушав окороку, обратился Петр к Толстому, — ежели со стороны смотреть, гораздо ли старше своих лет я ноне выгляжу?

— Моложе.

— Зачем лжешь?!

— А почему не веришь? — в тон Петру гневно возразил Толстой. — Если бы ты бородат был, патлат, в халате до пола, рукава до колен, тогда одно дело — дед, а коли ты словно молодой одет, брит, неряшлив, как истинный голландский шкипер, то не гляди, что плешив в малости и щеки будто у аглицкого пса пообвисли, — все одно моложе своих лет!

— Эк мед льет, хитрый фукс, — усмехнулся Петр. — В Венеции, что ль, при Дворце дожей, хитрости и лести Борджиевой выучился?

Толстой помнил, как его поразила Венеция; письма его оттуда были полны восторга.

Петр сразу же отличил, когда хвалили чужеземное, абы похвалить, чтоб ему сделать приятное и таким образом выслужиться, от того, когда говорили искренне. Ему было приятно, если бранили заграничное, — но по делу, не от тупого отрицания чужого, а оттого, что разобрались в существе дела и поняли, как у себя можно лучше и надежней сообразить.

Людей, которые считали, что он преклоняется перед западными мастерами оттого лишь, что они западные, Петр почитал дурнями.

То, как Толстой понял Италию, свидетельствовало о его недюжинном уме и широте взгляда.

А ему надобно было делом доказать свою нужность новому государю, ибо за границу он уехал вскоре после подавления стрелецкого бунта, и он знал, что Петру известно о его близости к повергнутой Софье. Лишь одно могло убедить государя в необходимости сохранить ему жизнь, ежели не свободу, — знание. И Толстой доказал свое умение постигать сокровенное, заставив итальянцев восхищаться его талантом политика и филолога.

Потом Толстой не раз доказывал Петру свою нужность: и в Порте, понудив Константинополь к миру, и в критические дни после бегства царевича, когда он выманил его в Россию и чуть ли не самолично провел дознание, и в делах с послами, аккредитованными в столице, и в переговорах со шведами. Доказал, а оттого сделался постылым любимцем.

...К удивлению Толстого, государь налил себе еще одну рюмку (вообще-то день его был — это восхищало Толстого — расписан по минутам, столь же тщательно было расписано и меню), выпил и, крякнувши, спросил:

— Посланник Виктор де Лю знаком тебе?

— Недавно еще прибыл, приглядываюсь.

— Хорошо ли приглядываешься?

— По мере сил.

— Ну-ну, — отозвался Петр. — Это отменно, коли по мере сил. Они у тебя немалые, а уж про ум и говорить нечего. Скажи, чтоб послали за де Лю, и перо с бумагою принеси, а я пока трубку набью и возле твоего очага погреюсь, коли разрешишь: надобно рукопись прочесть, до сих пор не поломал я нашу страсть вместо одного

слова писать двадцать, и все всуе, абы форму соблюсти. Сие не просто гневит меня, а ставит в тупик. Как быть дальше — не знаю... Кстати, верно ли мне донесли, что ты в коллегию отписал рескрипт, дабы бить кнутом тех молодцов, кои, будучи отправлены на учебу в Лондон, Рим, Амстердам и Тулон, сыскали там, отдыха ради, по бабенке?

— Поди разберись, отдыху ли ради, — ответил Толстой. — А коли завертит нашего молодца чужая баба?

— Ни одна иноземная баба русского не перекрутит! Это уж мне поверь! Прежде он ее в доску загонит и своим кутенком сделает. Баба, коли ее мужик проймет, словно воск, и не наш балбес, — как вы все тайно страшитесь — католичество примет, а, наоборот, тамошний бабец попросится в православие. Горько мне видеть, что ты начал боярской давлёжке поддаваться, кровным смешением себя пугать и тем, что, мол, духовная зараза у басурман сильна до крайности. Коли дома — здорово и дело каждому есть, духовная зараза к русскому человеку не пристанет. А поскольку мы все паки о чести своей радеем, то помни: коли нашим недорослям пока и есть чем за границею гордость свою выказывать, так вот этим! — Петр сделал рукой столь выразительный жест, что Толстой, расхохотавшись, вынул платочек, отер глаза, пообещал:

— Отзову свой рескрипт, пущай себе господа студенты обращают по ночам чужеземок в подруг православия, а значит, и державы Российской. Но днем наши сукины дети обязаны постигать науки: коли неучами вернутся — буду бить кнутом.

— С этим согласен. А то обидно: ты небось понял, как мастер Ен нам с тобою аршин загнал, отметивши, что у них каждый и в мелочи волен по-своему жить, — до гуся ли ему водку пить али позже, — какая разница! А у нас словес разводят по пустому поводу столько, что голову ломит! О чем радеем? Что отвергаем?! С чем согласны? Понять нас, когда все вместе мыслим, нельзя, а поодиночке — до сей поры страшимся, все скопом норовим... Ну, ступай, мин фрейнд, один хочу побыть.

Толстой вышел неслышно, а Петр, усевшись в низкое кресло, бросил в камин полотенце, которое сразу же запузырилось бело-синим пламенем (угли держали в очаге постоянно, подкладывая сухой березняк, ибо знали любовь царя к теплу и яростную нетерпеливость, — пока

разведут огонь, изойдет весь, страх как не может человек ждать; захотел — вмиг подавай, и все тут!). Тепло сделалось близким, а посему — ласковым, своим, бабьим. Петр достал из кармана типографскую верстку, разложил на коленках: «Юности честное зерцало»; умным нравилось, особенно в той части, где Петр требовал от родителей учить детей улыбчивости и предупредительности: «Как словно волки живем, на всякого скалимся, доброго слова не скажем, рявкаем да «нельзякаем», а ведь нет народа добрее и покладистей, чем наш, зачем же себя позорим в глазах иноземцев, которые во внешней воспитанности поднаторели?!»

...Посланник де Лю оказался человеком молодым еще, крепкого кроя, низкорослым; пальцы его были коротки и ухватисты — легко и, видимо, быстро собирались в кулак; шея коротка; голова словно у боксера, даже нос перешиблен (готовясь к встрече с посланником загодя, Петр затребовал у иностранной коллегии все данные, собранные на этого человека; значилось, что в юные годы работал толмачом в Лондоне при своем посольстве; значит, как и юные русские, отправленные туда на учебу, не мог не увлечься боксированием).

Посланник сделал поклон с растанцовкой, грациозно, но при этом казалось, то ли норовит уйти от удара незримого противника, то ли, наоборот, готовится нанесть свой; галантности мало, боксерского бойцовства — чересчур; английский штиль, ничего не поделаешь.

Петр, не поднявшись с кресла, шаркнул левой ботфортой, что означало ответное приветствие, и кивком пригласил посланника сесть рядом.

Тот, поняв, ответствовал обязательным в таких случаях отказом:

— Не смею, ваше величество... В вашем присутствии...

Петр зевнул:

— Мин зюсе, садись, коли приглашаю.

Виктор де Лю снова потанцевал на толстовском узорном паркете, выражая этим высшую степень благодарности, а затем не то что присел, а как-то акробатически прислонился краешком задницы к атласному креслу, что было по правую руку от любимого государева кресла.

— Ну, как живется-можется в нашей северной столице? — сонно поинтересовался Петр.

— Я восхищен той огромной работой, которая поразительна и восхищает всякого...

— Восхищает? А чем? — спросил Петр и чуть заметным взмахом руки повелел графу Толстому и денщику Василию Суворову выйти из зала.

— Город, поднимающийся на глазах, уже сейчас обретает черты столицы, равной по мощи разве что одному лишь Лондону. Одна широта пришпектов и величие набережных делают Петербург совершенно особым, не виданным ранее в Европе местом.

— Ишь, — усмехнулся Петр, — поднаторел ты, мин либер, в точности посольских словечек; послушать тебя, так у нас и прорех никаких нет, и мужик счастлив, и жулье вывелось — одно благоденствие.

— Все невзгоды, кои не могут не сопутствовать такому великому периоду, тревожат сердце просвещенного монарха, а посему будут преодолены в кратчайший срок.

— Не будут, — отрезал Петр. — В кратчайший срок не будут. Зачем лжешь? Протокол протоколом, а коли метишь в министры — а ты обязан в оного метить, де Лю, — не ври в глаза, не выдавай за действительное то, чего каждый монарх желает свой державе. Мелюзгой тебя станут твои же вельможи считать, а похуже того — трусом...

Виктор де Лю погасил в себе остро вспыхнувшее чувство обиды, потому что русский варвар при всей его грубости сказал вещи верные: и в министры посланник метил, полагая свою работу в Петербурге единственно надежной дорогой в правительственный кабинет, и клял себя (особенно утром, перед началом работы) за трусость и малость, до боли завидуя тому, как полномочные послы Кампредон и Ле Форт разговаривали на вечерних ассамблеях с министрами Петра: чуть ли не на равных, открыто высказывая критические мнения, а прусский чрезвычайный посол Мардефельд позволял себе (до ноября, пока Меншиков не был отстранен от дел и уволен в жесточайшую опалу) бесстрашно спорить со светлейшим едва ли не по всем аспектам внутриполитического положения империи.

Наблюдая себя со стороны, де Лю пришел к выводу, что трусость есть качество врожденное. Смелость, считал он, а особенно смелость слова, нарабатывается не годом и не жизнью, а поколениями, родословной, говоря точней...

Отец с трудом выбился в люди, сына учил осторожности, не подталкивал к великому, а, наоборот, советовал делать ставку на то, чтобы удержать накопленное, пусть даже малое.

...Петр задумчиво достал из одного из своих бесчисленных засаленных карманов пакет, увидев который де Лю побелел лицом.

— Мин либер, прочти-ка мне свое послание вслух, а?

Де Лю взял протянутые ему государем бумаги, откашлялся и, ужасаясь себе самому (но в самой глубине души восхищаясь), отчеканил:

— Ваше императорское величество, тайна переписки посланника со своим государем охраняется международным правом, и я не могу не протестовать противу того, что мое донесение стало известным третьему лицу.

— Я не лицо, де Лю! Я — государь всея Руси! Читай!

— Не стану!

— Ноздри вырву — станешь! — Лицо Петра перекосило яростью.

Де Лю закрыл глаза и обреченно покачал головой:

— Не буду.

— Ну, это хорошо, первый экзамен ты выдержал, — удовлетворенно заметил Петр. — А теперь смотри выгоду свою не пропусти, главную выгоду. И не вздумай листки в камин бросить, — я не посмотрю, что император, выгребу с угольев, — хоть копия с твоего поганого донесения у меня уж хранится в архиве. А что касаемо тайны переписки, то я охраняю ее, мин либер, охраняю сугубо требовательно. Только вот на несчастье суда нету: разбойники позавчера напали на почту, перебивши охрану; искали денег. Сегодня поутру мои солдаты настигли супостатов; прислали ко мне гонца, тот, огорченный происшедшим, тотчас передал мне письмо, вскрытое разбойниками. Так что не подумай дурного: случай, он и есть случай, куда ни крути. Читай, — миролюбиво заключил Петр, — дело поправимое, только читай, мне твой голос хочется послушать — я в нем для себя намерен главное выяснить, к твоей же, повторяю, пользе.

Де Лю долго откашливался, думая отказать государю, а затем — неожиданно для самого себя — начал читать:

— «Сир! События в Петербурге заслуживают того, чтобы быть описанными самым подробным образом. Мое ноябрьское донесение вашему величеству не включало — и не могло еще включать — сообщение о том, что потрясло северную столицу. Свершилось падение двух фаворитов Петра. Светлейший князь Меншиков был отправлен в опалу, якобы за хищения, и казнен камергер императрицы, кавалер Виллим Монс. Судьба этого человека — брата первой фаворитки государя Анны Монс — поразительна, как, впрочем, и все происходящее при здешнем дворе. Во время битвы под Полтавой Виллим Монс был адъютантом Боура и за отвагу, проявленную на поле брани, удостоился чести стать адъютантом государя. Через пять лет он был переведен камер-юнкером ко двору императрицы и с тех пор сделался персоною, весьма близкою к августейшей семье. Петр высоко ценил блестящий ум кавалера, его отвагу, красоту и знания. Однако же государыня, как оказалось, ценила в Монсе не только поименованные качества, но и другие, для нее, видимо, главные. Об этом — как выяснилось теперь — шептались при дворе, однако государь был глух к такого рода слухам, целиком доверяясь своей августейшей половине. Гром грянул в ночь на девятое ноября. Говорят, что гнев Петра был столь ужасен, что, когда он явился лично выспрашивать Монса, тот не смог ничего сказать, лишившись чувств от страха. В карманах камзола Монса были обнаружены два чудных портрета государыни в бриллиантовой осыпи и стихи, написанные рукою несчастного кавалера: «Любовь — моя погибель; в сердце моем страсть, и она станет причиной моего конца, ибо я дерзнул полюбить ту, которую мог только уважать!..»

— Строчка пропущена, — заметил Петр. — В русском переводе ты строчку упустил: «Даст махт их либен воллен». Сам небось перевод делал? Или от моих господ вельмож готовый получил?

— Я сделал перевод сам, государь.

— Плохо врешь, — убежденно сказал Петр. — Ну да бог с тобой, читай дальше.

— Увольте, ваше императорское величество.

— Я кому сказал, мин либер?! — не открывая глаз, сказал Петр.

— «Сказывают, — медленно, как бы преодолевая себя, продолжал де Лю, — что после того, как Монсу был вынесен смертный вердикт, его императорское величе-

ство поехал в острог и, по обычаю своему, взявши смертника за уши, приблизил его лицо к себе и сказал на родном языке кавалера: «Мне жаль тебя лишиться, но иначе быть не может».

— Неверно тебе донесли. Я сказал господину кавалеру Монсу, что и пес хозяйскую руку не кусает, понеже не годится такое человеку вытворять. Дальше!

— «После того как Монс спустя неделю был казнен, — продолжал свое мучительное чтение посланник, — и голову его воткнули на кол посреди площади, Петр, посадивши августейшую свою половину в коляску, повез ее мимо окровавленного трупа, близко заглядывая при этом в глаза государыни...

Через неделю Петр повелел заспиртовать голову Монса и, сказывают, установил ее в опочивальне венценосной половины, запретив выносить оттуда до особого на то распоряжения.

Вскорости после этого государь провел тайные советы со своими ближайшими помощниками; уволил в опалу Меншикова и, сказывают, начал готовить ряд перемещений в кабинете, дабы привести к управлению не столько представителей ныне уже знаменитых семей, сколько простолюдинов, обученных и проверенных им в ратных и строительных делах. Симпатии государя к этого рода работникам, никому ранее неведомым, делаются очевидными чем дальше, тем больше.

В случае такого рода поворота следует ждать новых реформ, дающих еще больше свобод внутри державы, особенно тем, кто имеет страсть к делу, будь то флотостроение, торговля, металлургия или же создание аптек и клиник, коих пока еще мало в России...

Можно было б ждать новостей уже в начале генваря этого, нового, 1725 года, однако ж государь, сказывают, усугубил свою осеннюю хворобу, простудившись шестого числа на церемонии водосвятия во время праздника Крещения...»

— Мин либер, — прервал посланника Петр, — сегодня у нас девятое, а я и не думал студиться, — как видишь, в полном здравии. Кто тебе об этом донес?

— Кричали на папертях, ваше императорское величество, — ведь я в русские церкви тоже хожу вместе с моим помощником Фридрихом Файном.

— Юродивые ныли?

— Нет, говорили в толпе: мастеровые, капитаны, торговцы.

— Таким образом, ты хочешь упредить мой следующий вопрос про то, что к тебе поздним вечером на подворье с новостью о моей простуде никто из посланцев от господ вельмож тайно не приходил?

— Готов поклясться.

— Иди к столу... Перо там тебе приуготовлено, бумага тоже, устраивайся и пиши новый рапорт своему великому князю, — я самолично стану диктовать. Пиши, пиши! Я ж не зря говорю — к выгоде твоей случилось разбойное дело. А то, что я продиктую, разнесешь коллегам — парижскому Кампредону сообщишь доверительно, и саксонцу Ле Форту, — пущай спорят и строят догадки, смеются — мое тебе будет за это благорасположение. Итак, пиши: «Сир! Во дворцовых кругах говорят, а граф Толстой с Ягужинским подтвердили мне, что Петр намерен провести ряд реформ в торговле и промышленности, дабы покончить со взятками и казнокрадством не буквою, но духом будущей российской жизни, в которой выгоднее и недежней быть честным в тяжкой работе, но богатым зато, чем вором — в хитрованстве супротив законов, да в лености. Для сего дела, сказывают, Петр готов на все. И верно, в ночь на девятое ноября прошлого году был схвачен его и государыни любимец кавалер Виллим Монс, причем был барабанный бой, и солдаты клеили афиши, в коих сообщалось, что Монс с сестрою, генеральшею Балхшихою, за то заключены в каземат, что брали взятки. Через неделю с лишком был объявлен государев рескрипт: «Шестнадцатого числа сего ноября в десятом часу пополудни будет на Троицкой площади экзекуция бывшему камергеру Виллиму Монсу да сестре его Балхше, подьячему Егору Столетову, камер-лакею Ивану Балкиреву — за их плутовство такое, что Монс и сестра его, будучи при дворе его императорского величества, вступили в дела, противные указам государя, и укрывали виновных плутов от облегчения их вин, и брали за это великие взятки...» Теперь тебе надобно дать подробности, мин либер, каковых никто из здешних твоих коллег не знает. Допиши, что Монс за услугу, которая заключалась в том, чтоб протолкнуть через государевых помощников ту или иную просьбу, от кого шестерку лошадей брал, от кого — коляску; очень ценил атлас и опахала из Бэйцзина... Допиши, что Петр смилостивился над Балхшихою, когда та на площади слезою молила о пощаде, и повелел ей дать вместо десяти кнутов только пять —

перед отправлением в Тобольск на вечное житье... Закончил?

— Да, ваше императорское величество.

— За спиною ты меня не величеством обзываешь, — усмехнулся Петр, — а бомбардиром... Я не в обиде... Только к бомбардиру не забывай слово «господин» приставлять, а то неуважительно звучит, словно о какой собаке речь идет, особливо такие клички в ходу у капитанов голландских торговых фрегатов, — те любят так называть волосатых своих черных псов. Добавь для куражу, что Петр повелел детей Матрены Балхши — камергеров и пажей императрицы — отдать в солдаты... Припиши и еще: мол, сказывают, что государыня — чистая, доверчивая душа — так была потрясена коварством своего камергера, что соизволила произнесть фразу, разглядывая отсеченную голову Монса: «Как грустно, что у придворных так много еще низких испорченностей в натуре».

Петр замолчал надолго, словно забыв о посланнике, а потом закончил:

— А далее, де Лю, пиши то, что тебя в глазах великого князя подымет и откроет тебе путь вверх. Пиши так: «Коли получу от вас, сир, дозволение, то смогу — благодаря наладившимся связям с приближенными русского государя, а особливо денщиками его Суворовым и Поспеловым — обговорить заранее выгодные нам контракты на русское парусное полотно, которое ныне и лучше, и дешевле голландского стало, а с нашей стороны можно — с превеликой для нас пользою на будущее — отправить в Россию минералогов для поиска железных руд и углей, а этого добра в громадном изобилии хранят недра страны варваров...» Пиши, пиши, не вздрагивай, мин либер! Что ты, право, как девица — слова «варвар» пугаешься?! Какая тебе будет вера, коль мордою нас об стол не повозишь? Пиши: «...норов россиян таков, что коль идти к ним с добром и открыто объяснять свой резон и ожидаемую от оного выгоду, то они, переборов свой страх перед иноземцами, будут отменными партнерами в деле, не подведут; коли обманут — то в неразумной купеческой малости, но в главном лучше себе сделают убытки, чем тому, с кем ударили по рукам, ибо чувство собственного достоинства в них сильно до чрезвычайного...».

Петр снова замолчал, потом потухшим голосом заключил:

— Остальное сам сочини: о капризной погоде, о том, как Ле Форт пьяным напился у канцлера Головкина на ассамблее, да поторопи своего сира с ответом, ибо через неделю я еду в Ригу, осматривать гавань, а вернувшись — сделаю новые распоряжения державе, к коим вам надлежит быть готовыми.

— В течение двух-трех часов я напишу мое донесение заново, ваше императорское величество, и отправлю его немедля.

— А зачем еще раз переписывать? — удивился Петр. — Ты здесь про погоду, про то, как часто снег на дождь меняет, добавь пять строчек, я подожду, сам и отправлю, — моя ведь вина, что твое донесение вовремя не попало к великому князю.

Де Лю съежился, задумался над листом бумаги, потом отточил перо еще более и начал старательно и очень быстро писать.

Пять минут прошли в тишине.

Потом де Лю передал государю две страницы. Петр быстро пробежал их, кивнул:

— Молодец. Ступай, бог с тобою...

Ботфортою государь шаркать не стал, несмотря на то что посланник, сияя глазом, танцевал весь путь от стола до двери.

Как только гостя проводили к экипажу, в залу вошел Толстой.

— Подслушивал? — спросил Петр.

— Да уж не без этого.

— Отправь почту с чрезвычайной оказией.

— Снаряжу немедля.

— И еще — даю тебе два дня сроку: вызнай, кто так рьяно печется о моем здоровье? Кому выгодно сделать меня хворым на радость Европе?

— Но ведь вы сами не делали тайны из того, что ездили пить олонецкую воду нынешним летом. Всем известно и то, как после коронации государыни императрицы вы изволили врачевать себя московскими минеральными водами.

— Врачевать?! Вздор! Водами лечиться нельзя, водами должно гадость из себя вымыть! Сие — профилактйк! Корабль, чтоб сто лет служил, нуждается в постоянном осмотре; организм человеческий — в том же! Что ж не пеклись о моем здоровии, когда я на глазах у всей Европы карлсбадские минеральные воды вливал в себя чуть что не ведрами, чередуя с пивом и кузнеч-

ными упражнениями в Бжезове?! Почему тогда никто о моем здоровии не пекся? Ты-то сам мне только-только пел, что я крепок, как столб! Брюхо лишь временами дает о себе знать, да и то после ассамблей! Нет, кому-то очень хочется уложить меня в постель и попотчевать снадобьями и лекарствами... Каков резон? Кому на выгоду? Кому во вред? А? Толстой?

Тот ответил не сразу; долго смотрел на пламя в камине, потом спросил:

— Когда будем служивым в коллегиях жалованье выдавать, государь? Два года уж не платили.

— Они наворовали за эти два года на двадцать лет вперед!

— Кормить семью надо, ты не платишь, поневоле станешь плутовать.

— Головы им, бездельникам, сечь надо!

— Плати — тогда секи; позволяй — тогда требуй. А так ведь словно какая ржа ест государево дело.

— Отчекань денег — уплачу.

— Ты не у меня проси, ты у своих фабрикантов проси и купцов, пускай золотом заем дадут, всем они тебе обязаны, любимцы твои...

— Они — мне?! Нет! Мы им обязаны! Горе только, мало таких промышленных да торговых людей в государстве, страх живуч; думных да казенных крыс исстари все боятся, так и ждут, что приедет какой черт из столицы и почнет: «Нельзя, не велено, покажь бумагу, дай отчет, не позволю!»

Петр поднялся, подхватил палку, пошел прочь, не попрощавшись; у двери, не оборачивая головы, повторил:

— Сроку даю — два дня. Гусь был отме́нен, благодарю.

...Но уходил он отсюда не так, как раньше; песни старого дружества в его сердце не было с того самого дня, когда Толстой с Остерманом понудили его не казнить Екатерину.

Никакие доводы не могли поколебать Петра — он был намерен свершить возмездие через неделю-две после того, как улягутся разговоры о Монсе, однако же Толстой бросил ему в лицо страшное:

— Ну ладно, ну, обида жжет, понимаю! Но тебе не тридцать уж и не сорок! Об детях подумай, государь! О Елисафет с Аннушкой! Кому отдашь престол? Детям шлюхи? Значит, снова после тебя придут боярские чу-

мырла в своих халатах Россией править и на все, что ново, станут «нет» говорить твоим подданным! Неужели этого ты России желаешь?!

Слова Толстого сломили государя.

Он тогда сник, съежился, махнул рукою, отошел к окну, дабы господа вельможи не заметили слез, сверкнувших в уголках его огромных глаз.

Дружба с того дня кончилась, осталось лишь одно, но, видимо, главное: общее дело.

4

Хотя всю жизнь Даниелю Дефо приходилось заниматься зарубежными внешнеполитическими акциями, тянуло его тем не менее в сердцевину событий, поскольку ему казалось, что все и всегда начинать надобно с Лондона; именно здесь, полагал он, следует придумать интригу, распространив ее на материковую Европу, Турцию, Персию и на новые территории, открытые португальцами за океаном.

Именно поэтому, получив в Адмиралтействе данные наблюдения за членом русской миссии Гаврилой Епифановым, который в отличие от своих коллег не очень-то посещал боксерские школы в Ист-Энде, пил умеренно, по лавкам не шастал, деньгу не скупердяйничал, но зато каждый свободный день проводил в храмах, умно обсуждая с пастырями идею доступности веры, Дефо принял решение провести первую встречу с иноземцем.

Уже много лет Даниель Дефо (задолго до того, как опубликовал свою, как он шутил, «безделицу» о Робинзоне) по праву считался признанной звездой британской секретной службы. Поскольку в голове писателя рождались поразительные сюжеты книг, руководители внешнеполитического департамента никогда не обременяли его изучением проектов предстоящей работы; ему лишь излагали суть, обсуждали вероятия, ждали несколько месяцев, пока он писал, бражничал, увлекался очередной актрисой из труппы Королевского театра; затем, когда он приступал, внимательно следили за виртуозной работой своего любимца. Однажды, заметив за собой слежку, Дефо раздраженно спросил главу Адмиралтейства, кто ведает службой «близкого сыска». Сэр Дэниз понял его немедленно и ответил:

— Называйте кошку кошкой, дорогой Даниель. Из рапорта я уже узнал, что вы обнаружили за собою

наблюдение, поэтому вас интересует, не кто ведает службою, но отчего шеф службы санкционировал наблюдение за вами. Вы это хотели спросить?

Дефо медленно вытер чуть не жестяной — так накрахмалена — салфеткой свои толстые чувственные губы, отодвинул прибор, где не осталось ни кусочка пищи (он вытирал за собою тарелки коркой хлеба, ибо не терпел, когда яства оставались недоеденными, — сказывалась жизнь в деревне, на севере, куда его вывозили на лето, ребенком еще, отдавая на попечение крестьянской семье Томпсонов), и заметил:

— Как писатель я должен был бы ответить вам ложью — в том смысле, что не замечал за собою никакой слежки и что мой интерес лежит совершенно в иной сфере, — но как разведчик я обязан говорить правду, и эта правда не может вам не быть неприятной: вы поняли меня верно.

— Даниель, за вами следили, следят и будут следить наши люди. Контроль обижает суетливых жуликов, которые — в силу своей малости — трусливы и недальновидны. Вы — глыба. Контроль нужен м е х а н и к е службы, ее, если хотите, заданности. Это первое. Во-вторых, за вами следят оттого, что вы лезете в пасть ко львам, а корректировать вас нецелесообразно, ибо вы можете обидеться и уехать к себе в Йоркшир, где вас ждет охота на лис, перо и бумага. И наконец, в-третьих, мы смотрим за вами для того, чтобы учить потомков виртуозности и уму на примере вашей вдохновенной службы короне. Вы удовлетворены ответом?

— Сначала откройте литературный колледж для юных Дефо, — усмехнулся писатель, — а потом готовьте курс лекций на основании данных слежки, собранных ближней службой наблюдения над Дефо-старым.

— Я могу открыть хоть пять колледжей, — ответил сэр Дэниз, — однако сие не поможет появлению нового Дефо, и это, увы, не комплимент, а суровая действительность. Появятся Кэмпбеллы со своими слабыми подражаниями Шекспиру, Ливерсы, которые тщатся писать сонеты, а выходят ублюдочные стенания графомана с хорошей памятью о детстве, литературные мокрицы типа Гилдона... Нет, мой друг, Бог наградил Британию одним-единственным Дефо, в этом наше счастье и несчастье одновременно... Вас знает мир, вы не нуждаетесь в похвалах венценосных ценителей, которые готовы — во имя интриги — вознести бездарь и замолчать гений...

— Вы считаете меня гением? — рассеянно поинтересовался Дефо, взглянув при этом на бутылку сухой мадеры.

— Пейте, пейте, — сказал сэр Дэниз, — слуга войдет, когда мы кончим деловую часть беседы, так что наливайте сами. А гением я вас действительно считаю, оттого что известность вы завоевали не саблей, не новым законом о наказаниях или, наоборот, заигрыванием с чернью, но пером. Человек, сам сделавший свое имя, гениален...

Дефо выпил мадеры, хмыкнул:

— Я могу передать ваши слова моим подругам?

— Им — можете; только эти слова далеко не уйдут: донесение ляжет на мой стол наутро после того, как вы пошепчете об этом потаскушкам после хорошего ужина в ресторанчике Чарли...

— Все-то вы про меня знаете, — вздохнул Дефо и так посмотрел на сэра Дэниза, что тот понял: «Ничего я о нем не знаю; только одно знаю, что верю, восхищаюсь им и люблю».

После того как сэр Дэниз попотчевал любимца Лондона шоколадом, угостил каким-то диковинным напитком из деревянного сосуда, подаренного ему португальским посланником, провожая уже Дефо к двери, подбросил:

— Мой друг, не согласились бы вы оказать услугу первому лорду и мне?

— Услуга — это добро; добро повышает настроение человека; хорошее настроение первого лорда сулит милости подданным, как же я могу отказать себе в наслаждении услужить соплеменникам?

— Такое согласие больше похоже на отказ...

— Для отказа, сэр, я употребляю лишь одно слово — «нет». Я к вашим услугам... Точнее, — Дефо улыбнулся, — услуге, как вы изволили заметить...

— Спасибо. Не согласились бы вы встретиться с русским послом? Он умен, осторожен, и разговорить его можно лишь в тех сферах, которые существуют для того, чтобы скрыть сердцевину проблемы. Он будет рассказывать вам об охоте, полотняном производстве в Калуге, сибирских тайнах, эт сетера, эт сетера. А нас интересуют оппозиционные группы в столице России, особенно северной; в Москве у меня есть надежные информаторы. Нас очень интересует Россия, ибо с приходом Петра мир изменился, его держава перестала быть окраиной, он — факт европейской жизни, мне это не нравится: медведя

надобно вернуть в берлогу.

— Вы думаете, это возможно?

— Думаю, да.

— А сколько это целесообразно?

— Пусть судят потомки; не согласятся — внесут коррективы...

Дефо вздохнул, покачал головой, заметил:

— Если русский посол не открывался вашим коллегам, почему вы думаете, что он откроется мне?

— Потому что вы — Дефо.

— Я Дефо для вас. Для него я ничто. Может быть, целесообразнее побеседовать и завязать отношения с кем-то из молодых его коллег? Я не совсем согласен с теми государственными мужами, которые делают ставку лишь на тех, кто состоялся. Меня как раз интересуют те, кто упрямо и алчно намерен состояться...

— «Алчное намерение состояться...» — повторил сэр Дэниз. — Страшно сказано... И не отделяйте вы, бога ради, нас, политиков, от себя. Я не знаю, кто из нас больший политик, ибо каждая ваша книга — это мир, живущий по законам, созданным вами, но восторгающим читателей, которые верят в их существование.

— Спасибо.

— За правду не благодарят.

— Я — благодарю.

...Епифанов оказался сухощавым блондином с острыми голубыми глазами; веки чуть припухлые, казавшиеся от этого треугольными; голос был певуч («Вероятно, в детстве страдал заиканием», — подумал Дефо); улыбался внезапно открыто, отчего лицо его освещалось как бы изнутри, обретая черты юношеские, ломкие, в чем-то обидчивые даже.

Обменявшись первыми фразами, Дефо поразился тому, что московитяне обладают поразительным даром улавливать чужой язык, особенно в его музыкальном выражении; не зная, что собеседник — русский, никто в Лондоне не смог бы угадать в Епифанове иностранца: ч е с а л, словно коренной англичанин; впрочем, можно было допустить порок по материнской линии — то ли скандинавский слышался акцент, то ли гамбуржский, но уж никак не славянский.

— После великого Петра, которого я имел честь и восхищение видеть в Лондоне, — сказал Дефо, когда обязательные слова были проговорены и настало время второй, вводящей в суть дела фразы разговора, —

вы первый русский, с которым я встречаюсь с глазу на глаз.

— А я впервые встречаюсь со знаменитым газетчиком.

Беседовал Дефо с Епифановым в маленьком ресторанчике Чарли «Олд Питер», неподалеку от гавани; сейчас еще здесь было пусто — всего четыре часа пополудни; моряки, актеры и негоцианты собирались к десяти, когда Чарлз обжаривал в очаге кроликов, густо нашпигованных кабаньим салом, морковью, луком и чесноком; пахло поэтому в ресторанчике до того вкусно, что не отведать жаркого просто-напросто нельзя было. Сейчас, однако, кроликов еще только шпиговали, поэтому к столу подали лишь одно вареное мясо, соленый сыр и эль, который варил в пригороде Лондона шурин Чарлза, старый Хэмфри, невозможнейший хитрец, добавлявший в брагу лимонный сок и тертый хрен; явный отход от традиции, но коль вкусно — кто станет спорить?! (Первым здешний эль оценил Свифт, — когда у него начинался запой, он не уходил от Чарли; очень много ел, ругал на чем свет стоит короля, церковь, парламент, своих прихожан; себя величал «попом-безбожником»; Чарли обзывал бандитом, а Дефо всегда жалел, гладил сухой длинной ладонью по голове, шептал: «Только один я понимаю, как тебе горько жить, мой бедный мальчик! Ты ведь мечтал стать живописцем? Или трубадуром, — только бы не слагать слова мудрости, будь они трижды неладны!..»)

— Знаменитый, как вы заметили, газетчик — обжора, — сказал Дефо. — Как вы отнесетесь к тому, если нам зажарят фазана?

— Все новое интересно мне, но не более того, потому что высшее наслаждение человека не еда, не застолье, но собеседование, поиск совместной истины.

— Истина не бывает совместной. Истина, как и женщина на ночь, должна быть собственностью человека. Что же касается еды, то не сама по себе она интересует меня, — еда есть одна из форм выявления человеческого вкуса. Стол, по-моему, есть выразитель термина «ощущение», который и определяет все на свете, не так ли?

— Я пока еще не понял вас, сэр Даниель.

— Поясню. «Ощущение» и «вкус» увязаны нерасторжимо. Вкус может доставлять человеку как счастье, так и горе. Увы, исследуя предмет вкуса, я пришел к выво-

ду, что человек значительно легче сносит горести, нежели чем счастье. Именно так! Холодный суп, простоявший в тепле, вызывает досадные ощущения: вас мутит, в животе начинает бурчать, из-за этого над вами смеется любовница, вы вне себя, а тут еще сосед неловко задевает вас локтем; вы не даете ему даже мгновения, чтобы он принес извинения, бьете его по лицу; дуэль назначена; вы сражаетесь на кинжалах; в самый ответственный момент у вас начинается новая схватка внизу живота; противник видит вашу слабость; удар — и вы ушли в небытие! Счастье, которое доставляет вам отменный вкус, не надоедает, вроде старой любовницы или капризного ребенка, я уже не говорю о благодетеле в канцелярии, пред которым вы обязаны благоговеть, ибо получаете с его подачи орден и чин...

— Наверное, вы не переписываете страницы своих манускриптов, — улыбнулся Епифанов. — Вы говорите так, будто слова являются вам за мгновение перед тем, как вы их произнесли.

— Когда манускрипт правят, это свидетельствует о плохой работе: литература, как и любовь, внезапна, и стратегия ее развития подчинена логике, неведомой нам... Итак, фазан... Чарли, фазан! И эль, много эля!

— А вы слыхали про трюфели? — поинтересовался Епифанов. — Особенно про те, которые растут в Африке?

— Трюфели? — Дефо удивился. — А что это?

— Это земляной гриб. Его ищут дрессированные собаки... Трюфели сообщают силу мужчинам и делают женщин любвеобильными.

— Да?! Поразительно! Где вы узнали про них?!

— Кажется, первый их помянул Ювенал, но, возможно, я ошибаюсь.

— В России они есть?

— В России может быть все, — ответил Епифанов. — Надобно лишь приложить руки. Климат наших южных районов вполне позволяет растить трюфели.

— Что вы называете российским югом?

— Территории, расположенные к югу от Азова.

— Но там турки!

— Пока.

— Да? Что ж, прекрасно! Но, думаю, вам все-таки выгоднее возить трюфели в Лондон через Балтику; путь через Босфор закрыт для вас, а дабы открыть его, надо будет пролить реки крови.

— Пока, — повторил Епифанов.

— Не понял... — Дефо становилось все труднее идти за русским; тот легко владел искусством собеседования, хотя лицо было благодушно, а в голосе звенела наивность и чуть ли не постоянное детское удивление.

— Я говорю, что торговля лишь пока связана с войнами. Но ведь это пройдет? Это ведь, — Епифанов снова улыбнулся, — безвкусно — перечить обмену силою оружия...

— Теперь я до конца убедился в том, что вы нация мечтателей!

— Мечтание более по душе мне, чем каждодневность, ее скука, а оттого — неверие в истинное благо.

— Видимо, вы не занимаетесь политикой, — подставился Дефо. — Мне кажется, что ваше призвание, постигнув языки, заниматься делом людского сближения через посредство перевода мыслей и слов, их определяющих.

— По-русски моя профессия действительно называется «толмач», то есть переводчик, вы угадали...

Дефо вздохнул: «Угадал. Я знаю все о тебе, даже то, что ты ешь на завтрак и какие делаешь покупки в лавке, где торгуют писчими товарами».

Отломив ломтик мягкого, бело-желтого соленого сыра, Дефо спросил:

— Вас очень тянет на родину, мистер Епифанов?

— Да.

— Как долго намерены прожить в Лондоне?

— На то не моя воля.

— Нравится у нас?

— Нет.

— Отчего?

— Когда туманы, жить тяжко, гнетет...

— Вы правы. Поэтому англичане так любят путешествия в земли, расположенные много южнее Азова.

— А я северянин, жару не люблю, меня всегда влечет в светлые ночи...

— Не понял...

— На севере весною солнце почти не заходит, небо молочное, а сосны стоят красные, тишь, только гуси кричат на пролете...

— Слагаете стихи?

— Песни люблю... Как угадали?

«Угадал, — снова горестно подумал Дефо. — Если бы я мог угадать все, я бы сравнялся с Шекспиром. Я все о тебе прочел, юноша, я перестал угадывать,

я забыл про это, я сочиняю, и, когда сочинение п о п а д а е т в правду, происходит чудо».

Дефо налил Епифанову эля:

— Здоровье русского гиганта Петра Великого!

— Дай бог! — ответил Епифанов.

Выпили до конца; снова закусили соленым сыром.

— Очень завидуют ему? — спросил Дефо.

— Кто?

— Соратники...

— А ему равных нет.

— Так ведь завидуют именно те, кто ниже.

Дефо имел основание говорить так: он не мог забыть того дня, когда его коллега Гилдон опубликовал подметную брошюру против «Робинзона», обвиняя Дефо в вымысле и лжи; он полагал, что этим «откровением» убьет успех романа, объявленного документальным. Прочитав памфлет, Дефо съежился, несколько дней не выходил из дома, полагая, что издатель расторгнет с ним договор. Однако народ любит то, во что поверил; автора можно заточить в Тауэр, убить, но персонаж — если он вошел в дома людей — вечен. «Робинзон» стал книгой-скандалом — лучшая реклама, гарант популярности; издания шли нарасхват.

Тем не менее Дефо не скоро оправился после того удара: Гилдон был его приятелем — они вместе начинали, их связывала если не дружба, то уж, во всяком случае, доброе знакомство.

Успех коллеги для окружающих его есть пробный камень доброжелательства, то есть порядочности.

Свифт тогда уже уехал в добровольную эмиграцию в Ирландию, встреча с ним была невозможной; раньше Дефо лишь возле него находил спокойствие и в мудрой снисходительности друга черпал силы для того, чтобы не п о д д а т ь с я. Дефо остался один; его имя было на устах у всех. Гилдона же предали презрительному осмеянию, книга расходилась ураганными тиражами, чуть ли не по тысячи экземпляров в квартал, а сэр Даниель тем не менее проводил дни у себя на кухне, много пил, почти не спал, в сердце его была постоянная боль, а из головы не уходил навязчивый, разноголосый вопрос: «За что? Господи, ну за что же?» Эль не помогал: забвение не наступало; именно тогда Дефо впервые в жизни понял, что такое страх.

«Ничто так не страшно, как предательство тех, кто рядом, — подумал сейчас Дефо и, глядя на Епифанова,

вспомнил отчего-то, что именно Свифт, угощавший Дефо отменным чокелатом в маленьком деревянном кабинетике в своем журнале «Исследователь», сказал: «Когда сэр Вильям Тэмпл отправил меня в Лондон с письмом королю, я встретился с русским царем. Двор подсмеивался над ним, а я понял, что вижу самого могучего политика столетия, о котором только может мечтать каждый народ Европы. Но именно потому, что он по-настоящему велик, путь его будет пролегать сквозь тернии: зависть в политике еще страшнее, чем тайная злость, царящая в нашем мире газетчиков, где все, словно дворовые псы, цепляют за ляжку клыками того, кто посмел вырваться из стаи даже на полголовы вперед. Но у нас хоть есть защита — память поколений. Государственный муж лишен и этого: слава его ненавистна преемникам, они ведь мечтают о своей славе, а она возможна лишь в том случае, ежели слава ушедшего будет отринута брутально, но в то же время презрительно».

— Как эль? — спросил Дефо.

— Хорош.

— А мне кто-то говорил, что русские бранят его; любят лишь свой мед.

— Верно, — легко согласился Епифанов. — Мы вообще-то больше прилежны своей пище. Наши страдают без борща, например, или без свежего каравая...

— Каравай? Это что?

— У нас такие хлеба пекут. Форма у них особая, да и вкус свой...

— Вкус хлеба везде одинаков.

Епифанов улыбнулся:

— Ну уж...

— Не согласны?

— Конечно, не согласен.

— Даже «конечно»... Эк вы своему приписаны... А церковь наша тоже не нравится?

— Страшит, — ответил Епифанов.

— Чем же?

— Обычностью своею... Праздника нет, один долг и страх перед Богом.

— Вообще-то Бога бояться не такой уж большой грех, это спасает многих от такого свинства, которое трудно сдержать законом.

— Ваш «акт о мятеже» сдерживает всех.

Дефо потянулся к кувшину, разлил эль по кружкам и лишь после этого поднял глаза на собеседника. Его

последняя фраза заставила великого англичанина заново — в доли секунды — проанализировать весь предыдущий разговор, сделать вывод, внести коррективы на будущее. Фраза свидетельствовала о том, что собеседник далеко не так прост, как кажется, и что его милая застенчивость, столь понравившаяся поначалу Дефо, есть маска опытного дипломата, ведущего свою, совершенно от Дефо отдельную партию. Действительно, «акт о мятеже», принятый десять лет тому назад, вызвал на Острове множество разнотолков. Этот закон предписывал судьям монархии право и обязанность требовать разгона любого собрания, где было более двенадцати участников, если, особенно, собрание это признавалось мятежным. Отказ повиноваться позволял открывать огонь или же атаковать саблями наголо.

— Я противник этого акта, — откинувшись на деревянную спинку высокого стула, ответил наконец Дефо. — Он кажется мне наивным и трусливым.

— Вы не боитесь говорить так с иноземцем?

— Как правило, опасно говорить со своими, от них жди подвоха. Но я не скрывал своего мнения и от своих. Оградить можно землю; мысль не поддается огражденью. Мысль — явление особого рода, она делается отточенной, когда ею обмениваются, как деньгами на базаре. Да и потом, понятие «мятежность» — сложная штука; поколения должны смениться, прежде чем утвердится истина. Может быть, мятежное на самом деле окажется единственно правильным, а умеренное, привычное — мятежным, ибо мятеж есть не что иное, как захват чего-то кем-то... Был ли Кромвель мятежником? Не убежден... Каким его образ будет рисоваться нашим внукам? Не знаю... Относительность надежнее упрямой убежденности. Согласны?

Епифанов тоже ответил не сразу; он не очень-то даже и скрывал неудобства; Дефо отметил это сразу же, остро; на какой-то миг в его сердце возникла жалость к русскому.

— Мне трудно говорить, сэр Даниель, ведь я чужестранец...

— Каждый чужестранец рассматривает страну, куда он приехал, не отвлеченно, а надеясь извлечь пользу из дурного или хорошего опыта для своей родины, не так ли? Разве возмущение стрельцов не было раздавлено такими же законами — если не по форме, то по смыслу? А разве у них не осталось последователей? Разве не со-

бираются они и поныне тайными группами, чтобы обсуждать и осуждать реформы вашего государя?

— Вам по душе, чтоб они имели право открыто собираться и звать к мятежу? Или разумен запрет на бунт?

— Ваш долг и право заниматься вашими делами; я говорил о том, что мне не нравится в моем доме. Наш «акт о бунте» не нравится мне...

— Ваши бунты шли от тех, кто хотел расшатать власть монарха во имя торжищ. Мятеж наших стрельцов был рожден страхом за то, что власть монарха покоблена, устои расшатаны, торжище взяло верх над духом, истинно русское предано...

— «Истинно»? А что это такое — «истинно»?

Епифанов ответил сердитым вопросом:

— А что такое «истинно английское»?

— Такого нет, — убежденно, а потому смешливо сказал Дефо. — Наш язык есть всего лишь германская ветвь; наша архитектура рождена поначалу романским стилем; готикой — потом, а уж завершила ее развитие школа Италии, их Возрождение; наша живопись никогда не стала бы любопытной, не подготовь здешних мастеров великие иноземцы Ван Дейк и Гольбейн... Мы — жаркое из разных сортов мяса, со специями, картошкой и морковью... Слава богу, что теперь это блюдо заключено в одном котелке и его запах не разлагается на компоненты, — вкусно, и все тут! Я видел гравюру с портрета вашего государя: за ним сидел какой-то азиат, кажется, калмык, охраняя российский скипетр... Не к тому ли стремится и ваш великий государь, чтобы в одном котле замесить единое?

— Вот стрельцы и встали...

Дефо облокотился острыми локтями об стол, передвинулся к Епифанову и прошептал:

— Оттого они и нравятся многим по сю пору? Вам и многим вашим друзьям тоже, разве нет?

...Чарлз принес фазана, заменил порожний кувшин новым, полным до краев; присел на краешек стула, разрезал птицу, похвалил свою кухню, побранил священную особу монарха, который сквозь пальцы смотрит на рост оптовых цен, взвинченных купцами, пожелал приятного аппетита сэру Даниелю и его молодому другу и отправился готовить кроликов.

...Форсировать продолжение разговора Дефо не стал; он исповедовал постепенность и в литературе, не позволяя себе работать за полночь, и в разведке, причем ему

казалось, что если порою в литературе можно нарушить правило, особенно когда вещь шла к концу и строки сами по себе ложились на тяжелые страницы тряпичной бумаги, то в политике — а разведка, считал он, высшее ее появление — поспешность преступна, порою смешна, и ничто не спасет того, кто смешон, ибо это — раз и навсегда, будто тавро на крупе лошади. Да и подумать следует: молодой русский воистину не так прост, каким норовит казаться; слишком очевидна мысль, бьющаяся в глазах, которая значительней слов, им произносимых. Ему есть что сказать, но он ждет, он, видимо, норовит увлечь.

«Вот и поувлекаем друг друга, — улыбнулся Дефо самому себе. — Кто кого пересмешит. А оппозиция Петру есть, сэр Дэниз прав, — юноша говорил об этом так, будто я русский, которому известно все о происходящем в Московии. Не было б там противников реформ, он бы не смог сыграть их наличие — слишком еще молод. Но Петр подбирает себе цвет страны, сие — истина. Велик, воистину велик, норовит будущих помощников стругать по своей мерке».

...Вернувшись в посольство, Епифанов отправился к себе на антресоли, разделся, не зажигая свечи, лег в холодную постель и начал сочинять отчет Петру, убедившись еще раз, как мудр был государь, напутствуя его перед дорогой: «Наши дремучие бояре лондонских мудрецов интересуют; суть их интереса тебе надобно понять, изучить, и не с моей препозиции, отселе, из северной столицы, а с их разумения и прикидки. Британцы — люди ловкие, им тот у нас друг, кто за старое цепляется и посему к новому не пускает державу. Подставься им, они налетят. Причем — верь мне — налетят самые умные, ибо Франция со Швецией свое отшумели, а наш шум впереди еще. Так что жди. А дальше — сам умен, не зря в Венеции и Амстердаме годы прожил. Моя в тебе вера, тебе и платить за нее разумом своим».

...А за Даниеля Дефо вдруг стало Епифанову обидно: такой умный, а его, епифановские, хитрости постичь не смог.

Уже на грани сна его охватило ощущение теплого, высокого счастья: молод-то молод, а какие люди стали дарить его своим вниманием! Небось, посол был бы счастлив попотчевать Дефо у себя в зале, а тот, глядь, его, Епифанова, угощал фазаном, набитым яблоками,

морковью и какой-то особенной пахучей заморской зеленью.

5

Петр заехал во дворец ночью, перед тем как вернуться в свой домик на Неве — спать.

Он не думал, что отправится во дворец: едучи из Кунсткамеры на ассамблею к Ягужинскому (хотел посмотреть, как себя станет вести посланник Виктор де Лю; соглядатаи, коим было велено следить за ним, — одно дело, а свой глаз куда как надежней — в нем холоду нет), увидел на пришпекте девочку, точь-в-точь похожую на Лизаньку; сердце защемило; часто болеет, маленькая; нос конопатый, в веснушках, а до марта еще далеко; и что за дивная страсть к гербариям; если б мне столько знать про мир в ее-то годы!

(На ассамблее Петр был несколько рассеян; из головы не выходило лицо младшенькой; де Лю был суетлив и слишком уж шаркал перед вельможами. Как и всякий тиран, тем более просвещенный, Петр уважал в людях смелость, известную долю ершистости, хоть какое-то противодействие; ежели кругом податливость, перестанешь чувствовать реальность, себя самого и посему — окружающее.

В перерыве между танцами Ягужинский сказал:

— Аглицкие капитаны посулили мне привезти пять ящиков «Эрмитажу» для вашего величества.

— Почем просили за бутылку?

— Я не торговал, думаю, денег хватит, поскребу ефимков по сусекам.

Петр улыбнулся:

— Ну-ну... А где Брюс?

— Его денщик привез депешу, что задержится; собрал мастеров и архитекторов; обсуждают сообща, как лучше разбить сады в Питерхофе.

— Ну-ну, — повторил Петр, и Ягужинский сразу же понял, что государь изволит пребывать в дурном расположении духа.

— Чарку поднесть? — спросил Ягужинский.

— Не буду.

— Что так?

— Есть что работать поутру... Как Меншиков?

— Сидит в своей библиотеке; размышляет; внимает чтению; поскольку прогулки разрешены ему, ходит помногу, кругов сорок мерит вокруг замка...

— Не просился выезжать за город?

— Не было такой просьбы.

— Какие книги ему читают?

— Не смотрели...

— Пусть поглядят. Человек про то читает, коли в опале, что мечтается ему или же чего боится.

— Посмотрим, — после паузы ответил Ягужинский и сразу же почувствовал, что Петр точно засек эту его паузу.

И верно, — рассеянно спросил:

— Жалеешь светлейшего?

Ягужинский знал, что гнев Петра будет меньшим, если сказать неугодную ему правду, чем лгать.

— Жалею, — ответил он.

— Не так еще жалеть станешь, когда голову ему срубят...

— Рука не подымется.

Петр кивнул на Толстого:

— У него подымется... А ты рескрипт зачитаешь для публикум.

Ягужинский покачал головою:

— Не стану.

— Скажу — станешь.

— Нет.

Петр тяжело обернулся к Ягужинскому, положил ему ладонь на загривок, ощутил сквозь парик, какая крепкая шея у генерал-прокурора и адъютанта, заглянул в зеленые глаза, потом приблизил к себе, поцеловал в лоб и пошел к выходу.)

...Приложив палец к губам, шепнул преображенцам, охранявшим вход в детские, чтоб сидели тихо; дежурным камер-дамам повелел о своем визите помалкивать и, тихо отворивши дверь в спальню младшенькой, Лизаньки, подошел к ее кровати на цыпочках, балансируя руками, чтобы, упаси господь, не потревожить сон любимицы.

Впрочем, и старшую, Аннушку, он любил совершенно особой любовью, считая ее главной преемницей своего дела. Девочка (хоть и невеста, семнадцать) была не по годам умна; в отличие от Лизаньки крепка здоровьем и осторожна в рассуждениях; знала цену слову и молчанию; последний год Петр несколько раз приезжал к ней, чтобы рассказать о своих делах, поглядеть в ее глаза, — то, что недоговаривала, можно было прочитать в молчании, почувствовать во взгляде.

Именно потому, что Анна была преемницей, Петр

испытывал постоянную тревогу за Лизу, хотя та не очень-то и скрывала, что любит матушку превыше живота своего.

...В спальне младшенькой горела лампадка; иконку подарил Феофан; святая богоматерь прижимает к себе младенца; ликом похожа на Аньку Монс, такая же кроткая и глаза длинные; на маленьком, белого ореха столике возле кроватки горела большая свеча; воск как слеза катился в плошку. (Анюта этот воск собирала, топила, вкатывала тесьму, светила еще раз свечою; экономии учена, а может, это в крови у ней; Лизанька другая; все на ветер выбросит, раздаст без жалости; песцовый палантин кошке подстелила, когда та окотилась.)

Петр присел на низенький стульчик возле кровати дочери; ладошки под щекою сложены, будто молится...

Вспомнилось вдруг: так Анна Монс молилась, пальчик к пальчику, сама кротость... А Евдокия?

...Он отогнал видения женщин, которых любил; ему было тяжко это.

Евдокия не понимала его; только первые два месяца счастливы были у них, да и то из-за веселого юного дружества; когда же понадобилось идти вместе — не смогла; вчуже был ей Петр с его непривычностями! По натуре своей властная, воспитанная в традиции, Евдокия хотела, чтобы Петр вписывался в ее — с детства устоявшееся — представление о мужчине в доме. А он другим был; раствориться в нем — ума не хватило, а может, не могла: всяк человек — человек, у каждого свой закон! Анна Монс тоже чего попроще хотела, тяжко было каждый миг держать себя в кулаке; поди попробуй с такой махиной изо дня в день быть рядом, угадывать его, утешать, миловать, шептать тихое...

А девка Гамильтон? Тоже ведь в любви клялась, и какова умница была, не встречал таких... И что же? К Орлову в постелю бегала, когда сам заседал с господами вельможами, суша мозг свой во благо дела государева... Только, считал он, одна Катя его понимала, только она, ангел... И вот тебе, кавалер Монс... Ладно, тех смог перенесть; когда тридцать лет или сорок, все еще кажется сокрытым в радостной дымке будущего, а как за пятьдесят перевалит — конец, время подбивать бабки, нового ничего быть не может...

Петр вздохнул, прикрыл одеялом ногу Лизаньки, ощутил ее — детское еще — тепло, и волна нежности захлестнула сердце.

«Как же разнится отцовская любовь, — подумал он, — от любой иной... Никому не ведома тайна всепрощения, кроме как отцу...»

Резко, стремительным каким-то высветом, возникло перед глазами лицо Алексея, да так явственно, что Петр зажмурился даже; на том месте, где был сын, зажегся траурный, зелено-черный контур, исчез зыбко, словно бы нехотя.

«Если б он на меня поднялся! — жалобно сказал себе Петр. — А он ведь на дело мое замахнулся, на державу... Ему б ее забрать в руки, да разве б он такую махину сохранил? Дважды меня господь покарал: первый раз — Алексеем, второй — Петечкой».

...Когда умер двухлетний, вымоленный им сын Петр Петрович, он тяжело запил, не вышел даже поцеловать в холодный лоб младенца; крохотуля лежал беленький, словно сахарный; заперся в своих покоях; молил о смерти, не было сил жить. Из беды вывели его Ягужинский с Толстым, окриком вывели: «Кто будет указы подписывать?! Держава ждет!»

...Петр услышал вдруг какой-то шорох; пригнулся даже, подумав, что это жена, Катерина.

— Папенька, — рука Аннушки легла на его голову, — что-то страшно мне за вас...

Петр обнял дочь, прижал к себе, поцеловал за ухом; спросил глухо:

— Лопатки почесать?

Дочь кошкой выгнулась, подставила спину; Петр стал почесывать острые лопатки левой рукой; правой гладил тонкую шейку.

— Страшно мне за вас, папенька, — повторила Анна. — Мне сон дурной снился.

— А ты поди и смой с рук водою... А коли с воскресенья на понедельник, так и вовсе не сбудется... И еще, мне маменька сказывала, нельзя в себе таить страшное, надобно рассказать сон тем, кому веришь, он стороною и пройдет...

— Собака мне бешеная снилась, пена с морды течет, черная вся, а глаза желтые... Когда Петечка захворобился, такой же сон снился, упаси бог, сохрани и помилуй...

— Так ты помолись.

— Уже помолилась...

— Ну и хорошо, рыбонька ненаглядная... Что сегодня делала? Как день провела?

— Мы с сестрицею Мольерову шутку читали; Лизань-

ка так хохотала, так смеялась, все Тартюфа из себя изображала, жаль, не мальчиком родилась... Уж такая смышленная, такая зоркая...

— А меня не любит.

— Это годы у ней такие, папенька, я тоже вас страх как боялась.

— Меня?! Чего ж?

— Маменька мягкая да теплая, а вы — скорый, щеки колючие, усы табаком пахнут, да и шея болит...

— Шея? Почему?

— Так ведь на вас смотреть надобно, словно на башню, все голову вверх дерешь.

Петр засмеялся; Лиза как-то обиженно поджала губы, зачмокала во сне; Петр замер, начал шептать:

— Ш-ши-ш-ши, спи, красавица, поспи...

— Она не проснется, — сказала Аннушка. — Если б нас камер-дамы не будили, мы б до обеда спать могли.

— Ну и спите, коли хочется.

— Нельзя. Растолкают. Они ж по вашему указу нас будят.

— Ужо я им, — улыбнулся Петр. — Иди спи, ангел ненаглядный.

— Папенька, а вы когда снова придете?

— Скоро.

— Папенька, а мне всенепременно надобно замуж идти за герцога?

— Так ведь тебе, государыня моя, придет время править... Нельзя без мужа, Аннушка... Он послушен тебе будет, я долго его обсматривал, покуда решение не принял...

— Мне только подле вас хорошо, папенька... И надежно, и спокойно, и страха за Лизу нету...

— Ах ты рыбонька моя, — повторил Петр. — Что б тебе не царской дочкой родиться, что б тебе в простой семье радость людям несть... Завидуют ведь вам, завидуют, дурьи башки, а по правде-то вам завидовать на их беспечную жизнь можно... Мы с тобою отдельно от своих имен живем, Аннушка, такова уж царская судьба, — плетью обуха не переломишь. Иди спать, дружок... Глядишь, вас с Лизанькой возьму в Ригу, пора тебе подле меня садиться — время...

Сказав так, он снова, второй раз за сегодняшний день, испытал щемящую жалость к себе, потому что чувствовал — началась пора потерь.

Да, покудова герцог тих и покладист, судя по всему,

верен, — нужен русскому делу; но, господи, совсем недавно еще держал я Аннушку на руках, черненькая была, потом чуть посветлела; ноздряшки сердечком; чухонка Элза, первая ее мамка, поила козьим молоком, к вящему неудовольствию камер-дам Кати; та для приличия бранилась на людях, но Петр знал, сама так повелела, это от нее шло, от ее крестьянства, — чухонцы козье молоко чтут: с него у дитяти щеки висят, будто брылья, и ножки налитые, бутылочками, словно нитками перевязаны...

...А теперь лишь внуков ждать; детство дочек, самая нежная человеческая пора мимо прошла; только картинки в памяти остались, когда возвращался из походов и айда во дворец, к ним, к капелькам своим... Только они к нему попривыкнут, как снова пора в путь, и снова надолго, а потом будто стена какая — время; то свои были, масенькие, теплые, ан прилежны делаются его неугомонному делу: барышни, государыни, самодержицы...

...Когда дочь ушла, Петр посидел еще несколько минут, любуясь младшенькой, своей еще покуда, тяжело поднялся, прикоснулся пальцами к губам, положил эти пальцы на лоб дочери, подкрался на цыпочках к двери.

«Пусть говорят что хотят, — вспомнив лица Татищева, капитан-президента гавани Ивана Лихолетова, Берга и Феофана, подумал вдруг государь. — Говорят — пусть. А будет все по-моему, дело держать должно в одном кулаке, иначе словно песок просыплется, как ни жми пальцами. Все — сам. Тогда только сохранится держава. Как ни умно говорят, а послабленье давать нельзя, не готовы еще людишки к тому, чтоб самим решать, — учить надо, носом тыкать. Много лет должно пройти, прежде чем по-моему можно будет попробовать, и десяти лет не хватит, Аннушкиным детям решать».

С этим и уехал, повелев камер-дамам детей утром не будить, как обычно, а дать поспать всласть...

ЧАСТЬ III

«Ваше Высочество!

Слухи, постоянно возникающие в Санкт-Питербурхе, сего дни так любопытны и столь один другому противуречивы, что собрать их воедино, на основании этого создать картину истинно происходящего при Дворе Императора возможным мне не представляется.

Я осознаю всю меру интереса, проявляемого Вашего Высочества Канцлером к тому, чего можно ожидать от русского императора в ближайшем будущем, — а то, что им задуманы некие реформы, ощутимо сейчас всеми, — однако же смею за дерзость полагать честное незнание лучшим, нежели досужее гаданье или, еще горше, выдавание того за сущее, что нам бы хотелось увидеть.

Голландский посланник, который относится к числу тех, кто весьма близок ко Двору, высказывает предположение, что самым сложным узлом в северной столице на сей день являются отношения между светлейшим князем Меншиковым, пребывающим в жестокой опале, лишенным всех своих позиций и доживающим последние дни в столице, и теми, с кем его связывало старое дружество; особо важными почитают его отношения с генерал-прокурором Ягужинским и графом Толстым.

...Ходят смутные слухи про то, что-де среди вельмож растет раскол, что партия, стоящая на позициях старой боярской консепсии, открыто заявляет себя супротив «немчуры, оттирающей государя от русского люда». Однако же император своего отношения к представителям различных групп, оформившихся при Дворе, никак не выявляет; на ассамблеях веселится, понуждая старых друзей своих и новых противников пить огромный Кубок Большого Орла и лобызаться прилюдно, кляняся друг дружке в приятельстве.

В здешних посольствах потаенно ждут, каким образом император соизволит объяснить опалу светлейшего князя Меншикова, ибо по сей день тот почитается за третью — после императора и императрицы — персону в Державе, и поныне еще среди черни его престиж весьма и весьма высок.

Если Ваше Высочество соизволят разрешить мне высказать то ощущение, которое постоянно живет во мне ныне, то я, не имея на то сколько-нибудь достоверных сообщений, могу, однако ж, утверждать, что здесь вскорости грядут события, ибо император введет такие новшества, кои, — несмотря на сопротивление тех, кто уповает на возвращение привычных, старых порядков, — понудят империю к еще более мощному выходу к морям и к новым портам.

Вашего Высочества покорнейший слуга

Фриц Ласперс.

Санкт-Питербурх, генваря 1725 года, день восьмой».

* * *

9 января 1725 года

1

В иностранной коллегии Петр не стал интересоваться текущими делами; снова отметил, что в его присутствии чиновники враз меняются лицами, естественность исчезает; появляется некая каменность, и оттого их улыбки, которые долженствовали изображать радость, казались гримасами застывшего ужаса или, того хуже, издевкой.

В особом помещении, куда сходилась самая тайная корреспонденция от послов и верных людей, было жарко — жгли двенадцать свечей одновременно, и все толстенные; видимо, свечи были получены в подарок, скорее всего из Лондона, там к воску подмешивают индийские благовония, и оттого кажется постоянно, что в зале — красивая женщина, собравшаяся на ассамблею.

— От Татищева есть что? — спросил Петр, чувствуя постоянное, тяжелое, мешавшее ему раздражение.

Это началось еще позавчера, когда, проснувшись, он вдруг явственно увидел, а потом услыхал падение громаднейшей сосны. Сначала — чуть ли не вздрагивая от боли — он телом ощутил звонкие удары топора по стволу; почувствовал острый запах белой смолы; потом почудились ему какие-то голоса, злые, высокие, показалось даже, что лесорубы были нерусские; а после был долгий окающий стон, и гигантская сосна, сокрушая — во все убыстряющемся падении — маленькие деревья, росшие окрест, обрушилась на холодную землю, покрытую большими камнями, цветом точно как здешние, северные, систербекские.

...Петру принесли пакет, залитый по углам голландскою пастой с печатками; такой тайно не раскроешь. Тем не менее Петр изучил пакет при свечах, весьма тщательно и лишь после этого взрезал его ножом, наблюдая, как крошилась темно-кровавая паста. (Он часто вспоминал отчего-то, особенно здесь, в тайной комнате иностранной коллегии, как два года назад любимый попугай Кати чуть не стоил ему кумпании: собравшись в ее кабинете вместе с Меншиковым, они долго, чуть не шепотом, обсуждали план похода в Персию. Каковы же была ярость Петра, когда через день один из его адъютантов, докладывая городские сплетни, сказал, что в сто-

лице начались пересуды: «Идем к персидским берегам». Петр ужаснулся: измена среди самых близких! Катя и Меншиков поклялись ему на Библии; Петр был в горькой задумчивости, кругом измена, коли лазутчик смог подслушать их разговор здесь, в кабинете самого близкого человека — жены... И в этот-то как раз момент Катенькин попугай заорал, подражая интонации государя: «Поклянись на Писании! Идем на Персию!» Какое же облегчение испытал он тогда, какое огромное, словно первый апрельский дождь, облегчение! А сейчас...)

Прочитавши письмо Татищева, государь спалил его, пепел бросил в корзину, посидел мгновение в задумчивости, поднявшись, сказал:

— Как от него что новое придет — сообщить немедля; где бы я ни был — доставить, под охраною; а ему — через посла Бестужева — передать мою изустную благодарность.

...Охранять письмо Татищева стоило: тот занимался в Стокгольме двумя видами деятельности: первая, открытая, касалась экономики северного соседа, ее мудрой организации; шведское железо, шведские фрегаты, шведские штыки, шведские ботфорты почитались в Европе высшего качества, и не зря; особенно интересовало Татищева горное и железное дело, успехи скандинавов здесь были воистину великолепны. Вторая часть поручения, данного ему государем с глазу на глаз, была сугубо секретной: Петра интересовало все связанное с возможным притязанием герцога Карла-Фридриха, женихавшегося к Аннушке, на стокгольмский престол. Как-никак Карл-Фридрих — племянник полтавского «брата-врага», чем не претендент, хоть и числится пока за Голштинией?! Шведов Петр почитал и надеялся на вечный мир с ними: коли воевать умеют, то и дружить, значит, должны отменно, а уж поучиться у них есть чему и подавно.

...К Татищеву государь относился сложно. Он всегда помнил, как тот, будучи совсем еще молодым, возглавив российское дело железных и медных заводов от Урала чуть не до китайской границы, запросил в берг-коллегии право на привлечение к работе Федора Еварлакова, выучившегося в Саксонии металлургическому ремеслу.

Яков Виллимович Брюс, президент берг-коллегии, не решился дать ему просимое право, хотя был человеком не робкого десятка, и переотправил депешу Татищева в канцелярию. Поступил он так неспроста: Еварлаков был не только искусным мастером и хорошей породы челове-

ком; он очутился на Урале потому, что был схвачен по делу царевича Алексея; государь дважды самолично его допрашивал; за этого-то человека, зная об нем все, и радел Василий Татищев. (Впрочем, он осмеливался и на более дерзкие выходки — хулил Священное писание едва ли не при черни, за что был стукнут государем палкою: «Что между нами допустимо, то ко всеобщему посмеянию допустить нельзя, не готовы еще люди к смеху, их покуда надобно политесу и грамоте научить!»)

Петр — после казни сына — порою впадал в черную меланхолию, затворялся в своем кабинете, никого не пускал к себе; мучили кошмары; виделась тонкая шея сына; острый кадык; руки, в которых еще таилась беззаботность детства. Сердце Петра останавливалось, дышать делалось трудно, ком застревал где-то под языком, лицо сводило продольною гримасой. (Впервые судорога случилась с ним, когда стрелец в церкви замахнулся длинным, в арабских разводьях, кинжалом; пустил бы кровь из шеи, зарезал бы весело, пьяно, безжалостно, не случись тогда чуда; а мальчик-то молился ведь тогда, при алтаре, подле маменьки.)

С годами боль утихла, но не прошла; нет ничего страшнее для отца, если дитя превратился во врага дела жизни. Вспоминая Алешу, государь с трудом подавлял в себе тяжелый мстительный гнев против Евдокии, матери несчастного. Воспитанная в неге и лени, в затворничестве терема, вне всяких забот, далекая от страстей государя, она не могла не только принять, но и понять мужа, его скорости, его идею, слепую, одержимую устремленность. Она хотела дать (и дала) их сыну все то, что дали с детства ей; радостную, созерцательную неторопливость, любовь к сказке, утреннюю негу; она привила царевичу любовь к дедовской одежде, и мальчик облачался в боярский халат на радость мамкам, и только в те дни, когда отец возвращался в Москву из Архангельска или Воронежа, из-под Полтавы или Нарвы, поверженным или победителем, сын встречал его в кургузом басурманском платье, сшитом в Вене лучшим портным по присланным меркам.

Евдокия не только не старалась привить Алеше любовь к отцу, но чем дальше, тем явственнее растила в нем глухое несогласие с тем, кто поломал ей жизнь, отрекся от всего того, что дорого было и отцу Евдокии, и бабушке, всем, словом, кроме проклятой немки Аньки Монс, от ней все горе, а сколько потом этих немок, да

голландок, да полек было — лучше и не вспоминать.

...После того как трагедия свершилась, Екатерина сделала так, что всякое напоминание об Алексее стало невозможным там, где бывал государь. Более того, она сделала все, чтобы внук, Петечка, сын несчастного царевича, постоянно бывал рядом с дедом; рассказывала мальчику истории о победах над врагами, о том, как император гордо водит своих воинов на поле брани, как те высоко гордятся своим борцом-самодержцем, как флотоводцы поражаются знаниям первого русского капитана, как профессора почитают за честь говорить с ним о своих ученых вопросах и как плотники диву даются веселой и потной работе великого умельца!

Маленький Петя слушал Екатерину, «проклятую немку», чужую бабку, хмуро, настороженно. Глаза его — круглые, как у деда, и такие желто-черные — порою вспыхивали каким-то особенным светом, и однажды, наблюдая, как отрок слушал о великом своем предке, Меншиков, обратившись к государю, тихо и очень медленно, словно бы страшась чего-то, спросил разрешения взять мальчика на охоту — травить медведя. Петр ответил, что забавы эти ему непонятны, что он предпочитает травить врага, а не безвинного, доброго потапыча, но, впрочем, согласился, чтобы мальчик побаловался соколиною охотой, однако пусть светлейший сам будет подле, не отступая от Петечки ни на шаг.

...Поэтому, когда Брюс передал прошение о подельце убиенного царевича, ссыльном металлурге Федоре, государь поналачу разгневался, не смог справиться с судорогой, всякое напоминание о сыне воспринималось тяжко; повелел вызвать Татищева в столицу и заодно исследовать с пристрастием те челобитные, которые были поданы его любимцем, мануфактурщиком Демидовым о притеснениях, кои чинит ему и его медному делу посланец столичной берг-коллегии.

Петр тогда принял Татищева сурово, сесть не предложил, повелел говорить все без утайки. Однако чем дольше говорил Василий, сын Никиты, чем внимательнее вслушивался в его слова государь, тем интересней они ему представлялись.

Слушая рассуждения Татищева о том, что добиться блага в России можно, лишь завязав напрямую живой интерес коллегий с работою мануфактур, то есть позволяя служивым людям получать мзду с реальной прибыли, Петр то и дело вспоминал свои беседы с философом

Лейбницем, когда тот, приехавши к нему в Карлсбад и словно бы вколачивая свои рубленые, сухие фразы в пространства, одному лишь ему подвластные, а потому — видимые, говорил:

— Свобода воли — не что иное, как желание. Воля человека тем свободнее, чем она разумней. Цель желания — его удовлетворение; путь к этому лежит через деятельность. Трагическая неудовлетворенность человека есть результат подавления свободы поступка. Удовлетворение доставляет удовольствие. Неудовлетворение приносит страдание. Следовательно, для истинно волевого человека хорошо все то, что доставляет удовольствие, отвратительно лишь то, что сулит страдания.

Петр возразил тогда:

— А коли мне удовольствие с собак шкуры драть, я все одно хорош, ибо свободен в поступке?

— Наслаждения бывают двух видов, — сразу же ответил Лейбниц. — Первое — чувственное, то есть преходящее, минутное, суетное; оно непонятно мне, хоть и существует. Мне важно второе, ибо постоянное наслаждение суть не что иное, как блаженство, а путь к нему проходит через нравственную волю, а нравственность достижима лишь в постижении мудрости, или, ежели желаете, просвещения.

— Следовательно, — заключил Петр, — я должен вас так понимать, что воля обязана быть обусловлена либо знанием, либо точным представлением желаемого?

— Почти так, — сдержанно, после короткой паузы, словно бы удивившись чему-то, согласился Лейбниц. — Я понимаю, что вы как самодержец ищете реального приложения моей схемы к практике вашей деятельности, посему стараетесь каждое положение расценить словно британский эмпирик — с точки зрения примата опыта. Воля не должна быть злой, потому что она — первый шаг в познание, которое всегда и во всем благородно, но уж если сталось так, что воля — зла, то это лишний раз подтверждает необходимость диавола как того извечного противовеса, без которого не было бы добра.

Петр тогда улыбнулся и процитировал: «Быть свободным — значит быть активным; несвобода — это пассивность».

Лейбниц, почтительно склонивши голову, спросил:

— Чтите Спинозу?

Петр ответил:

— Чту ум.

Впервые Петр проникся сознанием государственной важности целостного строя рассуждения, оформленных в однозначный, как геометрическая формула, тезис, познакомившись с Джоном Локком; встречу устроил один из друзей Ньютона, от которого русский урядник «Петр Михайлов» вернулся на ночлег поздно ночью, проведя целый день в Британском монетном дворе, восхищенный Ньютоном, его чуть отрешенной, а потому шутливой, словно бы извиняющейся логикой.

Джон Локк был сед; он повстречался с юным русским «дипломатом» рано утром; сначала они пили чокелат из маленьких, тонких — китайского фарфора — чашек, потом философ изложил свою идею:

— Граница, разделяющая нравственное и безнравственное, есть поступок, согласующийся или, наоборот, отступающий от правила оценки. Эта оценка, положивши награду за исполнение, — а что, как не удовольствие, суть высшая награда человеку?! — карает нарушение наказанием, то есть страданием, чем же еще?! Правило, оценка — этот закон. Мир знает таких законов лишь три: Божий закон, данным нам Откровением, то есть разумом свыше; гражданский закон, устанавливаемый государями сей земли, и, наконец, философский закон, который проявляет себя лишь во мнении общества.

Петр тогда сразу же заметил:

— Пожалуй, что сей последний закон — самый действенный; ибо, как я вижу в моем отечестве, бывает, что и Божий закон преступают без особого страху, и государев, а вот философский преступить не решаются, страшно людской молвы.

— То, что вы сказали, согласуется с моей теорией, — заметил Локк и впервые заглянул в глаза русского «дипломата», словно бы заметив в них нечно совершенно сокровенное. — Именно так я и представляю себе градацию ценностей сих законов. Закон Бога — закон долга и греха; закон государства — проблема вины и безвинности; философский закон обнимает два понятия, пожалуй что самых трудных для анализа, — добро и зло, порок и честь. Тот государь преуспеет, который сможет видеть подданных своих не единою безглазой массой, но собранием диковинных разностей. Пробившись — просвещенным разумом — к сердцу и уму каждого подданного, воспитав в нем честь как основу бытия, государь может не страшиться молвы и памяти, — она будет священной по нем, ибо он — через честь — даст

свободу каждому, а свободный человек — добр, куда как добрее порабощенного, воля его устремлена к радению во благо ближних, а не во зло.

...Татищев — и Петра это радостно изумило, — рассуждая о перспективах для России, особенно ее экономики, исходил именно из права человека на свободу поступка во имя общего, сиречь державного блага.

— Ежели вы, государь, — говорил он Петру, — не дадите свободу действий нашим людям в торговле и ремеслах, будут ждать нас превеликие беды. Надобно сугубо оградить купцов и мануфактурщиков, ремесленников и металлургов от того, чтобы каждый шаг им предписывался из ваших петербургских коллегий. Пока ждут на месте указа из коллегии, а та — от канцлера, а тот от вас, а вы в походе месяц, полгода, год, — дело стоит, решение не принимается, а коли оно стоит, то, значит, опрокидывается вспять. Государев интерес — не тот, что у казенного чиновника; у того главная цель — бумагу соблюсти; а для государства бумага без пользы; она только тогда истинна, когда делу прилежна, чтоб деньга от одного ходила к другому, — без этого тиною зарастем, изнутри захвораем; оборот денег в государстве словно движение крови в человеке — стало на миг, вот тебе и смерть! Три препозиции охранят государство от хворобы: ваш наказ коллегиям не мешать людям дела, поелику они по своим законам живут; ремесло проверяется торжищем, а не указом, пусть даже царским; надобно начать повсюду пути прокладывать, а не между одними лишь столицами, в угоду торговле и ремеслу, сиречь обмену между трудом людей, и, наконец, позволь, государь, наладить на Руси кредит, чтоб каждый смекалистый и умелый человек мог поставить мануфактуру, начать дело, открыть наши недра без страха не только за свою жизнь, но и за живот детей своих. Кредит — сие банк, а из него ведь не только будут брать, в него — под грядущую прибыль — положат деньги, большие деньги, а твое дело состоит в том, чтобы новые мануфактуры и шахты, банки с их кредитами и со всесвязующим оборотом охранять от чужеземного ворога. Сейчас, государь, покудова нет такого закона, вельможи в одном лишь усердны: угадать твою волю, желание, порыв, мечту. Это для них главное; в этом преуспевают, значит, в должности повысятся; от этого им ноне главная прибыль, а не от общего дела. Но ведь нельзя же всем волю одного угадать! Пусть бы они не волю твою угадывали, а давали

отчет, сколь денег заработали от честного покровительства делу!..

...Выслушав тогда Татищева, государь должен был решить участь его; характером, видно, труден, норовист, языкат. Подумал, что на Урале погубят его, защитить не успеет; пускай отсидится во шведах; когда порешу все по-новому, когда найду тех, на кого можно перед новой кумпанией — не на поле брани, а в налаживании хозяйства — положиться, тогда верну, приближу, послужит; сейчас неразумно его поднимать, не простят завистники, изведут. Но можно ли вообще идею самодержавия навигационно скорректировать? Или идея «самому все держать» настолько укрепилась в подданных, что любая новация — во их же благо — вызовет общий протест: «не нами положено, не нам и менять»? Поймут грядущий поворот или не простят смены курса? Но ведь корабль остается кораблем, несмотря на то что капитан курс правит и обходит штормы неведомым до того маршрутом. Во имя чего? Да для того же, чтоб сохранить корабль! Лучше неведомое новое, чем гибель с привычным старым. Да, коллегии я завел, со шведского примера взял образец, но ведь это как новое вино заливать в старые мехи! Кто за канцелярские столы первым сел, как не те, кому коллегии эти были словно прежние думные приказы, и прибыли с них нет — коль только не красть по-черному и взятку не брать?!

...В приписке в депеше, связанной с открытым поручением — вызнать в горном деле новости и пригласить умельцев, Татищев и сейчас оставался верен себе.

«Государь, — писал он, — обращаться в коллегию, понеже к высочайшему президенту Якову Виллимовичу Брюсу, пользы делу не принесет, все потопнет в трясине, поскольку чиновные люди станут ожидать вашего мнения, а спросить открыто — как о Федоре-металлурге — не решатся, а коли бы вы дали им с моих шведских сделок интерес, работа б сама пошла катом.

Здесь, во Швеции, так и поставлено, потому, где у нас пять сотен приписных душ работает, коих силою к стройке мануфактур пригнали и сторожат солдатами, здесь трудится лишь всего пять десятков, охраны нет, все свободны, работают не от страха, а для доброй мзды, хорошего приработку.

Совестно мне, государь, говорить вам, но ведь тутошний лакей, служащий у лица, занимающего низшее по сравнению со мною положение, получает чуть что не

столько от казны, сколько мне, цареву посланцу, поставлено.

Был у меня недавно сговор со шведским умельцем, дабы он уступил мне чертежи своего нового завода за небольшую плату, — так ведь нет! А отчего? Питербурх не разрешил! В деньгах — самых малых — отказал мне! А ныне эти чертежи перекупил француз из Парижа в десять раз дороже, чем то, что с меня требовали. Хоть и не купец я и не деловой человек, но, как и они, бедолаги, лишен свободы поступка. А коли б считал себя вольным в решении, крутился б как волчок: уговорил бы одного, уступил другому, ибо имел бы свою от поступков и расторопности корысть, да дикие мы, торговли бежим, будто только армянину иль жиду это потребное дело, а нам лишь вино пить, да лясы точить, и сладким мечтаниям предаваться...

Бога за ради простите, государь, дерзость мою, что о помощи в таких суетных делах к вам взываю; понятно мне, что не вашего это резону дело, тем не менее помощи прошу, поелику не о себе радею, а о нашей скорбной и прекрасной Руси...»

...Заехавши в берг-коллегию ненадолго, Петр отправился к повару своему и метрдотелю Фельтену (последнее время собирал господ вельмож не у себя дома, чтоб не видеться с Катею, а в доме голландца); за каждый обед сам платил Фельтену червонец и с вельмож требовал такой же платы.

Угощение было отменно простым: поначалу рюмка анисовой водки, затем кислые щи, поросенок в сметане, холодное мясо с кислыми лимонами, любимая государева каша, солонина, блины; сам Петр пил французский «Эрмитаж», способствовавший желудку; намедни перекупил сорок бутылок у английского купца Эльстона по рекомендации своего лейб-медика Арескина; гостей угощал токайским или сладким рейнским; к «каве» подавали сладкое липучее вино португальского производства — темное, отдает виноградом, склеивает пальцы...

В берг-коллегии Виллим Брюс, добрый островитянин, разумевший по-русски так же хорошо, как и на прежнем, родном, английском, гневный вопрос государя о помощи Татищеву в горном деле выслушал спокойно, с достоинством; ответил, не тая некоторого раздражения:

— Сделайся президентом коллегии, государь, а я

остануть в помощниках! Сил у меня более нет, и взяться им неоткуда!

— Силы я тебе прибавлю, этого жди, а вот деньги для Татищева есть?

— Деньги, — усмехнулся Брюс. — Больно просто вопрос ставишь, Петр Алексеевич. Я поначалу, перед тем как наложить реляцию своему вице-президенту, должен собрать предварительное мнение всех господ сенаторов, а их у нас в присутствии постоянно восемь, каждому его адъютанты готовят отзыв, — гляди, месяца четыре ждать потребно. Я в реляции своей написал — «помочь», хотя генерал-фельдмаршал возражал: «Пусть перевертится и склонит шведов за дружбу радеть, а не за ефимки». Слава Христу, Петр Иванович Ягужинский, про его инородческое забыли теперь; он — не я, не Брюс, счастливый человек, ему в нос родительской кровью не тычут, — высказал иное мнение: «Только русские склоняют к дармовой работе словом, да надолго ли? И как велик от такой работы прок?» Мой вице-президент передал письмо Татищева с положительною реляцией по столам — собрать сведения, сколь стоят такие же чертежи в Англии, Саксонии, Голландии, Франции, — на это уйдет еще поди семь-восемь почт, то бишь полгода, а то и более. Засим — проверить надобно, нет ли таких же умельцев у нас, им вменить задание изобресть свои чертежи, не платя шведу денег вовсе. Еще полгода отбрасывай. Не каплет ведь! Только у нас деньгу за должность платят, а не за работу. У нас важно день пересидеть, ничего самому не решать, отнести все бумаги на стол начальнику, что рангом поболе, а тот — в свой черед — то же самое проделывает. Рабье иго в людях, государь; ждут указу; самости своей бегут; ведь проверка им — не результат дела, а твое слово!

Петр задергал шеей, отошел к окну:

— А ежели ты своим мерзавцам — вкупе с почтовым и дорожным ведомствами — от хорошей татищевской работы отдашь часть прибыли?

— Тогда Россия станет первой державой мира, государь. Да разве тебе бояре этакое позволят?! «Басурманство, суета, торжище, так Лондон живет, а он — болтлив и много вер терпит, да еще государей своих позволяет господам парламентариям открыто бранить, не страшась тайной канцелярии...»

...У Фельтена за обедом, покончив с квасом (кислых щей сегодня не давали, зато квас был отменный, на меду,

с острым хреном, шипучий, шибал в нос, а ежели прибавить ложку свежетертой свеклы, делался бордового цвета и совершенно нового вкуса), Петр сразу же набросился на холодную телятину с огурцом (знал, что за употребление этого мяса его тоже за спиною обличали басурманом: виданное ли дело, есть телков, специально под нож кормленных! Другое дело корова, в ней от жизни усталость, а коли усталость видна, так и жалости нету). Покончив с бело-розовым, со хрящом, мясом, но перед тем как приняться за блины, поднял взгляд на князя Голицына, только-только приехавшего из Киева:

— Дмитрий Михалыч, это ты мне подсунул монашка для переводческих работ?

— Коли б мог подсовывать, государь, я б не только одного монашка подсунул.

Генерал-прокурор Петр Иванович Ягужинский посмотрел на Петра, ожидая реакции на дерзость, но государь словно бы пропустил ответ мимо ушей.

— Пресмешное дело случилось давеча, — как-то странно усмехнувшись, продолжал Петр, бросив на боль шую тарелку десяток тонких, как японская бумага, бли нов (ажурны, будто бы кто кружева по ним вязал). — После того как нашим радением перевели и напечатали на российский язык «Фортификацию» Вобана, «Историю Александра Великого», писанную по-латыни Курцем, «Искусство кораблестроения», «Непобедимую крепость» немца Борксдорфера и «Географию» Гибнера, решил я дело сие продолжить — ныне заканчиваю чтением «Гражданскую архитектуру» Леклера и «Точильное искусство» Плюмера. И та и другая книги — отменны, дам в перевод, но, князь, не твоему монаху.

— Что так? — спросил Голицын.

— Да потому как Пифендорфово «Введение в описание европейских государств» я именно ему дал, и он в три месяца и семь дён сделал пересказ; слог хорош; слова чувствует, я было хотел даровать его милостью, но, заглянувши в конец перевода, остолбенел от недоумения, которое есть — в этом я равен со всеми — не что иное, как путь ко гневу. Дело в том, что твой монах самолично выбросил все те места в пифендорфовом сочинении, где про россиян говорилось со злою колкостью.

— Значит, монашек достойно блюдет нашу честь, — сказал Голицын.

— А про мою честь ты не думаешь? — тихо спросил Петр. — Я ведь не в поругание моему народу велел сию

книгу перевесть и напечатать ко всеобщему чтению, а для того лишь, чтобы подданные узрели, как о них ранее смели писать в просвещенных Европах, каковы представления о них были, — тем лучше б стал контраст, какими они на самом деле ныне являются. Я начал отсчет по новому календарю, но от старого не отрекаюсь, вижу путь, дабы и в нынешнем новом истинно старое — но лишь то, что профитно делу и благородно душе, — сохранить в назидание потомкам. Лишь слабый может дух свой потерять; сильный — сохранит; слабый — неуч; силен тот, кто знает...

— И я о том же, — сказал Голицын.

— Не задирайся, князь, — еще тише произнес Петр и, обернувшись к повару, попросил подавать сыры; со времени своего первого путешествия в Голландию он приучился сам и приучал своих близких вместе с «кавою» угощаться маслом и сыром.

Когда Фельтен принес — на деревянном блюде — сыры, Петр вдруг побледнел, достал из кармана циркуль, промерил «Лимбургский», самый свой любимый, сыр и загремел:

— Сукин сын! Я ж велел никому «Лимбургский» не давать! А здесь — всего лишь половина! Где остальной?

— Сколько было, столько и подал, государь!

— Врешь!

— Может, кто ненароком и взял маленький ломтик...

— Ломтик?! — Петр достал записную книжку, раскрыл ее, приравнял циркуль к прошлой своей отметине. — Плут! Плут и дрянь! Больше половины самого дорогого сыра ужрали!

Он стукнул тростью об пол, но, увидав слезы в круглых голубых глазах метрдотеля, подниматься со стула не стал, вздохнул только:

— Все — жулье, ей-богу, все до одного... И чего людям не хватает?

— Веры, — ответил Голицын.

Андрей Иванович Остерман замер — как был с блином на вилке у рта; а Ягужинский — человек бесстрашный, особливо после трех рюмок анисовой, — поразился тому, как ответил государь:

— При чем тут вера, Дмитрий Михалыч? Просто-напросто ты Гоббсом перечитался, а он для Англии хорош, для нас — не всегда.

...Петр знал (не только служилые фискалы доносили ему обо всех; отбою не было от желавших написать на

ближнего, дабы самому подняться), что Голицын хранил огромную библиотеку в своем подмосковском поместье, чуть ли не десять тысяч томов. Когда государь отправил его губернатором в Киев, Дмитрий Михайлович приблизил к себе наиболее талантливых студентов духовной академии, гораздых в иностранных языках (оттуда, кстати, молодого монашка и рекомендовал ко двору, — государь не зря гневался на его самовластье в цензуре), и за неполных два года собрал у себя переводы Макиавелли, Вольфа, Локка. Был у него и экземпляр переведенного Пифендорфа, — потому-то Петр и завел разговор об этой книге на обеде, специально пригласивши Голицына, чего тот удостаивался в последнее время нечасто, особенно по причине своего — чем дальше, тем больше — неуживчивого норова.

Вообще-то Петр предпочитал говорить с ним с глазу на глаз: чаще всего приходил к старику сам; по утрам терпеливо ждал: «Дед молится всерьез, вершит свои дела неспешно, меньше часа в красном углу не стоит»; тем не менее эта прилежность исстари заведенному порядку была Петру — в глубине души — приятней, чем ловкость Толстого, который в своем кабинете одну стену держал старорусскую (иконы новгородской школы, два лика, писанные древним умельцем Андрюшкою по прозвищу «Руплев»), а напротив повесил бесстыдный портрет голой бабы, что вывез из Венеции, столь полюбившейся его сердцу еще в конце прошлого века.

Петр знал, что Голицын был недоволен публичным изданием Пифендорфа, но при этом в узком кругу молодых последователей из духовной академии соглашался с немецким ученым, особенно когда тот обрушивался на нашу леность.

— Нашему мужику палка потребна постоянно, — говорил князь, — без понука никто работать не станет, слишком страна богата.

Когда один из молодых монахов, кончивший стажировку в Венской академии, возразил, что, мол, никто еще — после новгородских времен — не позволял русскому человеку получить свой интерес в деле, Голицын разгневался и монашка услал на север, в опалу.

— Не тебе, молокососу, учить меня пониманию русской души! За мною род, а за тобой?!

Что касается зависти, грубости и упрямства, о которых писал немец, то Голицын почитал это за клевету, ибо — судя по трудам Макиавелли, весьма ему полюбив-

шимся, — именно на католическом Западе зависть (как некое следствие духовного затворничества) была одной из определяющих черт общества; упрямство же — коли оно разумно — казалось князю качеством достойным, а никак не зазорным: «Не будь упрям Александр — не стать бы ему Македонским; не был бы груб Владимир — быть нам по сю пору язычниками и Перуну молиться!»

Особенно тщательно в последнее время Голицын работал над переводами законоположений Швеции, Голландии, Англии и Франции.

И само собою вышло так, что вопросы государственного устройства в других странах, интересовавшие Голицына, могли найти толковый ответ у знатока по басурманским уложениям, а человеком, который начал давать князю ответы такого рода, был саксонец Фик — тайный и самый доверенный осведомитель государя.

Именно он и сообщил Петру, что Голицын, несмотря на свой консерватизм, не станет противиться сути новых реформ, коли их провозгласят, — более всего князя занимают вопросы формы: Голицына пугала возможность растворения русского духа, который, полагал он, ярче всего выражается в православии, единственном вероучении, могущем противостоять холодным схоластам папского двора.

«Что ж, выходит, до православия мы истинно русскими не были? — подумал Петр, выслушав донос Фика. — А собиратель России, Иван Третий, обвенчанный с Софьей Палеолог, не был истинно русским, отправив послов в Ватикан и пригласив к себе немецких и итальянских умельцев? Куда ведет Голицын? Откуда такая упрямая прилежность к тому, что уходит? Отчего страх перед тем, что грядет? Это ведь как отцу ребенка не жаждать! Ведь не избежать людям нового дня, хоть под землю упрячься, — неужели непонятно сие? Отчего он почитает за благо для себя книги собирать, в коих бранят нас, и Макиавелли с Гоббсом с пером в руке исследовать, а другим русским норовит запретить эту же — благостную для ума — работу?»

Голицын выслушал государя, когда тот однажды пришел к нему ранним утром с добрым разговором и ответил с болью и безысходностью:

— Я про наш народ не менее тебя, государь, знаю, и то, что ты науки ему даешь, почитаю благом, и то, как армию с флотом наладил, вижу с истинной радостью, и то, как ты смог в мире уважение к Руси поставить, —

зову чудом. Никому до тебя не удавалось, дабы Россия в глазах европейцев сделалась воистину великой. Но ведь то, что быстро, — то преходящее! Ну, в Питербурхе тебя, страшась, слушают, и дома́ по твоему фасону строят на голландский манер, и камзолы короткие носят, и рукава обрезали, и бороды сбрили. Ну, ладно, Воронеж тебя боится, и в Архангельск ты наведываешься. А Рязань? Калуга? Смоленск? Псков? А деревня? Россия словно бы надвое разрублена. Питербурх и Москва, это ж два разных государства! Два в одном! А ну как устанешь? А ну — кто на смену тебе придет и начнет вспять поворачивать? Или — господь спаси — еще круче брать к новому, что нам вчуже?

— Ты меня зачем хоронишь? Рано, — ответил тогда Петр. — Я еще к делу гож, а престол мой возьмет Катя, Анна или Елисафет. Кто ж еще?

— А почему не внук? Почему не Петр Алексеевич? Зачем не Петр Второй?!

— Так за ним же все те стоят, кто меня желтой ненавистью ненавидит! За ним те стоят, кто Толстого с Ягужинским на плаху потащат. За ним те стоят, которые и тебя не помилуют, хоть ты дома в боярском халате шлындраешь! Так кто же останется тогда возле трону из моих?

И вдруг, после долгой паузы, князь ответил:

— Меншиков — из твоих — останется.

Петр с живостью возразил:

— А он — мой? Он не мой, князь. Он — свой. А вся сила его для меня в том, что простонародная Русь в его лике воплотилася; своим умом все постиг: и чужой язык, и маневр в бое, и навигацкую науку.

— По твоей подсказке, — отрезал Голицын. — А ты попробуй, не говоря ему — как; ты попробуй, чтоб он — с а м... Не сможет он сам, без тебя, чтоб ты сверху не указывал...

— Выходит, что для тебя, — заметил Петр, — всякий русский — если только он не родовит — пень и дурень? Как же ты против меня смеешь голос подымать? Как же смеешь ты трепать языком, что, мол, я веду политику супротив обычаев родного племени? Не я, выходит, против народа, Дмитрий Михалыч, а ты — со своею боярской дремучестью, — нет разве?!

— Гоббс — не русский и не боярин, — ответил тогда Голицын, — а я его высоко чту, тревожно думая и об нашем былом, и о твоем будущем...

Петр тогда смолчал, ушел; несколько дней провел в работе; исчеркал пометками книги англичанина; понял, что именно привлекло в Гоббсе князя Голицына: «Законы, уложенные государством, понять нельзя, а посему предметом исследования они быть не могут. Подданные обязаны усвоить эти законы, то есть свято в них поверить, так же безропотно, как больной глотает снадобья, предписанные ему лекарем, — не разжевывая».

Однако этот постулат Гоббса, столь угодный Голицыну, никак не сопрягался с системой доказательств, которые следовали дальше, ибо англичанин утверждал, что научным, то есть рациональным, можно считать лишь такое объяснение, в котором изложена причина действа, сиречь войны или работы.

«А как же тогда понять и объяснить причины, приведшие к тому, — думал горько Петр, — что наш человек велик в бою, в песне, в полете мысли, а вот в торговле — либо дурень дурнем, которого любой вокруг пальца обведет, либо мелкий плут, не чувствующий дельной выгоды; как понять причину того, зачем мы по сю пору представляем одного лишь хлебопашца главным империи спасителем — на изумление просвещенной Европе, а он живет в избенке чуть ли не без окон, безграмотен, гол и нищ?! В чем причина того, что наш человек не радеет о дорогах, а в них — смысл государственного единения? Терпит голод, дурью безмозглость помещиков, кои не умеют — по тщеславной своей темноте — хозяйствовать, на корню разоряют империю, — но в то же время легко и гордо принимает голод и смерть во имя защиты отечества?! Где в этом логика, о коей так радел угодный князю англичанин Гоббс, почитая за науку наук геометрию, ибо лишь она объясняет суть движений в пространстве?! Как сопрячь симпатию князя Дмитрия Михайловича к лондонскому философу в поиске примирения старого с новым, коли тот полагал высшим смыслом развития «индивидуальное существование личности, ее независимость и силу»?! А для князя наш народ — понятие нерасчленяемое, общее!»

...Петр как-то натолкнулся на любопытное примечание у Гоббса, которое вдруг высветило для него Голицына совершенно в новом свете — беспомощным, добрым дедом (как же он мечтал о таком в детстве! Кругом были мамки, ни одного доброго старика! Все, кто хранил его и следил за каждым шагом, были затаены и молчаливы, — ведь он им был государем, хоть и дитя, игрушками

баловался, а они р а с с ч и т ы в а л и его, будто фигуру в индейских «шах и матах», сердца и слез в нем не видели, лишь зачарованно смотрели на корону).

«Страх — отметил Петр в работе Гоббса, — который возникает из-за тех причин, которые нельзя объяснить, понудил людей выдумать себе богов».

Отсюда англичанин (во многом отрицая самого же себя, как казалось Петру) сделал вывод, что власть существует, поскольку каждый подданный поступился своим правом на личное могущество, отдал его добровольно монарху и почитает закон лишь оттого, что согласился с наказанием за преступление.

...Петр, управившись с блинами, откинулся на спинку стула и, обращаясь словно бы к повару Фельтену, а не к Голицыну, заметил:

— То, что хорошо Англии, для России непотребно. Твой монашек, князь, не просто перекладчик с чужого языка, он — лицо, прилежное церкви, а ты его против меня, светской власти, наставляешь, полагая, что он лучше самодержца и церковного отца может блюсти русский дух.

— Подговору не было, — сказал Голицын.

— А к чему подговор, когда глаз есть, мимика да слово? — усмехнулся Петр. — У нас господа вельможи будто музыканты: слух отменный, любой нюанс сразу поймают; это Гоббс объяснение каждому факту требует, а нам лишь намекни — голову своротим, от всей нашей широкой души. Знаю, куда тянешь, князь! Не столько за угодную твоему сердцу старину, сколько против моей, государевой новизны. Умен ты, Дмитрий Михалыч, подумай лучше, как старое с новым примирить? Не то рассержусь я, князь, ибо коли начнем русскостью считаться, то я побежу: тебя поскоблишь — либо литовина отыщешь, либо татарина, а уж варяга — то бишь шведа — наверняка!

— В чем винишь меня, государь? — Голицын португальского вина не пил, к «каве» не притрагивался — басурманская горькая гнусь; сидел выпрямившись, будто перепоясанный широким татарским поясом с серебряной пузырчатой чеканкою.

— В том, что стар, сиречь — устал! Всего медлишь! Так другим поспешать не мешай! Старина тебе любезна оттого, что хоромы твои сказочны, дома теплы, книги всеязычны, еда отменна! А об сиром и бесправном горожанине, об темном холопе ты словно б через слюду

думаешь! За них твоей боли нет! Ты себе самому норовишь жизненную усладу продлить, — пусть все по-привычному будет, тогда ни об чем думать не надо и страшиться нового действия нечего!

— Действо — это когда каждый к себе тащит! А сие нашему духу противно, нам вчуже, это народ не примет!

— А ты откажи ему пару своих дворцов, — зло хохотнул Петр, — может, и примет! — Молчал долго, а потом, горько произнес: — Только одно людишки радостно делят друг с другом — страх. Будь то смерти страх, побоища, недорода, хворобы... Лишь мать ломоть хлеба делит неровно — большую часть дитю отдает... Так это ж — мать, другого такого понятия в мире нет...

— Такими словами недолго мужика к бунту супротив древних родов поднять, — сказал Голицын, отодвинувши от себя потухшую трубку Ягужинского нескрываемо брезгливым жестом.

— Преображенцы подле нас — чего ж бояться пьяной и темной ярости? Угомоним, не впервой. Да и поднимали мужиков к непокорству людишки вроде твоего монаха, чванливые, для них и дерьмо — сладко, коли свое...

— Ты, государь, похлеще монашка разрушаешь своими словами основы. Наш народ — особый...

— А ты чего за весь народ говоришь, князь? Ты за себя говори, за свой род, за Голицыных.

Голицын упрямо повторил:

— Зовешь к бунту, коли на благородные фамилии замахиваешься...

— Когда к делу зовут, бунтов не бывает, князь. Бунт только супротив застою подымается. Съезди на Ладыженский канал, там тебе объяснят закон шлюзов; из Голландии, столь тебя тайно интересующей, пришла к нам сия наука... Но я тебя позвал неспроста, не стал бы вокруг твоего монашка ходить, коли б гневен был без предела. Я тебя, Дмитрий Михалыч, позвал, дабы спросить при всех: не возьмешься ли разработать закон об льготах для торговцев и ремесленников, наподобие тех, которые были в Великом Новгороде, чтоб не мешали работникам мои коллегии бумажными приказами, а лишь способствовали пользе дела, которое исчисляться будет не тем, чего из казны не дали, отказавши в просьбе, а тем, сколько в казну прибыли принесли. Тогда станем с профиту платить жалованье государевым людям, а не с места, на коем человек сидит, руками вцепившись в стул,

будто в мамкину цицку, — отыми, с голоду помрут, бездельники.

Петр достал червонец, положил рядом со своей тарелкой. Ему последовали Остерман, Ягужинский, адмирал Апраксин; Голицын долго шарил по карманам, нашел лишь мелкие медные деньги; никто не произнес ни единого слова.

Поднялись все разом, как по команде...

3

В недостроенной мастерской придворного живописца Ивана Никитина пахло так же, как на первом государевом ботике: скипидаром и белилами; табачный дым слоился серо-голубыми дрожащими листами — художник любил распыхать толстенную сигару из Америки, что привозили ему в дар вельможи во время сеансов, полагая (не без справедливости), что это подвигнет живописца сделать их лица еще более значительными, красивыми, исполненными мудрости.

Однажды, наблюдая за работою Никитина, когда тот дописывал портрет Елисафет, государь заметил:

— Ты с живства пиши, а не из ума, Иван. В уме у тебя мы все, видно, на одну харю.

— Хари разные, — ответил Никитин, — только каждый норовит придать одно и то же выражение.

— Какое?

— Большого умствования, но притом ангельской кротости.

— А Ягужинский?

— Тот — нет, — ответил Никитин. — Тот всегда на сиянс четверть привозит и целиком ее выхлестывает: пьющий человек — открытый, в нем лукавства нет.

Петр любил приезжать к живописцу. Он садился возле огромного, словно парижского, окна, подолгу наблюдал, как то стоял возле картины, потом, отбежав к окну, начинал делать что-то пальцами перед глазом, будто кому жесты строил.

— Ты это зачем? — спросил Петр, когда Никитин, решив передохнуть, отложил кисти, устроился в кресле и, вытянувши короткие ноги, раскурил сигару.

— Препорцию проверяю, Петр Алексеевич. От нее весь расчет. Великие, как Рембрандт, зеркало для сего дела держали.

— Ну?!

— Именно так. В нем свое словно чужое видишь. Себе-то ведь ошибку простишь не токмо в живописи. Себе все простишь. А в зеркале — как на торговых рядах: коли не привезли битых зайцев, так и не ищи, а лежит солонина — ею и довольствуйся. Говорят, наш Симон Ушаков для сего дела окно приспособил, отражение со своих парсун разглядывал, но зыбко это, стекло легкое слишком, будто сквозь чердачную паутину подглядываешь.

— Какого ж размеру тебе потребно зеркало?

— Чем больше, тем лучше, да ведь така дорога штука, не по карману мне.

— Скажешь, что я тебе малое содержание положил после твоих италийских вакаций?

— Мало, государь. Краски приходится на свои деньги покупать, казна прижимает; мастерскую эту третий год строю, а, кроме как в этом зале, пол еще не настелен, сплю на холодном чердаке, на стружках; Ромку, младшего, в Москву отправил, там в Измайлове двор щедрей денег дает.

— Урежу дьяволам! Бездельничают, в потолок плюют, а портреты заказывают, хотят чумырла свои в покоях иметь...

— Урежешь — живописи не будет, а государство ценят по тому, что написано да нарисовано, да еще какая песня сложена...

— Ничего, тебе, говорят, светлейший за всех нас отваливает, только чтоб ты его дочерей херувимами рисовал...

— Платит хорошо, бога гневить нельзя, да ведь и моя работа того стоит.

— Слушай, а где те парсуны, что у папеньки моего в Кремле висели?

— Это Вухтина и Вартора, что ль?

— Как же ты немецкие имена помнишь, Иван? — удивился Петр. — Нет, больше мне нравилось разглядывать картины поляков... Запамятовал я их имена...

— Все вы так, цари: картину помните, а кто ее создал — не считаете нужным знать... Поляков, государь, звали Василий Познаньский и Киприан Умбрановский...

— А этот... горец? Армянин? Как его?

— Иван Султанов. Хорошего цвета мастер, очень ярко видел красное, бесстрашно клал краску, не то что мы ныне...

— Это — как? — не понял царь.

— Чем больше мастеров появляется, тем больше школ, а чем их боле, тем разностнее суждения, каждый норовит свое отстоять, передав себя ученикам. Помнишь, предку твоему из Парижа был прислан портрет Людовика Четырнадцатого? Знаешь, сколь он среди нашего брата родил споров?! «Отчего так много синего?!», «Да зачем такой густой черный?!», «Да откуда падает свет?!».

— Какая разница, откуда свет? — удивился Петр. — Важно, чтоб было похоже.

— Э, — махнул Никитин рукою. — Похожесть — дело наживное, коли есть у тебя от Бога дар. И вот как передать сказку?

— Какую сказку? — снова не понял Петр.

— Простую, — несколько даже рассерженно ответил Никитин. — Какие тебе мамки сказывали. И про медведя, что на дерево влез, и про Бабу Ягу — костяную ногу, и про ту красавицу девку, которая тебе всю жизнь грезилась, да так и не встретилась, и про пир, на котором ты никогда не бывал, а до смерти самой грезишь попасть. Чем больше художник не осуществил себя, чем в нем более сказки, тем он надежнее прилежен времени; в памяти людской останется... А вот Вартора я тоже хотел найти, — рука была у мастера отменная, да как в воду его полотна канули. Порядка нет в державе, Петр Алексеевич, нет порядка, и ждать его неоткуда.

— А — от меня?

— На одном человеке порядок не станет, мочи на это нет.

— Испортился ты, Иван, разъезжая по басурманским Европам, — усмехнулся Петр. — Кнут по тебе скучает.

— Не задирай мастера, — в тон государю ответил Никитин, — а то таким тебя изображу, что внуки ахнут. В нас — память человеческая, нас холить надо.

— В холе разнежишься, мастеру надобно ощущать вечное неудобство, как ручью, что путь к реке ищет; поиск — та дорога, по которой можно жизнь пройти в радости и без страха смерть увидать, потому как она мигом жахнет; ее тогда страшно, коли ждешь, медленно затаившись, и химерами всяческими стараешься избечь...

— Не зря Василь Васильич Голицын в своих хоромах держал твой портрет, писанный в отрочестве, наравне с парсунами князя Владимира и с Иваном Грозным, — хитер старик, чужой ум загодя чувствовал...

— При чем тут ум? Просто-напросто боялся, оттого и держал. Софье служил, не мне. Думал портретами гнев

отвести; политик загодя себя обставляет, потому как ежели умен — более о поражении думает, чем о победе. Привел бы Соньку на трон, меня б похоронил и следа б не осталось... Да и в уголку я у него висел, на самом невидном месте; у «царственного большия печати и государственных посольских дел оберегателя» нюх лисий... На самом видном месте что он держал, не помнишь?

— Помню, как не помнить.

— А ведь за те немецкие листы, что он хвастливо на всеобщее обозрение представил, плачено было по пяти рублей за штуку; деньги — при его-то скаредстве — большие. И королей вывесил басурманских, а ведь при людях плевался на Европу, жидовинью корил...

— Такое уж у него было иностранное дело, Петр Алексеевич, — ответил Никитин, пристально охватив чуть раскосыми глазами лицо царя. — А память у тебя как у художника... Страшная у тебя память: что раз увидал, того топором не вырубишь.

— Потому мы с тобою и любим стакан выпить поутру, Иван,— вздохнул Петр, — сие мысль, а она благостной бывает редко, в ней чаще всего грусть сокрыта али какой подвох, понятный одному тебе, старому и не всесильному... Уже...

— Ты истинную силу только сейчас и набрал, Петр Алексеевич...

— Истинная сила, исчислима тем, каким ты просыпаешься поутру, Иван... Сколько звонности в тебе и радости: как птиц слышишь, хлопья снега, шум дождя... Сила — это когда постоянная в тебе игра, Ванюша, беззаботность, а потому — вера в удачу, ожидание счастья, чуда, новизны, нежности...

— Чего грустен сегодня, государь? Не по тебе это.

— По мне. Только раньше хватало сил скрывать, а теперь — устал. Ты прав, порядка в державе нет; а это душу терзает, лишь порядок дает спокойствие... Когда все вокруг трещит и сыплется, а ты — один; когда других понимаешь, а они тебя — нет, тогда вот...

— Что? — после долгой паузы спросил Никитин, так и не дождавшись последних слов Петра.

Тот махнул рукой, поднялся, погладил художника по голове, вышел.

...И вот сегодня, заехав от Фельтена в Адмиралтейство, Петр велел Суворову погрузить — только осторожно, палку получишь, коли кокнешь! — тонкую доску, завернутую в рогожину, и повелел везти себя к Никитину.

Возле моста сказал остановить коляску и долго смотрел на то, как чайки собачились над полыньями возле берега.

— Любишь этих птиц? — не повернув голову, спросил денщика.

— Белые, — ответил Суворов после недолгого раздумья.

— А попугай желтый! Коли я про Матрену спрашиваю, ты мне про Глашку не отвечай!

— Гневны вы, государь, оттого и отвечаю побоку.

— Плохая птица чайка, — убежденно сказал Петр. — Попусту мается, нет в ней работы во имя гнезда своего.

...В холодной, вот уж второй год недостроенной мастерской было сумрачно, хотя Никитин, как обычно, жег много свечей.

— Принимай подарок, — сказал Петр. — Говорил, что свое только в чужом правдиво предстает, со всеми ошибками, — держи венецианский шпигель на память.

Никитин зачарованно наблюдал, как Суворов разворачивал зеркало; поцеловал государеву руку; потом словно бы забыл о нем; зеркало перенес к креслу, начал его так и сяк вертеть, подвинул поближе портрет дочки светлейшего и — словно ударили его под дых — аж выдохнул:

— Гляди, Петр Алексеевич, гляди-ка! У ей левый глаз в стороне и словно бы плачет!

— А я в прошлый раз и без шпигеля заметил, — удивился Петр.

— Чего ж мне не сказал?

— Я полагал: такова мысль твоя — передать разность чувств, сиюмоментно пребывающую в человеке.

— Как ты сказал? «Разность чувств в человеке, сиюмоментно пребывающую»?

— Ну...

— Зачем же ты согласился своему Танауэру да парижанину Караваку позировать?! Разве могут они тебя понять? Ты ж в каждый момент разный; у тебя речь рваная, а за словом — фраза сокрыта! Они ж глазыньки твои малюют для шику и на удивленье зрителям, — чудо что за глаза, красота! — а они у тебя круглые, птичьи; они ж дают подмастерьям латы рисовать или Александровскую ленту помуаристей, чтоб взгляд привлекало, им до твоей тоски дела нет!

— А ты зачем на них прешь, Иван? Мою тоску тот до конца поймет, кто наш с тобой язык от отца с матерью

взял, всякую тонкость в полслове чует... Разве они повинны, что не русскими родились? Разве плохо они мне служат?

— Служат — хорошо! Поклон им за то, что науку нам передали, только не давай ты более им себя писать! Не понимают они тебя! Я Людовика видел, — он рябой, с носа каплет, а ведь они его на картинах Аполлоном изображают, юношей беспорочным!

Петр усмехнулся:

— Думаешь, мне не нравится, когда меня таким малюют? Еще как нравится!

— Садись, вмиг напишу! — предложил Никитин. — Чего напраслину на себя несешь? Я про тебя, государь, все знаю, потому как картины, с тебя писанные, изучил, будто псалтырь...

— Расскажи.

Никитин принес из кладовки бутылку французского вина, посмотрел на свет:

— Кровь. Здоровье в ней. Каждого шестого августа сотворяю молитву над виноградной лозой: «Благослови, Господи, плод сей новый, иже растворением воздушным, и каплями дождевыми и тишиною временною, в сей зрелейший час прийти благоволивый; да будет в нас от того рождения лозного причащающихся в веселие и приносить Тебе дар во очищение грехов, Священным и Святым Телом Христа; с ним же благословен еси со пресвятым, и благим и животворящим духом Твоим, ныне и присно и во веки веков, аминь!»

Выпили; Петр закусил сыром.

— А знаешь, какова у меня самая любимая молитва? — спросил Петр задумчиво.

— Прочти.

— «Скорый в заступление и крепкий в помощь, предстани благодатию силы Твоея ныне и, — благословив, укрепи, — и в совершении намерения благою дела рабов твоих произведи; ибо всяк, кто хочет, как сильный Бог может творить!»

Никитин налил по стаканам остатки, заметив:

— Последние слова этой молитвы изменил ты: «вся бо елико хочещи, яко сильный Бог творити можеши».

— Верно. Только что дает человеку силу: слово, которое он понял и почитает своим, либо же приказной текст, принужденный к зубрежке? Свое делает человека сильным, Иван, и ты это не хуже меня знаешь. И Танауэр, хоть меня красавцем малюет, это понимает. Кому из

мужиков есть дар делать новое — те только и понимают смысл слова «свое», не шкурное в нем видя, а, наоборот, то, что ко всеобщему благу оборачивается.

— Ей-богу, вот бы тебя написать таким, каков ты сейчас, — сказал Никитин.

— Пиши.

— В один сиянс не уложусь, подари хоть три...

— Завтра у меня важный день будет, — задумчиво сказал Петр. — Может, самый в жизни важный... Проведу задуманное — подарю тебе три дня, обещаю. А теперь рассказывай, что сулил.

— Сейчас... Где, кстати, та гравюра, что ты самолично травил в Голландии у Шхонебека?

— «Победа христиан над исламом»?

— Да.

— Подарил князю Дмитрию Голицыну.

Никитин покачал головой:

— А боишься ты его.

— Боюсь я, только тогда когда дети болеют, Иван. А вот опасаться — опасаюсь; за ним бо-ольшое множество людей стоит, и все мои супротивники, все дремы ждут, в нашем ленивом неуправстве кого угодно винят, только не себя, и дела бегут.

— Зато Руси прилежны.

— Русь, коли в ней дело захиреет, станет вотчиной орды или провинцией австрийской короны, — отрубил Петр. — О Руси я более их скорблю. Когда я тебя к курфюрсту саксонскому Августу отправлял, портрет его писать, намеренно ко всеобщему сведению распубликовал: «Пусть персону его спишут и с прочих, кого захочет, а особливо с виду, дабы знали все в мире, что и у нашего народу добрые есть мастера». И ты его так нарисовал, что по тебе, как по истинно русскому, слух прокатился через все европейские столицы. А это славу отечеству принесло! Кто ж более о Руси радеет? Они — ленью, али я — делом?! Ну, говори, жду, интересно!

— Помнишь свой первый портрет?

— Да я ж раздариваю их все преображенским полковникам али послам, откуда мне помнить?

— А я на портреты живу, каждому веду учет, оттого — все помню. Так вот, первый парсун, писанный с тебя, может, еще в отрочестве, хорош не ликом твоим, не мыслью в глазах, не волею в лице, а соболями, в которые ты облачен, да горностаями, да алмазной цепью!

Красиво написано, да только сказки нет, а потому от правды далеко!

— Верно говоришь, но — против себя, Иван. Коли меня Танауэр не может понять, потому как саксонец, отчего же англичанин Готфрей Ноллер в Утрехте, в девяносто еще седьмом году, сделал портрет, и нет в нем соболей; пустые латы да лента, а я самого себя понимаю? Отчего?

— Оттого, что делал он портрет с юноши Петра Михайловича, вроде бы царя, а может, и не царя Московии, которая темна, далека и обессилена раздорами. Ежели бы он сейчас тебя писал — не знаю, сколько бы звезд на тебя возложил, сколько брильянтов и смарагдов... А Танауэр тебя понять не может не оттого, что кровью чужой, а просто таланту в нем не много, хоть сердчностью и знанием богат. Я ж против Иоганна Купецкого голос не подымаю, я ж колена перед ним готов преклонить, но он-то к тебе не пошел, он вместо себя Танауэра послал, тот сразу согласился, — еще бы, дурень не согласится, когда ты ему жалованья положил в пятнадцать раз больше, чем мне, своему живописцу!

— Нет пророка в своем отечестве, — улыбнулся государь, вспомнив отчего-то тонкое лицо Купецкого, когда тот приехал к нему в Карлсбад, писать «портрет с персоны».

В тот день Петр работал в кузнице Карела, что в Бжезове, — ему нравилась прогулка в ту маленькую деревушку; он поначалу молча наблюдал умелость мастеров, стоя у раскрытых дверей кузни, а потом, сбросив кафтан, вошел, попросился к горну, подал огоньку и пошел баловать с молотом — на удивление Карелу и его подмастерьям. Туда, в Бжезов, и привезли придворного живописца; тот глазам своим не поверил: чумазый государь великой империи хохочет, говорит с мастером на варварском немецком (явно слышится чешский акцент, — братцы-славяне одним миром мазаны), в работе сноровист.

«Вот бы его так и написать, — подумал тогда венский мастер, — в кожаном фартуке, лицо закопченное, зубы что сахар, глаза — хоть и со смешинкой, а грустные, — это и будет искусство».

Но он лишь усмехнулся этой своей дерзкой мысли, представив гнев гиганта, коли предложить ему такое, и холодную ярость своего венского венценосца.

Однако лицо Петра, особенно глаза, он понял именно

в те минуты, что наблюдал за его работой, дивясь великолепной контрастности черного и ярко-желтого цветов, соединенных воедино громадной фигурой царя возле наковальни; похолодел от волнения, ибо понял внезапно, как надобно писать ночь, потому что искры, что взметались из-под молота, заключали в себе именно эту тайну: если звезды на ночном своде написать верно, то и самое небо станет истинным, вберет в себя звезды, подчинит себе их цвет или же, наоборот, подчинится им, сольется с ними; отсутствие гармонии — конец искусства, впрочем, только ли искусства?

Лицо русского государя Купецкий написал за один сеанс, костюм позволил делать двум молодым своим ученикам, особенно преуспел в отработке драпировок Дэвид Гойер, ему и кисть в руки!

(Гравировщик Алексей Зубов, работавший затем этот портрет для заглавия «Марсовой книги», говорил Никитину, что венский художник воистину, от Бога, одарен: восхищался, как точно была понята им мысль, что тяжко и безответно билась в глазах Петра. Первый лист у Зубова выпросил за семь рублей брауншвейгский резидент Вебер, чтобы открыть ликом государя свое «Собрание сочинений о России», а когда преподнес книгу в дар, Петр долго и удивленно разглядывал свое лицо, потом, вздохнув, заметил:

— И чего б ему меня в кузне не написать, дурню?! Эк ведь цвет точно угадал! Дымность и тьма, а в ней — огонь сокрыт, словно бы звездопад в ночи.)

...Никитин принес еще одну бутылку; долил государю и себе, спросил разрешения распыхать сигару, продолжил:

— От наших соболей, сиречь от безликости, через ноллеровские латы — к танауэрским фрегатам, что на втором плане выписаны, и гелдеровскому калмыку, который твою корону стережет, вот каков твой путь, Петр Алексеевич, в живописи, а она строгий судия, художник угадывает своими чувствованиями дальше иногда президента коллегии, правду видит страшно, без прикрас. Человек и государство сопряжены воедино, и чем выше человек стоит в державе, тем круче он прилежен царству, тем тягостней его крест, коли он не просто живет, абы жить в роскоши, но тревожно радеет о будущем, то бишь о памяти, которая по нем останется. Я твои портреты разглядываю и дивлюсь, сколько горя в тебе, прячешь ты его умело, а — глаза? Не со сплющенными ж очами тебя

писать?! Ты приблизился к какому-то рубежу, государь, а преступить его страшишься, и не князя Дмитрия Михайловича со товарищи страшишься ты, а себя самого, ибо должен и для себя самого решение принять; отдать — хоть часть, — но своего, тебе одному принадлежащего, иначе тиною порастем, не под силу одному, даже сотне мудрецов страну перевернуть, коли остальные — без интереса, лишь окрика ждут от власти, а своего смысла страшатся...

— И ты к тому же...

— Те, кто тебе служит, — все к тому же...

После долгой, тяжелой паузы Петр спросил:

— Ну а девочки?

— Елисафет тебе предана, ум в глазах бьется, а за Анечкой доктор Блументроост пущай зорче смотрит, хворь в ней сокрыта. Она, когда позирует мне, в окно смотрит, глаза отводит... Умна и остра, язык — что игла, начнет вдруг веселиться, а потом замрет и руку к сердцу прикладывает, как бы дышать ей тяжко.

— Блументроост сказал, что это с детства у ней, в зрелости пройдет.

— Давай-то бог...

— Он твердо сказал — замужем пройдет, я верю ему.

Никитин повторил:

— Давай-то господь...

— Ну а Екатерина Алексеевна? — тихо спросил Петр и кивнул на свой стакан.

Никитин налил до краев, выпил сам, ответил:

— Она — мать твоих детей, наследниц российского престола.

— Не хитри, Иван.

— Она — государыня мне, Петр Алексеич.

— Иван...

— Что ты хочешь от меня услышать? Правду? По глазам вижу — нет! А врать не стану.

— Вот ты и ответил мне. Или нет?

— Петр Алексеич, я не царского роду, мужик, оттого в моих кровях ничего чужого нет, оттого я Русь по-особому понимаю и всю в себя беру. Никогда еще так трудно людишкам не было, как под тобою, но ведь на бунт не поднимаются! Смуты нету! Чего страшишься? Морщинами весь лоб изрезало, глаза запали, думаешь, верно, поймут ли? Поймут, ты только скажи открыто то, что и у тебя в сердце наболело...

Петр потер лицо своими большими сухими ладонями,

зевнул, сказал лениво (всегда так говорил, когда злился, стыдясь чего-то):

— Принеси-ка луку, соли и стакан водки, мне на свадьбу к поспеловскому Мишке пора, к господам опоздать не зазорно, а к слуге — не след...

4

...Сказав Суворову остановить коляску возле костра, где грелись рыбаки, Петр выскочил легко, по-юношески; улыбнулся этому; напряг плечи, ощутил силу мышц, заговорщически подмигнул кому-то незримому, но очень ему близкому; подошел к огню и сел на корягу, хрустко вытянув свои длинные тонкие ноги.

Артельный, признав Петра сразу же, истово поклонился государю; помня о запрещении падать ниц, потянулся вывернутыми губами к мозолистой императорской руке, но, видать, успел заметить в глазах великана что-то такое, что — словно бы толчком — остановило его.

— Ухой лучше угостил бы, — сказал Петр, подивившись тому, что артельный понял его. — С какой рыбы варишь?

— Судачок, щука да толстопузый лещ.

— Пойдет, — сказал Петр. — И чарку поднесешь?

— Чарки нету, — ответил артельный. — Деньги нет брагу ставить.

— Это ты, выходит дело, жалишься мне на жизнь свою? — поинтересовался Петр.

— Да господи! — воскликнул артельный. — Да лучше, чем у нас, нет на земле жизни ни у одного народа! Спасибо, государь ты нас батюшка, за неусыпну по нам заботу!

— Не пой, не кенар, — сказал Петр. — Я ж тебя лгать не неволю, чего изгиляешься? Думаешь, не знаю, как туго жить? Знаю. Цена каравая известна мне, у повара Фельтена сам за еду расплачиваюсь, со своего адмиральского заработку. А ну, дай ложку и поболе перцу, вы ж его бегите, как татя: басурманы, мол, вкушают, значит, нам нельзя, грех!..

— Так мы ж ноне против перцу толь на людях, — ответил артельный, — а харчимся им от души, противу цинги способствует, зубы крепко в десне стоят...

Петр оглядел лица рыбаков, столпившихся за артельным, покачал головою, повторил:

— «Толь на людях»... Да садитесь же... В ногах несть

правды, мне налейте и сами хлебайте, я вам не в помеху. — Он по-прежнему внимательно вглядывался в рыбаков, в их широко открытые, голубые, карие, зеленые, глаза; ощущал вопрос, спрятанный в каждом из них; показалось ему, что у молоденького паренька, самого высокого ростом, на носу и лбу высыпало веснушками, да сам же себе и возразил: «Весны хочешь, стар делаешься, к теплу тянет, чтоб через январский перевал поскорее к новому лету скатывало. Не к весне у него веснушки, от природы небось конопат». — Длинный, — обратился Петр к парню, — тебя как нарекли?

— Пашуткой!

— Павлом, а не Пашуткой! На голову длинней остальных, а кличешь себя блаженным именем! Указу моего не читал?

— Читал, — распрямился парень, — да только несогласный я с ним.

— Это как?

— А так! Нет моего согласия — и все тут! Как папенька меня от себя отличит, коль он Павел?!

— Отличить просто: Павел сын Павла. Красиво? Красиво!

— Пашуткой меня маманя родила, им и останусь! — не сдавался парень, хотя побледнел от волнения, вытянулся ломкой, белой струною на синем, набрякшем тяжелой влагою снегу.

— А вот коли у тебя сын родится, ты его как наречешь? — спросил Петр. — Ну, скажем, на петров день. Значит, Петрушкой, да? И будет он тогда Петрушка сын Пашутки! Ты мне эдак империю в державу карликов превратишь! Ты не в том распрямляйся, что со мною, государем, смеешь спорить, а в том, чтоб не Пашуткой тебя в рыло тыкали, а Павлом рекли!

Артельный обернулся к парню:

— Чего споришь?

«Господи, бог ты мой, — горестно подумал Петр, — ну кто, когда и где придумал, что истинно русский тот только, кто евангельскому непротивлению прилежен, жив созерцанием, а не делом, угодным, вишь ли ты, только царству западного антихриста?! Кто и когда эдакое сочинил, пустив в оборот? Не русский, только не русский! Тот, кто страшится русского замаха, русского дела, да и спора русского! Эк Пашутка побелел ликом, когда я его к его ж выгоде позвал; за папеньку оскорбился... Но ведь на спор-то встал! «Мы, русские, созерцатели мира», —

передразнил он кого-то очень знакомого ему, но только б вроде через тряпку голос слышен, а лицо рукавом закрыто. — Это святой-то Владимир «смиренный мечтатель»? А кто руку на идолов поднял, прежнюю веру отринул и привел нас ко Христу? Тоже «мечтатель»?! А русские разбойники? Что это, как не спор против косных наших уложений! «Смиренный народ, барину своему преданный»?! А Вассиан Патрикеев? А Никон?! Для него старые порядки никакой цены не имели, ибо прогнили и заветшали из-за всеобщей лености! А почему леность? «Качество» русского? Как бы не так! Не давали русскому — после Новгорода — воли, по рукам и ногам повязали татарскою, привычной к оброкам, буквой, растлили душу холодом приказного отчета, а не радостью живого дела, вот оттого и родилась у моих людей лень: «Страна богата, как-нибудь проживу, чего вертеться, коли нет в этом моей человечьей корысти?!»

Петр принял из рук артельного ковш с ухою; ложка была расписана яркими синими цветами, таких он не видел; привык, что в Архангельске на стол клали красно-желтые или же темно-коричневые, гладкие, без рисунка.

Уху отменно приперчили; губы клеило; пахло морем.

— Благодарствую, — сказал Петр. — Вкусно варено.

«Когда противники выделяют меня изо всех — они погибель мне готовят, — продолжал думать он неторопливо, ощущая тепло в ногах от близкого костра. — Я — звено в цепи, а не исключение, «оборотень-сатана». Я противу того же встаю, что и этим рыбакам житья не дает! Только ранее власть на Руси не смела новое громко заявлять. Иван растоптал Новгород, извел свободу дела; в смутную годину его прыть с опричной обернулась новой кровью... Одно зло порождает другое. Борис Годунов хотел реформу провесть, да побоялся, татарской был крови, осторожничал шибко, на чужой взгляд оборачивался... А так нельзя в большой политике, тут надо круто и без страха... А батюшка мой чем не бунтарь был супротив ленной дремучести, когда и артистов пригласил, и Ордына-Нащокина приблизил, и Матвеева с его шотландцами, и первую газету решился издать?! Прав Феофан, на пустом месте пустое родится. Коли б не татарское нашествие, не скрылись бы наши песни, сказы и летописи из городских палат в потаенные монашьи кельи, не разбилась бы Русь на кулаки княжеств, не было б «рязанского», «архангельского», «московского», «курского» духа, — был бы дух единорусский; не было б тихой

'келейной малости страха и огляду, а было б так, как во Киеве, — просторно, широко, громко! Господи, за что ж на нас одних?! Сколько книг успели понаписать, в коих собраны одни лишь запрещенья?! То — не читай, сие — не смей, то — чужое, сие — дурное! На все, что было до святого Владимира, — тавро! А почему? Кто сказал, что дома надобно было окнами во двор строить?! Кто определил, что коли рукава кафтана до полу, только тогда и есть истинно русский наряд?! Отчего икону можно было писать лишь так, как начали при Владимире? За что глаза художникам жгли, коли они по-своему рисовали?! А ведь те мастера в божьи очи близко заглядывали, потому как им от него талант даден?! Кто определил истинно русское и православное? «Четьи Минеи»?! «Домострой»? Так он хуже лондонского Тауэру, нет от него людям ни в чем свободы маневра! А как обо всем этом рассказывать рыбакам, господи?! Как объяснить им, что чужое — коли оно хорошее — лучше своего плохого, и нет зазору в этом самим себе признаться! Воистину, кто стоит на месте, тот пятится вспять, ибо все вещи в труде, и реки текут, а моря не переполняются! «Фрола Скобеева» б издать, чтоб в каждый город дошло, во многие домы! А где типографий взять? Сатиры б старые напечатать на наши кожемякины суды, на думных дьяков, на тьму! Ведь русские же писали, не голландцы! Тех и не пускали тогда к нам на порог, свое блюли».

— Какую песню любите петь? — спросил Петр артельного, который по-прежнему стоял подле, желая уследить государево желание.

— А сейчас тебе каково?

— Сейчас — странно, — ответил артельный.

— Отчего?

— Государь — как учат нас — свят, то есть далек, а он, вишь ты, прост, оттого как близок.

— И — плохо это?

Артельный повторил убежденно:

— Странно.

Петр откинул голову, словно загривок болел к смене погоды, запел неожиданно тонко:

Коль дождусь я веселы вёдра,
Дней красных,
Коли явится милость с небес ясных!
Ни с каких сторон света не видно,
Ненастье,
Нету надежды, бедно, ох да бедно, мое счастье!

Артельный подхватил песню, повел низким, грудным голосом:

Нет, ох-хо, нет света, не ви-идно,
Ненастье!
Нет надежды!
Нету...
Бедно ты, наше счастье...

Петр тронул ботфортом пламя, спросил:

— Кто слова сложил, известно?

— Люди, — ответил Пашутка. — Они все наши боли на слова ложат, кто ж еще.

— Не люди, но человек! А имя ему Феофан Прокопович. Запомни сие, Павел сын Павла...

Поднявшись, — как всегда резко, словно бы толкнули, — Петр вернулся к коляске, легко вспрыгнул на свое место, сказал Суворову:

— Едем к слуге Мишке — время.

Суворов тронул было коня, но государь остановил его, поманил артельного, спросил ласково:

— А ну, скажи мне, старый, коли дал бы я тебе право взять в казне али под ссуду денег и дело начать, а с дела мне откуп платить, много б тебе стало легче жить?

— Этого нельзя, — убежденно ответил артельный.

— Отчего?

— От веку. Я ж не барин, а по приказу живу.

— Ну и коли все ж позволю?

Артельный улыбнулся кроткой, застенчивой улыбкой и ответил тихо:

— Да разве поверят, государь? Решат — шутишь.

— У тебя к чему лежит сердце? К тому, чтоб приказали тебе? Или чтоб сам свое дело ставил?

Артельный ответил:

— Ты хоть молодых не тревожь, государь! Они ж твое слово передадут другим, а их за это — на дыбу!

— Я это мое слово печатно изложу и повелю его с барабанным боем читать по площадям, — тихо, словно бы себе самому, ответил Петр и явственно увидел амстердамскую площадь, веселый, шумный рынок, чокелатные кавейни, пивные заведения, горожан в красивых нарядах и веселое торжище, где радостной игры было куда как более, чем шейлоковой битвы за гульден или ефимок; а за этим шумным многоцветьем вдруг увиделось лицо художника Гельдера, когда тот кончил последний сеанс и долго рассказывал про то, как умирал его учи-

тель Рембрандт, ходивший по рядам в вонючем рубище, ожидая подаяния рыбаков после того, как кончался торг.

...Рембрандт виделся Петру отчего-то бритым наголо с трясущейся левой рукой.

И всю жизнь с той поры мечтал Петр о том, кто был бы ему как отец, — пусть старый и бессильный, но все одно не страшно жить, коли можно ткнуться ему головою в мягкий живот и замереть, преклонив колена, ожидая того сладостного мига, когда рука его ляжет на голову и снимет страдания, примет в себя, исцелит и даст силу выстоять...

* * *

Февраль 1725 года

«Сир! События прошедшей недели столь драматичны, что эмоции могут лишь повредить беспристрастному исследованию того, что свершилось, и — соответственно — того, что, возможно, свершится.

Итак, еще девятого генваря я видел своими глазами, как государь император, легко выпрыгнувши из своей повозки, бросил вожжи денщику и — одновременно — городскому полицмейстеру Антону Мануиловичу Давиеру, а засим в сопровождении адъютанта Александра Ивановича Румянцева и Франца (а ноне Никиты) Петровича Вильбоа, а также неотлучного при нем Суворова направился к домишку давнего слуги, любимого его денщика Василия Поспелова, прозываемого Мишкою, который гулял свадьбу с гундошницею Настасьей. (Поскольку в придворных кругах несколько раз произносилось слово «гундошница», я постарался выяснить, что это доподлинно означает. Как всегда в России, однозначного ответа получить не удалось. Можно считать, что «гундошница» — это «повариха», а можно перевесть и как «говорливая развлекалка барыни».)

Помимо денщика и адъютанта встретить государя также был удостоен чести и сам слуга Мишка со своей невестой Настасьей; Мишку царь ласково потрепал по шее, а Настасье дал подарок; какой, сказать не могу, ибо подарок завернут был в материал, — судя по всему, шелковый, белого цвету.

Не дождавшись — как это было принято ранее — прибытия экипажа ея императорского величества, которую в последнее время сопровождает конный эскорт, государь

соизволил войти в домишко денщикового слуги Михайлы, дав тем повод к началу праздника, который длился чуть не всю ночь, а назавтра — сказывают мне доверенные люди — государь пожаловал (без августейшей супруги) на рядины и крестины женившихся, был весел, пил много, но других, однако, неволить не изволил, что свидетельствовало о добром Петра расположении.

Последующие шесть дней прошли в Санкт-Петербурге спокойно, в работе. Мне стало известно, что государь дважды принял командора Беринга, вместе с ним рассматривал карты окраины Татаро-Сибири, что возле Америки; несколько раз встречался с учеными, приписанными к Навигацкой школе и Кунсткамере, а также с известным здесь профессором математики Леонтием Магницким; неоднократно заезжал в Кунсткамеру, беседовал с тамошней профессурой о необходимости привлечения к делу прусских и вюртембергских ученых-естествоиспытателей; посетил Навигацкую школу. Объявлен был официальный указ о предстоящей поездке государя в Ригу; в столице готовились к церемонии проводов, которые должны были состояться при выезде из города, как внезапно пронесся тревожный слух — Петр в постели, болен; шестнадцатого генваря, сказывают, стало совсем ему худо, однако назавтра полегчало, о чем стало мне известно от знакомых доктора Блументрооста, который не только итальянского профессора Ацциарити пригласил во дворец на концилиум, но и выписал из Москвы для той же цели лекаря Бидлоо.

Однако же, несмотря на то что государю стало легче, во дворец — сразу же по началу хвори — кем-то был вызван опальный Меншиков, который более уж оттуда не выезжал, хотя двадцатого генваря профессор Ацциарити дал понять посланнику Кампредону, что царь здоров и, видимо, вскорости вернется к своим каждодневным делам.

К двадцать второму генваря у государя прошла лихорадка.

Ацциарити сообщил посланнику Де Вите, что опасность миновала полностью, но, несмотря на это, приближенные отчего-то устроили императору обряд причащения. Быть может, именно в связи с этим актом, который вполне безразличен смертельно больному, но весьма страшен здоровому (или выздоравливающему), сей акт, как говорили, внес резкое изменение в настроение императора. Никому не известно, что случилось после обряда

причащения святых тайн, но на следующий день государя — внезапно для всех — оперировали, извлекши, как говорят, два фунта урины. (Именно в этот день из дворца внезапно донеслись протяжные, страшные вопли, но лишь краткое время; засим наступила гробовая тишина.)

По мнению лечащих врачей, во всяком случае большей части, такого рода операция совершенно не была необходимой.

...Поутру от имени государя было велено отпустить из острогов империи пять сотен каторжан; и затем было приказано молиться во всех церквах о скорейшем и полном выздоровлении монарха.

(Мне рассказывали, что в пору смертельной болезни Петра, когда он был еще молод, духовник предложил ему отпустить из острога десять воров. Царь отказал: «Спокойствие державы для меня превыше своего живота; что суждено, тому и быть».)

В тот же день, сказывают, Петр решил написать новое завещание, ибо написанное им после коронования Екатерины было будто бы в ноябре предано — по обстоятельствам неизвестным — огню и тлену. Наследование престола, по всем законам, особливо после того, как прошлым летом Петр торжественно короновал в Москве свою супругу российской императрицей, — должно, конечно же, перейти Екатерине, хотя при дворе существует весьма влиятельная, хоть и тайная, партия, уповающая на то, что — в случае нежданного горя — трон России перейдет внуку государя, Петру, сыну казненного царевича Алексея.

Возможен, впрочем, и третий исход (на нем якобы настаивали самые близкие Петру вельможи) — передача трона любимой дочери государя принцессе Елисафет.

Так или иначе, двадцать шестого генваря государь затребовал перо и бумагу, дабы составить новое завещание, однако перед тем решил подкрепиться, ибо, сказывают, аппетита во все время течения болезни не терял. Как передают, ему подали грешневую кашу, варенную поначалу в воде, а потом смешанную с гусиным салом, отварную осетрину — целую рыбину, но не более трех фунтов (врачи ограничивали государя в еде), — но после принятия пищи у него, неожиданно для всех, начался припадок конвульсий; засим он лишился сознания. Открывши глаза лишь через два с лишним часа, Петр не мог произнести ни слова — он потерял дар речи.

Он делал левою рукой (правая отнялась) какие-то

жесты, словно звал к себе кого, пытаясь сказать нечто.

Потом — как передали врачи — началось заражение крови.

Дворец был окружен стражей, от постели страдальца, как сказывают, ни на минуту не отходил генерал-прокурор, постоянный адъютант его императорского величества Павел Иванович Ягужинский. Где в это время находился сиятельный князь Меншиков, вызванный во дворец, неизвестно. Все связи с внутренними покоями императора были надежно прерваны.

Поутру, двадцать восьмого генваря, наступила смерть.

...Далее события развивались таким образом, что определенно утверждать достоверность той или иной версии — пока что во всяком случае — трудно. Посланник Кампредон настаивает, что вопрос о восшествии на престол России государыни Екатерины Первой, урожденной чухонской крестьянки, был решен в момент смерти Петра; что, лишь когда страдалец испустил последний вздох, новая императрица явилась перед вельможами и отдала свою судьбу в их руки.

Прусский же посланник Мардефельд настаивает на том, что все было решено еще задолго до смерти самодержца.

Однако же не следует считать, что восшествие на престол Екатерины обошлось спокойно и без столь политике знакомых катаклизмов.

Сказывают, что во время большого совета вальмож русский канцлер граф Головкин поднялся первым, когда кем-то (кем — неизвестно до сих пор) было предложено поочередно высказаться по поводу будущего империи. Глядя в глаза Екатерине, граф сказал, что посколь Петр не оставил посмертного завещания, то вопрос престолонаследия должен решать — как и было исстари заведено — народ российский. Его якобы поддержали князь Голицын, генерал Репнин, князь Долгорукий, граф Пушкин и брат адмирала Апраксина. Вопрос о судьбе престолонаследия грозил перерасти в столкновение могучих группировок. Запахло грозою, могла случиться новая смута, как вдруг встал сиятельный князь Меншиков, а вместе с ним граф Бутурлин, и поначалу сиятельный князь, а позже известный военачальник произнесли столь весомые слова и бесспорные доказательства своей правоты и силы, что брат генерала Апраксина упал без чувств,

стукнувшись виском об пол, и к нему, бездыханному, был вызван лекарь.

Сразу же после этого генерал Бутурлин и майоры Преображенского полка Юсупов и Ушаков ринулись с отрядом преображенцев в сенат, который собрался, ожидая известии, не зная толком, что происходит во дворце. Там, восшедши на праздничное место, эти вельможи Петра объявили себя сенаторами в присутствии солдат-преображенцев, коих с собою ввели в зал; солдаты были во всеоружии.

Лишь после этого сенаторы ударили челом новой государыне, приняли приветственное письмо ей и ея детям, а Бутурлин сделался в тот же день полковником Преображенского полка, что есть высший воинский чин в России, ибо преображенцы были созданы Петром как его личная гвардия.

Назавтра тело государя (не подвергнутое вскрытию), припудренное, одетое в парчу и шелка, чего он так бежал при жизни, было выставлено для прощания; государыня всея Руси, сиятельный князь Меншиков, генерал Репнин, князь Голицын, граф Бутурлин, все — друзья ее и противники — стояли вместе, плечом к плечу, и лица их были в слезах. Не было только среди ближайших сподвижников умершего государя брата адмирала Апраксина, — так и не смог прийти в себя от страха, сделался удар.

Посланник Кампредон, ссылаясь на мнение людей, близких ко двору, сказал, что лечение императора велось из рук вон плохо, ибо никто из лекарей не мог и предположить столь трагичного исхода пустячной болезни.

Сейчас стали распространяться в народе слухи, что, мол, император застудился в то время, когда вытаскивал тонущих солдат из залива близ Лахты. Однако об этом случае, якобы имевшем место быть в декабре, никто не знал и по сей день не знают в Санкт-Петербурге.

Передают, что задним числом составляется течение хворобы покойного императора, тогда как саксонский посланник Ле Форт настаивает, что дело не в простуде, а, по его сведениям, в камне, повредившем мочевой пузырь; Кампредон же считает, что болезнь государя была следствием его необузданных юношеских увлечений; посол Горн полагает причиною смерти наличие в мочевом пузыре едкой материи, в то время как прусский дипло-

мат Мардефельд уклончиво называет болезнь Петра «страданием».

Видимо, ответ на вопрос, отчего погиб Петр (а этот вопрос не прост, ибо в нем сокрыта страшная тайна: «кому была выгодна смерть императора»), дадут архивы, когда наступит день и час открывать их ко всеобщему сведению.

Остаюсь, сир, Вашего Величества покорнейшим слугою.

Виктор де Лю».

...Архивы императора Петра хранились неразобранными в подвале дворца в течение полувека.

Их открыла лишь императрица Екатерина Вторая, когда большая часть папок (включая копию истории болезни государя) сгнила безвозвратно, превратившись в тлен, тайну.

...Екатерина Первая, вдова государя, внезапно умерла — сорокатрехлетней — через два года после трагической смерти ее великого мужа; в результате дворцовых интриг на престол пришел Петр Второй, сын казненного Алексея, помолвленный с дочерью сиятельного князя, «мин херца», выученика и «верного слуги» императора. Внезапно погибла — юной совсем — любимица Петра, принцесса Анна. Возобладала боярская партия консерваторов Долгоруких; князя Меншикова, отца новой российской государыни, отправили в ссылку; столица была перенесена в Москву; сподвижников Петра подвергли опале: вскорости от загадочной болезни скончался новый государь, мальчик еще; ночь опустилась над Россией, ночь и смута.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Два документа появились на Западе (да и в России имели хождение среди старобоярской оппозиции) после смерти Петра.

В первом назойливо подчеркивалось, что Петр умер от «дурной почечной болезни».

Второй документ был прямо-таки «государственным» подарком для противников России: речь идет о «завещании» Петра, в коем тот повелевал завоевать Запад», сделать Россию хозяином Европы и превратить ее

в центр новой империи, подвластной религии православия.

Весной 1982 года мне удалось прочитать в Ленинграде историю болезни Петра Алексеевича, собственноручно написанную доктором Блументроостом в 1716 году, накануне выезда государя на воды в Карлсбад.

Никаких показаний на «дурную почечную болезнь» в этом десятистраничном итоговом документе нет и в помине. Петр ехал лечить желудок, функция которого временами (чаще всего летом) нарушалась, — началось это после азовских походов, в жаре; видимо, амебная дизентерия, болезнь, которая даже в те годы считалась не только не смертельной, а и не очень-то опасной, врачевали ее легко, приступы снимали в день, от силы три.

Значит, в е р с и я необратимой, да при этом еще и «дурной почечной болезни» была угодна кому-то.

Кому?

...Петр не успел написать завещания (или ему не позволили это сделать).

Кому же было выгодно представить великого преобразователя в глазах Европы захватчиком и коварным агрессором?

Где самый текст этого «завещания»?

Где и при каких условиях пущен в обращение?

Эти вопросы открыты и ждут своего исследователя.

А то, что со смертью Петра в России началась дестабилизация, выгодная биржам Лондона и Амстердама в такой же мере, как причалам Гамбурга и владыкам Поднебесной, сомневаться не приходится, и дестабильность эта длилась по ту пору, пока гвардия, спустя пятнадцать лет после трагедии, случившейся в январе 1725 года, не привела на трон дочь Петра, тридцатилетнюю Елисафет, вместе с которой на российском небосклоне взошли новые звезды — Ломоносов, Тредиаковский, Кантемир, Сумароков, Рокотов, Сковорода, Воронцовы, Шуваловы и Бестужевы-Рюмины.

Посеянное гением прорастает сквозь годы: мысль — неистребима; движение вспять есть предательство того, что в конечном счете и определяет жизнь, — устремленность движения к разуму, то есть к добру.

1982 год, Букуриани

ВЕРСИЯ II (ГИБЕЛЬ СТОЛЫПИНА)

«ПОМОГИТЕ НАМ ОБРАТИТЬ БЫЛОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ГРЯДУЩУЮ ПОБЕДУ, ГЕНЕРАЛ!»

Двенадцатого декабря 1923 года в Мюнхене в дверь квартиры по Рёмерштрассе, 12, позвонили — просяще и аккуратно.

— Кто? — спросил человек, остановившись возле косяка так, чтобы выстрел, если случится, не мог достать его.

— Ваши друзья из штаб-квартиры национал-социалистской рабочей партии Германии.

Человек открыл дверь: неторопливо изучающе обсмотрел пришельца — молодой мужчина с высоким лбом, голубые, чуть навыкате глаза: в облике нетерпеливая устремленность, но в то же время и спокойствие.

— Могу я говорить с генерал-лейтенантом Курловым? — спросил незнакомец на чистом русском, с едва заметным прибалтийским акцентом.

— Это я.

Курлов пропустил пришельца в маленькую гостиную, обставленную старой, красного плюша мебелью, предложил садиться возле столика, на котором стояли две початые бутылки молока, тонкая соленая соломка и крекеры; сухо поинтересовался:

— С кем имею честь?

— Меня зовут Александр Васильевич... По-русски... Но вообще-то я немец, Альфред Розенберг... В нашей партии я занимаюсь вопросами международного планирования и теорией и практикой антисемитизма. По поручению фюрера германского народного движения Адольфа Гитлера я должен задать вам ряд вопросов...

— Это если я соглашусь отвечать, господин Розенберг... Вопрос, как и ответ, — понятия сопряженные, в подоплеке должна быть обоюдность желаний.

— Полагаю, вы согласитесь ответить, ибо наши цели и желания согласуются с вашими, генерал... Крушение большевизма, гибель еврейского интернационала, создание в Европе зоны стабильности — общие для нас с вами задачи...

— А кто это намерен осуществить? — спросил Курлов. — Насколько мне известно, господин Гитлер заточен в тюрьму, а ваше движение запрещено, поставлено вне закона...

— Первое поражение лишь способствует окончательному триумфу, генерал. Ошибки помогают корректировать стратегический курс... Мы обращаемся к национальному духу, который неистребим.

— Истребим. Сугубо, — отрезал Курлов. — Что вас интересует конкретно?

— Поскольку нам предстоит идти к власти сложным путем, партию занимает, в частности, все, связанное с историей устранения вашего премьера Столыпина.

— А какое я имею к этому отношение? — изучающе глянув в глаза собеседника, ставшие неожиданно прозрачными, бесцветными, водянистыми, спросил Курлов.

— Генерал, у нас сильные связи в обществе. Мы запрещены, мы вне закона, — поэтому мы окружены симпатиями нации... Информация поступает к нам отовсюду — из ведомств разведки, иностранных дел, из канцелярии министерства связи, из секретариата рейхспрезидента в частности. Я не стал бы задавать вам этот вопрос, не располагай мы достаточно авторитетными источниками. Вы заинтересованы ответить мне в большей степени, чем я — выслушать вас, хотя, не скрою, мне поручено п о н я т ь существо краха проведенной вами операции...

— Какого краха? Какой операции?

— Я понимаю ваше недоверие, генерал, я смогу представить вам доказательства нашей компетентности... Что же касается провала задуманной вами комбинации, то он очевиден: вы не имели кандидатуры того человека, который должен был заменить Столыпина, — в этом ваша кардинальная ошибка. Нам поэтому и хочется понять: когда, на каком этапе и кто именно не додумал до конца р а б о т у. Узнать это и понять — наш долг, ибо нам предстоит сделать то, чего не смогли, не сумели, а может быть, не захотели сделать вы.

— А что вам предстоит сделать? — поинтересовался Курлов.

— Создать национальный порядок, научиться управ-

лять обществом, раскассировав его по кланам, сословиям, цехам и разделив по интересам. Вас занимали вопросы такого плана? Или же в подоплеке поступка была лишь одна эмоция?

— Милый Александр Васильевич Розенберг, — улыбаясь, вздохнул Курлов. — Я тронут вашим вниманием, но вы что-то напутали... Вы обратились не по адресу...

Розенберг достал из кармана чековую книжку, раскрыл ее, положил подле самопишущее перо и сказал — рубяще и безапелляционно:

— Вы должны за квартиру, генерал. За последние три месяца. Вы должны в лавке. Вы не можете постирать белье; у вас нет денег не то что на прачку, но даже на кусок мыла. Напишите сумму, которая выведет вас из затруднений, а затем, если ваша информация покажется нам оперативной, то есть целесообразной, я уполномочен пригласить вас в качестве консультанта в иностранный отдел партии. Итак, повторяю вопрос: отчего операция по устранению Столыпина закончилась крахом? Кто повинен в этом? Чтобы победить в будущем, надо знать прошлое!

«И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ГРЯДЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!»

Пятнадцатого марта тысяча девятьсот одиннадцатого года в Берлине, на одной из конспиративных квартир главного правления социал-демократической партии Польши и Литвы, Роза Люксембург собрала экстренное совещание своих ближайших сподвижников — товарищей Франека, Вацлава, Лео, Юлиана; от большевиков был приглашен «Максим».

— Товарищи, в России только что грянул правительственный кризис, — сказала Люксембург. — Либкнехт позвонил мне утром; видимо, завтра следует ждать начала газетных спекуляций. Поскольку все в России происходит тайно, гласность — фиктивна, инспирирована; мнения — сумбурны, ибо общественность не умеет еще отделять злаки от плевел, нам следует помочь здешнему общественному мнению. Чтобы журналисты — не только в Берлине, но и в других европейских столицах — смогли более или менее верно ориентироваться в русском политическом море, надо, по мнению Либкнехта, провести

определенного рода брифинг*. Либкнехт назвал товарищей Франека, Ивана, Вацлава и Юзефа. Есть другие мнения?

Не было, понятно.

Товарищ Юлиан отправился в Вену и Краков, Вацлав — в Швейцарию, Максим — в Скандинавию, на встречу с Ганецким, — к мнению скандинавской прессы прислушивались, полагая, видимо, что близость Финляндии придает стокгольмским и норвежским газетам максимум достоверности; Роза оставила за собою оперативную связь с Международным Социалистическим Бюро, Лео — с правлением немецкой социал-демократии и редакцией «Форвертс».

Товарищ Франек встретился назавтра с девятью газетчиками крупнейших германских газет в вайнштубе, в районе Фишермаркта, где по маленьким каналам медленно плавали лебеди, а весеннее солнце разбивалось о водяную гладь на тысячи сине-желтых бликов.

Как всегда, Франек был атакующ, четок, краток:

— Я прочитал сообщение в вашей прессе, будто некий сибирский старец по фамилии Распутин, близкий к царской семье, ультимативно продиктовал премьеру Столыпину прошение об отставке. Это — смехотворно. Нельзя столь надменно относиться к серьезнейшим проблемам величайшей державы мира. Можно любить или не любить я в л е н и е, нельзя, однако, явление не замечать, это чревато. Возможное крушение русского премьера продиктовано не религиозным мракобесом, но ходом прогресса, который поддается определенному замедлению со стороны власть предержащих, но остановлен ими быть не может. Поэтому разрешите мне изложить вам нашу точку зрения на предмет правительственного кризиса в России... Премьер Столыпин недавно внес свой законопроект в Государственную думу и в консервативный Государственный совет, не столько выбираемый, сколько назначаемый царем из числа наиболее близких ему по духу землевладельцев. Проект закона Столыпина был посвящен введению земских самоуправлений в шести западных пограничных губерниях империи, где живет много инокровцев — украинцев, поляков, белорусов, литовцев, евреев. Законопроект предусматривает, что в этих губерниях выборы будут проводиться по национальным куриям — русской и польской; бело-

---

* Форма пресс-конференции.

русской, литовской, украинской как бы и не существует; евреи к выборам не допускаются. При этом русских помещиков и священников д о л ж н о быть выбрано две трети, то есть абсолютное большинство; руководителями земств и ведущими работниками имеют право быть лишь русские люди; украинцы, белорусы и литовцы практически лишаются Столыпиным права на свой язык, культуру, традиции, на свою национальность, словом, — русские, и все тут! Казалось бы, консервативный Государственный совет должен был поддержать такого рода законопроект, ибо он — при всем при том — составлен таким образом, чтобы продемонстрировать Западу движение России к некоему новому либерализму, с одной стороны, но при сем доказать, что империя незыблемо стоит на монархической, великорусской государственной идее — с другой. Однако же нет! Старцы в Государственном совете поднялись против Столыпина, клеймя его чуть ли не в подрыве основ самодержавной власти! Бывший премьер Витте, например, прямо обвинил Столыпина, что тот — самим фактом своего проекта — признает, «будто в исконных русских губерниях Российской империи (заметьте себе, что речь, в частности, идет о Вильно, Белостоке, Львове) могут существовать политические курии нерусских людей». Все это демагогия чистейшей воды, господа! Смотреть надобно глубже. Проект Столыпина предполагал приход в земства, а оттуда и в Думу значительного числа «крепких хозяев», справных мужиков, а их Витте и иже с ним, то есть крупные землевладельцы, — весьма и весьма боятся. В этом корень вопроса, коли подойти к проблеме с экономической точки зрения, с позиции глубинного и н т е р е с а старцев. Причем — об этом хоть прямо и не говорилось в Петербурге — большинство «хозяев» люди не русской, но украинской национальности. Если же рассмотреть проблему с политической точки зрения, то она так же очевидна для тех, кто не с наскока, но серьезно изучает русскую проблематику, ибо своим проектом Столыпин п о д с т а в и л с я под удар старцев, позволив им пугать царя чрезмерной самостоятельностью премьера, его самовластием, выдвижением им на арену политической борьбы своих ставленников, хозяев, для которых не старые монархические лозунги превыше всего, а новое буржуазное дело, не пустое слово, но золотой рубль! А крупный помещик делу не учен, он просто-напросто не умеет д е л а т ь, он желает лишь удерживать име-

ющиеся у него земли с помощью аппарата насилия, который подчинен царю. Пугая петербургский двор угрозой «русского Бонапарта», старцы жонглировали теми словесами, которые понятны царю, они пугали и продолжают его пугать фразами про то, что над «православной государственностью занесена столыпинская секира». Стращая двор угрозой западного конституционализма, старцы валят премьера, ибо тот сформулировал свою позицию недвусмысленно: или его проект проходит, или он подает в отставку. Проект провален. Следует ли из этого, что Столыпин должен уйти?

— Вы закончили вопросительной интонацией, — заметил корреспондент вечерней берлинской газеты. — Сами-то вы как считаете?

— Я не Кассандра, — ответил товарищ Франек. — Я боюсь предсказаний такого рода, ибо не только отставка Столыпина или его победа определит ход событий в России, но развитие капитала и борьба рабочих за свои права Однако вы верно почувствовали мою интонацию. Я не знаю, как правильнее ответить вам... За возможную победу Столыпина говорит то, к а к он смог организовать в России контрреволюцию, как ловко он смог провести разгон Первой и Второй думы, посадив в Таврический дворец в июне девятьсот седьмого года вполне послушных ему депутатов... За него говорит то, как он бросил в тюрьмы большинство деятелей революционных партий, загнал в подполье оппозицию, заставил замолчать слишком уж рьяных критиканов даже из своего лагеря... Это все говорит в его пользу, он — удобен для Царского Села... Но то, что его стал побаиваться царь, — видимо, факт, ибо голоса, раздающиеся против Столыпина с правых скамей Государственной думы, свидетельствуют, что его позиции закачались в высоких сферах...

— Объясните расстановку мест в русском парламенте, — попросил журналист из дрезденской газеты.

— В России нет парламента, — ответил Франек. — Дума есть орган совещательный. Что бы ни предприняли Дума и Госсовет, царь может распубликовать высочайший указ, распустить заседания и провести любой закон, не обращая внимания на речи депутатов; Дума вообще лишена права влиять на вопросы обороны, флота, финансов, на иностранные дела... Дума не зря названа Думой: думайте себе на здоровье, говорите, сколько душе угодно, а решение всегда за мною, за с а м о д е р ж-

ц е м. Так что, пожалуйста, когда станете писать, уясните себе самым серьезным образом разницу между западным парламентом и российскою Думой. Что же касается расстановки мест, то запишите себе ряд имен, это поможет вам ориентироваться в нашем политическом лабиринте... Начнем слева. Социал-демократы и трудовики выражают — в пределах допустимого, понятно, — концепцию организованного рабочего класса и беднейшего трудового крестьянства. К центру относят несколько партий: на «левом фланге» — конституционные демократы приват-доцента Милюкова, либеральные интеллигенты, которых называют кадетами. Они, конечно же, монархисты, категорические враги социал-демократии, особенно ее большевистского крыла, анархистов и эсеров. Они — если можно спроецировать формулировку времен Французской революции — «болото» Думы. «Правый фланг» центра до настоящего времени являл собою более или менее зыбкое сообщество, составленное из партии октябристов во главе с Александром Гучковым и прогрессистов. Крайне правые — это националисты во главе с Пуришкевичем и Марковым-вторым, которых во всем, всегда и безусловно поддерживают царь и самые близкие ему люди, влияющие на политику, — в первую очередь дворцовый комендант генерал Дедюлин и, конечно, государыня, — от этой зависит все! Поскольку Гучков и его октябристы вкупе с прогрессистами выражают интересы промышленников и финансистов, двор относится к ним настороженно, ибо главной ставкой Царского Села были и продолжают быть помещики. Им принадлежит около восьмидесяти процентов земель в империи, а численность их не превышает сорока — семидесяти тысяч человек. Они просто-таки обязаны сражаться за свой интерес до последней капли крови! При этом октябристов и крайне правых роднит национальный вопрос: и те и другие стоят на позиции шовинизма. Вопли о «русскости», однако, потребны этим господам не для того, чтобы воистину радеть об интересах великого народа, удивляющего мир своей культурой, наукой, революционной борьбою, но для того, чтобы подкрепить собственные позиции силой армии в борьбе против всех и всяческих конкурентов — будь то англичанин, француз, поляк, немец, еврей или швед.

— Что случится, если Столыпин все-таки уйдет?

— Уйдет он или останется, суть вопроса не в этом, — как-то досадливо поморщившись, ответил товарищ Фра-

нек. — Меня не интересуют хитросплетения дворцовых интриг, я верен научному анализу данностей. Мы, социал-демократы, говорили всегда и готовы повторить ныне: Россия переживает кризис оттого, что дворцовый блок царя с помещиками, то есть с крайне правыми, не может дать промышленникам тех реформ, которых требует развитие капитализма. Буржуазии, капиталу, потребна определенного рода политическая свобода, дабы активно развивать промышленное производство, а царь, главный помещик империи, не хочет, да и не может дать ей политическую свободу. Итак, царь и землевладельцы — с одной стороны, промышленники и буржуазные либералы — с другой. Лебедь, рак и щука. Между ними идет сложная — бескровная пока — драка за власть; царь добровольно не отдаст ее либеральным промышленникам. И при этом — стомиллионный трудящийся люд, а б с о л ю т н о бесправный и забитый. Вот в чем суть кризиса. Выход из него отнюдь не в отставке Столыпина или в его победе над дедушками Государственного совета.

— Так все же, — спросил журналист из Гамбурга, — что ждет Россию в ближайшем будущем?

— То есть как это «что»? — удивился Франек. — Революция.

Реакция у всех журналистов была одинаковой; весело улыбаясь шутке наивного лектора социал-демократии, тем не менее дружелюбно ему поаплодировали; внес хоть какую-то ясность в таинственные российские дебри...

13 марта 1911, вечер

ОБИДА

(Генерал Дедюлин)

Человеком, стоявшим ближе всех к царю, был дворцовый комендант, генерал-лейтенант Владимир Александрович Дедюлин, боготворивший свою жену Елизавету Александровну не только за ангельский характер и красоту (в ее сорок семь лет седина лишь подчеркивала свежесть лица и детские ямочки на щеках), не за восхитительное, никогда не изменявшее ей чувство юмора, но за то — в основном, — что была она из рода легендарного партизана Дохтурова, друга Дениса Давыдова. Имен-

но отсвет славы героя Отечественной войны, павший на Дедюлина после того, как он сочетался браком с Лизанькой, позволил ему оставить лейб-гвардии уланский его величества полк и перейти — с повышением — в отдельный корпус жандармов.

Всякое действие лишь тогда обретает форму жизненной устремленности, если продиктовано оно не эмоцией, но логической выверенностью посылов, в одной стороны, и — с другой — точным осознанием перспективы, которая должна открыться в результате предпринятого шага.

Поскольку в доме Дохтуровых была собрана уникальная библиотека о методах партизанских войн — не только в России, но во Франции (в пору английского нашествия), в Испании, Северо-Американских Штатах, когда индейцы героически сопротивлялись вторжению белых; поскольку Дедюлин внимательнейшим образом проштудировал книги, хранившиеся в доме невесты, — в голове его выстроилась последовательная жизненная программа.

Он пришел к выводу, что в трудные для монархии годы, когда «корректная доброта царя» входила в противоречие с «алчными устремлениями нуворишей», а также с интересами финансистов, требовавших захвата новых районов мира для вложения своих капиталов (разве не британские банкиры стояли за белолицыми покорителями Северной Америки?!), когда методы исстари сложившихся отношений между государем и ближайшим его окружением нарушены (чаще всего вследствие заговора сторонников машинной техники, рождающей алчность и нищету), прежние методы служения идее самодержавия невозможны; победить коварные силы конституционализма западного образца или, того хуже, революции можно лишь методами партизанской отваги, когда командир отряда берет на себя смелость за принятие решений, не советуясь со старшим, когда подданный несет личную ответственность за судьбу империи, отвечая за поступок лишь перед Богом и собственной совестью.

Именно поэтому, перейдя в корпус жандармов, Дедюлин совершил ознакомительную поездку по Ярославской губернии — там он родился, там были земли его и брата Николеньки (роду были дворянского, но колола сердце обида, что не столбовые, а жалованные). По Волге спустился в Нижний Новгород, поклонился стенам Кремля, посетовал, что город не сохранил посвященные памяти князя Пожарского реликвии, видно ю р к и е подсуети-

лись, от них беспамятство — пойди найди, где почил в бозе Петр (хоть и чужак по идее, но ведь наш самодержец), куда подевались личные вещи Николая I, кто запрятал письма Александра III (один князь Мещерский хранит переписку с усопшим монархом), и лишний раз утвердился, что идея спасения самодержавия только тогда обретет реальную силу, если слуги ее откровенно скажут себе самим: в борьбе со злом победа будет за тем лишь, кто бесстрашно станет на путь всепозволенности в борьбе с крамолой.

Смещение понятий, подмена смысла, ложное трактование святых терминов бывает наказано историей, но кара за это приходит далеко не сразу.

Действительно, примерять на жандармский всезапрещающий мундир венгерку партизана Дохтурова, боровшегося с чужеземным завоевателем, было кощунством, однако возмездие не есть акт спорадический, одномоментный, — потребно время, чтобы вызрела необходимость возмездия, лишь тогда оно делается неотвратимым, и поводом может послужить сущая безделица; закономерность воистину есть последствие случайности.

Поэтому честолюбивый замысел Дедюлина сделаться спасителем монархии, бороться за идею самодержавия партизанскими методами на первых порах принес ему невероятные дивиденды.

Ставши в начале века начальником штаба отдельного его величества корпуса жандармов, сорокапятилетний Дедюлин, в отличие от предшественников, далеко не все свои указания подчиненным фиксировал формальрым приказом; окружив себя единомышленниками, Дедюлин пользовал в отношениях с ними не только слово, но даже взгляд: хочешь служить идее, хочешь расти — изволь п о н и м а т ь все так, как мать понимает дитя.

Именно эта его концепция встретила, конечно же, противодействие и затаенную ненависть со стороны формалистов министерства внутренних дел, которые решили монарший манифест о даровании свободы крепостным принимать буквально, никак не заботясь о духе самодержавия, его высоком, национальном смысле подданичества всех воле одного, помазанного Божьей милостью на неограниченное властвование...

Будучи от природы мечтателем, Дедюлин и люди его типа не хотели (а скорее всего не могли) считаться с фактами, с тем то есть, что не Витте привел Россию к кризисной ситуации девятьсот четвертого года, да и не аван-

тюристы Абаза с Безобразовым, толкавшие государя к началу войны против Японии, но неодолимость развития машинной техники, пришедшей на смену ручному труду, ибо в конечном счете подлинная мощь, то есть независимость государств, определялась теперь не лозунгами и доктринами, но именно уровнем производства рельсов, орудий, дирижаблей и броненосцев.

Ничто так не опасно для режима личной власти, как преобладание на верхах «партии мечтателей», типа Дедюлина, имевших право на принятие государственных решений, практически бесконтрольных и не поддающихся никаким коррективам.

Математически точному уму Витте, его холодной логике противопоставлялись эмоции с ф е р (то есть двора) и преданных ему мечтателей, типа Дедюлина; на пути компетентности вставала незримая стена дремучих представлений, рожденных не истиной, но легендами и слухами.

Народившейся в России главной силе общества, то есть рабочему классу, искусственно противопоставлялось крестьянство; интеллигенцию знать не знали; главным врагом, помимо либералов, почиталась бомба анархистов, а не наука Ленина и Плеханова, — «книжники», «говоруны», «чужеродный элемент, не имеющий корней в российском обществе, лишены п о ч в ы, не ощущают в себе к р о в ь, сущая ерунда, отомрут сами по себе».

Однако с ф е р ы искренне верили, что не прогресс привел Россию к кризису, но всяческие масоны-конституционалисты типа Витте, для которых мнение Европы было важнее традиций «народного духа». Именно они, либералы, а не развитие машинной техники довели до того, что случилось на Дворцовой площади в январе девятьсот пятого, когда войска были вынуждены стрелять в темный народ, подстрекаемый бунтарями против царя, против того, кто единственно и мог гарантировать самим фактом своего существования всеобщее благоденствие и счастье.

В дни революции государь повелел сделать Дедюлина санкт-петербургским градоначальником с чрезвычайными полномочиями; патронов не жалели, стреляли в народ беспощадно; судьба династии была, казалось, спасена; потом привели к ф о р м а л ь н о й власти тех, кто должен был отвечать за содеянное (ответят, ужо как ответят, только б время подоспело), и, когда повсеместно были введены — решениями «либерала» Витте — военно-

полевые суды (то есть вина за расстрелы была задним числом возложена на тех, кто болтал о реформах и конституции), Дедюлин был назначен комендантом царского дворца, который стал главным штабом контрреволюции; именно там замышлялся реванш за прошлое и неторопливо выстраивалась концепция будущего под надежной защитой дедюлинской гвардии.

Именно здесь, в Царском, п о в а л и л и Витте, после того как «мавр сделал свое дело»; именно в кабинете Дедюлина правился устав «Союза русских людей» доктора Дубровина (на встречи с ним ездил генерал Спиридович, переодевшись в гражданское платье, соблюдая меры конспирации, дабы не попасть в фокус внимания не только левой, но даже кадетской и октябристской прессы); именно здесь вырабатывались шаги, которые надо было предпринять для замирения «Михаила Архангела» Пуришкевича с киевскими «дружинниками» погромщика Замысловского, — какая жалость, свои, истинно свои люди, и на ж тебе, не могут поделить сущую безделицу; а ведь надежда трона, впереди всего ставят вопрос чистоты крови, чтоб, упаси бог, какой жид или полячишка не затесался в святые ряды (исключение, правда, составили для Грингмута, выкреста, ставшего одним из лидеров «Союза русских людей» в Москве). Не зря так ненавидел этого доброго человека мерзавец и тайный революционер Витте (в его дневниках агент, подведенный к семье бывшего премьер-министра, переписал строки, в коих граф аттестовал Грингмута следующим образом: «Нет большего юдофоба, как еврей, принявший православие. Нет большего врага поляков, как поляк, взявший православие и одновременно поступивший в русскую тайную полицию... По нынешним временам тот, кто не жидоед, не может получить аттестацию истинного консерватора. Поэтому он и сделался жидоедом. Тем не менее это не мешало ему несколько лет ранее находиться в особой дружбе с директором Международного банка Ротштейном и пользоваться его подачками»). Прочитав эти строки, Дедюлин нашел возможным подсказать черносотенному издателю «Гражданина» князю Мещерскому — понятное дело, через третье лицо, устно, в порядке м н е н и я, — что надо бы посвятить памяти безвременно ушедшего «союзника» статью, в которой, между прочим, следовало бы л е г к о пробросить про сплетни об «истинно русском патриоте» Грингмуте, выходце из русской чухони, истинно православном человеке («среди нас тоже кучеря-

вые встречаются, и нос с горбинкой тому не помеха»).

Именно здесь, во дворце, формировалась стратегия поступков; именно здесь было решено рискнуть, поставив на Петра Аркадьевича Столыпина; здесь же — у первых в России — родилось горькое разочарование в деятельности «витязя», настоенное на ревности (решил подменить собою государя); здесь же Дедюлин первым узнал о том, какое оскорбление нанес этим утром Столыпин самодержцу, заявив о своем ультиматуме; обычно сдержанный, Николай Александрович Романов, «император всея белыя и желтыя», после визита премьер-министра вышел к полуденному чаю побледневшим, только на скулах играл румянец и в глазах затаилась недоумевающая скорбь...

Преданный государю до самозабвения, любивший этого меланхоличного человека любовью несколько истеричной, Дедюлин сразу же пригласил агента внутренней охраны, который дежурил возле двери (никто агента, понятно, не учил, что надо вслушиваться в слова, которые произносились в комнате монарха во время аудиенций, однако было все устроено так, чтобы агент понял — «можешь слушать, можешь не слушать, но знать обязан все»), и, предложив ему чаю, завел разговор о том да о сем и аккуратно подвел к тому, что тот передал беседу, состоявшуюся между государем и премьер-министром, приехавшим во дворец прямо из Государственного совета.

— Думай, что говоришь, братец, — заметил Дедюлин, выслушав агента, не перебивая. — Ты, прежде чем такое нести, — думай! Никто ультиматум русскому царю не ставил и ставить не посмеет!

Дедюлин, однако, ошибался: действительно, Петр Аркадьевич Столыпин выдвинул свой ультиматум: либо он уходит в отставку, либо царь временно распускает Государственный совет и Думу и проводит его, столыпинский, законопроект.

...За чаем Дедюлин развлекал государя рассказами о своем детстве в ярославской деревне, имитировал голоса девок, когда те пели, трепля лен, поддался три раза в шашки, но отвлечь Николая Александровича от горьких дум так и не смог.

Вернувшись к себе, он пригласил начальника личной охраны царя генерала Спиридовича и обратился к нему с просьбою: съездить в Петербург, навестить генерала Курлова — шефа жардармов, — заместителя Столыпина

по министерству внутренних дел — и договориться о встрече в ресторане Кюба на завтра, на восемь часов, в кабинете номер пять.

(Основания для того, чтобы не звонить Курлову по телефону, были очевидны, прослушивание всех бесед в Петербурге ложилось на стол премьера и министра внутренних дел Столыпина в тот же вечер, особенно тех, которые шли по линии Царское Село — северная столица.)

— Говори с ним с глазу на глаз, — напутствовал Дедюлин. — Даже при подруге — ни-ни; я тебе верю, как сыну, и знаю, ты мне предан, с остальными — только дело...

Дедюлин верил Александру Ивановичу Спиридовичу не зря, основания к тому были веские.

> Из шифрованного сообщения английского посла в России в Лондон: «Уход Столыпина, вероятно, предрешен. В московских промышленных кругах его возможным преемником называют лидера партии октябристов г-на Гучкова, что, с точки зрения наших экспертов, никогда не будет утверждено дворцовыми сферами. Ситуация в столице крайне нервозная. Весьма активизировалась «немецкая партия», пытающаяся провести в кресло премьера Штюрмера. Разрешение кризиса следует ждать в течение ближайших суток».

СПИРИДОВИЧ

Когда «Народная воля» взорвала государя императора Александра II Освободителя, Александру Ивановичу Спиридовичу было восемь лет; детские впечатления — самые сильные, врубаются в память на всю жизнь, во многом определяют не только привязанности и антипатии человека, но и выбор профессии.

Так стало и со Спиридовичем. Поступив в Павловское училище, Саша знал заранее, что ждет его не военная карьера, но жандармская — охранительная, антиреволюционная.

Прослужив положенное число лет в Оренбургском пехотном полку (сам-то простован, пробиваться надобно было, р у к й не имел), Спиридович в конце века, когда Николай II начал собирать свою к о м а н д у, перешел в корпус жандармов; молодому офицеру сразу улыбну-

лось счастье: он попал под начало «гения сыска и провокации» Сергея Васильевича Зубатова, начальника московского охранного отделения.

История Зубатова, ренегата, прошедшего путь от революционера, борца за права трудящихся, к пику карательной службы России, была примечательна тем именно, что он первым, пожалуй, понял, что не анархист страшен и даже не мужицкий бунт, но книга правды, принесенная агитатором в организованную фабричную среду.

Значит, главная цель жизни должна быть в том, чтобы взять рабочее движение под государственный контроль, вырвать его из-под зловредного влияния нерусской доктрины Марксова социализма.

И Зубатов смог вывести пятьдесят тысяч московских рабочих на улицы под хоругви; именно он доказал великому князю Сергею Александровичу, что фабричные ждут его, дабы именно он, истинно русский человек царствующего дома, возглавил колонну верноподданных демонстрантов; Москва была потрясена видом этого шествия, окончившегося торжественной панихидой по убиенному Александру Освободителю, которую отслужили возле его памятника; Спиридович был в числе тех, кто шел рядом с дядей монарха, сыном царя-освободителя; одет был в черную косоворотку с белыми пуговичками; Зубатов лично гримировал его и следил за тем, чтобы руки были тщательно вымазаны в угольной пыли: «Великий князь должен быть окружен не охраной, а простыми русскими рабочими».

Мечта о социальной гармонии, столь угодная малоинтеллигентным мечтателям в с ф е р а х, обрела свое вещественное подтверждение: если подойти к фабричному с прочувствованным словом, он все простит, примет и ни о каких реформах не станет просить — как жил, так и будет жить.

Зубатов получил внеочередной орден и новое назначение, став начальником особого отдела департамента полиции.

Его опыт начал распространяться во всеимперском масштабе.

Расставив своих людей по России, Зубатов был накануне своего высшего взлета, — всем казалось, что рабочее движение отныне контролируется власть предержащими по всем параметрам.

Напутствуя Спиридовича, назначенного — с его п о-

д а ч и — начальником киевской охранки, Зубатов говорил:

— Главное, Санечка, з н а т ь. Ты обязан знать все обо всех. Мелочей в нашем деле нет. Думаешь, что перед тобою монолит, борец, скала: ан нет; глянь в картотеку, полистай странички, и ясно тебе: обижен был на выборах в рабочий комитет; любимая ушла; мамкиным докторам платить нечем; хлебным вином грешен; зазря и — главное — при всех отругал мастер, оттого он сдуру и бухнулся в революцию... К каждому надо подойти с лаской, состраданием и знанием, Санечка. Мы — великое братство избранных, обладающих правом открывать папки с грифом «совершенно секретно», — за нами сила, в нас вера, на нас надежда. Так-то вот. И — еще. Не стремись все с а м. Все равно, о чем ты за своей подписью доложишь, будет т в о и м. Посему помни: окружив себя о б р а щ е н н ы м и, теми, кто ранее был супротив власти, ты обретешь таких сотрудников, с коими ни один ротмистр не сравнится, ни один наш офицерский чин; для тех, под погонами, служба и есть служба, а для обращенных — жизнь, тоска, страх и надежда.

...В Киеве Спиридович попал под опеку генерал-губернатора Владимира Александровича Сухомлинова. Поначалу генерал присматривался к молодому подполковнику; к «столичным штучкам» относился, в общем-то, недоверчиво; потом узнал, что его тайная подруга Екатерина Викторовна Гошкевич (страдавшая еще в ту пору в браке с помещиком Бутовичем) сдружилась с милейшей Сашенькой, родственницей подполковника, приехавшей на отдых накануне своей свадьбы, — выходила за помощника московского пристава Колю Кулябко.

Сашенькая была весела, остра на язык, бесстрашно рассказывала анекдоты про петербургских министров; голубоглазая, рыжеволосая, резкая в суждениях, бранила мягкость властей в борьбе с революционерами: «Моя б воля — расстрел; только это может остановить наше темное быдло»; Спиридович же, наоборот, постоянно говорил в обществе, что лишь мягкость, сдержанность и неукоснительное следование закону разоблачит одержимых бунтовщиков в глазах общества, сделает их смешными и жалкими честолюбцами.

— Доброта сильнее зла, — повторял Спиридович. — Наш народ доверчив; его следует оградить от чужих идей; пора возвратиться к истокам и припасть к живительному роднику народности.

Поскольку в империи было заведено так, что каждое слово человека, выбившегося из среднего уровня обывателей, а потому ставшего легко заметным, фиксировалось, оседало в делах тайной полиции или же разносилось добровольными осведомителями по салонам, министерским кабинетам и банковским канцеляриям, именно эти слова Спиридовича и заинтересовали генерал-губернатора, «грешившего» литературой, — пописывал и печатался.

Хлебосол и добряк, Сухомлинов попросил Спиридовича — после очередного доклада — задержаться, удостоил чести отобедать попросту, за холостяцким столом.

Подавали национальные блюда: семгу, икру, балык, казацкую колбасу из Ессентуков (доставлял есаул Шкуро, приглянулся Владимиру Александровичу во время охоты на кабанов, великолепный егерь, загоны организовывал артистические); на первое принесли ленивые щи, потом была телятина с белыми грибами; на десерт потчевали вишнями, сливами, грушами и земляникой.

Когда перешли к маленькому столику возле камина — туда поставили кофе, — Сухомлинов посетовал:

— Привычка — вторая натура, кажется, так говорят англичане... Моя покойная жена, урожденная баронесса Корф, воспитывалась в доме своей сестры, Марии Фердинандовны Набоковой, — пусть земля ей будет пухом, — она меня приучила к кофею, раньше в рот не брал. И, знаете ли, до сих пор ощущаю без нее звенящую пустоту в сердце... Как время кофе — так смертная тоска... Одиночество...

— Могу представить, — ответил Спиридович, вздохнув прочувствованно.

(На самом-то деле четыре секретных сотрудника сообщали ему, когда и где Сухомлинов встречался со своей любовницей, какие подарки делал ей — прибегая к тайной помощи венского консула Альтшуллера, являвшегося по совместительству крупным киевским дельцом, — сколь нецензурно говорил об усопшей жене, как чурался встреч с сестрой покойницы, которая блистала в свете, — все-таки вдова министра юстиции России; не цени государь Набокова, не поздоровилось бы ее сыночку, Владимиру, — заместителю лидера кадетской партии Милюкова; избаловали сукина сына, в двадцать один год был пожалован камер-юнкером, что твой Пушкин; другого бы за противуправительственные высказывания в

крепость засургучили, а этого всего лишь звания лишили.

Впрочем, с другим родственничком, братом кадетского «профессоришки» Сергеем Дмитриевичем Набоковым, егермейстером и действительным статским советником судебного ведомства, Сухомлинов дружил, пользовался советами по юридической линии; дважды говорил с ним о Спиридовиче, просил навести справки, сетовал: «Не верю жандармам, они мать родную продадут, не то что боевого генерала».)

Именно тогда, за кофе, Сухомлинов и п р о б р о с и л вопрос про то, нет ли у полковника каких-либо материалов на помещика Бутовича: «Отвратительный, говорят, тип, тиранствует жену, ревнив, как мавр, и столь же подозрителен».

Материалы были, но Спиридович, поняв, что его проверяют, ответил, что впервые слышит это имя.

Бутович был мужем сухомлиновской любовницы: считал себя толстовским Лёвиным; начал догадываться о нездоровом интересе «деда» (так он говорил о генерал-губернаторе) к жене; поставил за Екатериной Викторовной форменную слежку, чего ж не поставить, сахарозаводчик, денег полны карманы.

Через семь дней Спиридович привез Сухомлинову компрометирующие данные на Бутовича и, упершись своими прозрачными голубыми глазами в мясистые надбровья генерала, глухо сказал:

— Красавицу в обиду не дам; Бутовича этого самого — станет нос задирать — умучаю.

С тех пор ходил в любимцах у Сухомлинова.

Именно это спасло Спиридовича, когда Плеве погнал с позором Зубатова и установил за экс-жандармом негласный полицейский надзор: несмотря на то что во главе рабочих организаций стояли агенты охранки, забастовочное движение ширилось, стачки вспыхивали то здесь, то там, революционный процесс нарастал; как всегда, в этом винили агитаторов, а причину, то есть общественное бытие, старались не замечать вовсе...

Всех зубатовских протеже уволили; Спиридовича, однако, Сухомлинов в обиду не дал.

А когда агент охранки Руденко, разочаровавшись в службе на «зверя» (как он впоследствии назвал Спиридовича), шандарахнул своего руководителя на улице двумя пулями из браунинга, именно Сухомлинов сообщил Александру Сергеевичу Танееву (подружился во время концерта, который тот давал в Зимнем дворце для

узкого круга) о своей срочной депеше государю, в которой доносил о геройстве жандармского подполковника, отдавшего кровь в борьбе с революцией.

Сочинитель сочинителем, но Танеев был при этом обергофмейстером, членом Государственного совета, почетным членом Академии наук, главноуправляющим канцелярии его императорского величества, отцом Аннушки, фрейлины государыни, самой доверенной и любимой, — невесты офицера Вырубова, хороших кровей дворянина.

Танеев помог делу; телеграмма была доложена государю; тот соизволил отправить свою депешу в Киев, в которой пожелал доблестному жандарму скорейшего выздоровления; пожаловал Спиридовича полковником, крестом и деньгами на лечение за границей, куда Спиридович отправился под чужой фамилией, по паспорту, с п р а в л е н н о м у для него асом политического сыска империи Петром Ивановичем Рачковским.

Вернувшись, был приглашен Дедюлиным в Царское Село; здесь же и уведомил его о назначении начальником дворцовой охраны; через два года вручил погоны генерала; государыня подарила золотую табакерку, сказала милостиво:

— Только такой истинно русский человек, как фы, вправе охранять жизнь русского саря; когда фы рядом — мне за детей спокойно.

Хотя имя своего учителя Зубатова генерал никогда не вспоминал, однако деятельность свою по-прежнему строил именно по-зубатовски, через «знание».

В Царском Селе собрал уникальную библиотеку по партиям социал-демократов и социалистов-революционеров; на каждого лидера было досье; тщательно исследовал работы Плеханова, Аксельрода, Ленина; долго бился над раскрытием псевдонимов Чернова, Гоца, Керенского; подкрался к Горькому, заручившись расположением подруги Екатерины Пешковой, которая была не только женою пролетарского писателя, но и членом ЦК эсеров, принимала участие в суде над Азефом; пристально изучал поляков — как группу Люксембург и Дзержинского, так и боевиков Пилсудского; результаты трехлетнего труда завершил изданием книги; часть тиража была распространена в охранных отделениях империи в качестве справочника, другая часть распродана, гонорар — «детишкам на молочишко».

С такой же методической тщательностью Спиридович

начал вести досье на членов Государственной думы (заикнулся было о Государственном совете, но Дедюлин, по размышлении, добро не дал; там заседали люди, имевшие свои пути к государыне, опасно).

Особенно интересовали его трудовики и деятели партии «народной свободы», как именовали себя кадеты Милюкова; последнее время начал посматривать за октябристами во главе с Александром Ивановичем Гучковым; было заметно, что в партии, которая ранее считалась благонамеренной (если что вгорячах и брякнут с трибуны, то — от чистого сердца, с кем не случается в запале), зрел раскол: половина тяготела к самым верным друзьям престола, к националистам, с этими все в порядке, но определенная группа, видимо, начала искать контакты с милюковцами и набоковцами, пускали к себе поляков, грузин и евреев, опасно, гниль, чужое.

Свою библиотеку, которая пока еще считалась служебной, Спиридович комплектовал лично; ни о каком сотрудничестве с министерством внутренних дел Столыпина, с его департаментом полиции не могло быть и речи; верить надо только себе да генералу Дедюлину, благодетелю и добротвору, все остальные за милу душу предадут, у Столыпина есть фонды, из которых щедро платят за такого рода р а б о т у.

Именно Спиридович и должен был встретиться с генералом Курловым, первым заместителем Столыпина, дабы в доверительной беседе обсудить ситуацию, сложившуюся в результате премьерского ультиматума государю. Спускать такое — никак нельзя, обидчик должен быть наказан так, чтобы другим было неповадно; отставка Столыпина должна звучать как пощечина неблагодарному.

Из шифрованного сообщения французского посла в России в Париж: «Здесь считают, что отставка Столыпина предрешена. Вопрос лишь в том, кого изберет его преемником царь, как обычно, весьма медлительный в государственных решениях. Полагают, что ближайшее окружение русского монарха не может поддерживать ни министра финансов Коковцова, ни называемого в ряде салонов бывшего председателя совета графа Витте, поскольку и тот и другой считаются в сферах либералами, хотя их преданность

идее самодержавия не ставится под сомнение. Высказывается мнение, что Столыпина пожалуют графским титулом и он будет отправлен наместником в Польшу или на Кавказ».

КУРЛОВ

Генерал-лейтенант Павел Григорьевич Курлов, отпраздновав свое пятидесятилетие в девятьсот десятом году, был крепок, как истый спортсмен; еженедельно наносил визит врачу тибетской медицины Петру Александровичу Бадмаеву (правда, он звал его прежним, бурятским именем Жамсаран; молился, как на бога; не он, впрочем, один; император Александр III был восприемником раскосого при крещении); играл в теннис с германским военным атташе; несмотря на это, много пил, шастал по девкам; в последнее время увлекся женою своего адъютанта Валламова, пухленькой душечкой графиней Армфельд, остепенился; уговаривал Валламова добром дать развод; пример был налицо — Сухомлинов; тем более вместе работали в Киеве, там Курлов о т с и ж и в а л с я управляющим губернией после того, как сняли с генерал-губернаторства в Минске, — приказал расстрелять мирную демонстрацию, появились нарекания, мог бы и пострадать, но революционер Иван Пухлов бросил в него бомбу, поцарапало: государь любил особенною любовью всех тех, кто проливал кровь от рук бунтовщиков, — будто клятва на верность, такой шататься не станет и про конституцию не заговорит, посему и перевели в матерь городов русских, тем более там стали все более поднимать голову украинцы, тоже еще нация, надобно было прижать, нет украинцев, есть малороссы!

Именно в Киеве, в доме Сухомлинова, генерал Спиридович и познакомился с Курловым.

Именно поэтому Дедюлин счет возможным рекомендовать государю Курлова на пост товарища министра внутренних дел и командира отдельного его величества корпуса жандармов; за четыре года было получено достаточно доказательств верности Курлова генералу Дедюлину, но отнюдь не своему непосредственному шефу Столыпину.

Именно поэтому и отправился к нему Спиридович с деликатным поручением.

Курлов обрадовался Спиридовичу (или сделал вид, поди пойми, д л и н н ы й), потащил к столу; в отличие от посконного Сухомлинова (у того мать была то ли немка, то ли австриячка, оттого сын дышал ноздрями, во всем доказывал свою истую русскость) Курлов любил европейский стол, выписывал спаржу (уверял друзей, что очень способствует по части потенции); с сентября по апрель ежедневно откушивал устриц под зелененькое шабли; у Кемпинского в Берлине попробовал суп из черепах, заболел им до того, что раз в неделю посылал шофера Гришечку к вокзалу получать посылку от военного атташе Бориспольского, из Берлина; черепах везли первым классом, во льду, через Вержболово; даже водку фирмы Поповой выписывал из Парижа, после того как купеческий дом был разорен бюрократическими указаниями министерств и департаментов, ревизиями, отчетностью, взятками, коррупцией; Поповы перебрались в начале века в Европу; разбогатели за полгода; не только отнятое вернули, но и стали покупать земли на Лазурном берегу, возле Сан-Поль-де-Ванса; единственно русское, что Курлов уважал, были терские вина саперавского типа, прасковей да бурдючное вино из Кахетии.

— Хорошо, что заглянули, Александр Иванович, сердечно вам рад, сейчас лично стану кулинарить...

— Павел Григорьевич, признателен, однако же сугубо стеснен во времени... Выполняю, как говорится, курьерские функции, — ответил Спиридович.

— Что-нибудь случилось?

— Владимир Александрович просил бы вас выкроить время... Завтра... в восемь... У Кюба...

— Ага! Догадываюсь! На Столыпине — после того как он вернулся из дворца — лица не было... Простотаки белая маска... Глаза запали, будто после бессонницы... Ни с кем, кроме как с Сувориным и младшим братом, не встречался, лишь сегодня днем пригласил на чай Сергея Дмитриевича и Дмитрия Борисовича с Александром Борисовичем...

— Большой хурултай, — хмыкнул Спиридович, не спуская глаз с курловского напряженного лица, — слетаются соколы...

— Да какие они соколы?! Только что перепелов ловить, головки-то под колпачками...

«Соколами» они называли высших сановников империи, главную «команду» Столыпина, некий «теневой кабинет»: Сергеем Дмитриевичем был Сазонов, министр

иностранных дел империи. Начав с департамента внешних сношений, он за три года сделал головокружительную карьеру: поработавши (как не послужить: сестра его жены Аннушки, урожденная Нейгардт, была супругой премьера России) два года посланником в Вашингтоне, он вернулся в Петербург товарищем министра, а через год сделался министром. Назначение прошло легко, даже сферы отнеслись к этому благожелательно, ибо Сазонов был старинного дворянского рода, его подмосковное имение в Бронницах отличалось хлебосольством, хорошо поставленным хозяйством и добрыми отношениями с крестьянами — в девятьсот пятом дом не пожгли; более того, сами же мужики охраняли от пришлых бунтарей барские конюшни. Работая в Америке, Сазонов сумел наладить отношения с американскими банкирскими домами, приглашал их к сотрудничеству в Петербург — без посредников.

Гофмейстер Алексей Борисович Нейгардт, младший брат Аннушки Сазоновой и Оленьки Столыпиной, окончивши пажеский корпус, прослужив в лейб-гвардии Преображенском полку, вышел в отставку тридцати четырех лет от роду и, будучи столбовым дворянином, а также владельцем громадного нижегородского имения «Отрада», легко прошел в губернские предводители дворянства, затем был обкатан екатеринославским губернатором, с переездом Столыпина в Петербург причислен к министерству внутренних дел, а затем перемещен в члены Государственного совета.

Брат его, гофмейстер и сенатор Дмитрий Борисович Нейгардт, владел землями не только на Волге, но и в Калужской губернии; отслужив, как и брат, в лейб-гвардии Преображенском полку, вышел в запас, чтобы занять должность калужского вице-губернатора; оттуда был перемещен одесским градоначальником; начал активную борьбу с немецким, еврейским и нарождавшимся украинским капиталом; вместо того чтобы заботливо пестовать деловые начинания русских купцов и заводчиков, вместо того чтобы поддержать их ссудами и наибольшим благоприятствием, Дмитрий Борисович решил доказать свою столбовую «русскость» мерами чрезвычайности. Использовав традиционные связи власти с черносотенными организаторами «Союза русского народа», Нейгардт подсказал идею «маленького погромчика»; в правых газетах появились статьи о «немецком засилье» и о том, что «хохлам только на бандурах играть, а в дело

соваться — нечего, кобзари, они и есть кобзари, одно слово, мужичье в шароварах».

Однако капитал, в силу своей циничесκой вненациональности, не намерен был сдавать позиции в портовом городе; еврейские и немецкие банкиры и заводчики, связанные незримыми, деловыми, а потому чрезвычайно надежными узами как с большим русским, так и с европейским капиталом, выпустили залп против Нейгардта в серьезной прессе; разразился скандал; прицепились к безделицам, раздули дело о превышении Нейгардтом власти, вынудили уйти в отставку, но, не довольствуясь этим, добились создания комиссий сенатора Кузьминского; тот прибыл в Одессу, имея (через посредство сложных контактов с промышленно-финансовыми тузами Москвы типа Гужона и Рябушинского) указание уничтожить Нейгардта.

Судьба Дмитрия Борисовича была, казалось, решена, однако, как только Столыпин сделался премьером, выводы Кузьминского были ошельмованы как недостаточные, поверхностные, тенденциозные, и Нейгардт был не только прощен, но и пожалован в сенаторы, а затем удостоен высшего придворного звания гофмейстера. После этого ему было доверено ревизовать губернаторов и земских деятелей; первым объектом такого рода ревизии стал Привисленский край, то есть царство польское. Задание это он получил непосредственно от государя: Столыпин смог сделать так, что с ф е р ы вынуждены были согласиться с очевидной данностью, — никто не пресечет заигрывания местных властей с юрким еврейским и тяжеловесным немецким капиталом, с польскими землевладельцами, как истинно русский патриот Нейгардт, пострадавший за свою преданность национальной идее, а потому беспощадный ко всякого рода отклонениям от нее...

Этих-то людей Спиридович и обозначил пренебрежительно «соколами», а Курлов присовокупил уж и вовсе оскорбительное определение «подколпачных», то есть ручных, выполняющих волю хозяина лишь тогда, когда это угодно охотнику.

Впрочем, порою не только слово объединяет людей, делает их союзниками, но и перегляд. Но в данного рода ситуации взгляда было недостаточно; его можно по-всякому — в случае нужды — трактовать. Лишь словесная определенность позволила Курлову и Спиридовичу начать разговор открытый, без экивоков и недомолвок.

Говорили с полчаса, всего лишь.

Спиридович не мог отсутствовать в Царском долго, болело сердце за государя.

На пороге, прощаясь уже, Спиридович сказал:

— Владимир Александрович просил, чтобы стол был накрыт в пятом кабинете.

С этим и расстались.

А Курлов, вернувшись к столу, выпил рюмку саперавского вина и задумался.

Дело в том, что пятый кабинет был единственным, который он, Курлов, оборудовал фонографом, закупленным в бюро Томаса Эдисона в Америке; диковинный аппарат этот позволял записывать беседу; о том, что такой аппарат есть в России, Столыпин не знал; три человека знали об этом — Дедюлин, Курлов и Спиридович.

«Меня писать хочет, — тяжело подумал Курлов о Дедюлине. — Значит, затевает что-то особенно интересное... Ну-ну, послушаем...»

...В отличие от Дедюлина и Спиридовича генерал-лейтенант Курлов считал себе истинным западником, скрывал это, понятно, ото всех, полагая, что европейский стол — прекрасный камуфляж для сокрытия его глубинной сути: какой умный западник позволит себе так открыто афишировать симпатии, столь ненавистные таким выразителям национального духа, какими являлись лидеры крайне правых граф Бобринский и Пуришкевич, граф Коновницын и Марков-второй?! Да что там эти! Государь и государыня всячески подчеркивали свою прилежность традициям, детям было указано читать лишь русские сказки, Андерсен был чуть ли не под запретом; августейшая супруга, болезненно изживавшая немецкий акцент, любила повторять: «Суп да каша — вот писча наша!»; она же — через Дедюлина — осторожно намекнула, что пришла пора не только таким б л и з к и м сановникам, как Штюрмер, Плеве-младший, Саблер, Фридерикс, Дрентельн, — таким уж русским традиционалистам, что дальше некуда, — но и Нейгардтам, Лерхе, Михельсонам, Липкам, Менам, Клейнмихелям, Кассо и десяткам, сотням подобных, поменять немецкие фамилии на русские (про Нейгардтов государыня изволила пошутить: «Чем не «Новосадские»? Нам, русским, такая фамилия очень бы понравилась»).

...Курлов не сразу и не просто пришел к идее западничества.

Еще обучаясь в военно-юридической академии, он должен был пройти специальный курс, посвященный исследованию «бунтарской идеологии». В числе авторов, противников идеи самодержавия, помимо Марата, Вашингтона, Маркса были, конечно же, труды русских вольнодумцев; понимать изначалие крамолы будущие служители правосудия начинали с Радищева и заканчивали Герценом, Чернышевским, Плехановым.

Именно у Герцена и наткнулся Курлов на прелюбопытнейший пассаж, который не преминул поначалу выписать, а затем, выучивши наизусть, сжечь: «Славянофильство, или русицизм, не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и массовый инстинкт, как противодействие иностранному влиянию, существовало со времени обрития первой бороды Петром Великим».

Этот короткий пассаж высветил для него всю идею славянофильства в особом свете (не зря, воцарившись в корпусе жандармов, Курлов повелел внимательнейшим образом наблюдать за славянофилами).

Курлов, чем больше он изучал труды основоположников славянофильства Аксакова и Хомякова, тем больше проникался убежденностью, что группа эта не так проста, как кажется, и что в ней заложены грозные зерна бунта, но бунта особого, не классового, но национального.

Действительно, если к этому течению философской мысли относиться со знанием дела, будучи ознакомленным с основными направлениями общественной мысли девятнадцатого века не только в России, но и во всем мире, то картина открывалась в высшей мере серьезная — угрожающая, как считал Курлов.

Поскольку в конце семнадцатого века наука в Западной Европе достигла вершин, ранее неведомых, поскольку именно там родилась идея машинной техники, которая, реализовав себя, дала право монархам лучше вооружать свои армии, скорее их перебрасывать с места на место, добротнее их одевать, перед Петром самой историей был поставлен вопрос: либо жить в ладу с наукой, то есть прогрессом, либо погибнуть, ибо вооруженным армиям нельзя противостоять одной лишь мускульной силой.

Вводя, таким образом, науку в России, перенимая технические знания Запада, Петр прежде всего думал о целостности своей державы, о незыблемости ее гра-

ниц и в конечном счете о сохранении истинной, а не декоративной самости своего народа.

Это не могло не войти в противоречие с вековыми привычками помещиков, жизнь которых была воистину прекрасной, поэтической, неторопливой, полной мечтаний, сказок и песен. Поскольку прогресс — это движение, поскольку новые корабли, построенные на верфях Роттердама и Лондона, развивали скорости, по тем временам немыслимые; поскольку артиллерии были приданы новые лафеты, что увеличило маневренность, то есть экономило время; поскольку на Западе ввели новую форму, не стеснявшую движения солдат, что также содействовало рождению нового качества скорости, приходилось ждать постепенного (но, увы, совершенно необходимого) изменения самого темпа жизни и мышления; должна была произойти определенная корректива нервной системы человека, его психики.

Для того чтобы не уступить в соревновании скоростей, государство должно было стать системою крепостей, мощь и надежность которых гарантировали крепостные люди. И те крестьяне, которые ранее жили вольно (а оттого счастливо), указами российских государей были приписаны дворянам, сделались крепостными, лишенными возможности уйти, переселиться, отъехать в гости, найти невесту где-либо, кроме как в своей крепости, да и то с разрешения дворянина-крепостника: хочу — дам, а могу и не дать, все в моей воле, ты мне приписан, ты — мое!

В образе Петра виделся антихрист, поднявший руку на привычное, материнское и отцовское, то есть святое. Нет пророка в отечестве своем, воистину; от ненависти к Петру перебросилась неведомая ранее ненависть к Европе, которая-де, в противовес России, бездуховна и материалистична.

Однако же один из светлых умов славянофильской идеи Хомяков первым вздрогнул, заметив, что «народ порабощенный впитывает в себя много злых начал, душа падает под тяжестью оков, связывающих тело, и не может уже развивать мысли истинно человеческие». Отсюда был один шаг до нападок на бюрократию, чиновничество, на все и всякие канцелярии с их вездесущими ревизорами; так оно и случилось: именно славянофилы резко и аргументированно обрушивались в повременной печати первой половины прошлого века на администрацию. Мало кто углядел в этих нападках ис-

тинное зерно, то есть борьбу за власть, конкуренцию между землевладельцами и администрацией, цепко требовавшей отчуждения процента с помещичьих богатств в казну империи.

Более всего внимание общественности (то есть читающей публики, каковой тогда в пятидесятимиллионной России было не более чем пятьдесят тысяч, то есть десятой части процента подданных) было приковано не к экономическому существу дела, но к разговорам об о с о б о м пути, о с о б о м духе, то есть к категориям ненаучным, зыбким, рожденным не знанием, но легендами.

На определенном этапе Запад предпринял все от него зависящее, чтобы незримо поддержать славянофилов, несмотря на их страшные слова против Европы. Материалистический, рациональный Запад слов не боялся, он трепетал от одного лишь — успешного дела конкурента. А поди начни д е л о в стране, где узаконено рабство! Несвободный человек в работе худ, в мысли стеснен, в поведении скован. Значит — не конкурент!

В Россию был откомандирован барон Гаксенхаузен. Поездив по нашим дорогам, он вернулся в Берлин и издал книгу, в которой изложил стройную идею русской общины как традиционной и привычной ячейки русского общества.

С той-то поры западная подсказка об идее общины была подхвачена славянофилами; одни намеревались законсервировать ее в том рабском виде, в каком она находилась; другие немедленно потребовали право на свободу выхода из общины каждого, кто хочет, ибо было же в русской истории время, когда богатыри свободно покидали свои общины, и артели были в державе, и братчины, ходившие на промыслы, и монастыри, и даже скитские дома. Словом, и в этом вопросе прогрессивные в ту пору умы славянофильской идеи выдвигали препозиции, весьма опасные для самодержавной власти.

Двор принимал и поддерживал сусальные требования верноподданной т е м н о т ы вернуть кафтан, запретить ношение пелерин, исключить из обихода иностранные слова, поставить препоны для проникновения западной музыки, а тем более идей; однако как царь не думал менять название русского придворного чина «гофмейстер» на «дворовый мастер», так и землевладельцы-славянофилы не намерены были передавать свои бескрайние земли общине, дабы отныне и навсегда все было «по-христиански, то бишь поровну».

Манипуляция словами дозволялась до определенной границы. Когда славянофилы-прогрессисты выдвинули лозунг «жить по совести, а не по лжи», двор отнесся к этому благожелательно, нашлись щелкоперы, которые доказали, как дважды два, что «жизнь по совести, а не по лжи» есть жизнь патриархальная, когда слово старшего, то есть государя, есть истина в последней инстанции для всех подданных, когда слово помещика — закон для крепостных, но не такой, что писан продажными юристами, но который передается из рода в род.

Но чем стремительнее катил по миру прогресс, тем больше и явственнее происходило размежевание этого прекрасного, наивного, трагичного, талантливого, но — в изначалии своем — мечтательного учения.

Апостолами его были землевладельцы; над ними н е к а п а л о; оброк крепостных давал возможность летом наслаждаться природой в поместье, а зимой уезжать для продолжения дискуссий о судьбах несчастного народа на балах в ненавистном Петербурге или в еще более мерзостной Европе, которая гнить-то гнила, но никак до конца не сгнивала.

Это не могло не вызывать ч у в с т в а растерянности: как же так, пора б уж?! Отсюда — все более и более зримые настроения мессианства, разговоры о национальной исключительности, о призвании спасти мир от суеты и рационализма. Поскольку представители правого крыла славянофилов претендовали на то, что они владеют истиной, что искать, следовательно, больше нечего, что разум — продажная потаскуха, то именно они постепенно сделались некими хранителями н е з н а н и я, служителями идей «ограничения мысли», ее цензурирования и перепроверки истинности суждения мерой совпадаемости с нравственными, научными и этическими понятиями если уже и не Киевской Руси, так шестнадцатого века, нормами Ивана Грозного.

Правые славянофилы типа Самарина к идее освобождения крестьян относились отрицательно; считали, что отмена телесных наказаний есть отход от святой традиции, и более всего восставали против идеи личной свободы, ибо это может привести к одному лишь — к распадению царства, к подрыву святой идеи с а м о д е р ж а в и я.

В то же время левое крыло славянофилов порою дерзало восставать против изуверства николаевской эпохи, требовало свободу слова, веротерпимость, считало

необходимой свободу для крестьян и открыто называло чиновничью бюрократию злейшим врагом народа, борьба с которой есть нравственная обязанность каждого истинно русского человека.

Концепция левых славянофилов была опасна для сфер, ибо в данном конкретном случае не всякие там немцы с англичанами затевали грех, но истинно русские люди, дворяне прекрасных родов.

Столыпин поначалу примыкал именно к этому направлению — до того, однако, как перебрался из Нижнего Новгорода в Петербург.

Курлов знал это, как никто другой, потому что сам землевладельцем не был, не дворянин; бюрократ; чиновный человек, порождение казенного смысла и сути империи.

Кто ж, как не Столыпин, был злейшим врагом ему, Курлову?!

Где ж, как не на Западе, власть кайзера или короля подтверждалась не количеством гектаров фамильных земель, но силой и устремленностью хорошо отлаженной бюрократической машины?!

Где, как не там, чиновника почитали в обществе превыше всего?!

...Именно потому, что сферы знали все обо всех, чиновничий бюрократ Курлов и был навязан государем столбовому дворянину Столыпину в качестве первого заместителя.

Знал это и Столыпин, оттого Курлова холодно и затаенно не любил, понимая, что этот враг — в отличие от врагов именитых — будет разить наповал, только подставься; земли своей нет, домов нет, счета в банке — тоже; одним жив — своим местом, с бесконтрольными деньгами рептильного, осведомительного, представительского и прочих — сколько их?! — фондов.

За место свое — задушит, за ним только глаз и глаз...

14 марта 1911 года, вечер

«МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, КАК ПОСТУПИТ СТОЛЫПИН, ДАБЫ СВАЛИТЬ ЕГО ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ»

Было бы ошибочным считать, что бытующее выражение «тайны мадридского двора» приложимо лишь к делам, происходившим в Испании.

Интриги, доносы, липкая борьба за приближение к трону (что сулит деньги, ордена, славу, знания, посты), тщательно разыгранные комбинации, конечная цель которых сводилась к тому, чтобы получить возможность влиять, быть на виду, иметь право сказать в салоне о высокой чести быть удостоенным августейшей аудиенции, — словом, суета людей, не занятых общественно полезным трудом, но лишь паразитирующих на власти, свойственны всем недемократическим обществам, вне зависимости от национальности и формы правления.

Опаснее всего, однако, в такого рода недемократических обществах то, что при внешней абсолютистской централизации деятельность власть предержащих, будучи отдана им на откуп, постепенно выходит из-под контроля верховного вождя; департаменты, епархии, штабы, охранные отделения начинают жить своей, отдельной от всего государственного механизма жизнью, ибо лишены права открыто отстаивать свое мнение, но должны лишь слепо выполнять букву государственной воли.

Букву — не дух.

Действительно, поскольку каждый департамент был перенабит чиновниками, дело, во имя которого тот или иной департамент был поначалу создан, постепенно отходило на второй план; самым важным становились интриги, подсиживания и доносы, для того чтобы провести то или иное перемещение вверх по чиновной лестнице того или иного служащего, доказавшего своему столоначальнику персональную преданность и ловкость в узнавании того, что про него говорят соперники. Создавались своеобразные внутридепартаментские партии, проводились бесконечные реорганизации; седые, старые уже люди натужно и самозабвенно думали: «Ну, еще немного осталось — свалить Ивана Францевича, сблокироваться с Петром Петровичем, ошельмовать Николая Николаевича, и дорога в более высокооплачиваемый кабинет открыта». Проходили годы, шла мышиная возня, перемещался старый статский советник еще на одну ступень, а дело — живое дело — стояло недвижно.

Малые повторяли опыт больших, ибо дурное воистину заразительно.

Как большие, так и малые в процессе этой мышиной возни не имели времени для того, чтобы внимательно следить за происходившими в мире изменениями в

науке, культуре, философии, а ведь без этого невозможно руководить ни страной, ни департаментом, ни даже делопроизводством. Но одно познавали в совершенстве: мастерство интриги, которое обречено на неудачу, если каждый не будет знать подноготную о сопернике, явном или возможном.

Поэтому-то собравшиеся в пятом номере ресторана Кюба генералы Дедюлин, Спиридович и Курлов были подобны игрокам в преферанс, когда взят ловленый мизер, но все карты при этом открыты, никаких секретов, одно лишь ловкое змейство...

— Я сказал, чтоб сделали ордёвр а ля Прованс, — обсматривая гостей влюбленными глазами, сообщил Курлов, — к водочке пойдут соленые арбузы; в честь Владимира Александровича стол будет смешанным, с преобладанием русской кухни, икорка осетровая белая, третьего дня отгрохали в Гурьеве; расстегаи, пирожки с вязигой, телячьи ножки, нашпигованные кабаньим салом и морковью, белые грибки в сме...

— Да погоди, Пал Григорьевич, — досадливо перебил Дедюлин. — Вы ж понимаете, отчего я эту встречу назначил... Времени мало, давайте по делу... Есть у вас достаточно проверенная информация о том разговоре, который состоялся в салоне графини Игнатьевой между великим князем Александром Михайловичем и столыпинским родственником Нейгардтом-младшим?

Курлов оскорбился тоном, поэтому ответил ласково:

— Драгоценный мой Владимир Александрович, на то высочайшее повеление нужно, чтобы взять в наружное наблюдение члена царствующего дома, женатого на любимой сестре государя императора...

— Ежели мне известно, где проводил вечер великий князь, то вам...

Курлов перебил, отчеканив:

— Вы — дворцовый комендант, вам надлежит охранять августейший покой, а для сего дела вы обязаны знать, где находится великий князь и с кем, а я — человек маленький, служивый; вы за свои дела отвечаете перед верховным благодетелем, я — только перед Столыпиным.

— А кто вас к Столыпину поставил? Кто удостоил вас высочайшей аудиенцией перед тем, как вы — наперекор столыпинской воле — стали его заместителем? Вас что, Петр Аркадьевич к себе пригласил? Или не он дважды просил благодетеля не назначать вас? Не думал я,

что вы — при прочих возможных человеческих прегрешениях — страдаете самым злым: неблагодарностью...

Курлов спросил изумленно:

— Я дал вам повод для такого рода необъективной резкости?

— Дали.

Курлов и сам знал — дал, действительно дал, ибо после того как столыпинские «соколы» обсудили ситуацию и разлетелись по петербургским салонам — искать ключи к Царскому Селу, дабы убедить государя принять ультиматум родственника, — во время беседы Нейгардта с великим князем Александром Михайловичем во дворце Игнатьевой терся Иван Манасевич-Мануйлов — человек способностей поразительных; слух будто у гениального музыканта, в одном углу комнаты говорят, а он умудряется из другого угла слышать; хоть потом и присочинит половину, но главное зерно принесет в клюве.

Так и случилось сегодня: приехал домой к Курлову, точно к завтраку, все доложил:

«Значит, — понял Курлов, — ситуация очень сложна, коли дедюлинские стражи не только за Манасевичем топают, но вообще, видно, за каждым моим контактом».

То, что за Манасевичем-Мануйловым смотрели все секретные службы России, никого удивить не могло. Да и смешно б, право, не глядеть за ним.

Сын Тодреса Манасевича, решившего поднакопить денег аферами и за то сосланного в Сибирь на погибель, семилетним еще сиротою был усыновлен сибирским богатеем Мануйловым — за смышленость и красоту; сделался «Иваном», принял лютеранство и вступил в интимные, противозаконные сношения со старым гомосексуалистом князем Вово Мещерским, главным российским черносотенцем, ближайшим другом покойного Александра III. По его рекомендации был сначала принят на службу в «Императорское человеколюбивое общество», а оттуда перемещен влюбленным в него без ума князем в департамент духовных дел. Только в стране удивительного беззакония, где все решали личные связи, Иван Манасевич, соплеменникам которого — по вандальскому закону о черте оседлости — запрещалось жить в обеих столицах, мог быть внедрен не куда-нибудь, а в святая святых православия — в департамент, призванный охранять чистоту национального духа от поползновений всех и всяческих инородцев. Оттуда Манасе-

вич-Мануйлов был отправлен в Ватикан, но представлял он не столько департамент духовных дел, сколько петербургскую охранку. Потом судьба занесла его в Париж, где он начал издавать русскую черносотенную газету, затем возглавил агентуру охранки в Западной Европе, приехал в Россию, сделался помощником премьера Витте; возвратился во Францию, чтобы там — второй уже раз — заагентурить Гапона; заагентурил; вернулся домой, был предан суду за мошенничество и вымогательство, однако следствие было прекращено, князь Мещерский вмешался, нажал на все рычаги; Манасевич после этого поступил на службу к редактору «Нового времени» Суворину, боролся за чистоту русского духа, против засилья гнилостных европейских влияний; скрывшись за псевдонимом «Маска», самозабвенно громил «пархатых»; пользуясь журналистским мандатом и покровительством вконец выжившего из ума любовника, влез во все салоны, знал всё и вся; тогда-то Курлов и приказал провести у него обыск, организовав через заграничную агентуру в Париже шифровочку на свое имя с сообщением про то, что якобы «Ванька» намерен продать секретные документы департамента полиции главному Робеспьеру — разоблачителю провокаторов эсеру Бурцеву. Против такого документа и Мещерский на какое-то время бессилен, а времени Курлову было потребно немного: всего часа два.

Когда Манасевича-Мануйлова после обыска привезли в охранку, Курлов, словно бы случайно, зашел в кабинет, где того допрашивали, попросил оставить его с «Иваном Федоровичем» с глазу на глаз, дверь запер и сказал тихо:

— Шкуру спущу, горбоносый, если не развалишься до задницы!

Иван Федорович начал делать глазки, но Курлов брезгливо сплюнул:

— Это ты князю Мещерскому ужимки делай, а мне — информацию неси — всю и обо всех, — тогда только пощажу. Нет — пеняй на себя!

Иван Федорович начал было возвышенно излагать, что-де он давно об этом мечтал, но Курлов приказал ему замолчать, подвинул бумагу, потребовал, чтобы тот написал кое-что о благодетеле Мещерском (от такого не отмоешься), про Столыпина, про Спиридовича, а внизу составил обязательство сообщать все, что знает, непосредственно Курлову — без вознаграждения.

С тех пор Манасевич-Мануйлов был личным осведомителем генерала, и Курлов не переставал дивиться уму, памяти и ловкости своего информатора; когда в департамент пришли данные, что «Ванька» снова переборщил — в ы д р а л у киевских купцов Бронтмана и Потапова двадцать тысяч рублей, пообещав первому разрешение на филиал магазина в Петербурге, а второму звание потомственного почетного гражданина, — Курлов вызвал к себе «борца за русскую идею» и предупредил о грозящей опасности, пожурив за неосторожность...

Вот он-то, Манасевич-Мануйлов, и сообщил сегодня Курлову, что Нейгардт просил великого князя Александра Михайловича предпринять все возможное, чтобы побудить государя отказать Столыпину в его просьбе об отставке и пойти на удовлетворение его требований, ибо они продиктованы одним лишь: желанием самозабвенно служить святой идее самодержавия еще лучше, эффективней и дальновидней, чем раньше.

(Великого князя Александра Михайловича, внука императора Николая I, женатого на старшей сестре государя Ксении Александровне, главноуправляющего торговым мореплаванием России и ее портами, не любили в Царском Селе за то, что дом его был полон всякого рода иностранцев, особенно англичан, а это государыня расценивала как плохо закамуфлированный выпад против ее германского изначалия, традиционно антианглийского.)

...Курлов должен был суметь просчитать ситуацию за долю секунды, проанализировать варианты возможных ответов, остановиться на одном, единственно в данной обстановке верном; продумать, не продал ли его «Ванька-жид», не перекупил ли его Спиридович, не бабахнул ли князь Мещерский информацию «Ваньки» через Дедюлина самой государыне; взвесив все вероятия, ответил:

— Если вы полагаете, что Манасевичу допустимо верить хоть в малой малости, тогда — в нонешней сложной раскладке — ба-альших дров можно наломать. А вот Михаил Михайлович, князь Андронников, действительно интересно говорит про беседу, которая вчера состоялась между Нейгардтом-старшим, Сазоновым и великим князем Николаем Михайловичем...

По тому, как н е переглянулись Спиридович и Дедюлин, можно было сразу же понять: эта информация к ним еще не дошла.

— С того б и начинали, — сказал Дедюлин. — Сейчас нам потребно знать все.

— Дайте указание, — ответил Курлов, — будем. Без вашего приказа — не смею, сами понимаете, какие имена задействованы.

Расслабившись, Курлов сам разлил водку по рюмочкам, поднял свою; задрал локоток по-гвардейски; улыбнулся:

— За дружество, господа!

И — влил в себя ледяное хлебное вино.

Лишь после этого Дедюлин со Спиридовичем наконец посмотрели друг на друга, ибо им теперь только сделался понятен утренний визит к государю великого князя Павла Александровича; тот прибыл в Царское через час после того, как от него изволил отъехать великий князь Николай Михайлович, главный историк царствующего дома; с его мнением считались, хотя и недолюбливали за чрезмерное копание в архивах и выискивание в древних актах всякого рода сомнительных документов.

Цель стала ясна: давеча Сазонов с Нейгардтом-старшим обработали великого князя Николая Михайловича, тот взял за рога великого князя Павла Александровича, вот и пожаловал с хлопотами за Столыпина.

А к Павлу Александровичу государь относился по-особому.

Дело в том, что этот великий князь, п р я м о й дядя правящего государя, был «шаловливым ребенком» династии, «анфан террибль», как его называли за спиною. После того как закончился его брак с греческой принцессой Александрой Георгиевной, великий князь, ничтоже сумняшеся, завел себе пассию, Ольгу Валериановну Карнович-Пистолькорс, а у той в семье был артист, Сережа, и хоть на сцене выступал под всевдонимом «Валуа», все в столице знали, что «Карнович-Валуа» — одно и то же, стыд и срам!

Ладно бы, держал при себе, бог простит, но ведь женился на ней ко всеобщему стыду; сразу же злые языки стали вспоминать балерину Кшесинскую, этого государыня снести не могла, нажужжала августейшему супругу, ночная кукушка, одно слово; несчастный великий князь в свои-то сорок два года был лишен звания генерал-адъютанта, уволен с командования корпусом гвардии; над детьми его, Митей и Машей, была учреждена позорная опека, скандал!

Лишь когда сгустились тучи и грянул гром девятьсот пятого года, государь соизволил простить дядю и вернул ему звание генерал-адъютанта — все-таки свой, время такое, когда лишь крови можно верить, все другие продадут за понюшку табаку.

Великий князь после того стал особенно близок к государю: обиженных обычно любят, да и потом за одного битого двух небитых дают; никто так не требовал бескомпромиссной жесткости и твердости курса в борьбе против либералов и конституционалистов, как Павел Александрович; потом он очень забавно рассказывал истории из жизни артистов, это смешило государя, лицо его делалось мягким и до того добрым, что Дедюлин порою слез не мог сдержать от умильной радости за своего властелина.

Павел Александрович, как и многие другие великие князья, в силу своей ветрености, как считал Дедюлин, видел в Столыпине лишь одну его половину, обращенную к обществу, — твердое желание навсегда искоренить гидру революции чрезвычайными мерами; они, однако, не имели той информации, которую имел Дедюлин: во-первых, Столыпин сейчас сделал упор не на чрезвычайные меры, но на экономические, подняв руку на извечную опору самодержавия, на сельскую общину, поставив на крепкого хозяина; а какой монархии, не ограниченной законом, нужен крепкий хозяин?! Он сам себе голова, он приказу не подчинится, оттого что крепок и самостоятелен в мысли; другое дело община — что старосте скажи, то и будет, а попробуй не исполнить — розги всем, и весь разговор! И Столыпин чем дальше, тем больше претендовал на то, чтобы стать п е р в ы м; его имя было теперь на устах у всех, ладно бы в России, но и на Западе тоже; в парижских, да и лондонских, газетах — все «Столыпин да Столыпин, премьер рюс», разве не обидно?!

Но ведь государю всего не скажешь: и загрустить может, и неверно понять, да еще не под настроение подпадешь, да как государыня, и что Терпов бабахнет, сегодня — он один, завтра — совсем другой.

Знать-то Дедюлин знал, а вот действовать не мог; впитанное с молоком матери: «государь все понимает лучше нас; твое дело — выполнять, его — думать и повелевать!» — определяло всю его натуру.

Он знал, что сегодня великий князь Павел Александрович убеждал государя отказать Столыпину в от-

ставке: «Зачем раскачивать лодку, поди нового премьера найди, поди получи доказательство его умелости, поди убедись, что другой не побоится смертную петлю затянуть на хрящиках шеи социалиста во имя жизни двора!»

Государь не отрезал, как бывало; слушал внимательно, хоть и хмуро, и — что самое горькое — обещал подумать и сообщить, коли придет к определенному решению.

А определенное решение Дедюлин уж подготовил: Петра Аркадьевича отправить на Кавказ наместником, там положение крутое, армяшки и прочие бакинские турки, подстрекаемые тбилисцами, бунтуют, кому, как не Столыпину, навести порядок, да и о т д о х н е т после изнуряющих трудов в Петербурге, сам же будет доволен, изволил об этом обмолвиться в беседе со своим министром финансов Коковцовым не далее как на прошлой неделе, информация совершенно точная...

— Вам, что ль, прямое указание нужно? — спросил наконец Дедюлин с улыбкой. — Может, мне рескрипт вам отписать: «Учредите наблюдение за премьер-министром»?

— Нет, Владимир Александрович, — громко произнес Курлов, зная, что беседа записывается на фонограф, пусть потом комендант не отпирается, уж если вместе, то — до конца. — Такого рода рескрипта мне не нужно. Мне бы получить ваше заверение как лица, близкого к обожаемому монарху, что в случае, когда Столыпин уйдет, я останусь при своем деле, ибо знаком с нашей горестной манерою: новая метла по-новому метет...

— Ежели я останусь, — после паузы, но очень тихо (не хочет на пластиночку, хитрован) ответил Дедюлин, — то и вам будет не худо, в каком бы положении вы ни оказались... Бадмаев внес проект о новой железной дороге, он у государя на столе; сумму он просит диковинную, мильонную; от развития нынешней ситуации зависит, каков будет дан этому проекту ход.

Дедюлин знал, что Курлов в д о л е у Бадмаева.

Что ж, дураку не ясно — посулил барыш; большие деньги; говоря языком уголовного законоположения, дал взятку не менее как в четверть миллиона золотом; таких денег, прослужи генералом хоть еще десять лет, не заработаешь ни в жизнь!

Курлов тоже перешел на т и х о с т ь, придвинулся к Дедюлину:

— Что сейчас нужно?

— Будто сами не понимаете, — ответил Спиридович.

А Дедюлин добавил:

— Я никогда не видел государя таким обиженным. И нанес ему обиду Столыпин. Почему он решился на такое? Где начало неслыханной дерзости? Кем и чем продиктовано? Понять надо, а уж поняв — действовать.

— Так-то вот, Владимир Александрович... Пригодилась и моя голова, не только книжка дорогого Спиридовича про революционеров... Они, революционеры-то, не обязательно эсдеки да эсеры, их и среди нашего брата немало... Полагаю, пришла пора валить моего шефа? Коли по правде, а не намеками? Или — как? Словом, когда соизволите знакомиться с моими секретными документами?

— Сейчас, — ответил Дедюлин. — Времени у нас в обрез. Привезли с собою?

Курлов открыл модный, плоский британский портфель, достал оттуда папки, молча протянул Дедюлину.

Тот сразу же углубился в изучение...

Подивился — узнал руку Витте. Ну, Курлов, ну и пройдоха!

Из шифрованного донесения германского военного атташе в Петербурге в Берлин: «Активность Столыпина, внешне абсолютно незаметная, тем не менее чрезвычайно серьезна. Он ищет ход в Царское Село через те салоны, где чаще всего появляются те великие князья, англофильская ориентация которых нам известна. Следовало бы сделать все возможное, дабы довести до сведения государыни о происходящем — по дипломатическим каналам из Берлина весьма срочно. Мы со своей стороны можем проинформировать об этом тех лиц в сферах, которые также оказывают влияние на решение царя. Возможность прихода к власти министра финансов Коковцова, весьма симпатизирующего Парижу, крайнее нежелательна».

II

14 марта 1911 года, ночь

АНАЛИЗ ДАННОСТЕЙ

«КАК ПРИЯТНО ИМЕТЬ ПРАВО ЗНАТЬ ТО, ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ ДРУГИЕ»

— Скажите, Пал Григорьевич, — возвращая Курлову перефотографированные странички виттевского дневника, посвященные Столыпину, спросил Дедюлин, — можно ли, по вашему соображению, включить графа Сергея Юльевича Витте в комбинацию?

— То есть? — не поняв царского коменданта, откровенно удивился Курлов, не считая даже надобным это свое недоумение скрывать. — Что вы имеете в виду?

— А то я имею в виду, что в деле, подобном нашему, следует иметь в кармане сформулированные предложения: кто придет на смену Столыпину; Коковцова вряд ли примут патриоты русской национальной идеи во главе с Марковым-вторым и Пуришкевичем — чистой воды финансист, значит, подвержен конституционным и прочим жидовским влияниям, с землею связь порвал, в имении своем бывает редко... А больше в нынешнем кабинете никого из личностей нет. Столыпин персон подле себя не терпит, ему куклы удобны. А что, ежели пугнуть того же Пуришкевича — дабы не скандалил — приходом Витте? Союзников, Пал Григорьевич, надо порою в еще более жестких рукавицах держать, чем открытых противников.

— Я, пожалуй, смогу прозондировать в этом направлении, — ответил задумчиво Курлов, просчитывая в уме возможные выгоды и проигрыши от торговли именем Витте в качестве преемника на пост премьера для него лично и для их с Бадмаевым проекта.

— Времени для зондажа нет, — заметил Дедюлин. — По моим сведениям, великий князь Николай Михайлович намерен сегодня посетить Аничков.

...В Аничковом дворце жила вдовствующая императрица Мария Федоровна; особенно часто принимала у себя великого князя Кирилла Владимировича, легендарного контр-адмирала, одного из немногих спасшегося после гибели броненосца «Петропавловск»; был одно время

в опале, лишен всех званий за то, что женился — без монаршего разрешения — на своей двоюродной сестре Виктории Федоровне; вдовствующая императрица, однако, благоволила к нему, добилась прощения и возвращения всех отнятых было званий; великий князь был сторонником Столыпина с того момента, как тот сломил Думу, пробив чрезвычайно щедрую смету на развитие русского флота.

Дедюлин чувствовал, что в с ф е р а х начинается раскол; налицо было создание «столыпинского блока»; коли вдовствующая императрица войдет в него, дело может принять непредсказуемый оборот.

Курлов подвинул Дедюлину вторую папочку, сломал сургуч на ней:

— Поглядите-ка это.

Здесь хранилась перлюстрация корреспонденции высших сановников России.

Первое письмо, которое Дедюлин прочитал, было адресовано бывшему министру внутренних дел империи князю Петру Дмитриевичу Святополк-Мирскому. Именно он отдал приказ стрелять в рабочих девятого декабря на Дворцовой площади. За это и поплатился отставкой, но с одновременным пожалованием генерал-адъютантом. Обиду все равно не простил; к Витте, а затем и Столыпину был в оппозиции.

Верный дружок князя Святополка, такой же, как и он, харьковский землевладелец, Матвей Козлов писал ему: «Казни и ссылки, которые ныне щедро раздают «с м е н я е м ы е» судьи под лозунгом борьбы с революцией, на самом деле готовят новый ее взрыв. Поскольку нынешняя политика успокоения на самом деле есть «политика отмщения», то что, кроме ненависти, может она воспитать в сердцах грядущих поколений?! Создается впечатление, что действия правительства прямо направлены к тому, чтобы формировать этим новые когорты революционеров. Впрочем, правительства ли? Может — Столыпина? Или его добрые намерения побеждены недальновидностью?»

Дедюлин поднял глаза на Курлова. Тот — с непроницаемым видом — курил.

— Неплохо, — заметил Дедюлин. — «Столыпин формирует когорты новых революционеров...»

Взял следующий листочек; перехват письма к Гучкову, из Феодосии: «Россия обнищала; повсюду у нас произвол, грабежи; губернатор Думбадзе и прочие пади-

шахи творят все, что хотят, на закон не обращают никакого внимания... Кого бы надо в первую голову призвать к порядку на Руси, отнять у них неограниченную власть, так это у таких губернаторов-падишахов, как Думбадзе, Гершельман, да и все другие всесильные беззаконники не лучше...»

— Ничего, — заметил Дедюлин, — годится... В Гершельмана бомбу уж кидали, мало им...

— Кстати, Гершельман выкрест, это вам известно?

— Сплетня, — отрезал Дедюлин. — Мои люди его специально в бане разглядывали, он — не резаный.

— Это мне тоже известно. А вот отца его кто в бане видел?

— Не надо, Пал Григорьевич, не надо, государь к нему благоволит.

— Так разве я об этом? Витте открыто про его деда говорит «раввин», и женат он был на дочке одесского раввина Бен-Палиевса.

— Не надо об этом, — повторил Дедюлин. — Не надо.

Следующее письмо было адресовано князю Горчакову в Сорренто: «Никогда взяточничество так не процветало на Руси, как ныне. Поскольку полиция у нас теперь царствует и держит население в страхе, то люди прибегают к взяткам или откупаются. И все это потому, что администрация Столыпина, перешагнув через грань законности, не знает более удержу... Это возмущает народ и лишь усиливает в нем желание сбросить беззаконие. Значит, правы были те, кто скептически относился к манифесту свободы?!»

— Последнюю фразу надо бы убрать, — сказал Дедюлин, — а там, где про столыпинскую администрацию, пожалуйста, перепечатайте, сгодится в дело.

Затем шло письмо профессора Погодина князю Трубецкому, члену Государственного совета: «Началась какая-то странная борьба... Запуганный, задерганный, замученный народ или погибнет, как народ государственный, или сделает еще одно усилие, чтобы стряхнуть самозванцев, правящих будто бы от его имени... Сколько же крови мы увидим еще...»

— Здесь не хватает прямого упоминания имени Столыпина, — заметил Дедюлин, — а то б сгодилось.

Курлов понял, куда гнет комендант, покачал головою:

— Вписать «Столыпина» сюда никак нельзя, Владимир Александрович, фотокопии всех перлюстраций —

в сейфе у Петра Аркадьевича; маленькая подтасовка обернется большим скандалом.

— И я об этом же, — отыграл Дедюлин. — Только истина, никаких натяжек, мы все алчем правды.

...Член Государственного совета, камергер Дмитрий Николаевич Шипов писал своей дочери, фрейлине двора: «Разбиты все надежды на мирное преобразование социального и политического строя. Я вижу, как наша любимая, несчастная родина приближается к пропасти, в которую ее толкает правительство. В то же время во мне поколеблена вера в народ, в его дух и творческие силы. Страшно делается, когда видишь деморализацию, проникающую во все классы населения. Причина ее коренится в лицемерии и неправде, составляющих основу деятельности нашего правительства, в эгоизме привилегированных классов. Благодаря этому пропасть, отделяющая власть от страны, все расширяется, а в людях воспитываются чувства злобы и ненависти, заглушая в них и веру и любовь. В действиях государственной власти нет необходимой искренности, все ее мероприятия имеют по внешней форме дать одно, а в сущности установить совершенно противное. Столыпин не видит или, скорее, думается мне, не хочет видеть ошибочности взятого им пути и уже не может с него сойти. Но путь этот в конце концов приведет только к революции, но революции уже народной, а потому — ужасной. Недовольство все растет, народ видит причину своих разочарований в «господах» и «барской» Думе, а потому предстоящая неизбежная революция легко может вылиться в пугачевщину. И мне кажется, чем скорее грянет этот гром, тем он будет менее страшен. Теперь еще имеются остатки добрых семян в населении, и они могут еще дать новые ростки, которые возродят нашу исстрадавшуюся родину. Если же гроза наступит не скоро, то надо опасаться, как бы длительный процесс деморализации не внес окончательного разложения, когда возрождение уже окажется невозможным. Так что чем хуже — тем лучше. Чем резче будет проявляться реакция, тем скорее чаша терпения переполнится... Но прийти к такому заключению и горько и больно...»

Дедюлин вздохнул, помял лицо ладонью, крякнул:

— А что? До слова «пугачевщина» можно перепечатать, сработает...

Пару писем Дедюлин п р о м а х н у л; долго обдумывал записку члена Государственной думы Везигина

своей жене: «Все разваливается, все трещит, и мы быстрыми шагами стремимся к пропасти. У нас нет ни государственности, ни хозяйства, ни армии, ни просвещения, ни даже безопасности. Но самое страшное, что у нас нет народа, а лишь население, обыватели. Нет веры, а без веры человек — труп».

Отложил письмо, отодвинул от себя осторожным, несколько брезгливым жестом.

Профессор Проскуряков писал лидеру октябристов Гучкову: «Революционные тучи вновь начали сгущаться. Революция имеет многочисленные кадры в лице выбитых из колеи людей, безработных, бездомных, голодных. Наш торговый баланс этого года ухудшился вдвое, вывоз хлеба совсем прекратился, какая бедность в деревнях, вы себе представить даже не можете. Что сделано против этого Думою? Ровно ничего! Главный советник людей — голод, и невольно появляется у людей мысль, что единственное спасение от голода — в революции... Вы говорите: «Мы успокоили крестьянство». По отношению к праву выхода из общины — это безусловно правильно, но при том медленном ходе законодательных работ едва ли удастся достигнуть спокойствия страны...»

— Это письмо Столыпин, по-моему, употребил в своих нападках на Думу прошлой осенью, — заметил Дедюлин.

— Верно, — согласился Курлов. — В своей борьбе против общины. Дивлюсь вашей памяти, Владимир Александрович.

Дедюлин чуть ли не оттолкнул от себя взглядом Курлова; лести не терпел; принялся за письмо Ивана Ильича Петрункевича, дворянина старинейшего рода, тверского помещика, одного из лидеров кадетов в Государственной думе, — другому члену ЦК, дворянину Владимиру Набокову: «Происходит гниение правительственной власти, ее распад, появление на арене политической борьбы необузданной темной силы, таившейся веками в самом народе в скрытом состоянии, благодаря кнуту, который не разбирал ни овец, ни козлищ и всех крепко держал в общем хлеве. Законодательные эксперименты наших генерал-губернаторов; Пуришкевичи и Шульгины в качестве «цензоров права» свидетельствуют, что власти, как выражения государственного единства, не существует у нас и мы действительно видим, что правительство, не способное провести

какую-либо реформу, находится в полнейшем порабощении у «истинно русских людей». Но это, как ни странно, демократизировало общественное мнение, и все говорит о том, что мы живем уже не на кладбище».

— Отсюда можно бы взять про «гниение правительственной власти», — задумчиво сказал Дедюлин, — и что «правительство не способно провести какую-нибудь реформу». Но — это про запас, Петрункевич — он и есть Петрункевич, хоть столбовой и земель имеет побольше нас с вами...

Пролистал еще несколько писем, остановился на послании директора московской гимназии Высоцкого — и не кому-нибудь, а камергеру, полному генералу Александру Александровичу Евреинову: «Я согласен с князем Евгением Трубецким, что лучше б распустить Думу и не собирать, ибо она картонная декорация в руках Петра Аркадьевича, где происходят разные бюрократически-репрессивные эксперименты над жизнью русского народа. Я не требую моментального, волшебного возрождения России, но я скорблю, что ни Столыпин, ни Дума не желают сделать шага по пути реформ».

— Годится, — сказал Дедюлин. — Это подойдет, здесь все названо своими именами, к Евреинову государь благоволит...

— Рад, что смог помочь, — откликнулся Курлов. — А теперь — главное, Владимир Александрович... Я собрал досье на самого Петра Аркадьевича, ждал того часа, когда эта моя работа окажется угодной людям одной со мной идеи — служения самодержавию до последней капли крови.

Он открыл самое потаенное отделение портфеля, достал папку, положил перед Дедюлиным.

Тот пролистал, удивился:

— При чем здесь поэт Фет и философ Огюст Конт?

— Вы внимательно прочитайте, Владимир Александрович, очень внимательно, вам тогда станет ясно изначалие Петра Аркадьевича, без этого — не понять вам его затаенную суть...

14 марта 1911 года, ночь
«АХ, ВОТ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ!»

Двумя «китами», на которых состоялся Петр Аркадьевич Столыпин, не столько как премьер России, сколько как личность, были его отец и старший брат.

Просматривая досье, собранные в особом отделе

департамента полиции на лиц из правящего лагеря, дворян и придворных (такие досье были чрезвычайно секретными) в первые месяцы после перехода на службу в министерство внутренних дел, Курлов, к вящему своему удивлению, натолкнулся на фамилию своего непосредственного руководителя.

Однако, вытребовав себе это дело, он убедился, что речь шла не о Петре, но Дмитрии Столыпине.

Досье на него было заведено еще в прошлом веке, по чистой случайности: попал в круг лиц, связанных с надзорным наблюдением за дворянином Львом Толстым; поскольку тот был в родстве с Фетом, таким же, как и Толстой, литератором, а не только землевладельцем, поскольку за всеми выступлениями Фета п р и г л я д ы в а л и, а переписку перлюстрировали, в поле зрения секретной службы появилась не только статья Фета по аграрному вопросу, но и отклик на нее молодого приват-доцента философии Дмитрия Аркадьевича Столыпина.

Статья Афанасия Фета была вызвана опубликованием работы Победоносцева, наставника будущего царя, которого иначе как «серым кардиналом» или же «Савонаролой» в прогрессивных дворянских кругах не называли.

Работа Победоносцева была связана с крестьянским вопросом, и Фет, зная, что задирать всемогущего реакционера никак нельзя, начал свою статью с расшаркиваний и пиететов, все, как и положено, только б усыпить цензора, а потом з а с а д и л такие пассажи, что сразу же открыл свое истинное лицо.

Фет, в частности, писал:

«Хотя мы лично и не разделяем несбыточных упований славянофилов, наделавших нам столько хлопот, тем не менее не можем не радоваться повороту к независимой национальной политике, на которую указывали нам истинные патриоты. Конечно, благоразумие пользуется чужими историческими уроками; но нельзя же себе ставить мушку на здоровую спину только на том основании, что сосед страдает хронической болью в пояснице. Мы никак не можем себе объяснить, чего так боится наше законодательство и против чего оно принимает всевозможные меры? Неужели, без шуток, против пролетариата, на том только основании, что Европа страдает этим недугом? Что такое пролетарий? Это рабочий, не находящий работы. Где же у нас что-либо подобное?

...Подобно всякому человеку, русский крестьянин спит и видит себя самостоятельным землевладельцем. Без этого чувства собственности не существует никакого экономического побуждения. В поощрение такому животворному стремлению правительство поспешило устроить крестьянские банки. Но эта благодетельная мера, к сожалению, парализуется фикцией крестьянской общины.

Не будем говорить об исторических доводах касательно сочиненности общинного начала. Не зарываясь так далеко в историческую глубь, как-то странно говорить об общинных или иных правах народа, за которым закон в течение 250 лет никаких личных и имущественных прав не признавал. Итак, оставалось бы сказать: да, мы выдумали общину, невзирая на ее неестественность и несправедливость, в интересах фиска, подражая в этом случае приемам прежних владельцев, не желавших или не могущих входить в справедливое распределение оброков со своих крестьян.

Что же, спрашивается, приобрело государство от учреждения общины? Убийственный для земледелия передел участков за водку. Окончательное попрание авторитета главы семейства и какую-то оппозиционную солидарность, доходящую до вооруженного сопротивления властям, не говоря уже о корпоративном хищничестве. Ничего этого — при отсутствии общин — не существует.

...Владимир Соловьев с полной ясностью указывает на славянофильское направление, которое так удачно называет реакционно-анархическим мотивом. Это направление не только считало все русское безусловно хорошим, но и сваливало все наши собственные грехи с больной головы на здоровую...

Сохраняя невозможную среди свободных людей общину, осуществители реформы, «во имя равенства и свободы», сокрушили с е м е й н ы й принцип, которым так крепка была Русь...»

А молодой приват-доцент Столыпин, вместо того чтобы дать отповедь сочинителю слезливых романсов, сунувшемуся не в свое дело, в дерзкий штурм святая святых духа, которой, по мнению государя, является община с ее круговой порукой, выступил в поддержку «скрытого либерала» и западника, позволив себе напечатать следующее:

«Защитники круговой поруки высказываются за нее на том основании, что в ней, как они говорят, вполне

проявляется солидарность, как принцип высшей справедливости.

Если обобщить это понятие безразлично на все явления, возвести его в принцип и требовать во имя оного, чтоб одни артели дорабатывали недоделанное другими артелями, чтоб одни ассоциации отвечали за другие, чтоб в деревнях крестьяне работали, как они говорят, на чужих, то есть чтоб одни семьи отвечали и платили недоимки за другие, то это будет искусственное правило, а не естественное право.

Некоторые принимают круговую поруку за самобытную черту нашей общины, но круговая порука существовала во Франции, во время малолетства Людовика XIV. Моле, президент парижского парламента, говорил, указывая на бедность поселян, королеве Анне: «Представлю Вашему Величеству крайность страданий народа... Еще если бы, уплативши падающую на него часть налога, человек считался свободным от всяких обязательств! Но сельское общество связано круговою порукой!»

В настоящем, полагаю, личное владение крестьян выше общинного. Личное мелкое крестьянское владение имеет недостатки, о коих можно иметь все нужные сведения, так как оно весьма распространено на Западе. Недостатки эти там признаны, и, во избежание крайнего дробления, во многих государствах поставлены минимумы для деления земель.

Всеми признано, что крестьяне вообще бедны. Все нападки на общинные порядки имеют в основании мнение, что в них кроется причина этой бедности. Пока не будут приведены иные, более веские причины, это мнение должно считаться справедливым».

Лишь при внимательном чтении работ Афанасия Фета и Дмитрия Столыпина можно было уяснить себе истинный смысл этой «драки под одеялом». Казалось, всего-навсего абстрактный разговор, что лучше для России: община или семья, аренда. Однако же политики того времени видели в этом споре схватку двух непримиримых точек зрения — тиранической, дремучей, д е р ж а в н о й (на которой стояли «общинники» правого толка; были, впрочем, и «левые»; даже «бунтари» в свое время г р е ш и л и общиною) и буржуазной, западной; выразителем последней и заявлял себя Столыпин, манипулируя при этом Огюстом Контом, который — при том, что француз, — нападал на идеи Французской революции.

Российских «державных воробьев» на мякине провести было невозможно, ибо наука во времена темного царства была тем главным врагом, который по мысли с ф е р, угрожал привычному укладу, подталкивал к действию, в то время как принцип надежного удержания власти в условиях бесправного абсолютизма подтверждается устойчивым с т а р ы м; всякое новое чревато неизвестностью, а что она в себе несет, поди разберись. Естественно, что сдержать науку, то есть мысль, может лишь государственная репрессия, возведенная в степень национальной политики.

Поэтому-то Дмитрий Столыпин после первых публичных выступлений ощутил себя в некоем вакууме; его не бросили в каземат, как Чернышевского, не гнали в почетную ссылку, как Салтыкова-Щедрина, не мучили штрафами, как Некрасова, не отправляли под гласный надзор полиции, как столбовых дворян Бобринских (речь, понятно, сейчас не идет о непримиримых противниках державного абсолютизма, как Халтурин и Засулич, Плеханов и Ленин, Люксембург и Дзержинский, Каменев, Камо, Бухарин, Бауман и Бабушкин); однако Дмитрий Аркадьевич Столыпин не мог не заметить, что его статьи с большим скрежетом проходят сквозь цензуру и публикуются со значительными купюрами; курс его лекций откладывается из года в год; знакомые при встрече в присутственных местах стараются загодя отойти в другой угол залы, чтобы не раскланиваться на людях.

Такого рода моральные у к о л ы были порождением с и с т е м ы тотальной репрессии против всех, кто вставал наперекор п р и в ы ч н о м у — разъедаемому изнутри противоречиями развитию (в общем-то естественными), скрипящему, но тем не менее оберегающему самого себя штыком, решеткой, ссылкой и м о л ч а н и е м.

И все это обрушилось не на противника самодержавия, но на человека, желавшего лишь скорректировать движение, помочь преодолеть кризис д е л о м, а не легендой, маниловским мечтательством, повторением обветшалых, а потому зловещих истин о «православии, самодержавии и народности».

Дмитрий Столыпин мучительно переносил все это; замкнулся в себе; о б и д е л с я (что в схватке невозможно, ибо, как верно говорят, «взялся за гуж, не говори, что не дюж»). Обида изнутри поедала его, пепелила; умер он молодым.

Но и после его преждевременной кончины крайние

полюсы общественного лагеря России продолжали наскакивать на идеи Дмитрия Аркадьевича, чем (как и во всех подобных коллизиях) пользовались с ф е р ы и близкие им люди для одного лишь: как можно дольше сохранить те сказочные условия жизни, в которых они беззаботно, по-обломовски, проводили свои дни и годы.

Поначалу Курлов, — ознакомившись со всеми документами, хранившимися в потаенных сейфах охранки о семье Столыпиных, — не мог отдать себе отчет о причинах того сложного отношения со стороны с ф е р как к Столыпину-отцу, так и к Столыпину — старшему брату. А отношение было совершенно определенное, ибо дворян — более или менее заметных — числилось тогда тысяч пять, все на виду; забот у властвующего дома никаких; государственная машина крутится; слушай себе сплетни да мотай на ус, авось когда пригодится, благо что ни про выборы думать не надо, не про отчетность по сметам, ни про выступления перед народом; нет народа — есть подданные...

...И лишь когда Курлов собрал все напечатанное Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным, исследовал — с пером в руке, — то он до конца убедился, что философская концепция русского ученого действительно строится на философской школе Огюста Конта, который известен тем, что и з о б р е л науку, именуемую социологией.

Курлов понял, что уже сама по себе та ситуация, при которой русский дворянин сделал себе кумиром безвестного западного философа, восстановила против него весь славянофильский лагерь, особенно правую его часть, утверждавшую, что в Европе ничего, кроме гнили и мерзости, нет и быть не может; все талантливое рождает лишь русская почва и несет в себе русская кровь.

Однако — как явствовало из полицейского досье — и левые резко атаковали Дмитрия Столыпина, упрекая его в том, что кумиром он себе избрал реакционера, позволившего замахнуться не на что-нибудь, но на святая святых, на принципы Французской революции, то есть на свободу, равенство и братство.

Понятно, что удары, сыпавшиеся на Дмитрия Аркадьевича с обеих сторон, были инспирированы тайными службами империи; что-что, а это делать умели; не могли разрешить реформу, навести порядок в хозяйстве, поставить в стране просвещение и медицину, но что касаемо интриг, то в этом деле равных не было.

В конце концов Курлов вычислил, отчего Дмитрий Столыпин навлек на себя гнев: чуть ли не в каждой своей работе он постоянно, несколько даже одержимо (это особенно пугает тиранов) п р о т а с к и в а л тезис Огюста Конта о том, что естественные науки являются побудителем и главным контролером идеи; их иерархия абсолютна, математика стоит во главе наук, далее следуют физика, химия, биология, а заключает социология. Конт считал, что закон развития в живых телах и неразрывные с ним законы физики и химии присущи общественным союзам. Каждый закон, открытый в одной из абстрактных наук, есть одновременно и общий мировой закон. Лишь опыт, практика подтверждают истину. Французская революция провозгласила примат права гражданина над правом общества, и страна разбилась на сорок четыре тысячи коммун. Поначалу все было прекрасно, однако когда началось вторжение и восстание в Вандее, революция вернулась к примату общего над частным: «Отечество в опасности!» Но поскольку Вольтер и Руссо, на идеях которых и состоялась революция, работали по методу «чистого разума», конструировали концепции из головы, игнорируя факты, во всем следовали за Платоном, первым адептом равенства, ничто не могло спасти Конвент; пришел Наполеон, построив на обломках революционных принципов свою монархию. Отрицание доводов науки, основанных на фактах, таким образом, ведет к катаклизму, катастрофе.

От этого-то постулата и переходил Дмитрий Столыпин к исследованию аграрного вопроса в России и, анализируя общину, столь угодную самодержавию, доказывал, что ее сохранение есть мера реакционная, антинародная, в конечном счете антирусская.

Поди жалуй его после этого милостями!

...Столь же интересными оказались для генерала Курлова и работы Аркадия Александровича Столыпина, главы семьи.

Тот, являясь участником Крымской кампании, во время которой абсолютизму Николая I было нанесено сокрушительное поражение англо-французскими войсками, вооруженными по передовому уровню техники, был на виду, его помнили сановники, вхожие в с ф е р ы, опекали его и п о в о р а ч и в а л и его дерзкие слова и статьи в нужное русло мышления.

Поэтому Аркадий Александрович Столыпин, выйдя в отставку и поселившись в одном из своих имений, пре-

дался важнейшему, с его точки зрения, вопросу — национальному.

Поскольку земли Аркадия Александровича расположены были в северо-западной России, центрами каковой тогда считались Вильно и Ковно, то Столыпин-отец посвятил весь свой досуг борьбе с поляками, литовцами и латышами, а также доказательству того, что «все князья литовские были князьями русскими, и не иные, как Полоцкого дома. Вся интеллигенция литовская происходила от людей русских. Племя литовское, аборигенное, не способное выработать из себя ни государственности, ни цивилизации, ни даже сложить песен, оставалось всегда и останется поныне вне истории.

...Связь между Литвою и другими первобытными племенами, населяющими российское государство, — финскими, тюркскими, славянскими, — есть связь позднейшего русского наслоения, связь культурная, династически-русская... Да, мы — тураны, мы — финны, мы — литва, мы — славяне! Мы — легион, именуемый Русью! Прибавим к этому, что те из славян, которые не захотят войти в победоносные ряды оного, имеют один только исход — поступить в немецкий ландсвер или в турецкие башибузуки. Панславизм вне России — как самостоятельность Литвы и других доисторических племен — химера!»

Печатано это было в Вильно, в 1867 году, когда Пете Столыпину было всего пять лет, но воспитывался он именно на этой концепции, из которой явствовало, что русскому человеку тогда только будет вольготно и счастливо жить, когда ему перестанут мешать всякого рода финны, тюрки, литовцы, поляки и прочие желтые, горбоносые и также черноволосые...

Поначалу Петр Столыпин был весь во власти отцовской доктрины. Повзрослев, он попал под влияние брата Дмитрия.

Ему предстояло — в практике руководства Россией — совместить две эти несовместимости: национализм, всегда ищущий причины горя в других, вовне, а не в себе, и научный метод Огюста Конта, ставивший во главу угла проверку истины фактами.

Факты говорили за то, что в нищете русского крестьянства были повинны самодержавие и дворянство, владевшие землями, лесами и водами России; факты говорили за то, что в трагедии русских рабочих были повинны самодержавие и бюрократия, не считавшие нужным

дать ни законодательства, ни страхования, ни образования, ни медицинского обслуживания мужчинам, женщинам и детям, приписанным к рабскому труду; факты говорили за то, что романы, пьесы, стихи и статьи русских писателей арестовывали, кромсали и запрещали русские цензоры, выполнявшие монаршую волю; однако воистину кого бог хочет наказать, того он лишает разума.

Бесспорно, Столыпин был динамичным политиком, но чем больше начинал он п о н и м а т ь, тем трагичнее было то положение, в котором он оказался, — между Сциллой истины и Харибдой царствующих в с ф е р а х представлений.

Бесспорно также и то, что Столыпин оказался лихим человеком, ибо он посмел то, что не позволял себе до него никто: он поставил перед царем ультиматум: или — или.

Однако всего бесспорнее то, что, прими царь ультиматум, победи Столыпин, положение русского народа (и всех иных народов, населявших империю) никак не улучшилось бы, поскольку н е н а у ч н ы м было то, чему — волею абсолютистской логики — служил премьер-министр.

...Попрощавшись с Курловым, пообещавшим подготовить к утру компрометирующую Столыпина справку, Дедюлин и Спиридович поспешили в Царское Село.

Курлов, оставшись один, долго расхаживал по мягкому ковру, потом поглядел на свои золотые часы-луковицу братьев Буре, вызвал авто и отправился в министерство, — секретный отдел работал круглосуточно.

Оттуда заехал к Бадмаеву; обсуждали ситуацию довольно долго, выстраивая позицию на ближайшее будущее; и хотя друзья были, и акционеры одного дела, тем не менее беседовали по принципу детской игры: «да» и «нет» не говорить, «черное» и «белое» не брать. Однако прекрасно друг друга поняли: при нынешнем моменте опасно с т а в и т ь лишь на одну силу, надобно подстраховать себя. Была задействована цепь контактов, телефонных звонков, шуток, беззаботных бесед на сегодняшних и завтрашних дипломатических раутах, которые — так было спланировано — не могли не прийти к Илье Яковлевичу Гурлянду, главному редактору правительст-

венного официоза «Россия», самому близкому Столыпину человеку.

Следовательно — если допустить невероятное, то есть победу Столыпина, — то Курлов и в этом случае будет в выигрыше; как-никак подсказал, откуда надо ждать удар, и главное, чем будут бить: памятью отца и брата или же наветами либералов из Государственной думы, близких к младотурку Гучкову и либералу Милюкову.

А повалят Петра Аркадьевича — что ж, того лучше. Дедюлину выгодно держать своего человека подле любого преемника, доказавшего верность трону в самый напряженный момент кризиса.

Столыпин, однако, был прекраснейшим образом осведомлен обо всех встречах Курлова и без его хитрой п о д а ч и через Гурлянда.

Информировали его и об активности Дедюлина.

Знал он и то, что вдовствующая императрица сегодня приняла младшего сына, Михаила Александровича, который до девятьсот четвертого года был наследником русского престола, пока не родился царевич Алексей. Она пообещала своему любимцу отстоять Столыпина. Он не просто просил маменьку за талантливого политика, не за человека, который спас Россию от анархистских бомб, приняв на себя тяжкую обязанность ввести виселицы, столь гнусно прозванные «столыпинскими галстуками»; он был просто-напросто обязан Столыпину лично, ибо тот, зная от своей зарубежной агентуры про роман великого князя с женою офицера лейб-гвардии его величества кирасирского полка Вульферта, не только не мешал ему, но делал все, чтобы это не стало достоянием государыни Александры Федоровны, которая великого князя давно, с той еще поры, пока он был наследником, болезненно не любила.

...Когда Дедюлин передал государю днем 15 марта 1911 года курловское досье на Столыпина, тот пролистал его, кивнул и сказал, вздохнувши:

— Спокойствие маменьки превыше всего для меня... У ней вот и давление крови поднялось из-за всех этих передряг... Спасибо вам, милый Владимир Александрович, за хлопоты... Я решился удовлетворить просьбу Столыпина... Я распустил Думу на три дня, пусть он утвер-

дит свой проект. Не знаю, правда, с чем он еще ко мне впредь обратится, но лучше б не обращался.

...Будучи потрясен первыми словами царя, Дедюлин тем не менее последние его слова истолковал как право на п о с т у п о к, потому-то и сказал Спиридовичу:

— Поскольку ваш родственник Кулябко возглавляет охранное отделение в Киеве, поскольку Курлов будет организовывать службу жандармерии, а вы — дворцовой охраны во время предстоящих торжеств в матери городов русских, съездили б туда заранее, поглядели что к чему... Столыпин, понятно, будет сопровождать государя... А то, глядишь, победив ныне, он такого наломает, что не вам в августе придется охранять благодетеля и не Курлову, а кому-то совсем другому.

Дурак не поймет; Спиридович не дурак; ясно — пришла пора решать судьбу Столыпина к а р д и н а л ь н о. Или он — нас, или мы — его.

III

Апрель 1911 года

ЗАГОВОР

«ПЕТР ИВАНОВИЧ, ОТКРОЙТЕ ПРАВДУ!»

1

Петра Ивановича Рачковского по праву считали самой яркой звездой имперского политического сыска.

Получив блистательное домашнее образование в высокоинтеллигентной дворянской семье, Рачковский хоть и начал свой жизненный путь с сортировщика киевского почтового отделения, но виды на будущее имел отчетливые и до того продуманные, будто ему тогда не семнадцать лет было, а добрых сорок.

Перескочив из почты прямиком в канцелярию варшавского генерал-губернатора, пробыл там недолго, но о б к а т а л с я; засим поработал в сенате, оттуда не побоялся отправиться в секретари Калишского губернского правления по крестьянским делам, а уж потом — прямиком в судебные следователи, в Архангельск.

Мобильный, ищущий, постоянно работавший над собою, Рачковский был з а м е ч е н, возвращен в север-

ную столицу, принят в министерство юстиции, а оттуда перешел в подчинение начальника петербургской охранки полковника Судейкина.

Именно Судейкин, один из первых организаторов провокации в России, привлек его к работе с офицером Сергеем Дегаевым, а когда тот — после многомесячных метаний — угрохал своего «друга-врага», сиречь Судейкина, — сделал все, чтобы не только наказать изменника охранки, но и п р и ж а т ь жену оного, жившую в Париже.

Провел все в лучшем виде.

Был после этого назначен заведующим парижской и женевской агентурами по борьбе против «Народной воли». Рачковский долго присматривался к народовольцам, проникся к ним особого рода симпатией — так сентиментальные дети любуются цветком, прежде чем сорвать его; пытался заагентурить некоторых, как казалось ему, мягких, мечтателей, сгоравших от безнадежья в сухой чахотке; убедился — безнадежно, и куда только мягкость девается, ежик, а не человек, чуть ли не на хвост (по-змеиному) становились; на депеши из Петербурга, в коих требовалось незамедлительно прислать план, утвердить смету, заполнить формуляры, представить отчетность, не отвечал; думал.

И, не запрашивая департамент, зная заранее, что оттуда немедленно затормозят, предложат еще раз обсудить, продумать возможные последствия, да как посмотрит Версаль, да что скажут в Женеве, словом, зарубят живое дело на корню, решил действовать на свой страх и риск — или пан, или пропал.

И ударил, точно вычислив больное место народовольцев: ощущение безопасности, беззаботность. Типография не охранялась, дежурных в помещении не было, поэтому Петр Иванович с тремя помощниками легко проник туда, перебил станки, сжег запас литературы, а все шрифты, забрав их в два мешка, рассыпал по женевским улицам.

Рачковский полагал, что шок будет столь сильным, о щ у щ е н и е царизма сделается столь близким, а угроза возмездия — повсеместной, что народовольцы начнут метаться, возобладают обычные российские эмигрантские дискуссии и свары, печатное дело, таким образом, с т а н е т.

Однако народовольцы восстановили типографию и вновь начали печатать свою нелегальщину.

Рачковский ударил еще раз, обговорив заранее свою акцию с местными властями: «Неужели вы станете и впредь поддерживать анархистов? Неужели Верховенские из «Бесов» не страшны вам? Неужели не боитесь российской бунтарской заразы?!»

Власти не сказали ни да ни нет. Того только и ждал Рачковский. Восстановленную типографию он разгромил второй раз, еще более жестоко и безжалостно, чем в первый.

В среде народовольцев начались жаркие споры: как жить дальше?

Голоса разделились: кое-кто стал говорить о необходимости дискуссии с властью: «надо искать хоть какие-то мосты».

На этой позиции стоял и Лев Тихомиров, один из самых ярких революционеров «Народной воли».

Рачковский понял: главный удар надобно нанести именно по Тихомирову, но удар этот должен быть особым.

Более пяти лет Петр Иванович подкрадывался к Тихомирову, р а з м и н а л его, т р о г а л со всех сторон, п о д в о д и л своих людей; победил; Лев Тихомиров шарахнулся из террора в неожиданное: «Видимо, русский народ — особый, в нем главная идея — идея самодержавия, идея личного властвования верховного вождя; следовательно, вопрос упирается в уровень просвещенности самодержца».

Петр Иванович на посулы не скупился: «Да, господи, дорогой мой, неужели вы думаете, что мы не видим все наши прорехи?! Неужели мы не понимаем — в чем-то даже лучше вас, — сколь тяжек грех нашего абсолютистского аппарата перед державою?! Но ведь какой-то прогресс есть?! Не спорьте, есть! Разве были возможны такие публикации, которые появляются в современной русской печати, при Николае Первом? Разве можно было представить себе, что критика обретет функции общественные, открытые?! Разве можно было допустить даже мысль, что скорбный ум России — Николай Гаврилович Чернышевский — будет возвращен из ссылки? Сколько десятилетий прошло, прежде чем безвинные друзья декабристов вернулись домой, а ведь Николай Гаврилович звал к топору! Вместе надобно работать во имя обновления России, вместе помогать нашему больному народу, испорченному многовековым рабством, выходить к барьеру свободы! Работа эта трудная, аккуратная, один неверный шаг — и обвалимся в

пугачевщину, тогда ваши головы полетят первыми, слепой бунт бар не терпит, разбора в том, кто за кого, не будет!»

Тихомиров вернулся в Россию и такое п о н е с на «Народную волю», что и друзья его по партии, и враги из департамента полиции только диву давались.

Множество молодых людей, ранее тайно симпатизировавших «Народной воле», отшатнулись от партии, прочитавши разоблачения одного из ее лидеров.

Рачковский после этого стал главою всей русской зарубежной агентуры, вошел в близкие отношения с французскими министрами Делькассе и Константом, подружился с президентом Эмилем Лубе; вместе со своею женою, очаровательной француженкой Ксенией Шерле, отправился в Рим, был принят папой Львом XIII; начал из Ватикана борьбу против польских оппозиционеров, но замахнулся на Л о ж у, которая отправила в Петербург п р о в и д ц а Филиппа; Филипп в л е з к государю, а особенно к государыне; Александра Федоровна, не в силах изжить въевшуюся в плоть и кровь немецкую авторитарность, слепо следовала советам того, в кого поверила, особенно если человек этот знал заговоры от дурных глаз и черных сил; была высказана августейшая жалоба министру внутренних дел Плеве; тот вызвал Рачковского в Россию и уволил со службы — неблагодарность власть предержащих границ не знает, палят по своим, только дробь сыплется...

Рачковский уехал в Варшаву, поселился там по-над Вислою, редко наезжал в северную столицу, но связей с Западом не прерывал.

Спиридович имел сведения, что Рачковский тогда весьма тесно контактировал с эсерами; фактов, правда, не было, только слухи. Как уж он там контактировал и с кем — не суть важно. Другое важно: Плеве взорвали добрым эсерским способом — динамит' под карету, и вся недолга.

После гибели Плеве военный диктатор Петербурга Димитрий Федорович Трепов сразу же пригласил Рачковского в департамент полиции руководить ее святая святых — политической частью; после разгрома Декабрьского восстания в Москве именно Петр Иванович выехал в первопрестольную и самолично провел аресты участников, чудо что за операция!

Но пришел Столыпин и сразу же отправил Петра Ивановича в отставку. Тот, однако, и на этот раз всех

своих хитрых д е л не прервал; держал руку на пульсе.

После первого покушения на Столыпина на Аптекарском острове Рачковским вновь заинтересовались в охранке, что-то мелькнуло о нем в сообщениях зарубежной агентуры: то ли боевики хотели на него выйти, то ли он сам искал встреч с динамитчиками; попал в сферу наружного наблюдения.

...Именно с ним-то и встретился Спиридович на конспиративной квартире; слежки в тот день за Рачковским не было, выяснил — через Курлова — чист.

Попросил поначалу наново о с в е т и т ь как дело убийцы Дегаева, так и шефа петербургской охранки Карпова, а особенно — убийство Плеве.

Петр Иванович допил кофе, чашечку перевернул, поставил на край блюдца — страсть как любил гадать, верил в это, — потер лицо ладонями и, усмехнувшись чему-то, ответил:

— Ах, стоит ли возвращаться в былое? Впрочем, вы — молодые, вам надобно знать все, чтобы не допустить повторения ужасов... Видимо, и в том и в другом случае вас интересуют о б ъ е к т ы работы, то есть злоумышленники, не правда ли?

— Меня интересует все, Петр Иванович, — солгал Спиридович, и Рачковский сразу же понял, что он лгал. — Вы же знаете, я пишу книги по революционным движениям...

— Да, да, очень талантливо, и кругозор широк, смотрите, не сносить вам головы, завистники не прощают талантливость, сия категория наказуема уголовно...

Рачковский внимательно посмотрел на Спиридовича, стараясь до конца точно понять его, потом сказал:

— Три дела, о которых вы помянули, методологически совершенно различны, Александр Иванович, это надобно сразу же оттенить. Дегаева как провокатора мы п у т а л и, подталкивали его то с одной стороны, то с другой, делая послушным нашей воле; действия агента охраны Петрова, злодейски умертвившего начальника Петербургской жандармерии полковника Карпова, мне до конца не ясны, я в ту пору был в отставке, но комбинация занятная: каторжник, предложивший нам работать против бывших товарищей в обмен на фиктивный побег, с последующим отправлением за границу, был средоточием чьей-то интриги: либо генерал Герасимов играл им, напуская Петрова на своего конкурента Карпова, либо кто другой, возможно даже и Курлов... Сие — не

для передачи Павлу Григорьевичу, понятное дело... Петровым, его руками, с д е л а л и дело; его быстро повесили, не дали опомниться, это — внове мне, такого раньше не выходило, судейские были крепче... Ну а что касаемо гибели Плеве, то враги, — Рачковский горько вздохнул, — так построили свою пропаганду, что этот достойнейший человек сделался в глазах просвещенного общественного мнения неким пугалом, уход которого угоден всем...

— Что же он не пресек пропаганду? Ведь не кто-нибудь, а министр внутренних дел империи...

— Коли с умом пропаганду поставить, — жестко ответил Рачковский, — ничего с ней не поделаешь, разит пострашней бомбы...

«А ВСЕ-ТАКИ С ЧЕГО НАЧАТЬ?»

2

Владелец аптекарского магазина в Луганске Михаил Иванович Гурович был арестован за революционную деятельность в 1880 году; выслан под гласный надзор полиции в ссылку, в Сибирь, где провел три года; раскаялся; отправил верноподданное письмо в департамент полиции, в котором ни о чем не просил, просто-напросто анализировал все произошедшее с собою самим; ни в чем не искал себе оправдания; судил о прошлом и будущем умно и дальновидно.

«Наивно закрывать глаза на все те досадные явления нашей жизни, — писал он, — которые особенно ранят душу в силу их повседневности. Куда бы ни обратил свои взоры молодой человек, вступивший в пору зрелости, повсюду его горячие, искренние порывы принести пользу державе, отдать свой ум на алтарь отечества встретят медлительное, неповоротливое, однозначащее «нет». Каждое начинание будет прямо-таки з а м у ч е н о столоначальствами, департаментами, акцизами; ожидание ответа на предложения растягивается на года, не то что месяцы; в эти-то критические периоды и зарождается в головах нетерпеливой юности дерзкая мысль о необходимости изменения основ державной власти. И я не вижу выхода из этого, столь горестного для империи нашей, положения. Я не прошу о помиловании, потому что вину свою признал; о раскаянии говорить считаю недостойным, ибо это расходится с моим пониманием

чести, я всего лишь хочу обратить внимание на объективное положение вещей. Проводивший расследование по моему делу ротмистр фон дер Линц, Гаврила Иванович, предлагал мне переложить вину на пропагандистов, преступно распространяющих в империи гнилостные идеи западного марксизма. По размышлении здравом я отказался от такого пути, сулившего мне если не помилование, то, во всяком случае, снисхождение. Я решился на это, понимая, что доброе отношение ротмистра фон дер Линца облегчит мою участь, но никак не спасет от разъедающей заразы крамолы тысячи других молодых людей, стоящих перед выбором своего жизненного пути. Посему я решил пройти свою голгофу, поразмыслить над будущим и определить окончательно свой жизненный выбор. Горько мне будет с моими-то знаниями языков, как румынского, так и немецкого с польским, если я смогу реализовать себя, уехав из пределов империи туда, где открыт простор д е л о в ы м людям. К ужасу, я и здесь, в ссылке, имел возможность убедиться в том, что бюрократия проникла в самые далекие уголки нашей державы: все мои просьбы, обращенные как к местной власти, так и в губернаторство, ничего не дали, а я ведь просил одного лишь — разрешить мне аптекарскую работу, а также юридическую практику по коммерческим делам...»

Начальник петербургской охранки ухватился за два слова: «коммерческие дела»; будучи в силе, провел сокращение срока ссылки, встретил Гуровича на вокзале самолично, пригласил к красиво сервированному столу, внимательно проследил за тем, как гость выпил рюмочку, сразу же предложил по второй; сам намазал горячий калач густыми сливками и красною икрой, сказав следующее:

— Дорогой Михаил Иванович, письмо ваше понравилось мне своей искренностью и агрессивностью. Моя слабость — сильные люди. Нетерпение людей, алчущих дела, — понимаю; бюрократию нашу ненавижу, как и вы, но так же, как и вы, предан идее самодержавной власти — единственно возможной на Руси, другую наш народец не примет, разнесет, затопчет в грязь. Единственное место, откуда можно ввести борьбу с нашей тмутараканской теменью, полагаю, охрана, Михаил Иванович. Но чтобы начать кампанию против чиновных обломовых, надобно искоренить тех, кто считает действенно-разумным оружием динамит или браунинг. Я даю

вам полную свободу поступка, коли решитесь принять мою руку.

В тот же день Гурович получил кличку «Харьковцев», а через месяц, после тщательной выучки навыкам конспирации, связям, переписке симпатическими чернилами, отправился в Англию, чтобы начать оттуда раунд борьбы против социалистов-революционеров.

Однако в Лондоне и Базеле он пробыл недолго, вернулся в Россию с докладом, из которого явствовало, что истинную опасность представляют не эсеры с их браунингами и динамитами, но социал-демократы плехановского направления.

И новый, двадцатый век Михаил Иванович встретил в должности главного редактора и издателя социал-демократического журнала «Начало», который он печатал вполне легально, сетовал при этом на «царскую тупоголовую цензуру», собирал вокруг своего резко противоправительственного органа весь цвет петербургской революционной интеллигенции; естественно, разговоры фиксировались, досье на вольнодумцев пухло; он же получал не только оклад содержания как главный редактор, но и ежемесячную ставку в департаменте полиции — триста пятьдесят рублей золотом.

Разоблачение, появившееся в парижских революционных изданиях, вынудило департамент прикрыть свой «революционный» журнал, тем более Гурович дело уже сделал, все петербургские социал-демократы были выявлены, р а с п и с а н ы по картотекам, тщательно, впрок, изучены.

Михаила Ивановича открыто перевели в департамент полиции, затем перебросили в Варшаву, где он работал в должности «заведующего румынской и галицийской агентурой» охранки; получил явки в Кракове, Вене, Бухаресте, поддерживал теснейшие связи с тамошними купцами и газетчиками, провалил несколько социал-демократических типографий, был возвращен в Петербург с повышением — ревизор-инспектор охранки, «заведующий агентурой всей России»...

С приходом Столыпина немедленно уволен; впрочем — с пенсией.

Затаился, Петра Аркадьевича ненавидел тяжелой ненавистью, имени его слышать не мог спокойно.

Вот с ним-то, с Михаилом Ивановичем Гуровичем, злейшим врагом Столыпина, и встретился генерал Спиридович в третьем номере люкс Центральных бань.

Выслушав Спиридовича, старик пожевал белыми, в синих точечках, губами и, укрывшись второю, мохнатой простыней, длинно вытянулся в удобном кресле.

— Начать следует, — тягуче заговорил он, — с подключения главной агентуры к польским, финским, украинским, тюркским, грузинским и еврейским кругам, имеющим выходы на прессу. Последние три года властвования Столыпин дал множество поводов для нападок на себя, в частности в связи с его национальной нетерпимостью. До сей поры его подкусывали, а сейчас приспело время ударить. Я дам вам пару рекомендательных писем в Париж; мои старые друзья подготовят залп против «железного русского диктатора». Мол, всех давит; правит в одиночку; монархия делается чистой фикцией; отринул тех, с кем начинал; уход Гучкова с поста председателя Государственной думы в знак протеста против столыпинского ультиматума свидетельствует о развале думского большинства. Именно развал большинства, делающий Думу неуправляемой, должен быть объектом для удара, который следует обозначить под номером «два». Затем стравить милюковцев с гучковцами, подбросить пару идей Дубровину с Пуришкевичем, поработать с Марковым-вторым, и получится прекрасный удар «русских патриотов», сие пойдет у вас под номером «три». Идеален, конечно, удар номер «четыре»... Это был бы коронный удар... Коли б получилось...

— Ну, не томите, Михаил Иванович, — улыбчиво поторопил Спиридович.

— Я не томлю, а думаю, как ловчей выразить... Словом, коли б вы смогли организовать пару-тройку статей в зарубежных изданиях анархистов или эсеров, кои б доказывали, что Столыпин теперь выгоден для революции, что он теперь до конца точно, без маскировки, выражает то истинное, о чем мечтает кровавый царь...

— Михаил Иванович! — резко перебил его Спиридович.

Тот снова пожевал синюшными губами, усмехнулся чему-то своему, затаенному, ответил:

— Дорогой мой человек, ну не станут же они писать «наш обожаемый монарх!». Чем они резче будут ударять царя, чем теснее свяжут с ним Столыпина, тем Петру Аркадьевичу труднее будет вертеться... Только таким образом вы сможете добиться желаемого эффекту — то есть еще большей к нему неприязни в том месте, которое вы охраняете... Вы, боюсь, неверно поняли и мой первый

удар, связанный с национальным вопросом. Коли всякие там Ленины, Черновы, Троцкие его ударят лишний раз — тем ему больше навара станется... Нет, я имею в виду удар совершенно другого рода... И польский магнат, и финский молочный король, и еврейский банкир должны воем вопить, что Столыпин хочет помешать им служить верою и правдою православному государю, хозяину земли русской; они должны криком кричать, что, мол, он хочет вбить клин между ними и их русскими коллегами... Они распинаться должны в преданности царю и недоумевать, отчего Столыпин не дает им свое верноподданничество толком проявить — назло всем Европам! А уж когда имя Столыпина начнет с м е р д и т ь, тогда — валяйте, решайте все толком, общественность будет подготовлена... Сколько за консультацию уплатите? — усмехнулся Гурович.

— Должностью уплатим, — серьезно ответил Спиридович, — возвращением к деятельности, Михаил Иванович...

— Не доживу, — вздохнул тот, —за грудиною щемит, сердце сорвал, обида даром никому не проходит...

— Это верно, — согласился Спиридович, — это вы в самое яблочко засандалили...

Перед расставанием Гурович дал семь телефонов своих друзей, три адреса и два рекомендательных письма в Париж.

«ИЩУЩЕМУ ДА ОТКРОЕТСЯ ПУТЬ К ИСТИНЕ»

3

Последние дни Курлов никого не принимал; занимался лишь тем, что просматривал архивные дела, затребованные из особого отдела департамента полиции.

Он листал папки выборочно; довольно долго сидел над сообщением из «Китай-города» — так, в пику Уолл-стриту, именовал себя центр московских заводчиков и фабрикантов; и Рябушинский, и Гужон, и морозовская группа в беседах между собою выражают недоумение экономической практикой столыпинского кабинета, который ведет такую политику, будто бы рабочего вопроса, как такового, не существует в России. Московские миллионщики, как утверждает наиболее доверенная агентура высшего ранга («сверхагентура»), выражают убеждение, что Столыпина интересует лишь «положение знати, ста

семейств»; он хочет сконструировать общество таким образом, чтобы кулаки гарантировали прочность порядка и безопасность самых крупных землевладельцев, взяв на себя практическую работу «экономических жандармов». Но это, как считает Китай-город, есть утопия чистейшей воды, до тех пор пока не признают хоть какие-то права «низших братьев», то есть рабочих. «Сверхагентура» полагает, что такого рода оппозиция Столыпину есть не что иное, как дань западноевропейской «тенденции» московской заводско-банковской группы.

Попытки Столыпина решить все проблемы России через национальный вопрос, говорил в доверительных беседах заводчик Мамонтов, есть чистейшая химера. «Помоги он нам обрести реальную власть в империи, так мы ловчее его прижмем всех конкурентов, как польских с иудейскими, так и армяно-татарских, включим их в себя, подчиним своим интересам. Понятие «не пущать» к экономике и банковскому делу неприложимо, допрыгается Петр Аркадьевич».

Курлов написал на листке бумаги: «Вишневый сад»; усмехнулся, поняв, отчего Столыпин три раза смотрел этот спектакль; и в Москве, в Общедоступном художественном московского миллионщика Константина Алексеева, скрывшегося под артистическим псевдонимом Станиславский, и в Петербурге, — силился понять чеховский расклад общества...

С любопытством Курлов ознакомился с документом, прошедшим отчего-то мимо него: агентура сообщала о собрании в Финляндии «Лиги возмездия». Хоть и создана она была в Гельсингфорсе, но членами ее были только русские, в основном левые социалисты-революционеры. Под категорией «насильников, подлежащих физическому уничтожению», члены «Лиги» почитали членов правительства и высших чиновников на местах; «высшие особы» предстоящим актам возмездия не должны подвергаться, ибо это «вызовет такой террор, от которого нам не оправиться». Раздоры в «Лиге» начались, когда крайние потребовали включить в программу террористические акты против ряда общественных деятелей, стоящих на реакционных позициях. После этого из «Лиги» вышли серьезные эсеры, а остались лишь одни «психи».

Курлов прочитал заметку на полях, сделанную против этого места кем-то из руководителей департамента полиции: «Не только «психи», но наши сотрудники»; поднялся из-за стола, походил по кабинету, вернулся на мес-

то, написал на листочке: «Нужен человек из крайне левых с неуравновешенной психикой, однако поддающийся влиянию нашего офицера».

С интересом прочитал донос отставного генерала от инфантерии Аренцова про то, что «Общество славянской взаимности» находится в руках «еврейских садистов» и им необходимо объявить борьбу не на жизнь, а на смерть. На доносы, исходившие от патриотов общества «Михаила Архангела» и «Союза русского народа», Столыпиным было предписано отвечать, предварительно разобравшись в существе дела. Спорить с Петром Аркадьевичем было бесполезно, хотя Курлов было пробовал:

— Среди них много больных, они неадекватно относятся к тому, что выеденного яйца не стоит, а нам отрывай сотрудников с важных дел, разводи бюрократическую переписку...

— Павел Григорьевич, — ответил тогда Столыпин, подняв на Курлова свои черные, чуть раскосые глаза, — пусть неуравновешенный друг, только б не педантичный враг.

Донос отставного генерала действительно потребовал месячной работы провокаторов, проверки архивов, посылки депеш в центр зарубежной агентуры в Париж, Красильникову, пока наконец отставному маразматику не ответили, что «Общество славянской взаимности» не ведет никакой противозаконной работы, что его патронируют такие уважаемые люди, как Александр Аркадьевич Столыпин, граф Бобринский, бывший председатель Государственной думы Хомяков, князь Львов. Однако же в процессе работы по доносу охранка выяснила, что существующее параллельно общество «Славянского научного единения» под председательством академика Бехтерева собирает вокруг себя довольно подозрительную группу профессоров, которые позволяют если не открыто противуправительственные высказывания, то уж, во всяком случае, никак ему не в фавор. Более того, было установлено, что отставной генерал Антон Иванович Черепп-Спиридович самовольно провозгласил себя председателем «Франко-славянской лиги», почетным президентом назвал парижского профессора Лори, который про свой титул слыхом не слыхал, и начал под вывеской этой «Лиги» заключать контракты с сомнительными торговыми фирмами, дабы привлечь парижский капитал к истинно русским предприятиям в Вильно и Ковно, где,

как выяснилось на поверку, на самом-то деле окопались польские, еврейские и немецкие финансисты.

«А может, прав Петр Аркадьевич, — подумал вдруг Курлов, — может, действительно нельзя оставлять без внимания ничто в нашей империи?»

Снова поднялся и походил по своему просторному кабинету; обставлен он был так, что, казалось, владельцем его была женщина. Стол невелик, карельская береза, очень легок; так же легко и высоко кресло; гардины — в отличие от тех, которые были в кабинетах других сановников, — белые, легкие, от этого много солнца, нет ощущения пыли, столь тягостного в чиновных присутствиях всех рангов. Бюро было из карельской березы с бронзой; диванчик — узенький, плосатый, ну, прямо как из гримуборной; диссонировал лишь сейф, огромный, тяжелый, но и его Курлов постарался задекорировать шкафом карельской березы, где хранил наиболее яркие противомонархические издания Ленина, Чернова, Плеханова, Мартова, Троцкого.

На листочке бумаги пометил: «Не родственник ли нашего Спиридовича этот самый Череп?»

С любопытством пролистал о певчем в дворцовом хоре Константине Александровиче Лучезарове. Тот написал в департамент письмо: мол, гипнотизирует меня владелец сада «Эден» коллежский секретарь Карл Баумфельд, толкает на дурное. Что там было дурного, вызнать не удалось, но дело было нешуточным: хорист каждую субботу стоял в двадцати шагах от государя. Отправили на экспертизу в дом умалишенных, пришел диагноз: глубокая шизофрения. Баумфельд, как показала проверка, был человеком монархических убеждений, обратился к Лучезарову с одной лишь просьбой: передать государю букет первых роз из его сада.

Особенно заинтересовался перехваченным письмом, отправленным из Риги великому князю Николаю Николаевичу журналистом из местной немецкой газеты «Ригер тагеблат» Стельмахером.

«Я переписываюсь с автором гороскопов Сежю из Парижа. Она предсказала мне в 1908 году смерть португальского короля Дона Карлоса, угадала в прошлом году мою жизненную драму, а в январе нынешнего сообщила, что в гороскопе нашего обожаемого монарха Марс находится в оппозиции к Сатурну, что сулит ему страшные бедствия типа заговора, покушения, катастрофы в пути. Поэтому дипломатия должна быть особенно деятельной,

ибо ей надлежит отвести грядущую опасность. Укрепите нашего обожаемого монарха!»

Курлов снова вывел своим каллиграфическим почерком: «Нужен псих. Организовать еще ряд таких писем о грядущей угрозе. Нагнетать чувство страха. Дедюлину об этом не говорить. М о е».

Перебрав папки, Курлов отодвинул те, которые — судя по каллиграфически выведенному заглавию дела — интереса для з а м ы с л а не представляли; искал террор или новые данные о военно-революционных организациях; с любопытством просмотрел материал на генерал-майора Евгения Ивановича Мартынова, близок к Гучкову, сделал взнос в сумме восьмидесяти тысяч рублей в кассу поддерживаемой им газеты «Русь»; высказывается против участия войск в подавлении народных выступлений, считает необходимым обращение к солдату на «вы». Стоит в оппозиции к руководству «Всероссийского офицерского союза», однако авторитетом в военных кругах пользуется; независим; собственный дом на островах, жена купчиха, такой может поиграть в оппозицию, о дне грядущем думает без страха, а вот как раскачает солдат, как те в бунт пойдут, как дом его спалят, тогда вспомнит нонешние годы, слезами умоется... Постоянно контактирует с членом «Союза» в Вильно доктором Ильей Роммом по кличке «Дедушка», не иначе как имеет связи с подпольем... Нет, не годится, Ромм Роммом, а люди армии будут недовольны, включи он, Курлов, в задумываемую комбинацию русского генерала, нет смысла портить отношения с военным министром Сухомлиновым; все равно по нему ударит: в империи так заведено, что руководитель отвечает, случись что в департаменте, может ни ухом ни рылом не знать, но спрос с него, — абсолютистский централизм, ничего не попишешь...

Курлов откинулся на спинку кресла, подумал, что, случись невозможное в России, победи бескровный переворот, в результате которого на трон сядет просвещенный монарх, пожалует конституцию, гарантирует свободы, — вот тогда-то и можно было б выйти в отставку и заняться делом, раскрутить с Бадмаевым азиатский проект, вложить деньги в Китай, построить себе замок где-нибудь в Гурзуфе и прожить оставшиеся годы в спокойствии и счастье.

Он до того явственно представил себе дворец, окруженный кипарисами, до того близко увидел стальной лист моря, что глаза даже закрыл, покачал головой:

«Мечтатель... Ничто мирное у нас невозможно, не распускай себя, не расслабляйся, служи силе, сам будь ею, иначе конец всему и погибель, не в Бельгии какой живешь, в России...»

Снова вернулся к папкам по делам «Михаила Архангела». Более других донимал Владимир Митрофанович Пуришкевич, товарищ председателя главной палаты «архангелов», канцелярию держал в своем доме, по Моховой, тридцать, выбил хороший номер на телефонной станции, запоминающийся, 43—48; делу, правда, не помогло, звонят мало, данных по переговорам почти не идет, все больше беспокоят палату доносами на соседей и жалобами на полицию, которая не возбраняет иноверцам тайно проникать в столицу из черты оседлости, всех перекупили на корню христопродавцы проклятые.

Несколько писем Пуришкевича (талантливый человек, какие речи произносит в Государственной думе, но слепнет, когда дело касается инородцев) были, как обычно, с жалобами на бездействие околоточных против революционных сходов в домах интеллигентов; одно послание тем не менее привлекло внимание Курлова. Пуришкевич обращался с просьбой к Нилу Петровичу Зуеву, директору департамента полиции, с просьбой за двух студентов, задержанных во время январской сходки в университете. Особенно нахваливал Александра Васильевича Аршинова, «известен как патриот русской национальной идеи, безусловный монархист, положительного поведения, набожен, в быту скромен, порочащих знакомств бежит»... Нил Петрович, понятно, отзвонил Владимиру Митрофановичу, пообещал разобраться незамедлительно, запросил в архиве справочку, а там сюрприз: оказывается, этот «патриот русской национальной идеи» известен департаменту по картотеке на членов партии эсеров; вступил в ряды борцов против самодержавия в Херсоне еще в 1903 году; наблюдался киевской охранкой, был близок со студенческими подпольными кружками социалистов-революционеров, особенно дружил с Яковом Кулишером и Мордкой Богровым.

...Данные, которые Курлов запросил в департаменте на Кулишера и Богрова, показались ему любопытными: первый возглавлял боевую студенческую группу эсеров в Париже, был вхож к Борису Савинкову; второй — натура нервическая, порывистая — являлся членом киевской группы анархистов-интернационалистов-коммунистов, но — при этом — состоял секретным сотрудником киев-

ской охранки, имел кличку «Аленский» и освещал деятельность анархистов непосредственно начальнику киевской секретной полиции полковнику Кулябко, свояку генерала Спиридовича, любимцу военного министра Сухомлинова.

Курлов резко поднялся из-за стола, быстро прошелся по кабинету, не садясь в кресло, написал на листочке «Цепь: Аршинов — Кулишер — Богров. Террор как метод и у эсеров, и у анархистов. Работа с этой тройкой перспективна. Тем более что именно в Киев поедет государь со Столыпиным на торжества, посвященные юбилею дома Романовых».

...Примерно в это же время, почти такою же логикой, генерал Спиридович — исследовав добрую сотню агентурных дел — остановил свое внимание на фамилии Александра Ульянова и Муравьева, обвинявшегося в покушении на жизнь тульского полицейского чина после поджога помещичьей экономии.

Бывший социал-демократ, Муравьев вышел из партии, обвинив своих товарищей по организации в бездействии и трусости; «лишь один метод борьбы возможен с палачами — браунинг или динамит, а не чтение брошюрок фабричным»; начал пить, одалживая деньги у знакомых; выпив, делался агрессивным; заговаривался; знакомые вздыхали: «Дурной, с ума свернул».

Болтал невесть что.
Грозился «отомстить Плеханову».
За что — не объяснял.

Через ц е п ь, конспиративно — не где-нибудь конспирировал, а в департаменте полиции, от своих же, — Спиридович сделал так, что по районным отделениям охранки были разосланы повторные директивы на розыск Муравьева, скрывавшегося летом 1910 года; подняли агентуру; распечатали фотографии; пошла работа...

...И по странному стечению обстоятельств на Муравьева, проживавшего со своею невестой Татьяной Меликовой по паспорту на имя Алексея Бизюкова в Киеве, вышел именно полковник Кулябко, свояк и друг.

IV

Май 1911 года

РАБОТА

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ МУЖСКОЙ ДРУЖБЫ?!»

1

Муравьев натянул лоскутное одеяло до подбородка, но озноб все равно не проходил, хотя в комнате было жарко натоплено. В висках было свинцово, поясницу тяжко ломило, словно б кто перетянул колом поперек позвонка.

— Эк, Бизюк, Бизюк, — вздохнул Владислав Евгеньевич Кирич, — губишь ты себя, как словно судьбу испытуешь... Ну, разве можно было давеча после финьшампаню да еще водку? А после того — горилку? И все это бесстыдство заливать пивом? Атлет Иван Поддубный такое не выдержит, а ты... Ну, кому и чего ты хочешь этим своим сгоранием доказать, объясни мне за-ради бога?

— Не трави душу, Владик, — тихо ответил Муравьев. — Лучше б чайку с кухни принес, я слыхал, квохтало на плите, у хозяйки заварка зверобойная с шиповником и пустырничком, оттягивает...

— От чего заболел, тем и лечись, Бизюк, у меня рупь есть, схожу в бакалейную лавку да бутылочку принесу... Не евши небось?

— Не могу я об еде думать.

— А граненыш примешь?

— Не протолкнуть.

— Под луковицу да калач с маслом и сольцой черта протолкнешь, Бизюк.

Кирич заглянул на кухню, принес оттуда кружку с желтым зверобойным чаем, жестом фокусника набросил на себя пальто-пелеринку, подмигнул Муравьеву, мол, мигом обернусь, и выскользнул из маленькой комнаты, окном выходившей во двор — тихий, истинно киевский, летом утопающий в зелени и цветах.

Муравьев подтянул колени чуть ли не к груди, увидел себя каким-то странным, в е р х н и м зрением, и до того ему стало муторно, что в горле аж запершило.

Вот уже восемь месяцев он мотался по империи;

сначала с ним была невеста, Танечка, дорогой человечек; взяла с собою все свои сбережения, семьдесят пять рублей, два колечка и сережки с камушками. Все прожили; по бизюковскому паспорту на работу не устроишься, охранка фальшивые документы словно орешки колет — на зубок, и нету! А тот полицейский чин, будь он неладен, висит на нем, по ночам снится; криком исходит в предутреннем кошмаре; просыпаешься в ледяном поту, уснуть нет сил, вперишь глаза в провальную жуть ночного потолка и лежишь в страхе, пока не начнет вползать рассвет, а когда солнечный лучик появится, сразу в голове одна мысль: «Скорей бы в трактир да стакашку, а там — покатится, страх уйдет, мир снова цветным сделается, а не серым».

Танечка уехала, не смогла больше выносить кочевой, потаенной жизни, — а кто сможет?! Связей с организациями никаких, да и не к эсдекам же идти, право; остался один как перст; помогла тридцатью рублями сестра, но муж ее Тихон Суслов попросил более к их дому не приближаться на пушечный выстрел: «Сам — пропащий, так близких хоть не топи»; перебивался случайными заработками; думал топиться, долго стоял на мосту, но духу не хватило: как представил себя раздутым, со слипшимися волосами на лбу и синим, вываленным набок языком — так бежал прочь, а потом даже в церкву зашел; стыдясь себя, молился, сладостно, как в детстве.

На счастье, здесь, в Киеве, на вокзале, встретился с Киричем; тот сам подсел на лавку в зале второго класса (Муравьев из последних сил следил за одеждой, понимая, что грязного и рваного из второго класса попрут, да и документ спросят; а где, как не тут, обогреешься да прикорнешь?!); был Кирич слегка пьян, ждал поезда, ехал в гости к своей мамзели; пригласил выпить; излил душу — жаловался на серость, его окружающую.

— Я, с вашего позволения, служил метранпажем в газете, но при этом, будь я неладен, писал юморески, так ведь схарчили, не разжевывая, завистники! Думаете, сломали меня? Отнюдь! Работаю в копировальной мастерской, и денег больше, и свободен во времени! Ваше здоровье! Но братии своей верить перестал! Да! Совсем! А чтоб сердце отвести — на вокзал! Вижу родственную мне душу, поговорю, утешусь, лишний раз убежусь в том, что мир полон зависти и доносительства, попью всласть и снова к своей доске! Черти — не хочу! Рупь — кап-кап! Сам себе барин, парю, милостивый государь,

парю над людишками и — счастлив! Все эти душй прекрасные порывы — мимо! Хватит! Наелся по горло, сыт! Хочу жить! Существовать — без всяких там возвышенных материй! Ваше здоровье!

К мамзели Кирич не поехал, г у д е л и всю ночь напролет, спать отправились в пансион, наутро сладко похмелились; тогда пришла пора излить душу Муравьеву.

Рассказал новому своему знакомцу про то, что тоже разочарован в друзьях; говоруны, книжники, трусы; давит одиночество; живем не по правде, а где выход — никто не знает; пошел бы на работу по столярному промыслу, но душа не лежит, могу большее, сердце ждет дела; про то, чтоб воспарить, тоже мечтает, да — как?

Кирич к Муравьеву (тот, понятно, был для него Бизюковым) привязался; снял комнатенку, сказал, что повременит с деньгами, когда устроишься, тогда и вернешь, процентов не беру, так что не переживай.

После двух недель, проведенных с Киричем, Муравьева понесло — начал заговариваться; плакал, жаловался на то, что сердце давит грех; вчера начался озноб, грозился кому-то карой, сулил месть.

...Кирич вернулся с бутылочкой, калачами и салом; выпили по махонькой; прошла; приняли вторую; Муравьев ощутил, как на лбу появился пот, в пояснице прошла боль, сердце сделалось легким, исчезло ощущение серости в глазах.

— Айда в кабак, — сказал Кирич. — Скобляночка, Бизюк, а еще лучше жаркое по извозчичьи да разварная картошечка! И-эх! Как это Бальмонт писал: «Увидим небо в бриллиантах!»

— Чехов это писал, — возразил Муравьев, прыгая на одной ноге, целясь второю в штанину, — и не брильянт, но алмаз.

В кабаке было еще пусто, пахло вчерашними щами: Муравьев жалостливо поглядел на Кирича:

— Владик, мне и так стыдно, у тебя на шее сижу, но коли б ты мне щец миску взял, по гроб жизни б помнил...

— Бизюк, я в тебе родство души чую, об чем ты?! Челаэк!

Половой подскочил козелком, обмахнул чистый стол полотенцем, пропел «чего изволите-с», бросился на кухню, принес щей, стакан с желтой сметаной и ломоть ржаного теплого хлеба.

— А шкалик? — поинтересовался Кирич, цыкнувши

больным зубом. — Кто же суточные щи — и без граненыша?

— Сей миг! — Половой снова скаканул на кухню, вернулся со штофом; любуясь тяжелым, с желтоватым отливом, хлебным вином, разлил по граненым стаканчикам.

— Ну, Бизюк, бывай, мил человек! — сказал Кирич. — Привязался я к тебе, как к родному, право слово!

— Спасибо тебе, Владик, — ответил Муравьев, не сводя сияющих глаз с лица своего нового друга. — Погиб бы я без тебя, судьба меня к тебе пододвинула, погоди, отслужу и я.

— При слове «дружба», Бизюк, никогда «службу» не произноси, вчуже это. Ну, вот скажи мне, как ты думаешь, отчего я с тобой вожусь? Нет, ты скажи, не таясь, скажи! Почему?

— От твоей сердечной доброты, Владик, — ответил Муравьев расстроганно и махнул граненыш в жарко раскрытый рот.

— Нет, — ответил Кирич. — Не тудой! Вот не тудой, и все тут. Неужели ты думаешь, что я безглазый какой? Или бездумный? Неужели ты думаешь, что людишки окрест тебя такие маленькие, что смыслу в них нету? Ах, Бизюк, Бизюк, коли я парю по-над землею, оттого что нашел пристань для себя в копировальном деле, то ты — надо мною лётаешь; когда ты молчишь — у тебя глаза говорят, когда говоришь — чую, не все открываешь мне, а знаешь во сто крат больше! Человека я в тебе увидел, вот кого! Думаешь, много человеков на земле живет? Сотня-две, от силы тысяча! Ты по улицам-то походи! Погляди в глаза! Стертые монеты, а не глаза! Пустоты! Высверк увидишь — на край света пойдешь за таким! Но! — Кирич поднял палец, разлил еще по граненышам, выпил, расплескивающе чокнувшись со стаканчиком Муравьева. — Но! Отбрось баб! Я за ними ходил. Приводили — или к венцу, на вечную каторгу, или в дом терпимости. Значит — их отбрось! Остаются старики и дети. Коли сердце у тебя есть, дети для тебя святы, чем дольше они пребудут детьми, тем мир добрей будет. Старики? Змеи. Они все последнего часа боятся, оттого к нам — завистливы, как поэты к собратьям. Значит, их тоже долой! Остаемся мы, мужчины средних лет. А сколько среди нас дуборыл, коим ничто, кроме граненыша, не потребно? Сколько? Нет, ты вот скажи мне честно, сколько таких?То-то и оно! По моему реестру, девяносто про-

центов! Так? Так! Остались мы, у кого в голове свой царь. Разберемся с нами, Бизюк, нет, не возражай, разберемся! Коли людишки нашего реестру вровень стоят, — значит, волки друг другу, подставь горло, перегрызут, хрящиками сплюнут! Так? Так! Кто ж остался? Мы остались, униженные и оскорбленные, кого схарчили близлежащие завистники! Так? Так! Но среди нас есть парии, а есть аристократы. Как обычно, парии выше, оттого что души их сильнее и мысли выспреннее, а потому удары судьбы жестоки до безобразности! Ты — изгой среди избранников, за тобою — трагедия, но впереди тебя ждет ба-альшое, Бизюк, очень ба-альшое! Вот отчего ты мне к сердцу близок, мил человек. Как каждый слабый, я ж мечту таю, что, сделамши добро обиженному, сам вознесусь! Так? Так!

Снова выпили; понесло — в свою очередь — Муравьева:

— Владик, тебе твоя доброта горем отольется, за щедрость души платят костром или петлею имени Петра Аркадьевича, отчего ты столь доверчив, Владик?! Ну, ладно, судьба послала тебе меня, а коли кто другой?! Ты говоришь, не глаза, а стертые монеты окрест нас! Верно, Владик! А почему так? Да потому, друг, что все на этом свете случайно: хорошие глаза не нам встречаются, но, наоборот, злодеям; их больше, этих добрых глаз, чем ты думаешь, просто мир устроен так, что неизвестные нам силы сводят одних людей и разводят других. Представь себе, что падающее яблоко увидел бы не Ньютон, а какой беглый казак? Или китаец? Ну и что? Был бы закон тяготения известен людям? Нет! Значит, кому-то было нужно, чтобы яблоня росла в Лондоне, чтоб там родился Исаак и чтоб у него была страсть к мыслям! Так и у нас с тобою! Ты говоришь, женщина — зло, либо, мол, к венцу, либо в дурной дом продажной любви. Да нет же, Владик! Моя любимая все бросила во имя того, чтобы спасти меня, быть подле в трудные дни..

— Ну и где же она ныне?

— Не ее в том вина, но общества, — жарко выдохнул Муравьев. — Общества, где человек подобен цветку под сапогом. Владик, наше общество бессовестно! А покаянная совесть людям не силу дает, но бессилие! Потому, мил человек, мы и мечемся из стороны в сторону, потому норовим себя же и упрятать — ценою искупления — то ли в острог, то ли в рудники! Именно больная совесть наша требует от каждого жертвы!

— Бизюк, — грустно улыбнулся Кирич, — мил человек,

о чем ты? Жертва — это когда человек свое могущество чует, силою полон, давай вали! Ан нет! В этот-то миг он и оказывается самым что ни на есть раздавленным и трепещущим, наподобие какого зайца! Только-только человек до свободы дотянулся, только-только показали ему неведомую даль, так он вмиг скукожится, на попятную, и все кругом: «Ха-ха-ха!» Ишь куда замахнулся, мураш синебрюхий! Да он уж и не замахивается, он — с ума свернул, не готов он к такой свободе, когда потребно п о с т у п а т ь! Все мы горазды лишь на одно — на свободу думать!

— Ты — не смей так! — воскликнул Муравьев обиженно. — Что знаешь ты о людях истинной веры?! О тех, которые готовы взойти на свою голгофу без страха и колебания?!

Кирич приблизился к Муравьеву и, обдав его лицо сытным, жарким дыханием (Муравьев еще успел подумать: «Худой, а как дышит»), тихо, с отчаянием спросил:

— А что ты про них знаешь? Покажи хоть одного...

— И что ж тогда?

— А тогда... — Кирич замахнулся было ответить, но осекся, махнул рукою, снова разлил по граненышам, выпил залпом.

— И что тогда? — продолжал пытать Муравьев. — Ты — не надо так, ты — договаривай, иначе — не по дружбе выходит, Владик...

— Тогда б пусть банк взял за деньги кровавые обратил на больницы для несчастного люда!

Муравьев потер лицо ладонями, откинулся к стене, прошептал:

— Ты что ж, на террор зовешь, Владик?

— Не я. Ты, Бизюк. Не я про жертву «ха-ха-ха», не я про нее начал...

— Давай адрес, я — возьму!

— Бизюк, да ты — чего? — испугался Кирич. — Уж и пошутить нельзя!

— А — нельзя! Т а к — нельзя! Ты мою боль не шевели, она только поверху тлеет, а внутри жар, обожжет, волоса и брови выгорят, глаза лопнут!

Муравьев ощутил сладостную обиду, поднялся, пошел вон; Кирича, который побежал за ним следом, оттолкнул, погрозившись стукнуть, если не оставит добром; в каморке своей заперся, дверь не отворял, сколько друг его ни стучался.

Утром поднялся, не очень-то помня, как кончился

вчерашний день, но по тому, как было тоскливо, понял, что давеча было худо.

Киричу обрадовался.

Тот был хмур и бледен, сказал:

— Ну, едем.

— Куда?

— На кудыкину гору

Привез в лес; всю дорогу молчал; когда зашли в чащу, достал из кармана браунинг, протянул Муравьеву:

— Покажи, как ты готов на жертву!

— Это про что? — Муравьев побелел лицом, попятился даже.

— А про то! Вчера клялся, что во имя жертвы искупляющей на все готов! И на то, чтоб банковские деньги в больничные койки обратить, а когда я сказал «ха-ха», обругал меня и унизил! Так вот и покажи: готов или нет? Банк брать — не девку за титьку дернуть, тут рука нужна, не пальцы.

Муравьев взял браунинг и навскидку засадил все пять пуль в березу, что росла в двадцати шагах. Пуля в пулю, по шляпку, одно слово — стрелок!

«КАК ВАЖНО ДУМАТЬ ВПРОК, ДАЖЕ О СУЩИХ МЕЛОЧАХ»

2

Николай Николаевич Кулябко, шеф киевской секретной службы, родственник Спиридовича по жене, был посвящен в д е л о, когда начальник личной охраны царя навестил его, чтобы проинформировать о предстоящем визите государя; это, понятно, была официальная версия его командировки в «матерь городов русских».

Истинная причина стала понятна Кулябко, когда Спиридович — во время лодочной прогулки — сказал:

— Милый Коля, дело, которое ты должен начать подготовкою, — уникально. Таких не было еще... Впрочем, кое-что любопытное было: сам Петр Иванович Рачковский помог эсерам в устранении Плеве... Кто-то из охраны подтолкнул эсеров на устранение великого князя Сергея Александровича — тот забрал слишком большую силу в первопрестольной, вошел в зенит, слепило... Но премьера у нас еще не убирали, Коля... А если мы сможем убрать диктатора, замахнувшегося на державные права государя, тогда нас будет ждать такая жизнь, ко-

торая и не снилась тебе... Так что срочно подыщи человека, который устранит Столыпина... Продумай, кто это может сделать, где и как... Продумай также завершающий акт: тот человек должен сделать свое, а я — мое. Я обязан самолично этого человека пристрелить или же заре-зать — обязательно на глазах государя.

Кулябко даже весла бросил, изумился.

— Ты греби, Коля, греби, — попросил Спиридович. — Ты — свой, я говорю с тобою без игры, все карты на столе, крапленых нет, спаси бог, что не так — оба проиграем. А я этого не хочу. Ты, полагаю, тоже.

— Но это же... Это...

— Что «это»? — поморщился Спиридович. — После дела Асланова ты живешь под секирой, Коля. Я вывел тебя из-под удара, да надолго ли? Если Столыпин и дальше останется у власти, я ничего не смогу сделать для тебя, неужто не понятно?

Это было понятно. Став начальником охранки, Кулябко провел красивую провокацию, организовал в Киеве по меньшей мере пятьдесят подпольных групп из говорунов, подсунул им литературу и браунинги, потом прихлопнул всех, был награжден, получил внеочередное звание, однако, поскольку своих людей не хватало, подключил к делу криминальную полицию во главе с ротмистром Асланов-ым. А тот, ничтоже сумняшеся (кавказец, человек дружбы, горячая голова), ввел в операцию против интеллигентов не только своих агентов, но и завербованный им уголовный элемент. В городе начались грабежи; урки шантажировали доцентов, врачей и купцов — родителей созданных Кулябко «революционеров», трясли их, как хотели, брали в лапу, обещая прекратить дело; постепенно город оказался в руках трех самых крупных киевских м а л и н. При этом уголовники несли мзду своему благодетелю Асланову, коррупция процветала, можно было в с е — в империи, где ничего нельзя. Столыпин отправил в Киев ревизию; Асланова разжаловали, отдали под суд и закатали в арестантские роты. Был освобожден из-под стражи на пятый день, после того как сенатские ревизоры вернулись в северную столицу. Поскольку о предстоящем аресте своего пинкертона Кулябко узнал от Спиридовича загодя, он предупредил ротмистра, и тот перевел деньги со своих счетов на имя двоюродного брата и племянника, которые забрали купюры в саквояжи и увезли их в Баку. Как судьи — под нажимом сенатской комиссии — ни бились, дабы вырвать у

Асланова правдивые показания на главного шефа Кулябко, ротмистр молчал наглухо, вел себя по-рыцарски, никого не заложил. Однако время от времени письма из Киева накатывали в Петербург с жалобами на то, что дело прикрыли, истинный виновник не наказан, — благо бы какие либералы писали, а то ведь все больше «архангелы» старались, склочный народ, никакой культуры, темь темью! Кулябко узнавал об этих письмах загодя (своя рука владыка, перлюстрация корреспонденции была поставлена в охранке отменно), успевал предупреждать своего родственника, тот гасил через Дедюлина и Сухомлинова. Тем не менее жил постоянно под топором; потому-то Спиридович и ударил в яблочко, заметив мелькколебания в родственнике.

— Но ведь, Саша, — ответил наконец Кулябко, — это... такого рода дело... есть...

— Такого рода дело есть дело, операция, говоря иначе. Враги трона бывают не только слева и не только в Париже; в петербургских дворцах их тоже достаточно. Неужели ты за прессой не следишь, Коля? В России спокон веку надо между строчками читать, иначе ничего не поймешь! Неужели тебе не ясно, что Столыпин замахнулся на святое? Неужели не понятно тебе, что он намерился правительственную власть сделать равной... нет, куда там... сделать выше царской?! Да разве это позволительно?! Россия всегда стояла и стоять будет царем, а не бюрократом, который в глубине души царский враг, червь навозный!

— Значит, ты не сам пришел к этой мысли о Сто...

Спиридович обрезал:

— Сам!

— Саня, но ведь если это случится, мы будем с позором изгнаны! Не смогли обеспечить охрану премьера! Ты и я! Карьера кончена! А мы с тобою люди военные, пехотные офицеры, даже в присяжные поверенные не податься! Пенсии нет! Положения нет! Кто высоко летит, тот низко падает! Это ж не я выдумал, так мудрость народная гласит, а народ не ошибается, Саня!

— Будет тебе, Коля... Ошибается народ, еще как ошибается, его учить да учить, драть как сидорову козу, в кулаке держать. Если б у какого мерзавца рука поднялась на кого из августейших особ — одно дело... А тут — на ихнего затаенного врага... А если и придется соблюсти форму, то пример Асланова на памяти у тебя:

он в Баку живет так, как в Киеве тебе и не снится! После Столыпина придут люди, которые поддержат наши проекты с железными дорогами, деньги бешеные, в Биаррице дворец купишь...

Кулябко сразу же отметил слова про «наши проекты», но виду не показал, что свояк проговорился; несколько успокоился; действительно, жить под секирой — не подарок. Столыпин мужик крутой, если до конца укрепится — может голову снесть. Этот все может, при нем чиновному человеку особого спокойствия ждать не приходится...

...Вот поэтому-то после отъезда Спиридовича, пообождав сколько надо в целях конспирации (глядишь, кто потом начнет копать, связывать даты визита свояка и начало р а б о т ы), Кулябко забрал себе несколько дел по эсерам и анархистам, начал чертить комбинации, конструировать план огромного заговора революционеров против гордости России, ее премьера Столыпина.

С этим планом Кулябко отправился в Петербург, «показаться профессору медицины Разумовскому по поводу хронического колита». Встреча со Спиридовичем, таким образом, была оправданной и понятной. Обсуждали вопрос, прогуливаясь по Петергофскому дворцу. Родственник был доволен, обещал подбросить пару-тройку идей на вокзале, когда придет провожать свояка; встретился с дворцовым комендантом, рассказал о грандиозном замысле шурина.

...Выслушав Спиридовича, генерал Дедюлин изумился:

— Миленький мой, о чем вы?! Да с нас всех головы поснимают, если вы такую махину организуете и дадите ей сделать то, что дóлжно! «Куда глядели?!», «За что им деньги платят?!», «Отряд террористов обвел вокруг пальца легион полицейских!». Александр Иванович, доверчивая душа, одиночка нужен! Понимаете? Одиночка! Как перст! Никаких групп! Порыв личности! Месть! Но чтоб один! Ясно?! Один!

Поэтому, вернувшись в Киев, Кулябко первым делом вызвал на конспиративную квартиру Владлена Кирича и, порасспрошав еще раз про Александра Муравьева, встречи с ним приказал прекратить на время.

... А Дедюлин, поразмысливши над беседою со Спиридовичем, уяснил себе окончательно, сколь опасное дело начато. Поэтому, сказавшись больным, залег у себя на квартире, никого не принимал, думал.

И надумал он следующее: надобно улучить момент, когда государыня будет одна, и рассказать ей про то, что единственно опасной группой революционеров являются, без сомнения, ленинисты, так называемые большевики, а никак не эсеры. Однако же ленинисты ведут себя столь умно, что под петлю их не подведешь, а с каторги умеют бегать. Следовательно, чтобы эту преступную группу окончательно изничтожить, России потребно потрясение, которое оправдает введение чрезвычайного положения, а тогда — суд скорый, военный, доказательства не потребны, расстрел на Лисьем Носу, никаких вопросов.

Более всего, впрочем, Дедюлин опасался вопроса государыни: «Что вы понимаете под словом «потрясение»?» Никому, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ничего расшифровывать — политика суть союз понимающих с л ё т а, без слов. И все-таки бежать этой беседы нельзя: хоть Спиридович и верен беспредельно, однако же породы нет, слишком прям, заносит. Надо страховаться. Причем страховаться д е л о м, уничтожением на корню социал-демократии, которая тем страшна, что живет книгою, а не эсеровской бомбой и пользуется серьезным авторитетом на Западе.

Государыня словно бы ждала этого разговора; умница, душенька, ни о чем не стала расспрашивать, поняла без слов, заметив:

— Пусть трясет, только чтоб не наш дом... Моему народу встряски угодны, и чем они сильнее, тем воздух потом чище и небеса выше.

(В слове «небеса» вместо «б» говорила «п» — «непеса», — очень нежно у нее это звучало, как словно у маленькой шалуньи.)

Дедюлин понял: счастье шло в руки, ежели она — «за», о будущем, значит, можно не беспокоиться, поэтому н а ж а л:

— А тому, кто придет, станет неповадно руку поднимать на святые права Первого Лица империи.

Лицо государыни замерло на мгновение, потом она ответила:

— Легче надо жить, мой друг, легче...

Повернулась и пошла из залы, около двери задержалась; тихо, чуть не по слогам, отчеканила:

— Если до конца убеждены, пусть он уходит, вы совершенно правы...

«Его превосходительству ген. Курлову.

Текст перехваченного письма литератора «А. М.» Розалии Люксембург для некоего «тов. Франека».

«Дорогой друг!

Был тронут сугубо, получив — через товарищей — письмо Ваше.

Хорошее оно, хоть сердце жмет, когда читаешь.

Когда я представил себе Вашего сына, рожденного в тюрьме, оторванного от груди матери своей, то сразу же вернулся мыслью к тому замыслу, который мучает меня изнутри; случилось это со мною чуть что не двадцать лет назад, в Абхазии, под Очамчирой; был — неожиданно для себя — акушером, принял Человека... Так-то вот... И, знаете, по прошествии четверти века вижу и слышу то, что случилось тогда, совершенно явственно, словно бы существует это с тех пор во мне... Женщина из Орловской губернии, родившая земле Русской нового человека, шла, пошатываясь, со мною рядом вдоль по кромке моря и шептала поразительные слова, такие н у ж н ы е слова!

— Господи, Боженька! — тихонько говорила она. — Хорошо-то как! Так бы шла все и шла, — до самого краю света, а он бы, сынок мой, — рос, да все бы рос на приволье, около материнской груди...

...Чем больше я вспоминаю мою любимую Русь, тем чаще думаю о том, что при всех наших расхождениях и спорах — в общем-то, видимо, неизбежных, ибо истина, по Марксу (а не по римскому папе), рождается в дискуссии, — ждет ее невероятное, поразительное прозрение, которое всегда есть движение вверх, к разуму. А разум наш — поэтичен, в этом, видимо, трагедия его. Вспоминаю, как в Тифлисе, в тюремном замке, во время короткой прогулки, встретил я человека, где-то дрянного, потому как — слабый он был, и он рассказал мне про судьбу женщины, подарившей мне шальное, а потому особенно запоминающееся счастье нежданной ласки... Женщину эту осудили в Сибирь, за дела по фальшивой монете, а я вспоминал, как она в тихой и таинственной

тишине ночи шептала мне про то, какой видится ей счастливая жизнь ее... Говорила она, что-де встретится ей хороший мужик, и найдем мы с ним землю, около Нового Афона, и начнем устраивать ее хорошо, сад будет, огород и пашня... И к нам, мечтала она, люди придут, а мы уж — старожилы, нам почет от них... Мужа, глядишь, в старосты выберут... Водила б я его чисто барином. А в саду — дети играют, беседка выстроена, беда, как можно жить хорошо на земле!

Никогда я не забуду, как, познав нежность друг к другу, когда в груди у меня появилась сладкая, светлая пустота, она сказала мне, что в большом горе и маленькая радость велика...

Будучи убежденным в нашем движении к свету, я верю, что Ваш «каторжанин-сын», которого Вы обязательно увидите и прижмете его к сердцу, будет жить по чести и разуму, по сердцу станет он жить, ибо иначе — самая страшная несправедливость случится, какая только может быть под этим солнцем. Пожалуйста, крепитесь, Франек, я представляю, как разрывается сердце Ваше за маленького человека и за несчастную мать его, но жизнь построена по закону равновесия страданий и счастья; воздается сторицею не только за прегрешения, но и за подвиг терпения во имя добра ближнего...

...Что касаемо материалов, которые Вы просите прислать, то мне писать что-либо новое трудно сейчас, ибо я оторван от Руси, а я так устроен, что должен видеть, знать и чувствовать, — иначе ничего не сложится у меня. Поглядите, коли сочтете возможным, то, что я писал пару-тройку лет назад по поводу финской проблемы и о резне на Кавказе. Главные положения моих выступлений той поры, думаю, приложимы к сегодняшнему моменту — и к «столыпинскому кризису», и к Польше, Литве, Беларуси и Украине. Я писал тогда, что духовно мертвое (опившееся кровью, пьяное от сладострастия, жестокости, обезумевшее от преступлений) столыпинское правительство снова начинает варварский поход против маленькой Финляндии, чтобы погасить яркий огонь духовной жизни финнов. Они кажутся царю врагами, потому что пользуются конституцией, враждебной русским шпионам и полиции, не допускают ареста русских беглецов, наконец, они культурны, а потому ненавистны правительству полуграмотных чиновников и генералов — правительству, составленному из очень жестоких людей и не совсем ловких воров... Значит, люди, охваченные про-

цессом строительства социального, будут вынуждены взять в руки ружья... Духовное развитие человека остановится; из глубин инстинкта встанет укрощенный зверь и, почувствовав свою свободу, проявит ее в жестокости и насилиях. Этого зверя разбудит правительство России, «мудрое правительство», которое постепенно развращает не только тех, кто имеет несчастье быть его подданным, но и правительства соседних стран... До этого я откликался, может, помните, на гнусности, которые были творимы царизмом на Кавказе. Я писал тогда, что я много раз бывал там и видел, как дружно и мирно работали рядом грузин с татарином и армянином, как по-детски весело и просто они пели и смеялись, и так трудно поверить, что эти простые, славные люди ныне тупо и бессмысленно избивают друг друга, подчиняясь подстрекающей их злой и темной силе... Везде видна гнусная работа кучки людей, обезумевших от страха потерять свою власть над страной, — людей, которые стремятся залить кровью ярко вспыхнувший огонь осознания народом своего права быть строителем новых форм жизни... Они открыто науськивают русских на евреев, поляков и финнов, татар — на ярмян и грузин, отупевшего от голода, забитого мужика на студентов... Рука, которая вчера разбила череп армянина или еврея за то, что они осознали себя свободными людьми раньше русского или татарина, — кто скажет, на чью голову опустится эта рука завтра? Ее слепые взмахи и удары легко остановить. Нужно только, чтобы все лучшие, все честные люди Кавказа и Финляндии, Польши и России соединились в одну семью друзей-борцов, в дружину честных и бесстрашных...

...Коли такого рода концепции кажутся Вам по-прежнему своевременными, то готов отослать публикации по адресу, какой соблаговолите мне указать.

Полагаю, Вам любопытно будет узнать, что небезызвестный московский градоначальник Рейнбот-Резвой, уволенный Столыпиным в отставку, жалуется ныне на премьера, что-де тот всячески поддерживает громил из черносотенных правых союзов, особенно когда они уходят в террор; говорит, что крайние бомбисты слева значительно слабее в организации, чем «союзники» доктора Дубровина.

Такого еще, действительно, не было в России, чтобы премьер уповал на решение внутриполитических проблем, обращаясь к услугам охотнорядцев, — посему максимум

осторожности надобно соблюдать всем вам, практикам революции. Я ни на йоту не отступаюсь от программы «безумства храбрых», однако же ныне, когда первый гром грянул и была очистительная молния девятьсот пятого, в высшей мере потребна и «осмотрительность мудрого», ибо не только Вы мне пишете о том, что нарастает новый вал на Руси, — все, возвращающиеся оттуда, кроме неисправимых пессимистов, говорят о том же.

Будущее идеи зависит от того, кто будет ее апостолами, и не браните меня за подобную фразеологию, — хватит, достается постоянно от высоко любимого мною Ленина. Понятие апостольства — поразительно, не нами оно выдумано и ждет еще своего исследователя: как и когда случилось, что последователи доброго иудея по имени Иисус утвердили символом истины веры инквизицию, костер для мыслящих и каземат для инокровных? Отчего лик святого Георгия Победоносца, гордо развевавшийся на русских стягах, принесших свободу не только Руси, но и Западу, — на Куликовом поле, стал ныне эмблемой самого позорного, что было в истории моего народа, — черносотенного движения так называемых «русских людей»?!

Пишите мне. Я очень помню Вас; порою Вы кажетесь мне прекрасным Дон Кихотом революции.

С товарищеским приветом

Ваш *А. М.*».

Для справки: «А. М.» — известный полиции М. Горький, «Франек» — Ф. Дзержинский, редактор газеты «Червоный Штандар», «Люксембург» — руководитель польской и литовской с.-д. партии».

«ТАК ГДЕ ЖЕ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ЭТОТ БОГРОВ?»

3

Более всего на свете Кулябко любил лошадей.

Он часто приезжал на конюшни ипподрома; подолгу простаивал у стойла, чесал своим любимцам плюшевые ноздри, тайком от служителей кормил сахаром и вглядывался в таинственную, цыганскую жуть громадных глаз.

Особенную радость доставляли ему те минуты, когда

конюхи выпускали молодняк на пробежку. Тот момент, когда жеребята, чуть замерев на пороге, выбрасывали свои тела на зелень, под лучи солнца, казался Кулябко завершающей музыкальной фразой любимого им Вагнера.

Именно сюда он и приехал, возвратившись из промозглой, нелюбимой им северной столицы, совершенно разбитый после заключительной беседы со Спиридовичем на перроне вокзала, под моросящим дождем, в тусклом свете фонарей.

Он до сих пор ничего не мог толком понять; не мог он и делиться опасениями со свояком, а опасаться было ему чего, ибо последние два года траты были велики, переехал в новый дом, пришлось взять из кассы охранки; пока на коне, никто не обратит внимания на ерундовые пять тысяч, выданные по фиктивным распискам несуществующей агентуре, а ежели, упаси бог, начнется шум, сразу же докопаются.

Кто? Столыпинские люди, — возобладай Петр Аркадьевич, татарин чертов? Или же те, кто придет ему на смену?

«А разве Саня об этом не думает? — спросил себя Кулябко, устроившись на завалинке конюшни, чтобы удобнее было любоваться молодняком. — Разве б он решился на такое, не взвесь все с теми, кто стоит за ним? Но — кто? Неужели сам? Быть того не может! Не может этого быть! А ежели! Уф, господи, тяжела ты, Мономахова шапка! Есть такое, через что не переступишь! Ну, как я скажу Сане: «Да, правда, деньги взял из кассы по липовым распискам несуществующих агентов!» Он же после этого руку мне перестанет подавать. Объяснять, что, мол, для твоей же сестры старался? Не проймешь его сантиментом; он кремень, в нем сердце с ноготь!»

Жеребенок каурой масти, весь в игре, остановился перед Кулябко, опасливо потянулся к руке, знает, кто сахаром кормит, но все равно отпрыгнул, когда заметил, что человек полез в карман; это так полагается, надобно свой испуг показать, ушами поводить, человек тогда еще ласковее делается, он страсть как охоч до того, чтоб приручить, очень ему нравится властвовать...

Кулябко отчего-то вспомнил первый приход Богрова: тоже, вроде этого жеребенка, молод, пуглив, но — себе на уме, все с ладони слизнет, только переторопить нельзя..

Представился он тогда Дмитрием, даже «Димитрий» сказал, по-старорусски, а сам-то Мордка, Кулябко его дело пролистал, как только он позвонил и попросил о встрече.

Анархист-коммунист, погань-барченыш; отец тысячи проигрывал в дворянском собрании губернатору, только б тот помогал ему в процессах, где он правозаступничал; защищал денежных тузов; особенно поляков и украинцев любил опекать; в поместье под Кременчугом в вышитой косоворотке ездил, от картавости у доктора Шазенье в Ницце лечился, камнями зубы крошил, только б изначалие свое до конца сокрыть.

«А работал он классно, — продолжая думать о Богрове, вспоминал Кулябко. — Артистично подводил дружков своих под каторгу, я на нем в восьмом году крест заработал, когда взял «Южную» и «Интернациональную» группы анархистов-коммунистов. Богров тогда сам весь план ликвидации разработал, во все мелочи вник, такого б адъютантом держать, а не секретным сотрудником, спать можно спокойно, знай крути дырочки в кителе да на погоне».

Действительно, Богров работал классно, считался одним из лучших провокаторов; за деньги не торговался, довольствовался всего ста пятьюдесятью рублями в месяц; с теми пятьюдесятью, что давал на карманные расходы отец, вполне хватало; пить — не пил, девицы отдавались без денег, красавчик, масть каурая, как у этого жеребеночка, весельчак, парень добрый и в обществе весьма обходителен.

Кулябко помнил, как однажды Богров срочно попросил свидание, и они уговорились встретиться на конспиративной квартире; он пришел разгоряченный, глаза блестели, лицо одухотворенное, светлое.

— Николай Николаич, — жарко заговорил он, — помните Фриду Лурье, из группы боевиков-анархистов?

Кулябко взял себе за правило никогда и никому не признаваться в незнании; можно отделаться мимикой, местоимениями, многозначительным молчанием, но ни в коем случае ни перед кем нельзя выказывать с л а б и н у.

Поэтому многозначительно подвигал бровями, покачал головою, спросил:

— Как она ныне?

— Вернулась из Парижа под фамилией Савенко!

И живет у Наташи Урбанюк. А за ней еще семь лет каторги осталось!

И тут Кулябко вспомнил: Лурье была связана с главой эсеровской боевки Рыссом; особо опасная преступница; в розыске; именно ею в прошлом году интересовался департамент в специальном циркуляре, ай да Богров!

Однако он сыграл ленивое всезнание, хмыкнул даже:

— Ее наши третий день кряду п а с у т. Дмитрий Григорьевич...

Богров откинулся, словно от удара, медленно уперся в лицо Кулябко своими круглыми, с поволокою, глазами и ответил по слогам:

— Ее только вчера вечером Урбанюк встретила на вокзале... Впрочем, если она вас не интересует, то и бог с нею, тем более что она сегодня переезжает на другую явку.

Кулябко понял тогда, что Богров умеет бить; обидчив до крайности; поскольку сам в охранку пришел, сам и уйдет, на отцовы деньги вполне проживет, а ведь агентура из интеллигентной среды на улице не валяется, надо аккуратно отыграть, не взбрыкнул бы.

— Дмитрий Григорьевич, — мягко сказал Кулябко, — не вашего она уровня, эта самая Лурье. Узнавая вас все больше и больше, я думаю, что вам по силам коронные дела... Вот если бы вы с помощью Лурье вошли в боевку эсеров в Париже, стали б членом комитета, выдвинулись в руководство партии, — это да! Я не знаю, кому такое по силам, кроме вас, Дмитрий Григорьевич. Поэтому я никаких рекомендаций вам не даю, у самого голова светлая, но подумайте, не удастся ли вам с ее помощью подойти к Савинкову и Чернову? Удайся вам это, станете первым на нашем правоохранительном небосклоне.

— Вы хотите командировать меня в Париж?

— Я не смею говорить так, Дмитрий Григорьевич... Коли у вас найдется время для этой поездки, ежели это никак не нарушит ваши планы, я был бы, понятное дело, глубоко вам признателен. Идеально бы заполучить письмо от Лурье; несколько других посланий от здешних и одесских боевиков мы вам организуем... Лурье мы возьмем в ваше отсутствие, так что подозрений со стороны «товарищей» не будет... Можем подготовить для вас встречу с г р у п п о й, куда приведете Лурье. Покажете свои возможности; оружием группу снабдим, литературой тоже, люди там вполне надежны, мы их сорга-

низовали с помощью вашего приятеля Виноградова, он работает неплохо, согласитесь... В Париж-то надобно не с пустыми руками ехать, а с деловыми предложениями по террору...

— Я готов, Николай Николаевич, — ответил Богров. — Может получиться красиво... Кстати, после ликвидации группы Рощина — два человека бежали, уж на свободе, ничего тревожного от них не было? Меня не подозревают?

— Мы им для подозрения представили другого человека, вы абсолютно чисты... Более того, они на днях, по моим сведениям, приведут в исполнение приговор за провокацию над Гольдманом, вы его помните?

— Так он же был взят с рощинской группой, я его готовил к аресту!

— Именно так... Мы его замазали, он в подозрении, так что все возможные удары от вас отведены, об этом, бога ради, не тревожьтесь.

...Из Парижа Богров вернулся окрыленным, привез Кулябко множество адресов, явок, паролей; с его подачи было арестовано еще двенадцать человек; трех закатали на Акатуйскую каторгу, в кандалах, один повесился, один сошел с ума; тот, что повесился, Игорь Желудев, считал Богрова одним из своих самых близких друзей, называл «Митечка», просил беречься, бранил за то, что Богров несдержан в выражениях, задирист, слишком уж открыто костит власть, не надо так, опасно, палачи этого не прощают. Среди тех, кому отправил предсмертные записки, в которых просил прощения за слабость, был и Богров; Кулябко вовремя перехватил, боялся травмировать агента, тот стал незаменимым, вращался в высших кругах, гнал информацию не только на анархистов и эсеров, но и на «Союз Михаила Архангела», был к ним вхож, дружил с Пирятинским, их главою, играл с ним в карты и подолгу рассуждал о трагедии русского народа, задавленного бюрократами и ростовщиками.

Когда по окончании университета Богров отправился завоевывать северную столицу, приписавшись помощником к присяжному поверенному Самуилу Кальмановичу, защищавшему политических, Кулябко скрепя сердце отправил телеграмму начальнику петербургской охранки полковнику Михаилу Фридриховичу фон Коттену; передал тому своего сотрудника, заручившись при расставании с Богровым обещанием, что тот, р а з р а б о т а в ш и Петербург, вернется в Киев, где Кулябко гаран-

тировал ему сказочное будущее: «Мы сделаем специально для вас тройку ликвидаций, вы возьмете на себя защиту, а мы поможем вам эти процессы выиграть. Тогда вы станете в первый ряд русских правозаступников, Керенского заткнете за пояс, Карабчевского с Плевакою».

В Петербурге Богров не очень-то прижился; в салонах на него смотрели с долею презрения: провинциал, без манер, шутит плоско; честолюбив без меры.

Фон Коттен встретился с ним в отдельном кабинете ресторана при гостинице «Малоярославец», пригласивши с собою помощника, полковника Владимира Иезекилевича Еленского, который курировал работу по анархистам.

Богров рассказал за ужином, что анархистских групп в Петербурге, как он смог установить, практически нет.

— Актриса театра «Глоб» Мария Викторовна Стрелецкая, — улыбнулся он, — жаловалась мне, что никто не хочет брать всерьез ее идею анархобратства; готова снять квартиру в личном доме на островах; общий котел; выявление «я» каждого «брата» и «сестры» в диспутах и физических соревнованиях; полное игнорирование государства; поскольку брак существует лишь до тех пор, пока есть любовь, — полный пересмотр семейных отношений; ревность есть не что иное, как выявление жажды владычества, столь распространенной у мужчин; поскольку любовь есть сильнейший побудитель творчества, ее обязан познать каждый.

— Михаил Фридрихович, — колыхнулся тучный, вальяжный Еленский, — вы б отправили меня в такую коммуну, а?!

— Могу представить Марии Викторовне, очаровашка и фантазерка, — сказал Богров.

— Подумаю, — весело пообещал фон Коттен. — Дмитрий Григорьевич, ваш последний заработок в Киеве был каков?

— Сто пятьдесят в месяц.

— В столице траты больше, управитесь?

— Не деньги меня подвигли на то, чтобы пойти на службу по охране империи, — ответил Богров. — Настало разочарование в коллегах по партии, сплошное вырождение, экспроприация сделалась самоцелью...

— Поражаюсь я Федору Михайловичу, — заметил Коттен, — его «Бесы» — истинное прозрение, их надобно в классах изучать, наравне с Законом Божьим.

— Оттого-то и ненавидят это произведение так яростно товарищи революционеры, — сказал Богров. — Их можно понять, ибо ничто так не страшно их взбалмошным кровавым идеям, как талантливое слово. Я подчас думаю, что большой писатель в чем-то посильнее охранного отделения, коли он исповедует общую с нами идею.

Еленский вдруг рассмеялся:

— Горький, например...

...Уговорились, что Богров займется социалистами-революционерами, благо присяжный поверенный Самуил Кальманович постоянно защищал членов этой нелегальной партии, да и сам числился их симпатиком, а оттого давно уже проходил по надзорному наблюдению охранки.

Жалованье Богров получал регулярно, особо интересных материалов не давал, щипал по мелочи сплетни в околореволюционных кругах, помаленьку закладывал новых знакомых, принявших его в число приятелей; потом затосковал, не вынес петербургской слякоти, колкостей здешних студентов и курсисток и, встретившись с Коттеном в «Малоярославце», обговорил себе командировку на Лазурный берег, в Париж, Висбаден и Женеву.

Незадолго перед отъездом попросил о внеочередной встрече, притащил письмо.

— Эсерочка просила передать Лазареву и Булату, — сказал он, — совсем тепленькое, прямиком от товарищей Чернова и Авксентьева.

Коттен взял с собою письмо; симпатических чернил не было, вполне безобидный текст; установили Егора Егоровича Лазарева; журналист, связан с эсерами, но к их боевой группе не принадлежит. Булата охранка знала прекрасно, член Государственной думы, трудовик.

Попросив Богрова задержаться с отъездом, Коттен письмо ему вернул, предложил отнести по адресу и, поигрывая десертным ножичком, сказал:

— И — просьбочка есть одна, Дмитрий Григорьевич... Не составило бы для вас труда как-то потеснее сойтись с Лазаревым, а? Он интересует нас, волк, тертый-перетертый... У него есть два связника — «Николай Яковлевич» и «Нина Александровна», оба выходят напрямую к руководству эсеровского ЦК... Они нам нужны... Не получилось бы у вас, а? Хоть какую-нибудь зацепку к явкам?

— С пустыми руками к Лазареву нет смысла являться, Михаил Фридрихович, коли он тертый волк...

— Предложите ему что-нибудь, — аккуратно посоветовал Коттен. — Вы ж в изобретательстве комбинаций — дока...

— Эсера можно пронять только предложением террора...

— А почему бы и нет?

Богров растерялся:

— Михаил Фридрихович, но ведь это... Это...

— Это подконтрольно с самого начала, Дмитрий Григорьевич. Это — комбинация... Естественно, фиксировать в делах мы ее на станем, а вдруг Лазарев клюнет?

— Но ведь они в терроре делают ставку на центральный акт... У меня не повернется язык предлагать террор против государя...

— Упаси господь, сохрани и помилуй! Это — ни в коем случае! Подумайте сами, кого можно назвать, только чтоб не из царствующего дома, вы совершенно правы, такое — немыслимо!

...Лазарев оказался седым добролицым великаном с детскими голубыми глазами. Прочитав письмо, сжег его в камине, деньги, лежавшие в нем, бросил в ящик, поднялся из-за стола, заваленного рукописями, — встреча происходила в редакции «Вестника знания», на Невском, — и спросил:

— Нуте-с, а теперь представьтесь мне толком, милостивый государь.

Разговор был хорошим, добрым; оказалось, что Лазарев прекрасно знает и Кальмановича, и старшего товарища Богрова по Киеву, идейного анархиста Рощина, вместе сидели в тюрьме.

— Егор Егорович, — сказал в заключение Богров, — было бы очень славно, ответь вы мне на один вопрос...

Лазарев белозубо улыбнулся:

— Чего ж на один только? Я готов и на большее количество вопросов отвечать, коли смогу...

— Готова ли ваша партия...

— Какую вы имеете в виду?

— Егор Егорович, я в революционном движении седьмой год, вы, думаю, знаете об этом, да и легко проверите сегодня же... Мне прекрасно известно, что вы эсер, и не мне одному сие ведомо, что ж из этого секрет полишинеля делать... Так вот, готова ли ваша партия

санкционировать покушение на ...скажем, министра юстиции?

— Окститесь, милый, да кто ж на это пойдет?

— Я, — сказал Богров, помедлив малость, и побледнел даже от того, что представил себе на самом деле, как он поднимает руку с бомбой и швыряет ее под колеса автомобиля, в коем следуют сенаторы и министр юстиции империи; он явственно услышал глухой взрыв, почувствовал, как кровь прилила к щекам, увидел стремительно шапки газет с его именем на всех языках мира и потянулся задрожавшей рукою за папиросой...

— Вы это бросьте, — ответил Лазарев, — на улице б к первому встречному подошли с таким предложением, право! Вы мне лучше объясните, каким образом это письмо с восемьюстами франков оказалось у вас?

— Я же объяснял, — нахмурился Богров. — Желаете выслушать еще раз?

— Да, будьте любезны.

— Вы не верите мне?

— Я проверяю вас, — ответил Лазарев. — И не считаю нужным скрывать это.

— Женщина, которая привезла письмо из парижского ЦК, моя подруга детства, Егор Егорович... Она должна была вручить деньги для «деревни» Кальмановичу, но он на троицу уехал к себе на дачу, в Финляндию... Ваш журнал тоже был закрыт... Я вызвал Кальмановича телеграммой, он прочитал эти письма, спросил Лину, кто их передал, какой идиот решился всучить девушке, далекой от политики, партийные документы... Она ответила то же, что говорила мне: сестра Кальмановича, курсистка Юля. Поскольку у Лины не было денег и она вполне благонадежна политически, Юля пообещала, что брат уплатит ей за это сто пятьдесят рублей... Вот, собственно, и все... Кальманович вернулся к себе на дачу, а мне сказал прийти к вам... Я — пришел...

— Лина привезла одно письмо?

— Два.

— Кому адресовано второе?

— В Государственную думу...

— Булату?

— Да.

Лазарев протянул руку:

— Давайте сюда, он в деревне, я отвезу ему.

Богров молча достал письмо, передал Лазареву.

Тот, не читая, положил в карман, кашлянул в кулак,

хмуро поглядел на Богрова, покачал головой:

— Нельзя так, товарищ, право...

— Тогда хоть помогите мне увидаться с Николаем Яковлевичем или Ниной Александровной...

— Смысл?

— А вот на этот вопрос позвольте мне не отвечать... Впрочем, коли не верите, я просьбу свою снимаю...

— Сколько вам лет?

— Двадцать пять.

— Сколько, говорите, лет в революции?

— Семь.

— Кто вас привел в кружок?

— Рощин. В Киеве, в дом Сазонова...

— Ладно, — Лазарев поднялся. — Славный вы человек, только если хотите служить революции, делайте это осмотрительно, иначе вы ей вред принесете, Митя, огромнейший вред... Захаживайте, коли будет время, а пока — простите меня, полно работы...

...Лазарев вспомнил про «дом Сазонова», о котором говорил Богров, когда был в Киеве по делам журнала. Встретившись с товарищами, поинтересовался Богровым.

— Прекрасный человек, — ответили ему.

— Только уж больно горяч, в террор играет, — заметил Лазарев. — Так и до беды недалеко.

Эту фразу агент, присутствовавший на встрече, сообщил в охранное отделение.

Наткнулся на это сообщение Кулябко в тот день, когда умиротворенным вернулся из конюшен и принялся за повторный просмотр затребованных им материалов.

И в голове — окончательный, до мелочи — выстроился жесткий план д е л а.

«ТЕМПО-РИТМ АКТА ДОЛЖЕН БЫТЬ АРТИСТИЧНЫМ»

4

Спиридон Асланов, бывший при Кулябко начальником уголовной полиции (освобожденный из арестантских рот, уехал в свой тридцатикомнатный бакинский замок), связей с Киевом не прерывал. Его агентура в преступном мире, главные держатели м а л и н, через сложные, но хорошо отложенные конспиративные ходы поддерживала

с ним постоянные контакты, получала наводки на кавказских воротил, делилась с покровителем по справедливости, что называется, «по закону».

Именно он и назвал Кулябко трех кандидатов для выполнения «особо тонкой работы», задуманной полковником. Так уж было заведено, что он, Асланов, не спрашивал о предмете работы, ибо в кодле существует свой, особый такт: надо сказать — скажут; не надо — ну и не возникай.

Кулябко же на сей раз запросил у своего приятеля не наемных налетчиков, чтобы пришить неугодного политика чужими руками, но людей, работавших по фармазонному делу; Киев, Волынь и Одесса издавна славились профессиональными мошенниками. Именно здесь, на юге, в свое время блистал Николай Карпович Шаповалов, недоучившийся студент, который — после курса, прослушанного им в Страсбургском университете, — выдавал себя то за профессора медицины, то за правозаступника, то за представителя «Лионского кредита»; надувши, таким образом, одесского помещика Лаврова, положил в карман без малого двести тысяч; другой раз работнул киевского купца Схимника, всучив ему заемных билетов лондонского банка на четверть миллиона, а билеты эти были напечатаны в маленькой типографии Василия Вульфа.

В отличие от других фармазонов, работавших соло, Шаповалов держал свою школу; ученики были ему бесконечны преданны — режь, ничего не откроют.

Остановился Кулябко на кандидатуре Щеколдина.

Решению этому предшествовало тщательное изучение отчета агента «Дымкина», отправленного к Богрову в Петербург после того, как тот передал фон Коттену записку о беседе с Егором Егоровичем Лазаревым и сообщил ему же, что его посетил человек, представившийся другом «Николая Яковлевича», и в течение примерно пятнадцати минут расспрашивал о нынешней богровской позиции и особенно о том, готов ли он к активной революционной работе.

Хотя Богров, понятно, подтвердил свое желание работать «во имя борьбы с тиранией», друг «Николая Яковлевича» никаких заданий не дал, явки своей не оставил, запретил говорить кому бы то ни было, даже самым близким друзьям, о своем визите и пообещал найти, когда это потребуется в интересах «святого дела».

Для этого «друга» «Николая Яковлевича» истинно

«святым делом» была служба у фон Коттена, сто двадцать пять рублей в месяц; красиво выполнил операцию по проверке Богрова, — не шестерит ли. Естественно, он не знал и не мог даже предположить, что беседует с таким же, как и он сам, агентом охранки и что с ним проводили такие же беседы другие агенты охранки, считавшие в свою очередь его «Николаем Яковлевичем», эсеровским нелегалом, или же «Иваном Кузьмичом», эмиссаром анархистов...

Фон Коттен ничего не сообщал Кулябко об использовании им Богрова в работе против эсеров и своей работе по Богрову.

Тем не менее Кулябко знал о своей агентуре все, благо Спиридович сидел в Царском.

Именно эта информированность и привела Кулябко к искомому решению.

...Получив инструкции, срепетировав беседы со Щеколдиным дважды, выдав билет в вагон первого класса, Кулябко проводил агента уголовной полиции, аслановского человека, фармазона по призванию и недоучившегося паровозного техника Щеколдина на встречу с Богровым.

Богров принял Щеколдина хорошо, пригласил на обед в студенческую столовую, рассказал, что устал от суеты, алчет дела, ждет указаний, связей, явок.

— А — террор? — врезал Щеколдин после примерно двухчасового разговора.

Богров поджался, аж плечи поднял:

— Не понимаю...

— Мой друг был у вас в прошлом месяце, я думал...

— Так вы от Николая Яковлевича?!

— Мне говорили, что вы научены конспирации, — точно сыграл Щеколдин, подивившись всезнанию Кулябко; смешливо подумал: «Полковнику б в нашем фармазонском деле подвизаться, с хорошей бы скоростью работал, по-курьерски».

— Ах, товарищ, неужели вы не понимаете, как томит душу ожидание?! Каждое утро просыпаешься с жаждой деятельности! Мы теряем время, каждая прошедшая минута невосполнима, если она не отдана революции.

— На все готовы?

— На все! Я говорил другу Николая Яковлевича об этом, Лазареву говорил!

— Прекрасно, — по-прежнему разыгрывал пьесу Кулябко фармазон Щеколдин, проникаясь все большим уважением к жандармскому полковнику, словно бы знав-

шему заранее все, что скажет в е р т л я в ы й. — Я восхищен. Подскажите, где здесь телефонный аппарат.

— Здесь нет. От меня звонить рискованно... Хотите связаться с Николаем Яковлевичем?

— Нет. Зачем же? С петроградской охранкой. Они очень ждут сообщений об адресе Николая Яковлевича, который, по вашим словам, и в террор не прочь уйти, как в пятом году...

— Вы... Вы...

— Я, — оборвал Щеколдин. — Какой вы революционер?! Болтун! С вами никакого дела иметь нельзя, а вы в террор хотите! — Щеколдин поднялся. — Не по пути нам, Дмитрий Григорьевич, вам еще готовить и готовить себя к делу... Подготовитесь — поговорим. И не провожайте меня, не надо...

Кулябко рассчитал и дальше: пусть Богров уедет за границу, поостынет, пусть там поколобродит, тогда и придет время для главной работы.

«НУ И ХИТЕР ПРОКАЗНИК!»

5

Ощущая кожей, что Спиридович и Кулябко ведут с в о ю игру, не посвящая его, видимо, в тонкости дела (чему Курлов был отчасти и рад), понимая, что задуманное, видимо, невероятно рискованней, чем все покушения, совершенные до сих пор на политических деятелей России (не без ведома, а порою и не без помощи охранки), генерал пришел к выводу, что в данном эпизоде необходимо обеспечить себе такого рода страховку, которая стала бы — в случае нужды — абсолютным для него, именно для него, заслоном.

Поэтому, тщательно просмотрев материалы, связанные с исследованием обстоятельств убийства великого князя Сергея Александровича и Плеве, в которых был замешан сотрудник охранки Азеф, с экспроприациями, проведенными Рыссом-старшим, террористом-загадкой; известен Кулябко; с взрывом на конспиративной квартире петербургского охранного отделения, во время которого был разорван полковник Карпов, генерал написал строго доверительное и сугубо личное письмо Сто-

лыпину, передав при этом одну копию Дедюлину, а вторую — з а л о ж и л в дела особого отдела под грифом «совершенно секретно».

Смысл этой записки сводился к тому, что следует самым серьезным образом ревизовать агентуру охранных отделений, рекрутированную из числа бывших политических преступников.

«Нападки на полицию, звучавшие даже в Государственной думе, злобная клевета, публикуемая в эмигрантской революционной прессе, — писал Курлов, — не могут, милостивый государь Петр Аркадьевич, не вынудить нас к тому, чтобы в самое же ближайшее время, во всяком случае до поездки венценосной семьи на торжества в Киев, напечатать в тех газетах, которые получают средства из нашего секретного, рептильного фонда, ряд материалов про то, что отныне чинам полиции предписано руководствоваться качественно новыми мерками при привлечении сотрудников для борьбы с революционным движением. Лишь люди, искренно преданные делу Престола, могут быть сотрудниками охраны; лица, доказавшие делом, всею своей нравственной структурою верность незыблемым принципам Православия, Самодержавия и Народности».

З а с а д и в такого рода пассаж, Курлов не сомневался, что Столыпин, вызвав его, не преминет заметить, что он, мол, не намерен бороться с революцией в белых перчатках...

Курлов помнил, с каким обостренным интересом премьер читал рапорты Азефа; он, Курлов, помнил, как Столыпин, прихлопнув ладонью папку с рапортом сотрудницы петроградской охранки Шорниковой, сделавшей провокацию на квартире депутата Озола, отвалился на спинку кресла и воскликнул:

— Конец Второй думе! Хорошая работа! Завтра — разгоняем!

Курлов помнил, как сыграл Столыпин в Думе после этой провокации. Поднявшись на кафедру дворца — бледный до синевы, — он говорил с верою, прочувствованно, от всего сердца, несмотря на то что знал правду о провокации Шорниковой, сам ее и санкционировал:

— Господа члены Государственной думы! Я считаю своей обязанностью, как начальник полиции в государстве, выступить с несколькими словами в защиту действий лиц, мне подчиненных. Насколько мне известно, полиция получила сведения, что на Невском собираются

центральные революционные комитеты, которые имеют сношения с военной организацией. В данном случае полиция не могла поступить иначе, как войти в эту квартиру и в силу власти, предоставленной ей, произвести обыск. Не забудьте, что Петербург находится на положении чрезвычайной охраны и что в этом городе происходили события чрезвычайные. Таким образом, полиция должна была, имела право и правильно сделала, что в эту квартиру вошла. В квартире оказались действительно члены Государственной думы, но кроме них были и посторонние лица; в числе тридцати одного эти лица были задержаны, и при них найдены документы, некоторые из которых оказались компрометирующими. Всем членам Думы было предложено, не пожелают ли они тоже обнаружить то, что при них находится. Из них несколько лиц подчинились, а другие лица отказались. Никакого насилия над ними не происходило, и до окончания обыска все они оставались в квартире, в которую вошла полиция.

На следующий день были произведены дополнительные действия не только полицейской, но и следственной властью и обнаружено отношение квартиры депутата Озола к военно-революционной организации, поставившей своей целью вызвать восстание в войсках. В этом случае, господа, я должен сказать и заявляю открыто, что полиция будет так же действовать, как она действовала!

...Поди не поверь таким словам премьера, поди выскажи сомнение, поди заподозри, что Петр Аркадьевич самолично читал подстрекательское воззвание к войскам, написанное под диктовку охранки ее провокатором и специально занесенное на квартиру депутата, облеченного правами «парламентской неприкосновенности»!

Все было разыграно как по нотам, Столыпин утвердил план провокации, в кармане уже лежал приказ на роспуск Второй Государственной думы — как же иначе, коли депутаты «подметные письма» к войскам составляют?! Иначе никак нельзя, иначе — поддавок, а не политика!

...Курлов, постоянно думая о версии своей защиты, сделал так, чтобы провокатор Екатерина Николаевна Шорникова, сработавшая эту операцию для Столыпина, была з а с в е ч е н а. Он посчитал, что сейчас еще рано начинать скандал, нужно определить точное время, это будет козырная карта против Столыпина и всей его по-

лицейской доктрины. Мало ли что может произойти — Петр Аркадьевич человек талантливый, глядь, снова войдет в фавор, выскользнет, — но будь он хоть семи пядей во лбу, общественность не простит ему того, как он депутатов Второй Государственной думы закатал в каторгу, заранее зная, что они ни в чем не повинны, никаких воззваний к войскам не составляли, а то что им к л е и л и, сфабриковано в его святая святых — особом отделе департамента полиции.

Курлов полагал, что провалить Шорникову следует также и в случае н у ж н о г о ему устранения Столыпина. Тогда, видимо, в стране будет невероятный всплеск торжественно-траурных чувств по усопшему, кидаться станут на всех, кто отвечал за охрану, и на него, Курлова, в первую очередь. Вот именно тогда-то и придет время раскрыть дело Шорниковой, скандал получится громкий, Столыпину вряд ли простят (а не ему, так памяти, что еще лучше) то, как он совершенно безвинных депутатов хладнокровно и продуманно упрятал в каземат.

...Все получилось так, как и ожидал Курлов.

Столыпин вернул ему записку, пожав плечами:

— Я не очень-то вас понял, Павел Григорьевич... Или постоянное соприкосновение с революционной, антиправительственной прессой так прискорбно на вас действует? — премьер улыбнулся. — Вы предупреждаете меня об опасности использования офицерами охраны сломанных нами революционеров... Согласен, риск есть, но как без них работать? Крушить заведенное все горазды, а где реальные предложения на будущее? Кого использовать в охранительной работе против революции?

Курлов вздохнул, скорбно улыбнулся:

— Значит — в архив?

— Не гневайтесь.

...Курлов радовался, какое там гневаться?! Операция, задуманная им, прошла великолепно, он себя подстраховал, уж он-то подстрахован отныне надежнее, чем кто бы то ни было!

...Дедюлин х о д оценил, однако в оценку подробностей, как всегда, не вдавался: это так было заведено у них — пожалуйста, обсуждать и д е ю я готов, а уж методы — не моего ума дело, это — исполнителям, кто помоложе, пусть себе шары крутят и про закон думают, им расти, а рост только одно гарантирует: результат, время и хороший, красивый ш у м!

Тем же вечером Курлов провел два легких, п р о б р а с ы в а е м ы х разговора с друзьями своих коллег, знавших, где сейчас скрывалась Шорникова: как от полиции Петербурга (ибо была внесена в розыскной список, являясь членом военно-революционного комитета социал-демократов, «убежавшей» от ареста), так и от революционеров, начавших подозревать ее в провокации. Курлов легко и неназойливо порекомендовал передать в прессу, через пятые руки, к о м п р у на этого «коронного» столыпинского агента (всегда помнил ее псевдо, спрашивал: «Что от «Казанской»?»). Вот потешимся, вот удар, вот защита!

Однако самый свой дорогой документ, полученный прошлой ночью, Курлов даже Дедюлину не открыл.

Документ этого стоил — новые странички из тайного дневника графа Сергея Юльевича Витте:

«Дело о покушении на меня находится в моем архиве и в нескольких экземплярах в различных местах для того, чтобы на случай, если пропадет один экземпляр, остался другой, так как дело это характеризует то положение, в котором очутилась Россия во время управления Столыпина. Дело это, составленное из официальных документов, несомненно, устанавливает следующие факты: Казанцев — гвардейский солдат в отставке — был один из агентов охранного отделения, которых Столыпин именовал «идейными добровольцами», то есть такими лицами, которые занимались делами секретной полиции, охраной или убийствами тех лиц, которых они считали левыми и вообще опасными для реакционного течения.

Казанцев принимал участие в убийстве Герценштейна в Финляндии, совершенном агентами охранного отделения и агентами «Союза русского народа», который в то время слился с охранным отделением так, что трудно было найти, провести черту, где кончаются агенты секретной полиции, охранного отделения и где начинаются деятели так называемого «Союза русского народа», действующего в Петербурге под главным начальством доктора Дубровина, а в Москве — Грингмута, затем, после его смерти, протоиерея Восторгова.

Убийство Герценштейна произведено под главным начальством доктора Дубровина агентами полиции и «союзниками». Затем у главы «Союза русского народа» явилась мысль убить и меня. Об этом вопросе было обсуждение между главными «союзниками»; об этом, вероятно, знал и градоначальник Лауниц. Пресловутый князь

М. М. Андронников, конечно, втерся в «Союз русского народа» и к Дубровину, и к Лауницу, и так как он у них узнал, что в случае если я возвращусь в Россию, то меня убьют, то и дал мне телеграмму в Париж, чтобы я не возвращался*.

Секретарь доктора Дубровина Пруссаков, который затем рассорился с Дубровиным и дал показание судебному следователю, указал, что Дубровин говорил своим сотрудникам о необходимости меня убить и, главное, овладеть документами, которыми я обладал и которые находятся у меня в доме, что будто бы (чему я не верю) на необходимость уничтожить все находящиеся у меня документы имеется высочайшее повеление государя, ему переданное.

Таким образом, Дубровин очень интересовался и науськивал некоторых лиц на то, чтобы меня убить и овладеть моим домом или его разорить. Из следствия видно, что исполнение этой задачи взяли на себя не Дубровин и петербургские «союзники», а почли более удобным поручить это дело московским «союзникам», а Казанцева, который участвовал в убийстве Герценштейна, командировать для этого в Москву.

В Москве Казанцев поступил под главенство графа Буксгевдена, чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, и сделался как бы управляющим его домом, хотя его домом, собственно, не занимался, а имел какую-то кузницу около Москвы, где, между прочим, и изготовлялись различные снаряды.

Таким образом, ясно, что петербургская боевая дружина, находящаяся в главном распоряжении Дубровина, не решилась совершить на меня покушение, боясь, что сейчас же будет открыта, и для отвода глаз это поручение передал в Москву. В дальнейшем главную роль играли: граф Буксгевден, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе, и агент охранного отделения и вместе с тем член «Союза русского народа» и монархических крайних московских партий Казанцев.

Казанцев приобрел некоего Федорова; Федоров был искренним революционером, анархистом, хотя рабочим; по умственным способностям полукретин; затем другого рабочего, тоже крайне левого направления, Степанова.

Из Москвы экспедиция, состоящая из этих трех лиц,

* Видимо, М. Андронников дал эту телеграмму с санкции Столыпина, чтобы вообще воспрепятствовать возвращению Витте в Россию. *Ю.С.*

приехала в Петербург, остановилась в меблированных комнатах, находящихся близ Невского проспекта, в самом центре города. Затем, очевидно, Казанцев имел сношения и со здешними крайне правыми группами, а именно с Дубровиным, а также и с группой «Михаила Архангела».

Эти лица, вероятно, адские машины получили от некоего Казаринова, поэтому Казаринов, интересуясь, какое разрушение произведут эти машины, и поселился против моего дома в меблированных комнатах.

29 января они через соседний дом Лидваля прошли, поднялись там на крышу сарая, с этой крыши пролезли на крышу моего дома, где помещаются кухни и людские, а оттуда влезли на крышу моего главного фасада и заложили адские машины; очевидно, они ожидали взрыва в 9 часов вечера, но взрыв не последовал. Так как взрыв не последовал, то из следствия видно, что на другой день тот же самый Федоров был отправлен к моему дому утром и должен был влезть опять тем же путем на крышу и бросить в эти трубы тяжесть, которая должна была разбить адские машины и тем произвести взрыв, но когда он подходил к дому, то его предупредил Казаринов, что все раскрыто, машины из труб вынуты, и эти лица с огорчением возвратились в Москву, причем Федорову и Степанову было внушено, что я должен быть убит по решению главы революционно-анархической партии как крайний ретроград, который подавил революцию.

Приехавши в Москву, как показывает следствие, тот же самый Федоров под руководством Казанцева убил депутата Первой Государственной думы и одного из редакторов «Русских ведомостей» Иоллоса. Совершив это убийство, они изготовили бомбы и приехали в Петербург для того, чтобы бросить мне бомбу, когда я буду ехать на улице.

Из того же следствия видно, что в Москве всем этим руководил чиновник при московском генерал-губернаторе граф Буксгевден и что он, Буксгевден, когда Казанцев должен был совершить через Федорова мое уничтожение, приезжал в это время в Петербург.

Я Буксгевдена лично не знаю, по рассказу же бывшего московского генерал-губернатора Дубасова и его супруги граф Буксгевден представляет собою на вид человека очень скромного, сам он состояния не имеет, но его жена имеет, и человек он более чем ограниченный, весьма серый...

Когда вторично приехал сюда Казанцев вместе с Федоровым и Степановым, то тогда уже была Вторая Государственная дума открыта, и Степанов сказал некоторым из членов Думы крайне левой партии о причинах, почему они приехали и затем как они убили Иоллоса.

Эта партия, крайне левая, всполошилась и объяснила Федорову и Степанову, что они являются игрушками в руках черносотенцев, что Иоллос убит по постановлению черносотенной партии их руками. Казанцев уверил Федорова, что Иоллоса нужно было убить, потому что Иоллос похитил значительные суммы денег, которые были собраны на революцию.

Вследствие такого разоблачения Федоров решил убить Казанцева, чтобы отомстить ему за его обман. Поскольку было решено бросить мне бомбу, когда я отправлюсь в Государственный совет, то 29 мая они поехали недалеко от Пороховых начинить взрывчатым веществом бомбу, которую привезли с собою из Москвы. В то время, когда Казанцев начинял эту бомбу, Федоров подошел к нему сзади и кинжалом его убил, прободав ему горло. Таким образом, Господь Бог спас меня и вторично.

Так как Казанцев был агентом охранного отделения, для меня несомненно, что все, что он делал, было известно и петербургскому охранному отделению, и «Союзу русского народа», и когда он был убит, то полиция сейчас же узнала, кто убит, тем не менее полиция сделала так, как будто убит неизвестный человек, и дала время, чтобы Федоров и Степанов могли скрыться, потому что, очевидно, если бы они были арестованы, то все дела были бы раскрыты и было бы раскрыто, откуда было направлено покушение на мою жизнь.

Федоров и Степанов скрылись. (Степанов скрылся где-то в России и до сих пор, вероятно, находится в России, но полиция во время Столыпина все время делала вид, как будто она его найти не может.) А Федоров перебрался через финляндскую границу в Париж и там сделал все разоблачения.

...Вследствие моих настояний судебный следователь потребовал от Франции возвращения Федорова; я настаивал на том перед министром юстиции. Наконец, после долгих промедлений, Федоров был потребован, но французское правительство Федорова не выдало, и когда я был в Париже и спрашивал правительство о причинах, то мне было сказано, что Федоров обвиняется в полити-

ческом убийстве, а по существующим условиям международного права виновные в политических убийствах не выдаются; но при этом прибавили: конечно, мы бы Федорова выдали ввиду того уважения, которое во Франции мы к вам питаем, тем более что Федоров в конце концов является все-таки простым убийцей, но мы этого не сделаем, потому что, с одной стороны, русское правительство официально требовало выдачи Федорова, а с другой стороны, словесно нам передает, что было бы приятно, если бы наше требование не исполнили.

Я знал, что правительство будет отказываться, что Казанцев есть агент охранного отделения, и поэтому старался иметь в руках к этому доказательства. Сколько раз я ни обращался к судебному следователю, но он по этому предмету не делал никаких решительных шагов, он все требовал от охранного отделения и от директора департамента полиции, чтобы ему дали ту записку, которую я получил после того, как у меня были заложены адские машины, в которой меня уведомляли, что от меня требуют 5 тысяч рублей и что в противном случае на меня будет сделано второе покушение, именно ту записку, которую я имел неосторожность передать директору департамента полиции. На все его требования этой записки он не получал под тем или другим предлогом.

Наконец я вмешался в это дело, писал директору департамента полиции, просил вернуть записку; директор департамента полиции долго не отвечал и потом ответил, что он эту записку передал в охранное отделение, а там ее найти не могут.

Перед самым окончанием следствия судебный следователь Александров получил явное доказательство, что Казанцев есть агент охранного отделения, и так как он, видимо, был вынужден вести все следствие таким образом, чтобы свести на нет, то, вероятно, из угрызения совести, в последний раз, когда он у меня был, он мне показал фотографический снимок записки и спросил, та ли это записка, которую я послал директору департамента полиции и в которой требовалось от меня пять тысяч рублей. Я посмотрел и говорю: «Та самая, где это вы эту записку достали?» Он мне сказал буквально следующее: «У меня есть другое дело, дело не политическое, и мне нужен был почерк одного агента сыскного отделения петербургского градоначальства; поэтому я пошел в это отделение, что-

бы попросить образец почерка этого агента сыскного отделения. На это заведующий архивом отделения сказал: «У нас здесь есть почерки всех агентов, как сыскного, так и охранного отделения, так как при Лаунице охранное и сыскное отделения были слиты, и вот если хотите, то можете поискать в этих шкафах».

Я взял, достал почерк этого агента сыскного отделения, а потом мне пришло в голову: «А посмотрю-ка я, нет ли здесь почерка Казанцева». Посмотрел на букву К., Казанцев. Затем взял образец почерка, и вот этот образец есть то, что я вам показываю. Я обратился к заведующему архивом и спросил его: «Чей же это почерк?» Он говорит: «Это известного агента охранного отделения Казанцева, который был убит Федоровым».

Я попросил судебного следователя, не может ли он мне оставить на несколько часов этот образец. Он оставил, и я, со своей стороны, снял фотографический снимок с этой записки. Таким образом, я получил более или менее материальное удостоверение того, что Казанцев есть агент охранного отделения.

Из всего мною изложенного очевидно, что покушение, готовившееся на меня и на всех живущих в моем доме, делалось, с одной стороны, агентами крайне правых партий, а с другой — агентами правительства, и если я остался цел, то исключительно благодаря судьбе.

Когда судебный следователь сделал постановление о прекращении следствия, то я написал письмо к главе правительства Столыпину 3 мая 1910 года, в котором ему изложил в чем дело, выставил все безобразие поведения правительственных властей, как судебных, так и административных, указал на то, что при таких условиях естественно, что высшее правительство стремилось к тому, чтобы все это дело привести к нулю, и в заключение выразил надежду, что он примет меры к прекращению террористической и антиконституционной деятельности тайных организаций, служащих одинаково и правительству и политическим партиям, руководимых лицами, состоящими на государственной службе, и снабжаемых темными деньгами, и этим избавит и других государственных деятелей от того тяжелого положения, в которое я был поставлен. Письмо это было составлено известным присяжным поверенным Рейнботом, и мне принадлежит только общая идея этого письма и в некоторых местах его стиль. Ранее, нежели послать это письмо, я его передал, одновременно и все трехтомное дело о покушении

на меня, таким юристам, как члены Государственного совета — Кони, Таганцев, Манухин, граф Пален. Все они признали, что письмо с точки зрения фактической и с точки зрения наших законов совершенно правильно и что может быть, только стиль несколько ядовитый, но что это дело уже лично мое.

Столыпин, получив это письмо, был совершенно озадачен; он, встретясь со мною в Государственном совете, подошел ко мне со следующими словами: «Я, граф, получил от вас письмо, которое меня крайне встревожило». Я ему сказал: «Я вам советую, Петр Аркадьевич, на это письмо мне ничего не отвечать, ибо я вас предупреждаю, что в моем распоряжении имеются все документы, безусловно подтверждающие все, что в этом письме сказано, что я ранее, нежели посылать это письмо, давал его на обсуждение первоклассным юристам и, между прочим, такому компетентному лицу, престарелому государственному деятелю, как граф Пален».

На это Столыпин ответил: «Да, но ведь граф Пален выживший из ума». Этот ответ показывает степень морального мышления главы правительства. И затем он раздраженным тоном сказал мне: «Из вашего письма, граф, я должен сделать одно заключение: или вы меня считаете идиотом, или же вы находите, что я тоже участвовал в покушении на вашу жизнь? Скажите, какое из моих заключений более правильно, то есть идиот ли я или же я участвовал тоже в покушении на вашу жизнь?» На это я Столыпину ответил: «Вы меня избавьте от ответа на такой щекотливый с вашей стороны вопрос».

Затем я уехал за границу и несколько времени никакого ответа от Столыпина не получал, и уж когда я вернулся в Петербург, то через семь месяцев получил от него ответ, весьма наглый, на мое письмо. В этом ответе — это было письмо от 12 декабря 1910 года — он самым бесцеремонным образом отвергает некоторые факты и входит в довольно наглые инсинуации.

Я не преминул дать ему подобающий ответ, ответ весьма жестокий, но вполне им заслуженный, но в котором в заключение я высказал, что так как, очевидно, между главою правительства, министром юстиции и мною по этому предмету существуют разногласия, то я прошу, чтобы все это дело было поручено рассмотреть кому-нибудь из членов Государственного совета — сенаторов, юристов, близко знакомых со всем следственным делом, для того чтобы они высказали — кто из нас прав: я ли,

утверждая, что все следствие было сделано с пристрастным участием агентов правительства и что следствие было ведено для того, чтобы прикрыть все это, или же он, Столыпин, и его министр юстиции Щегловитов, который утверждает противное, а именно, что правительство здесь ни при чем. Я перечислил тех членов Государственного совета, которым я просил бы передать это дело для дачи заключения его величеству. Перечислил я лиц всех партий, и крайне правых, и крайне левых, так как для меня безразлично, кто будет производить это рассмотрение, ибо каждый из них не мог бы прийти к иному заключению, чем к какому я пришел, потому что каждый из этих лиц — член Государственного совета и при каких бы то ни было политических разногласиях и личных чувствах в отношении ко мне никто бы не уронил себя до такой степени чтобы не признать того, что я утверждаю, так как это вытекает математически из всего обширного дела, у меня имеющегося.

Должен сказать, что как первое письмо, так и ответ Столыпина и второе письмо обсуждались в Совете министров. Через некоторое время после моего второго письма я получил краткий ответ от главы правительства, в котором он меня уведомлял, что, мол, он докладывал мою просьбу о поручении расследовать дело кому-нибудь из сенаторов, что его величеству благоугодно было самому этим делом заняться и что, рассмотрев все дело, его величество положил резолюцию, что он не усматривает неправильности в действиях ни администрации, ни полиции, ни юстиции и просит переписку эту считать поконченной.

Само собой разумеется, что его величество, ни по своей компетенции в судебных делах, ни по времени, которое он имеет в своем распоряжении, не мог рассмотреть и вникнуть в дело, и эта резолюция его величества, которая, очевидно, написана по желанию Столыпина, показывает, как Столыпин мало оберегает государя и в какое удивительное, если не сказать более, положение он его, государя, ставит».

...Это — в поддых: ни Петру Аркадьевичу — коли даже в ы с к о л ь з н е т — не оправиться, ни тем, кто наверняка станет курить ему фимиам, ежели рука провидения все-таки покарает его...

Курлов документы спрятал в сейф, подумав при этом — отчего-то с тихой грустью: «Народ — беспамятен; главное, если мы Петра свалим, продержать спокойствие

недели две-три, потом людишкам все надоест, да и другой скандал можно подбросить для куражу... Победителей помнят, проигравшие подвержены безусловному забвению...»

«В РАБОТЕ ГЛАВНОЕ — «ПОСПЕШАТЬ С ПРОМЕДЛЕНИЕМ»

6

От Ниццы до Сан-Поль-де-Ванса дорога была ужасна: размыта весенним дождем; экипаж заносило то вправо, то влево, возница ругался по-испански и до того витиевато, что казалось, он не знает никаких других слов, кроме отборной брани.

— Когда подсохнет? — спросил Богров. — Когда начнется тепло?

— Сучий климат, — ответил возница, — дерьмовое захолустье, здесь никогда не бывает солнца, настоящее солнце бывает только в Мадриде, мать его так и разэдак... Навыдумывали себе, Лазурный берег, ах, Лазурный берег, дерьмовый берег, говенный климат, не страна, а балаган!

— Чего ж вы тогда здесь живете!

— Разве я живу, проклятье! Я работаю! Я работаю волом! Живут только в Испании, нигде больше не живут...

— Ну и езжайте себе в Испанию!

— А там нельзя получить лицензию на экипаж! Замучают по муниципалитетам, проклятые мадрильеньяс! Чиновники — все как один — твари! Продажные, мерзкие твари! Не люди, а червяки! Скорей бы скопить денег и вернуться...

— Так ругаете страну, а все равно хотите возвратиться в Мадрид?

— Так я же испанец! Каждый по отдельности испанец — великий человек, истый кабальеро, а все вместе — один большой бордель... Это так бывает с некоторыми народами... Вон французы, каждый — скот и прощелыга, а все вместе — великая страна! Так бывает, ничего не попишешь... У меня подруга француженка... Ни одного испанского слова учить не хочет, ночью ласкается, говорит свои томности на французском, а я по-испански хочу! Как через стекло целуешься!

...На маленькой средневековой площади, возле арки,

Богров сказал вознице остановиться, обещал вернуться через час, посулил хорошо заплатить за простой.

— Я не знаю, что такое «хорошо оплачу»! Сколько? В этой паршивой стране надо требовать точности! Сколько уплатите?

— Назовите сумму, я оставлю задаток.

— Испанцы не берут задатков! Испанец верит слову кабальеро! Идите, я стану ждать...

...Богров легко нашел ресторанчик, про который ему сказали по телефону, сел к окну; по стеклу наперегонки, будто слезы по щекам бабушки, катились быстрые струйки дождя; положил перед собою, как его и просили, книгу Жорж Санд, заказал кофе и только после этого обвел глазами посетителей: возле стойки беседовали два местных крестьянина, пили вино из бутылки темного стекла; вино было розовым, солнечным, цвет его казался противоестественным, потому что лил дождь и небо было низким, серым, ватным, пронизанным сыростью.

«Очень хочется лета, — подумал Богров. — Мечтаю о жаре, когда пот струится по спине, вдоль позвоночника; впрочем, люди ругают существующее, не понимая, что это — самое прекрасное, что может быть».

Богров достал из кармана часы, посмотрел на стрелки — время встречи.

Щеколдин пришел с опозданием в две минуты, устроился за столиком, у входа, где стояла вешалка, заказал себе спагетти по-неаполитански, полбутылки «Розе» и крестьянского сыру. Лишь после этого оглянулся, задержал взгляд на книге Жорж Санд, улыбнулся Богрову и спросил:

— Не откажите в любезности глянуть на ваш томик, я этого издания не видел.

— Любопытное парижское издание, — ответил Богров словами пароля, — с прелестными иллюстрациями художника, мне неведомого.

Поднявшись, он взял свой кофе, книгу и пересел за столик к Щеколдину.

— Ну, теперь давайте знакомиться по-настоящему, — хмуро улыбнувшись своей скорбной, располагающей улыбкой, сказал Щеколдин, — я замещаю в боевой организации Николая Яковлевича, в его отсутствие обращайтесь ко мне именно так: Николай Яковлевич...

— Хорошо.

— Как отдыхаете?

— Я не отдыхаю, Николай Яковлевич, — ответил Бо-

гров. — Сейчас не время для отдыха, сейчас время для раздумья, для того, чтобы принять решение, окончательное — для каждого честного человека — решение.

— Будто в Петербурге нельзя думать, — снова усмехнулся Щеколдин. — Или в вашем родном Киеве... Ваш отец, кстати, сколько зарабатывает в год?

— Много.

— Это не ответ, товарищ Богров.

— Более пятидесяти тысяч, мне кажется.

Щеколдин знал от Кулябко, что Григорий Григорьевич Богров зарабатывает чуть менее двухсот тысяч, и Богрову-сыну это известно, он несколько раз выполнял посреднические функции по оформлению сделок на продажу помп — юридическую сторону контракта гарантировала адвокатская фирма отца.

— Как он относился к вашей революционной деятельности?

— Резко отрицательно.

— А ваш патрон Кальманович?

— Он не знает толком о том, что я думаю.

— Но ведь он помогает нашим товарищам, разве нет?

— Это вполне легальная помощь, он ведет политические процессы, вам это известно лучше, чем мне.

— Он вам доводится свояком?

— Десятая вода на киселе, Николай Яковлевич.

Щеколдин отметил и эту ложь Богрова: ему было прекрасно известно от Кулябко, что Кальманович не только вел политические процессы, не только помогал партии финансами, но и давал в своем доме убежище социалистам-революционерам.

— А разве Фриду Розенталь он у себя не прятал? — ударил Щеколдин. — Помните, из летучего боевого отряда?

— Первый раз слышу.

Фриду Розенталь выдал охранке он, Богров; девушка повесилась в Акатуе после того, как была изнасилована тюремщиками и заболела сифилисом.

— Что ж, значит, товарищ Кальманович настоящий конспиратор, — заметил Щеколдин. — Он не посвящает вас во все свои дела. Отчего? Только ли потому, что свято блюдает партийную дисциплину? Или у него есть основание не до конца доверять вам?

Богров ответил не сразу — он просчитывал, как лучше поступить: обидеться, сыграть недоумение или пустить в ход свое обаяние и юмор. Стремительная логика про-

вокатора подсказала ему, что обижаться сейчас нельзя: вдруг Николай Яковлевич поднимется и уйдет? Тогда комбинация, коронная его комбинация с вхождением в боевую группу террора, провалится. Недоумение не п р о з в у ч и т, боевики — люди однозначные, они штучек не принимают, это с Кулябко можно играть, охранка — сентиментальна, агента бережет, где их сейчас найдешь, особенно из мира интеллигенции?!

— Куда уж доверять мне, — усмехнулся Богров, остановившись на «версии юмора». — Барич, жид крещеный — что конь леченый, горя не хлебал, побегов с каторги не имеет...

— Вы плохо ответили мне, — сказал Щеколдин. — Не рекомендуй вас достойные товарищи, я бы мог заподозрить в вас двойное дно.

Богров дрогнул, не сдержался:

— Что вы подразумеваете под «двойным дном»?

То самое, — еще круче нажал Щеколдин.

– Вы не имеете права оскорблять меня такого рода подозрением.

— Ответьте мне, — словно бы пропустив слова Богрова, гнул свое Щеколдин, — при каких обстоятельствах была арестована киевская группа анархистов-интернационалистов-коммунистов во главе с товарищами Рощиным и Нечитайло?

— Я думаю, их выдал провокатор.

Выдал их он, Богров. Именно поэтому вариант ответа был у него готов, выверен интонационно, мотивирован.

— Вы были членом этой группы?

— Да.

— Значит, вы знаете всех, кто входил в организацию?

— Почти. За полгода перед провалом мы разбились на пятерки.

— У вас есть подозрения на кого-либо?

— Нет.

— Кто избежал ареста?

— Я, в частности.

— Чем вы это объясните?

— Благородством моих товарищей по борьбе с самодержавием. Никто из них не назвал меня.

— Кого еще не взяли?

— Не знаю... Точно — во всяком случае — не знаю... Кажется, два человека из пятерки Нечитайло ушли благополучно за границу...

— Их имена вам известны?

— Нет

— У вас в организации было обговорено заранее, чем карается предательство?

— Нет... Это, по-моему, само собою разумеется.

Щеколдин покачал головой:

— Отнюдь. Товарищи социал-демократы ограничиваются тем, что оповещают в своей прессе о провокаторстве открытого ими агента охранки и предупреждают остальных от общения с выродком... Мы же, как вам, должно быть, известно, караем измену смертью... Вы знаете об этом?

— Я слыхал... Но кое-кто ушел от возмездия, Николай Яковлевич.

— Татаров не ушел. Лысков не ушел. Потапчук не ушел. Гринберг не ушел... Никто никуда не денется, вопрос времени... Вы, кстати, готовы к тому, чтобы — в случае, если мы примем ваше предложение о терроре, — подписать добровольное обязательство казнить провокатора, коли в этом возникнет нужда?

— Конечно.

— Как, по-вашему, товарищ Богров, кто сейчас в России является самым главным врагом революции?

— Министр юстиции... Щегловитов...

— А отчего не царь? — медленно приблизившись к Богрову, прошептал Щеколдин. — Вы боитесь поднять руку на царя, Дмитрий Григорьевич?

— Я... Я не боюсь поднять на него руку... Но это..

Щеколдин откинулся на спинку стула, усмехнулся:

— Вы готовы на смерть, товарищ Богров? Или думаете, что вам удастся избежать ареста сатрапов после центрального акта?

— Конечно, я мечтал бы избежать ареста, Николай Яковлевич, я не смею лгать... Но, полагаю, коли чаша смерти уготована мне, я найду в себе силы испить ее достойно.

— Почему вы назвали Щегловитова, а не Столыпина?

— Потому что Столыпин... Его так охраняют после всех покушений... Столыпин есть Столыпин.

— А вы готовы к тому, чтобы убить его?

— Да, если партия социалистов-революционеров, истинно народная партия, возьмет этот акт на себя, научит меня действию, организует слежение за премьером, выделит мне помощников и руководителя, продумает вопрос возможного спасения...

— Партия не примет такого положения, при котором ей ставят условия, товарищ Богров: однозначное «да» или «нет», «готов» или «не могу».

— Я ведь сам искал вас, Николай Яковлевич, я сам просил Егора Егоровича устроить мне встречу с вами...

— Молодость, порыв, желание революционного аффекта, всяко бывает... В казино часто играете?

— Ни разу не играл...

— Зря. Сегодня в девять встретимся у входа... Успеете добраться до Монте-Карло?

— Ежели дождь кончится...

— Хорошо... В девять... Меня не ищите, я сам вас найду.

— До встречи, Николай Яковлевич, — ответил Богров.

Он успел приехать к девяти, постоял возле входа, освещенного ярким светом газовых фонарей; Николая Яковлевича не было; по-прежнему моросил дождь, словно бы процеженный сквозь сито; воробьи, однако, гомонили совсем по-летнему, как в мае на Крещатике; пошел через мокрый парк в кафе, заказал перно, выпил, не разбавляя водою, ощутил во рту вкус и запах мятных капель — как только французы хлещут эту гадость с утра и до вечера?

«Откуда он узнал про выдачу Рощина? — в который уже раз спрашивал себя Богров, наново анализируя разговор с Николаем Яковлевичем. — Они ничего не могут знать обо мне, ведь я говорил только с Кулябко, рапорта в тот раз не писал, дело было срочное, вечером я рассказал, где будет сходка, а ночью всех взяли. Если бы родилось подозрение, оно бы родилось тогда, три года назад, а я потом встречался с Рощиным, после его побега, он по-прежнему верил мне, нет, нет, у них не может быть подозрений, Кулябко говорил, что если он узнает об опасности, грозящей мне от «товарищей», то сразу предупредит, чтобы я мог скрыться... Если я доведу операцию с проникновением в террор до конца, тогда я стану первым... Кулябко прав. Хотя нет, это будет мое дело вместе с фон Коттеном, а не с Кулябко. Жаль, Кулябко более искренний человек, в нем нет барства, а Коттен все-таки сноб, хозяин...»

Богров вздрогнул, даже голову втянул от ужаса, когда ощутил у себя на плече тяжелую руку; стремительно обернулся: над ним стоял Щеколдин в мокром реглане; лицо доброе, глаза светятся улыбкой:

— Пошли, Дмитрий Григорьевич, простите, что припозднился, глядел, не топают ли за вами, тут ведь охранка тоже довольно игриво работает... Вы, к счастью, чистый, а для нашего дела, особенно будущего, какое вы предлагаете, сие — самое главное.

До казино добрались быстро; Щеколдин не произнес ни слова (ротмистр Асланов особенно отмечал в своем агенте прекрасную особенность: давить жертву не столько словом, сколько молчанием, средоточием, п а у з о й.).

Купив жетонов для игры в рулетку, Щеколдин спросил:

— У вас сколько денег с собою?

— Пятьдесят франков.

— Отец не субсидирует?

— Мне неприятно брать его деньги...

— Отчего?

— Покуда русский народ живет в нищете, стыдно барствовать.

— Барствуют иначе, Дмитрий Григорьевич... Покупайте жетоны, я хочу поглядеть вас в деле...

Они прошли в зал; было здесь сумрачно, низкие зеленые абажуры высвечивали одно лишь изумрудное сукно рулеток; было их здесь восемь, вокруг каждого стола тесно толпились люди; все вроде бы и молчали, однако в огромном зале слышался постоянный тревожный гул голосов, будто на бирже, за момент перед тем как начаться буму. Крупье восседал возле каждого стола как на троне, расставлял по номерам жетоны, словно дирижер, лихо манипулируя своей палочкой.

Щеколдин протолкался к тому столу, где ставки были самые высокие, минимальная — двадцать франков; три игры наблюдал — лицо каменное, бесстрастное; один только раз глянул на Богрова, когда дама с серебряными кудряшками сняла крупный выигрыш, что-то около двух тысяч.

Когда до начала шестой по счету игры осталось несколько мгновений и большинство ставок уже было сделано, Щеколдин сказал Богрову:

— Поставьте все свои деньги на цифру четыре, вы выиграете.

Сам же поставил на семь и на тридцать два, пополам с тридцатью тремя.

Фишка остановилась на тридцати трех; крупье подвинул своей палочкой щеколдинский выигрыш, более

трехсот франков; сдержанно поблагодарил, когда Щеколдин бросил ему через стол чаевые за хорошую игру — жетон в пять франков.

— У вас было предчувствие, что проиграете? — спросил он Богрова.

— Я доверился вам.

— Держите, — сказал Щеколдин, — здесь двести франков. Попробуйте теперь сами.

Богров пожал плечами:

— Я не могу принять ваши деньги, Николай Яковлевич.

— Это н а ш и деньги, — ответил Щеколдин. — Я имею в виду не наш совместный выигрыш, а нечто совершенно другое, думаю, вы понимаете меня?

— Вы хотите сказать, что эти деньги принадлежат не нам?

— Именно это я и хотел сказать.

— И те, кому они принадлежат, хотят, чтобы я проиграл их?

— Те, кому они принадлежат, хотят видеть, к а к вы играете.

— Игра должна кончиться выигрышем, Николай Яковлевич, это — закон, здесь я не выиграю, каждый живет своей методой.

— Так я не держу вас, идите к любому столу и играйте...

Богров отошел туда, где игра начиналась с пяти франков, а не с двадцати, и сделал сразу десять ставок: Щеколдин понял, что тот играет здесь давно, лгал, будто ни разу не был в казино; выиграл семьдесят франков, сел на освободившийся стул, достал из кармана блокнотик и карандаш, начал записывать те номера, на которые падали выигрыши, — так только профессионалы себя ведут, дилетанты быстро проигрываются и отваливают восвояси, лишь м а с т а к норовит выстроить схему; коли, к примеру, давно не выпадало на первую десятку из тридцати шести заветных цифр, надо ставить именно на первые, глядишь, десяток тысяч в кармане, шальные, счастливые, с л а д к и е деньги!

Щеколдин видел замерзшее, отстраненное лицо Богрова и стремительные глаза, алчно следившие за стремительным бегом шарика, пущенного рукою крупье на мягко вертевшуюся рулетку.

«Костистый мальчик, — подумал Щеколдин, — ухватистый. Врет красиво, уверенно; внутри у него сомнения

нет, живет собою, челюсти крепкие, но запугать его можно, слишком высоко о себе думает, а на донышке в нем страх».

Богров выиграл еще два раза, снова по м е л о ч и, потом собрался еще более, спружинился весь, начал кусать заусенцы, сделал крупную ставку, ошибся на одну цифру, проиграл и лишь после этого начал искать глазами Щеколдина; подошел к нему:

— Дайте в долг, до завтра, Николай Яковлевич.

Щеколдин вытащил из кармана толстую, н е с ч и т а н н у ю пачку денег, протянул Богрову молча.

Тот пошел в кассу, вернулся к столу, снова начал ставить по мелочи, пару раз выиграл, потом ж а х н у л тысячу франков на цифру одиннадцать, она еще ни разу не игралась за вечер; шарик остановился на двенадцати. Богров поставил еще одну тысячу на одиннадцать, и шарик вновь лег рядом на десять.

Богров съежился, плечи его расслабились, лицо сделалось серым, и он не сразу даже понял, отчего оказался за столом один: почти все игроки столпились там, где весь вечер стоял Щеколдин. Невысокий, неряшливо одетый итальянец, с толстенной сигарой в углу толстого, безобразного рта, выиграл, поставив на цифру «четыре» сто франков. Крупье подбросил ему тридцать шесть жетонов по сто каждый. Итальянец, не выпуская обслюненной сигары изо рта, сказал крупье:

— Поставьте снова на четыре — все деньги.

За столом сделалось так тихо, что было слышно, как потрескивает табак, когда итальянец глубоко затягивался, так глубоко, что сигара его делалась на мгновение словно бы разрезанной красным ободком шипящего жара.

И снова шарик, стремительно вращавшийся по громадной ребристой рулетке, остановился на цифре четыре.

Прибежал директор казино, следом за ним появились служители в форме, принесли аккуратный ящичек, там — в упаковке — деньги, сто двадцать девять тысяч шестьсот.

— Поставьте все это на цифру четыре, — повторил итальянец и, только сказав это, начал багроветь, будто после апоплексического удара.

Директор вызвал другого крупье, чтоб не было ника-

ких подозрений в сговоре, тот воссел на трон, крутанул шарик, и снова выпала четверка.

Итальянец поднялся и, сгибаясь пополам от истерического смеха, пошел по казино, словно бы подстреленный, никак упасть не может, еще бы, четыре с половиной миллиона, состояние!

— Вот так надо играть, Дмитрий Григорьевич, — вздохнул Щеколдин, наблюдая, как служители накрывали столы черным сукном, — работа казино была прервана, все деньги из кассы взяты под лопату. — А вы — суетились...

— Я должен вам четыре тысячи, — сказал Богров. — Куда принести их вам завтра к вечеру, Николай Яковлевич?

— Не к спеху. Отдадите позже.

— Это долг чести, я не могу...

— Можете, — убежденно сказал Щеколдин. — Пить станем?

— Я бы выпил.

Они зашли в кафе, Щеколдин заказал водки «Попофф», официант, конечно же, не понял, принес две рюмашечки по тридцать граммов, Щеколдин несколько раздраженно дважды повторил:

— Бутылку, я прошу бутылку, понятно, бутылку!

По-прежнему раздраженно проводив взглядом официанта, Щеколдин сказал:

— Мне этих паршивых денег не жаль, Дмитрий Григорьевич, мне жаль другого — вы мелко играли, вы нервничали, вон даже на мизинце до крови кожу обгрызли... А ведь казино — шуточный риск в сравнении с нашим делом... Вы нравитесь мне, в вас есть задор и ум, но, прошу вас, подумайте еще, время пока есть, в какой мере вы готовы к делу? После того как вы скажете «да» и узнаете объект, против которого надо будет работать, отказ выполнить приказ, уклонение от дела означает для вас смерть. Только поэтому я и повторяю вам: думайте, у вас еще есть время. Не скажу, чтоб много, но — есть.

«А ведь я так и пропасть могу, — подумал вдруг Богров. — Не заиграться бы... А что вообще-то значит заиграться? Этот итальянец, который сегодня снял банк казино, играл ведь, но не заигрался? Почему? Фатум? Или был в сговоре с первым крупье, которого потом заменили? Какой смысл тогда было оставлять деньги на четверке в третий раз? Просто он знал, что будет выигрыш,

он был н а д игрою, над нами, мелочевками, он делал главное дело жизни, его ж теперь все узнают».

— Теперь, — усмехнулся Щеколдин, — этого синьора Энрике Грасиани вся Европа узнает, завтра же в газетах раструбят.

Богров вздрогнул даже — так Щеколдин угадал его мысль.

— Да, память многого стоит.

— Она стоит всего, — подтвердил Щеколдин, — ибо одна лишь дает истинное бессмертие.

— Я думал об том же, — невольно для себя признался Богров.

— Я почувствовал. Вы правы, человек, который сможет казнить Столыпина, станет главным человеком мира в двадцатом веке, это уж точно.

— Как мне найти вас завтра, Николай Яковлевич?

— Никогда не задавайте такого вопроса впредь, — жестко отрезал Щеколдин. — Никогда и никому.

Официант поставил на стол бутылку водки, недоуменно поглядев на странного человека, заказавшего столь огромное количество русского напитка, пожелал хорошего вечера и поинтересовался, что будут заказывать себе гости на ужин.

— Спагетти, — ответил Щеколдин; Кулябко проинструктировал его: максимум скромности в тратах на себя, щедрость по отношению к Богрову. — Мне — спагетти, а моему другу дайте самое вкусное из того, что у вас есть.

— Мы можем предложить великолепную мерлусу с лимоном, это наше фирменное.

— Хотите мерлусу с лимоном, Дима? — спросил Щеколдин, точно определив время, когда можно было переходить на дружество, отбрасывая отчество.

— О, спасибо, но это здесь ужасно дорого, я с удовольствием съем, как и вы, спагетти.

Тем не менее Щеколдин попросил принести мерлусу, разлил водку, чокнулся с Богровым и сказал:

— Дима, пока еще о вашем предложении знаю один лишь я, но не знают ни Виктор, ни Абрам... Лучше откажитесь, вы еще слишком молоды, мне, говоря честно, жаль вас...

Виктором был Чернов, вождь партии социалистов-революционеров, Абрамом был Гоц, брат погибшего Михаила, подвижник террора.

Кулябко инструктировал: «Главный козырь — имена вождей — выбрасывайте в конце, когда Богров устанет,

это будет для вас лучшая проверка; по тому, как он среагирует, вы поймете все про его затаенные мысли».

И снова Кулябко оказался прав, потому что Богров спросил:

— Я увижу их перед началом д е л а?

— Вы увидите их потом, Дима, когда сможете убежать сюда... После акта... Я спрашивал вас, готовы ли вы на смерть во имя нашего дела... Человек, который совершит ту р а б о т у, обязан остаться живым, и вы это прекрасно понимаете... Каждому движению нужно живое знамя... Скажите, Дима, вам хочется славы? Погодите, не торопитесь отвечать мне, я очень боюсь услыхать ложь, я боюсь ощутить неискренность... Скажите мне, обдумавши вопрос, ответьте честно, испепеляюще честно, как и надлежит говорить революционеру-террористу...

Богров кашлянул, чувствуя в себе остро вспыхнувший страх. «Меня затягивает, — понял он, — этот человек может погрузить в такую пучину, откуда уж выхода не будет; такой убьет, узнай про меня правду, у него порою глаза останавливаются, как у маньяка».

Но помимо его воли, словно бы кто-то другой, очень маленький и слабый, неуверенный в себе, быстрый, как зверек, алчущий ласки человека, у которого большая и сильная рука, ответил:

— Я не стану лгать, Николай Яковлевич, я испытываю ужас перед разверзшимся молчанием могилы, перед вечной неподвижностью, перед крышкой гроба и гвоздями, которые проржавеют, покроются черной теплой плесенью... Да, я боюсь этого, а потому уповаю на память, которая вечна... На память поколений по тем, кто отдает себя на алтарь революции... На ее кровавый, ужасный алтарь... Но я не могу и не хочу быть слепою пешкой в руках неведомых мне мастеров борьбы, против этого восстает мое существо; я готов на все, но в союзе равных.

— Сколько времени вы еще думаете пробыть в Ницце?

— Я изнываю здесь от тоски и одиночества.

— Научитесь отвечать на вопрос однозначно, Дима. Итак, сколько времени вы можете прожить здесь?

— Сколько потребно делу.

— Хорошо, этот ответ меня устраивает.

Щеколдин снова разлил по рюмкам, выпил не чокаясь; потер лицо, улыбнулся своей внезапной, располагающей улыбкой:

— Мне пора. Пейте, Дима. Пейте. Вы весь издерган-

ный, выпить как следует — единственный способ прийти в себя...

Наутро Богров отправил телеграмму в Петербург, Коттену, попросил срочно выслать сто пятьдесят рублей золотом, о проигрыше в казино не писал, но объяснил срочную потребность в средствах д е л о м.

В тот же день фон Коттен поручил деньги ему отправить.

Он, однако, их не востребовал, через два месяца они вернулись в петербургскую охранку.

«ТОЛЬКО ПО БИСМАРКУ: «ДОЛГО ЗАПРЯГАТЬ, НО ЗАТО ЕХАТЬ БЫСТРО!»

7

На рауте у британского посла Курлов, как всегда, шумно и весело выпил, облобызался с греческим генеральным консулом (не иначе как беглый армянин, слишком уж горазд по-русски), легко и достойной прокомплиментировал жене бельгийского посланника (действительно душка, и глазенки умные), обсудил с болгарским чрезвычайным министром ситуацию в Черногории и Босне, а затем, когда гости постепенно разбились на группы по и н т е р е с а м, присоединился к Триполитову и Дмитрию Георгиевичу Беляеву, тузам питерской и московской биржи; Триполитов, однако, торопился на день ангела к дочери, пригласил Курлова на свой островок в заливе, посулив рыбалку, посетовал на то, что министерство внутренних дел до сих пор тянет с ответом на поправки к проекту по страховому вопросу, а рабочие из предпринимателей жилы тянут; с тем и откланялся.

Беляев и Курлов отошли от стола, уставленного довольно скромными явствами (британцы всегда скупердяйничали, особенно коли было загодя известно, что не пожалует никто из членов августейшей фамилии; правда, было вдосталь прекрасного эля и джина), устроились возле широкого окна, и, обсмотрев друга друга наново, одновременно рассмеялись.

— Кто начнет? — спросил Курлов. — Готов отвечать за моих волынщиков, я в курсе страхового вопроса.

— Ах, да при чем здесь страховой вопрос? — ска-

зал Беляев. — Я что-то не возьму в толк, куда вообще дело идет, Павел Григорьевич?

— То есть как это так «куда»? — удивился Курлов. — По обычному нашему пути, милый Дмитрий Георгиевич, в никуда, коли не к полнейшему бардаку!

— За такие слова ваши молодчики в околоток заберут!

— Они у меня знают, кого брать, а кому благодарность принесть за скорбь и боль по государеву делу... Давайте — от души, выкладывайте...

— Ах, милый Павел Григорьевич, когда шеф российских жандармов предлагает высказываться от души, сразу начинаешь вспоминать знакомых по Восточной Сибири, кто — в случае чего — на службу пристроит в тамошнем акцизе... — Беляев поманил лакея, кивнул на рюмку, тот сразу же подлетел с джином, наполнил высокий стакан, принес льда, лимона с содовой, намешал п о й л а, отпорхнул столь же бесшумно, как и приблизился. — Биржа пока стоит, — попробовав лесной влаги из высокого тонкого стакана, продолжил он, — и вроде бы ничего трагического нет, но коли вбуровиться в толщу проблемы, страшно делается... Я виню не только вас, центральную власть, я виню то, что происходит на местах, Павел Григорьевич... Никакой хозяйственной жизнедеятельности, кругом одни «не пущу» и «не велено»! Нельзя же так, нельзя! Чтобы поставить строительный завод в Новороссийске, компаньонам пришлось обойти следующие ведомства: губернаторство, дворянское собрание, пожарную комиссию, санитарный контроль, водный регистр, линейное управление железных дорог юга империи, уездное отделение вашего ведомства, — правда, не впрямую, а через знакомцев; статистическое бюро при земском управлении, ведомство по надзору за здравоохранительными учреждениями, городскую управу, дирекцию порта и землеустроительное бюро. Что-то я наверняка упустил...

— Ничего, и перечисленного хватит, чтобы потерять год жизни, — вздохнул Курлов. — Что вы хотите, аграрная страна, гигантские просторы, некое отталкивание всего, что связано с чрезмерно скоростной, машинной техникой... Поставили хоть дело или тянут?

— Третий месяц ждут ответа из санитарного контроля... Тот требует заключение портовиков, а наши мореходы не дают, настаивая на просвященном мнении эскулапов. Иван кивает на Петра...

— При том, что в стране острейшая нехватка строительного материалу.

— Именно.

— И вы полагаете, — медленно спросил Курлов, — что в этом виновата местная власть? Побойтесь бога, Дмитрий Георгиевич! Или — хитрите, не желаете называть вещи своими именами? Мы во всем повинны, мы! Санкт-Петербург! Кабинет министров! Мы боимся поломать привычное, жалимся обидеть губернаторов, потерять опору на местах, мы, Дмитрий Георгиевич, норовим удержать все как было, но ведь невозможно сие, никак невозможно!

— Это вы говорите, Павел Григорьевич, вы, а не я! — улыбнулся Беляев. — Я лишь так думаю, а вот революционеры на этом строят свою пропаганду! Неужели и дальше так пойдет, неужели мы и впредь будем жить по-азиатски, лениво и внутренне зло друг к другу?!

— Именно так и будем жить! Именно так!

— Тогда ждите краха! Биржа такой инструмент, который не обманешь, цена — она и есть цена, приказом ее не поправишь! Объясните мне, отчего все так?! Отчего?

— Будто сами не понимаете...

— Понимал бы — не спрашивал, Павел Григорьевич!

— До тех пор, — упершись взглядом в зрачки собеседника, скрипуче сказал Курлов, — пока кабинет возглавляет человек, сделавший ставку на представителей одного лишь аграрного класса, до тех пор, покудова вопросы промышленности и банка видятся ему в обличье бунтаря на баррикаде или Шейлока возле банковского сейфа, не ждите никаких изменений, он выше своей головы не прыгнет... А вы — молчите, по углам шепчетесь, а мне секретная информация о вашем недовольстве приходит, и оседает эта информация в пыльных шкафах, наверх не идет, кто ж на самого себя решится бочку катить?!

Беляев невольно оглянулся; Курлов захохотал в голос:

— Соглядатаев боитесь? Пока я в л а в к е — не бойтесь, всем известен мой патронаж промышленному делу, пока могу — оберегаю вас, но ведь не вечен я, Дмитрий Георгиевич, не вечен, а паче того, бесправен, коли называть вещи своими именами.

— А мы? Марионетки. Задавлены министерствами, беззаконием, инерцией страха, дремучими традициями... Что мы можем Павел Григорьевич? Что?

Курлов молчал, по-прежнему глядя в зрачки собеседника, словно бы гипнотизировал его, подсказывая: «А ты спроси совета, спроси, я — отвечу».

И тот спросил:

— Как надо поступать нам — пока еще можем, — дабы помочь делу в империи?

— Газеты в ваших руках, мощные газеты, Дмитрий Георгиевич, а сие — сила. Неужели нет у вас толковых людей, которые так же, как мы с вами, радеют о судьбе державы? Пусть бабахнут от души. Пусть по мне бабахнут, по министерству промышленности пусть ударят, по...

Беляев понял сразу, отчего Курлов оборвал себя:

— Вот-вот... Цензура не пустит. Главу трогать ни-ни!

— А ум зачем даден? У нас все между строк читать горазды, мы не Англия, где премьера допустимо в статье ослом назвать, ничего, кроме смеха читателей, от этого не станется, а посмеявшись вдостоль, осла повалят! Так ударьте ж! Иначе — вас вскорости стукнут, да так, что костей не соберете!

— Если нас начнут бить, на ком империя стоять будет?

— А кого сие волнует, мой дорогой друг? Кого? Нас в мир пускают ненадолго, свое б отжить, а там — хоть потоп! Не вздумайте на меня ссылаться, но, сдается мне, этой осенью правительство намерено такие налоги с вас взвинтить, что не очухаетесь!

— Так ведь будем вынуждены понизить оклады рабочим, выйдет бунт!

— Во-первых, не позволят вам понижать оклады, с чернью намерены заигрывать, пугать вас ею, а потом, сейчас армия оклемалась, харчат неплохо, станет стрелять, не девятьсот пятый год, слава богу! Во-вторых, коли шелохнетесь хоть в малости, сами ж и окажетесь во всем виновными, вы знаете, как у нас умеют находить козлов отпущения. Вы — в углу. Загнаны и заперты. Но — молчите. А впрочем, что ж это я, право?! Пока при деле, оклад содержания платят, есть ли резон вас агитировать, Дмитрий Георгиевич?

— Есть, оттого что вперед думаете, — ответил Беляев. — Только вот беда: поговорили случаем, да и разнесло разными ветрами...

— Понадобится нужда во встрече, звоните доктору Бадмаеву, я у него лечусь, поспособствует... И не ведите вы, бога ради, разговоров при секретарях, они ж на со-

держании у нас! Мало вам клубов, где можно обо всем перемолвиться?

— Там тоже трудно, — вздохнул Беляев. — Мне Гучков сказал, что в Английском клубе все лакеи — от вас, о с в е щ а ю т октябристов, меня в том числе.

— Ну уж и «все»! — улыбнулся Курлов. — Вы нашу мощь не преувеличивайте, себя особенно не пугайте, мы тоже по смете живем, а она далеко не бездонна... Но вообще-то верно, освещают всех октябристов, поди нарушь указание премьера! Составьте-ка вы, покуда еще не поздно, записку о положении в промышленности на высочайшее имя. И называйте вещи своими именами: да, именно правительство совершенно не радеет об индустриальном деле, да, именно исполнительная власть никак не думает о стратегии промышленного развития империи — до сих пор своих рельсов не хватает, станки волочем из-за моря, швейную машинку и ту не умеем произвесть; Путилов чуть не плакал, рассказывая, как сметное управление министерства режет ему оклады содержания для наиболее головастых инженеров, требует от него, чтоб он за место платил и за время, отсиженное на оном, а не за идею. А дымная англичанка платит за мысль, пусть господин инженер хоть и вовсе на фабрике не появляется! Вот вы по чем шандарахните, милый мой человек... И найдите ход в Царское Село, не вздумайте пускать через кабинет, я это ваше обращение первым же и похерю, мои службы зубасты, не я — над ними, а они надо мною, коли правде смотреть в глаза.

...Через два дня Бадмаев сообщил: зашевелились; Беляев, будучи человеком высокоторговым, никому и словом не обмолвился, от кого пришла к нему и д е я; начал катить бочку на Кабинет министров; пошел шорох: «Столыпин засиделся, помещик, не понимает нужд промышленности, а урок японской катастрофы доказал — без чугуна, стали и железных дорог самая сытая армия обречена на разгром; пора менять; называют фамилию преемника — Александр Иванович Гучков; после столыпинского ультиматума ушел в отставку с поста председателя Государственной думы, затаил обиду на бывшего друга, а человек большой силы и мужества, этот может повести за собою кабинет...»

...Получив такого рода информацию, Курлов задействовал своего партнера по биржевым операциям, нефтяника Георгия Александровича Манташева. Вместе с Бадмаевым они думали о дальневосточном стомиллион-

ном проекте, такой слова лишнего не скажет, ибо тот лишь болтает, у кого за душой одни эмоции и никакого реального интереса; тот, кто знает свою выгоду — близкую или дальнюю, — будет молчать, хоть пытай...

«ГЛАВНОЕ — ЗАПУТАТЬ», КАК СОВЕТОВАЛ РАЧКОВСКИЙ»

8

Брат Спиридона Асланова был моложе его на три года; звали его Богдан; работал в компании Манташева; поскольку прекрасно знал персидский и французский языки, часто выезжал за границу с деликатными поручениями; оплату получал ш т у ч н у ю.

Он то и окликнул Богрова на улице, когда тот выходил из пансионата мадам Лефевр, у которой семья киевского адвоката обычно останавливалась с января по апрель.

Богров отчего-то испугался, увидав продолговатое, асимметричное, иссиня-бледное лицо с громадными, в ы в а л и в а ю щ и м и с я глазами.

— У меня письмо вам, — сказал Асланов, — от Николая Николаевича.

— От какого Николая Николаевича? — удивился Богров деланно. — Это имя мне не знакомо.

— Хорошо, хорошо, — поморщился Асланов. — Все понимаю, но вы прочтите хотя бы, как-никак полковник Кулябко...

Богров по-прежнему колебался.

— Я — брат Спиридона Асланова, это вас успокоит?

— Нет, вы явно меня с кем-то спутали. — Богров поворотился и быстро вернулся в пансионат; поднявшись в свою маленькую комнату, заперся, подкрался к окну, выглянул на улицу из-за занавески; пусто, Асланова не было.

«Видимо, Коттен не отдал Кулябко нашего пароля, — подумал Богров, успокаивая себя. — Не может быть, чтобы эсеры устроили такую страшную проверочную провокацию. Если Асланов от Кулябко, он найдет возможность прийти ко мне иначе, я поступил совершенно правильно».

Однако тревога не оставляла его, поэтому от котлет, приготовленных мамой, отказался, из дома не выходил,

затаился, ногти грыз исступленно, то и дело ходил в ванную за перекисью водорода.

Асланов позвонил вечером, предложил любую форму встречи.

— В конечном счете я могу отправить вам это письмо по почте.

— Повторяю, мне совершенно неизвестен никакой Николай Николаевич, перестаньте мистифицировать меня.

— Как вам будет угодно... Только Николай Николаевич просил передать на словах, что Женя Орешек исчез и он очень за вас — в этой связи — волнуется.

Кличку «Женя Орешек», данную в охране младшему брату легендарного террориста Рысса, дал сам Богров, когда получил задание отыскать его накануне задуманной анархистами экспроприации филиала Московского купеческого банка; никто более, кроме него и Кулябко, этой клички не знал; «Крепок орешек, — смеялся тогда Богров, — да все равно разгрызем, не такие грызли».

— Хорошо, — сказал Богров, — сейчас выйду.

— Я буду около вас через десять минут, из отеля звоню.

— Здесь многие знают русский.

— Меня предупреждали.

...Рука действительно была Кулябко.

«Дорогой друг. Верьте человеку, которого я послал на встречу с вами. Он передаст вам средства бóльшие, чем вы попросили телеграммой у дяди Миши. (Богров не сразу сообразил, что Кулябко таким образом назвал Коттена.) Ни в чем не отказывайте себе, когда речь идет о вашем благополучии, а паче — безопасности. Дядя Миша, думаю, не до конца понял, какую вы начали грандиозную работу против Вити и Абрама. Я получил сведения от моих братьев из Парижа, что ваше предложение принято Витей и Абрашей, этими выдающимися подвижниками святого дела. Давай-то господь! Один вам помощник в этом деле — я, дорогой друг, я, а никак не дядя Миша. Так что возвращайтесь не в Питер, а сюда, ко мне, к родному очагу, тут все и договорим. Теперь о неприятном: Орешек наш закатился куда-то, и никак я его сыскать не могу. Очень он был сердит на Диму («На какого Диму? — снова не понял Богров. — Это верно, я»), считая его виновным в неприятностях, связанных с временным прекращением работы в банке.

Категорически — кто бы к вам ни пришел с этим разговором — отрицайте свою причастность к банковским аферам, у него нет никаких тому доказательств, лишь гнусные подозрения. Пожалуйста, кроме вашего нового друга, не встречайтесь ни с кем, сколько бы интересными ни были предложения, возможно в с я к о е. («Господи, — пронеслось в мозгу, — это что ж, меня казнить намерен Рысс-младший, что ли?! Неужели провал, боже мой?!») Письмо это сожгите в присутствии того, кто вам его передал. Потребуйте, чтобы этот человек, которому я верю б е з у с л о в н о, задрал рукав: вы должны увидеть татуировку, русалка, а один глаз у нее прищурен. После этого выслушайте то, что он вам скажет на словах. «Племянником» буду называть того, кем интересуется ваш парижский друг, против кого замышлено д е л о, «Тетушкой» — будет тот, кого вы ему предложили для дела, а он вас спросил, отчего бы не начать именно с нее. Азефа я назову «Игорем», «друг Ник. Ника» — это вы; «университет» — моя контора. Ясно? Ваш Коля».

Письмо сжег в присутствии Богдана Асланова; русалка на левой руке армянина щурилась сладострастно; пошли гулять по набережной; Асланов говорил заученное:

— Мне поручено передать вам дословно следующее: «Николай Николаевич сделает все, чтобы сохранить его друга от возможной мести Орешка, однако и сам друг должен предпринять определенные шаги, доказав приятелям Орешка свою нужность в ближайшем будущем, когда Племянник с Тетушкой поедут в начале сентября на каникулы в Киев. Причем, как это ни парадоксально, интересы приятелей Орешка и друга Николая Николаевича, да и ряда других близких вам по духу людей, смыкаются, ибо Племянник совершенно одержим лишь польским, финским и еврейским вопросом, ни о чем другом не думает и советы сколько-нибудь здравомыслящих людей отвергает. После того как Племянник предал не только Игоря, но и тех, кто работал вместе с ним, от него отвернулись все наши братья, он остался один, и его уход угоден. Боюсь сказать, но коли он не уйдет, ежели сможет одолеть Тетушку («Неужели Тетушка — это действительно царь?»), мне будет плохо, так плохо, что придется уйти из университета, и тогда вы останетесь один, без постоянной дружеской руки. На дядю Мишу, как, наверное, могли убедиться, надежда плохая. Повторяю, я говорю вам все это, потому что отношения наши,

смею считать, дружеские, а я несу за вас ответственность не перед кем-нибудь — перед своею совестью. Человек, который вам передаст все это на словах, брат моего друга, на которого обрушился несправедливый гнев Племянника; я верю ему абсолютно, ибо он к тому же находится в положении, близком вашему, за ним постоянно следят, и жизнь его под угрозой ежеминутно, но я помогаю, покуда могу. Словом, передайте другу, что если даже Витя и Абраша откажутся от встречи д о, настаивайте на гарантиях п о с л е. В случае если вдруг Орешек обнаружит вас там, куда приехал мой посланец, п о т р е б у й т е права на объяснение и во время этого объяснения признайтесь в вашем намерении решить спор с Племянником осенью. Встреч со мною не ищите, я стану находить вас, чтобы не подвергать вас опасности со стороны проходимцев, для которых жизнь человеческая — ничто».

Кончив читать заученное, Асланов достал из кармана большой голубой платок и отер лоб, покрывшийся испариною.

— Пять дней зубрил... Все поняли? Могу еще раз повторить.

— Сколько времени вы здесь пробудете?

— Завтра я должен уехать.

— Когда увидите Николая Николаевича?

— Вообще-то я его и в глаза не видел...

— То есть?! — изумился Богров и резко обернулся, ему показалось, что именно сейчас и бросится на него кто-то с длинным шилом, отточенным до голубого, безнадежного холода.

— Меня отправлял брат... Понимаете? Видимо, он и встречается с Ник. Ником.

— Как вы узнали меня? Почему окликнули именно меня, когда я выходил из пансионата?

— Потому, что мне показали ваш фотографический портрет.

— Какой именно? Я их делал несколько.

— В студенческой тужурке, очень молодой, смеетесь...

— Кто делал портрет?

(«Если старик Ниренштейн с Горки, — подумал Богров, — то все в порядке, именно этот портрет я передал Кулябко, других более нет нигде, значит, посланец действительно из Киева».)

Асланов между тем остановился, наморщил лоб, вспоминая; Богров успокоился, убедившись, что этот черня-

вый письма Кулябко не читал, иначе б не удержался, мог ответить: «Вам же написали, что мне надо во всем доверять».

— Ваш портрет... Одна минуточка... Кажется, Ниренштадт... Во всяком случае, фамилия хозяина дагерротипа начинается с «нирен»... Концовка может быть другая, но принадлежит немцу или еврейчику...

«Кулябко не сказал ему, что я не русский... Никто не подозревает во мне иноплеменца, просто-таки никто... — Богров думал сейчас устало, видимо, переволновался, слушая послание Кулябко. — Надо будет попросить его прочесть еще раз».

Асланов прочитал еще раз; на этом и расстались; Богров обещал позвонить в отель, где остановился связник, и пригласить его к телефонному аппарату: «Месье Горштайна просит месье Мендель».

Звонить этому странному месье «Горштайну» Богров не стал; еще раз с удивлением пересчитал деньги, присланные Кулябко, — пять тысяч франков; что значит друг, сердце как чувствовало — в беде!

Последовавшие за этой нежданной встречей дни Богров спал мало, очень похудел, из дому не выходил, страшась звонков и стука в дверь; сказал родным, чтобы к телефону не подзывали, разыгрались нервы, хочу полежать спокойно в кровати, почитать...

Читать, понятно, не мог.

Шок, который он ощутил, выслушав послание Кулябко, не проходил; наоборот, с каждым часом он чувствовал себя все более и более ужасно; лихорадило; слышались странные голоса, будто кто идет навстречу по темному подземному коридору, говорит о нем, Богрове, обсуждая форму приведения в исполнение приговора; с детства, когда нянька уронила его с купальни в теплую озерную воду, испытывал страх перех гибелью в водорослях; живот вздует, язык вывалится, синий, словно телячий, и черви из ушей ползут, белые опарыши; а голос все ближе и ближе: «бросить с лодки»; стремительная мысль: «Я уцеплюсь за борт, пусть чем угодно бьют, не станут же они пальцы кинжалом резать?!»

Поняв, что уснуть — не уснет, попросил у тети пилюлю, забылся в тяжелом, холодном сне, но когда открыл глаза, то шума в висках не было и страшный голос из гулкого подземного коридора не мучил более словами о казни через утопление.

«Неужели все так ужасно, — услышал самого себя

Богров, — что действительно и г р а со Столыпиным, начатая для того, дабы выйти на боевиков и подняться к вершинам сыска, по странности судьбы, делается не игрою, а р а б о т о й, чтобы спасти себе жизнь от этого одержимого Орешка? Неужели возможны такие невероятные пересечения? Неужели это же необходимо Кулябко? Но почему?! Отсюда читаешь газеты — в России тишь, да гладь, да божья благодать... А выходит — нет? Хорошо, но при чем здесь Азеф? Почему он вспомнил дело Азефа? Зачем связал это дело со Столыпиным, а через него — со мною и Орешком?»

Будучи человеком въедливым, хоть и поверхностным по своей сути (и такого рода несовместимости бывают), Богров отправился в Публичную библиотеку, запросил книгу стенограмм заседаний русской Государственной думы и прочитал речь Столыпина.

Он не сразу понял тревогу Кулябко, и, лишь сделав выписки, проанализировав их наново дома, он ужаснулся от понимания того, на что намекал ему Николай Николаевич.

Ужасаться воистину было отчего.

«Правительство должно совершенно открыто заявить, что оно считает провокатором только такое лицо, — говорил Столыпин, — которое само принимает на себя инициативу преступления, вовлекая в преступление третьих лиц, которые вступили на этот путь по побуждению агента-провокатора. Таким образом, агент полиции, который проник в революционную организацию и дает сведения полиции, или революционер, осведомляющий правительство, не может считаться провокатором. Но если первый из них наряду с этим не только для видимости, для сохранения своего положения в партии высказывает сочувствие видам и задачам революции, но вместе с тем одновременно побуждает кого-нибудь совершить преступление, то, несомненно, он будет провокатором, а второй из них, если будет уловлен в том, что играет двойную роль, что он лишь в части сообщал о преступлениях революционеров правительству, а в части сам участвовал в тех преступлениях, несомненно, станет тягчайшим уголовным преступником. Но тот сотрудник полиции, который не подстрекает никого на преступление, который и сам не принимает участия в преступлении, почитаться провокатором не может.

Кто же такой Азеф? Я ни защищать, ни обвинять его не буду. Такой же сотрудник полиции, как и многие

другие, он наделен в настоящее время какими-то легендарными свойствами.

По расследовании всего материала, имеющегося в министерстве внутренних дел, оказывается, что Азеф в 1892 году живет в Екатеринославе, затем он переезжает за границу, в Карлсруэ, кончает там курс наук со степенью инженера, в 1899 году переселяется в Москву и остается там до конца 1901 года. После этого он уезжает за границу, где и живет до последнего времени, лишь наезжая в Россию, о чем я буду говорить дальше. Отношения его к революции — опять-таки по данным департамента полиции — таковы: в 1892 году он в Екатеринославе принадлежит к социал-демократической организации, затем, переехав за границу, вступает в ряды только что сформировавшегося в то время союза российских социал-революционеров; затем в Москве он примыкает к московской революционной организации, упрочивает там свои связи и сходится с руководителем этой организации Аргуновым. К 1902 году относится первое его знакомство с Гершуни, Гоцем и Виктором Черновым. Это — люди революционного центра. Первые двое играли главнейшую роль в революции — Гоц в качестве инструктора, а Гершуни в качестве организатора всех террористических актов. В это время влияние Азефа растет; растет именно благодаря этим влиятельным знакомствам; в это время он получает и некоторую случайную, но, благодаря именно этим связям, ценную для департамента полиции осведомленность. К концу 1904 года и относится вступление Азефа в заграничный комитет партии. Заграничный комитет не есть еще тот центральный комитет, который дает директивы и руководит всеми действиями революционеров. В это время, после ареста в 1903 году Гершуни, — опять-таки по сведениям департамента полиции — во главе боевого дела партии находится Борис Савинков, и только после ареста Савинкова, с 1906 года, Азеф, уже в качестве члена центрального комитета, подходит ближе к боевому делу и становится представителем этой организации центрального комитета. Таким образом, с мая месяца 1906 года, по сведениям департамента полиции, Азеф получает полную осведомленность о всех террористических предприятиях, а до того времени осведомленность его была случайная и далеко не полная.

В число сотрудников Азеф был принят еще в 1892 году Он давал сначала показания департаменту полиции,

затем, когда приехал в Москву, поступил в распоряжение начальника охранного отделения, но посылал свои донесения и непосредственно заведующему особым отделом департамента полиции Ратаеву; затем переехал во второй раз за границу, опять давал сведения непосредственно департаменту полиции, а когда назначен был директором департамента Лопухин, то вернулся в Петербург и оставался там до 1903 года. Затем из-за границы сносился опять с департаментом. В 1905 году поступил в распоряжение упоминавшегося тут Рачковского, который в то время заведовал политическим отделом: в конце 1905 года Азеф отошел временно от агентуры и затем работал в петербургском охранном отделении. Конечно, временами, когда Азефа начинали подозревать в партии или после крупных арестов, которые колебали его положение, он временно отходил от агентуры, но потом опять приближался к ней.

Вот, господа, после выяснения отношения Азефа к службе розыска и к революции позвольте мне перейти к террористическим актам того времени для того, чтобы выяснить, как понимал департамент, как понимало министерство отношение его к этим актам. Но прежде позвольте мне установить одно обстоятельство: во всех выдвигаемых против Азефа обвинениях его имя связывалось с именем Рачковского. Так вот, я хотел выяснить, как тут, впрочем, и говорилось, что Рачковский до 1902 года действительно заведовал особым отделом департамента, но в 1902 году он вышел в отставку и был в отставке до 1905 года. В том году генерал Трепов был назначен петербургским генерал-губернатором, и Рачковский был снова принят на службу, зачислен чиновником особых поручений и откомандирован в его распоряжение. Генерал Трепов, став товарищем министра, заведующего полицией, поручил Рачковскому управление политическим отделом департамента полиции, которым он и руководил до конца 1905 года, а затем с 1906 года Рачковский уже никаких поручений, никаких обязанностей по министерству внутренних дел не исполнял. Никто из должностных лиц, в том числе и Рачковский, никогда и ни в какой мере не были прикосновенны к террористическим актам и иным преступным предприятиям революционеров. Несомненно, что это относится к тому времени, когда Рачковский исполнял активные поручения по департаменту полиции, а никак не к настоящему времени».

(«Господи, как же он своих предает! — похолодев, ужаснулся Богров. — Без жалости!»)

«...Я повторяю, что ни защищать, ни обвинять Азефа я не намерен. Я передаю только те данные, которые имеются в распоряжении министерства внутренних дел. Поэтому, чтобы беспристрастно отнестись к роли Азефа, надо, как мне кажется, поставить себе четыре вопроса: во-первых, где был Азеф в это время? во-вторых, какое положение было его в партии? в-третьих, какие сведения и данные сообщал он за это время полиции, и затем, проверяла ли полиция (на это, кажется, тут кто-то и указал) деятельность своих сотрудников после совершения этих террористических актов? Я на этом остановлюсь особенно потому, что Азеф именно в это время был в России и, по тем данным, о которых я раньше сообщил, еще близко к боевому делу не стоял, а знал только то, что могли сообщить ему сильно законспирированные центровики. Где был Азеф — это удостоверяется его письменными донесениями из разных городов России, так что по числам можно совершенно ясно установить, в каком городе когда он был. Я должен сказать, что он ездил в это время в Уфу и имел там свидание с братом Сазонова, Изотом, сообщал о том, что Изот не имеет сведений о своем брате Егоре, бежавшем из тюрьмы и готовящем что-то чрезвычайно важное. Затем четвертого июня Азеф появляется в Петербурге и открывает департаменту полиции, что лицо, погибшее во время взрыва в «Северной» гостинице, во время приготовления бомб, очевидно для покушения на статс-секретаря Плеве, был некто Покатилов, что соучастники его находятся в Одессе и в Полтаве. После этого он немедленно едет в Одессу, откуда сообщает, что планируется покушение на статс-секретаря Плеве, что оно отложено только потому, что не приготовлены бомбы. Примерно через месяц после этого Плеве погибает от руки именно Егора Сазонова посредством брошенного им разрывного снаряда. В это время, однако, Азефа в России уже нет, так как от шестнадцатого июля имеется его телеграмма из Вены. После такого потрясающего преступления, как удавшееся покушение на министра внутренних дел, департамент полиции, конечно, расследовал, что делал в это время его сотрудник. Директор департамента Лопухин выписывает заведующего агентурою Ратаева из-за границы, изучает все дело и оставляет Азефа на службе, на которой он и находится за все время директорства Лопухина. Вот те

внешние сведения, которые имеются в департаменте полиции по делу статс-секретаря Плеве.

Допустим, что Азеф по наущению правительственных лиц направлял удары революционеров на сановников, неугодных администрации. Но, господа, или правительство состоит сплошь из шайки убийц, или единственный, возможный при этом выход — обнаружение преступления. И я вас уверяю, что если бы у меня были какие-то данные, если были бы какие-либо к тому основания, то виновный был бы задержан, кто бы он ни был».

(«Господи, — снова в ужасе подумал Богров, — да ведь каждому эсеру в Париже известно, что именно Азеф организовал убийство Плеве! Что же это такое, боже?!»)

«Не безвыгодно, — продолжал между тем Столыпин, — распускать нелепые слухи про администрацию, так как посредством такого рода слухов, посредством обвинения правительства можно достигнуть многого, можно переложить, например, ответственность за непорядки в революции на правительство. Можно, господа, этим путем достигнуть упразднения совершенно секретной агентуры? упразднения чуть ли не департамента полиции? Эту ноту я подметил в речах предыдущих ораторов; я подметил их надежду на то, что само наивное правительство может помочь уничтожить преграды для дальнейшего победоносного шествия революции.

А насколько такого рода секретная агентура губительна для революции, насколько она в революционное время необходима правительству, позвольте мне объяснить, что когда в конце 1904 года в заговорщицко-боевой отдел польской социалистической партии вошли два провокатора, то отделу в течение почти целого года не удалось, несмотря на все усилия, убить варшавского генерал-губернатора, двух приставов и освободить одного арестованного, причем все планы террористов рушились и почти вся группа была арестована. А с конца 1905 года в боевой организации так называемых провокаторов уже не было. Тогда-то за один лишь год были ограблены опатовское, либартское и мазавецкое казначейства на сумму более полумиллиона рублей, совершены экспроприации на сумму около двухсот тысяч рублей, убиты военный генерал-губернатор, помощник генерал-губернатора, один полковник, два подполковника, два помощника пристава, воинских чинов двадцать, жандармов — семь, полицейских — сорок два, а всего сто семьдесят девять человек;

произведено десять взрывов бомб, причем убито восемь и ранено пятьдесят лиц; разгромлено и ограблено сто сорок девять казенных винных лавок...

Правительство, пока я стою во главе его, никогда не будет пользоваться провокацией как методом, как системою. Но уродливые явления всегда возможны! Я повторяю, что когда уродливые явления доходят до правительства, когда оно узнает о них, то оно употребляет против них репрессивные меры. Я громко заявляю, что преступную провокацию правительство не терпит и никогда не потерпит...»

«Значит, — понял Богров, — я не кто-нибудь, а государственный преступник, ибо не просто освещаю, но подталкиваю к действию для того лишь, чтобы по-настоящему выявить; значит, Петр Аркадьевич хочет одно готовенькое получать, а как это делается — его не интересует, а коли ты что не так сработал — пожалуйте на каторгу или под пули террористов! Он свысока о нас, на ком стоит сыск, говорит; он брезгует нами, дураку не понятно... Как же так — власть, а против нас, истинной опоры?! Значит, пути назад мне нету уже? Я ведь согласился с Николаем Яковлевичем: добровольно принимаю на себя обязанность, выход из террора чреват смертью... Господи, где ж раньше был Кулябко?! Почему Коттен *на это дело пошел?! Что, не знал он, что ль, про эту речь* Столыпина?! Значит, плевать ему на меня семь раз?! А Кулябко?! Что Кулябко?! Он единственный и проявил благородство: предупредил об опасности, денег прислал и правду сказал про то, что происходит... Каково-то ему было на такое решиться?!»

...Сел на поезд, отправился в Париж, оттуда в Швейцарию; остановился в Женеве; трижды ездил в Цюрих и Берн, посещал рефераты, на которых выступали социал-демократы обоих направлений; хвост, поставленный за Богровым французскими друзьями Асланова-младшего, сообщал обо всех, с кем подопечный встречался, а также про то, какие выступления слушал на рефератах и как на них реагировал.

(Кулябко обрадовало следующее сообщение: «Объект пришел на реферат, читанный соц.-дем. большевистского направления, членом ЦК РСДРП поляком «Юзефом», в 19.50, за десять минут перед началом. Ни с кем в контакт не входил. Юзеф говорил о политике правительства; Богров реагировал особенно остро на пассажи, зачитанные Юзефом из работ «Ильина» в связи с рос-

сийским министерским кризисом, о том, что столкновение различных тенденций буржуазного развития России не стояло на очереди дня, ибо о б е эти тенденции были придавлены «Зубром», отодвинуты назад, загнаны вовнутрь, заглушены на некоторое время. Средневековые зубры не только заполнили авансцену, но и наполнили сердца самых широких слоев буржуазного общества, настроением веховским, духом уныния, отреченства. Не столкновение двух способов преобразования старого, а потеря веры в какое бы то ни было преобразование, дух «смирения» и «покаяния», увлечение антиобщественными учениями, мода на мистицизм... — вот что оказалось на поверхности.

Из приводимого ниже отрывка Богров сделал какие-то выписки, получить которые нам не удалось. Ерзал, когда говорилось, что после трех лет самого бесшабашного разгула контрреволюции н а р о д н ы е м а с с ы, больше всего угнетенные, придавленные, забитые, запуганные всякого рода преследованиями, снова начинают поднимать голову... Три года казней, преследований, диких расправ уничтожили десятки тысяч одних «врагов» самодержавия, заперев в тюрьмы и услав в ссылку сотни тысяч других, запугали еще сотни и сотни тысяч третьих. Но миллионы и десятки миллионов теперь уже не те, чем они были до революции... Когда в 1895 году начались непрерывные массовые стачки, это было началом полосы подготовки народной революции. Когда в январе 1905 года в один месяц число стачечников перешло за 400 тысяч, это было началом самой революции. Когда в 1908 году число стачечников резко упало сразу (176 тысяч) и еще резче в 1909 году (64 тысячи), это означало конец русской революции, или, вернее, первой полосы революции. И вот с лета текущего года опять начинается подъем... Пролетариат начал. Другие, буржуазные, демократические, классы и слои населения продолжают... Смерть Льва Толстого вызывает — впервые после долгого перерыва — уличные демонстрации... Зверства царских тюремщиков, истязавших в Вологде и Зерентуе наших товарищей каторжан, подняли еще выше брожение среди студентов... В первой русской революции пролетариат научил народные массы бороться за свободу, во второй революции он должен привести их к победе!

Особенно напряженно Объект слушал мнения «Ильина», переданные Юзефом, по поводу министерского кризиса. Он записал для себя пассажи про то, что политика

Столыпина была для октябристов заманчивым... обещанием. «Обещание», по признанию октябристов, не оправдалось... На самом деле политика Столыпина была не обещанием, а политической и экономической реальностью последнего четырехлетия... Организованные в национальном масштабе представители дворянского крупного землевладения и верхов торгово-промышленного капитала проводили, осуществляли эту реальность... Со всей добросовестностью, со всем усердием, не щадя живота, не щадя даже мошны, октябристский капитал помогал этим попыткам и теперь вынужден признать: не оправдалось... Трехлетие октябристского «мирного и любовного жития» со Столыпиным не прошло бесследно: шагнуло вперед экономическое развитие страны, развились, развернулись, показали себя (и исчерпали себя) «правые» — все и всяческие «правые» — политические партии... Старое сдвинуто с места. Ни левый, ни правый центр нового не реализовали... Особенный интерес у Объекта вызвала цитата ведущего публициста правого лагеря г-на Громобоя, приведенная в реферате, составленном по статьям «Ильина»: «Глядя на весь этот разрытый копошащийся муравейник — услужливую печать, услужливых ораторов, можно только, по-человечески жалея их, коротко напомнить, что П. А. Столыпину служить уже нельзя — можно только прислуживаться...»

На этих словах Объект поднялся и стремительно вышел из зала».

Кулябко убедился — п о п а л.

...Через неделю в Цюрихе к Богрову подошел Николай Яковлевич. Вечер провели вместе; сказал, что партия благословляет его на п о д в и г.

— Возвращайтесь в Россию, я найду вас. Но желательно, чтобы вы переехали обратно в Киев, Дима. Петербург — трудное место для работы, столыпинские ищейки свирепствуют вовсю. Я думаю, вам разумнее обосноваться на старом пепелище... Где поместье вашего отца? В Кременчуге?

— Да.

Поживите лето там, мне будет спокойнее приехать туда. Это удобно?

— Что? — рассеянно переспросил Богров, потому что не мог оторвать взгляда от сутулой спины человека, сидевшего возле окна, в глубине зала маленького кафе, куда они зашли со Щеколдиным, — ему казалось, что это Рысс-младший, Орешек.

— Я спрашиваю — в какой мере мне будет ловко приехать в поместье вашего отца, — повторил Щеколдин, точно зная причину того панического ужаса, который был нескрываем на лице Богрова, в мелко затрясшихся руках, в испарине, обильно выступившей над верхней губой, во всем его потекшем облике.

— Да, да, вполне удобно, — ответил тем не менее Богров, заставив себя отвести взгляд от спины человека, так напоминавшего ему Орешка-Рысса.

— Что с вами? — поинтересовался Щеколдин. — Вы чем-то взволнованы?

— Я? Отчего же, вовсе нет, совершенно напротив...

— Кого вы заметили, Дима?

Богров обернулся к Щеколдину, уставился в его лицо немигающе, подумав: «А что, если он привел сюда Рысса нарочно и они лишат меня жизни прямо здесь? Или же выволокут на улицу, а там кричи не кричи — тишина, никого нет, здешние из окон даже не выглянут, тут не Россия, не заступятся; воткнут в печенку голубое шило, отволокут к реке, и — все!»

— Отчего вы решили, будто я кого заметил?

— Слежки за собою не чувствовали?

— Нет.

— Но пытались обнаружить?

— Пытался... Только я не знаю, как это делается...

— Кого вам напоминает тот человек в углу? — требовательно спросил Щеколдин. — Вы знаете его? Кто он?

— Я... Я не знаю... Мне показалось, что я видел его сегодня дважды... На улице... Да, он шел по улице... Но он не оборачивается...

— Встаньте, подойдите к нему и, глядя ему прямо в глаза, спросите: «Могу ли просить у вас спички?»

— Но это не принято на Западе, для этого есть официант.

— Вы — иностранец, вам можно все. И сфотографируйте его лицо, заложите в анналы своей памяти. Вам сейчас нужно тренироваться, каждый день тренироваться в том, чтобы память была абсолютной, Дима. Ну, ступайте же...

— Сейчас...

— Шпики не стреляют. Или вас пугает что-либо другое?

«Кулябко передавал, что я вправе потребовать объяснений и выставить алиби, — стремительно подумал Богров. — Но тогда Николай Яковлевич уйдет. Я бы ушел на

его месте. Ну и хорошо! Он же втягивает, и я теперь боюсь этого! Но и Кулябко говорит, что в этом спасение. Господи, куда я иду? Зачем не стать маленьким, незаметным, зачем не забиться в угол и переждать эти страшные времена?! — Мысли его были быстрые, рваные, но при этом логично выверенные, словно бы перед тем, как он услышал их, кто-то невидимый сформулировал их и взвесил. — Будь проклят тот день, когда я потянулся к славе, памяти, триумфу!»

Богров медленно поднялся, каменно ступая, пошел по желтому, хорошо струганному полу, прокрашенному олифой, остановился возле того столика, за которым недвижно и одиноко сидел человек, так напомнивший ему Рысса-младшего, проклятого негрызучего Орешка; надо ж было охотиться за ним, иродом, пусть бы себе грабил банки, кровосос...

Огромным усилием воли он заставил себя сделать еще три шага; за столиком, обросший, уставший, с запавшими глазами, действительно сидел Орешек.

— Сядь, Богров, — сказал он. — Сядь... Я так давно хотел посмотреть тебе в глаза. Один на один. И — не в России...

«НЕ ТОЛЬКО ПРАВЫЕ, НО И ЦЕНТР СКАЖЕТ «БРАВО!»

9

Письмо от Манташева из Москвы Курлову привез личный секретарь доктора Бадмаева, вполне надежный человек.

Встреча Манташева с лидером кадетов Павлом Николаевичем Милюковым состоялась за обедом, в ресторане Энгельбрехта, на Страстном бульваре.

Манташев, предваряя запись собеседования весьма оптимистическим пассажем, ликовал: «Дорогой друг! Полагаю, что как бы ни развивались события на нашем политическом небосклоне, мы отныне имеем в кармане неразменную ассигнацию — и не от кого-нибудь, а от самого приват-доцента*.

Как мы и договорились с вами, я, никак не затрагивая имен, начал беседу с исследования точки зрения оппонента на цикл очерков П. Б.**, прямо, с моей точки

* П. Н. Милюков, вождь кадетов.

** П. Б. Струве, кадет, в прошлом марксист.

зрения, означавших отход партии конституционных демократов от своих прежних позиций по национальному вопросу к тому кредо, которое в значительно большей мере свойственно ныне правительству.

Доцент на это ответил в том смысле, что его партия ни в коем случае не согласится со слепым национализмом П. А.*, что мнение П. Б. — его личное мнение, никак не разделяемое большинством членов ЦК.

«Не только потому, что у нас в ЦК достаточно членов является не православными, не потому, что нас поддерживает ряд иноверческих банковских кругов, — я от вас этого не намерен скрывать, да вы наверняка имеете и свою по этому вопросу информацию, — но я, русский, до последней капли русский, воспитан в том смысле, чтобы жандарму и антисемиту руки не подавать. А ныне П. Б. придумал, изволите ли видеть, «культурный антисемитизм» в противовес «звериному антисемитизму». И какова же между ними разница? Она, оказывается, состоит в том, что евреям необходимо «узнать «национальное лицо» той части русского конституционного и демократически настроенного общества, которая этим лицом обладает и им дорожит. И, наоборот, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо есть только у антисемитского изуверства». П. Б. полагает, продолжал доцент, что русский национализм сейчас сделался антиправительственным, радикальным течением и выражает интересы своего народа...

На мой вопрос, как партия станет относиться к практике П. А., если он еще больше ужесточит национальные ограничения в польском, кавказском и финляндском вопросе, доцент ответил, что это вызовет в империи кризисную ситуацию. «Когда господин Пуришкевич требует в Думе принудить поляков, грузин и финнов даже думать на русском языке, я отдаю дань эмоциональности и бесспорной талантливости моего постоянного оппонента по части режиссерского мастерства, рассчитанного на галерею зрителей, заполненную дворниками из «Союза русских людей», но если подобное произнесет премьер, тогда мы окажемся на грани гражданской войны, племенной розни, неуправляемого, кровавого процесса».

Я спросил, какова будет позиция ЦК кадетов в случае, если подобное свершится. Доцент ответил, что он

---

* П. А. Столыпин.

не берется даже предсказать возможностей, ибо все еще верит в государственный такт премьера.

«Даже после того как он распустил всех вас, словно школьников на внеочередные каникулы, и в это время устроил порку шалунам?» — спросил я.

Собеседник долго молчал, было видно, что мой вопрос крайне ему неприятен. Потом он заметил: «Мы оказались неподготовленными к той трагедии, которая разыгралась во время его ультиматума в марте и роспуска Думы. Сейчас мы готовы к подобного рода неожиданностям, наш удар будет сокрушительным».

Когда я сообщил ему, что, по сведениям, пришедшим ко мне от вполне серьезных людей, П. А. намерен осенью начать дальнейшие атаки на нерусские национальности, доцент задал вопрос: «Будет ли эта атака состоять во фразах, посвященных русскому могуществу, то есть, — он усмехнулся, — будет данью «культурному национализму», о котором стал радеть П. Б., или же он намерен принять прямые меры, направленные к дальнейшему ограничению прав инородцев?»

Как мы и уговорились, я ответил, что в недрах министерства готовится проект, еще более ужесточающий права инородцев, безусловно предусматривающий русификацию окраин.

«Что ж, — сказал доцент,— мы тоже примем свои меры».

Он добавил, что в позиции П. Б. есть, конечно, один момент, ставящий его в весьма выгодное положение, когда он формулирует разницу между «национализмом творческим», открытым, и «замкнутым», охраняющим былины, а потому «оборонительным». «Я полагал, что этот аспект концепции П. Б. был как-то обговорен с П.А., ищущим сейчас возможность для оформления новой коалиции после того, как часть правых отшатнулась от него, а глава октябристов Гучков даже сложил с себя полномочия лидера Думы. Неужели ж П. А. не воспользуется подсказкой П. Б.?»

У меня мелькнуло соображение, а не есть ли публикация П. Б. своей концепции по русскому национальному движению некоей игрою, конечная цель которой заключается в том, чтобы привлечь П. А. на сторону конституционалистов? Не есть ли в таком случае эта игра совершенно любопытной интригою самого доцента? Не есть ли это сражение за Думу, за раскол октябристов и изоляцию правых националистов? Но уж эту мою до-

гадку Вам исследовать, на то Вам Ваша светлая голо вушка!»

Курлов долго сидел над письмом Манташева, потом дал задание особо доверенной агентуре войти в контакт с Милюковым, чтобы получить от него статью в лондонскую прессу, где доцент должен был бы заранее отмежеваться от всякого рода крайностей Столыпина, если тот действительно на них решится.

...Таким образом, и октябристы зашевелились против Столыпина после давешней беседы на британском рауте с биржевиком Беляевым, а теперь и кадеты вздрогнули

Следовательно, общественное мнение России — разрешенное к жизни верховной властью — еще до того, как кончились летние каникулы, заулюлюкало против Столыпина, погнало, словно зайца на охоте: «Ату его!»

Теперь надо поддерживать эту атаку, сделать ее постоянной, чтобы то, чему положено случиться, было следствием настроения общества, некоей трагической, однако тем не менее исторической необходимостью.

Газеты — практически все, кроме самых крайних, — чуть ли не каждодневно (кто прямо, а кто завуалированно) долбили Столыпина со всех сторон; время охоты — азартное время, псы надрываются, стонут; охотники сосредоточены; егеря отчаянно веселы, и в глазах у них мечутся шальные отсветы приближающегося кровавого игрища...

«TO PROVOKE» — СОВСЕМ НЕ ОБИДНО; ПЕРЕВОДИТСЯ ПРОСТО: «ВЫЗВАТЬ ДЕЙСТВИЕ»

10

— Сядь, Богров, — повторил Рысс. — Я должен задать тебе несколько вопросов.

— Сейчас неудобно, — ответил Богров, заставив себя улыбнуться. — Рад тебя видеть, Орешек! Отчего такое странное обращение ко мне? Почему «Богров»? Зачем не брит? Давно ли здесь?

«Кулябко говорил, — вспомнил он, — что надо ставить много разных вопросов, когда беседуешь с интеллигентным человеком, чем-то на тебя прогневанным. В силу своей природы он обязан отвечать, хоть и совершенно односложно, а ты выгадываешь время на то, чтобы принять решение и определить для себя манеру последующего разговора, в случае коли его нельзя избегнуть. — Богров думал устало, быстро, но — логично:

страшась смерти, мысль работает странно, по своим законам, часто противным самому характеру данного человека. — Я назначу ему встречу. Или скажу, что приду за его стол позже. Только б позже».

— Сядь, — повторил Рысс в третий раз. — Я вожу тебя второй день, Богров...

— «Водишь»? По-моему, это термин охранки. Ты взял на вооружение их терминологию? Что произошло, Орешек?

— Палец моей правой руки лежит на собаке браунинга, Богров, — тягуче сказал Рысс. — Если ты сейчас не сядешь напротив меня и не ответишь на те вопросы, которые я обязан тебе поставить, я выстрелю. Это грозит мне — я уже посоветовался со здешними правозаступниками — пятью годами тюрьмы, поскольку я стану стрелять в человека, подозреваемого в провокации.

— Ты сошел с ума, Гриша! — прошептал Богров, медленно обваливаясь на стул, подставленный ему Щеколдиным, который подошел мягко, неслышно, по-кошачьи, из-за спины.

— Сядьте, — сказал Щеколдин. — Сядьте, товарищ Богров. Эта встреча не случайна. Ее организовал я.

— Как? Почему? В чем дело? — монотонно, не надеясь уж на ответы, с т а в и л Богров вопросы, считавшиеся Кулябко спасительными.

— Дело в том, — мягко и неторопливо ответил Щеколдин, — что Орешек обратился в нашу организацию с просьбой расследовать причины провала группы товарищей-анархистов. Он не обвинил вас прямо в провокации, но сомнения его — не только в ваших поступках, но и в поступках ряда других членов организации — обязаны быть исследованы. Вы готовы ответить на вопросы, товарищ Богров?

— Я готов ответить на все вопросы, но позвольте мне выразить недоумение, что вы не сказали мне обо всем заблаговременно. Это есть форма недоверия, и, ответив вам, я прерву с вами все отношения, Николай Яковлевич.

— Вы — можете. А я должен получить санкцию Виктора на то, чтобы прервать мои с вами отношения, товарищ Богров. Ясно? Товарищ Рысс, ставьте вопросы.

— Где ты был в тот день, когда охранка захватила все наши группы? — спросил тот.

Устраивая Рыссу-младшему побег, Кулябко знал, что два его сотрудника поплатятся арестом, судом, ссылкой

в отдаленные районы Сибири, но это было не впервой ему; старший брат Орешка играл втемную с Кулябко, тоже бежал фиктивно, и тоже трое охранников были отданы в закланье во имя дела провокации, но они стоили этого, ибо Кулябко — через старшего Рысса — хотел войти в боевку эсеров.

Он не стал вербовать Орешка, он устроил иную и г р у, тонкую, косвенную, замыслив конечным ее результатом абсолютный, подконтрольный с л о м Богрова

И Рысс и Богров были статистами в этой игре; Щеколдину была уготована роль суфлера, но и то ему дали посмотреть лишь несколько страниц из той пьесы, авторами которой были Кулябко и Спиридович; Курлов — лишь косвенно, тот м е л о ч и отводил от себя, страховался...

— Для этого я должен знать хотя бы меся́ц, день и место, когда это случилось, — сказал Богров.

— Ты не знаешь?

— Если бы знал, не спрашивал...

Рысс посмотрел на Щеколдина. Тот сидел безучастно, глядя прямо перед собою, лицо — как маска.

— Аресты были проведены Кулябко в ночь на седьмое, — сказал Рысс.

— Месяц? — уточнил Богров, увидав вдруг со стороны происходящее; страх исчез; неожиданно в нем возникла какая-то шальная радость: он, Дмитрий Богров, никому дотоле не известный студент из Киева, сейчас подобен героям великой литературы, и он жив, и при Николае Яковлевиче этот псих не станет стрелять, а доказательств у него никаких; надо перейти в атаку, когда приспеет время, а пока не торопиться и отвечать спокойно, с юмором, оскорбленно. — Седьмых чисел в году двенадцать, Орешек.

— Это был июль.

— Где тебя взяли?

— Я — не в счет. Меня волнует судьба товарищей, до сих пор погребенных в казематах тюрем и на каторге

— Хорошо, я ставлю вопрос иначе: где взяли товарищей?

— В Киеве.

— Но я в июле был в Петербурге. И в июне тоже. И в августе. Тебе нужны подтверждения?

Щеколдин, не повернув головы, по-прежнему упершись взглядом в одну точку прямо перед собою, заметил·

— Подтверждения не требуются, товарищ Богров сказал правду.

— Ты встречался в Киеве с работниками охранки, Богров? — спросил Рысс.

— Да.

— С кем?

— Не знаю имени.

— Когда?

— В девятьсот шестом, когда был арестован... Меня пытались вербовать в тюрьме...

— П ы т а л и с ь?

— С тех пор прошло пять лет, Орешек, и я доказал свою верность революции посильною на нее работой. Назвать людей, которые могут подтвердить мою честность? Которых я скрывал, помогал уходить за границу, ссужал деньгами, хранил у себя их оружие и литературу...

— Называть имен не надо, — так же монотонно сказал Щеколдин. — Это правда... Но я хотел бы знать, каким образом вы были освобождены из тюрьмы, — без суда, без срока...

— У них не было улик — раз; я был несовершеннолетним — два; я ни в чем не признался, как они ни бились, — три; у отца связи — четыре... И не я один был освобожден, почти вся наша студенческая группа...

— Меня взяли значительно позже, — гнул свое Орешек. — Ты приезжал в Киев в ноябре?

— Да.

— Кого ты там видел?

— Тебя.

— Кого еще?

— Нечитайло, Ефима, Ивана.

— Как ты узнал их адреса?

— Ефим нашел меня в Петербурге, просил приехать, помочь с организацией склада литературы. Я это сделал.

— Когда Ефим приезжал к тебе? — Орешек даже подался вперед. — Этого не может быть, он не отлучался из Киева!

— Значит, кто-то из нас двоих врет, — сказал Богров. — Или ты, или я.

— Лжет товарищ Рысс, — медленно обернувшись к Богрову, сказал Щеколдин. — Я располагаю данными о том, что Ефим приезжал в Петербург к Богрову, более того, он жил в его комнате.

— Где Ефим? — спросил Богров.

— Исчез.

— То есть как? — не понял Щеколдин. — Убит, замучен на каторге, погиб в ссылке? «Исчез» — это для Александра Дюма, товарищ Рысс.

— Повторяю, он исчез, — ответил Орешек, и какая-то быстрая, странная тень промелькнула на его лице.

Щеколдин и Богров заметили эту пролетевшую тень одновременно.

— Ефим — кристальной чистоты человек, — сказал между тем Богров. — Я верю ему абсолютно.

— Где Нечитайло? — спросил Щеколдин.

— Живет нелегально, — ответил Орешек.

— Он — в работе или отошел?

— В работе.

— Провалов не было в тех кружках, с которыми он связан?

— Нет.

— А где Иван? — продолжал Щеколдин.

Орешек вытянул руки перед собою (только что правую вынул из кармана, правда ведь, палец держал на собаке, курке), хрустнул суставами:

— Николай Яковлевич, меня не устраивает такого рода беседа. Вы априори берете под защиту Богрова.

— Я никого не беру под защиту. Точнее сказать — мы всегда берем под защиту правду. Вы не выдвигаете никаких обвинений против Богрова. Вам подозрительно, что он оказался последним, кого вы видели на воле. После этого вас взяли. Давайте исследовать эту версию... Богров был у вас на явке?

— Нет, — ответил Орешек.

— Где вы увидались?

— На квартире Ганны.

— Она провалена?

— Нет.

— Вы ее подозревали?

Орешек снова хрустнул суставами:

— Я подозреваю ее. Не подозревал, но подозреваю.

— Кого вы еще подозреваете?

— Ефима.

— А еще?

— Даурина.

— Кто это?

— Хозяин явки.

— На воле?

— Нет, был арестован, выпустили через месяц...

— Значит, на воле, — уточнил Щеколдин. — Вы занимались исследованием ваших подозрений против перечисленных товарищей?

— Нет. Все они в России, а там за мною шли по пятам.

— И вы решили обрушиться на Богрова, не так ли?

— Мне непонятна ваша интонация, Николай Яковлевич, — заметил Орешек. — Я ни на кого не обрушиваюсь. Я хочу знать правду.

— Мы хотим знать ее не меньше, чем вы, товарищ Рысс. Свое подозрение против Богрова вы строите на том, что он был последним, кто вас видел перед арестом. Весомое обвинение. Накануне провала вы виделись лишь с одним Богровым?

— Нет, — после паузы ответил Орешек.

— С кем еще?

— Человек не имеет отношения к нашему делу...

— Девушка?

— Да.

— Вы были у нее дома?

— Да.

— В доме есть дворник?

— Да.

— Адрес?

— Не назову.

— Ваше право. Что еще на Богрова?

— Пусть он ответит, знает ли он Ежикова.

— Ответьте, Богров. — Щеколдин незаметно для двоих стал уже третейским судьей, вел свою роль достойно, выверенно.

— Знаю, — сказал Богров.

— Кто он? — спросил Щеколдин.

— Мерзавец, — ответил Богров. — Он не идейный анархист, а обыкновенный убийца. Он внутренний черносотенец. Он примазывался к движению, чтоб закрыть свои грехи, — бандиту нужен моральный авторитет анархизма. И я ему открыто сказал об этом при всех.

Щеколдин посмотрел на Рысса, спросил:

— А он — скорее всего, в камере — убеждал вас в том, что Богров выдал вас охранке. Так?

Тот молчал.

— Товарищ Рысс, вы обратились к нам за товарищеской помощью, извольте в таком случае отвечать на вопрос.

— Да, это правда, он сказал, что Богров — охранник, что его завербовали, что он получает оклад содержания...

— Сколько же я получаю? — спросил Богров, торжествуя победу. — Сколько мне платит охранка?

— Сто рублей.

— Мало платят, — Богров рассмеялся. — Мне отец дает на карманные расходы пятьдесят, а квартира, одежда, питание стоят ему еще двести... Да у Кальмановича я зарабатываю сто... Так что без денег охранки мне никак существовать невозможно, Орешек... Что же касается нашей встречи в Киеве, то просил бы записать все то, что я делал после встречи с тобою... И запомнить фамилии...

Все это время Богров лихорадочно думал, кого поставить себе в защиту из тех известных революционерам людей, которые подтвердят его алиби; волновал его вечер, с восьми до десяти, когда они ужинали на конспиративной квартире Кулябко; там-то Богров и подсказал, что Орешка надо брать у его подруги, на Горке: оттуда, с конспиративной, полковник позвонил в охрану и назвал адрес, просил поработать с дворником, чтобы все подозрения сошлись на нем, видимо, не доработали...

— Так вот, Орешек, после встречи с тобою... Ты, кстати, помнишь, о чем шла речь?

— Я-то помню. А ты помнишь, как спросил меня, куда я иду?

— Помню. А вот ты мой совет помнишь?

Рысс нахмурился, не ответил, вспоминал.

— Я повторю. Я сказал тебе: «Орешек, у тебя очень приметная внешность, дворники таких не любят, покрасился бы хоть». Помнишь? Ты вспомнишь, и когда ты вспомнишь, то попросишь, и я со своей стороны попрошу выяснить личность дворника в доме родителей Люды Хазиной, твоей любимой. Это легко выясняется, это стоит четверть водки околоточному, он скажет, связан дворник с черной сотней или же нет, он подтвердит, был ли от него сигнал в охранку, а если был, то когда именно. Словом, это можно выяснить так же, как и то, что после встречи с тобою я был у правозаступника Гаврилова, он наш товарищ, он не провален, к счастью, и я у него постоянно бываю, и вообще никто из наших с тобою общих друзей не был провален, так-то... А потом я ужинал в студенческой столовой, и там был Денис, я доставал ему денег, он сейчас на

кумысе, ты его знаешь, он после ссылки харкал кровью... И мы с ним пришли ко мне домой... Это было поздно (было действительно поздно, только это было назавтра, после выдачи Орешка, но кто запомнит дату, особенно человек, которого ты вытащил из могилы?!), и я написал отцу расписку, что обязуюсь вернуть ему деньги, взятые в долг... Под проценты... Да, да, родному отцу... И прямо из дому поехал с Денисом на ночной поезд и посадил его в вагон... И вернулся домой часа в три утра...

— У меня больше нет вопросов к товарищу Богрову. У вас, товарищ Рысс?

— Вы поможете мне получить информацию по дворнику? — ответил тот вопросом, не глядя на Богрова.

Щеколдин поднялся, кивнул.

— Мы найдем вас. Отдохните пока что, нервы у вас совершенно измотаны...

Когда Орешек ушел — согбенный, маленький, жалкий, — Щеколдин тягуче спросил:

— А теперь, товарищ Богров, ответьте-ка мне на главный вопрос: отчего вы так испугались, увидав за столиком Рысса?

Богров пожал плечами; он, как актер, почувствовал успех, уверенность вернулась к нему; в голове взблескивали обрывки каких-то красивых слов; явственно слышалось свое имя, повторенное тысячеустной толпой, восторженно и недоумевающе.

— Непонятно? — спросил он.

— Есть два ответа, — сказал Щеколдин.

Богров покачал головою:

— Только один, Николай Яковлевич.

— Какой же? — ищуще спросил Щеколдин, готовясь приблизиться к Богрову, но тот, словно бы почувствовал это, отодвинулся.

— Стыд, Николай Яковлевич. Стыд. Я — на свободе, с деньгами в кармане разъезжаю по свету, а этот несчастный, после каторги, после пережитого ужаса, не может ни побриться, ни даже чашку кофе себе заказать — заметили небось, минераль только пил... За что такая несправедливость среди тех, кто борется за всеобщее равенство? Почему так?! Каково мне смотреть ему в глаза, мне, барину от революции?

— Оттого-то в террор и идете, Дима, понимаю вас. — Щеколдин вздохнул. — Я теперь принял ваше предложение окончательно, поздравляю вас, товарищ Богров.

Но теперь вам предстоит самое главное испытание...

— Я готов на все.

Щеколдин покачал головою:

— Это неправда.

— Правда.

— Нет. Вы же не готовы на предательство?

Богров рассмеялся:

— Да уж, увольте!

Щеколдин, продолжая улыбаться, закончил:

— А ведь придется, Дима... Наша акция не будет успешной, коли вы не сможете нащупать кого-то в охранке...

— То есть?!

— Царь со Столыпиным поедут этим летом в Киев, Чернигов и Ялту. Только там возможно проведение акта. Охранников будет более двух тысяч... Сквозь их кордоны не пройти... Акт может провести лишь тот, кого охранка знает и не боится... Готовы на то, чтобы попробовать приблизиться к ним?

— Вербоваться, что ль? — брезгливо спросил Богров. — Новый Азеф, от которого затем отрекутся как Черов с Кропоткиным, так и Столыпин с царем?

— Погодите, не злитесь... Ваш отец — звезда на киевском небосклоне... Он бывает в дворянском собрании, где собирается и жандармский корпус, и даже Кулябко, Николай Николаевич, кровавый мракобес, глава охранки... А ну, попробуйте подкрасться, не вербуясь? Наладив добрые отношения... Вербовку партия вам не разрешит, а о т н о ш е н и я — что ж, это — другое... В конце концов великий поэт Некрасов во имя святого дела с главным охранником в карты играл... Ну? Как?

Богров ничего не ответил, достал из кармана деньги, присланные Кулябко, протянул их Щеколдину:

— Благодарю вас; здесь четыре тысячи.

Деньги эти Щеколдин вернул Кулябко; тот подержал пачку в руке, улыбнулся:

— Тяжесть эко приятна, а? Оставьте себе, детишкам на конфеты.

— Благодарю, — сдержанно поклонился Щеколдин.

— Это не стоит благодарности... Это — мой долг за время, потраченное вами. Благодарить будет ваш учитель, он ищет вас и ждет, какое-то, как он говорит, крайне важное дело...

Щеколдин знал об этом: наколка на воротилу-сахарозаводчика была богатой, афера могла принести не менее ста тысяч одномоментной прибыли.

— Значит, вы убеждены, что Богров пойдет на безумие? — задумчиво повторил Кулябко. — Решится поднять руку на святое?

— Вполне.

— А — не играет?

— Исключено. Поверьте, все-таки моя профессия приучает к точности, риск слишком велик.

— Вы расстались на том, что Николай Яковлевич прибудет к нему в поместье?

— Да.

— Именно вы или — как мы и уговорились — любой человек с таким псевдо?

— Как уговаривались.

— Где вы будете летом? В России? Или поедете в Париж?

— Там сейчас сложно... Я буду в Киеве... До начала сезона дождей, во всяком случае...

— Я обращусь к вам за помощью, коли разрешите?

— Конечно. В порядке тренинга — крайне полезная работа.

— Благодарю вас, мой друг, от всего сердца благодарю.

...Асланов, убивший Орешка той же ночью, когда он вышел из кафе после беседы с Богровым, убрал и своего друга Щеколдина; тело почетного потомственного гражданина, «зверски зарезанного налетчиками-гастролерами», было предано земле; на панихиду приехали коллеги из Москвы и Баку; поминки гуляли красивые, закуски готовил лучший кулинар Киева Микола Ровный; было сказано много слов о покойном; представитель судебной палаты пообещал найти преступников, совершивших это злодейство, поцеловал руку щеколдинской матери; затем разбились по группам; началось обычное в таких случаях обсуждение будущего и осмысление прошлого, а Щеколдина будто бы и не было на земле вовсе....

«ТОЛЬКО Б ДЕТИ ЖИЛИ ИНАЧЕ...»

I

Отец социал-демократки Анны, варшавский предприниматель, хоть и страшился дочери, избравшей путь бунта, тем не менее сделал все, что мог, дабы получить разрешение на вызволение из тюрьмы своего внука Адама, сына Франека, родившегося в камере недоношенным, сморщенным, крошечным.

В дом к себе, однако, младенца не взял, но помог устроить его в приют известного врача доктора Корчака.

Именно туда, к Корчаку, поздним вечером и пришел Франек.

Корчак знал, что отец больного ребенка — нелегальный, близок к лидерам социал-демократии, живет по чужому документу, объявлен к розыску по всем городам и весям империи; поэтому, когда услышал в телефонном аппарате чистый, чуть ломкий голос, назвавший себя другом пани Анны, доктор все сразу понял, сказал, что к нему можно приходить в любое время, он будет в приюте допоздна, так что часы встречи совершенно не лимитированы.

...Франек был одет, как всегда, в роскошный костюм, с жабо, — к барам полиция не приглядывалась, а пунцовый румянец на выпирающих скулах объясним — при такой-то внешности — разгулом, шальной бессонницей, кутежами.

— В приюте никого, кроме меня, — сказал Корчак, пожимая длинную, сухую ладонь Франека. — Чувствуйте себя в безопасности, я понимаю ваше положение, пан...

— Домский.

Он провел Франека по коридорам, крашенным легкой зеленой краской; глаз отдыхал, закрой веки, услышишь шум березовой рощи, остановился возле двери на втором этаже особняка, осторожно открыл ее, пригласил кивком головы Франека следовать за собою; тот привалился к косяку, силясь сдержать сердцебиение; почувствовал удушье, испугался, что вот-вот забьет кашель.

Корчак достал из колыбели маленький белый конверт, поднял, коснулся губами выпуклого лобика младенца, протянул Франеку:

— Держите красавца... Ваша копия.

Франек подошел к Корчаку, принял на руки сына, заглянул в его смуглое истощенное лицо, тихо сказал:

— Пан доктор, у меня чахотка... Я могу поцеловать сына?

Тот резко взял мальчика, словно бы защищая его от отца, сокрушенно покачал головою:

— Ну, как же вы так, право?! Пожалуйста, выйдите отсюда, пан Домский...

— Мне так хочется полюбоваться маленьким...

— Я понимаю, но погодите же, я опрошу вас, послушаю стетоскопом, а потом, если найду возможным, сделаю вам марлевую повязку... Смотрите, какой красавец у вас родился, какой прекрасный человечина, разве можно рисковать его здоровьем?

Корчак отвел Франека к себе, заставил снять рубашку, долго слушал его, сокрушенно качал головой, вздыхал.

— В общем-то все в порядке, — бодрым голосом солгал он. — Вас кто постоянно наблюдает?

Франек усмехнулся:

— Охранка.

Корчак вдруг ожесточился:

— Для того чтобы бороться с охранниками, надо быть мало-мальски здоровым человеком! А у вас не легкие, а кузнечный горн! Вам надо уехать в горы, на два-три месяца! И лишь потом рисковать спускаться к нам, в долину! Нельзя же так, право! Я могу позволить вам лишь издали любоваться сыном... Давайте-ка примерим марлевую повязку... Трудно дышать? Говорите честно.

— Трудно...

— Я вам дам чесноку и лука, — сказал Корчак, — как каждый еврей, я держу в достатке и здесь, и дома... Переносите чеснок?

— С трудом.

— Придется перенесть... Я нарежу вам мелко, перенесете... И тогда я позволю вам побыть в одной комнате с Адамеком... Чеснок и лук убивают заразу..

Франек сидел на стуле, в пяти шагах от Адамека, который спал недвижно, маленький, туго запеленутый конвертик; ротик квадратом, лишен материнской груди, поэтому, верно, такой обиженный...

Материнство... Какая огромная тайна сокрыта в этом понятии... Мать — символ святой доброты и одновременно — прародитель общества ужаса, где нет ни права, ни

чести... Какая страшная противоестественность... Именно в образе матери сокрыт смысл смены поколений, идея преемственности, бесконечность, надежда на продление памяти... Но любовь к ребенку неразрывно увязана с жестоким принципом наследования, который есть альфа и омега семьи, а она — фермент государства, живущего гнусными законами, совершенно отличными от тех, каким изначально предана мать... Жестокий парадокс; поддается корригированию или нет — вот в чем вопрос? Древние греки не понимали высокого значения кормящей матери, у них не было ни одной скульптуры, посвященной материнству, — сплошной культ плодородия, сытость, довольствование минутным наслаждением... И — в противовес этому — насилие времен инквизиции вознесло культ матери, когда пронзительная, чувственная Мария стала сдержанной Божьей матерью, когда забота о ребенке соединилась с выражением идеи длительности, которое тем не менее надобно было подтверждать кровным династическим правом... Вот какие игрушки, мой Адамек... Чтобы тебе стало хорошо и спокойно, я должен три месяца жить в горах, тогда я смогу прижать тебя к сердцу, и услышать, как ты спишь, и прикоснуться губами к твоему лобику, и ощутить твое тепло... А чтобы все это стало доступным мне, я обязан отринуть самого себя, отказаться от своей идеи, и твоя мама тоже, и мы вкусим спокойного счастья, и будем рядом, и нам не страшны станут годы, потому что ты будешь расти, а потом у тебя появится любимая, и после ты принесешь в наш дом своего маленького, и мне будет совсем не ужасен мой последний час, оттого что я буду видеть, слышать, а потому — знать, что я о с т а л с я в тебе и твоих детях... И как невелика плата за это: жить подольше в горах, пить козье молоко, дышать студеным синим воздухом ущелий и не думать про то, что какие-то другие матери рожают рабов, без права на мысль, хлеб и на честь, будь же ты проклято, сердце, которое и есть на самом деле кровоточащая память человеческая... Я бы мог обратиться с молитвою к Христу, мой Адамек, но как же мне просить его, если он, пришедший в этот мир с идеей добра, с материнской идеей, стал ныне суровой моралью повелевания и всевластвования? А если Бог человеку не в помощь, то кто же? Надежда на соседа, добрая надежда, но ведь ты — тоже сосед людям, мой сын... Ты простишь своего отца, Адам? Вправе ли ты простить мне то, что ты лишен

меня и мамы? Кто даст мне это прощение? Но ведь не себе я ищу счастия, не себе!

— Пан Домский, — ладонь доктора Корчака легла ему на плечо. — Пойдемте ко мне... Вы задерживаете дыхание, это плохо... Вы отдохнете у меня, а потом я позволю вам подняться к Адамеку еще раз... Пошли...

В кабинетике Корчак поставил на спиртовку кофе, поинтересовался, не голоден ли гость; недоуменно, заново обсмотрел Домского, когда тот сказал, что ему всего тридцать три, вполне можно дать пятьдесят, потом спросил:

— Вы боретесь оттого, что это стало для вас привычкой, или действительно верите, будто жизнь можно изменить хоть в малости?

— Действительно верю... Доктор, а отчего у мальчика ссадина на виске?

— Трудные роды... Его сюда привезли ко мне, словно стебелек, в чем только жизнь... Нет, нет, сейчас он набирает, сейчас все позади... Это пройдет, очень красивый ребенок, он — ваша копия...

— Мне кажется, сейчас еще об этом преждевременно говорить, комочек, разве можно понять, каким он станет?

— Я готов нарисовать портрет будущего человека в первый миг рождения дитя, пан Домский... Именно в первый миг ребенок имеет то самое лицо, каким оно станет в конце его отрочества... Вообще мне кажется, что физиогномика не что иное, как тайна портрета, спроецированная на область высокодуховного, тайного... Мадам Бовари и Санчо Панса — это портреты эпох... Их можно было понять, эти портреты, даже в первый миг их бытия...

— Только эпохами они стали благодаря случаю, — улыбнулся Франек.

— Так и не так, — ответил Корчак. — Мириады образов, существовавших в мире, являли собою эпохи, и — если подняться над миром и глядеть сверху — картины, казалось, будут торжеством случая. Но ведь рождаются Толстой, Шопен или Сервантес и своим гением вычленяют из этой бесконечности портретов те, которые и становятся определяющими эпоху... Случаен ли Пушкин, Флобер или Сенкевич? Не знаю, полагаю все же, что закономерны, как закономерно добро...

— То есть вы хотите сказать, что протекание истории невероятно трудно для обозрения?

— Именно. Именно так я и хотел сказать, — Корчак улыбнулся. — Доброта человека яснее всего делается понятной, если он ставит такие вопросы, которые помогают тебе самому утвердиться в своей значимости, а отнюдь не малости... Вы — умный... Поэтому ответьте, что готовит нам история — в ближайшем будущем?

— История — категория прошлого, пан доктор Корчак, — мягко поправил Франек. — А что касаемо будущего, то оно рисуется мне примерно следующим образом: после того как уйдет Столыпин, на его место придет либо военный диктатор — что, в общем-то, маловероятно, ибо царь страшится любого в т о р о г о подле себя, — либо, скорее всего, какой-нибудь послушный специалист, креатура землевладельцев или банкиров... Заметьте, как газеты Гучкова начали костить Столыпина за его «аграрные привязанности и забвение судеб отечественной промышленности»... Но все это ненадолго...

Корчак вздохнул:

— Не выдавайте желаемое за действительное, пан Домский. Во-первых, кто вам сказал, что Столыпин уйдет? Во-вторых, после нашего восстания тоже говорили, что Петербург победил ненадолго, а уж полвека прошло, и мало кто помнит то время... В этой империи все надолго, пан Домский, тут сильна пуповина, то есть инерция таинственных связей прошлого с будущим, поверьте... У меня ведь не только грудные, пан Домский, я воспитываю детей вплоть до пятнадцатилетнего возраста... И учебные программы мне утверждают в северной столице... И у меня волосы шевелятся от ужаса от того, как мне предписывают лгать маленьким... Костюшко — наемник Лондона, побуждавший поляков за фунты восстать против власти славянского государя... Людвиг Варыньский вообще не существовал, его вроде и не было на свете... Не было зверств над разгромленными поляками, никто не погиб, не был повешен и не сгнил на каторге... Не хотят, чтобы был девятьсот пятый год... Хотят, чтобы я учил детей тому, что у нас — самая счастливая жизнь, что мы — богаты духом, что мы — опора человеческой мысли, что мы — светоч добра в мире гомонливого капитала... Как мне быть? Уйти отсюда, чтобы не лгать? Тогда приют кончится, пришлют другого попечителя, который вытравит мою душу, приведет новых людей, узаконит страшную бурсу... Лгать! Но тогда мои питомцы предадут меня презрению, выйдя из этих стен

и столкнувшись с практикой нашей страшной, имперской жизни... Как быть?

— Вы задали мне горький вопрос, пан доктор Корчак... Я не знаю, как ответить вам... Вообще-то, если рискнуть заглянуть вовнутрь, в таинственную суть проблемы, то возникнет страшнейшая гипотеза: а не уничтожает ли человек самого себя, производя потомство? Познавая, он уничтожает прекрасные иллюзии, остается один на один с правдой бытия... Дав жизнь новому человеку, он самим этим фактом утверждает смерть как финал жизни... Я живу верой свободы, она проста, как формула: пока есть право одного человека быть хозяином над другим, пока закон может казнить меня за то, что я смею выразить свое несогласие с существующим, я обязан быть, чтобы бороться с несправедливостью. Потом, когда моя идея свободы восторжествует, я стану думать над философией нового периода человеческой истории. Мне легче: я несу ответственность перед многими; вы смотрите в глаза детей, а им нельзя лгать — это преступление, которое не подлежит прощению... Если вы уйдете, будет, по-моему, хуже... Попробуйте выработать какую-то п о г р а н и ч н у ю линию между ложью и правдой; продержаться надо совсем недолго.

— Это невозможно, пан Домский. Во-первых, ждать надо долго, очень долго, век, а то и два, пока народится психология свободы личности, во-вторых, на меня сразу же напишет донос один из тех пяти нестойких, кто есть в приюте... В-третьих, дети чувствуют лучше, больнее и тоньше, чем мы, способные на поиск п о г р а н и ч н о с т и в решении...

(Доктор Корчак так до конца дней своих и не смог найти эту линию: когда гитлеровцы загнали его, старца, в Освенцим и в мире началась кампания протеста, а он был Нобелевским лауреатом, и Гитлер не хотел рвать все контакты со Швецией, там был марганец и бензин, доктору предложили освобождение. «Только с моими воспитанниками», — ответил Корчак. «Тогда освобождение в небо», — сказал комендант лагеря, и доктора сожгли вместе с украинскими, русскими, польскими и еврейскими детьми...)

V

Август 1911 года

ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ

«ПУСТЬ ЛИЦЕДЕИ УЧАТСЯ У МЕНЯ ИСКУССТВУ ИНТРИГИ!»

1

Отправляясь на встречу с Богровым, Кулябко дважды проверился: чист абсолютно.

Спиридович рассказывал, как однажды филеры, сдуру, от чрезвычайного усердия, п о в е л и Азефа, а потом и вовсе задержали; самый ценный провокатор империи оказался на грани провала из-за того, что родная обломовщина сработала — поленились вовремя сообщить службе наружного наблюдения отработанный годами приказ: «Урода, проходящего по кличке «Роза» или «Незабудка», с ярко выраженной внешностью, вывороченными губами, чрезмерно жирного, страдающего одышкою, в дорогом костюме нерусского производства, ни в коем случае не задерживать, вести наблюдение крайне осторожно».

Вывести Азефа — после того ареста — из-под удара его же друзей-эсеров стоило огромного труда.

(Впрочем, Спиридович выдвинул версию, что этот арест был следствием глубокой интриги, проводившейся новым шефом петербургской охраны генералом Герасимовым в борьбе за приобретение Азефа в свое безраздельное пользование. «Родная обломовщина» — с неотправленным приказом — была разыграна как спасительное прикрытие в схватке честолюбивых, а потому кровавых амбиций во время подготовки охранкой очередного террористического акта против членов августейшего дома.)

Кто знает, как себя ведут ныне самые близкие к Столыпину люди?

Столыпин не может не чувствовать, что кольцо вокруг него стягивается, а он не таков, чтобы уходить без боя. Значит, его люди задействованы против тех, кого он считает противниками. Гучков и Милюков пока еще не имеют реальной силы; он понимает, что главный противник — Царское Село, значит, н и т к у от Спиридовича

сюда, в Киев, протянул наверняка; ходит и смотрит за Кулябкой кто-то неизвестный, стоглазый, страшный и отчеты Столыпину пишет.

— При свечах станем ужинать, — сказал Кулябко, — романтично, в духе драматических произведений Чехова.

— Чем вызвана такая секретность, Николай Николаевич?

— Столыпиным, Дмитрий Григорьевич, Столыпиным...

— Чем больше я думаю про то ваше письмо, что мне прочитал ваш посланец в Ницце, тем больше оторопь берет...

— Дантон начал со службы революции, а кончил на плахе под топором палача, призванного на казнь революцией. Извивы истории, ничего не попишешь, борьба за власть, одно слово...

— Неужели Столыпин и впрямь считает, что может стать над государем? — спросил Богров.

Кулябко пожал плечами:

— Отчего нет? Англия — пример заразителен; есть король — нет короля, все решают Даунинг-стрит и парламент. Думаете, Столыпин не лелеет мысли о создании подобного рода конструкции на русской почве? Как доехали? Глаз ничьих за собою не чувствовали?

— Нет вроде бы...

— «Вроде бы» — негоже в нашем деле, Дмитрий Григорьевич. Что похудели?

— Так это хорошо, — грустно усмехнулся Богров.

— А вот и нет. Истинно здоровый человек обязан быть толстым. Голодны?

— Совершенно сыт.

— Жаль. Я сказал, чтоб приготовили ляжку молодого барашка с чесноком; мигом из погребка принесли...

— Нет, нет, спасибо, тем более на ночь глядя, не искушайте, Николай Николаевич...

Кулябко достал из шкафа рюмки, бутылку шартреза (пил только сладкое, особенно любил тягучие ликеры), разлил з е л е н ь, чокнулся:

— С благополучным возвращением.

Выпил быстро, налил еще; снова выпил, не чокаясь; заел шоколадкой:

— Знаю, вы непьющий, не стану неволить... Ну, так что ж станем делать?

— Комбинация может получиться любопытной, Нико-

лай Николаевич... Глава эсеровской боевки, Николай Яковлевич, предложил мне войти в контакт с охраной, можете себе представить?!

— Ну да?! — подивился Кулябко, играя искреннее удивление. — Так ведь это ж на ловца и зверь бежит?! Погодите, а если — игра? Если путает он вас?

— Поверьте, нет. С х в а ч е н намертво. Он убежден во мне совершенно, проверка продолжалась слишком долго... А венцом была встреча с Орешком. Я провел ее — без хвастовства скажу — здорово, красиво все разыграл...

— Ах, милый, коли б Орешек один вас подозревал...

— Это серьезно? — побледнев, спросил Богров.

— Пока сдерживаю.

— Но прямой опасности нет?

Кулябко вздохнул, ответил вопросом:

— Скажите честно: вы для себя, внутренне, уже решились н а д е л о?

— Да как же вы мо... — начал было Богров, но Кулябко положил свою мягкую ладонь на его руку, перебив:

— Не надо, друг мой... Не надо... Смотрите правде в глаза...

— Этого разговора я ждал, Николай Николаевич, мучительно ждал, — после долгой паузы ответил Богров. — Тут нельзя втемную, это вам не карты. Я до сих пор не могу взять в толк: неужели вы решаетесь даже думать такое против премьера...

— Да будет вам, — поморщился Кулябко. — «Думать»... Вся империя не думает уже, а говорит... Во весь голос... Дома, в обществе, в прессе...

— Но он же глава государства!

— Глава государства у нас император, Дмитрий Григорьевич, а не Столыпин... Он — узурпатор и погромщик, возомнивший себя спасителем отечества! Для него я — хохол, вы, простите, — жид, а князь Шервашидзе, достойнейший член Думы, — кинто, жулик, грузинский недоносок! Он развалит империю, Дмитрий Григорьевич! Не зря от него все отколыхнулись, начиная с Милюкова и Гучкова, кончая Пуришкевичем и графом Бобринским! Он нынче один остался, а отсюда — путь к диктатуре! И обернется она против нас! Кто не на «ов» или «ин» кончается, а на «о», «дзе» или «ман»...

— Я-то кончаюсь на «ов», — пошутил Богров.

— Черная сотня бьет не по паспорту, а по морде, первым ваш дом разрушит, родных искалечит, мне с десятком полицейских чернь не удержать, сами знаете, что это такое — наше неуправляемое, пьяное быдло.

— Вы действительно считаете возможным а к т?

— Я считаю его спасительным для нас с вами, Дмитрий Григорьевич. Мы стоим на грани погромов, военного положения, беззакония, а спрос потом будет с меня, стрелять станут не в него, в нас с вами, в тех, кто внизу...

— Но меня же растерзает толпа, Николай Николаевич...

— Толпа — на улице, а там, где его можно ликвидировать, — не толпа, но группа наших единомышленников. Он в театре будет, Дмитрий Григорьевич, я туда пропуска выдаю, а уж подберу туда контингент, будьте-будьте... Словом, после вашего выстрела свет в театре будет выключен. Убежите. Впрыгните в экипаж, нанятый мною заранее, и — на вокзал! Оттуда — в Ялту, шаланда будет ждать вас; Америка примет борца с тираном; живите, как Засулич, в лучах славы, вы ее заслужите...

— Ну, хорошо, а если меня схватят?

— Нет. За это отвечаю я, ибо мой риск больше вашего. Вам-то всего лишь пятнадцать лет каторги, как Егору Сазонову за Плеве, а мне — по закону жандармской чести — пуля в висок.

— А если? — тихо повторил Богров.

— Если допустить, что вас схватят, — я-то не допускаю этого, — грядет суд. Побег я вам устроить из тюрьмы не смогу, — это ясно. На суде вы открыто скажете, что стреляли в тирана России, воспользовавшись моей доверчивостью, войдя специально в доверие ко мне; подчеркнете, что государь стоял рядом, но вы не считаете его ни в чем виноватым, а обвиняете в реакции именно Столыпина. Получите каторгу. А может, и смертный приговор... Если так, то на плацу, в последний момент, вам зачтут помилование — как Достоевскому. Из каторги я организую вам побег. Но если вы скажете, что я подсказал вам а к т, — тогда меня казнят, понятное дело, а вам, как моей жертве, не пятнадцать лет влупят, а восемь, не больше, то кто организует вам побег — не знаю...

— Вы говорите: помилование объявят на плацу... А — нет?

— Тогда чего вы вообще со мною разговор-то ведете? Нет нужды беседовать с мерзавцем...

— Николай Николаевич, напрасно вы так... Я ж не котлету иду есть, а стрелять премьера России... Вывели меня на плац, и — что?

— Когда Петрашевскому саван надели, на помост поставили, веревку на шею накинули, примчался фельд... Почитайте, советую, Федора Михайловича надобно часто перечитывать, там на все случаи жизни есть ответы...

Кулябко выпил еще, шоколадкой закусывать не стал, закурил:

— А то — плюньте, Дмитрий Григорьевич, считайте, что этого разговора не было. Дело-то действительно отчаянное, невероятной храбрости требует... В конце концов, над вами не каплет, в крайнем случае, когда уж вовсе станет невыносимо, уедете в Ниццу, проживете, отец не оставит в полной бедности, как-никак родной человек...

— Николай Николаевич, вы не так поняли меня...

— Так, так, именно так я вас понял и ни в чем вас не виню... Я все, что мог, — сделал... Особо серьезных подозрений против вас у революционеров нет, коли от Орешка отмазались; что-то пытается против вас в я к а т ь Надя Обухова, требует вашей казни; помните, шла по интернационалистам? Я уж послал шифрограмму в Енисейск, там с ней быстро управятся... Нет, я все посмотрел, опасности со стороны эсеров и анархистов, отданных вами мне, — месяцев пять-шесть ждать не приходится... Если, конечно, у Коттена, в петербургской охранке, упаси Бог, не наследили...

«У меня только один выход, — подумал Богров, снова ощущая вокруг себя какую-то тяжелую липкость. — Он прав, надо все рубить махом, с одного разу... И версия готова, которая все мои старые дела спишет: я постепенно, на свой страх и риск, без санкции в л е з а л в охранку — во имя коронного дела, во имя казни сатрапа... Теперь же Николай Яковлевич дал санкцию, Виктор Чернов одобрил идею... Все те, к о г о я о т д а л, перестанут быть страшны мне... Действительно, единственный выход... Притом имя мое запишут на скрижали; всемирная известность, куда там Каляеву, Засулич и Сазонову...»

— Когда начнем готовить дело в деталях? — спросил Богров.

Кулябко вздохнул:

— Теперь вы на меня сомнения нагнали, страх взял... Может, и вправду — ну его к черту, а?! Доскрипим, даст Бог...

— Скрипит телега, человек петь должен, — ответил Богров, подумав при этом, что фразу следует записать, пусть потомство знает, красивая фраза, как в романе...

— Хорошо сказали, — заметил Кулябко, будто услыхав затаенные мысли Богрова, — как словно в драматическом произведении типа Ибсена или Островского...

Богров не сдержал усмешки:

— Совершенно разные авторы.

«Пойдет на дело, — убедился лишний раз Кулябко. Про Ибсена и Островского сказал намеренно, прекрасно знал театр, но как человека проверить, не подставляясь ему? Никак не проверишь; стоит дурака сыграть — собеседник вмиг отроется, это ведь такой стереотип родился: раз полицейский — значит, дуборыл и неуч, мятущуюся душу интеллигента не поймет! Не понимай мы вашу душу, Дмитрий Григорьевич, не удержали бы империю в девятьсот пятом, дали б растащить, под обломками б задохнулись, раздавленные... А ты брезгуй и сожалей, сожалей и брезгуй, я перенесу, я все перенесу, милейший, оттого, что учен выдержке и математике, фигуру черчу в уме, без циркуля, а все равно на прочность выверена, и в этой фигуре за основание взято твое честолюбие, лапа».

— Ну, тут я — пас, — вздохнул Кулябко, — тут вы меня на лопатки. Теперь вопрос по делу, Дмитрий Григорьевич... Муравьев, он же Бизюков, боевик из Коломны, убивший полицейского, не пересекался с вами?

— Коломна? Это под Москвою?

— Именно.

— Вряд ли. Каков из себя?

— Нервное, интеллигентное лицо, хотя сам рабочий (снова проверил, дрогнет ли Богров, выявит свое внутреннее несогласие с такого рода противопоставлением, неприемлемым для революционера, или же пропустит мимо слуха как человек всепозволенного тайного братства; пропустил). Брюнет, острая, французского типа бородка, красивые зубы, родинка на переносье, длинные, ниспадающие волосы, а-ля Леонид Андреев, глаза очень черные, цыганистые, выше среднего роста, худой, обликом похож на провинциального актера.

— Такого я не знаю, Николай Николаевич.

— К вам домой он не наведывался?

— Наверняка нет.

— А в ваше отсутствие? У него, говорят, есть ваш адрес. Не от Николая ли Яковлевича?

— Мне это легко выяснить.

— Сделайте милость... А пока напишите-ка мне рапорт, надо подстраховать себя, этого самого Муравьева-Бизюкова московская охрана ведет, полковник Заварзин, я вам про него говорил — акула, челюсти — автоматы, схарчит любого, кто на пути, и костей не выплюнет...

Богров знал, что Заварзина остро не любят как в столице, так и на местах, но сделать ничего не могут, имеет р у к у.

— Что надо написать, Николай Николаевич? — спросил Богров.

— Что-то связанное с угрозою террора... На ваше усмотрение... Муравьев в бегах, скрывается под фамилией Бизюков, истинное свое имя никому не открывает... Заварзин про Бизюкова ничего не знает... Заварзин подозревает его, а мы на стол не подозрение, но факты...

— Скрывается — в связи с террором против полицейского чина?

— Темное дело. И уголовщину можно вертеть, и политику... Пофантазируйте, я ж, говоря честно, у вас порою учусь изобретательности мысли, Дмитрий Григорьевич...

Богров отошел к столу, открыл папку с листами плотной бумаги, вывел каллиграфически:

«Полковнику Кулябко
от сотрудника «Аленский»

Р а п о р т

Вчера на Крещатике я встретился с боевиком-эсером Бизюковым, известным в кругах московской организации социалистов-революционеров под фамилией Муравьев. Он рассказал мне, что живет здесь на нелегальном положении, ищет связи для «интересного дела», просил дать надежную квартиру под складирование оружия. Я спросил его, отчего он обращается с такого рода чрезвычайным делом столь неконспиративно, на что Муравьев ответил, будто имеет обо мне сведения из Парижа от людей, связанных с цекистами, высоко обо мне отзывающихся. Договорились, что он выйдет ко мне

на связь, зайдя поздно вечером домой через черный ход, сказав дворнику Рыбину условное слово: «К молодому барину с правоведческого факультета на коллоквиум».

...Кулябко пробежал текст, изумленно покачал головою:

— Аппетитно, лихо, браво! Добавьте только следующее: «Муравьев сообщил мне, что, вероятно, д е л о будет приурочено к концу августа — началу сентября. О «существе дела» он в настоящий момент беседовать отказался, своей явки также не назвал, сказав только, что его друг, бывший метранпаж, а ныне чертежник Владислав Кирич, обеспечивает его всем». Годится?

— «Существо дела» — слишком уж наш термин, Николай Николаевич, уши торчат, я найду что-либо поинтереснее, согласны?

«МАВРЫ ДОЛЖНЫ ИСЧЕЗНУТЬ»

2

— Но ни о чем не спрашивай до поры, — повторил Кирич, пропуская Муравьева во двор богровского дома. — До поры, Бизюк, до поры. Я всегда про тебя помню, твой голод словно свой ощущаю, твоя жажда мне горло рвет сушью...

— Не пой, — отрезал Муравьев. — Сказал — и будет. Я тебя в нашем дружестве тоже ни разу не подводил.

...Дворник богровского дома, выслушав слова про «коллоквиум с правоведческого факультета» (молодой барин велел таких пускать), ответил, что Дмитрия Григорьевича нет и скоро не будет, гостит у родителя в поместье.

Кирич изменился в лице:

— Когда отбыл?

— Да уж как с неделю.

— Но он назначил на сегодня, милейший, на девять часов вечера, мы б не пришли без приглашения, не правда ли, Бизюков?

— Бесспорно.

— Слышь, — не унимался Кирич, — быть может, ты неправду говоришь?

— Мне за неправду денег бы не платили... Сказал: нету его, значит, так и есть!

...По дороге на новую квартиру Муравьева, снятую на деньги Кирича в то время, когда он, по указанию Кулябко, встречи со своим подопечным прекратил, «благодетель» ярился и мотал головою:

— Вот тебе и симпатик справедливого дела, вот тебе и «товарищ»! Когда понадобилась помощь — он в кусты, в родителево имение!

— Ты мне объясни, какая помощь от него потребна? Без него не обойдемся?

— «Без него, без него»! — передразнил Кирич. — Обойдемся, да кровью расплатимся! А наша жертва должна быть бескровной, оттого что на Божье дело будет обращена, во благо сирых и убогих! Во благо вдов и младенцев! Я не политик, я — Божий человек, я его символу служу, а символ есть понимание своей преходящей малости, которая родится из страха перед смертью!

— Повело, — вздохнул Муравьев. — Когда остановишься? Я ж с тобою как впотьмах хожу, ни черта не понимаю!

— Ну и чувырло, коли не понимаешь! Царь приезжает, газеты надо читать, вся полиция будет его охранять, не до банков, а мы — тут как тут! Понял?

— С того бы и начал. А что твой Богров должен сделать?

— Анархист он, ясно? Интернационалист или коммунист, черт их там всех поймет, но — богатый, а потому легко нашей работе помогает, что другим в страх — ему с руки! Билеты взять на поезд, экипаж нанять, грим купить, парик у актерки какой в кабарете выпросить — его была б работа, я с ним заранее оговорил, чтоб тебя зазря не светить до поры! Сказал: «Приходи двадцать второго, в девять, обсудим детали!» Обсудили, ничего себе, а?!

— Да ты не кипятись, завтра, может, приедет, всяко бывает, глядишь, дорогу в поместье разбило, дожди шли, не кипятись, Владик...

Кирич вдруг остановился, ухватил Муравьева своими длинными костистыми пальцами за ладонь:

— Бизюк, а ежели он заложил меня?! А коли он — охранник? Про него ж все знают: анархист, помогает революционерам, а он свободно по городу ходит и в отцовском поместье рыбу удит! Бизюк, Бизюк, пропал я, Бизюк!

— Да что ты, право, паникуешь зазря! — ответил Муравьев, почувствовав, как руки его сделались такими же ледяными и зыбкими, как у Кирича. Обернувшись, он, к ужасу своему, увидел человека в котелке, отвернувшегося сразу же, как только приметил взгляд Муравьева. — Топает, — шепотом сказал Муравьев, — давай в проходной!

Кирич оборотился, заметил филера в шляпе, ахнул по-детски, побежал.

Муравьев кинулся следом; свернули в большой двор, бросились в парадное, взбежали по лестнице, — по счастью, чердачная дверь была открыта; забившись в пыльный, теплый угол, под крышей, Кирич спросил:

— Браунинг где?

— Дома под половицей...

— Теперь без оружия не выходи, Бизюк, влипли мы с тобою, вот что такое доверчивость проклятая, никому нельзя в наше время душу открывать, никому!

— Чего ж мне открылся?

— Ты — брат мне, кому, как не тебе, сердце отдать? Думаешь, не чувствую, что и ты за меня смерть готов принять?

...Спустились с чердака ночью; того, в шляпе, не было уже (филера Кулябко не отправлял, снова выручил Асланов-старший); пришли к Муравьеву в третьем часу, достали бутыль, огурцы, сахарные полтавские помидоры; выпили сладко; Кирича, как всегда, понесло:

— Бизюк, Бизюк, лови каждый миг жизни, даже такой ужасной, как наша, мы ведь есть до тех пор, пока не состоялись как подвижники нашего дела; потом мы станем символами, то есть памятью... Да, да, ты меня слушай, я говорю истину! Стоит чему состояться — и нет его живым, зато — вечность! Юстиниан тем памятен, что при нем уж не было римлян, а ведь как сотрясали мир! Сколько веков владычествовали?! Думаешь, долго еще пребудут живыми немцы, русские, итальянцы, греки? Тьфу! Миг! Пять, шесть столетий — и нету! Египетские звездочеты свое небо смотрели, нет теперь такого, теперь Лапласово, но и ему время отсчитано, новые родятся миры, и будут ими заниматься неведомые нам с тобою люди. Рафаэль свое доживает, канет в беспамятство; Баха забудут, когда новую веру создадут; не забудут лишь бунтарей п о с т у п к а — Спартака, Разина, Яна Гуса! Вот что запомни, вот что греть

должно твою душу, вот в чем надежда сильных мыслью! Сколько б ни жил человек, все равно уготована ему яма, а из нее холодом несет, и по весне там вода ледяная булькает... Если нет идеи — бери браунинг и шарахай себе в ухо! А я — не стану! Я весел, оттого что знаю: после меня не лик мой останется в памяти, но — дело! Благородных рыцарей помнят, про них не учебники пишут — кто их ноне читает?! — а русские да германские бабки своим внучатам сказки на ночь рассказывают! Все умрет, только легенды вечны о тех, кто посмел с т а т ь!

...За день до прибытия в Киев государя и Столыпина Кирич по указанию Кулябко показал Муравьеву фотографический портрет Богрова.

— Богров побежит из театра, — ледяно, тихо, отрешенно говорил Кирич. — Он — провокатор, каин, по нем плачет пуля. Он побежит в экипаж, чтобы первым успеть на банкет, опередить своих дружков-охранников... Окликни его: «Дмитрий Григорьевич!» Он обернется — пали в лоб. Я буду прикрывать тебя с другой стороны тротуара; если не добьешь с первого выстрела, дорежу я! Меня глазами не ищи, я буду в подъезде, ясно?

— Покажешь мне место, чтоб я знал, куда скрываться.

— Покажу все досконально. Передам тебе парик, я сам достал, не без риска, но внешность надо изменить.

Место осмотрели внимательно; план действий выверили до мельчайших подробностей; когда Спиридович, прибывший в Киев за день до августейшего визита, выслушал Кулябко, побагровел даже от ярости:

— Коля, окстись, милый! От этого агента Кирича сразу же потянется хвост к тебе! Я сам все решу с Богровым в театре, я же говорил — пристрелю его сразу же после того, как он сделает дело, или зарублю; точнее — зарублю, чтоб не поранить кого ненароком! Тогда нет никаких подходов к нам! А здесь — Кирич! Твой агент, работавший с Муравьевым! Дураку не ясно, кто режиссер. Разве ж можно так?!

...Кирича устранил тот же Асланов-младший; вызвал по телефону на вокзал, сказал перейти пути в двенад-

цать ночи, идти к сторожке стрелочника. Здесь, на путях, оглушил его ударом кастета по затылку, тело положил на рельсы перед маневрировавшим паровозом.

Муравьева-Бизюкова задержали на улице; в охранке провели в приемную; Кулябко отправил дежурного офицера задержать для допроса кучера, в пролетке которого ехал арестованный.

Когда дежурный вернулся, Муравьев лежал на полу; из виска текла тоненькая струйка черной крови, Кулябко не было в кабинете.

Вошел через три минуты, объяснив, что был у заместителя; ахнул, увидав «самоубийцу»: «Что ж не обыскали, остолопы! Всех в арестантские роты! Мерзавцы, губошлепы! Дурни!»

(Руки тряслись взаправдашно: впервые в жизни застрелил человека; обошел задержанного, резко вскинул руку, пульнул в висок; вложил браунинг в горячую ладонь, выскользнул — «к заместителю, по делу, связанному с увеличением постов охраны Столыпина»; все было рассчитано по секундам.)

...Позвонил адъютанту Столыпина:

— У нас тут экстренный случай, пожалуйста, будьте особо внимательны и предупредите Петра Аркадьевича, что положение в городе угрожающее, появились террористы, максимум осторожности!

Продублировал звонок официальной телефонограммой, принятой под его диктовку в канцелярии киевского генерал-губернатора Трепова.

Алиби, алиби, да здравствует алиби!

«НУ ВОТ И ВСЕ!»

3

...Не просто и не прямо специальное особо секретное сообщение французской полиции достигло военной миссии России в Берлине, где работал полковник Бок, зять Петра Аркадьевича Столыпина.

Отправленное в генеральное консульство с юга Франции, оно долго в ы л е ж и в а л о с ь в кабинетах русских дипломатов, бессловесно обсматривалось со всех сторон, прежде чем было переброшено в Берлин: никто не взял на себя смелость начертать красным карандашом: «Петербург, весьма срочно, речь идет о жизни русского премьера!»

А смелость была нужна, поскольку в секретном меморандуме приводилась «р в а н а я» запись разговора двух русских в ресторанчике «Маленький марселец».

Речь шла о ситуации в России, о том, что правые партии отвернулись от премьера Столыпина после его беспрецедентного ультиматума государю, приведшего к проведению закона диктаторским путем, о том, что в Петербурге идет необъявленная война между двором и Столыпиным, что ситуация, при всей российской затаенности, чревата с о б ы т и я м и; не это, однако, заставило вздрогнуть работников русского посольства в Париже; меморандум заканчивался следующими словами: «Один из собеседников (имя которого сейчас устанавливается, оно начинается с «фон» и кончается «штайн») заметил: «Учитывая взаимную неприязнь, которую питают друг к другу Курлов и премьер Столыпин, зная, что Курлов умеет повелевать и не страшится авантюрных действий, вполне можно предположить, что он и на сей раз, как в Минске в пятом году, позволит своим жандармам крикнуть «пли» — только не по рабочим! Кроме благодарности, Курлова ничего не ждет, это будет избавлением для Престола, Столыпин раздражает Петербург...»

Отправить такого рода спецсообщение в Петербург значило занять простолыпинскую позицию, дураков нет, ныне все умные. Не отправить — значит, ты его противник, а он пока еще премьер, хоть и у себя в Ковно сидит, в поместье, в отпуске, нервы лечит, отдав управление внутренними делами главному своему врагу Курлову.

Решение было принято в высшей мере типическое. Спецсообщение было переправлено в Берлин, поскольку про «пли» говорил человек, фамилия которого начиналась с «фон» и кончалась «штайн», пусть себе ищут немца, а коли решатся — могут сами и передать в северную столицу.

Там, в Берлине, случилось подобное тому, что было в Париже; перепихивали с одного начальственного стола на другой; кто-то, впрочем, нашел выход: меморандум анонимно и незаметно положили в папку полковника Бока, столыпинского зятя.

А у него на столе уже лежал секретный меморандум прусской полиции о том, что некий русский щ у п а е т людей на границе, в сотне верст от Ковно, неподалеку от столыпинского поместья; щупает тех, кто связан с контрабандистами и прочим уголовным элементом; об-

суждает возможность налета на некое «чрезвычайно богатое имение, где в сейфе золото и валюта, суммой на несколько сотен тысяч марок». На вопрос местных налетчиков, кто там живет, русский (явно не связанный с анархистами, скорее, наоборот, представляющий секретную службу, хотя прямых доказательств тому нет) ответил, что имение «вроде бы принадлежит родственнику о п а л ь н о г о русского премьера, он там хранит дивиденды и золото». На вопрос главы налетчиков (кличка «Буттерброт»), какова гарантия, что удастся спокойно уйти через границу после рейда, русский ответил, что это «не вопрос, все будет подготовлено заранее, пограничная стража получит указ, при условии, что в поместье будут оставлены «улики, наводящие след русской полиции на революционеров, которые давно намереваются покончить русского премьера и его близких, а также взять на экспроприацию их сейф».

Пограничной стражей ведал Курлов...

С этими-то двумя материалами жена полковника, Мария Петровна фон Бок, урожденная Столыпина, срочно, первым же экспрессом, отправилась в Россию.

Отец вернулся из поместья в Петербург, готовясь к поездке в Киев; дочери обрадовался: любил очень, считая, что род продолжает дочь, а не сын; прочитал оба сообщения, пожал плечами:

— Это верно, что государь навязал мне своего Курлова, но в последнее время, сдается, генерал начал вести себя более лояльно...

Мария Петровна поразилась той перемене, которая произошла с папá; лицо его, несмотря на жесткие, волевые, привычные черты, смягчилось изнутри; вокруг глаз прибавилось скорбных морщинок; словно бы он преступил какую-то грань, и, хотя до пятидесятилетия еще оставался год, облик отца был отмечен печатью в о з р а с т а.

Мария Петровна хотела было сказать, что милый папá выдаст желаемое за действительное, что доброта его погубит, что она слышит у себя за спиною шушуканья и на нее теперь с и н т е р е с о м смотрят, без прежнего пресмыкательства, а у нас интересуются более всего смертью, чтó интересней казни есть в нашей скупой на зрелища жизни?!

Однако ничего этого не сказала, язык не повернулся, только совсем по-детски произнесла:

— Папочка, пожалуйста, милый, убери от себя этого несносного Курлова!

Столыпин погладил дочь по лицу:

— Солнышко мое, ты понимаешь, что я живу со связанными за спиною руками? Или не понимаешь? Неужели ты, мой маленький, не видишь: все, что мне удалось сделать, я сделал не благодаря поддержке сверху, но вопреки?

— Но почему, папенька, почему же?!

— Потому что мы такая страна... Прекрасная, несчастная страна... Все, что я смог для нее сделать, сделал. Пусть теперь сильные и трезвые придут мне в помощь; коли нет — погибла держава... А судя по всему, их пускать не хотят...

— Кто? Враги?

Столыпин вздохнул и ответил горько:

— Если бы, доченька, если бы...

— Ну так надо же действовать, папенька, надо что-то предпринять!

— Что? — тихо спросил Столыпин. — Подскажи, Машенька. Что? Я бы и рад предпринять, но не знаю, что именно. А уж про то, к а к это сделать, и говорить нечего... Мы живем в вате, и я страшусь ныне читать зарубежные эмигрантские газеты...

Он снова вспомнил слова дочери, ее неожиданный визит, приехавши в Киев, после торжественной встречи на перроне, когда укатила августейшая семья в сопровождении генерал-губернатора Трепова, дворцового коменданта Дедюлина, начальника личной охраны Спиридовича, а его, премьера, никто никуда не пригласил, он остался один, с о в с е м о д и н на перроне и вышел на привокзальную площадь, откуда народ валом валил следом за царским эскортом, и обратился к извозчику:

— Милейший, вы меня в город отвезете?

Тот почесал кончик потного носа широкой ладонью и ответил вопросом:

— А сколь уплатишь?

Испытывая какое-то странное чувство освобождения от того, что душно тяготило его все последнее время, — все ж таки определенность она и есть определенность, — Столыпин улыбнулся:

— Сколь скажешь, столь и уплачу.

— Так я три рубли скажу, — тоже улыбнулся извозчик, — ноне торговля должна быть поперед ума!

Столыпин легко согласился, но, только сев в мягкое, т о п я щ е е сиденье, понял, что денег у него с собою нет, во время премьерства отвык держать в кармане, вроде

бы ни к чему, лишняя бумажка; подумал, что в отеле уплатит его адъютант; наверняка ждет у парадного подъезда, полагая, что подвезет м о т о р, выделенный генерал-губернатором для лиц, сопровождающих государя.

«Скажу — не поверят, — думал он, оглядывая праздничные улицы, — что премьер, в нарушение всех циркуляров по безопасности, едет себе один на извозчике, вполне надежная мишень, но что-то никто в него не швыряет бомбу и не целит из браунинга; как все же хорошо быть просто подданным, а не движущейся мишенью; надо уходить; я свое сделал; хотят не хотят, а памятник еще поставят, не сейчас, так позже, не при этом...»

Он оборвал себя; приучился контролировать не только слова, но и мысли; будь проклята эта ужасная, маленькая, поднадзорная жизнь!

Он едва сдержался, чтобы не сказаться больным и не уехать, когда и назавтра ему не подали ни мотор, ни экипаж; только вечером генерал-губернатор прислал одного из своих извозчиков; когда адъютант передал, что Курлов просит быть настороже, появились террористы, Столыпин ответил:

— Я давно настороже...

Он постоянно чувствовал, как государь всячески доказывал ему, премьеру, его ненужность здесь, во время народного светлого праздника; его демонстративно не приглашали в ложу; во время парада потешных ему вообще не было забронировано место и он стоял на солнцепеке, чувствуя, как сановники о б т е к а ю т е г о, пряча глаза, только б не встретиться взглядами и не поклониться, опасаясь, что з а м е т я т; он ощущал это свое звенящее одиночество и в театре, когда стоял, облокотившись на красный бархат, отделявший зрительный зал от оркестра, и усмешливо глядел на б е з г л а з ы х сановников, только еще полгода назад ловивших его взгляд, искавших внимания и слова, и вдруг натолкнулся на два глаза, смотревших на него в упор, и ощутил вдруг усталую радость, приготовившись сказать человеку что-то особенно ласковое и доброе, но заметил, что тот лихорадочно начал вытаскивать что-то из кармана, а потом услышал два хлопка, ощутил запах паленой шерсти, и уж после этого возникла жгучая боль в боку, но не отводил взгляда от этих глаз, по-прежнему недвижно смотревших то на него, то на люстру, потом заметил, как Спиридович, стоявший рядом с государем,

выхватил саблю и бросился вперед, но началась свалка, его чуть не повалили, стали бить того, кто стрелял в него, в Столыпина, и только после этого он ощутил второй взгляд, точно такой же, как был у того, кто стрелял в него, и понял, что так же недвижно смотрит на него государь, и, усмехнувшись чему-то, Столыпин перекрестил его широким знамением и лишь потом обрушился на пол — никто рук не протянул, все ждали, когда обрушится; тогда только бросились к нему, закричали что-то, и, теряя уж сознание, он почувствовал, как кто-то рвуще выхватил из кармана золотые часы, подарок папеньки, и это было до того обидно, что он заплакал...

«В БОЛЬШОМ СПЕКТАКЛЕ НЕТ МЕСТА ДЛЯ СТАТИСТОВ!»

4

План, продуманный до м а л о с т и, был, однако, взорван изнутри, разлетелся враздрызг.

...Самый доверенный человек Кулябко, подпоручик Цыплаченко, привлеченный к операции в т е м н у ю, должен был войти в аппаратную и, в случае если увидит что-либо подозрительное или — того страшнее — услышит выстрел, выключить в театре свет, чтобы, как инструктировал его Кулябко, другие преступники не могли произвести повторных выстрелов.

...Вход в аппаратную охранял солдат киевского гарнизона Влас Шворыкин.

Унтер, поставивший его на пост, наказал строго-настрого:

— Без моего приказу в комнату эту — никого, понял, рыло?

— Так точно, понял!

Когда раздались выстрелы Богрова, подпоручик Цыплаченко, стоявший неподалеку от рядового, бросился к двери, рванул ее на себя, но Шворыкин чуть что не обвалился на него:

— Не велено пущать!

— Идиот! — воскликнул Цыплаченко. — Сдурел?!

— Приказ! — сопел рядовой, оттирая подпоручика. — Мне господин унтер наказал! Не пущу!

— Идиот! — кричал подпоручик, ощущая свое бессилие перед этим темным, тупым, потным недомерком. — Богом молю, пусти!

...Та минута, во время которой Богров столь напряженно глядел на люстру, страстно ожидая наступления темноты, была потеряна.

...Запасной вариант был также предусмотрен Кулябко: он предполагал, что Цыплаченко не успеет, сломает ногу, дернет не тот рычаг, поперхнется воздухом, заговорится с дамочкой, не услышит хлопка выстрела, засмотрится на ложу, будет перекуплен на корню людьми Столыпина, кайзера, папы, богдыхана, чертом, дьяволом — и Богрову не удастся выбежать из театра и сесть в экипаж, где за кучера сидел Асланов-младший, который должен был вывезти Богрова за город, оглушить, привязать к ногам рельс и бросить стоячий труп в Днепр, пусть себе стоит в воде, пока не сгниет.

Но если Богров не успеет выбежать, Спиридович кидается на него с саблей и рубит шею: мертвецы молчаливы, концы в воде.

Однако, когда Спиридович, отсчитав про себя двадцать пять мгновений и поняв, что Богров не сможет убежать, выхватил саблю и ринулся на него, один из самых близких ему людей, генерал Иван Савельевич цу Лозе, повис на руке, побелел лицом, тонко закричал:

— Возьмем живьем! Только живьем!

Спиридович мычал что-то яростное, силился оторвать от себя цу Лозе, началась свалка, но с каждым мигом понимал все явственнее, что Богров останется жить; иллюзий не было — происходи все это на улице, когда кругом б ы д л о, затоптали б в мостовую, в куски б разорвали, а тут интеллигенты в манишках, семидесятилетние деды, у них лишь в извилинах — сила, в руках — давным-давно кончилась!

Третий «прокол» произошел, когда Кулябко выбежал из театра, поняв, что Спиридович ничего сделать не сможет, — не отрывать же от него цу Лозе, объясняя: «Дайте ему свидетеля убрать, генерал, не мешайте, право, выполнить наш патриотический долг до конца».

Там у парадного подъезда стоял ротмистр Самохвалов, кретин, служака, без фантазии в голове, ему б артиллерийским расчетом командовать, а не в тайной полиции служить.

Кулябко увидел белое лицо Асланова, сидевшего на козлах, взмахнул рукой, Асланов все понял, неторопливо взял с места, но этот жест заметил Самохвалов, кинулся к Кулябко рысцой, и тот, не зная, что сказать ему и как сделать так, чтобы в мозгу ротмистра не связался воедино странный жест рукой и немедленный отъезд экипажа, выпалил:

— Срочно поезжайте на квартиру Аленского, он в премьера бахнул!

(Только потом сообразил: открыл ротмистру все свое знание, махом, даже псевдоним агента, что бы сказать — «Богров»!..)

...Той же ночью в Петербург пошел приказ Курлова: «Срочно опечатать кабинет Столыпина в Ново-Елагинском дворце, впредь до особого указания».

(Спецсообщения из Парижа и Берлина о готовящемся покушении, привезенные Столыпину дочерью, хранились там, в сейфе.

Они будут сожжены Курловым через семь дней.)

«Начальнику Киевского жандармского управления

Рапорт

Во время покушения на жизнь министра внутренних дел Столыпина я находился у входа в городской театр с «народной охраной». Когда в театре происходило задержание преступника, вышел Кулябко и, встретившись со мною, сказал: «Аленский стрелял в Столыпина, езжайте к нему домой, произведите обыск».

Я поехал домой к Богрову; выяснив телефон на квартире (6-09), потребовал от телефонной конторы, чтобы после вызова мне сообщали тот номер, откуда звонили.

Вскоре после этого раздался телефонный звонок. Подойдя к аппарату, я спросил: «Что угодно?» Попросили позвать Владимира Григорьевича. Быстро узнав у прислуги, что «Владимир Григорьевич» есть младший брат преступника, уехавший незадолго перед тем с женою, я ответил, что их нет. «Куда уехали?» — «В Петербург». — «На сколько?» — «Не знаю». Я спросил после этого: «Кто говорит?» Ответили: «Михаил Абрамович Розенштейн». — «Кто вы?» — «Вам это неинтересно». И — дал отбой. Станция немедленно сообщила, что звонили с номера 15-08, из гостиницы «Эрмитаж». Я откомандировал туда околоточного надзирателя Домбровского с поручением провести обыск и задержать говорив-

шего — до особого распоряжения. Домбровский позвонил мне оттуда и сообщил, что, по заявлению гостиничного начальства, с квартирой Богрова говорил надзиратель петербургской полиции, который якобы заведует участком охраны, где находится гостиница.

Я сказал, что этому объяснению не могу верить и поручаю этого надзирателя разыскать. Тогда околоточный Домбровский позвонил мне вторично и сообщил, что звонил действительно надзиратель регистрационного бюро (Сов. секретный отдел особого отдела департамента полиции) Калягин, который именем «Розенштейн» назвался умышленно.

Через некоторое время раздался еще один звонок. Спросили: «Это квартира Богровых?» На мой утвердительный ответ последовал вопрос: «Известно ли здесь о произошедшем в театре, где у задержанного в кармане оказалась визитная карточка с фамилией Богрова?» Я спросил, зачем мне это сообщают и кто говорит. На это мне ответили: «Кто говорит — неинтересно, говорю вам так, на всякий случай, из гостиницы».

По последовавшему сообщению станции, со мной разговаривали с телефонного номера 26-24.

Я вызвал этот номер; мне ответили, что это «канцелярия Бюро по выдаче билетов на торжества, у аппарата дежурный».

Я спросил, кто говорил с номером 6-09; мне ответили: «Никто».

Я заявил тогда начальнику телефонной конторы претензию, что, несмотря на мое распоряжение, путают номера телефонных аппаратов. На это начальник конторы ответил: «Что они вам болтают, я сам знаю, что с вами говорил номер 26-24». Я попросил его записать о произошедшем на память и вновь вызвал 26-24. Попросил к аппарату кого-либо из офицеров. Мне ответили: «У аппарата ротмистр Терехов». Я сказал, что с этого номера кто-то предупредил квартиру Богрова об инциденте в театре. «Кто говорил, уведомьте меня об этом». На это последовал ответ: «Передаю телефон». Я спросил, кто у аппарата. На это последовал ответ: «Курлов». Я повторил свою просьбу. Но вместо ответа телефон был передан другому лицу. Было сказано: «У телефона ротмистр Козловский». Я в третий раз передал ему просьбу выяснить говорившего и получил ответ: «Это говорил я». На вопрос, кто говорил перед ним, ответили: «Курлов».

Я попросил подтвердить, что с квартирой Богрова говорил он, ротмистр Козловский, и, получив такой ответ, сказал, что более ничего не имею передать.

Об этом я сообщил полковнику Кулябко, а затем по его приказанию подал о сем рапорт Спиридовичу.

Ротмистр *Самохвалов*».

«НИЧЕГО, ВСЕ ОБРАЗУЕТСЯ, ГЛАВНОЕ — СПОКОЙСТВИЕ!»

5

Утром встретились у Курлова.

Спиридович был хмур, под глазами залегли тени:

— Дедюлин даже говорить не хочет... Яростен...

— Есть отчего, — согласился Курлов. — Я тоже не в восторге ото всего происшедшего: и Богров жив, и Столыпин в постели шутит; лейб-медик Боткин полагает, что через неделю встанет; температура почти нормальная — тридцать семь и три; после бритья язык посмотрел в зеркальце, посетовал: «Это во мне губернаторский обед... Судя по всему, я и на этот раз вылез»...

— Не просто вылез, — согласился Спиридович. — Вознесся. Народный герой, симпатии публики на его стороне, сострадание к подвижнику; легенды: раненый, а государя перекрестил... Поди свали его теперь...

— Словом, наши дни сочтены, — усмехнулся Курлов. — Конспираторы дерьмовые, ничего не можем толком довести до конца. Нет, без варягов полетим в тартарары, надо звать европейцев в ноги кланяться: «Володейте нами и правьте, сами мы дуборылы и тюри, ни черта не можем, кроме как языками чесать!»

— Сестра милосердия в госпитале — я имею в виду ночную — мой агент, — скрипуче сказал Кулябко. — Завтра Перт Аркадьевич впадет в забытье...

— Одна минуточка, Николай Николаевич, одна минуточка, — снисходительно заметил Курлов, давая тоном своим понять, что виновник всего случившегося очевиден. — Впадет в беспамятство, выйдет из оного — это не разговор. Я вопрос ставлю проще: помрет или нет? И вы перед собой не юлите! Не надо юлить перед собою, Николай Николаевич...

— Он помрет, — ответил Кулябко, — а вот как быть с Богровым?

— Значит, и здесь недоработали?

— Так уж резко не надо б, — вступился за родственника Спиридович.

— Лучше я здесь, наедине, сейчас — резко, чем другие — публично, дорогой Александр Иванович! А играть нужно опять-таки версию нашей российской доверчивости и доброты... Мол, Богров зарекомендовал себя как великолепный агент, выдачи его были результативны; революционеров, которых он выявил, сажали в каторгу — так были опасны: если ему не доверять, то кому же?!

Кулябко поморщился:

— Это все понятно, Павел Григорьевич, меня другое волнует: револьвер я самолично дал Богрову, номер-то записан за нами, за охраной... Я полагал, что Асланов его утопит вместе с браунингом, ан — накладка... В тюрьму моих людей не пускают, и я не знаю, что там начнет Богров плести... Как туда пролезть, Павел Григорьевич? У вас же тьма друзей по судебному ведомству...

— Как что, так на Павла Григорьевича! — вздохнул Курлов.

— Не надо, не надо так, — жестко оборвал его Спиридович. — Не надо! Вы меня извините, но в рапорте Самохвалова ваша фамилия фигурирует, вы к Богрову звонили домой, вы к нему из секретного регистрационного бюро этого самого Калягина-Розенштейна намылили, это все против вас, нечего валить на одного Кулябко!

Курлов покачал головою, усмехнулся чему-то, заметил:

— Ишь, экий зубастый... Вас не подстрахуешь, таких дров наколете, углей не потушишь...

— Что делать с газетами? — спросил Кулябко после паузы, почувствовав время для примирительного вопроса. — На них узды нет, я очень боюсь их разоблачений...

Спиридович — так же примирительно — сказал:

— Сегодня будет распубликован высочайший указ о продлении мер по чрезвычайной охране общественного порядка еще на год... Управу на прессу найдем.

Курлов покачал головою:

— Нет. Не найдете...

Основания говорить так у него были веские.

Ночью, после покушения, собрались лидер октябристов Александр Иванович Гучков, промышленник, железнодорожный строитель Кирилл Прокопьевич Николаев

и нынешний председатель Государственной думы Борис Владимирович Родзянко.

— Да, Столыпин нарушил условия игры, — говорил Гучков, меряя широкими, чуть падающими шагами огромный свой кабинет, — да, мы вправе были отойти от него, мы не могли не зафиксировать своего отношения к его крайним мерам при проведении им законопроекта о западных земствах. Но кто разрешил сводить с ним счеты таким образом, каким они были сведены в театре?

— Всепозволенность, — заметил Николаев. — Теперь можно все! Я по улице боюсь ходить! Кистенем по темечку — и в дамки! Секретная служба, революционеры, погромщики, евреи, антисемиты — все в одной куче, только б «тащить и не пущать!». Какая-то истерия бандитских действий во имя дальнейшего азиатского ничегонеделанья!

— Я полагаю необходимым выделить дополнительные средства на все наши издания, — сказал Родзянко. — Нельзя жалеть денег на с л о в о. Пока газеты не закрыты, мы должны подвергнуть шельмованию как мерзавцев, отвечавших за жизнь Столыпина, так и самое атмосферу, которая позволила провести злобный акт.

Гучков вздохнул:

— Про атмосферу не надо бы, Борис Викторович, так Ленин пишет, нам — негоже... А то, что потребуются дополнительные ассигнования на прессу, — согласен.

Связались с Гужоном и Рябушинским; москвичи откликнулись сразу же: пахнет военным переворотом, возвратом к прошлому, к девятьсот четвертому году, к диктатуре приказных, к всевластию администраторов, боящихся, не понимающих живого дела, уповающих лишь на команду, подтвержденную штыком, не интересом; значит, снова жди стачек, красных петухов, баррикад; несчастная страна, право; рок над ней, таинственный рок!

«ВНИМАНИЕ! СЛОВО!»

6

«Директору департамента полиции

Первого сентября во время парадного спектакля в киевском театре помощник присяжного поверенного Дмитрий Григорьев Богров произвел два выстрела

в премьер-министра, статс-секретаря Столыпина, которыми Его Высокопревосходительство был тяжело ранен.

Богров состоял сотрудником отделения по группе анархистов с кличкой «Аленский» с конца 1906 по 1910 год, когда выбыл в Петербург.

Будучи столь продолжительное время сотрудником отделения, он давал сведения, подтверждавшиеся не только наблюдением, но и ликвидациями, приносившими блестящие результаты, причем ликвидированные по его сведениям лица отбывали наказания по суду до каторжных работ включительно. Также по его сведениям были арестованы и привлечены к суду отдельные партийные работники, как местные, так и приехавшие из-за границы; ликвидирована местная анархическая группа «Южная», группа «анархоиндивидуалистов», «максималистов» и другие, причем при ликвидации последних групп лиц, присужденных за прошлые преступления к смертной казни, были захвачены лаборатории оружия и склады литературы в Киеве, Воронеже и Борисоглебске.

Кроме вышеизложенного, Богров имел обширные связи среди самых серьезных партийных работников, проживавших за границей, ввиду чего он неоднократно был командирован отделением в Париж, Женеву и другие города Западной Европы, откуда передавал отделению очень ценные сведения.

В 1910 году, по окончании университета, Богров поселился на жительство в Петербурге, где стал помощником у присяжного поверенного Кальмоновича и прекратил сношения с отделением.

27 августа сего года Дмитрий Богров явился в отделение, сообщив, что у него имеются сведения очень серьезного характера, которые он считает своим нравственным долгом сообщить мне как своему бывшему начальнику — в данном случае о прибытии в Киев тех лиц, о которых он и желает дать сведения.

Сведения эти заключались в следующем: во время его работы в Петербурге он познакомился с Егором Егоровичем Лазаревым, передав ему письма, полученные им от его подруги детства в Париже, из ЦК партии социалистов-революционеров.

После этого между Богровым и Лазаревым установилась постоянная связь, и в конце концов к Богрову пришел человек, назвавший от Лазарева пароль, и заявил о своем желании познакомиться. Лицо осведомилось, у кого можно собрать сведения о прежней деятельности

Богрова, и обещало поддерживать с ним сношения. К Богрову явился также еще один неизвестный от Лазарева. Об этих лицах Богров сообщил начальнику петербургского охранного отделения, но были ли они взяты в наблюдение, он не знает, хотя ему казалось, что в указанное время наблюдение не выставлялось. Этим и закончились свидания Богрова с двумя неизвестными.

В конце июня 1911 года Богровым было получено письмо с целым рядом вопросов о его прошлом и его настроениях, причем был дан адрес для ответов по адресу журнала «Вестник Европы», Невский, 40, для «Николая Яковлевича Рудакова». Ответ им был послан и составлен в том смысле, что своих убеждений он не менял и менять не собирается. До конца июля никаких сообщений от этого лица не было. Потом совершенно неожиданно для Богрова в дачный поселок Потоки возле Кременчуга явился один из тех неизвестных, с которыми он познакомился через Лазарева в Петербурге, лет 28 — 30, брюнет, подстриженная бородка, небольшие усы, опущенные книзу, выше среднего роста, приятное выражение лица, отрекомендовался Николаем Яковлевичем и сказал Богрову, что был в Киеве, где узнал адрес дачи, и, так как в Кременчуге у него все равно есть дела, он решил наведать его. Центр тяжести в разговоре заключался в том, что какая-то группа в Киеве подготовила д е л о и для них необходимо иметь там безопасную квартиру, за подысканием каковой он и обратился к Богрову; шел также разговор о подыскании средства сообщения между Кременчугом и Киевом. Был выработан план поездки на моторных лодках. Пароход или поезд почитался Николаем Яковлевичем опасным из-за принятых в Киеве чрезвычайных мер охраны. В тот же день Николай Яковлевич уехал обратно, обещавши в скором времени дать о себе знать.

Ввиду таковых сведений мною были даны Богрову указания моторных лодок не нанимать, а что касается подыскать квартиру, то таковую, если бы она нашлась, я разрешил ему нанять, причем ему категорически было указано, что активно работать вместе с этой группой нельзя и вся его работа может ограничиться лишь пассивным содействием в наблюдении за теми лицами, против которых группа намеревается направить террор.

Богров сказал, что он так себя и держал и что Николай Яковлевич на активную помощь с его стороны не рассчитывает.

Получивши эти сведения, мною было сделано распоряжение следить за квартирой Богрова, на случай неожиданного туда прибытия Николая Яковлевича или других членов обследуемой группы. Мною также были посланы запросы в Петербург на личности Лазарева, Булата и Кальмановича. В ответ полковником фон Коттеном мне были присланы справки и сообщено, что лица, находящиеся в сношении с Лазаревым, ему неизвестны.

Для обследования Кременчуга туда был послан ротмистр Муев с отрядом филеров.

Накануне совершения преступления Богров дал мне сведения, что Николай Яковлевич приехал в Киев, и из разговоров с ним он убедился, что готовится покушение на жизнь министров Столыпина и Кассо, причем Богрову поручена слежка за министрами и собирание их точных примет. Ввиду этого ему необходимо быть сегодня в Купеческом собрании, так как из слов Николая Яковлевича он заключил, что за ним может быть проследка со стороны членов террористической группы. Если он не будет в Купеческом собрании, это может послужить ему провалом. Когда мною был задан вопрос, чем он объяснит получение билета при тех строгостях, которые были установлены при выдаче таковых, он заявил, что это им было предусмотрено и он знает одну из кафешантанных певиц по имени Регина, которая, имея связи в различных слоях общества, может ему достать билет свободно.

Билет в Купеческое собрание был мною Богрову вручен.

В ночь на 2 сентября Богров снова явился ко мне и заявил, что Николай Яковлевич поселился у него на квартире и имеет два браунинга, вместе с ним приехали и другие члены группы, а также некая «Нина Александровна», расселившиеся на других, неизвестных ему квартирах, и из разговоров с Николаем Яковлевичем он заключил, что у Нины Александровны имеется бомба. Нина Александровна должна быть у него на квартире 1 сентября сего года с 12 до 1 часу, потому за таковой было решено установить наблюдение, чтобы затем установить квартиру, где она расселилась.

Относительно посещения Купеческого собрания Богров заявил мне, что, согласно данным ему указаниям, он сказал Николаю Яковлевичу, что примéт Столыпина дать не может, ибо из-за большого количества народа не смог к нему приблизиться. Поэтому Николай Яковлевич кате-

горически потребовал, чтобы он выполнил это сегодня же, и просил его во что бы то ни стало быть в парадном спектакле, потому-то Богрову и был дан билет для посещения городского театра.

Ввиду таковых сведений было объявлено наблюдение за квартирами министров, дабы члены группы, пока еще не обследованные отделением, не могли привести свой план в исполнение.

Когда Богров явился в театр, он был приглашен мною в одну из комнат, где состоялся разговор относительно Николая Яковлевича, причем он заявил, что Николай Яковлевич сидит на его квартире и уход его оттуда на другую квартиру возможен только ночью. Чтобы Николай Яковлевич не был пропущен наблюдением, я уговорил Богрова поехать домой. Он поехал и, возвратившись, доложил, что Николай Яковлевич пока сидит дома, обложившись оружием.

Во втором антракте, продолжая волноваться за утерю наблюдения за Николаем Яковлевичем, я вновь разговаривал с Богровым и убедил его совсем поехать домой, чтобы неотступно находиться при Николае Яковлевиче, а в случае его выхода передать его наблюдению.

После чего, простившись со мною, Богров пошел одеваться, а я, встретивши товарища министра, генерал-лейтенанта Курлова, отправился с ним в одну из комнат, где сделал доклад о принятых мною мерах, во время коего Богров, воспользовавшись удобным мгновением, вошел в зрительный зал и произвел злодейское покушение на жизнь премьер-министра.

Сообщая обо всем изложенном Вашему Превосходительству, честь имею доложить, что все поступавшие ко мне от Богрова сведения немедленно мною докладывались товарищу министра внутренних дел генерал-лейтенанту Курлову...»

Курлов покачал головой, потом рассмеялся, поднял глаза на Кулябко, вздохнул:

— Милый Коля, я отдаю дань вашей ловкости, когда вы упомянули про кафешантанную певицу Регину, к коей ездит спать генерал-губернатор Трепов, полагая, что он из-за этого станет на вашу сторону и выведет нас из-под возможных нападок, дабы себя не марать; ловко вы и про ответ Коттена вставили, что, мол, ему Лазарев с Кальмановичем известны, они всем известны, вполне ле-

гальные люди, а про Николая Яковлевича — ни гугу, будто и нет его; красиво намекнули про Кассо, это все по делу, только концовки в документе нет... Вы добавьте фразу, я продиктую ее вам, запишите сразу же: «Было доложено Курлову, коим были сделаны соответствующие предупреждения об опасности министрам Столыпину и Кассо и генерал-лейтенанту Дедюлину»... Это не для меня надо, Коля, точнее говоря, не только для меня, это надо для н а с, потому что вы будете подвергнуты осмеянию: на Кассо, который просвещением занимается, готовят террор, а царя милуют! Разве так себя ведут боевики?! То-то и оно... А последняя фраза, сочиненная только что, в коей вы упоминаете о м о е й заботе о жизни н а ш е г о государя, включив в дело Дедюлина, придаст случившемуся совершенно иной смысл... Не выводите Дедюлина, Коля, он — ключевая фигура.

(Десяток слов, а как все становится с головы на ноги!)

— И, наконец, последнее: рапорт, сами чувствуете, жидок. Спросят вас, отчего филера Лапина, который к богровской кухарке ходит в дом, не отправили поглядеть на Николая Яковлевича? Что ответите? Зачем вышли встречать Богрова после первого антракта и сами его в театр провели как своего личного гостя, хотя мой офицер не хотел его пропускать? Как это объясните? Отчего не сделали налет на Николая Яковлевича, покуда он сидел с браунингами в богровском доме, а не стоял напротив подъезда театра? Скажут, провокации хотели, подвести бедолагу под виселицу, себе крест за геройство получить. Как возразите?

— Я полагаю, что таких вопросов не поставят...

— Если б аккуратнее работали — не поставили, а вы наследили сугубо... Однако объяснение у вас есть, и сводится оно к следующему: вы привыкли доверять агенту, этого от вас сам Столыпин требовал; когда вы поднимали перед министерством вопрос, что агентуру надобно перетрясти, подозрительных — в Сибирь, Столыпин цыкнул: «Нишкни! Не сметь разгонять п о д м е т о к, они нам всю грязную работу делают!» А я это подтвержу документально, поняли меня? Теперь вот еще что... Надо бы про «Рудакова», который оставил свой адрес в «Вестнике Европы», подпустить темени... Мы ж с вами знаем, кто это и зачем он появился в вашем рапорте... Будьте осторожней со своими агентами... не предавайте их... Ну и — отправляйтесь с Богом, как говорится... А самое главное, Коля,

решается сегодня: сможете провести в тюрьме спектакль с Богровым — победа, провалите — крах.

...Столыпин умер; ухудшение наступило совершенно неожиданно для врачей, когда дело шло уже на совершенную поправку.

...В тот же день в тюрьму был вызван врач для обследования Богрова; арестант жаловался на боль в теле, вызванную избиением во время ареста, и общую душевную депрессию.

Один из докторов, отправленных в тюрьму, был завербован еще Спиридовичем, в девятьсот четвертом году; с тех пор его практика стала до того успешной, что купил два поместья, коней, особняк в Ялте и этаж в Ревеле.

Поэтому скандал ему был никак не нужен; разоблачение в связи с охранкой, на которое намекнул Спиридович при встрече, было бы равносильным краху; поручение генерала он взялся выполнить без колебаний, с полнейшим п о н и м а н и е м.

— Дмитрий Григорьевич, — сказал он Богрову, когда они остались в камере одни, — процесс начнется послезавтра, вам вынесут смертный приговор, который будет заменен двенадцатилетней каторгой — на плацу, после того как вам накинут на голову саван и поставят на табурет. Об этом меня просили передать ваши друзья, они сказали, что вы знаете их и верите. На процессе вам надо вести себя следующим образом: «Да, я, Богров, воспользовавшись доверчивостью Кулябко, решил провести теракт против Столыпина, виновника начавшейся реакции. Никаких подельцев у меня нет, Николай Яковлевич — фигура вымышленная. Почему не стрелял в государя? Потому что боялся погрома. Почему мне поверил Кулябко? Потому что он добрый человек, и мне теперь стыдно смотреть ему в глаза. Еще один мотив покушения: вы хотели прервать все отношения с охраною, отвести от себя подозрения в провокации, что грозило вам смертью со стороны революционеров. Вы понимаете, что я говорю, Дмитрий Григорьевич? Больше у вас свиданий ни с кем не будет; если есть вопросы, ставьте сейчас, я добьюсь повторного визита...

— Почему сам Кулябко не пришел ко мне? — медленно разлепив вспухшие синие губы, спросил Богров.

— Дмитрий Григорьевич, окститесь, он же занимается вашим делом, разве можно с в е т и т ь вашу связь?! К вам после приговора придет подполковник Иванов, ни с кем другим в разговор не входите; Иванов доделает то, что может оказаться недоработанным во время процесса. Запомните, чем вы достойнее и мужественнее будете вести себя во время суда, чем категоричней отвергнете вину Кулябко, чем смелее все примете на себя одного, тем легче пройдет помилование...

Доктор оглянулся на дверь, осторожно достал из кармана два листа бумаги, протянул Богрову:

— Быстро прочитайте и подпишите.

Тот недоумевающе пробежал страницу: издательский договор с германским концерном «Ульштайн» на «всемирное издание книги воспоминаний Дмитрия Богрова «Выстрел»; пятнадцать процентов с каждого проданного экземпляра, или аккордно двадцать тысяч золотом.

— Согласны? — торопяще спросил доктор.

— Голова болит.

— Ах, Боже ты мой, голова у него болит! Скажите спасибо Кулябко, что вас отбили из рук фанатиков, намеревавшихся лишить жизни, думаете, это было просто?

— Я понимаю...

— Подписывайте, подписывайте скорее, — поторопил доктор, — время же идет!

Богров подписал, причем, заметил доктор, подписал быстро, живчик, живет надеждой, дело сработано точно; ай да Спиридович, ай да Кулябко, куда до них Станиславскому с Солодовниковым!

(Договоры эти сожгли сразу же, как только доктор отдал их Спиридовичу в номере отеля, перед десертом.)

— Что передать вашим друзьям? — спросил доктор.

— Передайте, что не подведу.

— Толпа приглашенных на спектакль казни, — сказал доктор, — что само по себе беспрецедентно, вы ж юрист, знаете, будет соответствующая, самая оголтелая черная сотня, ждите выкриков в ваш адрес, плевков и ненависти. Они должны убедиться, что вас действительно поставили под петлю, а уж против высочайшего помилования не пикнут... Когда с вас снимут петлю и саван, опуститесь на землю, поцелуйте ее, разрыдайтесь, а затем сыграйте впадение в беспамятство... Сможете?

— Смогу, — ответил Богров. — Тогда — смогу...

И — улыбнулся какой-то отчаянной, непонятной улыбкой...

...Октябристские и кадетские газеты сообщили, что на казнь Богрова было допущено тридцать человек, представлявших киевские крайне правые организации «Союза русских людей». Богров легко дал надеть на себя саван и стал под петлю; перед тем как ему надевали саван, он поглядел на «дружинников», ругавших его громко и маловыразительно, но прочувствованно, и снова какое-то подобие улыбки промелькнуло на его лице.

Выбил табуретку у него из под ног уголовник, поставивший условием перевод в другую тюрьму под другим именем: боялся мести заключенных; палач, числившийся при тюрьме по штатному расписанию, ушел в запой, ибо все говорили: «дело н е л а д н о», а коли так, то ответ будет со стрелочника, а им в тюремном деле кто является? Палач, куда ни крути, с него и спрос.

...Лавина газетных публикаций потребовала от с ф е р расследования. Отчего столь скоропалителен был суд? Почему закрытый? Почему не удовлетворили просьбу семьи Столыпина задержать казнь Богрова? Зачем не привлечен к ответственности Кулябко, начальник Богрова? Как понять бездействие Спиридовича и Курлова? Кто позволил допустить на казнь посторонних? Почему расследование проводилось тайно? Кого прячут? Во имя чего?

Пресса крупного капитала требовала гарантий себе.

Пришлось создать комиссию сенатора Трусевича для нового исследования обстоятельств гибели премьера.

Документы оказались столь с т р а ш н ы м и, что Трусевич даже растерялся; вина Спиридовича, Курлова и Кулябко была вопиющей.

...Дедюлин передал доклад государю, предварив рассказом о гнусной клевете, распространяемой против чинов охраны, верной царю.

Был прекрасный осенний день; солнце жарило; гладь моря из венецианских окон Ливадийского дворца казалась листом дамасской стали; воздух был пронизан терпкими запахами можжевельника, винограда и поздних роз; в парке слышался колокольчатый смех наследника, Алексея Николаевича, мальчик встал после болезни.

Государь пролистал несколько страниц, поглядел на Дедюлина без улыбки и начертал: «Дело прекратить».

...Спустя короткое время Спиридович получил внеочередную звезду, став генерал-лейтенантом; Кулябко — после мелких неприятностей, связанных со злоупотреблением «секретным фондом» охранки на личные нужды, — сделался акционером и одним из руководителей фирмы по сбыту швейных машин «Зингер», с окладом содержания в четыре раза большим, чем то, которое он получал в охране; Курлов готовил создание своего акционерного общества по строительству железных дорог в Монголии вместе с Бадмаевым и Манташевым; побыв короткое время в отставке, снова был призван, служил на правах генерал-губернатора Прибалтийского края, а затем вернулся на прежнюю должность — заместителем министра внутренних дел...

...Петр Иванович Рачковский умер вскорости от внезапного сердечного приступа.

...Асланов-младший был убит при невыясненных обстоятельствах в Париже.

Доктор, проводивший беседу с Богровым в камере, отравился сильнодействующим ядом — при невыясненных обстоятельствах.

...Свидетель, показавший, что он видел, как при аресте у Муравьева-Бизюкова был изъят револьвер, и, таким образом, самоубийство его в охранке было просто-напросто невозможно, исчез, как ни искали; был утоплен в озере, в мешке, набитом булыжниками.

...Курлов умер от внезапного приступа сердечной недостаточности вскорости после того, как передал Альфреду Розенбергу папку со своими замечаниями по делу Столыпина...

1983 год, Ялта

ВЕРСИЯ III (ПСЕВДОНИМ)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

«Дорогой Эрл!

Твоя просьба застала меня врасплох. Я понимаю, как тебе нужны эти девять тысяч долларов, но беда в том, что мой банк требует не только поручительство под выдачу кредита, но и документ, заверенный местными властями, о твоей платежеспособности. Вот так-то. Прости, не я это придумал, а уж голосовать за это власти мне просто-напросто не предоставили возможности: наиболее хитрые злодейства законодатели проводят таким образом, чтобы простые люди даже и не узнали об этом. Порою мне кажется, что человечество одержимо копает вокруг самого себя ров, чтобы пустить туда аллигаторов и превратить мир в большую тюрьму, но не догадывается об этом и не догадается до той поры, пока ров не будет закончен, а зубастые аллигаторы не получат сан «священной коровы». Вот так-то.

Пожалуйста, сообщи, на какой срок тебе нужны эти деньги, попробуй организовать поручительство и объясни еще раз — не́ на пальцах, а с цифровыми выкладками, — что за дело ты надумал, сколь оно надежно и в какой временной отрезок ты намерен его провернуть. Вот так-то.

Остаюсь твоим старым другом

Майклом, Серым Наездником».

2

«Дорогой Майкл!

Деньги мне нужны ненадолго, понимаешь? От силы на пару месяцев. Зачем они нужны мне так срочно, спрашиваешь ты? Отвечаю не на пальцах, а от души (с цифирными выкладками не научился, я доллары хорошо считаю на глаз, а если на бумаге, то путаюсь). На Рио Гранде возле Голубого Брода стоит стадо двухлеток, что-то около трех тысяч голов, и просят за каждого бычка девять долларов, в то время как в Канзас-Сити такой бычок вполне пойдет за пятнадцать баков. Считай сам, какое это выгодное дело. Твой коллега, президент нашего «Скотопромышленного банка» Филипп Тимоти-Аустин, не имеет права давать мне поручительство (а может, не хочет, он из молодых, нашей закалки не имеет). Больше мне не у кого попросить в нашей Богом забытой дыре, понимаешь? Самый крупный держатель зелененьких аптекарь Бидл прячет в старом чайнике двести сорок два доллара четырнадцать центов и считает себя богатеем, равным по силе нашему старому приятелю Рокфеллеру вкупе с твоим племянником Морганом-старшим, будь неладны эти акулы...

Филипп Тимоти-Аустин, правда, намекнул, что если ты мой настоящий друг, то выход может быть найден. Для этого необходимо лишь одно условие, чтобы кассиром в твоем банке был верный человек, который отстегнет деньги под мое письменное обязательство вернуть их в двухмесячный срок. При условии твоего за меня поручительства, понимаешь? Тимоти-Аустин сказал, что его кассир есть порождение ада, трусливый суслик, к тому же зять того судьи, которого мы прокатили на выборах, с ним каши не сваришь. Так что я ответил на все твои вопросы, и ты уж ответь на мой: есть ли у тебя верный кассир, или мне купить пару галлонов виски и забыть про тех бычков, которые поправили бы мои дела и позволили построить салун возле той почты, в ящик которой опускаю это письмо, чтобы оно поспело к тебе завтра поутру.

Остаюсь твоим старым другом

Эрлом, Черной пятницей».

3

«Дорогой Эрл!

Этот Филипп Тимоти-Аустин — неглупый парень, судя

по тому совету, который он тебе дал. Наш кассир Билл Сидней Портер — человек очень смешной, как и надлежит быть каждому, кто малюет картинки для их последующей продажи разбогатевшим овцепромышленникам или сочиняет стишки для воскресных газет. Вот так-то. Наш Портер относится именно к такому типу людей — он сочинитель. Я, правда, не очень-то силен в грамоте и не считаю себя ценителем изящной словесности, хотя Ги де Мопассан мне нравится, очень правдиво пишет про то, как блудят в Европе всякие там аристократы, но мой компаньон Андерсон считает Портера надеждой Техаса: «Он и пишет, и рисует, и сочиняет смешные эпиграммы, он прославит наш Остин». Вот так-то. Но Андерсон много чего говорит, и далеко не все из того, что он говорит, сбывается. А даже совсем наоборот.

Но, во всяком случае, Филипп Тимоти-Аустин дал хороший совет. Сразу же по получении твоего письма я переговорил с нашим Портером. Он ответил, что относится к моим друзьям с глубоким уважением, понимает, как «много прекрасного и трагичного пережито» нами сообща, но выразил опасение, что ревизоры могут схватить его за руку, если под выдачу ссуды в девять тысяч долларов не будет соответствующего документа.

«А мое слово разве не документ?» — спросил я, зная, что со всякими там художниками и сочинителями надо говорить не как с нормальными людьми, но как с придурками, которые клюют на сентиментальность, высокое слово, скупую мужскую слезу и все такое прочее. Вот так-то. Портер, ясное дело, ответил, что верит мне, как себе. И что мужская дружба — самое прекрасное, что есть на земле. И ради того, чтобы сохранить ее, он готов на все. Потому что, добавил он, его дочь Маргарет Роуз, которой скоро будет два года, должна расти среди мужчин, которые умеют дружить, ибо только такие мужчины понимают, что значит любить женщину. Вот так-то. Словом, можешь приехать завтра, утренним поездом, и в 11.45 получить девять тысяч долларов. Восемь тысяч бумажками, не совсем новыми, а тысячу — серебряными монетами в прекрасных кожаных мешочках, каждый из которых стоит доллар семнадцать центов. Приплюсуешь эту сумму к процентной выплате, если решишь оставить эти чудные мешочки на память о своем старом друге.

Майкл, Серый Наездник»

4

«Многоуважаемый мистер Кинг!

Лишь только зная Ваше ко мне отношение, лишь только памятуя о Вашей давней дружбе с моим покойным дядей Джорджем С. Тимоти-Аустином, я решился на то, чтобы обратиться к Вам с этим письмом и отвлечь на какое-то время от тех государственных дел, которыми Вы, как избранник народа, занимаетесь в Вашингтоне.

Я полагаю, что Вы правильно поймете те мотивы, которые побудили меня обратиться к Вам с этим сугубо доверительным письмом, если вспомните, что в Остине, штат Техас, работает «Первый Национальный банк», для которого не существует никаких законов, поскольку ссуды там выдаются без всякого обеспечения, «по дружбе», в нарушение всех и всяческих Законов Соединенных Штатов.

Если не Вы восстановите порядок, то кто же?!

Примите, многоуважаемый мистер Кинг, мои заверения в самом глубоком уважении, искренне Ваш

Филипп Тимоти-Аустин,
директор «Скотопромышленного банка»
в Остине».

5

«Дорогой Филипп! Я очень хорошо помню твоего дядю Джорджа С. Тимоти-Аустина. Только поэтому отвечаю. Письмо твое мне не понравилось. Ты, видно, считаешь всех на земле глупее себя. Да, я сижу в Вашингтоне. Да, занимаюсь государственными делами. Тем не менее я остаюсь Робертом Кингом, который сделал себя своими руками. И не перестал быть человеком, внимательно следящим за бизнесом вообще, а уж в Техасе тем более. Поэтому я не могу не знать, что «Первый Национальный банк» Остина забивает всех своих конкурентов в округе. А уж твой скотский банк тем более. Вот, видно, куда ты зарыл собаку. Но не сровнял землю — сразу же заметно. Как тебе известно, я не имею никакого интереса ни в твоем банке, ни тем более в делах «Первого Национального». Поэтому не вижу нужды нацеплять на грудь бляху шерифа, заряжать револьверы и садиться в засаду. Чтобы задерживать. Всех тех, кто получает ссуды без обеспечения. А по одной лишь дружбе.

Хочу дать тебе добрый совет, сынок: думая о себе, ду-

май и о ближних. Если ты решишь, что об окружающих можно только лишь вытирать подошвы ботинок при подъеме по лестнице успеха, то ты скоро сядешь в долговую яму.

Не сердись за резкость. Я считал себя обязанным сказать правду родственнику моего старого друга Джорджа. Тебя, видно, занесло.

Кинг».

6

«Дорогой старина Камингс!

По моим сведениям, «Скотопромышленный банк» Техаса готовит к выпуску акции «Силвер филдз», которые дадут прибыль уже в конце этого года как минимум на пять процентов к вложенной сумме. Поскольку президентом этого банка является внук моей двоюродной бабки, он дает персональную гарантию тем клиентам, которые близки любимшей его старухе, да и вообще всей семье.

Словом, если ты решишь, что у тебя есть верные друзья, которым надо помочь в деле, адресуй их ко мне, я беру на себя юридические гарантии дела.

Твой

П. Прайз».

7

«Дорогой мистер Билл Сидней Портер!

Мы не без интереса ознакомились с Вашими юморесками и карикатурами.

К сожалению, мы не можем рекомендовать в газеты и журналы Ваши юморески из-за их несколько странного стиля (кое-кто из наших коллег заметил, что стиль следует назвать не «странным», но «вызывающим»).

Пожалуйста, не сердитесь за откровенность.

В то же время Ваши карикатуры понравились всем без исключения, и мы намерены предложить их ряду ведущих газет Юга и Западного побережья.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Не сочтите за бестактность, но всем работникам нашего литературно-посреднического агентства Ваше будущее видится в веселой живописи, но никак не в литературе.

С уважением Ваш

У. Н. Д. Л. Боу, консультант-редактор».

8

«Дорогой Кинг!

Мой курьер передаст тебе эту записку, по почте ее посылать нет смысла. Техасские банковские скотоводы играют акции «Силвер филдз» из расчета один к пяти за год, что вовсе недурно. Они обратились ко мне неспроста, понимая, что наши с тобою отношения более чем дружеские. Ответь мне, пожалуйста, не обращались ли они к тебе с какой-либо просьбой, а если обращались, то в чем ее смысл. Видимо, они хотят налить масла на сковородку, но неясно, что собираются жарить.

Твой *Авраам Камингс*».

9

«Дорогой Камингс!

Техасский финансовый скотина подъезжал ко мне по поводу «Первого Национального банка». Мол, там сидят анархисты. Плюют на законы нашей великой родины. И все такое прочее... Я навел справки (это умеет делать Ричард, ты его помнишь по Айдахо). Выяснилось, что зубастые парни в Техасе как мухи летят на «Первый Национальный». А Тимоти-Аустина с его «Скотопромышленным» обходят стороною. Потому что он боится риска. Не обкатался в деле. Пришел на готовенькое. Не знает, как поставить палатку, развести костер, накормить лошадей в горах. Дела его банка, как говорит Ричард, ни к черту не годятся. Поэтому он решил использовать мои связи с финансовым министерством: нарядить в Остин злого ревизора, обгадить тамошний банк и таким образом убрать конкурента. Все просто. Как мычание старой коровы, которую гонят на бойню.

Ты, видно, догадываешься, что я дал молодому скотобанкиру от ворот поворот. Потому что он посмел играть со мною втемную, этот сосунок.

Теперь же он норовит показать (используя тебя), что мой урок принят им к сведению. Пять единиц к одной в течение года — вполне хорошее предложение. Тем более под личное обеспечение его троюродного племянника двоюродной бабки.

Пожалуй, возьми-ка на нас с тобой полсотни тысяч акций при условии, что они вернутся четвертьмиллионным кушем в конце года. А я взамен на это подумаю,

как можно решить вопрос об откомандировании злющего ревизора. Для остинского банка.

Окончательное решение я оставляю за тобой. На этом письме поставь крестик и отдай моему посыльному. Это будет значить, что мы вошли в дело. Если ты колеблешься и есть хоть один гран риска, сожги мое послание и скажи тому буйволу, который вручит его тебе, чтобы он передал мне привет.

Кинг».

10

«Дорогой мистер Портер!

Как мне стало известно, Вы проявили интерес к моей газете «Айконокласт», с которой, увы, я вынужден расстаться по целому ряду обстоятельств, но главным я считаю то, что радикальное направление, избранное мною, открытая борьба против коррупции, продажности политиков, вакханалии беззаконий лишили меня и без того маленькой читательской аудитории. Люди не очень-то хотят читать правду, мистер Портер, поверьте слову старого газетчика, им гораздо приятнее рассматривать веселые картинки, знакомиться со светскими новостями и обводить цветными карандашами цены на те акции, которые сегодня особенно котируются на бирже.

Тем не менее, если Вам как молодому патриоту Честного Печатного Слова, столь угодного Штатам, хочется попробовать себя на новом поприще, сообщаю Вам, что печатный станок и право на издание моей газеты встанут Вам в двести пятьдесят долларов, которые Вы можете вручить мне в любое удобное для Вас время. Номер своего счета я не даю по той причине, что его у меня нет уже три месяца. Только это и подвигло меня на то, чтобы расстаться с любимым детищем и начать службу проводником на Западном направлении железной дороги.

Примите уверения в моем абсолютном уважении.

Эд Кармайкл,
журналист, издатель и фельетонист».

11

«Дорогой Ли!

Поскольку ты, старый бродяга, легче твоих братьев сносил меня, когда я читал тебе свою муру в ту пору, что

мы объезжали коней в прерии, прошу прочитать маленькую безделицу, которую я написал для нашей остинской газетенки «Роллинг стоун»*, редактором которой я ныне стал, взяв ссуду в четверть тысячи долларов. Ответь мне с присущей тебе честностью: полнейшая это чушь или нет? Только, пожалуйста, не показывай эту штуковину никому другому, потому что в молодости можно шалить литературой, а когда ты приближаешься к старости (тридцать два года) и обременен семьею, надо либо писать, либо вообще навсегда забыть об этом паскудном, но столь манящем к себе деле.

Штука, которую я тебе посылаю, называется «Моментальный снимок с нашего президента». Если тебе очень уж невмоготу будет это читать, порви и брось в корзину для мусора.

Твой друг
Билл Сидней Портер».

12

«Дорогой Билл!

Я всегда говорил братьям, что ковбой-лентяй Билл Сидней Портер оттого полная бездарь в нашем деле, что ему уготована другая судьба, а ведь только гений, то есть сын Божий, может быть наделен всем поровну. Ты, увы, не сын Божий, но ты настоящий молодец, потому что дал хороших тумаков нашему президенту, который строит из себя девственницу, а торгует собою, как самая последняя шлюха.

Однако, мой дорогой Билл, ты должен тщательно взвесить, стоит ли печатать этот рассказ в твоей газете, потому что у президента Кливленда на следующих выборах будет много сторонников в Остине, и это, я думаю, может весьма серьезно осложнить твое положение главного редактора. Ты человек доверчивый и честный, только такие, наверное, и могут сочинять, ты не знаешь, как злопамятны люди, ставящие на того или иного петуха во время предвыборного боя, а ты у них отнимаешь не фантик и не «золотое кольцо с бразильским бриллиантом»,

---

* «Роллинг стоун» — дословно название газеты Портера можно переводить как «катящийся камень», тогда как по-английски это «перекати-поле». Портер нарисовал эмблему своей газеты: перекати-поле, начиненное ядром с динамитом, похожее на камень, и с зажженным фитилем. — *Ю.С.*

которое мы изготовляли за полтора доллара, чтобы всучить нуворишам за триста; ты отнимаешь у них шанс на четырехлетнее государственное могущество, которое стоит денег, очень больших денег, Билл.

Ну ладно, ты намекаешь в своей юмореске, что эмблема твоей «Роллинг стоун» похожа на бомбу, начиненную динамитом, и поэтому от тебя разбегаются в Вашингтоне все чиновники. Но когда ты описываешь, как президент Кливленд, увидев у тебя в руках эмблему твоей газеты, наделал в штаны и начал бормотать, что он «умирает за свободу торговли, за отечество и за все такое прочее», это запомнят. А еще больше его люди не простят тебе того, что ты вывел его совсем уж полным кретином, когда он трусливо заверещал про то, что ты «подлый убийца, пускай твоя бомба свершит смертоносное назначение», и все такое прочее. А когда правящий нами дурак понял наконец, что ты не динамитчик, и начал с тобою беседовать об отечестве, и выяснилось, что он о нем ни черта не знает, кроме того лишь, что в Техасе работает его друг Дэйв Кальберсон (кажется, это ваш прокурор, отец твоего друга?), и что «вроде бы этот штат снова объявлен самостоятельной республикой», и вообще «какого цвета он изображен на карте, такого ли, каким он является на самом деле?», хочется закричать в ужасе: «Господи милосердный, кто нами правит?!»

Кливленд — яростный противник серебряной валюты, поэтому у него есть могучие сторонники в Техасе, им не понравится, что ты выставил их человека полнейшим идиотом. Стоит ли тебе лезть на рожон? Конечно, если ты готовишь себя к политической карьере — тогда дело другого рода, можно рискнуть, но ты мне об этом раньше ничего не писал. Если же ты просто-напросто задираешься, то подумай семь раз, прежде чем отрезать. Тебе могут мстить, а месть сильных беспощадна и неуязвима...

...Я бы не стал тебе так писать, не будь эта штука талантливо сделана. Президентов ругать никому не возбраняется, но ты это делаешь столь искрометно и необычно, так в п е р в ы е, что это нельзя не заметить и, заметив, не запомнить... А сильные мстят исподтишка...

Нет ничего ужаснее столкновения таланта с бездарностью, доверчивости с коварством, честности с моральным извращением, любви с эгоизмом, открытости с самовлюбленной недоверчивостью. Тебя пока что миловала жизнь, ибо ты не задирал, сидел себе в кассе и выдавал

баки нашему брату. Только поэтому ты «проскакивал», Билл, только поэтому и ни по чему другому. Хватит ли у тебя сил выстоять? Всякое заявление самого себя во весь голос есть не что иное, как объявление войны конкурентам. А их у тебя будет много, потому что имя им серость, а нет ничего могущественнее серости, ибо она удобна, она никого не беспокоит, не заставляет думать, все тихо, пристойно и ползуче.

Ты уж извини меня, Билл, но я должен закончить это мое письмо обязательной банальностью, принятой у людей, которые не ненавидят друг друга: у тебя жена, которая слаба здоровьем, и прекрасная дочурка. Подумай не раз и не два, прежде чем решить напечатать свой грустный рассказ в пока еще твоей газете.

Твой друг *Ли Холл*».

13

«Моя дорогая Этол!

Вместо того чтобы сочинять очередную юмореску для нашего «Перекати-поля», пока клиенты банка обедают, сижу и смотрю в одну точку перед собою и ничегошеньки не понимаю, и мыслей в голове нет, лишь свистит что-то (если бы вихрь свободы!).

Я смотрю на фотографию — ты и наша малышка Маргарет Роуз, любуюсь ею и тобою и испытываю щемящее чувство любви к вам, но я не могу, не умею понять, отчего ты стала столь часто выражать такое открытое неудовольствие мною? Зачем такие вспышки гнева, раздражительности, к чему так обижать того, кто предан тебе каждой клеточкой своего существа?!

Мне ведь и работать после такой сцены невмоготу.

Этол!

Я начинаю презирать самого себя.

Я посылаю нарочного с этой отчаянной запиской. Ответь, что мне надо делать? Я подчинюсь.

Твой *Билл*».

14

«Мой милый!

Тебе надо простить свою глупую вздорную Этол, которая все-таки чуть-чуть больна и поэтому не всегда может уследить за собою.

Тебе надо не принимать меня всерьез и знать, что я люблю тебя.

Тебе надо меня простить и срочно написать самую веселую юмореску, на какую ты только способен. А ты способен на все, и нет на свете никого талантливее, любимее и добрее, чем ты.

Твоя глупая жена.

Этол».

15

«Дорогой Эрл!

Мне, конечно, совестно напоминать тебе о том пустяке, который ты должен мне вернуть, но я вынужден это сделать потому, что сегодня в наш «Первый Национальный банк» заявился худосочный тип и сунул Биллу Портеру, сидевшему в кассе, свою бумагу, из которой явствовало, что он является ревизором финансового ведомства и намерен провести учет всех наших документов. Вот так-то.

Для нас это было как гром среди ясного неба, ибо наш прежний ревизор, Том, никогда не измывался над Биллом Портером и главным бухгалтером Вильгельмом, рассказывал новые анекдоты из столицы, угощал настоящими сигаретами и явно тяготился своей работой, которую не определишь иначе как труд Легавой Ищейки, натренированной на Подружейную Охоту по Доверчивым Двуногим.

Поначалу все шло хорошо, но потом Ищейка наткнулся на твою бумагу про девять тысяч. Билл Портер, работающий теперь по вечерам в редакции своей задиристой газетенки, а потому окончательно свихнувшийся с ума от писанины, не смог ничего объяснить Очкастой Змее из Вашингтона, и это пришлось делать мне. Мои объяснения про то, что ты мой старый друг и что ты однажды решил сесть за меня в тюрьму, когда я в состоянии проклятого лунатического криза взял из сейфа казенные деньги и спрятал их в своем шкафу и все считали, что мы их с тобой уворовали, но у меня были дети, а ты был холост и поэтому вознамерился отсидеть вместо меня, признавшись, что ты их увел, хотя своими глазами видел, как я эти деньги прятал; и если бы не Случай, тебе пришлось-таки бы отсидеть, не найдись случайно проклятые доллары, — на этого геморроидального очкарика со-

вершенно не подействовали. Он дал мне двадцать четыре часа на то, чтобы я вернул девять тысяч в кассу, иначе он пошлет в Вашингтон телеграмму, Банк опечатают, а против Билла Портера, который выдал тебе эти деньги, начнут уголовное дело. Вот так-то.

Прошу тебя отправить вместе с моим посланцем твой долг, если ты сам не сможешь навестить меня, чтобы мы посидели в салуне, попили хорошего виски и вспомнили молодость, — не знаю, как ты, а я все чаще и чаще думаю о наших юных годах. Видимо, это приходит к человеку тогда, когда начинается настоящая старость, то есть успокоение. А всякое успокоение означает тишину и отсутствие движения. А это, в свою очередь, предшествует образованию зеленой тины, предтечи тления. Вот так-то.

Прости за то, что я так грустно заканчиваю это послание.

Твой друг
Майкл, Серый Наездник».

16

«Дорогой Макс!

Вчера я отправил письмо Эрлу с просьбой вернуть мне небольшой должок, девять тысяч долларов, который он взял в нашем «Первом Национальном банке» Остина три месяца назад под мое честное слово. Как выяснилось, «честное слово» теперь не является документом, «к делу не пришьешь», сказал ревизор из Вашингтона, Сын Змеи с Отрубленным Хвостом и без Семенников, но с Жалом. Вот.

Эрл, оказывается, не вернулся еще из своей поездки в Канзас-Сити, поэтому я просил бы тебя выручить меня девятью тысячами долларов сроком на три дня; как только Змея уползет в Хьюстон, я сразу же верну тебе эти деньги.

Если этого моего письма будет почему-либо недостаточно, я прилагаю сертификат о том, что передаю в твое владение мою аптеку, салун и гостиницу возле вокзала, которые оцениваются в одиннадцать тысяч долларов, — в случае, если я не верну занятую у тебя сумму через три дня.

Просил бы передать деньги с нарочным, который везет тебе это письмо. У меня осталось всего девять часов

до того контрольного срока, который дала Змея. Если я не положу в кассу эти деньги, то дядя Сэм арестует моего кассира и счетовода Билла Сиднея Портера и, таким образом, престижу моего Банка будет нанесен такой апперкот, который может заставить нас выбросить на ринг белое полотенце. Вот так-то.

Остаюсь твоим старым другом

Майклом, Серым Наездником».

17

«Дорогой мистер Планкенхорст!

Я не посмел бы Вас отрывать от той гигантской работы, которую Вы проводите, редактируя столь влиятельную «Свободную Детройтскую прессу», если бы не обстоятельство, в определенной мере чрезвычайное.

Позволю напомнить о себе: еще пять лет назад Ваша газета любезно опубликовала мои первые опыты. Ваши сотрудники оценили мой труд сравнительно высоко, я получил гонорар в шесть долларов и предложение еженедельно присылать мои скучные нотации, отчего-то великодушно наименованные Вами как юморески. Я и делал это, исполненный чувства благодарности к Вашим коллегам, столь добро поддерживающим скромные начинания провинциального любителя, проводящего восемь часов в кассе «Первого Национального банка», а восемь часов, остающиеся свободными после работы, отдающего унылому сочинительству.

Совсем недавно я рискнул купить лицензию на газету и теперь издаю в Остине «Роллинг стоун»; ее название казалось мне более всего выражающим смысл журналистской работы: даже песчинка, брошенная в стоячее озеро, рождает круги, пусть даже маленькие, а уж мое «Перекати-поле» вполне может родить обвал в горах! (Не сердитесь, это я так шучу.) Тем не менее я убежден, что шум и движение угодны прогрессу, затхлость и тишина — консервативному прозябанию, которое всегда непатриотично по отношению к стране и ее гражданам.

Чтобы успешно работать в газете, я трачу практически весь свой оклад содержания в Банке на приобретение книг, причем не только справочных. Я полагаю, что нашему времени угодна компетентная журналистика, а лишь хорошие книги рождают истинную компетентность.

Только поэтому, сэр, я осмелился обратиться к Вам

с почтенной просьбой выслать мне гонорары за последние полтора года. Видимо, они задержаны по досадной случайности.

По моим подсчетам, Вы должны выслать мне семьдесят восемь долларов. Для меня это вполне серьезная сумма денег, которая позволит оплатить счет за те книги, которые пришли наложенным платежом из Нью-Йорка.

Как Вам известно, газета, особенно в пору становления, дает весьма скудный доход, лишь бы свести концы с концами, поэтому рассчитывать на то, что я смогу расплатиться за книги из поступлений за продажу нашего «могучего» органа «Перекати-поле», не приходится — во всяком случае, пока что.

Не могу не поделиться с Вами также и тем, сэр, что я собираю для моей дочери Маргарет все издания на английском, испанском и французском языках «Сказок дядюшки Римуса». Это самая любимая литература моего самого любимого существа. Мать Маргарет (моя жена) тяжко больна, поэтому большая часть ответственности за воспитание ребенка лежит на мне, а я убежден, что нет более доброго воспитателя, чем хорошая книга.

Только эти обстоятельства вынудили меня обратиться к Вам. Я убежден, что Вы, как коллега и отец, верно поймете те посылы, которые подвигли меня на шаг, предпринятый мною первый раз в жизни. Я могу ждать любое время, ибо исповедую в жизни один-единственный девиз: «Честность и непритязательность», но кредиторы не всегда состоят с нами с одном клубе.

Почтительно Ваш
Уильям Сидней Портер».

18

«Дорогой Майкл, Серый Наездник и Большой Драчун!

Посылаю тебе пять тысяч двести сорок четыре доллара. Это вся наличность, которая оказалась у меня в банке, дома и у Зигфрида Розенцвейга.

Если ты не сможешь перекрутиться в других местах, чтобы достать недостающие баки для Очкастой Змеи, попробуй дружески поговорить с Биллом Сиднеем Портером.

Дело в том, что я знавал его отца О. Портера. (Кажется, его звали Олджернон Сидней.) Большего чудака

в округе не было. Заниматься бы ему врачебной деятельностью, так он, дурында, все время отдавал изобретению вечного водяного двигателя, аппарата для летания по воздуху (!), а также специального механизма для обработки и уборки хлопка, который может заменить труд негров на плантациях Юга. На этом он чокнулся, бедняга! Хотя, видимо, болезнь в нем сидела всегда, поскольку он объявил во всеуслышание, что за врачебную практику не берет с «бедных и с негров». (У него, кстати, лечился Джозеф Баксни, ты его должен помнить, он похитил судью Плэйка и потребовал за него выкуп и так его кормил, что судья вызвал к себе в заточение всех друзей, только б полакомиться на дармовщинку. Словом, Баксни, заработав на перепродаже рудников пару сотен тысяч, бесплатно лечился у старого идиота и даже брал, не платя, лекарства, намекая, что у него прабабка была негритянка, — жаден был до ужаса наш старик Баксни.)

Я убежден, что яблоко от яблоки падает недалеко. Поэтому, если ты не сможешь положить в сейф все девять тысяч, объясни ревизору, что твой кассир — славный и честный парень, но у него наследственная дурь, такая-то и такая-то, залей ему мозги как следует, а этому самому Биллу Сиднею объясни, что его дело твердить о своей невинности, «так, мол, и так, не виноват, и все тут». Надо выиграть время, понимаешь? День-два, а там наскребешь недостающие и сунешь в кассу. Объясни Портеру, что его выручат, он — пешка, короли помогут, только пусть себе молчит! Главное, чтобы Портер не назвал твое имя, потому что дядя Сэм вцепится в твою бороду так, что ты от него дешево не отделаешься: он любит мутузить банкиров, что послабее, на Рокфеллера с Морганом руку поднять боится, но любит похвастать перед избирателями, что, мол, нам все нипочем, банкир или не банкир, нарушил закон — марш в тюрьму на десять лет, и никаких поблажек!

Посули Биллу Сиднею Портеру, сыну безумного врача и изобретателя, что ты отблагодаришь его за эту услугу, объясни, что лишь взаимная выручка делает мужчин настоящими ковбоями.

Остаюсь твоим старым другом

Максом, Куриным Яйцом»

19

«Многоуважаемый мистер Камингс!

Результаты ревизии, проведенной в «Первом Национальном банке» Остина, заставляют меня настаивать на том, что документация ведется из рук вон плохо, кассир и счетовод м-р У. С. Портер совершенно некомпетентен в работе (если не хуже того, но это будет решать прокурор и суд, а не я), отчетность неудовлетворительна, что и привело к недостаче в кассе банка четырех тысяч двадцати семи долларов пятнадцати центов.

Следовать ли мне дальше, в Хьюстон, для проведения следующих ревизий? Или же подзадержаться в Остине для выполнения Ваших дальнейших указаний?

Остаюсь, сэр, преданный Вам

Айвор Монт,
ревизор и финансист».

20

«Окружному прокурору Дэйвиду А. Кальберсону,
Хьюстон, Техас,
и всем, кого это касается.

Ревизия в «Первом Национальном банке» Остина обнаружила недостачу четырех тысяч двадцати семи долларов пятнадцати центов, а также преступную нерадивость в записях ссуд.

Поскольку кассиром работает Уильям Сидней Портер, рожденный 11 сентября 1862 года в Сентр Комьюнити, что под Гринсборо, штат Северная Каролина, в семье доктора медицины Олджернона Сиднея Портера и его жены Мэри Суйэн, дочери достопочтенного квакера Уильяма Суйэна, редактора газеты «Гринсборо пэтриот», поскольку означенный Уильям Сидней Портер не смог дать сколько-нибудь серьезных объяснений по поводу обнаруженной недостачи в сумме четыре тысячи двадцать семь долларов и пятнадцать центов, поскольку он отказывается признать себя виновным в похищении означенной суммы, поскольку, наконец, он вообще не желает давать никаких показаний в связи с обнаруженной растратой, а также нарушением кассовых записей, Вам

надлежит возбудить против Уильяма Сиднея Портера уголовное дело по обвинению в воровстве и преступной нерадивости по службе.

Советник федерального ведомства финансов
по контролю за банковскими операциями
Дж. Спенсер Уайт-Младший».

21

«Дорогой Майкл!

Я никогда не смогу забыть того, что ты дал мне триста долларов — без всякой расписки с моей стороны, просто так, от чистого сердца, чтобы я смог поехать в город и поступить в колледж, на факультет права.

Я никогда не забуду, как все ковбои смеялись над моей неловкостью, неумением держаться в седле и страхом перед сумасшедшими аллюрами по крутым склонам. Я всегда буду помнить, что ты был единственным, кто защищал меня, как отец, брат и друг.

Именно поэтому я не могу не отправить тебе копию приказа, полученного мною из Вашингтона, по поводу Билла Сиднея Портера, этого паршивца и бумагомарателя, который бросил тень на престиж и достоинство твоего Банка, созданного — это известно всем — самыми уважаемыми гражданами Остина во главе с тобой и стариком Андерсоном.

Я готов выйти в отставку, дорогой Майкл, только бы хоть как-то отслужить тебе то добро, которое ты столь щедро и по-отцовски сделал для меня.

У меня не поднимется рука, чтобы причинить тебе хоть самую маленькую неприятность.

В ожидании ответа

Дэйв А. Кальберсон, прокурор»

22

«Дорогой Дэйв!

Сердечно тронут твоим письмом. Вот.

Ответь мне на следующий вопрос: должен ли ты возбуждать уголовное дело в том случае, если Портер уже погасил свою задолженность и внес те деньги, которых не оказалось в кассе во время ревизии?

Теперь в кассе нет недостачи. Все образовалось. Речь

идет, как я убежден, о малоопытности кассира Портера, но никак не о преступлении. Вот так-то. Неужели ты думаешь, что мы терпели бы в нашем Банке вора? Согласись, мы, наша когорта, имеем нюх на людей и плохого парня не приняли бы в свою компанию. Даже на такую грошовую работу, как счетовод, мусолящий чужие баки

Я ни о чем не смею тебя просить, сынок, ты мне дорог как воспоминание о безвозвратно ушедшей молодости (все возвращается — жена, деньги, дети,— только молодость невозвратима), да и твое пребывание на столь важном посту, говоря откровенно, льстит моему самолюбию, все люди падки на знакомство с теми, кто сидит в высоких креслах и влияет на жизнь штата, так что, Бога ради, не подавай в отставку! Вот. Мы намерены попробовать двинуть тебя еще выше, кое-какие разговоры уже проведены, но в таких вопросах, как понимаешь, опасно переторопиться.

Ты лучше подумай, Дэйв, как можно исхитриться, — ни в чем, ясно, не преступая черту закона, — чтобы погасить дело Портера, бросить его из твоего шкафа в архив и забыть?

Ты прекраснейшим образом понимаешь, что во всем этом происшествии меня волнует не судьба молокососа Портера, но престиж нашего Банка. Кто пойдет к нам, если люди будут знать, — и не из разговоров, а по решению прокурора, — что в «Первом Национальном» на виду у руководителей, средь белого дня работают жулики и прощелыги, а что еще страшнее — малокомпетентные счетоводы. Вот.

Подумай и ответь мне, сынок.

Очень жду твоего ответа. Вот так-то.

Остаюсь твоим верным старым другом
Майклом, Серым Наездником».

23

«Дорогой Боб!

С тех пор как мы расстались после выпускного вечера в нашем колледже, я ни разу не встречал никого из наших, что, конечно, жаль. Поскольку наши с тобой отношения отличались доверительностью, я позволю обратиться к тебе с большой просьбой.

Человек, оплативший мое обучение в колледже, попал в неловкое положение: клерк его Банка украл ка-

кую-то мелочь из кассы; это сразу же попало на зубок ревизоров из Вашингтона, а тем надо как-то показывать работу, чтобы пробиваться наверх. Ну и завертелось д е л о, которое не стоит выеденного яйца! Несмотря на то что деньги давно внесены в кассу, случайная недостача его покрыта, Вашингтон требует, чтобы я возбудил уголовное дело против Банка, а один из его президентов — именно тот, который был моим благодетелем.

Если ты сочтешь мою просьбу тактичной, подскажи, как мне следует поступить. Поскольку ты сидишь в судейском кресле, а я лишь в прокурорском, тебе виднее все в совокупности.

Искренне твой
Дэйв Кальберсон».

24

«Дорогой Ли!

Мне рассказывали, что на Аляске бытует смешное выражение: «Битому не спится». Именно потому, что оно бытует, я считаю его истинным; все, что химерично, хоть даже поддерживается властью и религией, обречено — рано или поздно — на исчезновение, тлен, беспамятство. Поэтому выскажи свои соображения по поводу писульки, которую я намерен опубликовать в моей «Роллинг стоун». Пиши нелицеприятно, так, как ты ответил мне по поводу той шутки о президенте, которую я все-таки опубликовал, несмотря на твои предостережения. (Прокурор Кальберсон сказал в связи с этим своему сыну, что я — сука.)

Кстати, через месяц после твоего предостережения на меня покатили камни значительно более тяжелые, чем моя «Роллинг стоун»; до сих пор грохочет, как тогда, в горах, когда мы с тобою переходили сыпучую балку и твоего каурого унесло в пропасть. Ну да ничего, обойдется.

Но все-таки честно скажу тебе, Ли: как-то скучно становится жить на белом свете...

Ну, слушай писулю: самая веселая книга — это жизнь, которая нас окружает. Все, что может постичь человеческий разум, все, что могут передать слова, заключено в крошечном мирке, куда нас заключили с рождения. Тот, кто обладает проницательным взглядом, вполне может обнаружить под пыльным покровом удушающей повседневности трагические, романтические и

комические скетчи, которые разыгрываем мы — большие и маленькие актеры, — выпущенные на какое-то время сюда, на подмостки Вселенной.

Впрочем, жизнь нельзя определять ни как чисто трагический спектакль, ни как комический водевиль, это слезы и смех. Именно так, ибо Всесильные руки дергают за незримые веревочки, и тогда хохот прерывается рыданием или же неожиданное веселье приходит в час глубочайшей скорби.

Мы танцуем и плачем, как и все марионетки, отнюдь не по собственной воле, да и спать укладываемся в деревянные ящики именно тогда, когда гаснут сверкающие огни рампы, освещавшие наше место на сцене, и наступает темнота, словно ночь, укрывающая своей бездыханной мглою арену краткого, как миг, триумфа.

Мы проходим по улицам, скользя рассеянным взглядом по лицам тех, кто на самом-то деле вровень с теми великими героями, которых воспевали поэты. Однако же далеко не все могут различить в глазах неприметных женщин и совершенно обыкновенных мужчин отпечатки тех страстей, что высверкивали на страницах романов и поэм.

Ученый в таинственной и взрывоопасной тишине библиотеки, дровосек в кафедральном, солнечностволом сосновом лесу, моя возлюбленная в своем будуаре и разгульная, намазанная бродяжка с жесткими глазами — все слеплены из одной глины.

Руки Судьбы дергают за незримые веревочки, мы делаем пируэты, одни возносятся вверх, другие обрушиваются вниз, Случай или Потаенное Божество бросают нас то в одну, то в другую сторону, — где мы окажемся в конце концов? Незрячие куклы, мы болтаем и болтаемся на краю непознаваемой вечности. Все мы вышли из одного корня... Король и каменщик равны между собою, если, впрочем, не считать их окружения: королева и доярка усядутся на обрывистом краю Судьбы, одна с короной, другая с ведром, но кто окажется сильнее и выше, когда Судьба начнет разбирать дела всех своих марионеток?

Напиши мне, Ли, о чем-нибудь веселом. Только не пиши о тех годах, когда мы были беззаботными девятнадцатилетними ковбоями — это звучит сказкой, а взрослым людям опасно верить сказкам, может разорваться сердце или начнется запой.

Твой *Сидней Портер*».

25

«Дорогой Прокурор Дэйв!

Я был рад получить твое письмо, и хоть оно носит характер делового, но все равно, я сразу же вспомнил нашу молодость и подумал, что люди до двадцати пяти лет, пока они еще не сели в седло дела, самые счастливые на земле, ибо им не надо ложиться спать с мыслью о том, что надлежит провернуть завтра. Мечтатели — что может быть счастливее этой должности на земле, которую Творец так щедро отдал молодым?!

Ладно, это я высказал свою обиду! Теперь по поводу твоего вопроса. Для меня не составило труда вспомнить, кто был твоим благодетелем, я соотнес имя того человека с ситуациями в Банках, запросил моих друзей в Техасе и получил ответ, что речь идет о «Первом Национальном» в Остине, о его кассире м-ре Портере. Лишь потому, что я был вынужден заниматься наведением справок, вместо того чтобы сразу же тебе ответить, я и запоздал с этим моим посланием.

Говоря откровенно, у тебя нет никаких шансов, Дэйв! Ты обязан возбудить дело против этого прощелыги Портера, который занимается тем, что одной рукой пишет дешевые пасквили против президента в «Роллинг стоун», а другой тягает из кассы деньги, принадлежащие гражданам, оказавшим доверие твоему покровителю.

Однако если твой благодетель обладает силой (а он обладает ею), вполне можно найти возможность обсудить вопрос с Большим Жюри, которое единственно и вправе принять окончательное решение: сажать Портера на скамью подсудимых или же удовлетвориться тем, что он вернул все деньги.

Это делается вполне легально, закон не будет нарушен ни в малости.

Ты, как прокурор, не можешь не обличить зло и преступление. Большое Жюри, в свою очередь, имеет законное право удовлетвориться статус-кво, особенно в том случае, если руководство Банка не требует крови Портера. Прокурор травит преступника, как гончая — зайца; Большое Жюри подобно охотнику, который может промазать, а порою, — если зайчишка еще слишком мал, — просто-напросто пожалеть его и не вскидывать дробовик. Прокурор требует максимума; суд, наоборот, более всего думает о гуманизме.

Конечно, если прокурор так представит дело Большо-

му Жюри, что речь идет о кошмарном преступлении, то надежда на локальный исход дела маловероятна! Если же ты — по закону совести — полагаешь, что дело не представляет угрозы Закону и Морали, Большому Жюри будет нетрудно принять искомое решение, которое о б о з н а ч и т порок, но при этом проявит гуманность, полагая, что чем меньше обвинительных приговоров, тем меньше арестантов в тюрьмах, тем меньше детей, оставшихся без отцов, тем благополучнее общество, ибо в нем нет дрожжей взаимного зла, которое разлагает общество и, конденсируя в нем злобу, делает его взрывоопасным.

Тебе может показаться странным мое письмо, ибо я всегда стоял на позиции «жесткой руки», но чем дольше я сижу в судейском кресле, чем больше людских трагедий проходит через меня, тем чаще я задумываюсь над тем, кто повинен в людском горе.

Если стать на точку зрения, что преступниками рождаются, тогда возникает вопрос: в какой мере это угодно Создателю? Ведь он творит людей по своему образу и подобию, а ему не нужны ни злодеи, губящие женщин и детей, ни гангстеры, взламывающие банки, ни тихие растратчики с манерами французских сутенеров.

Видимо, все же виновато Общество, Дэйв. А мы с тобою служим его Столпам. И если Столпы не думают о том, как нивелировать полярную разницу, приводящую к преступлению, рожденному обидой неравенства, то нам с тобою сам Бог велел подумать об этом.

Отныне любое сомнение я толкую в пользу обвиняемого, и никто не сможет меня столкнуть с этой моей позиции.

Был бы рад, найди ты возможность приехать ко мне в гости. Я построил очень красивый дом, двенадцать комнат, застекленная веранда и красивый бассейн; мы бы пожили с тобою так, как когда-то в маленькой комнатушке, когда учились в колледже. Поговорили бы всласть. В нашем возрасте, когда мы приближаемся к безжалостному рубежу старости, это порою бывает совершенно необходимо.

Остаюсь твоим другом
Бобом, Добрым Судьей, которому за это свернут шею».

26

«Дорогой Ли!

Меня давно тянет написать очередную безделицу про слово «если бы». О, это великое слово! Когда бы человек смог реализовать его потаенный, мистический смысл, жизнь его стала бы сказочно счастливой.

Если бы я был вором, я бы открыл специальную школу для жуликов и с каждого брал всего лишь доллар за учебу, потому что курс обучения длился б не более получаса, а то и того меньше. Я бы рассказывал тем, кто решил стать на стезю порока, лишь одну историю: в некотором царстве, в далеком государстве жулики работали так массово, что шейх решил сделать образцовый процесс и публично, на страх всем, казнить самого главного вора. Но для этого надо было придумать такую провокацию, которая бы отдала ему в руки злоумышленника. И вот хитрый шейх повелел поставить на площади мешок, полный золота. А страже приказал занять наблюдательные посты как с левой ее стороны, так и с правой, чтобы никто не мог ускользнуть. Если даже предположить чудо и допустить, что жулик окажется сноровистым и сможет убежать, то его все равно опознают те, кто сидел в засаде и справа от мешка, и слева.

Тайна существует для того, чтобы про нее узнавали; если хочешь, чтобы о чем-то никто не узнал, не делай из этого секрета; только запретный плод сладок, все разрешенное никого не интересует; пару недель пошумят и забудут то, что было у всех на языке.

Шейх, однако, пренебрег этим золотым правилом, и его приказ страже сидеть в домах, лавках и на чердаках справа и слева от огромного мешка с золотом стал известен самому умному вору царства. Тот купил костюм шута, покрасил правую часть в черный, а левую — в белый цвет, приобрел коня, таким же макаром перекрасил и его, и лицо свое сделал двухцветным. После этого он сел в седло, пришпорил скакуна, понесся на площадь, ухватил мешок — и был таков!

Шейх пришел в ярость. Часть стражников утверждала, что вор был на черном коне в черном костюме, другая — что он был на белом коне и в белом костюме. Полетели в корзины головы стражников, а главный вор купил себе маленький халифат неподалеку и установил с незадачливым шейхом дипломатические отношения, обменявшись с ним послом и консулом...

Если бы я был вором, если бы я сочинил эту сказку, перед тем как заниматься грабежом, я был бы счастливым человеком, не находишь?

...Моя нежная Этол совсем изменилась из-за постоянных приступов туберкулеза. Она взрывается из-за любого пустяка... Разве хоть один мужчина решился бы на брак с прекрасной девушкой, имей он возможность заглянуть в то будущее, когда заботы, трудности, счастье и горе превратят его Дульсинею в совершенно другое существо?!

Страшная безысходность бытия сокрыта в том, что все повторяется, дорогой Ли! Все возвращается на круги своя. Одни считают, что людям надобно постоянно напоминать об этом, и таких большинство, в то время как я отношусь к меньшинству, к тем, кто все больше и больше убеждается: нет, не надо человеков, словно щенков неразумных, тыкать носом в их же дерьмо. Каждому надо оставлять пару грошей надежды, каждый должен быть убежден, что вот сейчас, за поворотом, в свете уличного фонаря ему встретится самая прекрасная женщина; она никогда не изменится и всегда будет ему любовницей, другом, священником, который легко и добро отпускает все грехи. Каждый обязан иметь право верить, что завтра он, устав от многолетних стараний, увидит наконец в лотке, сквозь который мыл породу, серый тяжелый самородок; каждый должен верить в то, что его салун, который был сколочен из досок, вдруг посетит заезжий певец, и туда повалит народ, а тут еще пойдут дожди, и поселок будет отрезан от других городков, и люди станут пить, и будут платить за стакан виски не сорок центов, а доллар, и ливни будут продолжаться три недели кряду, и человек станет состоятельным, никого при этом не ограбив.

Ты ведь веришь мне, что я не к р а л проклятые деньги в кассе «Первого Национального банка»? Ты поэтому должен понимать, что я каждое утро просыпаюсь с верой в чудо: тот, кто знает всю правду, придет в Большое Жюри и скажет собравшимся, что все дело было так и так и Портер здесь пятая вода на киселе.

Беда, впрочем, заключается в том еще, что я не просыпаюсь с мечтой об этом; и засыпаю-то я с такого рода мечтой, и она бывает такой убаюкивающе-сладостной, так мне спокойно жить, когда она живет во мне... Но как страшно расставаться с нею днем, дорогой Ли!

А в общем-то жизнь идет нормально, я много думаю

о будущем, строю планы и сочиняю смешную ерунду с использованием многочисленных «если бы»...

Извини за то, что я так долго, скучно и слезливо ныл.

Твой *Билл Портер».*

27

«Дорогой Эрл!

Уж и не знаю даже, что написать тебе о последних событиях...

Вроде бы все образовалось, снова в Остине тихо, скандал с делами нашего Банка погашен, твой долг получен, отдан тем, кто возместил недостающую сумму, но ощущение тревоги не отпускает меня. Вот.

Билл Сидней Портер держал себя так, как ты рекомендовал, парень проявил себя молодцом, но в нем после всего родилось какое-то внутреннее ожесточение. То, что он печатает в своем «Перекати-поле», восстанавливает против него очень многих. Начал он с домовладельцев, мол, обижают бедненьких квартиросъемщиков; потом опубликовал злые карикатуры на отцов города, а теперь стал заниматься правдоискательством в вопросе о «диких землях», которыми пока еще можно с выгодой спекульнуть. Вот. Теперь мои отношения с ним таковы, что болтать откровенно, как раньше, уже нельзя. Я чувствую себя неловко: говоря честно, во всем том, что на него обрушилось, виноват один я. Конечно, пока что я не допускаю мысли, что он решится во всеуслышание сказать правду, да и в конце концов больше поверят мне, чем ему, но удар по репутации, теперь уже лично моей, а не банковской, это может нанести.

А парень он странный, я вроде говорил тебе... Здесь уже забыли, как он стал зятем миссис и мистера Роча, одного из самых состоятельных граждан Остина, но я помню. Вот так-то. Тот его поступок совершенно не вяжется с его нынешним обликом: действительно, своровать дочку Этол, отвезти ее в церковь и венчаться без согласия родителей — штука в наших краях рискованная, а Роч — такой мужик, который умеет постоять за честь падчерицы.

Я бы не хотел, чтобы Портер показал зубы, а два факта — история с похищением будущей жены и теперешние нападки на уважаемых граждан, когда многие разделились во мнениях — был мой кассир вором или

нет, — вполне позволяют считать, что он может пойти на то, чтобы зарычать, оскалившись, а потом и укусить.

Поскольку ты был в юности дружен с покойным отцом Этол Портер, не счел бы ты возможным каким-то образом повлиять на нее в том смысле, чтобы она подействовала на тихого, молчаливого, а потому все более и более малопонятного мне мужа? Он потерял чувство осторожности, а это простили одному лишь Христу...

Если тебе покажется обременительной моя просьба, забудь о ней и расскажи-ка мне про то, правда ли, что серебряные акции Филиппа Тимоти-Аустина из Скотского банка действительно стоит покупать?

Твой старый друг *Майкл,* Серый Наездник и директор Банка, который пока еще чудом не прогорел».

28

«Дорогой мистер Кинг!

Я был счастлив, получив от мистера Камингса разрешение вновь обратиться к Вам, теперь уже не как к высокочтимому деятелю вашингтонской администрации, но как к человеку и гражданину, оценившему вклад нашего Скотопромышленного банка в дело развития геологии и горной индустрии не только Техаса, но и всей территории, прилегающей к зыбкой и опасной мексиканской границе.

Однако, уважаемый мистер Кинг, я не могу не огорчить Вас сообщением о том, что «Первый Национальный банк» Остина, вполне оправившийся после ревизии, которая окончилась для него вполне благополучно, не только скупил значительное количество наших акций, но, как мне стало известно из вполне надежных источников, намерен финансировать дело, угрожающее тому начинанию, которое Вам так понравилось.

В Вашем первом письме Вы учили меня прямоте, советуя обозначать все параметры дела, сколь бы щепетильным оно ни было. Благодарю Вас за урок, мистер Кинг. Отныне я всегда буду следовать этому совету. Именно поэтому и формулирую: решение Большого Жюри Остина, прекратившее дело против «Первого Национального», уже нанесло ущерб нашему предприятию. Если не поправить дело, потребовав пересмотра и отмены решения Большого Жюри, ущерб будет еще более значительным.

Со своей стороны я намерен негласно подействовать на общественное мнение так, что люди поостерегутся иметь дело с «Первым Национальным», сколь бы заманчивыми ни были его предложения, ибо в том банке держат жуликов.

Вы преподали мне хороший урок, мистер Кинг, я оценил его по достоинству. Полагаю, Вы не будете на меня в обиде, если я скажу, что шаги, предпринятые с Вашей помощью для смены ревизора и тщательного исследования бумаг в «Первом Национальном», были совершенно недостаточны: необходима еще более жесткая позиция, иначе путного ничего не выйдет...

Остаюсь, мистер Кинг, Вашим истинным почитателем *Филиппом Тимоти-Аустином,* банкиром».

29

«Дорогой Ли!

Все чаще и чаще я вспоминаю наши годы в Гринсборо, и все настойчивее и постоянней звучат во мне три слова: «Когда мы были молоды». Нет, прости, не три, а четыре. Хороший был кассир в «Первом Национальном», согласись! Однажды за завтраком (а он у меня теперь до ужаса однообразен: немного овсяной каши и ломтик подогретого хлеба к кофе, живу на «прибыли» с моего «Перекати-поля», которое, говоря откровенно, медленно, но верно катится в пропасть) я так рассмеялся, что Этол в ярости чуть не разбила тарелку о мою голову, и разбила бы, не вступись за меня дочка — главный защитник, друг и борец за мои права. Я хохотал, сгибаясь пополам, не в силах остановиться, а когда Этол потребовала объяснить, что может быть смешного в нашей кошмарной жизни, я попытался объяснить ей, что вспомнил, как твой папа и мой несравненный покровитель доктор Джеймс Холл пришел в ту аптеку, где я служил учеником провизора. Он попросил сделать ему повторный анализ на сахар — бедненький, он так опасался проклятого диабета, — а я подлил в мензурку кленового сиропа, и мой шеф понесся с венком, купленным у гробовщика Серхио, в дом твоего папы, чтобы первым возложить его на крышку гроба, потому что с таким сахаром человек должен умереть немедленно.

Этол сказала, что теперь она до конца убедилась, какую ошибку совершила, соединив свою жизнь с моей, и ушла к себе в комнату плакать. А я, рассказав смешную сказку дочке, чтобы как-то отвлечь ее от домашних сцен, когда жена рыдает, кофе выкипел, каша пригорела, долг тестю вырос в три раза, количество подписчиков упало раз в семь, — отправился в то помещение, которое именуется редакцией «Роллинг стоун». По дороге я понял, что дал моему листочку именно такое название, поскольку перекати-поле более всего мне по душе, свободное и гонимое ветром, отдельное ото всех других, тихое, но не подпускающее к себе никого: сжечь можно, но развести вроде гвоздики на грядках возле дома — ни в коем случае.

Знаешь, когда я по-настоящему влюбился в перекати-поле? Когда твой папа привез меня с собою в Техас на твое ранчо и сказал: «В Гринсборо ты бы помер от чахотки, как твоя мать, — молодым совсем. Покашляй ты еще полгода и в одно прекрасное утро увидал бы на платке маленькую капельку крови. Это бы и стало началом твоего конца. Здесь, в Техасе, ты будешь жить на ранчо Ли и спать под открытым небом вместе с другими ковбоями, пасти бычков и баранов, объезжать диких коней, охранять мустангов и держать наготове карабин, чтобы участвовать в перестрелках, когда нападут мексиканские «десесперадос», чтобы похитить скот». Я тогда ответил твоему папе, что я сам прекрасно знаю, как я болен, и кровь уже была у меня на носовом платке после приступов кашля, но я не просил его заниматься благотворительностью и лучше бы он дал мне спокойно умереть в Гринсборо, там хоть можно играть на скрипке местным девочкам или услаждать самого себя песнями под гитару о той жизни, которая лишь грезится нам, но никогда не бывает. «Ладно, — сказал тогда твой папа, — побурчи еще мне, дороги назад нет, сиди тут и становись мужчиной! Будешь ныть — отправлю к моему младшему, Ричарду, он тебе сразу ребра пересчитает!» И я, проклиная все и вся, стал ковбоем, потом забыл про кашель и про капельки крови на носовом платке и как высшее счастье вспоминаю те часы, когда объезжал коней, стриг овец, отстреливался от грабителей, а потом привозил из поселка ящики с книгами и погружался в Шекспира и Гизо, Теннисона и Юма, Бернса и Гёте! А каким откровением стал для меня «Толковый словарь» Вебстера! Между прочим,

именно благодаря ему я смог покорить Этол: я совершенно поразил ее умением объяснить каждое слово и явление, окружающее нас. Мне, знаешь, порою очень хочется написать смешную историю про то, как парень *добился руки прекрасной женщины, несмотря на то что* видимо был неказист и деньгу не умел зашибать, как его соперники, но зато знал наизусть всего Вебстера. А еще я часто вспоминаю красавицу испанку Тонью... Ту, что жила возле форта, милях в тридцати от нас... Ее убил лейтенант из пограничной стражи, перепутав с «Малышом», который и подстроил все это дело, отправив ему письмо, написанное вроде бы ею самою, что «Малыш» будет уходить через границу, одевшись в ее платье... Между прочим, именно Тонья была моим первым и самым прекрасным учителем испанского языка, а я взамен учил ее французскому... Она так мечтала уехать в Нью-Орлеан и пожить там во французском квартале, самом красивом квартале этого города!.. Когда ты меня расспрашивал про нее, я говорил пренебрежительные слова, а как же иначе говорит о девушке молодой балбес, который забыл на твоем ранчо про свою чахотку, ел полусырое, еще теплое мясо бычков и пил горячее козье молоко?! Мы все находим прекрасные слова для женщины, которая была первой страстью, лишь по прошествии лет, когда открывается новое состояние — не столько тела человеческого, сколько духа.

Знаешь, у меня в редакции в туалете висит кусок зеркала, и, когда я драю руки керосином пополам с мылом, чтобы отмыть въедливую типографскую краску, мне так грустно видеть свое изображение, Ли! Вместо длинноволосого ковбоя в сомбреро, с мексиканскими шпорами и с сорокапятикалиберным кольтом за кушаком моему взору предстает м е с ь е с бесцветными глазами и блеклой кожей, тщательно прилизанный, — редактор, увы, должен быть образцом благообразия для граждан, как же иначе, он, словно светский проповедник, блюдет нравственность, будь она трижды неладна, эта наша проститутская нравственность, которая сто́ит в зависимости от колебания цен на наиболее выгодные акции чикагской биржи!

А самое страшное время наступает ночью, когда номер сверстан и разослан подписчикам. Именно тогда я начинаю читать письма редактору. Знаешь, мир разделяется на тех, кто работает, и тех, кто надсматривает

за работой, алчно ожидая, когда трудящийся совершит ошибку.

Ты не можешь себе представить, как хищно набрасываются на ошибку ехидные старики и всезнающие молодые ниспровергатели. Сами они ничего не могут написать, но, Боже, как они умеют отыскать ссылку на то, что Александр Македонский не говорил фразу «Боги помогут», а произнес ее Август, — будто бы они сами пили виски с императором, занемогшим поносом после чрезмерного пиршества в бане, где пар был слишком сухим и горячим! Сладостно урча, будто койоты, они рвут тело написавшего, только б уличить его в самой крошечной неточности, только б пригвоздить его к позорному столбу незнания!

Мне иногда хочется создать Всемирное Общество Журналистов и Писателей, чтобы договориться с коллегами о бойкоте человечеству хотя бы на год! Пусть поживут без Слова! И поставить при этом условие: «Запретите паразитам от знания, которые каждую строку в газете или книге читают предвзято, мучать редакторов своими подметными письмами и обижать репортеров, вживляя в их мозг некие аппаратики заведомого страха перед фантазией! Только после этого мы снова вернемся к нашей работе!» Но нет же, люди так разобщены, так ищут свою выгоду, а этим так умело пользуются те, в чьих руках власть и деньги, что мои благие прожекты так и останутся прожектами, ничего не попишешь, все будет идти так, как угодно Судьбе, подданными которой мы все являемся, дорогой Ли.

А знаешь, зачем я написал такое глупое и унылое письмо?

Только затем, чтобы ты мне по совести ответил: что бы тебе хотелось читать в газете? Еще конкретнее: на какую бы газету ты подписался? Угодны ли тебе в такого рода газете рассказы о жизни таинственного сыщика Тиктока? Стихи? Рассказы в рисунках?

Твоего ответа очень ждет неунывающий редактор

Билл Сидней Портер».

30

«Мой милый!

Я совершенно не нахожу себе места!

Я попросила дядюшку Фрэнка отнести тебе эту запис-

ку, потому что у меня нет сил ждать, когда ты вернешься домой.

Прости меня! Умоляю, прости свою взбалмошную жену с отвратительным, несдержанным характером, но ведь я так люблю тебя, Билл! Я готова переносить с тобою все лишения, я пойду за тобой на край света, милый! Но что я могу поделать, если я южанка, и никогда не знала, что такое нужда, и воспитывалась как в теплице?!

Я никогда, никогда, никогда больше не стану вести себя так мерзко, как это случилось сегодня за завтраком!

Приходи скорее!

Любящая тебя,

Преданная тебе,

Тоскующая без тебя.

Этол».

31

«Мое солнце!

Я все понимаю и не сержусь на тебя. Теперь.

Если ты сделаешь яичницу с гренками, мы ее съедим, когда я вернусь, и выпьем хорошего чая с шиповником. В прериях им лечат все.

Целую тебя.

Твой *Билл».*

32

«Дорогой Билл!

Я читал твое письмо и все время вспоминал, как ты сочинил смешную историю про оборванного, изможденного старикашку, который медленно брел по дороге, а вокруг него бегали сорванцы и поддразнивали несчастного, такова уж мальчишечья натура! (Это вроде ветрянки, все через нее проходят, остается лишь пара отметин на животе или на ягодице, которую не без интереса разглядывает любимая, ибо, ты прав, подруга вступает во владение мужем, словно банкир, купивший новое дело: исследуется все, любая мелочь, как же иначе — отныне это Свое, Недвижимость, Собственность!)

Я сначала смеялся, когда ты рассказывал, как шалуны бросали в старика песочек и маленькие камушки, смеялся до тех пор, пока главный озорник не прибли-

зился к деду и не предложил ему помочь, и тот со слезами благодарности протянул руку, и озорник взял эту руку, предвкушая предстоящую игривую шалость, а дед схватил мальчика, скрутил его, изуродовал и убил — прекрасный образец школьного воспитания, сказал ты тогда, за шалость — смертью, за слово — пулей, за шутку — кинжалом под ребро.

И еще я думаю про то, что ты вступил в полосу невезения, Билл, и поэтому тебе надо быть особенно осторожным.

Я никогда не забуду, как к нам на ранчо приехал этот миллионер Джим Диксон, состоявшийся на своем бродяжничестве в Колорадо, где он застолбил десяток хороших жил, и написал об этому книгу, и прибыл к нам, чтобы ты — Самый Талантливый Карикатурист в Округе — сделал иллюстрации к его книге, и как ты великолепно рисовал для этого самого Диксона, и как мы все покатывались со смеху, когда ты показывал свои иллюстрации, а Диксон все мрачнел и мрачнел, и говорил, что ты Гений из Гениев, потому что никогда не был в Колорадо, но рисуешь так, словно ты искал там золото, а не он, и в конце концов, упившись, швырнул в костер свою рукопись, позабыв, что ты уже вклеил туда все свои рисунки.

Если бы эта книга вышла — ведь он богатый, этот Диксон, он бы хорошо уплатил и ее б издали на полотняной бумаге, — ты бы уже был знаменитым художником и тебе не надо было сидеть в кассе, а потом редактировать газету для Олухов, считающих себя потомками Дидро и Вольтера...

Но уж коль ты редактируешь эту газету и она единственное, что дает тебе деньги на жизнь (кстати, я могу помочь тебе в средствах, понятно, без процентов, ссужу на год, больше не могу, деньги только тогда деньги, когда они в деле, то есть крутятся), то изволь, я выскажу тебе, что мне было бы интересно в ней читать. Во-первых, прогноз цен на скот. Причем, если ты будешь уверять меня, что баранина подскочит в цене, а на самом деле она упадет поздней осенью, я оседлаю коней, возьму пару верных ковбоев из тех, что учили тебя стрелять ночью по «десесперадос» — в тот именно момент, когда те улыбались (они же так белозубы, что единственно по чему их можно было вычислить в темноте, так по этому), приеду в Остин ночью, а на рассвете ты будешь искать на пепелище твоей редакции остатки типограф-

ских станков и то самое зеркальце, в котором грустно рассматриваешь себя после работы, во время мытья рук.

Во-вторых, мне интересно читать про то, кто с кем спит из знаменитостей, особенно из мира искусств. Это дает возможность мужьям отвоевывать хоть какую-то толику свободы у своих любимых, легко осваивающих профессию тюремщика, словно бы они все проходили курс молодого надсмотрщика в утробе мамочек. Как ведь хорошо, листая вечером газету, заметить любимой: «Крошка, послушай-ка, великий актер Пьер Шибо только тогда добивался успеха на сцене, когда начинал роман с молоденькой хористкой, на который его жена смотрела сквозь пальцы, ибо «так нужно гению». Конечно же, любимая скажет, что ты не Пьер Шибо и не великий актер и работаешь не на сцене, а в хлеву, но ты благодаря свободной прессе имеешь возможность заметить ей, что успех Пьера Шибо исчислялся не только количеством вызовов, но и более высокими гонорарами за изображаемое. О, когда речь идет о том, что любимый принесет в клюве лишнюю тысячу зелененьких, благородная матрона задумается, прежде чем отрезать «нет». Она будет долго и тяжко думать, что помешает ей проявить обычную бдительность тюремного стража, а ты не мужчина, если не сможешь воспользоваться этим и в дальнейшем закрепить успех! Поскольку свобода отвоевывается по дюймам, наивно полагать, что ее можно получить всю сразу, целиком, купно.

В-третьих, меня как обывателя не может не интересовать страница уголовной хроники, в которой рассказывают о грабежах, насилиях (с подробностями), кошмарных убийствах на почве ревности и налетах на банки (как и все, я завидую банкирам и радуюсь, когда их грабят).

Чего я не читаю в газете? Во-первых, грустные истории про всякого рода происшествия, связанные с тем, как обижают бедных. До тех пор, пока человек имеет руки, ноги и зубы, он обязан драться за самого себя, а не передоверять это дело газетчикам, даже столь добрым и отзывчивым, а потому безрассудно-смелым, каким является Билл Портер.

Во-вторых, мне скучно читать про то, что происходит за океаном, в древней Европе, потому что я — при всем моем желании — никак не могу повлиять на тамошнюю ситуацию, поскольку овцы у них свои, хлеб свой и коней хватает.

В-третьих, меня раздражают менторские нотации, которые распространены в центральных газетах, где за меня думают, за меня решают все государственные дела, а мне лишь предписывают, как поступать, о чем думать и что предпринимать для всеобщего развития. Извините, но у меня своя голова на плечах, разрешите мне самому думать, ибо чем ответственнее я буду думать о своем месте в жизни, тем будет лучше Штатам.

Вот, дорогой Билл, я и ответил на твой вопрос. Пожалуйста, не сердись, если что не так.

Кстати, «Малыш», который убил Тонью, снова вернулся в наши края, взял себе в любовницы сестру Тоньи, похожую на нее как две капли воды, угнал в Мексику два стада Дикого Рафаэля и ограбил салун «Хромого Носорога». Мы решили поохотиться на него. На этот раз он не уйдет. Если у тебя есть желание, приезжай ко мне (твой винчестер висит над моей кроватью), надевай свои джинсы, сомбреро и мексиканские шпоры и мотай вместе с нами! Потом напишешь об этом для своего «Перекати-поля». Мое предложение вполне серьезно.

Посылаю тебе восемь долларов двенадцать центов с просьбой считать меня подписчиком твоей газеты. В течение этой недели я намереваюсь переговорить с моими друзьями в форте. Думаю, ты приобретешь еще семь-восемь новых читателей. Напиши для них что-нибудь кошмарное, это будут читать, и ты заткнешь за пояс «Нью-Йорк таймс».

Твой
Ли Холл».

33

«Дорогой Майкл!

Я знаю, как тяжко ты болен, но не могу не сообщить тебе новость, которая невероятно тяготит меня.

Тот ревизор, что однажды был у вас в «Первом Национальном», написал пространную жалобу. Он обвинил меня в том, что я попустительствую Акулам Капитала (то есть всем вам), которые держали в кассе преступника, выдававшего деньги направо и налево, по своей прихоти. Этого кассира, по словам ревизора, «откупили от тюрьмы» состоятельные граждане Остина, потому что он является зятем мистера Роча, одного из самых богатых

людей в округе. Хотя я знаю, что Портер обыкновенный разгильдяй, а не жулик и живет на свои скромные заработки, получаемые от писания статеек в его подлую газетенку, поделать ничего нельзя: из Вашингтона пришло указание поднять из архива закрытое мною дело и передать его в Суд.

Мне же пока объявлен выговор за «непонятный либерализм к нарушителю федерального закона».

Единственно, на что можно надеяться, так это на то, что среди присяжных, среди этих двенадцати олухов, найдется семь-восемь человек, с которыми можно будет заранее откровенно поговорить, попросив их вникнуть в дело самым пристальным, но в то же время доброжелательным образом.

Должен заметить, что ревизор (это мне поведали друзья в Вашингтоне) постоянно делает упор на то, что Билл Портер стал растратчиком, чуть не пустив с молотка весь твой Банк, поскольку в нем прорезался репортерский зуд и он купил лицензию на издание «Роллинг стоун», которая находится на грани банкротства.

Прости, дорогой Майкл, за то, что я вынужден сообщить тебе столь неприятные новости.

Если состояние здоровья не позволит тебе приехать ко мне, чтобы самому заранее ознакомиться с обвинительным заключением, которое я вынужден писать, то пришли своего самого доверенного человека, которому я смогу показать все документы. Пусть твой Банк будет заранее готов к защите, ибо я теперь думаю, что удар против Портера на самом деле есть чей-то удар против тебя

Остаюсь твоим вечно благодарным другом, хоть и прокурором

Дэйвом Кальберсоном»

34

«Многоуважаемый мистер Джонстон!

Поскольку Вы являетесь главным редактором могущественной «Хьюстон пост», которую читают и в Техасе и особенно те, с кем я начинал осваивать Дикий Запад, я посчитал возможным обратиться с этим письмом, полагая, что с Вами уже поговорили о том, за кого я хлопочу

Билл Сидней Портер — один из самых прекрасных людей, с которыми меня сводила жизнь.

Судьба его драматична и неординарна: приговорен

ный к смерти от чахотки, ушедший в себя, озлобленный и недоверчивый, он был поначалу отринут мной, как симулянт и гнусный обманщик, тем более что доктор, которому я поручил его обследовать, сказал, что парень здоров как бык. (Потом выяснилось, что спьяну доктор обследовал не Портера, а мальчишку-мексиканца.) Я прогнал Портера из дома в прерию. Там он спал под открытым небом. Началось кровотечение, и Джон Сандайк, ковбой, которого мы все звали «Сучья лапа», чудом его выходил, втирая в спину барсучье сало и заставляя пить молоко кобылиц пополам с медом. Более того, он поселил его на конюшне, чтобы парень дышал тем воздухом, который «Сучья лапа» считал целебным, и утверждал, что, если бы он имел хотя два класса общеобразовательной школы, он бы открыл лечебницу для чахоточных в конюшнях. (Еще он предложил мне взять патент на «Ящик долголетия», где должны стоять два улья и конь, отделенные друг от друга сеткой, а в третьем отсеке нужно держать больного: «Полгода — и я гарантирую, что семидесятилетний дед после пребывания в моем «ящике здоровья» справится с семнадцатилетней девушкой, причем сделает это лучше тридцатилетнего Дон Хуана».)

Так вот, Билл Портер выздоровел и стал прекрасным ковбоем (он сирота, мать ушла из жизни, когда он был маленьким, отец — безумный изобретатель и алкоголик), стрелком, почтмейстером, поваром, уборщиком, стригалем овец, певцом, дояром, учителем, бойцом в нашей группе, охранявшей границу от набегов бандитов, и уложил немало дьяволов в честной драке, один на один, а то и против двух или трех. (Стрелял он лучше, чем сейчас пишут в дешевых романах о ковбоях, — бил на лету черешню с первой пули, почти не целясь.)

Затем он похитил самую красивую девушку Остина, падчерицу мистера Роча, начал собственную жизнь, не унижая себя положением прихлебателя в богатом доме, стал работать кассиром Банка, а потом, скопив денег и получив ссуду в двести пятьдесят долларов, принялся выпускать свою газету «Роллинг стоун».

Я посылаю Вам, сэр, пять номеров этого «Перекати-поля», издаваемого самым настоящим перекати-полем: все — от первой до последней строки — написано им, им же все и нарисовано.

Прошу Вас прочитать сочинения Билла Портера, которые он писал по ночам, после того как возвращался из своей вонючей, душной кассы на чердак, в комнатенку,

где и овцу-то с трудом уместишь, не то что человека. Там он и поныне сочиняет все, что я отсылаю Вам.

Сейчас его газета обанкротилась: он был слишком задирист, этого не прощают тем, у кого нет хорошего счета в Банке и громкого имени у публики. Из Банка Портеру пришлой уйти, поскольку в кассе была обнаружена недостача. Я не смею скрывать этот факт потому, что абсолютно уверен в полнейшей невиновности Портера. Он может застрелить, если оскорбят его близких друзей; он может перегнать через границу стадо мустангов, если его попросит об этом человек, которому он верит, или если приятель оказался в беде и ему надо помочь, но он не способен на мелкую, трусливую подлость, на кражу в том Банке, куда его пригласили работать те люди, которых он глубоко, по-сыновьи уважал.

Сейчас против него снова начали копать тихие ревизорские мыши из Вашингтона.

Благородная задача сильных и добрых людей, истинно думающих о судьбах Штатов, заключается в том, сдается мне, чтобы делать все для выявления и поддержки талантов. Лишь талант является тем, что может объединить наши Штаты, сделав их умнее, богаче, достойней. Только безответственные идиоты могут не замечать неординарное, а то и попросту пинать его ногами.

Именно поэтому, сэр, я прошу Вас прочитать малую часть написанного Портером и высказать свое отношение к дару (может, я ошибаюсь и никакого дара нет?) этого человека.

В случае, если Вам понравятся работы, пожалуйста, не говорите ему, что это я послал Вам подборку газет, — он болезненно честолюбив, видимо, как и все творческие люди.

Остаюсь к Вашим услугам,

Ли Холл, землевладелец и скотовод».

35

«Уважаемый мистер Портер!

Мне удалось ознакомиться с несколькими номерами газеты «Роллинг стоун».

Прежде чем я выскажу ряд суждений, хотел бы задать Вам два вопроса:

1. Действительно ли Вы один являетесь автором всех материалов газеты, ее фельетонов, юморесок и коррес-

понденций, а также карикатур, опубликованных на ее страницах?

2. Соответствует ли действительности то, что Вы привлечены к уголовной ответственности по обвинению в растрате, будучи кассиром и счетоводом «Первого Национального банка» в Остине?

В ожидании Вашего ответа

Фрэд С. Джонстон,
издатель и редактор «Хьюстон пост».

36

«Уважаемый мистер Джонстон!

1. Да, действительно, это я писал все те материалы, о которых Вы запрашивали меня в своем письме.

2. Я ни при каких обстоятельствах не был и не буду растратчиком или же вообще человеком, когда-либо преступившим или собирающимся преступить черту закона.

Билл Сидней Портер».

37

«Дорогой мистер Кинг!

Сердечно благодарен за все то, что было сделано! Думаю, в самом ближайшем будущем, после того, как будет вынесен обвинительный вердикт «Первому Национальному», после того, как процесс вскроет полнейшую некомпетентность его руководителей и покажет гражданам всю ту анархию, которая отличает стиль «работы» отцов предприятия, можно не сомневаться, что большинство вкладчиков перейдут к нам, что, собственно, и требовалось доказать.

Соблаговолите сообщить номер счета, куда следует прислать Ваши деньги по учету процентов с акций «Силвер филдз».

Искренне Ваш
Филипп Тимоти-Аустин, банкир и экономист».

38

«Уважаемый мистер Портер!

Ваш ответ вполне удовлетворил меня.

Ваша газета «Роллинг стоун», переставшая, к сожалению, выходить ввиду банкротства, представляется мне вполне профессиональной, правда, чересчур для столь маленького издания резкой и недипломатичной.

Что касается юморесок и странички «Планквильского патриота», что вел «полковник Аристотель Джордан», то это просто-напросто хорошо сделано.

Все это позволяет мне с чистым сердцем предложить Вам возглавить отдел юмора нашей «Хьюстон пост».

Что касается второго вопроса в моем прошлом письме, то, как я понял, Вы не считаете для себя возможным говорить об этом. Что ж, Ваше право. Я лишь намерен был предложить свои услуги в качестве человека, который заинтересован в том, чтобы талантливый журналист писал на свободе, а не в тюремной камере.

Мои условия: Вы переезжаете в Хьюстон. Я плачу Вам пятнадцать долларов в неделю. Если будете работать «с набором», на подъеме, я прибавлю Вам еще десять долларов; однако об этом можно будет говорить по прошествии месяца-двух.

В случае, если согласитесь с моим предложением, писать не надо — приезжайте.

Примите и пр.

Фрэд С. Джонстон, издатель и редактор «Хьюстон пост»

39

«Уважаемый прокурор Кальберсон!

Это мое письмо не носит характер делового. Скорее оно продиктовано добрым отношением к провинциальному коллеге, и Ваше право не отвечать на него.

Как нам здесь, в министерстве юстиции, стало известно, Билл Сидней Портер, обвиненный в хищениях и халатности по делу «Первого Национального банка» Остина, покинул город, где ведется следствие, не поставив в известность об этом ни Ваш аппарат, ни секретарей Большого Жюри.

Не думаете ли Вы, что Портер намерен уйти от следствия и судебного разбирательства и, таким образом,

«похоронить» дело об анархии в Банке? (Как мне стало известно, Ревизионный отдел намерен инкриминировать ему растрату более чем пяти тысяч долларов, а это такое хищение, которое предполагает тюремное заключение сроком до десяти лет.)

Я не смею приказывать Вам или настаивать на чем-либо. Просто как Ваш коллега я счел своим долгом поделиться соображениями, которые возникли у меня, как у человека, курирующего вопросы правопорядка в Техасе.

У меня на памяти два случая, когда бухгалтер (в первом эпизоде) и (во втором) вице-директор, обвиненные в растрате, скрылись из-под следствия на три года. Мы были вынуждены прекратить дело против Банка за отсутствием обвиняемых. Главный порок Банка — разгильдяйство, халатность, недостаточно строгое ведение дел, выдача ссуд без достаточных на то оснований — остался ненаказанным, а по прошествии трех лет и вице-директор (во втором эпизоде), и бухгалтер (в первом) вернулись в свой город и поселились в роскошных домах. Мы же были лишены возможности привлечь их к ответственности, ибо закон стоит на их стороне: «По прошествии трех лет виновные в растрате суммы, не превышающей десяти тысяч долларов, к уголовной ответственности не привлекаются и дела, возбужденные против них, прекращаются автоматически».

Несмотря на то, что вся пресса поднялась против этих двух расхитителей, несмотря на то, что, казалось, правда была на стороне возмущенных граждан, победила сухая буква закона.

Еще раз прошу Вас считать это письмо отнюдь не деловым.

Я полагаюсь на Ваши решения целиком и полностью — особенно после того, как Вы подписали постановление на возбуждение уголовного дела против Портера.

С искренним приветом

Даниэл Хьюдж,
советник департамента по надзору».

40

«Мой дорогой Кинг!

Советник департамента по надзору Даниэл Хьюдж по-настоящему одаренный человек, о чем свидетельст-

вует копия его письма прокурору Кальберсону по поводу «Первого Национального».

Он, конечно, сам не просил меня показать тебе его вонючую хитрость, но в глазах этого юридического змея я прочитал такую мольбу сделать это, особенно накануне предстоящих пертурбаций в его ведомстве, что посчитал целесообразным просить тебя просмотреть этот документ.

Поскольку ты вполне мог забыть существо дела, напомню, что речь идет о попытке Филиппа Тимоти-Аустина задавить «Первый Национальный» и сделаться монопольным банковским боссом в южном и северо-восточном регионах Техаса.

Поскольку его «Силвер филдз» приносит нам семь к одному, то, я полагаю, имеет смысл поддержать Тимоти и ту его команду, которая надежно страхует законный успех его предприятий. Бесспорно, Даниэл Хьюдж может считаться украшением этой команды.

Его стратегический план заключается в том, чтобы подбросить людям из «Первого Национального» — через Кальберсона, который многим обязан одному из банковских президентов, — идею, смысл которой заключается в том, чтобы Портер (это кассир, мелкая сошка, он объект игры, через него можно бить самую структуру Банка) скрылся на три года, тогда, мол, дело само по себе заглохнет, имя Банка не будут трепать.

(Тимоти загодя скупил ряд газет в Техасе, поставив во главе изданий надежных людей, внешне с ним никоим образом не связанных. Довольно сложной была его борьба против бойкой газетки «Роллинг стоун», но он смог и ее подвести к банкротству, сделавшись, таким образом, единственным человеком, контролирующим общественное мнение Остина.)

В случае, если конечная задумка Тимоти-Аустина, аккуратно переданная им Хьюджу и столь умело разыгранная юридическим змеем, даст плоды, в случае, если «Первый Национальный» клюнет на это, техасская пресса начнет кампанию, которая заставит прежних хозяев города потесниться, сдать захваченные позиции, а потом и вовсе уйти из штата. Время романтики поры освоения Дикого Запада кончилось, честь и хвала тем, кто его завоевал, но настали новые времена, машинная техника и все такое прочее, следовательно, пришла пора смены караула. В большом, общегосударственном деле всегда

надо уметь жертвовать малым, как это, впрочем, ни прискорбно для всех нас.

Прими мою дружбу, дорогой Кинг,

твой *Камингс*».

41

«Дорогой Ли!

Хочу поделиться с тобою новостью: я житель Хьюстона! Но и это не все: ты имеешь теперь дело с шефом отдела юмора газеты «Хьюстон пост»!

Главный редактор где-то нашел подборку моих «Роллинг стоун», прочитал и пригласил перебираться к нему. После первых десяти дней работы он отдал в мое бесконтрольное ведение рубрику «Городские истории», предупредив заранее (будто знает меня много лет, особенно мою тягу задирать только тех, кто сильнее меня), что в Хьюстоне есть двенадцать семей, к которым примыкает еще семь фамилий, их травить нельзя ни в коем случае, а уж если припрет, то лишь после консультации с ним и с теми его друзьями, которые понимают толк в политической борьбе, то есть в Оптовой Торговле Протухшими Овощами.

Я теперь начал спать без кошмарных сновидений. Тот ужас, что случился в Остине, как-то стирается в памяти. Люди быстро забывают плохое, нам свойственна вера в лучшее, этим и живо человечество, хотя историки делают все, чтобы мы, обитатели планеты Земля, лучше всего знали именно про войны, моры, страшные годы тирании. Им, мне кажется, мало платят, если они пишут о прекрасной поре Возрождения, или о нашей революции, борьбе за независимость, или о французских просветителях. Со свойственной старым бабкам тягой к сплетням они умудряются выискивать самые черные пятна даже в солнечных пиках истории, они идут в своих посылах не от того, что именно в недрах Святой Инквизиции, которая на словах радела об устоях Веры Христовой, а на деле сражалась против всего нового, чистого, зародилась философия свободы. Лишь только начав писать об европейском Ренессансе, самое большое внимание историки обращают на то, как слепые владыки и догматики-попы готовят свое кровавое пиршество, когда к столу подают рагу из Разума, Мозги под майонезом, Вырезку из Честности и Компот из свежей Крови. (Хотя, допускаю я,

историки, сосредоточивая наше внимание на ужасе истории, пытаются предостеречь человечество от повторения кошмаров, но разве такое возможно? Может быть, лучше побольше и покрасочнее рассказывать о том, как прекрасны были дни мира в Элладе и сколь поразителен талант Сервантеса?)

Борение Инквизиции и Возрождения — вечная тема, присущая, кстати говоря, и нашему времени, каждому городу, какое там, каждому дому. Мы в редакции получили более ста писем от возмущенных жителей Хьюстона, которые требуют применить санкции против «потерявших стыд и совесть д е в о к, позволивших себе сменить юбки на шаровары и взгромоздившихся на так называемый велосипед».

Меня бьет от ярости, когда я читаю письма этих благонамеренных идиотов, более всего радеющих о традициях и внешнем приличии, понимая, что, напечатай я резкий фельетон против них, гневу их не будет предела, упадет подписка и мой благодетель вышвырнет меня на улицу.

Я теперь довольно часто захожу в салуны, кафе и бары, где здешние жители перехватывают «горячую собачку» в короткое время ленча, выпивают стакан молока и непременно пролистывают нашу газету. Я захожу туда не без умысла, мне очень важно послушать, что говорят про те материалы, которые я пишу, улыбаются ли им, спорят о них или же, промахнув те страницы, где перепечатаны данные биржи, остальные бросают под стол после того, как уплатят бармену пятнадцать центов за еду и питье.

Должен тебе сказать, что это очень интересное занятие. Чего я не наслышался о своей работе за эти недели! Один сказал: «сентиментальные побасенки стала печатать наша газета», другой заметил, что «эти мелодрамы мне не по сердцу, никакой правдивости», третий, обливши клетчатый жилет теплым молоком, произнес целую тираду про то, что «время дешевых анекдотов времен покорения Америки ушло в прошлое, жаль, что газета так низко пала», четвертый похвалил то из написанного мною, что мне самому совершенно не нравится, и я лишний раз убедился, что газетчик не имеет права судить свою работу, как, видимо, и художник, и писатель, и музыкант, — лишь зрители, читатели и слушатели вправе выносить окончательное решение, которое не подлежит обжалованию критики.

Наша редакция довольно шумная, в большой комнате стоит двенадцать столов, на каждом телефон, а у репортеров скандальной хроники три аппарата, которые беспрерывно трезвонят. Шум, гомон, стрекот пишущих машинок — все это радует мое сердце, хоть утомляет голову, и я ухожу работать в маленькую комнату обозревателя, занимающегося вопросами науки, школы и медицины. Печатается он мало, а думает и читает (что, конечно же, одно и то же) довольно много. Он как-то сказал мне, что Шекспир не что иное, как современный нам толкователь Плутарха, только в отличие от историка он брал частное и исследовал эту м а л о с т ь в ее вечном смысле, в философской сущности, в пересечении незримых нитей закономерного и случайного. Я тугодум, как тебе известно, и не умею сразу понять то, что мне говорят, все надо переварить наедине с самим собою; так случилось и на этот раз. Действительно, подумал я, каждое явление, любой человек, особенно если он есть персонаж истории и память о нем не затерялась в пыли столетий, может быть оценен совершенно по-разному. Плутарх по-своему объяснял, отчего Кориолан изменил Риму, тщательно изучал обстоятельства, предшествовавшие его поступку, и причины, к нему приведшие, а Шекспир просто-напросто сострадал личности Кориолана, разыгрывал свое действо, вдыхал свою плоть в его тлен. Видимо, высший смысл литературы в том и заключен, чтобы увидеть правду образа, поверить в нее и восстановить с в о ю правду. А уж насколько твоя правда угодна людям, скажут они сами: если будут тебя читать, искать твои книги, передавать их из рук в руки, значит, ты почувствовал правду, а если нет — значит, мимо, значит, не понял, не дотянулся. Вообще, писать об исторических персонажах крайне сложно. Согласись, сейчас можно подобрать исчерпывающе полное описание событий французской революции или нашей гражданской войны. Однако что такое событие? Это есть расположение войск накануне сражения, точные данные о том, где и какие полки Гранта стояли в ночь перед битвой, однако же кто может рассказать, что ел накануне этой столь важной для нашей истории битвы генерал Ли? Что пил? О чем говорил с друзьями? Какие-то обрывки правды могут дойти до нас, но они будут, понятное дело, тенденциозными: те, которых генерал любил и отмечал, станут говорить о нем с любовью, те, которым доставалось, выльют на него ушат грязи. Пойди-ка отыщи зо-

лотую середину! И — главное: о чем он думал? Кто сможет сказать об этом? Да и потом, разве мысль бывает когда-нибудь однолинейной? А мысль талантливого человека — это вообще смесь образов, слов, видений. Необходимо прозрение, какое-то таинственное чувствование исторической (то есть людской) правды, — только тогда можно написать то, что будет помогать нашим детям жить на этой суровой земле.

Ту свою «грустную исповедь о марионетках» я, следуя твоему совету, не напечатал в «Роллинг стоун», но думаю попробовать ее обкатать здесь, в Хьюстоне, интересно будет посмотреть, как прореагируют здешние обыватели; впрочем, «здешние» ничем не отличаются от всех иных. Увы.

Дорогой Ли, я был бы счастлив получить от тебя письмо.

Любящий тебя
Билл С. Портер».

42

«Дорогая мамочка!

Мы устроились вполне сносно: комната, где мы спим, довольно большая, так что Маргарет имеет свой уголок, выгороженный ширмой. Билл работает по ночам, поэтому мы не мешаем ему. Ему прибавили заработок, и мы теперь имеем сто долларов в месяц, совсем как в Остине.

Билл купил себе в лавке подержанных вещей: английский клетчатый костюм и желтые лайковые перчатки, потому что здесь очень следят за тем, как одеваются служащие.

Я приискиваю заказы на рукоделие, думаю, мои занавеси вполне можно будет выгодно продавать, это даст нам еще не менее тридцати долларов в месяц, но я пока не говорю об этом Биллу, чтобы не ранить его самолюбие, ибо работающая жена при муже, который не прикован к постели, конечно, позорно, и я вполне его понимаю.

Напиши мне, как развиваются дела у следователя? Есть ли надежда, что процесса не будет?

Очень тебя прошу, держи эту мою просьбу в секрете ото всех. Ты же достаточно хорошо знаешь Билла, он

может перенести все, что угодно, но только не сострадательную зависимость. Порою я поражаюсь ему: другой бы на его месте заплакал, заболел, впал в прострацию, запил, наконец, но он абсолютно ровен, и мне делается страшно: не сокрыто ли в нем безликое равнодушие? Не бездушный ли он, холодный эгоист?! Нет, нет, я люблю его! Он прекрасный отец, я таких других не видела, просто, видимо, в нем нет того, что присуще женщинам, нет воображения, которое не дает спать ночами, нет предчувствий, которые изматывают душу и делают сердце кровоточащим комочком. Я верю, Билл станет прекрасным юмористическим журналистом, еще больше я верю в то, что он сделается одним из лучших карикатуристов Техаса, но, когда он начинает рассказывать мне безысходные, грустные истории про ковбоев, которые кончаются смертью лучших или еще какой трагедией, мне делается горько жить на свете. Я осторожно сказала ему об этом; он пожал плечами: «Ты хочешь толкнуть меня на стезю лжи?» Что мне ему было ответить?

Дорогая мамочка, было бы замечательно, пришли ты мне набор новых спиц, выпущенный сейчас в Нью-Йорке, они так же хороши, как заграничные, а ведь все, что делают в Европе, несравнимо надежнее и красивей наших товаров! Стоимость этого набора одиннадцать долларов сорок три цента. Если я найду хорошую клиентуру, эти спицы (в каталоге их номер или 88-2, или, наоборот, 2-88) помогут мне в приработке. Только, пожалуйста, ни в коем случае не говори про это Биллу, ты же знаешь его щепетильность и болезненную гордость.

И еще, дорогая мамочка! Когда Билл опубликует свои юморески и получит за них двадцать—тридцать долларов, я тебе сразу же верну деньги, но сейчас ты бы очень выручила меня, ссудив пятнадцатью долларами, чтобы я смогла устроить ужин для коллег Билла по редакции, это для него крайне важно. Он говорит им, что ходит на ленч домой, и отказывается посещать вместе с ними бар, но домой-то он не приходит, а сидит в дешевом кафе, попивая сырую воду. Я узнала об этом совершенно случайно от стенографистки редакции мисс Пичес.

Дорогая мамочка, я пытаюсь следовать твоему совету и ставлю себе оценку за то, как себя вела каждый день. Когда мне делается совсем плохо и я чувствую, что могу не совладать с собою и снова наговорю Биллу грубостей или обидных колкостей, я, как и обещала, читаю Евангелие. Иногда мне это помогает, но, если начинаются

приступы кашля, я совладать с собою не могу, особенно из-за изматывающей сердце неизвестности.

Целую тебя, дорогая мамочка,
твоя *Этол Портер*».

43

«Дорогой мистер Камингс!

Конечно, «Первому Национальному» так и эдак пяток каторги обеспечен, это мне точно сказали, следовательно, ушат с дерьмом им будет надет на голову по самые уши, за воротник потечет.

Но если предлагается вообще суда над Портером не делать, а чтоб обвиняемый кассир сбежал, то и это можно попробовать.

Я проработал тут кое-чего, и выходит, что в поезде, который ходит из Хьюстона в Остин — а судить голубя будут там, — вполне можно организовать ему встречу с человеком, которому тот верит. Я полистал записную книжку памяти, нашел имя Конрада А. Смита, который сейчас на мели, но хочет купить себе отель, а голубь его помнит со своих ковбойских лет и уважает. Он готов повлиять на голубка, но ломает за это изрядную сумму, пятьсот баков. Так что смотрите, на ваше благоусмотрение, а про случившееся он знает от Ли Холла, который в дружестве с подследственным и очень к нему сердечен.

В случае успеха предприятия я возьму за услуги пятьсот долларов с вас и сто со старого ковбоя, дайте только знать и пришлите задаток в двадцать пять баков.

Ваш *Кеннет,*
президент фирмы «Посреднические услуги».

44

«Дорогой Майкл!

Как мне ни горько тебе сообщать это известие, но пусть оно лучше придет к тебе от меня, чем от кого другого.

Следствие закончено, Портеру инкриминируется растрата в пять тысяч долларов, и через три дня он будет — увы, по моему указанию — арестован.

Для тебя я готов сделать то, что мне в общем-то делать нелегко: я выпущу его до суда под залог.

Прости меня.

Твой *Кальберсон,* прокурор.

P. S. Пожалуйста, сожги это письмо, потому что я не имею права говорить об этом никому».

45

«Дорогой мистер Портер!

Поскольку я безграмотный, это письмо под мою диктовку пишет внучка Кэролайн, ей двенадцать лет.

Наверное, вы меня помните, я служил объездчиком коней на ферме мистера Ричарда Д. Холла, где вы были в то же время ковбоем, гитаристом, переводчиком на испанский, а также поваром. Потом вы снова уехали к брату мистера Ричарда Д. Холла, мистеру Ли Л. Холлу, а все постоянно про вас вспоминали: и как вы разыгрывали спектакли, в которых надо всеми шутили, но не обидно, а по-дружески, и как ухаживали за испанкой Тоньей.

Когда я вложил свои деньги в акции «Фрут компани», которые были выпущены проходимцами (о, я, конечно, об этом не знал), и стал поэтому нищим, мне надо было срочно выплатить за аренду земли, на которой я поставил маленький салун (а то «Скотопромышленный банк» сразу же погнал бы взашей, они не церемонятся, совсем молодые люди, пришли сюда, на Дальний Запад, на все готовенькое, после того, как мы его для них обжили, а я бы стал совершенно нищим, а ведь у меня семья и две внучки, а их отца убили во время перестрелки на границе, и я их содержу один, больше некому).

Теперь вы, наверное, меня вспомнили, я же вам все об этом рассказал, когда вы служили в «Первом Национальном», и попросил у вас ссуду в сорок девять долларов шестьдесят два цента под обязательство вернуть через сорок дней, и вы пошли на то, чтобы спасти меня от нищеты. А теперь меня вызвали к прокурору, и там молодой человек в очках, назвавший себя мистером Трамсом, спросил, сколько вы взяли себе из тех сорока девяти долларов шестидесяти двух центов. Я даже не понял сначала, о чем он говорил, а потом только дошло до меня, что

вы, давая ссуды горемыкам вроде меня или же друзьям директора Банка без достаточно оформленной финансовой поручительской документации, получали со всех мзду, которую клали себе в карман.

Я, конечно, послал этого подлого мистера Трамса куда подальше, а он стал мне грозить, что, мол, привлечет меня в качестве соучастника хищений, на что я пообещал ему дырку в голове, я всегда работал с оружием сорок пятого калибра, сердце не выдерживало вида страданий раненых, а сорок пятый гарантирует моментальный переход в лучший мир, никаких мучений.

Он на это сказал мне, что засадит меня в тюрьму, а я предложил ему попробовать это сделать.

С этим я ушел от него, но решил сразу же написать вам письмо.

Можете рассчитывать на меня, как на себя. С помощью вашей ссуды в сорок девять долларов шестьдесят два цента я откупился от «Скотопромышленного банка», потом рискнул вложить деньги, оставшиеся от выплаты, в приобретение новых пластинок для граммофона и стал продавать билеты в мой салун на музыкальные концерты. Это принесло кое-какой барыш. Тогда я — коли пошла удача, пользуйся ею — выписал из Лос-Анджелеса больного деда моего друга, где он потерял врачебную практику и нищенствовал. А тут я нарисовал большой плакат с его именем и оповестил всех, что самый великий врач Западного побережья дает консультации за два доллара. Ну и повалил народ. Так что я сейчас при деньгах и строю большой крытый навес, чтобы гостям можно было держать коней в тепле, когда идут ливни.

Жду указаний, как мне поступить.

Глубоко вам благодарный и уважающий вас
Конрад Арчибальд Смит».

46

«Дорогой Ли!

Если ты представишь себе пустоглазого дурня в светлом, английского кроя, костюме, клетчатом, как тюремная решетка, в целлулоидном воротничке, который вытягивает шею, делая ее похожей на цыплячью, за длинным столом, заваленным гранками, вырезками из газет, телеграммами и письмами читателей, то это буду я.

Ты не можешь себе представить, сколь много горестного я узнал за то короткое время, что провел в Хьюстоне.

Мне теперь приходится вести и светскую хронику, это очень важная рубрика в газете, ее читают, ты снова прав, несмотря даже на то, что у нас тут нет ни одного артиста или художника. По роду новой службы мне пришлось посещать рауты отцов города... Видел бы ты, с каким нескрываемым презрением разглядывали мой старый костюм здешние дамы, обсыпанные сапфирами, изумрудами и бриллиантами, как перхотью! Человек ценится по одежде, вывел я для себя и сделал вывод: одеваюсь как денди, даже завел себе лайковые перчатки и брошь для галстука с фальшивым алмазом. С тоской и болью я вспоминаю прошедшую молодость, когда цену человека определяла не одежда, а его сущность, то есть умение выручить из беды друга, объездить норовистого коня, отстреляться от бандитов, сколотить дом в том месте, куда не ступала еще нога человека, развести в этом доме очаг и радостно встречать там тех, кто пойдет еще дальше.

На Дальний Запад пришли совсем другие люди. Ли, ты даже не представляешь, как они не похожи на нас и на тех, кто был до нас! Молодые, с холодными глазами, без всяких сантиментов, они, наверное, делают нужное дело, организовывая нашу вольницу в штат, подчиненный законам страны, но неужели прогрессу угодны не люди, а некие инструменты государственной машины, лишенные всего человеческого, романтического, доброго, самобытного?!

Знаешь, я споткнулся на одном интересном размышлении: ведь сказки про козлят, мышат, про добрых принцев и нежных волшебниц сочиняют мужчины, женщины лишь пересказывают их детям. Нельзя ли сделать из этого вывод, что мужчинам (я имею в виду истинных представителей этого пола) более, чем женщинам, свойственно желание принести всем (а не одной лишь своей семье) благость, увидеть справедливость при жизни, а не в загробном царстве?

Я не зря взял в скобки свое замечание про истинных представителей нашей с тобою половины рода человеческого, ибо сейчас к власти пришли злейшие враги сказочников. На раутах мне нечего делать, кроме как наблюдать; пить, как тебе известно, я боюсь, поскольку алкоголь мешает мечте, то есть сочинительству; еды на этих

раутах почти не подают, несколько кусочков ветчины и сыра, на них нацелено столько алчных взоров (чем человек богаче, тем больше он норовит ухватить на такого рода бесплатном рауте), что я просто-напросто считаю ниже своего достоинства толкаться, пролезая к блюду, ухватывать кусок и убегать в угол, чтобы там сладко почавкать, набивая брюхо.

Результаты моих наблюдений оформились в некую схему. Как всегда, самый главный человек города исполнен добродушия, он открыт, демократичен, весел, не чурается грубоватой народной шутки, больше всего любит пораспространяться о своем рабочем прошлом, о бедности, пережитой им в детские годы, и о том, как прошел последний бейсбольный матч между командами «Викингов» и «Поросят».

Рядом с ним на рауте обычно стоят «холодноглазые». Это те, которые окружают босса в офисе: напрямую, как известно, к нему не попасть, надо сначала обговорить тему визита, доказать необходимость встречи, ее целесообразность для паблисити туза и все такое прочее, только после этого его ассистенты соберутся на свой дьявольский шабаш и примут решение, которому их шеф обязательно подчинится.

Нельзя отрицать того, что «холодноглазые» знают толк в работе, читают законы и по-научному относятся к рекламе, призванной сделать их босса еще более известным, а оттого влияющим на политику, то есть на бизнес.

Но вот о чем я все больше думаю, дорогой Ли, после этих раутов, где рассматриваю главного босса и свору «холодноглазых»... Мы можем перестать быть той землей, которую создавали наши отцы, да и мы с тобою в какой-то мере. Холодные лица на страже холодного закона — Боже, как может стать холодно в стране! Как изменится климат! Как увянут люди, переменятся характеры, какая будет тишина и разобщенность! Да, все верно, закону должны служить люди, лишенные эмоций, параграф и его выполнение прежде всего, наши законы прекрасны, а придумали их не кто-нибудь, а Джефферсон и Вашингтон, которым удалось то, что не удалось французской революции, но ведь закон подобен живому организму, все в этом мире в чем-то напоминает человека, все подвластно ему или должно стать подвластным, а человечество определяют хорошие люди (должны во всяком случае), как историю — ее пики: Спартак, Лютер,

Микеланджело, Юм, Ньютон, Вашингтон — а не серые инквизиторы или бездумные монархи. Я, видимо, пишу коряво, но это значит, что я пишу об очень больном, о том, что не дает мне покоя, что тревожит меня больше, чем мои горести, потому что мы, те, кому за тридцать уже, прожили свои лучшие годы, а нашим детям еще предстоит жить в мире, и от того, кто будет им править, зависит сама Жизнь на земле.

Общение с «холодноглазыми», причем постоянное, деловое, необходимое, разлагающе действует на общество; всякое действие рождает противодействие, и хорошо, если бы против них открыто поднялись, так нет же! Самое страшное, что рождается некое массовое мнение, что, мол, живя среди койотов, надо научиться есть падаль, чтобы не умереть с голоду. Ничто так не разлагает общество, не разобщает его, как цинизм и холодное, безапелляционное, бесчувственное следование параграфу закона.

Придумана схема: мол, «холодноглазые» лишь некая прокладка между большими боссами и народом, необходимая малочисленная инстанция. Но ведь именно эта прослойка общается с нами, докладывает о нас боссам, потом, в свою очередь, доводит до общественности то, что людям предстоит делать, чем восхищаться, что ненавидеть. Они не боссы, но они уже и не мы, они страшная химера, которая стала ужасающей, незримо могущественной явью. Из кого они состоят? Те, кто умеет объезжать мустангов, занимаются своим делом и счастливы, потому что любимое дело — это высшая человеческая радость, не правда ли?! Бизнесмен, знающий, как наладить дело, весь в своем предприятии, и ему незачем продавать свою душу боссам, он сам босс! Плотника просто-напросто не пустят в этот клан, у него нет знания. Из кого же тогда создается армия «холодноглазых»? Из грамотных, но неумелых, из тех, кто лишен компетентности, но обладает нужной памятью на параграфы закона, из тех, кто труслив, ибо и объездчик мустангов, и бизнесмен должны принимать волевые решения; эти же, «холодноглазые», обязаны делать все, чтобы все кругом ничего не делали, они тормозят прогресс, они думают лишь о своем месте, которое дают им баки и блага.

Вот о чем я думал, посещая рауты и составляя отчеты об этих балаганах. Первый раз я написал про то, что хозяйка дома, леди Фрич, слегка горбата (и это

правда), но это не мешает ей хорошо готовить бутерброды с мягким сыром (вроде мокрого камамбера) и наблюдать, чтобы отцам города вовремя подавали настоящее, шотландское виски. Я дал прочитать отчет Этол, она пришла в ужас, все за меня переписала в том смысле, что лучистые глаза очаровательной леди Фрич сияли счастьем и добротою, когда она принимала наиболее достойных граждан Хьюстона, собравшихся в ее доме, чтобы обсудить вопросы, связанные с развитием музыкальной культуры города; духом заботы о подрастающем поколении был проникнут короткий, но искрометно-талантливый спич мистера Брайта, который вручил чек на пятьдесят долларов «Организации за верность Традициям Народной Песни Техаса».

Я спросил Этол, не стыдно ли ей так меня править, потому что она, как и я, знает, что мистер Брайт простонапросто готовится к выборам, а пятьдесят долларов ему вручил «Скотопромышленный банк», ставленником которого он является, но Этол показала мне глазами на ширму, за которой спала Маргарет, и в довершение ко всему заплакала, а когда плачет женщина, я готов сделать все, что могу, лишь бы она плакать перестала.

Кстати, не можешь ли ты подробнее написать, когда с фермы Ричарда ушел ковбой Конрад Арчибальд Смит? По какой причине?

Я желаю тебе счастья и хочу поговорить с моим редактором о командировке к тебе, чтобы мы наконец смогли положить конец бандиту по кличке «Малыш» и отомстить за гибель прекрасной испанки Тоньи. Я пообещаю ему написать интересный рассказ об этой экспедиции. Но боюсь, он меня не пошлет, потому что «холодноглазые» и в редакциях наводят жесткий порядок: «Малыш — тема для репортера скандальной хроники», а мне по штату положено не мотаться в седле вдоль границы с ковбоями, а веселить своим юмористическим блеянием читающую публику.

Этол сильно кашляет, ей бы хотелось поехать к тебе на ранчо, пожить среди ковбоев... Я так боюсь увидеть на ее носовом платке капельку крови, дорогой Ли...

Тот монолог Судьбы, о марионетках, который я тебе отправлял, будет опубликован завтра.

Остаюсь твоим другом
Биллом Портером».

47

«Дорогая доченька!

Мы не могли себе и представить, что дела обернутся так ужасно. Однако, любимая Этол, не волнуйся, все обошлось благополучно. Несмотря на то, что Билла арестовали прямо в здании прокуратуры сразу же после того, как было вручено обвинительное заключение, Роч сумел сделать так, что его освободили до суда, после того как мы внесли за него залог; в тюрьме он провел только одну ночь; сегодня утром Билл вернулся к нам, принял ванну и лег спать в твоей девичьей комнатке.

Он сделался очень молчаливым, не произнес ни одного слова, осунулся, так что, дитя мое, пожалуйста, смиряй свой нрав и, когда он вернется в Хьюстон, не сердись на него попусту, контролируй свои настроения, столь часто меняющиеся, будь постоянно улыбчивой и заботливой.

Моя маленькая, поверь, семейное счастье в основном зависит от женщины. Даже если случилось худшее и женщина по прошествии месяцев или лет поняла, что не любит своего избранника, ошиблась в нем, то и в этом случае дисциплина и такт могут сохранить такие отношения в семье, которые накануне старости станут дружескими, и все плохое уйдет, останется лишь воспоминание о хорошем. Достоинство и выдержка, Этол, две эти ипостаси Христова учения гарантируют человека от бед в его крепости, в Доме его. Но, увы, часто случается прямо противоположное: двое любящих живут словно собака с кошкой, и виновата в этом всегда кошка, потому что она игриво задирает, не контролирует свой нрав, мяучит тогда, когда следует мурлыкать, и показывает когти в тех ситуациях, в которых надо гладить мягкой лапкой.

Биллу сейчас очень плохо, моя девочка. Несколько месяцев ему предстоит жить под дамокловым мечом, ожидая суда, — его официально обвинили в растрате пяти тысяч долларов. Ты понимаешь, какая это для вас сумма; ему надо работать пять лет, и не кормить тебя и Маргарет; и не есть самому, чтобы вернуть эти деньги. Но его обвиняют не только в этом: главное, что ему инкриминируют, заключается в том, что он халатно вел дела, разбазаривал деньги вкладчиков, нарушал федеральные законы о банках и таким образом наносил ущерб Соединенным Штатам.

Как объяснили Рочу, в эпоху государственного ста-

новления, которую мы сейчас переживаем, всякого рода анархия, хоть и продиктованная благими намерениями, особенно опасна для общества и будет караться немилосердно.

Прошу тебя, доченька, внемли материнским советам. Пусть Господь всегда будет с тобою.

Любящая тебя *мама*».

48

«Дорогая мамочка!

Билл вернулся в совершенно ужасном состоянии. Случилось самое страшное, что только могло случиться: он начал тайком пить. Он, как всегда, шутит, рассказал, сколь забавными были его соседи по тюремной камере, считает, что суд оправдает его, но я-то знаю его глаза и вижу в них такую боль, что сердце мое разрывается. Он стал похож на больное животное, сознающее, что дни его сочтены и ничто не может ему помочь.

Как всегда, он отправляется утром в редакцию (мы скрываем случившееся ото всех, Билл страшно болезненно относится к тому, что произошло, с его-то гордостью — быть «растратчиком», можешь себе представить!), как всегда, он надевает свой английский костюм, который я каждую ночь глажу, чтобы он смотрелся как можно респектабельнее («Чем тебе хуже, — говорит Билл, — тем ты должен выглядеть наряднее, беззаботнее и богаче»), натягивает лайковые перчатки (от отказался от своей порции молока, чтобы я могла им чистить мягкую кожу каждый день) и отправляется в редакцию, где пишет свои юмористические рассказы. Возвращается он за час перед тем, как Маргарет должна отойти ко сну, и сразу же начинает играть с нею, они катаются по полу, хохочут, а потом он рассказывает одну из своих бесчисленных сказок, и девочка засыпает счастливой.

Сначала я не придавала значения его излишне экзальтированной веселости, он ведь всегда был нежен и весел с Маргарет, но однажды поцеловала его и ощутила отвратительный запах виски. Как ты и просила меня, я не подала вида, что почувствовала это, но и назавтра он тоже был навеселе! Тогда я спросила его, откуда у него деньги на выпивку, мы ведь считаем каждый день, особенно после того, как ты и Роч одолжили две тысячи долларов, внеся за него залог в тюрьму, чтобы он был отпу-

щен до суда домой. Билл ответил, что в Хьюстон приезжал старый ковбой Конрад Арчибальд Смит, с которым он работал на ранчо Ричарда Холла, и ему было неудобно отказать старику в том, чтобы пару раз поужинать с ним, а ковбои, сказал Билл, не понимают, как можно ужинать, да еще со старым приятелем, без пары стаканчиков виски с содовой.

Он смотрел на меня, объясняя происходящее, такими страшными глазами, столько в них было муки, что я в ту ночь не смогла уснуть.

Я не знаю, как мне поступить. Я в отчаянии.

Целую тебя, дорогая мамочка,
любящая тебя *Этол Портер*».

49

«Дорогой Ли!

Ты себе не представляешь, как счастливо жить узнику, приговоренному к смертной казни, после того, как он подал жалобу на неправомочность приговора и жалобу, как ни странно, приняли к рассмотрению. О, сколь громадной стала казаться ему камера, каким ослепительным мнится ему теперь тусклый свет, проникающий сквозь грязное, зарешеченное оконце, как добры голоса тюремщиков, сколь вкусна похлебка из чечевицы!

Мое настроение значительно ухудшилось, когда в Хьюстон приехал старина Конрад Арчибальд Смит, помнишь, я спрашивал тебя о нем в одном из предыдущих писем? Когда он подошел ко мне возле дверей редакции, сердце мое сжалось от боли, от тоскливой боли по безвозвратно ушедшей молодости, по нашим самым счастливым годам! Как и семь лет назад, он был в своем синем ковбойском костюме, ставшем сейчас благодаря рисункам изнеженных книжных художников маскарадным, в то время как нет на свете более удобной и экономичной одежды, чем эта. Каждая деталь придумана не парижскими законодателями мод, которые маются от томности, но самой жизнью: левый карман — для патронов, правый — для плоскогубцев, которыми надо скрутить проволоку, ограждающую загон, где весело мычат двухлетки с замшевыми губами и глазами влюбленных девушек, карманы на заднице прекрасно вмещают ложку, и перочинный нож, и связку ключей; в боковом, удлинен-

ном, прекрасно лежит кинжал; тот, что на груди, — надежно прячет деньги и плоское портмоне с фотографическим портретом бабушки, мамы и лучшего друга. Ничего лишнего, все прочно, удачно, придумано жизнью, а не головою — пусть даже самой талантливой.

Конрад Арчибальд Смит прибыл не один, а с Бобом Кэртни, который работал у Линдона Б. Пристера, потом уехал в Мемфис и его пригласили в банк, кассиром. Судьба его до ужаса похожа на мою. Так же, как и в Остине, совет директоров состоял из старых ковбоев, зашибивших деньгу. Так же, как в «Первом Национальном», все подчинялись закону дружбы, а не параграфу Всеобщего и Безусловного Правила Финансового Уложения для Банков. И так же, как я, был уличен «холодноглазыми» в растрате, но оказался умнее меня, потому что уехал на три года в Мексику, а по прошествии этих трех лет вернулся, так как дело его было закрыто, поскольку, как оказалось, дядя Сэм гневается на растратчиков не более тридцати шести месяцев, а потом сжигает в топке дела по их обвинению и назначает их ревизорами надзора за правильностью расхода средств на приюты, а также попечителями каждого, кого нечестные люди подвели к беде.

Вообще этот Боб дал мне накануне отъезда в Остин на суд ряд советов, которые не могут не пригодиться, и давал он их мне, пока дядюшка Смит таскал нам от стойки бара стакашки с дымным виски — боже, какая сладость виски и как я ненавижу его наутро, когда голова словно котел и ничего не идет на ум, а редактор Джонсон уже в пятый раз интересуется, закончил ли я очередной юмористический рассказ, от которого животики должны полопаться у добропорядочных граждан Хьюстона, я ж так умею их смешить, я так понимаю, что надо людям, уставшим от работы, я столь сострадателен к их бедам, надеждам и маленьким мечтаниям!

Ли, я стою на краю обрыва, и ничто не может помочь мне.

Я буду всегда помнить тебя, мой дорогой и добрый друг. Память — спасательный круг для людей, попавших в беду.

Твой *Билл Портер*».

50

«Дорогой мистер Камингс!

Пожалуйста, вышлите мне вторую часть гонорара, потому что я свою часть работы выполнил, Конрад А. Смит провел то дело, о котором мы уговаривались, голубь улетел, можете травить тех, кто за него ручался.

Ваш *Кеннет*,
президент фирмы «Посреднические услуги
и консультации».

51

«Живым или мертвым!

Полиция Техаса объявляет награду в тридцать долларов тому, кто укажет место нахождения преступника Уильяма С. Портера, скрывшегося от суда, который должен был состояться над ним в Остине 13 июля 1896 года».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

«Майклу Ф. Смайли и Г. Ш. Андерсену.

Уважаемые господа!

До меня только что дошло известие о тех неприятностях, которые переживает ваш «Первый Национальный банк».

Я понимаю, что досадное происшествие с мистером У. С. Портером отнюдь не есть ключевой вопрос. Все достаточно глубже, ибо на наших глазах происходит трагическое столкновение новой волны законников с традициями того прекрасного времени освоения Дикого Запада, наиболее достойными представителями которого, без сомнения, являетесь вы и остальные члены вашего Совета директоров.

Свято храня память о вашем подвиге, гордясь им по праву, я рискую внести вам чисто дружеское, сыновнее предложение: поскольку отлив капиталов из вашего банка принял угрожающий характер, наш «Скотопромыш-

ленный банк» готов предоставить вам ссуду под поручительство Хьюстонского банка.

В случае, если Хьюстон откажет вам в такого рода гарантийном письме, мы готовы рассмотреть вопрос о контрольном пакете акций вашего банка таким образом, что пятьдесят один процент останется в вашем ведении, в то время как сорок девять процентов отойдет нашему Совету директоров. Вы, таким образом, будете продолжать оставаться хозяевами того прекрасного предприятия, которое было организовано вами на заре освоения штата.

Если такого рода предложение вас почему-либо не устроит, я готов обсудить с вами, вполне конфиденциально, те предложения, которые вам представляются приемлемыми.

Остаюсь, милостивые государи, вашим покорнейшим слугою,

Филипп Тимоти-Аустин,
директор «Скотопромышленного банка»,
дипломированный экономист».

2

«Уважаемый мистер Кинг!

Памятуя ваш первый урок, я вынужден обратиться к вам без посредничества мистера Камингса, ибо дело того заслуживает.

Акции «Силвер филдз», приобретенные вами на сумму в сорок семь тысяч долларов, дали прибыль из расчета один к семи.

Однако ныне ситуация резко изменилась в связи с тем, что я получил согласие Совета директоров «Первого Национального банка» в Остине на то, что мне отходит сорок восемь процентов контрольных акций и я становлюсь совладельцем этого предприятия.

С тем, чтобы мои люди смогли получить еще три процента из контрольного пакета и я, таким образом, превратился бы в единоначального руководителя и этого финансового института Техаса, необходимо, чтобы вы добились согласия отсрочки моих налоговых платежей Вашингтону на один год. Прецедент такого рода был, следовательно, вам это не составит особого труда.

Остаюсь и пр.

Филипп Тимоти-Аустин».

3

«Дорогой Филипп!

Меня удивил тон твоего обращения к мистеру Кингу. Неблагодарность никого еще к добру не приводила. Ты мог и обязан был написать мне, и я бы нашел возможность помочь твоей просьбе, сделав это тактично и тонко. Ты очень огорчил меня. Прошу тебя, напиши мистеру Кингу письмо с извинениями, в противном случае я перестану оказывать тебе то дружеское покровительство, которое помогло тебе стать тем, кто ты есть.

Твой друг *Камингс*».

4

«Уважаемый мистер Кинг!

Я не заинтересован в посредниках типа м-ра Камингса. Жду от вас телеграммы с одним лишь словом «да». Срок — семьдесят два часа. Если в течение этого периода я не получу от вас такого рода телеграммы, мне придется предпринять свои шаги.

Филипп Тимоти».

5

«Директору «Скотопромышленного банка»
Филиппу С. Тимоти-Аустину.

Ну что ж, «да» так «да».

Кинг».

6

«Моя любимая!

Понятие «Рубикон», столь знакомое школьникам по урокам истории, обрело для меня смысл явственный и страшный, когда я сошел с поезда на Ривер плэйс, заглянул в буфет, сел за стойку бара, заказал себе стакан оранжада (я не прикоснулся к рюмке, как обещал тебе, ни разу) и, похолодев, ощущая, как уменьшился в росте, ожидал того момента, когда поезд тронется дальше, в Остин, без меня.

И он тронулся. А я пошел в туалет, открыл свой баул, достал старый ковбойский костюм, аккуратно сложил свою английскую пару, спрятал ее, сунув в карманы лайковые перчатки, и отправился в город, где продал твои золотые часы за пятьдесят девять баков. Таким образом, мой капитал на первых порах составлял триста девятнадцать долларов.

До сих пор я краснею, когда вспоминаю моего доверчивого редактора Джонсона, который легко одолжил мне двести шестьдесят долларов в счет оклада содержания за два с половиной месяца.

«Дорогой Билл, — сказал он мне на прощание, — я не сомневаюсь, что приговор будет оправдательным; в крайнем случае тебя захомутают штрафом в тысячу долларов, но я поддержку тебя еще двумястами сорока долларами, а остальные соберем по подписке: «Великий юморист угодит за решетку, если благодарные читатели и ценители его карикатур не внесут по пятьдесят центов! Уплатите, или Америка потеряет духовного сына Марка Твена!»

Знаешь, любимая, я пребывал в смятенном колебании: а может быть, открыться ему?! Сказать ему всю правду? Ведь он был так добр к нам с тобою все это время! Такой на первый взгляд грубый и неотесанный человек, а как доверчив и раним... Впрочем, видимо, все настоящие люди не бывают однозначными, похожими на лубочных героев из школьных хрестоматий. Истинное добро прячет себя в этом мире зла, иначе его распнут и не дадут ему реализовать себя, а ведь реализация добра — это деяние. Однако же моим деянием является Слово, а его надо творить в состоянии хотя бы относительного покоя. Ждать можно чего угодно: очередного отказа литературного агентства, денежного перевода, приезда друга, только нельзя ждать того, что неподвластно тебе, то есть слов двенадцати присяжных «виновен» или «оправдан». Ведь судья и прокурор будут вдалбливать им в головы про мою вину, а я — по закону человеческой порядочности (может быть, ты права, я ее слишком гипертрофированно понимаю) — не решусь им возразить и буду ждать месяц, два, полгода, год решения судьбы в таинственной и закрытой Второй инстанции, и невольно рука потянется к рюмке, и тогда мое Слово кончится, а значит, и я кончусь...

За те дни, недели, месяцы, может быть, и годы свободы, которую я теперь получил, перейдя мой рубикон, можно

собрать темы, обдумать их и начать писать то, к чему меня чем дальше, тем неудержимее тянет: к Энциклопедии Надежды Маленького Человека. Я так надеялся все эти страшные месяцы на то, что кошмар пройдет, что в суд придет тот, кто должен прийти, и скажет то, что обязан сказать, и ужас кончится, но никто не пришел и не сказал... Либо надо было продолжать ждать слова присяжных и в этом страшном ожидании потерять себя, потерять свою мечту, сделаться тихим пьяницей, который ждет избавления на донышке рюмки, либо надо было предпринять тот шаг, на который мы с тобой решились, любовь моя...

Как всегда, я ищу утешения в книгах древних: «Если божественное обладает всеми добродетелями, то оно обладает и мужеством. Если же оно имеет мужество, то имеет знание страшного, нестрашного и того, что посредине между тем и другим; и если так, то для Бога существует нечто страшное. Ведь мужественный не потому мужествен, что знает, в чем состоит опасность для него самого. Поэтому, если Бог мужествен, для него существует нечто страшное. Если же есть нечто страшное для Бога, то, значит, существует и то, что может его тяготить. А если это так, то он доступен гибели. Отсюда вытекает: если существует божественное, то оно тленно». Но более всего меня обнадеживает вывод из этого дерзкого постулата Секста Эмпирика: «Но ведь оно нетленно, следовательно, его не существует».

Будем же считать, что разлуки, на которую нас обрекла жизнь, не существует. Будем жить друг в друге постоянно.

Через десять минут подойдет мой поезд. Я купил билет третьего класса. Сейчас нарисую смешную картинку для Маргарет. Скажи ей, что я привезу из моей дальней поездки дрессированного жирафа и много цветных ракушек, в которых постоянно шумит море.

Я стану писать тебе на имя Долли Вильсон, думаю, она сможет достойно хранить нашу тайну.

Я молю Бога за тебя и нашу девочку.

Любящий тебя *Билл Портер*».

7

«Дорогой Ли!

Ты себе и представить не можешь мое нынешнее житье в Новом Орлеане!

Во-первых, я легко устроился в газету, взяв себе псевдоним Остина Брайта. Во-вторых, мне положили пятьдесят долларов в месяц, что по здешним ценам очень мало, однако мы — восемь репортеров — сняли старый сарай во французском квартале, поставили там семь скрипучих кроватей, четыре стола (по половине на брата), это стоило каждому восемь долларов, и в довершение ко всему нашли в порту «бича», великолепного судового кока; он креол, хорошо поет (мы иногда с ним делаем это *на два голоса*) и *совершенно замечательно* готовит нам ленч — дешево и изобретательно. Стоит это каждому семнадцать центов. Я довольно скрупулезно подсчитывал мои финансы и пришел к выводу, что смогу посылать Этол по меньшей мере двенадцать долларов в месяц.

К счастью, в этом портовом городе, привыкшем к тому, что люди т е к у т — сегодня он здесь, а завтра ушел в Европу или же в Латинскую Америку, — нет фискальных формальностей; никто ни к кому особо не присматривается, каждый живет сам по себе.

Перед тем как поселиться в нашем репортерском сарае, я прожил пять дней в дешевеньком пансионате, но с претензией на семейность, то есть порядочность. Здесь разыгралась настоящая драма: моим соседом был старый майор, южанин, снимавший комнату вместе с прелестной дочерью. Она посвятила себя отцу, ей уже тридцать, но она не выходит замуж, потому что трепетно предана родителю, оставшемуся вдовцом. Вторым соседом на этаже был нищий артист Джон Грин. По вечерам мы собирались на чай, и майор рассказывал истории о сражениях против северян, изображая всех людей на разные голоса, причем южанам были — в его интерпретации — свойственны порядочность, мужество и доброта, а северянам — напористое высокомерие, пренебрежительное отношение к традициям и сюсюканье с «ниггерами».

Смешно, точно так же копировал «ниггеров» и Филипп С. Тимоти-Аустин, молодой парнишка в Гринсборо. Я однажды изобразил его на сцене нашего любительского театра; ему стало трудно ходить по городу, так над ним все потешались; перед отъездом он встретил меня возле аптеки и сказал: «Я отомщу тебе так, что ты будешь кусать локти за то, что публично оскорбил меня». Я с болью душевной вспомнил этого юношу; мне горько, что он так отнесся к шутке, но сцена, свидетелем которой я оказался в пансионате, несколько меня утешила.

Дело в том, что актер Джон Грин постоянно просил майора рассказывать свои истории, а никто так не алчет аудитории, как старые военные. Майор занимал нас целыми вечерами, а потом он случайно пошел в театр и увидел себя на сцене; гневу его не было предела — Грин скопировал его абсолютно. Этой ролью Грин добился огромного успеха, дела его пошли очень хорошо, а майор вконец обанкротился, ему даже нечем было платить за жилье, ситуация совершенно страшная. Грин, переехавший в хороший отель, узнал об этом, но не решился прийти к майору, потому что тот отказал ему, после спектакля, в знакомстве и даже хотел вызвать на дуэль. Знаешь, что он сделал? Загримировался негром, придумал себе роль, что, мол, он был рабом майора (а тот рассказывал, что у него было сорок рабов и все его боготворили за доброту), и принес ему двести баков, чтобы старик мог расплатиться за комнату. Поскольку никто не помнит ни имен своих рабов, ни их лиц, только все твердо убеждены, что бедняги их до сих пор обожают, считая эпоху рабства самой светлой порой жизни, майор легко принял деньги. Прекрасный сюжет, не правда ли?

Я не знаю, чем занимается сейчас бедный Филипп Тимоти-Аустин, по-моему, он уехал учиться банковскому делу, но я бы с радостью загримировался негром (ковбоем гримироваться не надо, я одеваюсь теперь так, как у тебя на ранчо, и даже в целях конспирации отрастил бороду) и доставил бы ему какую-нибудь радость. Только денег не смог бы принести: последнюю неделю перед выплатой оклада содержания (здесь платят не по неделям, а по десятидневкам) я ужинаю прекрасной холодной водой, успокаивая себя тем, что это промывает почки, а именно от них зависит человеческое долголетие.

...В бедной моей голове что ни день, то рождается рассказ, я вижу его от начала и до конца, я даже слышу голос, который его читает, но для того, чтобы писать, надо иметь время и хлеб, а также стол, книжную полку и право спать в комнате, где больше никто не храпит. Иногда мне кажется, что бедная моя черепушка взорвется от сюжетов, тем и образов, фраз, пейзажей, и тогда, чтобы не начать петь дурным голосом в публичном месте арию из оперы Джозефа И. Ве-ер-ди, приходится идти в салун дяди Дэниса, где собираются игроки в покер, садиться к столу и, зажав в потном кулаке сэкономленные за неделю семь долларов, включиться в игру. Я по-

нимаю, что разбогатеть на картежной игре нельзя, но отвлечься, наблюдая за накалом страстей, вполне можно. И еще важно то, что здесь я прохожу уроки сюжетологии: только-только сидел человек с двумя мешочками золота, крепкий и уверенный в себе, вальяжно заказывал виски, и бармен подпархивал к нему, и ставки его были ухватистыми, пока некто, наблюдавший за ним из угла весь вечер, не подходил к столу, брал карту, давяще, но при этом раздражающе-небрежно блефовал, забирал пару мешочков золота себе, и на твоих глазах происходила метаморфоза, описывать которую хоть и больно, но необходимо, ибо нигде так не обнажается человек, как за карточным столом. Он подобен здесь рисковому политику или банковскому воротиле: пока на коне — он силен и уверен в себе, но стоит ему проиграться — делается таким жалким, что глядеть на него тошно, будто побитый пес под дождем накануне землетрясения.

Должен тебе признаться, что мне ужасно не хочется описывать, как люди проигрывают, — так мне их жаль! Но ведь если бы не было проигрыша, не существовало б и выигрыша, разве нет?

Кстати, я ни разу в жизни не выиграл в карты. Садясь к столу, я заранее знаю, что вернусь в наш репортерский сарай без цента в кармане, но, Боже, каким я чувствую себя богатеем ночью, перед тем как уснуть! Сколько я услышал новых слов! Сколько поразительных коллизий прошло перед моими глазами! Сколько историй я узнал, когда, почувствовав облегчение в карманах, попивал свое пиво, оплаченное загодя, и внимал тем бедолагам, которые пришли испытать судьбу, потеряв всяческую надежду добиться счастья где-либо в другом месте.

Дорогой Ли, я подбираю верного человека, на чье имя ты бы мог мне писать. Как понимаешь, оказаться арестованным в течение тех трех лет, что мне предстоит скрываться, — дело далеко не веселое. Я должен лежать затаившись, как аллигатор, чтобы вернуться к Этол и Маргарет ровно через два года, одиннадцать месяцев и три дня. И вернуться не как побежденный, тихо, ночью, тайком от любопытствующих соседских глаз, но днем, весело и шумно, а в руке у меня будет саквояж, в котором я принесу не семь самородков весом пять килограммов каждый, не голову Малыша, заспиртованную в прозекторской, но штук сорок—пятьдесят рассказов,

которые позволят мне писать еще больше — обо всем том, о чем нельзя не сказать людям.

Остаюсь твоим другом

Биллом, Рыжей Бородой».

8

«Дорогой мистер Врук!

Я был бы бесконечно Вам признателен, если бы Вы поручили кому-нибудь в Вашей адвокатской конторе выяснить — только весьма деликатно — один вопрос, весьма меня интересующий: не жил когда-либо директор «Скотопромышленного банка» Филипп С. Тимоти-Аустин в Гринсборо?

Примите уверения в моем совершенном почтении,

Ли Холл, фермер».

9

«Дорогой мистер Холл!

Мои сотрудники предприняли немало усилий, чтобы выполнить Вашу просьбу. Да, действительно, Филипп Самуэль Тимоти-Аустин жил в Гринсборо пятнадцать лет назад, то есть до февраля 1882 года. Именно оттуда он уехал в Нью-Йорк, где поступил в колледж, на экономический семинар.

В настоящее время мистер Филипп С. Тимоти-Аустин является не только президентом и директором «Скотопромышленного банка», но также членом Наблюдательного совета компании «Силвер филдз» и одним из членов Совета директоров банков в Хьюстоне и «Первого Национального» в Остине.

Гонорар за наведенную справку в размере семи долларов переведите на прилагаемый текущий счет.

Примите уверения в самом глубоком уважении,

готовый к услугам

Саймон Врук».

10

«Уважаемый мистер Врук!

Высылая Ваш гонорар за наведенную справку, хочу принести глубокую благодарность за то, что Вы столь

тактично и быстро выполнили мою просьбу. Именно это позволяет мне сделать следующий шаг и предложить Вам провести исследование вопроса, весьма меня занимающего: как в банковских кругах, в первую очередь в «Первом Национальном», относятся к исчезновению из-под суда Билла С. Портера? Считают ли его в этих кругах растратчиком, и если да, то кто именно? Или же есть люди, которые верят в его невиновность. Кто они, какова мера их весомости?

Поскольку м-р Портер исчез при таинственных обстоятельствах накануне суда и никто не знает, жив ли он, мне бы хотелось предпринять все возможное, чтобы понять правду, ибо этот мистер работал у меня на ранчо и зарекомендовал себя с весьма неплохой стороны. Убежденный в том, что добро подобно бумерангу, никак не связанный с Портером, движимый лишь интересом и справедливостью, хочу просить Вас принять от меня такого рода заказ и подготовить подробную справку. Гонорар будет выслан по первому требованию.

С уважением
Ли Холл, фермер».

11

«Дорогая мамочка!

Я получила весточку от моего друга, в которой тот рассказывает, что дела его идут очень хорошо. Он намерен начать свой бизнес. В деньгах не испытывает нужды. Имеет хорошую квартиру и работает по специальности.

Однако мои дела не столь хороши, как у моего друга. Постоянный озноб делает меня страшной мерзлячкой, и даже в жару я вынуждена носить шерстяные вещи. Иногда я смотрю на себя со стороны, и мне делается страшно, потому что чем холоднее мне и зябче, тем ужаснее становится мой характер. Я бываю еще более несдержанной, могу накричать без повода на малютку Маргарет, она зальется слезами, и я потом не нахожу себе места и не знаю, как объяснить моему чуду, что я люблю ее больше жизни...

Доктор Плор, считая, что болезнь перешла мне по наследству от покойного папы, не рекомендует целовать Маргарет, а как может выразить любовь мать, если не поцелуем и не объятием?!

Я была вынуждена продать кулон, чтобы приобрести в рассрочку пишущую машинку, дабы, окончив курсы стенографии и секретарского дела, готовить себя к труду, который бы позволил мне содержать Маргарет и себя. Я не ропщу на судьбу. Те годы, когда Билл был рядом, мы были, несмотря на мой характер, по-настоящему счастливы. Я гордилась и горжусь тем, как он рисовал и складно придумывал свои истории, как он обожал Маргарет, как он воспитывал ее в чести, доброте и благородстве. Наверное, обо всем хорошем начинаешь вспоминать только после того, как оно, это хорошее, ушло безвозвратно. Почему так устроен человек, что он не молит Бога каждое утро продлить день, задержать бег минут, оттянуть начало вечера?!

Целую тебя бессчетное количество раз,

твоя дочь *Этол Портер*».

12

«Дорогая Этол!

Роч и я будем счастливы, если ты вернешься с крошкой Маргарет в отчий дом.

Целую, *мама*».

13

«Любимая!

Почти каждую ночь мне показывают тебя во сне. Сон бывает один и тот же по сюжету: ты и Маргарет играете на лужайке, за моей «конюшней» в Остине: Маргарет хохочет, запрокинув головку, кудряшки разметались по плечам, щечки разрумянились: ты догоняешь ее, подбрасываешь над головой, но в этот миг у тебя подворачивается нога и ты падаешь. Маргарет должна удариться оземь, личико ее белеет от страха, я в ужасе кричу тебе что-то и просыпаюсь.

Я долго молюсь каждое утро, хотя, как ты знаешь, у меня сложные отношения с Богом. Вообще-то он представляется мне парнем моего возраста, с очень красивыми глазами; смотрит добро, иногда подмигивает; порою я спрашиваю его, отчего он допустил такое бессердечие по отношению ко мне. Зачем позволил свершиться несправедливости? А он однажды ответил: «Я хочу провес-

ти тебя сквозь круги адовы, только тогда ты выполнишь то, что тебе предписано судьбою». «А кто дал право тебе придумывать мою судьбу? В конечном счете я сам должен о себе думать, соизмеряя свои поступки с той моралью, которую ты оставил мне». «Не ерепенься, — сказал он мне, усмехаясь, — ничто так не окупается в вашей суетной жизни, как терпение, добро и честность».

Я пишу каждый день. Я работаю так, чтобы свалиться и уснуть, но меня постоянно гложет мысль: а может быть, я напрасно послушался совета и уехал? Может быть, мне все-таки надо было сесть на скамью подсудимых? Ведь я же ни в чем не виноват, ты веришь мне, любовь моя?! Но, с другой стороны, если кому-то было угодно выставить меня расхитителем и обманщиком еще до суда, то, значит, эти силы никогда бы не отступились от своего, никогда бы не признали неправоты, а, наоборот, надежно упрятали меня за решетку!

Я здесь не выпил ни одной рюмки вина, не говоря уже о виски.

Условия, в которых я живу, отменно хороши, прекрасная комната для работы, великолепная кровать; питаюсь я регулярно, как ты и просила, ем много фруктов и овощей, кашля нет, и ничто не напоминает мне о чахотке, которую я перенес в юности.

Любимая, пожалуйста, следи за своим здоровьем Мое сердце разрывается от того, что я не могу быть рядом с вами. Я верю в то, что напишу такие рассказы, которые напечатают в лучших журналах! Я верну те деньги, которые ты одолжила у родителей, все до последнего цента! Не экономь на еде; не мне, а тебе необходимо хорошее питание, свежее молоко, фрукты. Боже, как трудна жизнь и сколь беспросветна она!

Мне захотелось вычеркнуть последнюю фразу, потому что в рассказах (а не в очерках) я всегда запрещаю себе говорить о горьком: его так много в жизни и оно столь очевидно, что лучше подольше задерживать взгляд на том хорошем, чего, увы, так мало. Но ведь тем, видимо, важнее видеть хорошее, радоваться ему и рассказывать об этом всем, кто умеет слушать! Самые несчастные люди на земле — это те, которые не умеют радоваться и верить в добро; им неведомо понятие Надежда, а это страшно — жить без Надежды.

Умный Гёте утверждал, что во все времена люди прежде всего старались познать самих себя. Но этого до сих пор никому не удавалось, да и неизвестно, следует

ли вообще такого рода требование выполнять! Помыслы и мечты человека всегда обращены к внешнему миру, следовательно, и заботиться ему в первую очередь надо именно о познании этого мира, чтобы поставить его себе на службу, поскольку это нужно для его целей. Себя человек познает, только когда страдает или радуется. Вообще же, заключал Гёте, человек создание темное, он не очень-то понимает, откуда происходит и куда идет, мало знает о мире, а еще меньше о себе самом.

Меня не оставляет мысль, что я замахнулся на что-то слишком большое, вряд ли осуществимое: написать цикл рассказов, которые должны стать хрестоматией Надежды и Добра. Знаешь, ведь даже Шекспир брал целые куски исторических хроник и использовал их в своих пьесах почти дословно. Он писал героев и злодеев, доверчивых добряков и хитрых предателей, но он всегда поднимал их над людьми, придавая им элемент исключительности. А у меня разрывается сердце от любви к ковбоям, к продавщицам магазинов, которые живут на семь долларов в неделю, к голодным художникам и спившимся репортерам. И еще: в нашем мире зла меня манят бандиты и налетчики, которых самое общество понудило к тому, чтобы они взялись за культ или набор сейфовских ключей. Когда большие акулы имеют право на все (их злодейства называют «свободой действий и маневров»), маленькая рыбешка тоже точит зубы, ибо если люди родились на свет равными, то отчего одному можно все, а другому все запрещено? Преступления мира рождают несправедливость общества, водораздел между бедными и богатыми, темные запреты на все и вся — большинству, и безграничная вседозволенность — могущественному меньшинству. Потому-то мне и хочется писать про это большинство, потому-то я и мечтаю подарить им Надежду...

А вот нам — никак не могу.

Прости за то, что это письмо получилось грустным. Это оттого, что я тебя очень люблю.

Нежно преданный тебе *Билл*».

14

«Многоуважаемый мистер Холл!

Мои сотрудники почли за честь выполнить Ваше новое поручение.

В результате опроса людей, имеющих значительный вес в банковских кругах как Остина, так и Хьюстона, сложилось мнение, что Портера не считают злостным растратчиком. Большинство убеждено, что он был бы оправдан, предстань перед судом присяжных. В то же время целый ряд лиц считают возможным допустить следующее: поскольку мистер Портер был человеком «оригинальным», несколько «не от мира сего», весьма «добрым и рассеянным», пытавшимся сочинять «юмористические поделки для литературных журналов» (весьма слабые, но задиристые), то к своим прямым обязанностям он не проявлял должной въедливости и, если хотите, жесткости, поскольку именно кассир должен тщательно наблюдать за законностью сделок и выдавать деньги только в том случае, если операция оформлена по всем параграфам закона.

Лица, знакомые с некоторыми присяжными, выражают уверенность, что обвинение в злостной растрате пяти тысяч долларов было бы отвергнуто. В то же время за халатность Портер, видимо, получил бы штраф или несколько месяцев заключения, от которого можно было бы освободиться, внеся залог и начав кассационную битву.

Ряд лиц (такие, как содиректор «Первого Национального» Андерсен) категорически настаивают на полнейшей невиновности Портера. Такой же точки зрения придерживается и создатель банка Майкл Ф. Смайли, ныне смертельно больной.

При этом моим сотрудникам стало известно, что президент «Скотопромышленного банка» Филипп С. Тимоти-Аустин убежден, будто Портер похитил деньги из кассы, дабы финансировать свою газету «Роллинг стоун». Поскольку мистер Тимоти-Аустин превратился в одного из наиболее крупных банкиров Техаса, с его точкой зрения не могут не считаться люди в прокуратуре: именно давление мистера Филиппа С. Тимоти-Аустина объясняет ту непреклонную позицию, которую ныне занял суд, требуя ареста Портера и доставки его под стражу — «живым или мертвым».

Мои сотрудники затрудняются сказать, каким будет приговор суда, появись м-р Портер в Остине; время упущено; страсти накалились; кто-то хочет его крови — это совершенно бесспорно для меня и моих сотрудников.

Соблаговолите, уважаемый мистер Холл, перечислить на мой текущий счет тридцать девять долларов.

Готовый к услугам

Саймон Врук».

15

«Дорогой Билл!

В предыдущем письме ты рассказал мне о некоем Филиппе С. Тимоти-Аустине, которого ты крепко поддел в Гринсборо, в пору юности. Будь любезен описать мне его внешность, только очень подробно и без твоих обычных шуток.

Дело в том, что некий Филипп С. Тимоти-Аустин, ставший одним из банковских воротил, называет тебя злым преступником, корыстно запускавшим руку в кассу «Первого Национального». Кое-кто считает, что именно он был пружиной того дела, которое столь неожиданно раскрутилось против тебя.

Поначалу я был убежден, что тебе не следовало уходить от суда, но если это тот самый Тимоти-Аустин, тогда ты поступил правильно. В конце концов три года не срок в нашей жизни. Три года на свободе, пусть даже под чужим именем, значительно лучше, чем десять лет в тюрьме, а тебе мог грозить именно такой срок.

Я отправил Этол сто долларов (ты вернешь мне эти деньги, когда станешь знаменитым писателем), чтобы она смогла перебраться в Остин. Я убежден, что ей надо жить рядом с матерью.

Пожалуйста, ответь немедля.

Твой *Ли Холл».*

16

«Уважаемый мистер Тимоти-Аустин!

По поручению моего шефа Саймона Врука я проводил опрос общественного мнения по поводу растраты в «Первом Национальном».

Как мне стало известно, эту странную работу заказал мистеру Вруку крупный фермер с юга Техаса.

Если Вас интересует место нахождение мистера Пор-

тера, сбежавшего из-под суда, я мог бы предложить Вам свои услуги, которые оцениваются в двести пятьдесят долларов.

В ожидании вашего ответа
Бенджамин Во».

17

«Дорогой Ли!

Твое письмо позабавило меня. Сюжет, заключенный в нем, неправдоподобен, но что, как не жизнь, дает нам образчики неправдоподобия, составляющего тем не менее каждодневную обыденность?!

Я утешаю себя тем, что постоянно пересчитываю великих (взнос в здешнюю библиотеку весьма велик, десять долларов, зато подбор книг совершенно поразителен). Когда человек в беде, он жадно ищет ответа на волнующие его вопросы именно в классике, потому что в ней всегда заключено несколько смыслов. Разница между литературой и словесным упражнительством в том-то и заключена, что поделки от Слова описывают очевидное, герои в такого рода книжках говорят деревянным языком, мысли отсутствуют, одна лишь интрига и дотошное описание ландшафта. А классику каждый может примерить на себя, найти ответы на вопросы, которые тебя тревожат, зарядить силой — даже в том случае, если ты не согласен с трактовкой гения.

Я перечитал Ибсена и пришел к любопытному — очень для меня, кстати, нужному сейчас — выводу: все его творчество призывает человека к тому, чтобы успеть выразить себя, отдать то, что ему отпущено, до конца. Если уж ты плохой, то будь до конца плохим, а коли хороший — сделайся образцом для подражания. Только не будь посредине. Будь самим собой — злым Калигулой, мудрым Цезарем, — но только обязательно вырази до конца свою сущность!

Неужели я был прав тогда, в пору своей зеленой юности, когда почувствовал в Филиппе Тимоти-Аустине зло, маленькое и коварное, и выставил его в том свете, какого он заслуживал?! Неужели мне был отпущен дар видеть то, что не видно другим?! Браво, Портер! Я стал относиться к себе значительно более уважительно, чем раньше. Воистину, каждый из нас замыслен природою как неповторимое, уникальное, самобытное существо; от

нас зависит, выполним мы волю, заложенную в каждом из нас, или нам окажется это не под силу. Возникает какой-то момент, когда человек должен ответить себе: под силу ему стать тем, кем он стать должен, или же следует констатировать: «Я не способен на это, не хватает сил, терпения, знания, страсти». Огромное большинство выбирают второй путь, благородно признаваясь самим себе в неспособности создать то, что они были обязаны создать; это честно, не скрою, но это такое благородство правды, которое убивает счастье.

Ты спрашиваешь меня, каков был Филипп?

Право, мне трудно ответить на твой вопрос. Я не помню его лицо. В нем было что-то стертое, быстрое, низменное. Может быть, я пристрастен, особенно после того, как получил твое письмо. Мне трудно совладать с собою. Я не умею ненавидеть, наверное, в этом мой главный недостаток. Я боюсь обидеть человека. Я опасаюсь пошевелиться в толпе, чтобы ненароком не толкнуть того, кто слабее меня или стоит сзади.

Но если это тот Филипп Тимоти-Аустин, которого я вышутил, и он столько лет хранил в себе ненависть против меня, то, значит, он — Личность, он — состоялся, он смог изваять из той заготовки, которой был тринадцать лет назад, нечто цельное, чем стал ныне: никакой середины! Если злодей, то злодей до конца! Но кто сказал, что мститель — злодей? Может быть, он такое пережил после моей шутки, что нам с тобою и не снилось, кто знает?!

Да, у него была родинка на правой щеке, маленькая, черная, с волоском, который вился. Я всласть потешился над этой родинкой.

Зачем? Не знаю. Людей надо жалеть, но, увы, к этому постулату приходишь после того, как жизнь крепко тебе самому накостыляет.

...Не знаю, чем это объяснить, но я стал ощущать вокруг себя какую-то затаенную тревогу.

Я полагал, что смогу много писать, но мечтам моим не суждено сбыться, поскольку репортажи, которые я подрядился делать ежедневно для газеты, отнимают все время.

...Кто-то рассказал смешную историю: биржевой маклер сделал своей секретарше предложение, а та ударилась в слезы. Он удивился: «Я обидел вас?» Она ответила: «Нет, но ведь ты вчера уже женился на мне!»

Утром я просыпаюсь с сюжетом нового рассказа в голове, а вечером сижу в салуне, смотрю на игроков в

покер, и ни мысли во мне нет, ни желания писать, одно отчаяние.

Пожалуйста, не сердись, что я отправляю тебе грустное письмо.

Твой *Билл*».

18

«Уважаемый мистер Врук!

Ваш сотрудник Бенджамин Во обратился ко мне с предложением обнаружить место пребывания сбежавшего из-под суда кассира «Первого Национального банка».

Мне непонятна бестактность такого рода. Я никогда не встречался с этим господином, его судьба меня совершенно не волнует, однако меня не может не тревожить преступление закона, совершенное м-ром Портером в том банке, который входит в орбиту интереса корпораций, с которыми я связан.

Поэтому, если Вашей конторе известно местонахождение преступника, соблаговолите поставить об этом в известность полицию и прокуратуру, а своему сотруднику разъясните, что негоже предавать интересы того босса, которому служишь.

Поскольку м-р Бенджамин Во намекнул, что Вы приняли заказ клиента, заинтересованного в судьбе м-ра Портера, советовал бы Вам немедленно уведомить власти и об этом человеке, потому что он вполне может знать, где находится преступник, уклоняющийся от ответственности и наносящий этим урон Справедливости, Морали и Долгу.

Филипп С. Тимоти-Аустин,
президент «Скотопромышленного банка».

19

«Любимая!

Ты не представляешь себе, как славно движутся мои дела! Я много работаю в газетах, но все свободное время пишу, обложившись книгами, в моем тихом, удобном кабинетике.

Я отправил несколько вещей в «Детройт фри пресс» и сейчас жду отзыва. Помнишь, как они купили мои юмо-

рески, прислали чек на шесть долларов и предложили работать на них постоянно?!

Убежден, что и на этот раз они купят несколько вещиц, и я смогу переправить тебе денег. Мне так стыдно перед тобой, родная, что пришлось обречь тебя на незаслуженный позор и постоянную зависимость от родителей!

Я теперь спокоен, как никогда раньше, ощущение невиновности дает мне радостную силу творить; единственное горе — это разлука с тобою и Маргарет.

Чем труднее я думаю о прошедшем, тем явственнее понимаю необходимость того вихря, который сметет старье и даст людям единственно им нужное: определенное равенство в распределении благ. При этом я понимаю, что равенство есть некий вызов природе, которая не признает равенства, поскольку в прериях живут лев и коза, то есть тиран и жертва. Но ведь если не верить в чудо, которое рано или поздно принесет счастье каждому (только потому — всем), стоит ли жить на земле?! Всегда надо быть героем в мыслях, только это позволит человеку в его деяниях соблюдать мало-мальски достойную порядочность. Вокруг нас так много плохих людей, которые алчно гасят те огни, которые мы зажигаем в своей душе и в душах наших близких...

Ты должна быть уверена в нашем завтрашнем дне, Этол. Какие бы испытания ни выпали на нашу долю, Правда победит. Нам осталось ждать встречи всего восемьсот девяносто семь дней, они пролетят как миг.

Нас, словно острова, бьет волнами страшный океан неизвестного, но ведь именно эти постоянные пенные удары и дают нам право на веру. Мы окружены беспроглядной тайной; даже минута, которая наступит, может изменить нашу жизнь, но кто сказал, что надо бояться Времени, таинственно спрессованного в секунды и доли секунды?! Когда я ощущаю усталость, в голове моей возникают вопросы, которые я гоню прочь, ибо они безжалостны, а человек, прикасающийся к перу, обязан быть милосердным, иначе он злодей и коварный обманщик. Да, я отдаю себе отчет в том, что землетрясение равнодушно и силам, вызывающим его, совершенно безразлично, если под осыпающимися кирпичами дома погибнет новый Шекспир или зачатый накануне Моцарт. Да, правда жизни такова, что тайфун одинаково беспощаден и к пророку и к лжецу, но это не дает право литератору считать, что бессовестность стихии обрекает

его на унылое бытописательство знакомой ему маленькой правды. Ироничная вера в чудо даст людям успокоенную надежду и чуть-чуть веры в свою силу. Это именно мне и хочется выразить в тех рассказах, которые разрывают голову.

Любовь моя, береги себя и Маргарет.

Вы словно маяки в ночи, когда с рейда Нового Орлеана выходят корабли и берут курс в океан, навстречу ветрам и судьбе.

Я нарисовал эти маяки на рейде, но они вышли смешными, а потому жалкими, и я не стал отправлять тебе этот рисунок. Воистину человек — это стиль, а когда начинается совмещение несовместимого, делается стыдно за автора.

Майкл Сноу, мой коллега по газете, пишет рассказы, в которых с невыразимой тоской рассказывает о праздничном шуме французского квартала, где чуть не до утра звучит музыка негритянских музыкантов, о веселье, царящем в маленьких ресторанчиках, где тепло и уютно, и страшной жизни в ночлежках, расположенных совсем неподалеку. Каждый его рассказ — это плач, но кто сказал, что литература — синоним безысходности?! В настоящей прозе должны быть открыто провозглашены не только Права человека, но и его Обязанности! А человек обязан быть счастливым. Его надо побуждать к этому, требовать от него поступка, а не слезливого описания горестей, на него свалившихся, — в этом я вижу задачу литератора.

Порою я задаю себе вопрос: а не избрал ли я роль Великого Обманщика? Ну и что, отвечаю я себе, а почему нет? Есть же библейское выражение: «ложь во спасение», — и оно прекрасно, ибо в нем сокрыто сострадание истинное, а не стороннее.

Любовь моя, следующее письмо я напишу тебе через три дня, и оно будет таким веселым, что ты будешь смеяться до слез, обещаю!

Целуй нашу маленькую.

Твой *Билл*».

20

«Дорогой мистер Камингс!

Поскольку говорят, что Вы представляете интересы высокочтимого мистера Кинга, являющегося надеждой

честных граждан Техаса, хочу поделиться с Вами моим горем.

Я, частный детектив Бенджамин Во, семь лет работал не за страх, а за совесть в юридической конторе Саймона Врука, Хьюстон, Техас.

Ныне я потерял работу из-за того, что президент «Скотопромышленного банка» Филипп С. Тимоти-Аустин переслал мое доверительное предложение о сотрудничестве моему боссу, сопроводив письмо тенденциозным комментарием.

А дело в том, что некий землевладелец Ли Холл обратился к моему боссу с просьбой провести анализ общественного мнения по поводу дела «Первого Национального банка» в Остине.

Мне удалось выяснить, что наиболее агрессивен (тщательно скрывая это от всех) по отношению к м-ру Портеру (это кассир, единственный привлеченный к суду служащий банка) был именно м-р Тимоти-Аустин. Лоббируя — через нанятых им юристов — за гражданскую казнь вышеназванного служащего «Первого Национального», человека, занятого химерами (Портер сочиняет и рисует карикатуры), м-р Тимоти на самом деле преследовал иные цели, видимо, делового порядка, а кассир был лишь средством давления на людей, против которых была предпринята атака. Зная эту агрессивность м-ра Тимоти-Аустина, я доверчиво внес ему предложение узнать адрес м-ра Ли Холла, что, мне кажется, дало бы возможность установить место нахождения м-ра Портера. Естественно, я определил ту цену, которая бы окупила мои затраты, неизбежные в такого рода поиске.

Вместо ответа м-р Тимоти-Аустин потребовал моего увольнения, и я теперь оказался без средств к существованию.

Зная Вашу доброту и отзывчивость, просил бы Вас похлопотать за меня перед мистером Кингом и восстановить справедливость.

В ожидании вашего ответа

Бенджамин Во, частный детектив-аналитик».

21

«Дорогой Кинг!

Посмотри письмо бедолаги Во. Не покажется ли оно тебе любопытным?

Если да — назначь время встречи, мы обсудим препозицию.

Один русский начальник сказал про Наполеона: «Резво шагает мальчик, не пора ли унять!» Я с готовностью повторяю слова этого генерала, соотнося их с нашим зарвавшимся «скотским» деятелем Тимоти.

Искренне твой
Камингс».

22

«Дорогой отец!

Я долго думал, отправлять ли тебе это письмо. Только не делай скоропалительного вывода, будто я взялся за перо оттого, что уже вторую неделю сплю в бесплатной ночлежке для бедных.

Я решил написать тебе потому, что мой сосед по нарам бездомный репортер Билл Сидней, исхудавший до того, что локти у него похожи на острые палки, много рассказывал про своего отца, который получил диплом врача, однако всю жизнь конструировал летательные аппараты и сельскохозяйственный комбайн, а властная бабушка заставляла Билла сжигать не только чертежи, над которыми старик проводил вечера и ночи напролет, но и готовые модели. Бабушка хотела отцу добра, она мечтала вернуть его на путь медицины, отбив у него охоту к бредовым идеям, за которые не платят и ломаного гроша.

У нас все было так же. Ты запрещал мне заниматься живописью, предрекал неудачи, хотел вернуть меня на стезю добродетели: ну как же, сын владельца фабрики, и вдруг малюет картинки!

Но Билл Сидней рассказывал про свою жизнь так, что мне было равно жаль и отца его, и бабушку: каждый жил своей верой.

Ты всегда говорил мне, что я ничего не добьюсь в живописи. К моим первым успехам ты отнесся критически, и ты до сих пор не знаешь, отчего мне перестали делать заказы. Если человеку дан дар писать лица людей, он, следовательно, владеет таинственным свойством чувствовать в ангеле злодея, а в падшей женщине — прелестные черты Манон Леско.

Помнишь, я не хотел писать твоего Джексона? Это был не каприз, просто я слишком хорошо чувствовал

его, ощущал его внутренние пороки, а если так, то кисть мне уже неподвластна, она подчиняется тому, что во мне заложено. Джексон отказался купить свой портрет. Потом Эдлай отказался выкупить портрет жены, а после пошли разговоры, что я бездарь, рисовать не умею, а лишь делаю злостные карикатуры на уважаемых людей.

Живопись, папа, это такая возлюбленная, за которую жизнь отдашь, не то что блага вроде теплого дома и сытного обеда.

Если человек реализует себя в искусстве, сказал мне репортер Билл Сидней, с которым мы спим в обнимку, чтоб не было так холодно, тогда он избежит тлена и достигнет того, о чем мечтали все великие, — Бессмертия.

Я смогу вернуться к тебе только в том случае, если ты поймешь, что не из прихоти и не по причине неуживчивого характера я писал портреты, которые вызвали гнев против меня в нашем городе. Служение Правде предполагает Честность. Прости за патетику, но это так.

Не могу дать тебе обратного адреса, ибо его у меня нет.

Билл Сидней нашел работу в порту, мы грузим ящики с сельскохозяйственным инвентарем для Гондураса и Венесуэлы. Платят неплохо. На краски хватает. Я напишу тебе, как будут развиваться мои дела в будущем.

Твой сын *Эндрю*,
который все-таки считает себя художником».

23

«Дорогой Билл!

Я тут провел кое-какую работу и выяснил, что подавляющая часть жителей Остина (я имею в виду тех, кто может повлиять на общественное мнение, то есть на присяжных) совершенно убеждена в твоей невиновности. Определенная, весьма незначительная часть полагает, что ты мог совершить ошибку в записи, но отнюдь не из преступных целей, а по ошибке или неопытности. И единицы, а прежде всего, сдается мне, этот самый Тимоти-Аустин (родинка у него на щеке есть, и волос он не стрижет) мутит воду из своего далёка, а позиции у него довольно крепкие.

Поэтому я не могу сказать тебе с полной убежденностью: «Возвращайся, ты выиграешь процесс!» Но и

смотреть спокойно на то, как ты вынужден три года скитаться, тоже не могу, твоя судьба отнюдь не безразлична мне.

В городе ходит слух, что на самом-то деле ты проявил благородство и покрыл чью-то финансовую операцию, приняв удар на себя. Если это так, то, заклинаю нашей старой дружбой, расскажи хотя бы мне всю правду.

Жду весточки,
твой друг *Ли Холл*».

24

«Дорогой Ли!

У меня просто-напросто нет слов, чтобы выразить тебе благодарность за участие в моей непутевой судьбе.

Если такое и было, что мне пришлось покрыть чью-то оплошность, то не стоит рассказывать об этом кому бы то ни было. Даже тебе. Ведь я мог покрыть своей подписью только очень хорошего человека. Согласен? А хороший человек, зная, в каком я оказался положении, должен был бы — по всем нормам человеческих отношений — прийти в суд и сказать всю правду. А он не пришел...

Представь себе, как я буду выглядеть в глазах всех, кто меня знает, если сейчас приползу в Остин на коленях и начну слезно топить другого человека?! Доказать все равно я ничего не смогу (банк живет по законам пиратства, а пираты тоже люди — есть среди них благородные и смелые, есть низкие трусы, трясущиеся за свое положение в мире, тут уж ничего не поделаешь), а лицо потеряю в глазах всех, кто меня знает.

Словом, положение таково, что не позавидуешь. Я смогу доказать людям свою невиновность только одним — литературой. Попавший в жернова судебного механизма не имеет надежды на Справедливость. Моя позиция однозначна: я утверждал, что ни в чем не виноват, но мне не поверили. Я настаивал на своей позиции, тогда мне предлагали взять вину в халатности и расхлябанности — в этом случае сулили смягчение приговора, обещали посадить на скамью подсудимых вместе со мною всех руководителей банка, а это есть «коллективная ответственность», она не так позорна,

однако я не подписал и такого рода сделку, ибо она противоречит нормам морали, которые я исповедую.

Итак, то, что знаю один я, недоказуемо, Ли. Есть Божий суд, и коли я виновен, если я лгу тебе, значит, Всевышний покарает меня самой страшной карой: творческим бесплодием, беспамятством, пыльной смертью под забором...

Пожалуйста, не пиши мне больше по прежнему адресу. Я сейчас подыскиваю новую квартиру, да и работу тоже, потому что прежний редактор в конце концов потребовал документ: он, чудак, хотел сделать добро, повысить меня по службе, сделав боссом всех репортеров. Ну, понятно, я назавтра пошел искать другую газету. Найду. Квартира, в которой я теперь обитаю, вполне удобна, правда, несколько шумновато, поэтому писать рассказы приходится в парке, на скамейках.

Судьбы людей, которые проходят у меня перед глазами, совершенно поразительны. Сосед по новой квартире, Эндрю Маккормик,— великолепный художник, сын владельца фабрики в Детройте, обладает поразительным даром: он угадывает людей. Денежные тузы его города подвергли парня остракизму, перестали заказывать портреты потому, что он писал характер, а характер — обязательно правда, то есть нелицеприятная честность.

Я делал репортажи о порте, познакомился там с капитаном; тот был в состоянии запойной депрессии, оттого что кто-то написал ему, что жена изменяет, да и вообще стала его подругой жизни из корысти.

Я пригласил Эндрю и предложил капитану показать художнику портрет жены. Тот долго рассматривал ее черты, а потом стал так рассказывать про эту женщину, что капитан протрезвел, расплакался и тут же заказал Эндрю сделать портрет любимой. Через три дня Эндрю получил еще пять заказов от портовиков. К нему повалил народ, а мне, как ты понимаешь, пришлось удалиться, чтобы не оказаться в фокусе повышенного интереса общественности. Что-то в последнее время я стал особенно остро ощущать спиною и кожей ч у ж и е взгляды. Когда это было у нас на границе, и мы были вооружены, и рядом были ты и наши друзья, это не страшно, но когда тебя гнетет одиночество, когда ты в бегах, бесправен и лишен права на защиту, ощущение, говоря честно, не из приятных.

Но, думаю я, это то самое настроение, от которого

никто не застрахован. «И это пройдет!» Мудрость древних непреходяща, всегда надо верить в будущее, которое обязано быть прекрасным. Иначе жить незачем.

Остаюсь твоим другом
Биллом».

25

«Дорогой Камингс!

Я совершенно с тобою согласен. Во-первых. Надо реализовать наши акции «Силвер филдз». Через нью-йоркские банки. Чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Никаких связей с зарвавшимся «скотоводом». Во-вторых. Надо мягко порекомендовать бедолаге Бенджамину Во продумать те действия, которые дадут ему удовлетворение. Финансировать его работу согласится Эдвардс, который также точит зуб на «скотовода». В-третьих. Необходимо как можно скорее отыскать этого самого кассира. Чтобы «скотовод» не играл на том, что кое-кто в Вашингтоне покрывает те Директораты банков, которые работают по старинке.

Свяжись с Эдвардсом. Пусть его люди негласно присмотрятся к Во. Я не намерен забывать обид, которые мне были нанесены кем бы то ни было. А уж «скотоводами» — особенно.

Кинг».

26

«Дорогой Брат!

Пожалуйста, выручи меня в последний раз! Я прошу не за себя, клянусь честью, а за моего благодетеля! Он спас меня, когда я упал от голода на улице. Он продал свой уникальный английский костюм (желтый в коричневую клетку), в котором по вечерам выходил из ночлежки в город на заработки в редакции газет. Теперь он сам лишился куска хлеба, ибо его ковбойский комбинезон, в котором он работает на разгрузке судов, порвался так, что из него торчит голое тело. Мы пробовали зашивать, но материал старый, нитки не держатся, поэтому опасно ходить по улицам, могут захомутать фараоны, они здесь вдруг стали так ощериваться, что просто нет спасу.

Я не обещаю вернуть тебе двадцать баков сразу, но по частям, могу забожиться, пришлю в течение пяти месяцев.

Остаюсь твоим старшим, непутевым, но любящим тебя Братом, *Бартоломео Лифариди*».

27

«Уважаемый мистер Б. Сидней!

Ваши рассказы, посланные в «Детройт фри пресс», были получены нами и отданы на прочтение квалифицированному литературному критику Джо Айвору Спаксу.

Возвращая Ваши рассказы, считаем своим долгом переслать заключение м-ра Спакса, которое, конечно же, поможет Вам в дальнейшей работе.

Примите и проч.

Склайв, литературный обозреватель.

Приложение: три рассказа и заключение м-ра Спакса.

«Рассказы, принадлежащие перу м-ра Б. Сиднея, произвели на меня довольно странное впечатление. С одной стороны, начинающий литератор, бесспорно, владеет пером. Сюжет дается ему без особого труда. Диалоги написаны изящно. Все вроде бы говорит за то, чтобы рекомендовать эти милые безделушки в печать, и тем не менее я воздерживаюсь от этого по следующим причинам:

1. Весь строй милых безделушек свидетельствует о том, что автор порхает по жизни, словно бабочка; его не заботят истинные трудности судьбы, он не задумывается о серьезных проблемах, стоящих перед обществом, он безответствен. Хотелось бы посоветовать начинающему литератору понаблюдать за жизнью по-настоящему, а не со стороны.

2. Судя по прекрасной полотняной бумаге, на которой написаны рассказы м-ра Б. Сиднея, он принадлежит к тому слою общества, членами которого неведомо страдание. Именно поэтому я и хочу порекомендовать автору обратиться в то издательство, которое напечатает его книгу за весьма небольшую плату, и честолюбие м-ра Б. Сиднея будет вполне удовлетворено, так как он сможет дарить «фолиант» своим поклонникам.

Читателям же «Детройт фри пресс» значительно более по душе проза, заставляющая думать.

Пусть молодой автор не прогневается за честность.

Айвор Спакс,
эссеист, историк литературы и критик».

28

«Любимая!

Мои дела пошли как никогда хорошо! Я много пишу, рассылаю рассказы по редакциям и жду ответов, чтобы порадовать тебя: «Мы победили, они взяли к печати новеллы, теперь заживем!»

Недавно я ужинал у одного капитана. Еда была вполне изысканная, стол сервирован серебром и хрусталем, давали «марикос» во льду и французское «шабли». Капитан долго распространялся о том, что сто́ит ему сойти на берег, получив пенсию от владельца компании, и он уж напишет романов и повестей о морском житье-бытье!

Мне было неловко возражать ему (только жестокий человек может рушить мечту, да еще тем более, когда мечтает хозяин стола), но в душе я не без горести подумал о том, как несправедлив мир к той профессии, которой я посвящаю жизнь!

Жажда писать — если, впрочем, таковая существует — пожирает человека, он готов быть голым и босым, только б иметь бумагу, перо, корку хлеба и кров над головою, чтобы записывать то, что является ему постоянно, только б не упустить слова героев, что слышатся ему, только б успеть сделать то, что вменено в обязанность сделать самим провидением, давшим чудный дар слагать слова во фразы.

Если человек в состоянии ждать пенсии, чтобы после этого начать литературное творчество, он ничего, никогда, ни при каких обстоятельствах не напишет.

Все великие становились писателями в молодости, точнее, в юности. Возьми Шиллера, Тургенева, Мольера или Лопе де Вега. (Я, увы, никогда не стану великим, оттого что уже сравнялось тридцать три, возраст Иисуса Христа, однако Он завершил свой путь по этой грешной земле в этом возрасте, а я еще ничего толком и не сделал.)

Всякая цивилизация, если она истинная, а не декларативная, обязана искать юношей, наделенных талантом, и поддерживать их творчество. Только тогда может случиться чудо открытия нового гения. Мне кажется (может, конечно, я не прав), что ревнивые, озлобленные и запуганные люди создадут литературу, равную их характерам. Но ведь это будет не литература, а пища для археологов, словно черепки чашек и каменные заколки скифских женщин... По такой «литературе» будущие исследователи станут с презрением судить обо всем обществе, его идеях, нравах и внутренних несовершенствах.

Любимая, ты давно не отправляла мне писем. Пожалуйста, расскажи подробно о себе, о Маргарет, запиши ее фразы, я очень люблю слушать ее голос, а ты так подробно приводишь слова нашей маленькой, что я сразу же вижу ее — всю целиком, будто она находится рядом.

Я не смею тебя просить ни о чем, но если бы ты смогла одолжить у добрых Рочей еще двадцать долларов, был бы тебе сердечно признателен.

Целую тебя.
Твой *Билл*».

29

«Дорогой доктор Якобсон!

Сердечно благодарю Вас за те советы, которые Вы дали после визита к Этол. Я обещаю Вам строго соблюдать предписания, которые Вы любезно изволили мне оставить. Но я знаю дочь лучше, чем кто бы то ни был, и поэтому понимаю, что одни лекарства и диета не смогут помочь ей побороть врожденный недуг.

Известное Вам горе, незаслуженно обрушившееся на Этол, точит ее изнутри, и хотя она, как Вы имели возможность заметить, научилась владеть собою, мужественно сдерживает крайние проявления характера (увы, из-за болезни не всегда ровного), я опасаюсь, что курс, предложенный Вами, не принесет облегчения.

Она тяжко переживает то, что лишена средств, хотя занимается рукоделием, подыскав достойных заказчиц, и много времени проводит за пишущей машинкой. На все мои просьбы отдыхать Этол отвечает решительным

и несколько раздраженным отказом: «Я должна сама зарабатывать на жизнь!»

Как нужно поступить, чтобы понудить ее оставить ненужную работу и большую часть дня проводить на веранде, под пледом?

По-моему, единственный человек, кого она послушается, это Вы, дорогой доктор Якобсон. На Вас у меня вся надежда.

С глубоким уважением
Ваша *миссис Роч*».

30

«Дорогая миссис Роч!

Обещаю сделать все, что в моих силах, дабы повлиять на Этол, хотя ее характер весьма сложен, что Вам известно лучше, чем мне.

Могу сказать со всей честностью, что легочные больные, особенно в ее состоянии, живут в мире иллюзорном. Главным лекарственным препаратом для них является Надежда, а панацеей, дающей возможность верить в благополучный исход недуга, — иллюзия близкого свидания с тем, кого она любит и в кого безоговорочно верит.

В Нью-Йорке был случай, когда туберкулезная девочка загадала, что умрет в тот день, когда облетит последний лист на стене дома, куда выходило ее окно. Родители подрядили художника, и он нарисовал тот лист, и девочка пережила зиму, а весной у нее настало облегчение.

Но существует ли художник в той ситуации, с которой столкнулась несчастная Этол?

Ваш *доктор Якобсон*».

31

«Мой милый!

Ты не представляешь, как много радости доставляет всем наша Маргарет. Ее сердце, ум и такт восхищают меня с каждым днем все больше и больше. Я не успеваю записывать ее новые фразы, так они курьезны и быстролетны. Она шутит, как ты, «между прочим» пробрасывая

уморительные выражения с безучастным лицом. Когда я заливаюсь от смеха ее шуткам, она делает вид, что не понимает, отчего я так смеюсь.

Я много работаю. Заказы сыплются со всех сторон, и поэтому я, от себя ничего не отрывая, шлю тебе десять долларов. Они вполне могут тебе пригодиться.

Мое здоровье хорошо, как никогда. Я окрепла у мамы. Приступы легкого кашля кончились совершенно.

Пожалуйста, не волнуйся о нас. Делай то, что тебе надлежит. Докажи низким людям, что ты призван для того, чтобы писать прекрасные рассказы, а не сидеть в камере вместе с исчадиями ада, ворами, растратчиками и насильниками. Все те, кто знает тебя, по-прежнему убеждены в твоей совершенной невиновности.

Вчера мне прислал записку милейший ветеран и основатель «Первого Национального» Майкл Ф. Смайли. Он молил меня срочно прийти к нему, в клинику доктора Якобсона. Почерк был ужасен, рука дрожала. Несмотря на легкий озноб, я отправилась к нему, но у него в палате уже находился священник. Старый Майкл умер тихо и внезапно для всех.

Я видела его раньше, помнила его грубоватым, лишенным сентиментальности, рубящим сплеча, и поэтому была удивлена стилем записки. «Я должен немедленно открыть Вам, моя несчастная Этол, нечто крайне важное. Это может изменить Вашу судьбу. Спешите!» Что он намеревался открыть мне, как ты думаешь? Я так торопилась к нему, но судьба решила иначе...

Маргарет ждет не дождется приезда в город цирка. Представление обещает быть очень интересным. Все дети готовятся к празднику.

Как мы и уговорились, Маргарет было сказано, что папа находится в дальнем путешествии, но больше всего я боюсь, если кто-нибудь из жестоких людей расскажет своим детям или внукам правду. Что мне тогда говорить маленькой?

Милый, я считаю каждый час нашей разлуки и постоянно молюсь за тебя.

Твоя *Этол*».

32

«Любовь моя!

Это будет страшно, если кто-нибудь скажет Маргарет ужасную правду про ее беспутного отца. Заклинаю тебя сделать все, что можно, только б этого не случилось. Надо придумать так, чтобы девочка выходила в город только с тобою или с доброй миссис Роч, а в дом приглашать лишь внуков и детей верных друзей, которые умеют молчать и верить. Ты не можешь представить себе, какая это будет травма для маленькой, если ей скажут: «Твой папа — вор, он убежал из города, и его ищет полиция». Прошу тебя, сжигай все мои письма! Время летит безудержно, пройдет год-два, Маргарет научится читать, и представь только, что будет, если она увидит мои письма.

Родная, ты писала, что чувствуешь себя хорошо, но двумя абзацами ниже призналась, что шла к Майклу Ф. Смайли, несмотря на озноб. Отчего у тебя озноб? Ведь на улице так тепло... Ты что-то скрываешь от меня, я чувствую.

Этол, скажи правду: может быть, мне вернуться? Может быть, мне надо быть подле тебя сейчас, если ты ощущаешь озноб даже в жаркие дни? Будь что будет, я сделал много заготовок, я не все еще успел записать, потому что навык, ремесло приходят не сразу, но от рассказа к рассказу (даже тех, которые я рву и сжигаю) я чувствую себя все более и более уверенным. У меня написаны четыре вещи, а в голове отлилось еще двенадцать. Это уже книжка. Конечно, много чепухи и натяжек, но пара-тройка удачных фраз, пара любопытных характеров все же удались мне.

Каждый день я ощущаю, как перо все более и более послушно мне. Словно ученик плотника, я складываю бревна и перестаю бояться, что они, покосившись, осядут и покатятся наземь. Я никогда не думал, что навык имеет такое значение для профессионального литератора. Раньше, когда я получал свои сто баков в Банке, и приходил к тебе, и пил кофе, и любовался Маргарет, и сочинял ей сказки, а потом, уложив ее, отправлялся к столу, за работу, я был похож на самодовольного набоба, уверенного в своей абсолютной правоте, всезнании и силе. Нет, делить себя нельзя, только занятие одним, главным и единственным делом может дать надежду на какой-то, пусть маленький, но все же успех.

Любимая, попроси наших добрых соседей узнать, не оставил ли Майкл Ф. Смайли для меня какого-нибудь письма? Или, может, он вызвал перед кончиной кого-либо из адвокатов, дружески к нам расположенных?

Целую тебя, моя нежность. Целую маленькую.

Твой *Билл*».

33

«Уважаемый мистер Сидней!

Литературное агентство «Макгиббон энд браззерз» поручило мне ознакомиться с рассказами, присланными Вами для продажи в журналы или газеты.

Я внимательно ознакомился с Вашими сочинениями, прочитал их дважды, сделал кое-какие заметки на полях карандашом (Вы вольны стереть их, карандаш был тонко заточен, грифель мягок) и решил написать Вам чисто человеческое, дружеское письмо, а не рецензию, которую вменено в обязанность сочинять литературным критикам.

Я долго не мог ответить самому себе на вопрос: во имя чего Вы пишете т а к и е рассказы? Ведь даже Эдгар По, мастер добротного класса, поставил себя вне серьезной литературы тем, что на первый план выдвигал сюжет, интригу, захватывающую коллизию, но не характеры и проблемы. Неужели Вы хотите добиться легкого, а значит, кратковременного успеха у мало читающей публики? Но ведь она откладывает в сторону шедевры мировой литературы из-за их «сложности» и коротает время, пролистывая пухлые тома Александра Дюма или же короткие новеллы Мопассана. Тот ли уровень?!

Поверьте, легкий успех кружит голову, но какая гамма трагических переживаний ждет литератора, когда успех минул и настало тяжелое время безвестности?!

Меня огорчило мелкотемье Ваших литературных опытов. Вы пытаетесь создать образы людей, которые исполнены благородства, честности и отваги. Много Вы таких видели на своем веку? Положа руку на сердце, признайтесь, что более всего Вам встречались такие типы, которые продадут за доллар, оставят в трудную минуту, отобьют любимую, помешают в бизнесе... Разве не коварство отличает значительное большинство рода человеческого?! Представьте, что Вы построили прекрасный дом, открыли салун, к Вам идут люди, Вы хорошо

зарабатываете, дело процветает... Но разве это будет радовать Ваших соседей? Разве Вам не придется завести пару злых собак, которые отгонят ночью тех, кто будет красться с галлоном керосина, чтобы превратить Ваш дом в пепелище?! Можете не отвечать мне на этот вопрос, но ответьте себе, мистер Сидней! Снимите с глаз розовые очки! Оборотитесь к правде жизни!

Видимо, у Вас нет детей, и поэтому Вы лишены чувства отцовской ответственности, которое подвигает литератора на то, чтобы писать ту правду, которая обнажает порок и показывает жизнь такою, какая она есть, — в назидание потомству. Чем более ярко и открыто Вы станете писать пороки общества, язвы, его разъедающие, чем честнее Вы ощутите безысходность, в которую поставлен маленький человек, тем будет лучше и для Вас, и для Ваших детей, когда Вы ими обзаведетесь.

Вы, видимо, коренной житель Нью-Йорка, поэтому зарисовки, сделанные в нашем городе, более или менее удачны. Но когда Вы начинаете живописать ковбоев, Дикий Запад, покорителей прерий, то сразу делается видно, что Вы там никогда не были, труд пастухов и объездчиков Вам неведом, Вы, простите меня, высасываете сюжеты и характеры из пальца... Отсюда — ходульность, литературное сюсюканье, желание ошеломить.

Я по роду своей литературной деятельности много читал о ковбоях: меня, как и многих, не может не интересовать история освоения Дикого Запада, и, право же, картинки, наскоро написанные очевидцами, кардинальным образом разнятся от того, что живописуете Вы, и з о б р е т а я характеры сконструированные, никак не живые.

Я написал такое длинное письмо лишь потому, что обнаружил в Ваших работах некие элементы п е р а.

Вам, в случае если Вы станете много работать, наверняка удастся создать что-либо для печати. Однако послушайте моего совета, больше пробуйте себя в сказках для детей, в юмористических рассказах, но не замахивайтесь — во всяком случае пока что — на серьезные темы. Они Вам не по плечу.

Не сердитесь за откровенность.

Энтони Мур,
Ответственный за работу с Молодыми Дарованиями».

34

«Дорогой Ли!

Что-то давно я не получал от тебя вестей! Уж не случилось ли чего? Пожалуйста, напиши о своем житье-бытье! Каждая весточка от Этол и тебя — высшее для меня счастье. Я заучиваю ваши письма наизусть, а потом сжигаю их, что, кстати, прошу и тебя делать с моими посланиями, ибо по штемпелю отправления вполне легко можно высчитать местонахождение адресата, во встрече с которым, «живым или мертвым», столь заинтересован сердитый дядя с бородкой клинышком, в высоком котелке и в звездном жилете.

В последние несколько дней мне пришлось сменить профессию и, вспомнив молодость, заняться землеустройством: во время дождей в порту заливает пакгаузы, где хранятся фрукты, вывозимые за грош из Латинской Америки; надо было прокопать каналы, но обязательно ночью, пока не налетели всякого рода администраторы из городских учреждений, чтобы составить чертежи, ведомости, сметы, расчеты, балансы и таким образом надолго остановить живое дело, поскольку согласовать длину, ширину и форму этих каналов следует по крайней мере с сорока тремя подразделениями. Государство делает все, чтобы изнутри разрушить само себя, и давно этого бы уже добилось, не живи в нашей стране смелые люди с инициативой. Руководители порта быстро подсчитали убыток, который понесут, направь дело по «законному» руслу, поняли, что вылетят в трубу, узнали, каким будет штраф, скалькулировали и это, а затем предложили голодранцам славно поработать ночами, установив тройную оплату за труд. Причем они сказали моей команде, что если мы сделаем работу не за неделю, а за три дня, то получим в два раза больше. Так что сейчас я держу в кармане тридцать зелененьких и чувствую себя Морганом-старшим. Эти деньги позволят мне совершенно спокойно писать по крайней мере две недели, не отрываясь от скамейки (нет, правда, в парках очень приятно работать, особенно когда много голубей и воробьев; про воробьев вообще надо сделать новеллу, очень занятные л ю д и).

Один критик, кстати, сделал мне комплимент, возвратив мои рассказы с сопроводительным письмом, в котором хвалил нью-йоркские зарисовки, потому как сразу видно, что, мол, писал их житель этого города,

хорошо его знающий. Как тебе известно, я видел Нью-Йорк только на фотографиях. Зато новеллы о нашем с тобою Диком Западе он назвал «вымыслом» человека, никогда не покидавшего пределы Пятой авеню.

Думаешь, я сдаюсь? Думаешь, это повергает меня в отчаяние? Ничуть. Даже наоборот. Я, конечно, несколько сатанею от того, что брюзжащие дяди получили право говорить от имени читателей и выставлять мне оценки по двенадцатибалльной системе, но, вероятно, именно в борьбе с монстрами и создается литератор. Считать, что путь к успеху выложен розовыми лепестками, — пустое дело. Да и потом, порою мне, неудачнику, начинает казаться, что литература — тот же бизнес, и та же конкуренция царит в ней, потому что победитель, пробившийся к читателю, имеет деньги, а тысячи его коллег, считающих себя такими же талантами, как и он, жуют корку хлеба и алчно одалживают доллары на то, чтобы пересылать из редакции в редакцию свои произведения.

Только вот что стало меня тревожить, дорогой Ли... Даже не знаю, как это точнее сказать... Мне подчас делается очень страшно за наших детей, оттого что рассказы и романы, которым дают жизнь старенькие эссеисты и юные литературные критики (или, наоборот, баррикадируют их), совершенно не есть то, чего так ждут читатели. Поверь, в данном случае я говорю не о себе, эссеисты меня не сломят, единственное, что может подкосить, так это виски, будь оно неладно.

Когда Эдисон приносит свое изобретение боссу, тот сразу же понимает, какую это даст выгоду обществу.

Когда Полина Виардо впервые спела в Париже свою арию, все осознали без спора: явилось Чудо.

Но сколько же мук приходится преодолевать литератору! Отчего так? Видимо, оттого, что далеко не каждый имеет абсолютный слух и пристрастие к диковинной формуле, зато каждый владеет словом, ибо грамоте учат в школах, любой может сложить слова в фразу, поэтому всякое *новое* видится обывателю искусственным и вызывающим.

Мне кажется, что истинная литература — это обязательно мечта о прекрасном, и чем активнее писатель навязывает эту мечту людям, тем больше у него может быть последователей в мире. А разве много мечтателей живет на земле? Все больше трезвомыслящие.

Мне все чаще и чаще хочется сесть на корабль (а это

здесь можно сделать, нанявшись палубным матросом) и да исчезнуть куда-нибудь подальше, честное слово! Хотя при этом я отдаю себе отчет в том, что хорошо бывает только там, где нас нет. И еще: человек всегда несет кару за перемену места. Кто-то хорошо сказал: «Все наши беды происходят из-за того, что мы не сумели остаться в своей комнате». Все верно, лучше не напишешь, но желание переменить комнату во мне крепнет день ото дня. И я по-прежнему чувствую на своем затылке чужие взгляды. И самое страшное заключено в том, что скорее всего мне это кажется, ибо я живу в выдуманном самим собою мире.

Обнимаю.

Билл».

35

«Уважаемый мистер Тимоти-Аустин!

Мы узнали, что Вы проявляете интерес не только к серебряным копям, но и ко вновь открытым залежам медной руды. Поскольку наши представители в Хьюстоне сообщили нам о том, как хорошо пошли дела «Силвер филдз» после того, как Вы выбросили на рынок акции этой начинающей компании, мы готовы предложить Вам приобрести за 100 тысяч долларов вновь открытые копи в Чинагата-Сити, что позволит Вам выбросить на биржу акции этого нового предприятия по крайней мере за 145 тысяч долларов.

В случае, если Вы заинтересуетесь нашим предложением, просим Вас обратиться к нашему представителю в «Чейз Манхэттен» в Нью-Йорке м-ру Кларку, который пришлет Вам всю необходимую документацию

Естественно, в случае, если Вы решите заключить такого рода сделку, мы предоставим гарантии через «Чейз Манхэттен».

Примите, мистер Тимоти, уверения в нашем глубоком уважении,

Роберт Мак-Гиви и Фрэнклин А. Розен,
гарантированное оформление купчих на недвижимость».

36

«Уважаемый мистер Кларк!

Прошу Вас срочно выслать документацию на залежи медной руды в Чинагата-Сити, а также оформленные у нотариуса данные по кредитоспособности м-ра Р. Мак-Гиви и м-ра Ф. А. Розена.

С уважением *Филипп С. Тимоти-Аустин,*
финансист».

37

«Дорогой Боб!

Судя по всему, рыбка заглотнула крючок! Однако максимум осторожности! Аустин такой парень, что может не ограничиться свидетельством нотариуса, а самолично прикатить в Нью-Йорк, как-никак сто тысяч баков, такие деньги не валяются на дороге.

Поэтому срочно дай Кларку деньги на аренду Бюро (внеси за месяц, потом слиняем) в здании, примыкающем к «Чейз Манхэттен», и открой шикарную нотариальную контору в том же районе. При том, что он парень шустрый, в Нью-Йорке никогда не был, город его ошеломит, а ты еще найми Крисчена, который умеет изображать миллиардера, арендуй ему авто, двух лакеев, шофера и познакомь его с этим гадом, когда он туда пожалует.

Держи меня постоянно в курсе дела, оно того стоит. Я на пяток дней отъеду в Нью-Орлеан, там вроде бы летал «остинский голубь», недурно б поймать!

P. S. Продолжай смотреть за Аустином, за его контактами, поездками, письмами, это очень важно!

Твой *Бенджамин Во».*

38

«Уважаемый мистер Коулз!

Пересылаю Вам копию письма м-ра Во, адресованного им Бобу Имзу.

С уважением
*Ниголь*с».

39

Дорогой Эдвард!

Покажи Камингсу письмо, полученное адвокатской конторой, обслуживающей мои интересы в горнорудном деле, от доверительного информатора по почте, перехватывающего корреспонденцию для нашего ознакомления.

Твой *Питер Коулз*».

40

«Мой дорогой мистер Камингс!

Пересылая переписку, связанную с «серебряным бизнесом», еще раз благодарю за тот совет, что Вы дали мне пару месяцев назад. Убежден, что м-р Во работает на совесть, причем он никогда не сможет нащупать ту цепь, которая связывает нас с Вами в надежнейшее содружество.

Если дела идут так, как он пишет Бобу (этот человек нанят третьими лицами по моему поручению, как Кларк и Крисчен), тогда можно надеяться, что «Силвер филдз» перейдет под наш полный контроль.

Привет тем, кому Вы сочтете нужным его передать!

Ваш *Эдвард*».

41

«Уважаемый мистер Сидней!

Литературное агентство «Бель летр лимитэд» передало мне на рассмотрение присланные Вами рассказы. Я внимательно с ними ознакомилась. Я не решалась рекомендовать их к распространению в газеты по целому ряду причин, но самые главные сводятся к тому, что Ваши герои в массе своей являются отбросами общества, а мы живем в такое время, когда потребны Добрые Символы, которым должно поклоняться. А литература обязана приближаться к проповеди. Мне кажется, что Ваши герои словно бы постоянно боятся, как бы им не стали задавать вопросы об их жизни. Они подобны разбитым колоколам, которые тем не менее страстно желают возвещать миру свой голос.

Мы все жаждем нового и чистого, но разве Ваши

«герои» — бродяги, игроки, воры — могут быть примером, чтобы следовать им в каждодневной жизни?! А порою Вы излишне «щедры», но ведь это делать нельзя! Разве можно всегда писать «хорошие концы»? Как Господь готовил нас в своих проповедях к дню Страшного Суда, так и честный литератор обязан писать Правду, только Правду и ничего, кроме Правды!

Почему бы Вам не создать новеллы о незаметном подвиге миссионера, отдающего сердце своим диким подопечным? Об ученом, погибающем во имя того, чтобы жили другие? О капитане, который сходит с мостика и уплывает в бушующее море, после того как он предпринял все, что мог, дабы спасти корабль? Да разве мало в мире тем, которые по-настоящему волнуют читателя? А Вы просто-напросто берете на себя смелость выписывать безапелляционные рецепты на счастье. Разве это допустимо? То, что Вы прислали в наше агентство, страдает «сделанностью», поэтому читатель не станет тратить время на то, чтобы знакомиться с Вашими коллизиями.

Надеюсь, я Вас не очень огорчила своей прямотой.

Всего Вам лучшего.

Анна Бертрам, поэтесса и романистка».

42

«Дорогой Ли!

Пожалуйста, перешли Этол этот мой рисунок. Она поймет, что руки, изображенные на нем, это наши с ней руки, а парусник — тот самый, на котором я сегодня отплываю в Гондурас. Я буду писать тебе оттуда прежним способом, через Уинни.

Твой *Билл*».

43

«Дорогой Харви!

Один мой друг попал в весьма обычный переплет: увидал хорошенькую простушку, которая пела в церкви, пригласил ее на пикник, ну и ты сам понимаешь, чем это кончилось.

Два месяца встречи с красоткой доставляли ему по-

нятную сладость, но потом она ему сообщила радостную весть, что вскорости он станет папочкой.

Как следует поступать в таком случае? Откупиться? Дать содержание при условии ее переезда в другой город? Или гнать взашей?

Мой приятель (в отличие от нас с тобою) абсолютный тюфтя, совершенно лишен волевых качеств, но парень славный, надо ему помочь.

Дай, пожалуйста, квалифицированный совет, ибо слава о тебе как о юристе гражданского права дошла и до нас, провинциалов.

Желаю всего лучшего,

твой друг *Филипп С. Тимоти-Аустин*».

44

«Дорогой Филипп!

Передай своему другу, что право на рождение ребенка дает лишь брак, освященный церковью и зарегистрированный мэрией. Все остальное может быть квалифицировано лишь гнусным шантажом и вымогательством.

В случае, если твой друг поведет себя как тюфтя и даст девице денег, он признает этим факт отцовства. Тогда возможен процесс и всякие прочие словосотрясения. Толку она не добьется, но разговоры пойдут.

Так что я бы ни в коем случае не советовал давать девице содержание.

В случае, если твой друг тем не менее решит поступить так, как ему подсказывает сердце, я готов принять на себя защиту его интересов в суде.

Передавай привет все тем из наших, кого видишь.

Кстати, Пит сделался главой фирмы, выпускающей препараты, которые могут прерывать беременность. Если хочешь, дай его адрес своему другу: «Питер Сиберс, дом 42, 6-я улица, Нью-Йорк».

Желаю тебе всего лучшего.

Харви Липп».

45

«Дорогой Ли!

Положительно я стал бояться сюжетов! Меня так часто поворачивали от ворот редакций, поскольку я слиш-

ком «сюжетен», что хочется написать какую-нибудь скучную историю, банальную до тошноты, привычную всем читателям: он — горемыка шахтер, она — падшая девица, но затем появляется молодой учитель, полный добрых идей. Происходит метаморфоза: падшая вновь обретает девственность и веру в свои права; шахтер, грешивший участием в забастовках, начинает посещать вечерние курсы для штрейкбрехеров, а добрый учитель получает приглашение в Йэлл, чтобы возглавить там кафедру Всеобщего Счастья.

Тем не менее сюжет, с которым я столкнулся, великолепен! В тот «город», где я теперь работаю в качестве «маэстро пор ля ирригасьон»* (диплом мне выправили на корабле, главное, чтоб написали по-испански хорошим почерком, при этом необходимо много титулов, и чтобы обязательно слово «профессор»; картофельная печать вполне проходит), зашло судно, которое доставило сюда сорок ящиков с мужскими и женскими туфлями, всего в количестве тысячи штук. Американский консул Джон Замски, которому только-только исполнилось двадцать два года (он отправился сюда в добровольную ссылку после того, как поссорился с любимой), решил подшутить над ее женихом и отправил в родной город письмо (не от своего имени, конечно), что здесь все спят и видят обзавестись хорошей кожаной обувью. На три тысячи здешних жителей имеется всего две пары сапог: одна у губернатора сеньора дона Мигуэля Доменико-и-Агирре Караско, а вторая у нашего консула. Жара здесь такая, что обувь является обузой, ненавистной как консулом Северо-Американских Штатов, так и губернатором, однако «ноблэс оближ»**, этим двум приходится набивать мозоли, все остальные ликуют, ходят себе босиком.

Консул умирал от смеха (на этот раз без помощи возлияния местной водки, а от всего сердца), ибо чувствовал себя отомщенным, так как он разорил соперника. Но он перестал смеяться и пришел в ужас, когда получил сопроводительное письмо, в котором его уведомляли, что приезжают к нему, дабы возглавить обувное дело, любимая с папой, а с соперником все кончено, в руке ему отказано, дом продан, все деньги вложены в ботинки, жди, целуем!

---

* Мастер по ирригации (*исковерканный испанский*).

** Положение обязывает (*франц.*).

Поскольку я был здесь единственным американцем, «мистером Биллом Самни Уолтером», консул пригласил меня на ужин и спросил, какой револьвер лучше всего употребить в целях безболезненного самоубийства.

Я ответил, что лишь сорок пятый калибр гарантирует моментальный переход в Лучший Мир, однако я довольно подробно описал ему те минуты, которые предшествуют этому сладостному мигу. Во-первых, сказал я, надо купить эту пушку, а я не убежден, что во всем Гондурасе есть такое оружие — здесь сейчас мода на пулеметы, сорок пятый калибр кажется здешним военным, политикам, контрабандистам и торговцам дамской амуницией, совершенно недостойной истинного кабальеро. Во-вторых, продолжил я, необходимо (если случилось чудо и оружие попало вам в руки) написать прощальное письмо. В-третьих, следует вложить дуло в рот, ощутить зубами его масленый холод и отдать себе отчет в том, что сейчас палец нажмет на курок, но за мгновение перед тем, как все кончится, желтую массу мозга вместе с сахарными костями размозженного черепа разнесет на траву (стену, пол, шкаф, это уже деталь).

Консул побледнел и спросил меня, что же в таком случае я прикажу ему делать. Я приказал ему думать. И начал думать сам.

Как ты догадываешься, «маэстро пор ля ирригасьон», то есть «мастер-наставник по делам ирригации», означает здесь профессию человека, который роет канавы, чтобы отводить воду в сезон дождей на поля «Юнайтед фрут», где деревья ломятся от бананов. Работа эта оплачивается довольно неплохо, тридцать центов в день. Поскольку хозяин дает койку, бесплатный завтрак, а обед и ужин стоят здесь десять центов, то на бумагу и чернила вполне хватает. Но когда мы копали канавы у тебя на ранчо — то было одно дело, а в тропиках — это совершенно иной вид занятий, уж поверь мне. Так что думать о башмаках любимой консула во время сорокаградусной жары, когда машешь кайлом, согласись, довольно трудно. И я предложил консулу оплатить мой вынужденный прогул, предоставить мне комнату в его доме и бесплатное питание, а я взамен пообещал хорошенько подумать, чтобы решить вопрос с этими проклятыми башмаками, не прибегая к помощи револьвера сорок пятого калибра.

Консул обнял меня и прослезился, что меня весьма насторожило.

Словом, впервые за четыре недели я спал в гамаке, не терзаемый укусами гадов, под марлевым балдахином, на завтрак давали не бурду, именуемую чаем, но кофе и тостики, к обеду готовили бульон и отбивную, а не зеленые бананы, а про ужин я и не говорю!

Первый день я блаженствовал, лежа в гамаке. Второй день хотел провести так же, но заметил тревожный взгляд консула и понял, что, несмотря на двадцать два года, Итон наложил на него печать администратора, который считает работой лишь видимое ее проявление. Я был вынужден сесть к столу и показать несчастному к а к я думаю. Это можно сделать лишь однозначно взять перо, бумагу и начать писать. Хоть одно слово «дурак», но только б водить пером. Значит, работа идет, а если так, то все будет в порядке.

На третий день я спросил себя: а что же придумать-то? Положение ведь действительно безвыходное!

И я сказал себе: «Придумай новеллу! Ведь ты умеешь вертеть сюжет? Умеешь! Ну-ка! Есть тема: «Как сбыть башмаки там, где они не нужны?» Вот и фантазируй!» И я легко написал рассказ, который по прочтении показался мне — в отличие от «эссеистов и литературных критиков» — вполне реальным, а не «сконструированным».

Итак, не позволив консулу надрызгаться в тот вечер, я повел его на берег, в заросли, усыпанные колючками. Всю ночь консул Соединенных Штатов и беглый каторжник набивали этими колючками мешки и сносили их в подсобное помещение. А наутро консул открыл магазин, и это заметили все, потому что я нарисовал огромную вывеску, на которой были изображены ботинок и человек, напоровшийся голой пяткой на шип.

Аборигены пришли полюбопытствовать, что это такое — «ботас»*, примеряли их на руки, очень потешались, но не приобрели ни одной пары.

Следующей ночью консул Соединенных Штатов и беглый каторжник насыпали у дверей домов на центральной улице припасенные накануне колючки, особенно много пришлось поработать на рыночной площади.

О, какой вой раздавался на улицах нашего городка в то утро, слышал бы ты, дорогой Ли! Так воют львы, попавшие в капканы, или жены, заставшие мужей в

* Ботинки (*исп.*).

объятиях актрис кордебалета с плоскими животами и подведенными ресницами.

Словом, к вечеру было продано восемьдесят четыре пары!

Как гиены, мы ждали ночи, и снова рвали свои тела и руки в зарослях, собирая колючки, и это принесло свои плоды: через три дня вся партия товара была реализована, барыш составил двести семнадцать долларов. Консул до того возликовал, что отвалил мне семнадцать долларов и предложил принять на себя бремя представительства интересов Соединенных Штатов в Гондурасе после того, как прибудет любимая с папой и они возьмут монополию на продажу обуви во всей Латинской Америке.

Мне пришлось заполнить документы на имя «Билла Самни Уолтера», которые консул предложил мне самому отправить в государственный департамент, а сам ушел в подготовку встречи любимой, причем протелеграфировал им, чтобы они привезли с собою еще две тысячи пар обуви.

Так что пока я консул. Документы, как понимаешь, отправлять не тороплюсь, лежу в гамаке, придумываю рассказы, потом сажусь к столу и записываю их один за другим, чему невероятно рад.

В седьмом по счету отказе, который я получил от одной из газет, очередная «эссеистка, поэтесса и романистка» сердечно советовала мне не торопиться, «тщательно отделывать каждую вещь, словно алмаз». Я не удержался и впервые в жизни ответил ей, сказав, что зависть — плохое качество, и если она вымучивает свои произведения, то мне доставляет высшую радость писать их быстро, ибо я вижу на стене все происходящее с моими героями, слышу их голоса, сострадаю их слезам, смеюсь, когда они смеются, только не плачу с ними, потому что не умею. К сожалению, времени на отделку не остается, потому что я не «делаю вещь», а просто-напросто живу вместе с моими героями. Они — это я, я — это все они.

Но я действительно стал бояться сюжетов! Поэтому я не пишу рассказ про то, как бежавший из-под суда преступник сделался консулом Соединенных Штатов. Это же «нереально, искусственно и сделано только для того, чтобы вызвать смех у мало читающей, а потому плохо подготовленной публики». Тьфу!

Но ты чувствуешь, как я повеселел, Ли?! Может,

ты хочешь вложить деньги в фирму по продаже в Гондурасе русских соболей? Или калориферов для обогрева хижин во время зимних холодов, когда ночная температура падает до двадцати семи градусов жары, что местным жителям кажется арктическим холодом! Напиши, я дам тебе полезные советы, со мной не пропадешь!

Жду весточек. Пиши не таясь: Гондурас, Консулу Соединенных Штатов! Доставят в опечатанном мешке с дипломатической почтой под расписку!

Твой друг *Билл*»

46

«Дорогой мистер Холл!

Зная Ваши дружеские отношения с моим зятем, я осмеливаюсь написать Вам это письмо.

К обычным отказам и он, и все мы давно привыкли, но этот поставил меня в тупик. К сожалению, я не могу посоветоваться с моей дочерью Этол, ибо ее здоровье ухудшается с каждым днем. Врачи считают, что туберкулез вступает в свою страшную, разрушительную неизлечимую фазу.

Боюсь, что очередной отказ произведет на нее такое угнетающее впечатление, что трудно будет предсказать последствия.

Думаю, что Вам, человеку, который его знает с юношества, лучше решить, можно ли переслать Биллу этот отзыв.

Примите, милостивый государь, мои дружеские приветы,

миссис Роч.

P. S. Приложение: письмо м-ра Уолта Порча на двух страницах.

«Уважаемый мистер Сидней!

Рассказы, переданные мне литературным агентством «Нью Ворд», я прочитал залпом. Хочу от души поздравить Вас с тем, что труднее всего достижимо в литературе, а именно с прекрасным навыком ремесла.

Но я не могу рекомендовать Ваши рассказы к печати, оттого что не буду понят моими работодателями.

Рынок сегодняшней литературы строится по закону аналогов, уважаемый мистер Сидней. Все газеты и журналы хотят быть похожими друг на друга в главном: во-

первых, конец новеллы должен быть либо благополучным, либо шокирующе-кровавым, однако и в первом и во втором случае зло обязано быть наказанным, а добродетель, несмотря на все трудности, не может не восторжествовать. Во-вторых, читателя не интересует интеллект писателя. Чем проще Вы пишете, чем ниже опускаетесь до его уровня, тем он охотнее Вас читает. Вы же ошеломляете блеском остроумия, горьким юмором и доброй снисходительностью. Критика еще не готова к литературе, подобной Вашей, мистер Сидней, Вас просто-напросто не поймут, а за это растопчут. Все, что непонятно, обязано быть унижено и ошельмовано. Если бы Вы были писателем, желательно с европейским именем, то критика (а следом за нею и доверчивый читатель) стала бы возносить Вас до небес, называя автором «нового стиля». Вас бы исследовали, приписывали то, о чем Вы никогда и не думали, ставили бы в пример нашим литераторам, всячески расточая похвалы. Вы же, к сожалению, рождены американцем, а и на нашу страну распространяется библейское «нет пророка в отечестве своем».

Я бы не хотел, чтобы это письмо стало известно кому бы то ни было в нашем литературном агентстве. Увы, наш цех живет по закону пауков в банке. Хозяин нашего предприятия привык к известным сюжетам: хорошая девушка (сестра милосердия, учительница, стенографистка) знакомится с сыном банкира, бездельником и бонвиваном. Ее идеи, рожденные неукоснительным следованием Библии, производят в душе молодого человека переворот, он начинает учиться, работать и делает взнос в пользу бедных. Свадьба. Рождение ребенка. Счастье. Или же: плохой инженер ленив и чурается труда. Его друг, наоборот, проводит дни и ночи в библиотеках. Появляется девушка. Оба влюбляются в нее, но она отдает предпочтение работающему инженеру. Бывший лентяй после этого шока погружается в науку и делает изобретение века. Или: пропала старинная карта со схемой золотого месторождения. Ее ищут разные люди, но находит самый достойный, обязательно бедняк, который при этом поет в церковном хоре. А Вы? Пишете про умных оборванцев с чистыми сердцами. Или про бандитов, которые вынуждены браться за кольт оттого, что общество не позволяет им заработать деньги законно. Нет, такое у нас не примут нигде, мистер Сидней, поверьте волку от литературы, который

когда-то печатал свои рассказы, норовил дотянуться до правды, да только на этом ноги поломал, ибо не каждому дано счастье утвердить Правду в своем творчестве. Для этого нужно время, похлебка, кровать и фанатическая убежденность в своем призвании.

Иногда мне кажется, что твоя главная книга нигде так хорошо не напишется, как в госпитале или тюрьме, когда здоровье или же общество лишило тебя жестокой надобности заботиться о хлебе насущном для матери, сестер, жены и детей.

Я поймал себя на мысли, мистер Сидней, что мне было бы приятно, начни Вы прикладываться к бутылке, получив мой отзыв. Значит, будет одним меньше! Закон литературы — это закон не только скорпионов в банке, но и волков в лесу, каждый отсек которого должен быть закреплен за одним лишь, остальным вход воспрещен, за нарушение — смерть!

Мистер Сидней, Вы талантливый и совестливый человек, поэтому вряд ли Вы пробьетесь в нашу нынешнюю литературу, где царствует мелюзга, серость и псевдопроблемы. Время выдвижения идей кончилось, настала пора тишины, когда каждый тихо сидит в норе и ждет своего часа. Каждое столетие кончается так, только так и никак иначе.

Я завоевал себе право на то, чтобы писать отзывы на рассказы, получаемые редакцией по почте (те, которые редактору передают именитые, сразу же идут в типографию). Это дает мне двадцать долларов в неделю. Я не намерен их терять, рекомендуя Ваши рассказы к печати.

Если же Вы напишете так, как пишут остальные, и пришлете мне, минуя агентство, я сделаю все, чтобы рассказы были опубликованы. Даю Слово.

Уолт Р. Порч,
литератор,
25-я улица, пансионат «Вирджиния», Нью-Йорк».

47

«Дорогая миссис Роч!

Пожалуйста, передайте мой привет и пожелание скорейшего выздоровления бедняжке Этол. Пусть она не верит врачам, а побольше пьет козьего молока!

Дела Билла идут хорошо, он просил передать Вам свою любовь и нежность.

Что же касается послания Уолта Р. Порча, то я его сжег.

Ваш
Ли Холл».

48

«Дорогой Билл!

Сердечно благодарен за письмо. Я очень рад, что твои дела идут так хорошо.

С твоей легкой руки и мои дела пошли отменно, я получил двенадцать новых заказов на портреты и заработал без малого тысячу баков, так что если тебе нужно взять в долг (проценты вполне пристойны, всего три за год), могу выслать тебе, коли только в твоем Гондурасе существует почта.

Не скрою, лишь три вещи я писал с удовольствием, не насилуя себя: это был капитан Самнэй Грэйвс с «Капитолия», невероятно славный человек, бессребреник и убежденный холостяк, знающий наизусть «Декамерона», потом начальник порта, который давал нам работу, и, наконец, как это ни странно, редактор той газеты, откуда тебе пришлось уйти.

Я как бы между прочим спросил, в чем дело, почему он позволил уйти такому талантливому и доброму парню, как ты. Под большим секретом редактор сообщил, что тобою интересовалась полиция, а некто из Хьюстона и Остина (но не полиция) пытался в частном порядке выяснить, не подвизается ли в газетах Нового Орлеана «рыжеволосый, голубоглазый, крепкого телосложения, отличающийся прекрасными манерами человек, весьма тщательно следящий за своим внешним видом, молчаливый, сторонящийся компании и весьма острый на шутку в кругу хороших знакомых».

Наверное, я огорчу тебя этим сообщением, но лучше пусть ты узнаешь, что за тобою охотятся, от меня, чем от других.

...Не можешь представить, как мне было тошно делать остальные девять портретов! Брат губернатора отказался мне позировать, но прислал фотографию, на которой он изображен двадцатилетним красавцем. Ныне ему пятьдесят семь, но он хочет, чтобы черты его лица были

моложавыми, никакой седины и морщин. От него дважды приезжал секретарь и долго рассматривал мой рисунок. Потом он привел мастера по фотографии, тот сделал снимок с рисунка, а через два дня мне его вернули с «правкой», сделанной чертовым братцем губернатора. Он подрисовал себе глаза, сделав их огромными, как у совы, уменьшил рот и прочертил морщину мыслителя между бровями. На словах же секретарь попросил удлинить холст, чтобы уместились руки, сложенные на груди по-наполеоновски, и чтобы на безымянном пальце был тщательно нарисован бриллиант в один карат, с синими высверками.

Сначала я хотел ударить холстом по секретарской голове, но подумал, что бедолага ни в чем не виноват, он совестился глядеть мне в глаза, и щеки у него пунцовели от стыда за своего босса, но кушать-то хочется, ничего не поделаешь. Потом подумал, что откажись я от этой мазни, и снова начнутся голод, ночлежки, скитания, а встречу ли я еще раз Сиднея Портера, который умеет спасать тех, кто попал в беду?! Вряд ли. Я и дописал портрет этого остолопа, бриллиант намалевал в три карата, глазоньки сделал громадными, орлиными; разлет бровей, как у герцога Мальборо, а рот волевым и одновременно скорбно-улыбчивым.

Очень понравилось.

А я убежден, что он аферист и рано или поздно его посадят в тюрьму за жульничество, однако оно будет таким крупным, что его сразу же выпустят, потому что наши тюрьмы приспособлены для несчастных маленьких пройдох, а крупные так срослись с самым высоким холмом, что скандал в штате немедленно аукнется в столице, а сие, как понимаешь, недопустимо.

Деньги, полученные от красавца, я употребил на то, чтобы уплатить за тот чердак, где оборудовал мастерскую, приобрести краски и кисти. Потом я целый месяц делал пейзажи, о которых бредил последние три года, но их никто не покупает, оттого что я не так тщательно выписываю листья пальм, как этого бы хотелось здешним ценителям прекрасного.

Я был счастлив, когда писал пейзажи. Они понравятся тебе, я надеюсь.

Сейчас я малюю портрет жены мэра. Кикимора. Сначала сказала, какой она должна быть: «глаза скорбные, рот чувственный, кожа матовая, но ни в коем случае не изображайте веснушки». Кстати, веснушки —

это единственно милое, что в ней есть. Потом потребовала, чтобы глаза были голубыми, а они у нее кошачьи. Все хотят видеть в своих портретах то, что им кажется красивым, а ты понимаешь, каковы их представления о красоте!

Что мне делать?

Буду рад получить от тебя хоть маленькую весточку.

Твой друг, вечно преданный тебе
художник *Эндрю*».

49

«Дорогая Дора!

Мне позволили написать тебе из полиции, куда я попала после того, как подошла на улице к Филиппу Тимоти-Аустину и попросила его дать немного денег для нашего новорожденного сына.

Я объяснила ему, что мальчик болен, а мои сбережения кончились. Я ни разу не просила и не прошу его ни о чем. Я молила только, чтобы он оплатил счета за доктора и лекарства, иначе малютка может погибнуть.

Я объяснила ему, что я — южанка, поэтому и мать и сестра отказались от меня, считая, что я покрыла их позором. Средств никаких, помощи ждать не от кого.

Филипп же позвал полицейского и сказал, что я попрошайничаю и шантажирую его.

Так что будет суд. Умоляю тебя, родная Дора, сделай что-нибудь для маленького Филиппа! Не бросай его! Я вернусь, устроюсь в хор и верну тебе все деньги, которые ты на него истратишь. Больше всего я боюсь, если маленький попадет в приют. Ведь никто, кроме матери, не сможет понять, что у него болит. Ты была так добра ко мне, любезная Дора, только благодаря тебе я не погибла, поэтому прояви, молю тебя, Божью милость и спаси маленького!

Я так плачу, что у меня распухло лицо и голос от этого стал хриплым. А ведь это мой хлеб, что же мне делать?!

Скорее бы суд! Я верю в справедливость тех людей, которые призваны стоять на страже закона!

Дорогая Дора, все мои надежды я возлагаю на тебя.

Преданная тебе и благодарная
Салли Кэльстон».

50

«Дорогой Эндрю!

Если ты хочешь заработать десять тысяч баков зараз, отложи работу над веснушчатой ведьмой и приезжай ко мне.

Дело в том, что секретарем у местного диктатора (он же президент, единогласно «выбранный» народом после расстрела всех соперников и захвата войсками почты, банка и порта) служит наш хитрющий соплеменник. Он-то и рассказал мне, что его босс провел через кабинет министров решение об увековечении его памяти. Он хочет, чтобы благодарный народ Гондураса в каждом городе и селении имел перед глазами его образ, выполненный лучшими художниками мира.

Будучи человеком скромным, отдающим все свои силы делу служения несчастному народу, диктатор полагает возможным видеть себя на портрете вместе с Вашингтоном, Линкольном и Лафайетом. Три эти человека должны стоять у него за спиной и смотреть на его лысину с нежными улыбками. Он же, в мундире, расшитом золотом, и с сорока тремя крестами на груди, с муаровой лентой через плечо и при маршальских погонах, будет восседать на полутроне, протягивая подданным «Хартию вольностей».

Я понимаю, что тебе придется завязать свой норов жгутом, но ведь десять тысяч долларов (а он их уплатит сразу же — не из своего кармана, а из государственной казны, подданные так хотят видеть на каждом углу изображение несравненного избранника) дадут тебе возможность писать после этого все то, что ты хочешь.

Я бы не решился внести тебе это предложение, но я всегда стараюсь представить, согласился бы я на то или иное дело, не помешало бы оно мне смотреть на свое изображение в зеркале без презрительного содрогания, и я ответил себе, что нет, не помешало бы.

Право, если бы он уплатил мне десять тысяч баков и предложил написать историю его героической жизни, отданной во благо народа, я бы согласился, потому что деньги, вырученные от этой белиберды, я бы обратил на то, чтобы потом написать Правду.

Так или иначе этого идиота погонят, здесь это происходит довольно часто, книги о нем сожгут, портреты порвут или изрежут на куски, а вот то, что ты сможешь на-

рисовать на его деньги, останется для человечества навечно.

Подумай над моим предложением.

Жду ответа, дорогой художник Эндрю.

Твой *Билл Сидней Портер*».

51

«Дорогая и любимая Салли!

Наберись мужества, несчастная девочка! Вознеси свои мольбы к Всевышнему! Я продала свое кольцо и уплатила за визит доктора. Аптекарь поверил мне в долг, дав те лекарства, которые были нужны для твоего крошки, но болезнь зашла слишком далеко.

Такие создания, как маленький Филипп, попадают в рай, где птицы и благоухающие кущи, где вечное спокойствие и справедливость, дорогая Салли!

Помолись о его душе, он услышит тебя!

Твоя *Дора*».

52

«Дорогой Ли!

Если я скажу тебе, что я невезун, то это будет половиной правды, даже ее четвертью. На конкурсе невезунов всего мира я бы занял второе место, такой я невезун! Суди сам: помнишь, я писал тебе об одном моем знакомце, художнике Эндрю? Так вот, я придумал грандиозный бизнес: поскольку здешние диктаторы, они же президенты, они же премьеры, они же главнокомандующие, они же отцы, дяди и дедушки нации, они же корифеи науки и искусства, они же меценаты (за счет государственной казны), выдающиеся ценители прекрасного и большие «писатели», то как им не согласиться с просьбами граждан и не увековечить свой образ?! Я вызвал сюда Эндрю, прозондировав почву перед этим в кругах, близких к «отцу нации», и договорился, что он сделает портрет образины за десять тысяч баков (краски, холст и рама, естественно, за счет диктатора).

Эндрю приехал, я отвел его к заместителю помощника президента (как ты догадываешься, это наш человек, делающий свой бизнес на том, что расторговывает здешние земли Морганам и Рокфеллерам по дешевке),

тот представил североамериканскую звезду «отцу нации», обговорили, каким должен быть портрет, ударили по рукам, начали работу, бедняга Эндрю начал попивать, оттого что ему пришлось из Люцифера делать апостола Павла, я понимал его страдания, нет ничего ужаснее, чем насиловать кисть, никто так не боится ошейника, как художник, однако дело есть дело, помучившись неделю, можно обеспечить себе три года прекрасной творческой жизни.

Я сделал для Эндрю эскиз, объяснил ему, чего хочет здешний болван в золоте, дело пошло, но в день окончания работы мой художник возвратился домой с безумными глазами. Я поинтересовался, где золото (по условию договора, я должен был получить две с половиной тысячи баков, чтобы вернуть мои долги мужу миссис Роч и тебе), он отвечает «ха-ха», потом падает в истерике и рассказывает, что порезал картину, потому что лучше жить в нищете, чем изображать пророком гада и тирана.

Что на это скажешь?!

Розог у меня под рукой не оказалось, художник по-прежнему плакал, как ребенок, клял тиранов, просил дать ему кольт, чтобы он пристрелил президента и освободил народ несчастного Гондураса от рабства, а я горестно думал про то, что бизнес не моя стихия. В конце концов я впал в черную меланхолию, но несчастного художника ругать не стал, оттого что понимал его изначальную правоту. (Но попробуй заставь меня написать об этом рассказ с плохим концом! Не выйдет. Надо быть бессердечным и холодным дельцом от литературы, чтобы безжалостно отбирать у несчастных Надежду. Если человеку дано перо, так ведь оно дано не случайно и не зря! Значит, я должен служить Благу, а не Злу, Вере а не Безысходности! И еще: надо быть богатым человеком с безупречной репутацией, чтобы позволять себе Жестокость по отношению к читателю.) Я то и дело вспоминаю Гёте, который утверждал, что быть одаренным человеком совершенно недостаточно. Чтоб набраться ума, нужно очень многое: жить в достатке, уметь заглядывать в карты тех, кто ведет игру, да и самому постоянно быть готовым к большому выигрышу. (Впрочем, к такому же проигрышу — тоже.)

Я был совершенно потрясен, когда этот мудрец рассказал, что он истратил полмиллиона личного состояния, чтобы узнать то, что он узнал; на это же ушло

отцовского состояние и все литературные доходы за пятьдесят лет, а это были не мои шесть долларов, а десятки, сотни тысяч золотом. Да еще владетельные особы вложили в его ум не менее полумиллиона. Общество, которое не поддерживает своих творцов, не заботится о памяти потомков. А это чревато не чем иным, как умиранием патриотизма.

Если Гёте уму-разуму учили влиятельные особы и опирался он на свои гонорары и наследство папы, то меня этому же учит жизнь. Он состоялся на изучении природы. Я согласен с ним, что ни одна другая область знаний не позволяет столь пристально проследить за чистотой созерцания и логичностью помыслов, заблуждениями чувств и рассудка, за слабостью характера или его силой. Действительно, природа не позволяет шутить с собою тем, кто кладет жизнь на ее познание. Но поскольку человек есть дитя природы, ее часть, то моими учителями стали именно люди, рискнувшие жить отдельно от природы, бросившие ей вызов, и хотя действительно природа всегда права, а люди отнюдь нет, хотя природа более поддается сильному духом и последовательному, а вялому, нерешительному, праздному жестоко мстит, но весь мир составлен не только из тех, кто является образом и подобием Божьим. Кто же в таком случае займется париями мира, бедолагами, имя которым легион?!

Да, кстати, торговля ботинками тоже прогорела. Приехал ловкий парень из Чикаго, который привез не тяжелую обувь, а легонькие башмачки, насквозь продуваемые ветром, ноги не потеют, к нему стоят очереди, но идею с колючками он мне оплатить не хочет, хотя, как и любой член американской колонии в Гондурасе, знает, что это мой патент. Не обратиться ли в Верховный суд?!

Эрго: холст с изображением царственного ублюдка изрезан. Художник ходит по набережной и тоскливо смотрит на яхты, стоящие на рейде; капитаны его не берут на борт матросом из-за неуживчивости характера.

В магазин обуви меня не пускают.

В должности консула не утвердили, запросив имена родителей и сведения о последнем месте службы в государственном учреждении. Представляешь, как они обрадуются, когда я пришлю им просимые данные.

У меня остался единственный выход: примкнуть к

здешнему антиправительственному тайному обществу. О том, что готовится очередной переворот, весьма оживленно говорят в тавернах и кофейнях. Вообще здесь всегда весьма широко готовятся к переменам. Поскольку тут ценится умение стрелять (а ты знаешь, я в этом силен), отчаянность в гонке на плохо объезженных конях в горных ущельях (тоже могу) и умение петь песни под гитару, то я весьма внимательно изучаю вопрос о том, чтобы возглавить бунтовщиков. Если мы победим, я стану первым советником нового президента и останусь им, покуда он не объявит себя «отцом нации», «корифеем» и «продолжателем дела Колумба и Вашингтона».

Пока же, поскольку бананы и кокосовые орехи здесь бесплатны, особого голода я не испытываю. Один наш соплеменник привез пятнадцать граммофонов. Думает, как их сбыть. Предложил мне стать коммивояжером, дает десять процентов с каждого проданного агрегата. Я согласился, но, думаю, ничего из этого не получится, потому что, действительно, если уж родился неудачником, то от этого качества не так просто избавиться.

Тем не менее через два года, шесть месяцев и три дня я вернусь домой совершенно свободным человеком, и ожидание этого момента делает вкус кокосовых орехов невыразимо сладким.

Твой *Билл*».

53

«Любимая!

Как я скучаю без тебя и без нашей Маргарет!

Пиши мне подробней про нее и про себя! Я ведь не просто читаю твои письма, я прямо-таки припадаю к ним, как к живительному роднику Памяти.

Считаешь ли ты дни, оставшиеся до встречи? Утром и вечером?

Как поживает великодушная миссис Роч? Пожалуйста, передай от меня самый искренний привет мистеру Рочу и поблагодари за его доброту. Ему воздастся сторицей; безнаказанными бывают только жестокость и коварство, Доброта рано или поздно возвращается прекрасным Рождественским бумерангом.

Мои дела идут прекрасно, я много пишу, работаю, полон всякого рода планов.

Жизнь свела меня с любопытной личностью, Элом Дженнингсом, и его братом Фрэнком. Они, как и я, вынуждены отсиживаться на чужбине, но разница между нами в том, что они прибыли с тридцатью тысячами долларов, позаимствованными в кассе банка при помощи кольтов, поэтому сидеть им здесь придется всю жизнь.

Эл Дженнингс — дитя трагедии, порожденный гражданской войной. Южане, они бросили свое поместье, мать умерла, отец начал пить, мальчик сбежал из дома, не в силах вынести позора (как это похоже на мою трагедию). Все, что произошло с ним потом, тоже напоминает мою жизнь: бродяжничество, работа на ранчо... Встреча с тобой спасла меня, но к нему Бог был суров, он не послал ему подруги, Эл убил зверя-надсмотрщика на плантации, но его отец, излечившийся к тому времени от пьянства, вытащил его за огромные деньги из тюрьмы, увез на родину, заставил учиться праву и сделал адвокатом. Но там Эл столкнулся с нашим диким беззаконием — преступников в его городе возглавлял не кто-нибудь, но сам шериф. Дело кончилось перестрелкой, Эл и его старший брат Джон были ранены, Эл чудом спас Джона от суда Линча, пришлось ему второй раз убегать из дома, вместе с младшим братом Фрэнком.

Так он и оказался здесь. Я заслушиваюсь его историями о том, что ему пришлось пережить в те годы, когда он наводил ужас на своих врагов.

Запасы моих сюжетов пополняются день ото дня, люди, подобные Элу, — чистый клад для писателя, в его судьбе — судьбы тысяч, всех тех, кто лишен права на Право.

Родная, был бы тебе бесконечно признателен, если бы ты смогла переслать отцу Эла Дженнингса письмо, которое я вложил в конверт. Он не решается написать ему, опасаясь, что федеральная полиция узнает место его нынешнего пребывания.

Я обожаю тебя и мечтаю поскорее тебя увидеть. Целуй Маргарет.

Твой *Билл*».

54

«Дорогой Ли!

Жизнь разваливается по спирали, тысячу раз прав мудрый Кювье!

Помнишь прекрасную испанку Тонью, которая пыта-

лась избавиться от Малыша? Помнишь, как ее подставил под пулю нашего лейтенанта этот маленький бандюга? Тогда ты наверняка должен был помнить и ее младшую сестру, рыжеволосую, голубоглазую красавицу тринадцати лет от роду с таким поразительным лицом, что, встретивши один раз, ты ее никогда не сможешь забыть. Я отчего-то полагал, что жизнь сломала и ее, нрав Малыша мне известен, уж если мстить, то всем родным, но месяц назад я встретил ее и Малыша в Мексике, в отеле «Республика», и был совершенно потрясен этим. Никак не думал, что она сразу же вспомнит меня! Тринадцать лет прошло с того дня, как погибла ее сестра!

Все случившееся потом могло бы стать сюжетом для новеллы, если бы не концовка, которая представляется мне несколько театрализованной из-за ее излишней драматичности.

Словом, думаю, что Малыш больше не будет бесчинствовать в твоих краях, пусть люди живут спокойно, его кровавым налетам, как мне представляется возможным считать, положен конец.

Поскольку я не имею никаких сведений об Этол и Маргарет, потому что последние месяцы пришлось много путешествовать, прошу тебя выяснить, что происходит в Остине, и честно написать обо всем в Сан-Антонио, пансионат «Эсперанса», для Джона Спенсера Росса.

Пожалуйста, передай Этол, что я отправил ей уже семь писем и очень страдаю, не получив от нее ни одного. Все ли там в порядке? Как ее здоровье?

Передай ей, что мои дела идут хорошо, я много работаю над заготовками к новеллам, успел посмотреть множество интересных мест и повстречался с весьма колоритными людьми.

Жду!

Твой *Билл*».

55

«Хэй, Джонни!

Что новенького? Продолжаешь защищать от электрического стула старых мошенников? Как Па? Что интересного в нашем бандитском городе?

Мы с Фрэнком в полном порядке. Путешествуем, смотрим мир и показываем себя, пусть людишки любуются Дженнингсами, такое не часто увидишь.

В Мексику мне больше не пиши, пришлось уехать, но, клянусь честью, я сам не нарывался, просто пришлось помочь нашему дружочку Биллу Сиднею Портеру, он с нами путешествует, рассказывает истории, от которых мы то смеемся, то плачем, как сироты, взятые на воспитание тетеньками из Армии Спасения.

А дело было так: поселились мы втроем в шикарном отеле, а нам назначили карнавал-маскарад, куда пригласили всех звезд страны и вроде бы даже самого ихнего президента. Пропустить такое было выше наших сил, мы одолжили Портеру денег на фрак, сами приоделись, как на свадьбу, и отправились в громадный стеклянный ресторан. Стоим мы себе возле колонны, разглядываем красоток, оркестр гремит, пары кружатся, и вдруг мимо проплывает такое Рыжее Чудо с голубыми глазами, что мы балдеем, словно юнцы во время первой поллюции.

К слову сказать, Билл Портер — красивый малый, типичный янки, волосы цветом в пшеницу, глаза зеленые, плечи налитые, рот очерчен резко, хотя очень мягок, будто постоянно хранит в себе улыбку. Рыжее Чудо его и приметило, пока глазела на него через плечо кавалера, трепетно прижимавшего ее к сердцу. Все бабы — стервы, точно говорю, все до одной, у каждой на уме блуд!

Потом Чудо еще раз проскользнуло мимо, и я заметил, что она легонько направляла своего маленького, но крепкого кавалера именно к нашей колонне, а он, дурень дурнем, поддается, как все мужики, если к ним найден верный подход. Вот тут-то Билл Портер и начал процесс: он низко поклонился Рыжему Чуду, не таясь от ее кавалера, что по испанским законам есть объявление войны, блокада, страшное оскорбление, пиратство и воровство средь бела дня. Ладно, думаю, будь что будет. А Рыжее Чудо не унимается, волочет своего быка по третьему разу к нам, и снова Билл кланяется ей, а она так улыбается, что я ему говорю, зря вы это, ее Малыш вас прибьет, а он только усмехнулся: «некоторое оживление всегда красит вечера, подобные этому».

Что-то мне стало тревожно на душе, у меня так бывает, я три раза не входил в банк за золотом, потому что было предчувствие, и каждый раз предчувствие меня не подводило, сидела засада, ну и тут сосет у меня под ложечкой, сил нет. Говорю Биллу, мол, давай слиняем, если тебе баба нужна, вызовем в номер. А он холодно возразил, что Рыжее Чудо не баба, но сама молодость и

чистота. Тут и подвалил этот самый бычок, что ее вальсировал: «Не смей таращиться на мою невесту».

Начался следующий танец, я Билла чуть не за рукав тащу из зала, а он ни в какую; вообще-то он покладистый, как ребенок, но иногда становится каменным, ни с места не сдвинешь, ничем не переубедишь.

Тут-то все и началось! Рыжее Чудо глаз с Билла не спускает; то на своего Малыша глянет с ненавистью, то на Билла — вопрошающе. Он бледный, замер весь. А потом красотка возьми да и брось свою мантилью к его ногам. Он ее поднял, прижал к груди и, поклонившись, вложил в ее трепещущие пальчики.

Ну, все, сказал я ему, за это вы поплатитесь, это ж оскорбление, вы ему обязаны вернуть платочек, ему, а не ей, он вам голову за такое свернет. А Билл только усмехнулся: «Мне это не впервой, полковник». (Он меня зовет только так, «полковник», я его спросил отчего, а он ответил: «Не «крошка» же мне вас называть! Все маленькие мужчины злые, коварные, обидчивые». Вообще-то он верно говорил, я иногда, как баба, злюсь и обижаюсь из-за того, что мама родила меня таким коротеньким.)

Я его снова под руку, мол, айда отсюда, виски найдем. А тут Малыш подъехал к нам и как даст Биллу по скуле! Тот от неожиданности с копыт долой. Потом вскочил, глаза побелели от ярости, догнал испанца, окликнул его: «Малыш!» — тот удивленно обернулся, а наш Билл поднял его, как курочку, над головой, придушить хочет, ей-ей, а бычок из кармана выхватил стилет, и торчать бы ему в сонной артерии веселого выдумщика Билла, если б я не успел выхватить кольтяру и не продырявил Малышу лоб между бровями.

Как ты понимаешь, после этого карнавального происшествия оставаться в Мексико-Сити было не с руки, пришлось улепетывать, полиция, погоня, перестрелка и все такое прочее.

Я-то ничего, отошел, а Билл до сих пор какой-то трехнутый. Он считает, что вся его проклятая жизнь построена на неверно понятом законе причин и следствий. «Со мною всегда и все не как с людьми, — сказал он мне, — я обреченный человек, полковник».

Слава Богу, рядом с тем местом возле Сан-Антонио, где мы окопались, находится эстансия с табунами необъезженных двухлеток. Билл подрядился туда и пару недель объезжал таких скакунов, которых побаивался сам

хозяин. Эта рисковая работа его успокоила, он вернулся к нам, и теперь мы заняты тем, что каждый вечер обсуждаем будущее: как поступить, чтобы стать богатыми на всю жизнь. Я спросил Билла, что он намерен сделать после того, как разбогатеет. Он ответил, что его главная мечта заключается в том, чтобы открыть театр оперетты в Хьюстоне, пригласить туда парижский кордебалет, а самому плясать наиболее веселые партии в «Периколе».

Если же говорить серьезно, то ты должен посмотреть в своих талмудах от юриспруденции, что мне, как иностранцу, грозит за налет на здешний банк, имею ли я надежду — в случае неудачи — на защиту как американец, или же сразу посадят на кол, не обращая внимания на мою принадлежность к сообществу Северных Штатов.

Письмо не показывай Па, незачем нервировать старика, мы и так доставили ему столько горя в жизни.

Фрэнк просит передать тебе привет, ты же знаешь, что заставить его написать хоть пять слов — так же невозможно, как курицу научить манерам льва.

Привет.

Твой брат *Эл Дженнингс*».

56

«Дорогой Грегори!

Не стану просить слишком уж большого гонорара, но тридцать долларов ты обязан перевести на известный тебе счет.

Новеллы Сиднея Портера, которые я тебе пересылаю, того стоят. Я убежден, что это не псевдоним и мистификации тут ждать не приходится. Наверняка он начинающий автор. Я запросил «Бюро анализов и исследований» м-ра Саймона Врука. Тот ответил, что литератор с таким именем не зафиксирован в справочниках.

А на самом деле Портер, приславший мне свои рассказы, законченный мастер новеллы. Его фабулы и стиль совершеннейшим образом потрясли меня.

Не обижайся на меня, Грегори.

Как любой писатель, ты ревниво относишься к успеху другого.

Я, как твой старый друг, думаю о твоем росте больше, чем ты сам. Поэтому дочитай письмо до конца и постарайся понять меня. Это послание продиктовано моей благодарностью за все то, что ты сделал мне в жизни.

Мне отплатить тебе нечем, кроме как тем, что я намерен сейчас предложить.

Итак, что же я предлагаю?

Во-первых, изучив работы Портера, взять на вооружение его форму. Веселая ироничность, энциклопедическое знание, независимость оценок, смелость характеристик делают его человеком, рискующим спорить с немеркнущим талантом Марка Твена и Эдгара По.

Во-вторых, обратить внимание на его абсолютно новый прием: авторский вход в фабулу настолько личностен, что это позволяет ему утвердить себя в глазах читающей публики не только литератором, но и философом, политиком, моралистом.

В-третьих, тщательно проанализировать его диалоги, совершенно изумительные по наглости. Понятно, так у нас еще пока никто не говорит. Портер выдумывает свой язык, но выдумка его невероятно привлекательна, поскольку являет собою образец языка более емкого, более сочного, более интеллектуального, чем тот, к которому мы все привыкли и в литературе, и в каждодневной жизни.

Я думаю, что его язык не приживется у нас, однако на первых порах такого рода диалоги, бесспорно, привлекут читателя в силу их емкости и особости. А ведь все неожиданное — залог успеха в таком предприятии, как литература, театр, то есть изобретательство.

Поскольку он пока что надежно забаррикадирован (наши хранители традиций будут костьми ложиться, только б не пустить новое в литературу), ты, как писатель, имеющий имя и широко печатающийся, имеешь возможность «поиска»; стиль Портера, его технология, коли ты решишь исследовать ее и последовать ей, позволит тебе сделать качественно новый рывок и захватить новое место под литературным солнцем, которое принесет больше дивидендов, нежели те, которые ты получаешь сегодня.

Секрет Портера заключен в том, что он играет в простачка, но это тонкая, дьявольская игра! Он искуситель и философ, он есть новое качество литературы, угодное новому времени, высотным зданиям, скоростям метрополитена и тоннажу океанских пароходов. Я чувствую это ладонями, ты уж поверь потомственному и почетному неудачнику от изящной словесности, который много хотел и ничего не добился в жизни.

Спеши, Грегори! Спеши, резвый собрат по перу! Иначе, если мы не сумеем удержать Портера и он ворвет-

ся в наше предприятие, будет поздно; заявивший себя позиции не уступит.

А может быть, я снова ошибаюсь.

Вот и все.

Даже если ты не вышлешь мне тридцать долларов, но отправишь в подарок свою новую книгу, я буду считать себя вполне удовлетворенным.

Кстати, я встретил Марту. Она чертовски похорошела и, по-моему, по-прежнему тебя любит.

Если у тебя есть желание повидаться с ней, напиши. Она вложила деньги в хорошие акции и сейчас крепко поправила свое финансовое положение, во всяком случае, о продаже ее дома речь уже не идет.

И еще я видел Адама. Он очень располнел. У него одышка. Это ужасно. Впрочем, мы ведь считаем, что стареют лишь окружающие. Собственный облик наша память хранит постоянно молодым. Мы отторгаем возраст, когда его надо прикидывать на себя. Даже семидесятилетние просыпаются с мыслью, что грядущий день принесет им главную удачу в жизни.

Читай Портера! Перелопать его! Сделай его собою! Вознесись! Схвати бога за бороду!

Твой

Уолт Порч, литератор,

25-я улица, пансионат «Вирджиния», Нью-Йорк».

57

«Дорогой Ли!

Неисповедимы пути Господни!

Эл Дженнингс предложил войти в дело и купить прекрасное ранчо рядом с Сан-Антонио, на границе с Техасом, воистину райский уголок! Конечно же, я согласился, представив себе, как построю здесь гасиенду, перевезу Этол и Маргарет, вернусь к истокам, заведу хороших бычков и сожгу все те рассказы, которые таскаю в своем бауле. Однако же Дженнингс сказал, что от тех тридцати тысяч баков, с которыми он прибыл в Гондурас, осталось всего четырнадцать долларов и поэтому необходимо выпотрошить банк, где лежит еще тридцать тысяч, вполне достаточных для обзаведения хозяйством. Поскольку я считаю, что каждый человек является собственником своей жизни и поэтому вправе распоряжаться ею так, как считает нужным, я не стал распевать псалмы на тему «не укради». Но Дженнингс сказал, что мне придется помочь

ему в этом предприятии. Прямо отказать ему казалось мне в тот миг несколько неудобным — как-никак он достаточно таскал меня за собою по Центральной Америке и мексиканским городам. Я поэтому спросил, что мне следует сделать, Дженнингс ответил, что делать придется все, как полагается при ограблениях. «Стрелять?» «Конечно, — ответил он, — кто добром отдаст свои деньги?» Тогда я сказал, что мне надо поупражняться в обращении с оружием. Он дал мне свой кольт, и я разыграл перед ним маленькую сценку, которая доказала ему, что я умею обращаться с оружием так, как он с пуантами или дирижерской палочкой. Дженнингс долго хохотал, когда я ненароком выстрелил себе под ноги, изобразив при этом невероятный испуг. Я решил, что предложение моего приятеля само по себе умерло. Но не тут-то было! Он предложил мне ехать с ним вместе и «стоять на стрёме», возле лошадей, понимая, что я не смогу получить свою долю земли просто так, в подарок. Поскольку я ни разу в жизни не преступал черты закона, пришлось отказаться от этого поддавка — «Ты, мол, просто постой рядом, а деньги получишь как настоящий налетчик, сполна, и не будешь считать себя никому обязанным, честно заработал, спокойно трать».

Через три дня Эл со своим братом Фрэнком вернулся, набитый банкнотами. Я сказал, что меня ждут неотложные дела. Дженнингс спросил, куда мне можно писать. О наивная, святая простота! Адрес отменно прост: «Мир. Портеру. Лично».

Словом, наутро я уехал, жить за счет других не умею. В салуне, где я остановился на ночлег, шла яростная игра в покер. Денег у меня было, как всегда, навалом — три доллара семнадцать центов; предложенные Дженнингсом пять сотен я, понятно, принять не мог. Что мне оставалось делать? Я поинтересовался, нет ли поблизости ранчо, где нужен ковбой или стригаль. Ответили, что таких «эстансий» в округе нет. Тогда я сел к столу и, будучи, как всегда, убежденным в неминуемом проигрыше, начал следить за развитием сюжета игры так, как кошка следит за норкой мыши. Я пробовал самотерапию, уговаривая себя, что неминуемо проиграюсь дотла, но при этом разжигал в самой затаенной части моего естества уверенность, что на этот раз неминуемо выиграю. И, знаешь, выиграл! Причем весьма круто — триста девяносто два доллара. Это дало мне возможность спокойно вернуться в Гондурас и погрузиться в размышление по

поводу того, куда вложить оставшиеся деньги, чтобы получить елико возможно скорую отдачу.

Поначалу я решил попробовать сунуть мой выигрыш в строительство маленького пансионата на берегу океана, но потом решил, что это мне дивидендов никаких не даст, ибо местные жители останавливаются друг у друга, у них это принято. Наши путешественники норовят загрузить товар на свои яхты и поскорей чапать в Новый Орлеан, чтобы их не перегнали конкуренты.

После этого я решил было открыть фотоателье, но подумал, что страсть диктаторов к поясным портретам не даст мне возможности развернуть эту индустрию, все-таки фотография ближе к правде, чем портретная живопись, угодная здешним меценатам.

Теперь моя мечта заключается в том, чтобы снять пристойное жилье и послать денег Этол для ее переезда сюда. В конце концов пусть Маргарет поучится в испанской школе, я не знаю более музыкального языка. Я могу сделать это хоть сейчас, но боюсь, что к их приезду я снова окажусь на мели, и если в Остине Этол помогает семья Рочей, то безденежье в Гондурасе может кончиться трагедией.

Тем не менее именно сейчас я, как никогда раньше, убежден, что настала полоса везения, я смогу заработать денег не только литературой, но и бизнесом. Именно сейчас я, как никогда раньше, чувствую близкую удачу во всех моих начинаниях.

Не знаю, как ты, но я стал еще больше верить предчувствиям. Ты даже не можешь себе представить, как я был спокойно убежден (хотя играл сам с собою в кошки-мышки, когда ставил последние три доллара, блефуя, словно Морган), что меня ждет выигрыш.

Мне пришлось переходить границу, как ты понимаешь, не под шлагбаумом, а в сельве, переправляясь через реку, полную аллигаторов и прочей гнуси. Я пустил коня в воду, ни секунды не сомневаясь, что все сойдет хорошо. Так и случилось. Поэтому ныне, пожалуй, впервые в жизни, я не тороплюсь принимать окончательное решение, присматриваюсь, прикидываю в уме, как поступить, и считаю дни, когда выйду на берег, чтобы встретить моих дорогих и самых любимых на земле существ, Маргарет и Этол.

Пока все.

Крепко жму твою руку
Билл».

58

«Дорогой Боб!

Надо сделать все, чтобы судья выпустил интересующую нас девицу Салли на свободу. Только в этом случае тот бизнес, который я задумал, даст хорошие баки.

Выясни, в каком случае ее законвертуют в тюрьму за попрошайничество и шантаж, а в каком — отпустят на все четыре стороны.

Срочно жду ответа.

Прошу тебя сделать все, что можно.

Твой
Бенджамин Во».

59

«Дорогой Бенджамин!

Девицу выпустят из зала суда только в том случае, если Филиппчик не явится на заседание, чтобы подтвердить свое обвинение в шантаже и вымогательстве.

Если же он придет, то, что бы девица ни говорила, как бы ни взывала к сердцам дедушек, рассказывая про младенца, ей вольют от трех до шести месяцев.

Искренне твой

Боб Ниглс».

60

«Дорогой Боб!

Мне кажется, надо поступить так: если в газетах (или даже одной газете) появится сообщение, что такого-то и такого-то будет суд над такой-то по обвинению в шантаже такого-то (со всеми титулами, «дипломированный», «президент», «член совета директоров»), Филиппчик не явится на заседание. Это уж ты мне поверь. Так что получи баки по известному тебе адресу и организуй пару заметок в прессе. А я займусь поиском людей, которые нам понадобятся, после того как девица выйдет на свободу.

Твой
Бенджамин Во».

61

«Хэй, Джонни!

Пару мешочков с пятью тысячами баков тебе передаст верный человек. Так что все в порядке, можно

жить дальше, хоть на сердце скребет, потому что я перебрался в Калифорнию. Значит, наши враги рано или поздно меня вытопчут, а тогда не миновать стула или вечной каторги. Однако, пока живется, надо жить, а там будь что будет. Если б мне давали возможность заработать по закону, я б не стал сгибаться под тяжестью двух кольтов, можешь мне поверить.

Накануне предприятия нас от всей души повеселил Билл Портер. Когда я протянул ему револьвер и сказал, что надо поупражняться в стрельбе, он с ужасом взял кольт и, конечно же, ненароком выстрелил. Видел бы ты его насмерть перепуганное лицо и огромные глаза, в которых ничего нельзя было понять, кроме того, что Билл — добрейший малый.

«Полковник, — сказал он мне, — не стать бы мне помехой в вашем финансовом предприятии». Что так, то так, подумал я, с таким сгоришь в два счета...

До сих пор не могу понять, отчего он слоняется по миру, как мы, скорее всего причиной тому явилась несчастная любовь. Я встречал много наших в Южной Америке, которые бежали туда от самих себя. Да разве от себя смоешься?

Мне не хотелось с ним расставаться, ведь преступника всегда тянет к чистым лицам (не надо, не вздрагивай, да, я преступник, пора называть вещи своими именами, но это пока не мешает Папе продолжать быть судьей, а тебе — Правозаступником?!).

Я уж и так и эдак вертел с ним, предложил постоять на стрёме, посторожить коней, только б всучить денег, а он и от этого отказался. Он относится к ублюдочной части рода людского, которая готова голодать, только б остаться чистенькой. А вообще-то по закону грабить могут только очень богатые люди. Я мечтаю жениться (если только найду здесь подругу моего роста, не на каланче же бракосочетаться), родить детей, сколотить им капиталец и потом пристроить на Уолл-стрит, тогда все их грабежи будет надежно страховать закон. Эх-хе-хе, чего не сделает отец ради своих детей, еще даже и не существующих?!

Привет!

Твой брат *Эл Дженнингс*».

62

«Дорогой Билл!

Уж и не знаю, как быть, но далее скрывать правду от Вас я не могу, не хватает на это моего материнского сердца...

Этол больна, и врачи называют ее положение безнадежным. Единственно, что может помочь ей прожить хоть несколько месяцев, так это Ваш приезд.

Она не знает об этом письме. Молю Вас, не сообщайте ей о нем, это поссорит нас навсегда.

Все то, что она пишет Вам — и о своем прекрасном настроении, и о хорошем состоянии, — все это неправда.

Уже четыре раза было обильное кровохарканье. Доктор Якобсон с трудом остановил его.

Я молю Бога за Вас и Этол.

Поступайте так, как Вам велит совесть.

Ваша миссис *Роч*».

63

«Дорогой Ли!

Этол совершенно больна. Я не смог оставить ее одну и вернулся из Мексики в Штаты. Так что можешь писать в Остин, как и раньше. Миссис Роч одолжила нам две тысячи долларов, мы внесли залог, меня поэтому продержали в тюрьме только два дня (бр-р-р-р, ужас, не хочу об этом), выпустили, вроде бы обещали больше не сажать до суда, но уверенности — никакой. Кто-то — я это чувствую ладонями — постоянно, скрытно и зло работает против меня.

Я постоянно вывожу Этол на прогулки, она стала чувствовать себя значительно лучше, исчез лихорадочный блеск в глазах, и ее не мучают вечерние ознобы, которые более всего донимали меня, когда я приехал с чахоткою на твое ранчо.

Порою делается страшно: я еду с Этол на маленькой двуколке, рассказываю ей о своих странствиях по Южной Америке, придумываю какие-то забавные истории, хотя, как понимаешь, на сердце скребут кошки, а в голове у меня между тем складываются целые главы про людей, с которыми сводила жизнь. Я существую в двух измерениях: хожу, улыбаюсь, шучу, напряженно жду того момента, когда вечером стану мерить температуру

Этол, ужинаю, рисую сказки Маргарет (она чудо, моя главная радость) и при этом пребываю в мире, живущем в моей голове, слышу обрывки фраз, угадываю поступки, внимаю своему же писклявому голосу, отстраненно вещающему про то, что сокрыто ото всех и известно одному мне, какой-то затаенной части моего мозга, которая не дает покоя, мучит, заставляя болезненно ощущать минуты, отсчитывающие ужас упущенного, несделанного, забытого.

Будь проклят тот день, когда меня потянуло в сочинительство! Я не кокетничаю, ты же знаешь, как я отношусь к себе! Боже, сколь радостна была та пора, когда я ставил какие-то оперетки, сочинял комедии для любителей Гринсборо и пел серенады по заказу наших ловеласов... Как давно это было!.. А было ли вообще?! Когда случился тот день или час, когда я понял, что не могу не писать того, что живет во мне, мучит, ломает, жжет?! Я не хочу этого более! Я ненавижу те страницы, которые лежат у меня в столе, я не верю в то, что они когда-нибудь будут напечатаны! Неужели эта пьяная страсть обязательно несет муку и тебе самому, и тем, кто тебя окружает?! А может, я отвратительный честолюбец, который норовит вырваться из общей массы за счет тех, с кем сводила жизнь, кто отложился в памяти или простонапросто придуман мною?! Видишь, я снова говорю о себе, а бедная Этол, мышонком уснувшая за стеною, обречена на то, чтобы воспитывать Маргарет одна, без меня... Пять, а может, и десять лет — в зависимости от того, какой срок тюремного заточения определит судья.

И поэтому я говорю себе, что обязан писать, ибо это позволит мне прокормить Этол и Маргарет. После суда все дороги к работе в банке, газете, литературном агентстве, министерстве, фирме для меня закрыты. Только одна возможность заработать на хлеб насущный. сочинять такие истории, которые найдут своих покупателей...

Жутко и унизительно, но иного выхода нет.

Пожалуйста, порасспрашивай старых ковбоев, как мексиканцы называли серебряные шпоры, которые делали умельцы в Акапулько? У них было особое слово, которое я не могу вспомнить, а ходить в библиотеку я не могу теперь, чтобы не встречаться на улице со знакомыми. Англо-испанский словарь чрезвычайно дорог, но это слово мне необходимо, оно ритмически точно ляжет в тот рассказ, который я рано или поздно запишу на бумаге.

Меня также интересует, как старый индеец, который жил на эстансии «Натали», называл кожаный мешок, который мы привязывали к седлу, когда отправлялись в город? Я совершенно забыл это его слово. Оно не испанское, он произносил его на кечуа. Если помнишь, не премини написать мне, ладно?

Иногда, поздней ночью, когда все в доме спят, я выхожу на улицу, иду мимо домов, и мне делается страшно, оттого что здесь жил Питер, а его нет более в живых; там веселился Майкл, но и его свалил недуг; тут матушка Эстер угощала пивом, но и ее похоронили три недели назад. Как это страшно — зримое ощущение ухода в иной мир всех тех, кто жил с тобою рядом совсем еще недавно!

Твой *Билл Портер».*

64

«Мой дорогой добрый Уолт Порч!

Как всегда, ты ошибся! Я прочитал новеллы этого самого Билла Портера и подивился: что ты нашел в них? Всякая попытка создать новое в литературе есть начинание с негодными средствами. После «Одиссеи» ничего нового создано не было. Лучшее из написанного в средние века — лишь приближение к античному. Чем дальше литератор норовит уйти от древних, чем замысловатей он ищет форму, чем неожиданнее к р у т и т сюжет, чем больше навязывает себя в роли комментатора происходящего, тем слабее его работы.

Я привык к тому, что меня замалчивает критика. Это происходит оттого, что я незыблемо стою на позициях традиционной европейской прозы. Американской литературы как таковой не существует; и как нация мы толком не сложились, кипим в одном котле, а какая получится из этого варева похлебка, надо еще посмотреть.

Не могу понять, что тебя привлекло в этом самом Портере, право! Он представляется мне удачливым маклером, который торгово нащупывает «жареное», то, чего ждут продавцы универсальных магазинов, миллионеры, путешествующие на океанских пароходах, и несчастные клерки, всю жизнь мечтавшие о поездке на Дикий Запад. Рабочие у нас не читают, фермеры — тоже, а если бы и читали, то все равно жить они будут так, как жили, — темно и стадно, ибо бытие определяет Рок, Дух, Сата-

на — все, что угодно, только не Идея, не божье Слово.

Ты вообще-то стал меня удивлять, старина. Не сердись за откровенность. Критик, ты должен быть похож на орла, который парит высоко в небе, выискивая жертву, растерзав которую можно преподать урок другим. Ты обязан растерзать жертву не из-за злобности характера, а для иллюстрации твоей Силы, то есть Мысли.

Ты же сидишь на земле и восторгаешься кукареканьем петуха с огненным хвостом. Что с тобою? Устал?

Литературу делают страдальцы. Люди типа Портера сочиняют сюжеты, сидя в кэбе, который везет их на службу. Они не знают отчаяния. Они упитанны и благополучны. У них жены толстые. Они в церковь ходят по воскресеньям в новом костюме. Таких новелл, какие сочиняет поразивший тебя Портер, я готов писать поштучно в день. Но мне же будет стыдно печатать такое! Где язык? Стиль? Какова главная идея? Где отчаяние, которое должно потрясать сердца читателей? Где безответность вопросов?

Или я старею? Может быть, я перестал понимать все, что меня окружает? Может быть, я засиделся в своем доме, в грозной тишине моей библиотеки?

Видишь, я не стал отвергать твоего протеже абсолютно. Я подверг и себя пристрастному бичеванию. И все это для того, чтобы заманить тебя в гости, сесть к столу, затопить камин и погрузиться в беседу, которая столь нужна тем, кого связывает не год и не пять, но тридцать лет дружества.

Жду!

Твой *Грегори Презерв.*

P.S. Прочитав письмо перед тем, как положить его в конверт, я удивился: отчего столько раздражения в моем ответе? Что меня больше задело: твои восторги по поводу Портера или же его вещи? Но если так, надо перечитать еще раз, так что я оставляю его рассказы себе, ладно?

P.P.S. Я не хочу видеть Марту, пусть даже она попрежнему любит меня. Нельзя совмещать литературу и похоть; работа над рукописью убивает желание любить.

Напиши, сильно ли она располнела?

P.P.P.S. Тридцать долларов выслал».

65

«Дорогой Ли!

Все больше и больше начинаю постигать страшное значение слова «бессилие».

И в Древнем Риме, когда варвары приближались к Вечному городу, и во времена инквизиции, когда подозрительность была повсеместной, и в последние месяцы абсолютизма, при всеобщем разложении, накануне взрыва люди с г и б а л и с ь перед неизбежным, думали о нем, изредка решались обмолвиться с самыми близкими о том, что грядет, но ничего не предпринимали, чтобы хоть как-то противостоять этому мистическому, непонятному, устрашающе-неотвратимому будущему.

Но можно ли сравнить эту всеобщую пассивную обреченность с тем, когда ты просыпаешься утром, говоришь любимой «здравствуй», помогаешь ей подняться с ложа, ждешь ее за столом, пьешь с нею кофе, говоришь о том, что сегодня, наверное, будет дождь, интересуешься, заметила ли она, как ярко расцвели каллы, какой сочный, нутряной у них цвет, слушаешь ее ответы, смотришь в ее глаза, ставшие громадными, невероятно живыми, мгновенно реагирующими на все окружающее, и понимаешь при этом, что остались ей не годы, и не месяцы, а недели, может быть, даже дни.

Как ты думаешь, а что, если я буду постоянно чем-то занимать ее? Может быть, это не даст болезни подтачивать ее здоровье ежеминутно? Что, если просить ее переписывать то, что я держу у себя в столе? Расклеивать строчки из дневников, которые я привез? Ах, боже мой, да кто я такой, чтобы надеяться на успех?! Если бы я был настоящим писателем, если бы я был высоко благороден, а не обычен и мал, если бы мои книги проникли в народ и формировали его душу, тогда Этол чувствовала бы это и дралась не столько за свою жизнь, сколько за мою надобность людям, потому что в любом человеке гражданское — как бы глубоко оно ни было запрятано — превалирует над личным, каждый человек в душе своей носит задатки нереализовавшего себя Цицерона, Клеопатры, Руссо или Баха. Только большой Литератор может формировать героические характеры, легко переносящие невзгоды, уверенные в том, что будущее, сколь бы ни был труден к нему путь, окажется прекрасным, значительно более полным и достойным, чем прошлое и настоящее.

Между прочим, Наполеон, которому нужны были герои-солдаты, заметил, что если бы Корнель, автор героических характеров, которым многие в ту пору подражали (а не просто пролистывали его творения на сон грядущий или же успокоенно откладывали — если речь шла о папской цензуре — «ничего опасного не замечено, можно печатать»), был бы жив, он бы дал ему титул герцога.

Увы, я не Корнель, хотя я хочу писать такие характеры, которым не зазорно следовать. Впрочем, даже если бы я стал Корнелем, герцогское звание мне бы не присвоили из-за подсудности, которая, увы, на всю жизнь. Продажные политики, окопавшиеся на Холме — до тех пор, пока их самих не выгнали, как торговцев из храма, — внимательно следят за «чистотою» граждан, в первую очередь формальной, отмеченной справкой, документом, архивом, но отнюдь не за чистотою духовной, истинной, проверяемой не бумажной выпиской, но реальным делом.

Я думал, что было бы очень славно увезти отсюда Этол. Я думал, что смена обстановки хоть как-то поможет ей, соки духовные вольют новые силы в ее угасающую плоть, но врач, которого время от времени приглашают, считает перемену климата нецелесообразной. Если бы я жил в доме Этол в ином качестве, может быть, ко мне бы прислушались, ибо я убежден, что врач не прав. Поскольку он считает, что дни Этол сочтены, надо пробовать все, что только можно, ломать устоявшиеся медицинские доктрины, позволять себе надеяться на Чудо, навязывать эту веру несчастной Этол. Правда, у нее, как у всех смертельно больных, началось некое отторжение правды, она не то чтобы не хочет, она уже просто-напросто не умеет понимать свое положение, совершенно искренне обсуждает со мною фасоны следующей весны, рассматривает фотографии парижских мод, советуется, что пойдет ей, а что нет, а я должен быть при этом веселым, я должен спорить с нею, убеждать ее в том, что надо будет сшить не синее, а лиловое платье, поскольку это еще больше подчеркнет совершенно особый цвет ее глаз.

Однако недавно я ужаснулся мысли, что снова во всем ошибаюсь. Это началось на прошлой неделе, когда Этол после ужина, когда я помог ей перейти в спальню, как бы невзначай спросила: «Если бы случилось страшное и ты бы погиб в Гондурасе, я бы никогда не вышла замуж. Или, быть может, только после того, как Марга-

рец стала взрослой. А ты?» Я ответил ей, что такие вздорные мысли мне никогда не лезут в голову (а они лезли!), я отказываюсь отвечать на такой отвратительный вопрос, мы будем жить еще сорок девять лет, одиннадцать месяцев, семь дней и четырнадцать часов, а потом нам смертельно надоест все это предприятие, именуемое жизнью, и мы уснем вместе, а проснемся в чистилище. (Добро не есть следствие людских размышлений. Оно в нас заложено изначально, а если порою и благоприобретено, то лишь в самых малых дозах. Конечно, оно присуще всем, но зримо проявляет себя лишь в натурах особо одаренных, выходящих из рамок обычного. Но ведь, возражаю я себе, чтобы хоть как-то успокоиться, такого рода люди обычно проявляли себя в деле, в идеях, в проповеди, как Лютер, такого рода личности обычно вносили новое качество в мир, а моя Этол прожила свою короткую жизнь лишь заботами обо мне и Маргарет, лишь страданием, которое я принес ей, лишь ожиданием перемены к лучшему. Зачем же такая несправедливость? Почему она не выразила себя так, чтобы людям стало хоть на чуточку легче жить и радостнее думать о грядущем?! А может быть, Нравственность и Добро распространяются среди людей только в том случае, если становятся мыслью изреченной?)

Я пишу тебе письма после полуночи, когда в доме все спят, но все равно я испытываю постоянный страх. Мне кажется, что это письмо может не дойти до тебя и вернуться обратно, к Рочам, и Маргарет вскроет его, и оно попадется на глаза Этол, и она узнает всю правду (если только она и так не знает ее до конца, о чем я писал тебе выше), я опасаюсь, что кто-то где-то почему-то делает все, чтобы меня арестовали задолго до суда, и это сразу убьет Этол, и виноват в этом буду один я, а не тот (Филипп Тимоти, да?), кто копает против меня... Я представляю себе, что один из родственников тех бандитов, которых мы перестреляли на границе, когда они хотели вторгнуться к нам, все эти годы выслеживал меня, и теперь нашел, и постоянно наблюдает за домом Рочей, но мстить он намерен не обычным, не страшным в общем-то способом — выстрелом в грудь, но особо изощренно — похитив Маргарет. Чем ближе день суда, чем хуже состояние Этол, тем ужаснее мне жить из-за постоянного, гнетущего чувства страха, который ранее был неведом мне. А как это мешает работе, Ли! Перед моим мысленным взором проходят дикие картины ужасов, они

перечеркивают все те сюжеты, которые ранее простотаки толпились в моей голове, а потом я начинаю думать о себе, как о бездушном чудовище, которое живет лишь своими представлениями, когда рядом, в пяти шагах, хрипло дышит в неосознанном (а может, осознанном?) предсмертье прекрасный двадцатишестилетний человек, мать моего ребенка, нежная, взбалмошная, несчастная, обреченная Этол...

Твой *Билл*».

66

«Дорогой Грегори!

На те тридцать долларов, которые ты мне прислал, я устроил грандиозный пир. Старый Уолт Порч, «орел-стервятник от критики», как ты изволил выразиться, знает цену слову, боится его и трепещет перед ним.

Если хочешь знать правду, то своим эпитетом ты выдал мне комплимент. Орел — самая большая птица (хоть и хищная), орел мух не ловит, он ищет партнера, хоть в чем-то равного ему по значению. (Кстати, именем орла где-то называют наиболее ценную железную руду, «орлинный камень».) Что же касается «стервятника», то и здесь исследование глубинного, таинственного смысла, заложенного в неразгаданность слова, следует толковать в пользу последнего, ибо наиболее близким по смыслу синонимом следует считать слово «яростный». Да, да, именно так! Эрго, я — по твоему определению — «яростный орел».

Спасибо!

Только обязательно верни рассказы Портера.

Марта похудела и выглядит так, словно ей исполнилось двадцать три, а не тридцать два года.

Думаю, ты правильно решил не ехать сюда. Она была бы расстроена, встретившись с человеком, который вполне серьезно пишет про то, что любовь несовместима с литературой. По-моему, отсутствие любви свидетельствует о том, что литература кончилась, осталось глухое ремесло, а в лучшем случае мысль, но никак не чувство, в то время как общеизвестно, что первоосновой прозы и поэзии является чувство, высекание огня, рождение позиции...

Это не я пал, а ты, Грегори! Твое письмо повергло меня в уныние.

Читай исследования про Сальери. Только перед этим достань его партитуры и проиграй их на рояле — без этого ты не поймешь всей трагедии.

Кстати, признаюсь, до недавнего времени я был убежден, что Сальери — вымышленная фигура.

Но самое страшное случилось сегодня утром, когда я прочитал в «Пост» твой рассказ, написанный после того, как ты подверг остракизму Портера.

Грегори, ты ведь стал подражать ему! Ты пытаешься следовать его интонации, ты прерываешь повествование, чтобы порассуждать о том и о сем, ты норовишь сделаться добрым утешителем читателей, их сотоварищем, но ведь это не удается тебе, я чувствую фальшь в каждом твоем слове, в тебе нет того естества, которое я увидел в новеллах безвестного Портера, преданного, обворованного и запрещенного к публикации мною, Уолтом Порчем, во имя дружбы с тобою, Грегори Ф. Презерзом.

Можно быть последователем, но нет ничего страшнее удела подражателя! Ибо он, подражатель, тяжело ненавидит того, кому подражает, кого он натужно хочет переплюнуть, но разве можно природу написать прекраснее, чем она есть? Мастерство пейзажиста — в приближении к ней, но это совсем не то приближение к «Одиссее» о котором ты писал мне столь раздраженно.

Традиция только тогда становится традицией, когда ей противополагается новация. Чем больше новаций, тем ярче светит Антика, но коли мир решит законсервировать себя, словно мясо в стеклянной банке, начнется мрак и безвременье, время колдовства, черной магии и глухого бунта тупых идиотов.

Я возвращаю тебе тринадцать долларов, а двадцать семь верну через неделю, когда получу очередной гонорар из моего литературного агентства, задробив еще одного Портера. Да здравствует Сальери, слава нам с тобою, Грегори!

Я не кончаю письмо обязательным «до свидания», ибо мне что-то перестало хотеться видеть тебя.

Уолт Порч, христопродавец»

67

«Дорогой Ли!

Мне трудно браться за перо после того, как я навсегда простился с Этол.

Я могу описать самые мельчайшие подробности ее

последних дней, которые бы разорвали тебе сердце, лишили сна и надолго перечеркнули в душе твоей всяческую надежду на Справедливость и Добро. Именно поэтому я не стану этого делать. Пусть уж мое горе живет во мне, со мною пусть оно и умрет, незачем открывать его другим, безжалостно это, а потому нечестно.

Я потрясен мужеством Этол, ее достоинством. Видимо, никогда в жизни человек не открывается окружающим так, как он открывает себя накануне смерти.

У меня не было от тебя секретов... Впрочем, нет, были и есть, у каждого человека всегда есть секреты от друга, отца, матери, жены, дочери, сына... Тем не менее ты знал, что болезнь Этол сопровождалась ломкой ее характера. Веселая, доверчивая, реактивная, общительная, легкая, она постепенно становилась раздражительной, обидчивой, подозрительной... Мне порою было до слез горько слышать ее слова, незаслуженные, чужие, холодные... Я обижался на нее так, как только может обижаться любящий мужчина, когда его оскорбляют безо всякого к тому основания... Но я всегда помнил, что единственным человеком, который безоговорочно верил в то, что я обязан писать, была именно Этол. Ничто так не дорого пишущему, как абсолютная вера самого близкого человека в его призвание. Малейшая фальшь ощутима немедленно и трагично. Я всегда ощущал, что она верит в меня, и это давало мне сил жить, работать, переносить страдания и прощать ей все то, в чем она была несправедлива ко мне.

Ты не можешь себе представить, какой она стала кроткой в последние дни. Она все поняла. Я это увидел, когда вошел в спальню, а она с ужасом смотрелась в зеркало. Именно с ужасом! Видимо, у нее был тот момент прозрения, когда истина на какой-то миг объемно и зримо возникает перед глазами.

«Я умираю, — спокойно сказала она мне. — Неужели Маргарет суждено все это видеть?»

Что мне было ответить ей?! Как?!

Я стал говорить, что дела ее идут на поправку, нельзя поддаваться настроениям, стыдно распускать себя, умей сдерживать нервы, я играл, как бездарный провинциальный трагик, ненавидя себя, чувствуя, что сердце мое вот-вот разорвется от горя, бессилия, любви к ней и жалости.

«Милый, — сказала Этол, — сделай так, чтобы девочка не видела меня бездыханной. Увези ее отсюда, а когда

все кончится... Вы вернетесь, и ты скажешь, что я поехала в Нью-Йорк, в клинику, на два года».

Я не сумел себя сдержать... Будь я трижды проклят за мою слабость! Я заплакал и этим подтвердил правоту ее слов, а должен-то ведь был продолжать смеяться — как угодно, любою ценой, но — смеяться! Если бы я смог победить себя, она бы жила еще неделю, две, а потом бы спала жара, кризис мог миновать! Я виноват в том, что она ушла так рано, виноват один я и никто больше!

А она обняла меня, и стала гладить прозрачной рукою по голове, и шептала мне какие-то невероятные слова, успокаивая меня, а потом улыбнулась и стала вспоминать нашу молодость, когда мы тайком обвенчались, и все наши озорства вспоминала, но не так, чтобы разорвать мне сердце до конца, а, наоборот, с юмором, чуть ли даже не весело. Как объяснить такую могущественную силу в этой женщине?

«Ты меня вспоминай здоровой, — попросила Этол. — И никогда, пожалуйста, никогда в жизни не позволяй себе увидеть меня такой, когда я была раздражена и несправедлива к тебе. Тебе будет легче жить, если я останусь в твоей памяти дурной девчонкой, которая бросила отчий дом и пошла к священнику с улицы, не зная, что такое подвенечное платье. Вспоминай, как мы ездили вокруг Остина, когда ты вернулся из Гондураса, и я уверяла тебя, что мне хорошо и боли в груди нет, и Маргарет смотрела на нас сияющими глазами, маленький человечек с разумом взрослого... Как она мечтала, чтобы ты поскорее вернулся! Как она грезила тем днем, когда мы снова будем все вместе, Билл! Увези ее, родной, увези, я места себе не нахожу, как представлю ее возле моего бездыханного тела...»

Маргарет была на грани помешательства, когда все случилось.

Я стараюсь не бывать с нею дома, мы целыми днями пропадаем в лесу, на берегу пруда, я пытаюсь выдумывать какие-то мудреные игры, приучаю ее к шарадам, ловлю диковинных бабочек... Единственно, что отвлекает ее от горя, так это мои сказки.

«Только чтоб конец был хороший, — просит она меня, — и пусть будет смешно».

Ли, наша жизнь — это дорога, которая ведет в никуда, это путь потерь, а как сделать так, чтобы она сделалась тропою находок, я теперь не знаю.

Билл».

68

«Уважаемый мистер Холл!

Вы и не представляете себе даже, сколько я передумала, только бы побудить Билла стать более активным. Но после кончины Этол он изменился, стал малоразговорчивым и внутренне как-то ожесточился. А может быть, просто-напросто замкнулся в самом себе.

Я пробовала говорить с ним на ту тему, которая Вас волнует так же, как и меня. Он ответил, что плетью обуха не перешибешь и человек, попавший в судебную передрягу, если только он не Рокфеллер, никогда добром из нее не вырвется.

Просто не знаю, что и делать!

Про Маргарет я ему тоже говорила, но он считает, что чем дольше будет тянуться этот проклятый процесс, тем больше шансов на то, что девочка узнает правду. Он взял с меня слово, что после суда, каким бы ни был его исход, мы уедем из Остина в другой город, дабы никто и никогда не мог сказать маленькой, что случилось с ее отцом.

Все мои надежды я возлагаю на Всевышнего, он милостив к тем, кто невиновен.

С ужасом я жду того дня, когда начнется суд. В тот день он будет арестован.

Предпримите все, что только можете, не дайте свершиться несправедливости, дорогой мистер Холл!

Искренне Ваша

миссис Роч».

69

«Дорогая миссис Роч!

Я пишу Вам это письмо, зная, как добро Вы относитесь к несчастному Биллу и верите в то, что он невиновен в инкриминируемом ему преступлении.

Я пытался воздействовать на него в том смысле, чтобы он вместе с адвокатами потребовал еще раз исследовать данные банковской ревизии. Действительно, не может не быть странным тот факт, что из ста пунктов обвинения в нарушении Закона о Банках ныне в обвинительном заключении осталось лишь два пункта, а вместо пяти тысяч долларов, которые якобы похитил Билл, теперь осталось только восемьсот.

Но он попросту не ответил на мое первое письмо. Прежде чем я стану обращаться к нему во второй раз, хотел бы спросить Вашего совета, как мне следует поступить, ибо я не видел его с той поры, как он исчез. Может быть, в характере его произошли какие-то перемены, которых я не знаю, но которые известны Вам? Может, Вы подскажете, как лучше обращаться к нему, какие струны в его сердце надо задеть?

Мне, как и Вам, известна его испепеляющая любовь к Маргарет. Быть может, стоит апеллировать к этой его любви? Быть может, стоит просить его употребить все усилия, чтобы продолжить борьбу и доказать свою невиновность — именно во имя крошки?

Я готов внести деньги и пригласить еще одного адвоката, только б помочь этому прекрасному человеку выпутаться из той страшной паутины, в которую он попал.

С нетерпением жду Вашего ответа, многоуважаемая миссис Роч.

Ваш искренне

Ли Холл».

70

«Дорогой Ли!

Я с большим трудом, а говоря откровенно, неохотой, сел за это письмо.

Пойми меня правильно.

Прежде всего в жизни я ценю достоинство. Именно поэтому я считаю, что суетиться, обивать пороги, что-то доказывать — недостойно. Это унижает человека. В конце концов, не закон создал людей, а люди закон, вот пусть он им и служит.

Разум не может не быть заинтересован в том, чтобы честные были защищены, а нечестные наказаны. Суд не может не желать — во имя человечества же, — чтобы умные и талантливые (а я, прости, в глубине души таким себя все-таки считаю) работали на благо прогресса, а не сидели на каторге. Если же означенного Суда не существует, а суд земной составлен из людей малокомпетентных, отягощенных личными заботами, трагедиями, радостями, драмами, то пусть все идет как идет. Нельзя терять достоинство. Это непростительно.

Во многих европейских странах существует некий детский шовинизм: во всем, что у них происходит гадо-

стного, они винят всех, кого угодно, — происки внешних врагов, интриги врагов тайных, погодные условия, небесные катаклизмы, — но только не самих себя, не собственную нерасторопность, ошибку, недосмотр. Меня это коробит. Я не хочу оказаться зараженным этой болезнью, которая практически неизлечима, ибо она ищет дьявола не в себе самом, но в окружающих. А ведь случилось так, что я виноват кругом, Ли. Если бы я был подготовлен к моей работе в Банке, если бы я изучил закон, карающий нарушение норм работы, если бы я лучше знал людей (то есть, продолжая им верить — без этого нет жизни, — тем не менее требовал бы гарантий), если бы люди, с которыми меня сводила жизнь, так же исповедовали достоинство и честность, как это норовлю делать я, тогда не произошло бы ужасной трагедии, но третий звонок уже прозвенел, поезд отходит, опустить перед ним шлагбаум нет возможности.

Пойми, чем больше я сейчас стану приводить доводов в свою защиту, тем более жалким я буду выглядеть в глазах всех тех, кто меня знает. Тот человек (а может быть, люди), который мог бы поставить все с головы на ноги, этого не сделал. Почему? Бог ему (им) судья. Если бы он сказал всю правду, меня бы оправдали. И это бы никак не затронуло его честь. «Он сделал важное признание» — так бы сказали о нем. А обо мне, если я стану рассказывать правду, презрительно заметят: «Помимо всего прочего, он еще оговаривает честных людей!» Тем более что виновного в моей трагедии уже нет в живых. Вообще я все больше и больше убеждаюсь в том, что те люди, которые причиняли мне зло (вольно или невольно), поплатились за это дорогой ценою. Нет, это не ощущение исключительности говорит во мне, не мессианство какое-то, ты знаешь, я не отношусь к числу самовлюбленных нарциссов, просто сама жизнь подвела меня к этому. Помнишь, как Боб «Лошадиные зубы» донимал меня и подсовывал мне незаряженные патроны, когда мы шли в секреты на границу, и сыпал песок под седло, чтобы погубить моего коня? И что же? Не я погиб в перестрелке, а он, потому что в суматохе ночного нападения бандитов он схватил мои патроны, а не свои... В Новом Орлеане сосед по ночлежке клал в воду мое лезвие, чтобы я не мог побриться утром, перед тем как уйти в поиски поденной работы, а потом сесть в парк, за очередной рассказ (я не могут работать, если небрит); он нарочно опрокидывал мою миску с кашей, которую давали бесплатно,

а это было пищей на весь день, — согласись, дело отнюдь не маловажное. Так вот этот человек поскользнулся на мостовой, упал и поломал себе ногу. Когда я положил его в кэб — хозяин согласился отвезти его в больницу для бедняков, — он в ярости хотел ударить меня по лицу, свалился с сиденья и поломал ключицу. (Кстати, он был уродлив до отвращения. Все уродливые люди обязательно подонки, в этом кроется какая-то закономерность.) В Мексике, когда я с Элом Дженнингсом присматривал местечко, о котором говорили как о золотом дне, к нам пристал один бродяжка, американец из Айовы. Дженнингс не очень-то хотел брать его, но я уговорил, нажимая на то, что человек без знания испанского языка, один-одинешенек, лишенный средств, обречен на гибель. Я уговорил, а этот человек сразу же стал делать мне гадости. О, как он был изощрен в своей гнусности, как изобретательно он старался внести рознь в нашу дружбу! И что же? Провидение наказало его: он свалился в тропической лихорадке, и только знакомство с добрым капитаном позволило нам отправить его в Новый Орлеан.

Как я понял из одного твоего письма, к моей трагедии мог иметь отношение Филипп С. Тимоти-Аустин. Хочешь верь, хочешь нет, но его накажет Господь. Так, увы, произошло с тем человеком, к которому я прекрасно относился и который еще полгода назад мог бы положить конец моему позору. Он не сделал этого, и его нет больше.

Если бы на следствии я поступил чуть более «обтекаемо», если бы открыл не всю правду (я не говорю о том, чтобы осознанно лгать, я этого не умею и, главное, боюсь, жду кары), тогда мое положение было бы совсем другим и поводов к агрессивной защите я бы имел куда как больше, но я считал недостойным лгать потому именно, что уверен в своей честности и невиновности. Ведь никто не показал против меня, ни один человек! Ведь никто не присутствовал тогда, когда я якобы давал деньги или (что еще обиднее) брал их себе. Я мог бы отказаться от той или иной подписи в платежных ведомостях, но я ни от чего не отказался, более того, я всегда рассказывал абсолютно всю правду, и это, конечно, было против меня, но я полагаю, что человек живет не тем днем, который начался сегодня, но днями, в которых ему надлежит реализовать то, что отпущено Судьбою.

«Он признался!» Повторяю: я не признался, я просто сказал правду, полагая, что дело следствия — искать ви-

новных. Следствию это оказалось не под силу. А может, было невыгодно.

Закрыть дело нельзя, все обязано быть доведенным до конца. Истинного виновника найти невозможно, но ведь есть я, следовательно, я и есть преступник! Так зачем же мне сейчас проявлять недостойную суетливость? Что это даст, кроме ощущения собственной малости? А разве человек, долго испытывающий такое чувство, сможет писать рассказы?

Судьба выносит свой приговор. Тот, кто виновен, никогда не сможет творить.

А я ощущаю в себе постоянную тоску по работе, меня душат слова, образы, мысли.

Я обязан доказать свою невиновность не тем, что буду долгие годы ходить по серым и безликим судебным инстанциям, но творчеством.

Я обязан стать нужным тем отверженным, с которыми меня сводила жизнь, тем несчастным, которые ждут своего Счастья.

Пусть я помогу им в уверенности, что свершится Чудо. Только надо идти вперед, идти и идти, как бы ни было трудно, и вот там, за поворотом-то, оно и ждет всех нас, это Чудо.

Я жду будущего без страха.

Я не намерен терять достоинство.

Не сердись.

Твой друг
Билл Сидней Портер».

71

«Дорогой мистер Холл!

Как мы и договорились, я отправился на процесс м-ра Портера, дабы на месте предпринять все возможные шаги для защиты этого джентльмена.

Увы, я ничем не могу обрадовать Вас. Хотя м-р Портер категорически отказался признать вину, обвинитель вынужден отказаться более чем от ста четырех пунктов, выдвигавшихся против м-ра Портера во время следствия, тем не менее два эпизода ему вменены в вину и восемьсот долларов «повисли в воздухе».

Другой бы на месте м-ра Портера потребовал повторной экспертизы, вызова новых свидетелей и допроса родственников тех, кто руководил работой Банка, но к мо-

менту суда умер. Однако, как ни странно, Ваш друг во время слушания дела ведет себя совершенно безучастно. Он одет, словно бы вышел от лондонского портного прическа его безукоризненна, манеры достойны и сдержанны, но он совершенно не слушает, что о нем говорят, его вроде бы не интересует то, что должно на этих днях свершиться. Он сидит, закинув руки за голову, думает о чем-то своем; ногу держит на ноге, словно наблюдает за игрой в крокет, и даже на вопросы своих адвокатов толком не отвечает.

Когда я попросил устроить мне с ним встречу и изложил ему суть Вашей просьбы, он ответил буквально следующее: «Положить пять лет на то, чтобы доказывать свою невиновность, став нервическим придурком, представляется мне неэкономной тратой времени, сударь» Что я ни говорил ему, какие доказательства ни выдвигал, как ни упирал на то, что федеральный Суд не сможет не заинтересоваться тем, отчего против него сначала было сто одиннадцать пунктов обвинения, а на процессе осталось всего два, м-р Портер был холодно корректен, учтив, но неумолим. Словом, я не смог выполнить Вашего поручения, дорогой мистер Холл. Думаю, дней через пять после того как огласят приговор, его отправят на каторгу.

Я готов передать ему Ваше письмо, я готов сделать все, что в моих силах, однако больной, который не верит врачу, а живет по законам своих чувствований, обречен.

Готовый к услугам, в ожидании указаний

Сайман Врук,

«Анализ, исследования и консультации».

72

«Прокурору Д. Кальберсону.

Вчера в 17 часов 11 минут в дверях банка из дамского револьвера марки «браунинг» № 45792 был застрелен банкир Филипп С. Тимоти-Аустин.

Убийцей оказалась девица Салли Кэльстон, девятнадцати лет, незамужняя, певица церковного хора, работавшая прачкой, привлекалась к суду за попрошайничество и шантаж, была осуждена.

На предварительном допросе Салли Кэльстон отказалась объяснить, чем вызван ее злодейский поступок, по

законам Штата подпадающий под смертную казнь на электрическом стуле.

Допрошенная в качестве свидетеля квартирная хозяйка Салли Кэльстон показала, что Филипп С. Тимоти-Аустин был отцом ребенка Салли Кэльстон, который умер от болезни, поскольку отец отказался признать его и не давал денег на оплату врача и лекарств.

Препровождая при сем изъятый браунинг, сумку с тридцатью центами и носовым платком, а также показания трех свидетелей, сообщаю, что Салли Кэльстон отправлена в ту тюрьму, откуда она была только сегодня утром выпущена.

Остается открытым вопрос, где она взяла десять долларов для того, чтобы купить браунинг и патроны.

На это убийца категорически отказывается отвечать.

Водитель кэба, видевший, как она вышла из тюрьмы, показывает, что к ней подошел некий мужчина, но примет его он не помнит.

Сама же Салли Кэльстон ничего об этом человеке не говорит и повторяет, что свершилась Божья кара, а она была лишь «орудием Ее».

Сэм Билл Николберг,
шериф».

73

«Дорогой Боб!

Все получилось самым отменным образом! Ты лучший из всех режиссеров! Теперь откроем с тобою предприятие, и оно будет очень прибыльным, уж поверь мне!

Фараоны нюхали дело со всех сторон и прежде всего начали искать мужика, который подошел к Салли, когда она вышла из тюряги. Хорошо искали, молодцы, с ног сбились.

И никому в голову не пришло искать бабу, которая так ловко сыграла свою роль. (Все ж таки бабы похожи на стадных зверушек: готовы поверить дьяволу, если он будет в шляпке с вуалью и юбке, и наверняка отринут господа, натяни он панталоны и жилет.)

Твоя компаньонша остановила Салли как раз там, где я и планировал, сказала, что хочет погадать ей, все бабы на это падки, ну и рассказала ей о прошлом все, как надо, а потом назвала адрес магазина, где торгуют дамскими бульдожками-браунингами, «орудиями кары Божьей».

А дальше было все, как ты и предсказывал. Девица купила «бульдожку» и отправилась в банк, поджидать Филиппчика.

Я наблюдал за нею с другой стороны улицы, и мне было жутко глядеть на ее глаза, столько в них было огненной ненависти. Наверное, все же только матери могут так ненавидеть!

Филиппчик вышел из банка после всех других — одно слово директор, занятой человек. Крошка пряталась за колонной. А потом подошла к нему и сказала: «Ну, здравствуй». А может, что другое, только мне показалось, что она именно это сказала, я глядел на ее рот, красивенький такой ротик, только губы тряслись.

Он сразу побледнел; это ж не то, что топить своих конкурентов, тут смерть в глазки заглянула: либо серной плеснет, либо бритвочкой черканет по горлышку.

Она ему что-то еще сказала, но что, я не понял, а потом достала из кармана «бульдожку»; настоящий мужчина хряснул бы ее ребром ладони по рученьке, «бульдожка» б и выпала на дорогу, а он чуть не на колени, но она не разрешила, бабахнула, а после этого рассмеялась. Он еще дергался, а она смеялась. А потом, как в театре, бросила на него «бульдожку», стала перед ним, и ну плакать, ну причитать, так только фермерши могут...

Дорогой Боб, я сделал такой вывод: прием, предложенный тобою, очень перспективен, и баб следует бесстрашно использовать, особенно если надо наказать гада или устранить конкурента.

Честных людей на земле нет; стоит только поискать — в каждом найдешь зацепочку, которую можно раскрутить ото всей души.

Ну, например, я знаю, что один бес из Канзас-Сити набит баками и так же, как Филиппчик, любит свеженьких. С Филиппчиком, правда, дело другого рода, он лишил меня работы, опозорил и забыл обо мне: так садисты переступают через труп жертвы и тянутся к бокалу, чтобы наполнить его черносмородинным ликером — для успокоения души. Я жаждал отмщения, нашлись люди, которым он тоже встал поперек дороги, отмщение случилось. Справедливость восторжествовала!

С теми баками, которые я теперь получил, мы вполне можем заняться исследованием этого самого развратного туза из Канзас-Сити. Пригласи в дело свою подружку. Я финансирую.

Поищем там именно девиц. Они алчат отмщения. Используем их, нагадаем чего только их душе угодно, а потом объявлюсь я в качестве ангела-спасителя.

Оплата аккордная, полтысячи баков на стол — и мировая. Пораскинь мозгами, как мы назовем нашу фирму. Есть предложение обозвать ее так: «Бюро по анализу скандальной информации, защита от шантажа и доверительные советы». Как тебе?

Камингсу понравилось, его люди входят в долю!

Сердечно приветствую!

Бенджамин Во»

74

«Дорогой мистер Сэм Арчибальд Тимоти-Аустин!

Страшное известие о трагической кончине Вашего сына и моего несравненного молодого друга Филиппа С. Тимоти-Аустина потрясло меня и ввергло в глубокую скорбь.

Я понимаю, что никакие слова не смогут унять Ваше горе; гибель единственного сына, талантливейшего экономиста — это удар не только по Вашей семье, но и Стране, столь ценящей Божий дар.

Память о Филиппе С. Тимоти-Аустине навсегда сохранится в наших сердцах.

Примите также глубочайшее соболезнование от мистера Кинга, который, как и все мы в Вашингтоне, скорбит о происшедшем вместе с Вами.

Искренне Ваш

Камингс, юрист и консультант».

75

«Дорогой мистер Холл!

Ваше последнее письмо несчастный Билл так и не получил.

Я отправила Ваше письмо в каторжную тюрьму Колумбуса. Он имеет право на переписку, так что связь с миром прервана не будет.

После объявления обвинительного вердикта, накануне отправления на каторгу, он прислал мне записку, которую он разрешил переправить Вам, что я и делаю:

«Хочу со всей торжественностью заявить Вам, что, несмотря на решение присяжных, я абсолютно невиновен в каких-либо преступлениях во всей этой истории с бан-

ком, разве только в том, что имел глупость держаться за должность, которая была мне не по плечу.

Каждый разумный человек, слышавший свидетельские показания, знает, что я должен был быть оправдан... Увидев состав присяжных, я почти расстался с надеждой, что они сумеют в достаточной мере разобраться в технических вопросах, чтобы вынести справедливое решение.

Конечно, я совершенно подавлен тем, что случилось, но не из-за себя. Не так уж важно для меня мнение широкой публики, но хотелось бы, чтобы несколько друзей, оставшихся пока еще у меня, верили, что во мне есть что-то хорошее».

Самое ужасное, мистер Холл, что Билл отказался даже от последнего слова... Он долго-долго обводил взором лица присяжных, судей, обвинителей, людей, собравшихся в зале...

Это было какое-то страшное представление... Потом он усмехнулся и сел на место, не сказав ни единого слова в свою защиту.

Я даже и не знаю, что теперь для него можно сделать... Он запретил адвокатам апеллировать в Верховный суд и отказался написать жалобу, сказав странную фразу: «Я нетерпелив, у меня осталось мало времени, надо успеть, только б скорее все началось».

Я боюсь за его разум.

До свидания, мистер Холл, не оставляйте в беде несчастного Билла.

Ваша *миссис Роч»*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

«Дорогая Магда!

Как же я соскучился по тебе, красивая моя, надменная, умная и нежная сестра!

Вчера я занедужил, начались боли в области шейных позвонков, первый сигнал приближающейся зимы; пришлось вызвать массажиста, и он в течение полутора часов разминал мне сегмент. Наступило расслабление, я уснул, пока еще он продолжал работу, и мне пригрезился такой же сон, как в мае, когда мы с тобой ездили-

ли лечиться в Европу, в Виши: полет фламинго над кромкой океана. Боже, как давно это было!

Наутро я принял еще один массаж и сел на жесткую диету: ничего жареного, как можно меньше мяса, фрукты, фрукты и еще раз фрукты! Надоедает, конечно, жевать апельсины с лимонами, но чего не перетерпишь во имя того, чтобы ощущать себя полноценным, здоровым человеком!

Теперь по поводу дел. Поручи Шульцу как можно скорее связаться с Прайсом, другом генерала Лаутона, столь героически проявившего себя во время войны за Филиппины. Пусть он выяснит, какие компании будут в первую очередь задействованы на бизнес в этом новом, столь для нас интересном регионе Юго-Восточной Азии. Этот вопрос нужно проверить и перепроверить самым тщательным образом, потому что речь пойдет о моем вложении капитала в тот регион. А я определяю его в пятьсот, а то и шестьсот тысяч долларов. Внимание, внимание и еще раз внимание, как бы не влезть в авантюру! Поскольку я пока что лишен возможности лично контролировать это дело, ты не спускай глаз с этого перспективного предприятия, оно того стоит!

Второе. Попроси нашу адвокатскую контору в Хьюстоне купить те земли, вокруг которых вьются представители компаний, ставящих на минералы и полезные ископаемые. Пока что земля там еще не очень дорога, но пройдет три-четыре года, и цены подскочат в два раза, это уж как пить дать.

Третье. Пожалуйста, пришли мне мою качалку с нашего ранчо в Чимиктауне. Она стоит на застекленной веранде второго этажа. Я очень люблю отдыхать в ней после обеда.

Четвертое. У меня появился здесь милый знакомый. Он живет, конечно, не на нашем «банкирском» этаже, но часто меня навещает, потому что работает в аптеке. Его зовут Билл Сидней Портер. Человек этот в высшей мере занятен, он не делал ничего, чтобы завоевать авторитет среди моих нынешних соседей (если нет денег, то лишь авторитет дает здесь единственное право на выживание), и тем не менее пользуется совершенно поразительным уважением всех: начиная от начальника тюрьмы мистера Дэрби (мы с ним играем по пять часов кряду в шахматы, я выигрываю, он переживает) и кончая бессрочниками. Как ты понимаешь, начальник и так проникнут по отношению ко мне должным почтением; что же

касается бессрочников и «тридцатилетников», то от них можно ждать всего. Когда они увидели, что мы с Портером на дружеской ноге, их отношение ко мне мгновенно переменилось, и если раньше меня звали отвратительной кличкой «кровосос» (здесь всем дают клички, это принято), то теперь меня называют «Ротшильд», что кажется обидным лишь плебсу, я всегда относился к барону с глубочайшим уважением, особенно после тех великолепных вечеров, которые мы провели вместе с ним в Лондоне.

Так вот, этот самый Портер пишет юморески, которые надо бы переправить в газетно-журнальные агентства. Он скрывает свою работу от тюремной администрации, потому-то я и предложил ему оказию. Не сочти за труд поставить на конверте с его юморесками свой адрес и поручи кому-либо из наших служащих отправить это в агентство по продаже литературных произведений.

Да, совсем забыл. Телеграфируй нашему представителю в Женеву, чтобы он вошел в контакт с фирмой аукционеров «Сотби» и обязательно посетил их торги изделиями из золота и платины. Как мне стало известно, «Сотби» будет продавать довольно интересные бриллианты; посоветовавшись с надежными юристами и спецами, купи несколько камней. Самый дешевый (но не дешевле тысячи долларов) преподнесешь жене начальника тюрьмы Руф Дэрби ко дню ангела.

Я молю Бога о твоем благополучии.

Целую тебя, твой брат
Карно».

2

«Дорогой Ли!

Вот наконец я и пишу тебе из тюрьмы города Колумбус, вполне каторжной, глухой, тихой (кроме тех часов, когда провинившихся бьют палками; крики истязаемых разрывают мое сердце, но страшно не само страдание другого человека, а твое ощущение бессилия помочь ему). Мой номер теперь тридцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре. Я вытянул счастливую лотерею, так как назначен тюремным аптекарем. Я даже могу работать за тем столом, на котором хранятся порошки: от всех болезней в тюрьме дают легкое слабительное. Понос — слабительное, подагра — слабительное, изрубленная палками спина после экзекуции — слабительное.

Два раза в неделю у меня ночные дежурства. Это самые счастливые часы: никто не мешает работать. Да, да, да! Я здесь работаю упоенно! Спячка кончилась! Все определенно! Мосты сожжены! Я обязан стать во имя Маргарет, и я это сделаю, иначе мне нет прощения, надо вешаться на той вонючей веревке, что мои соседи по корпусу пытаются делать раз в неделю как минимум. (Выживших сажают в карцер, бьют до потери сознания, а затем определяют в кузню, где никто не выдерживает более трех, от силы пяти месяцев. Там не до самоубийства, только б повалиться на койку, нет сил завязать узел, а уж на табуретку забраться вовсе невозможно, скорее бы в сон, в счастье отхода от действительности.)

Сюжеты у меня пока еще не кончились, так что есть о чем писать. Суди сам: когда в зале суда мне надели элегантные наручники и полицейский в штатском пристегнул меня к себе, как неверную жену, мы сели в поезд, чтобы следовать в Колумбус, первой, кого я увидел в вагоне, была Лиз Патерсон из Гринсборо. Поскольку полицейский был одет в потрепанный костюм (он сам с Юга, был в молодости ковбоем, сейчас копит на аптеку, мечтает открыть ее возле станции), а я еще не успел сменить свою тройку на тюремный френч, Лиз стала щебетать о прошлом, про то время, когда я был лейтенантом пограничной стражи, и при этом выразительно глядела то на шерифа, что сидел рядом, то на наручники. Мой шериф (в каждом человеке есть святое) подтвердил Лиз, что я теперь капитан полиции и конвоирую его, страшного бандита, в тюрьму. Мне ничего не оставалось, как поддержать эту страшноватую игру. Я начал рассказывать доверчивой Лиз про то, как дни и ночи приходится гонять за налетчиками и грабителями, сочинил историю о каком-то шерифе Нельсоне Гарисоне, про то, как он, будучи смертельно ранен, тащил на себе женщину, отбитую у бандитов, как он развлекал ее разговорами, чтобы снять шок, который пришлось перенести бедняжке, как она влюбилась в него к концу дороги (я сделал ее дочерью миллионера, как ты понимаешь) и как она успокоилась, а потом втрескалась в могучего атлета и сказала, что готова с ним век прожить, а он, галантно поблагодарив ее за честь, умер. Лиз слушала меня зачарованно, а я более всего боялся, как бы она не спросила, отчего наручник одет на мою правую руку, — ведь детям известно, что на правую руку

надевают кандалы лишь арестованным, полицейский должен иметь эту руку свободной, чтобы стрелять при надобности, но она, к счастью, не обратила на это внимание, и мы весело распрощались, и она пожелала мне продолжать «героическую деятельность по борьбе с организованной преступностью», а конвоировавший меня полицейский долго сморкался, качал головою, вытирал глаза носовым платком серо-коричневого цвета (видимо, достался в наследство от прадеда, высадившегося с первыми переселенцами, и с тех пор не стиранного: мыло дорого), а потом спросил, нарочно ли я изменил фамилию Нельсона с «Лэйчена» на «Гарисон». Я ответил, что вообще слыхом не слыхал о таком полицейском, что это вымысел, на что он заметил: «Именно эта история произошла на моих глазах в Сиракуза-Сити двенадцать лет назад, и Нельсон Лэйчен действительно спас женщину, которую похитили, перестрелял трех бандитов, а четвертый, удирая, продырявил ему левое легкое, и он из последних сил держался, только б не помереть так жалостливо, как помирают в книжках, и рассказывал несчастной смешные байки, и она в него влепешилась, как миленькая, а он, ясное дело, помер. Его мать, правда, получила хорошую страховку, да и отец этой бабы прислал старухе чек на пятьсот долларов, потому что действительно был миллионером, а эта придурочная ездила с сачками в прерии ловить мушек и бабочек».

Вот так-то...

...Когда дверь тюрьмы закрылась и с меня сняли тройку и дали серую форму, дежурный отвел меня к парикмахеру, которого здесь зовут «зверская морда». Он нарочно стрижет арестантов так, чтобы они выглядели придурками: кому оставит хохолок, кому обреет затылок — словом, делает все, что хочет, ибо он единственный человек из каторжан, которому тюремной администрацией дано право держать в руках бритву и ножницы (посадили его на тридцать два года за вооруженные ограбления).

Парикмахер, одетый в белую шелковую рубашку и цивильные брюки (он относится к числу тюремной аристократии, поддерживает дружеские отношения с «банкирами»: это те, у кого хорошие камеры; отбывают срок за то, что унесли из фирм, концернов или банков не менее миллиона, надежно спрятали и теперь ждут помилования, чтобы потом коротать жизнь в роскоши), поинтересовался, что бы я хотел видеть на голове: «хохолок

по-венски», «каторжную шапочку» или «фазаний хвост». Я спокойно ответил ему, что сила, сообщенная личности оружием типа бритвы, преходяща, как сама жизнь, и что тюрьма должна роднить людей — это микромир, — а не разъединять их еще более. «Зверская морда» поинтересовался, не являюсь ли я проповедником и видел ли хоть раз револьвер перед носом, надежно разъединивший мир раз и навсегда, на что я ему предложил дуэль, причем дал фору в семь шагов и полторы секунды времени, добавив при этом несколько слов по-латыни. Это последнее отчего-то привело парикмахера в трепет, и он учредил мне такую прическу, которую делают на Елисейских полях в лучшем салоне.

Месье Карно, то есть «номер 30774», осужденный за то, что взял из сейфа того банка, где он был директором, не миллион, а два, предложил мне свои услуги, чтобы отправлять написанные вещи его сестре в Нью-Йорк, а у дамы есть связи в литературном мире. Не знаю, приму ли я его предложение (если он попросит каких-то особых услуг от меня как аптекаря, я, естественно, откажусь: достоинство обязано быть абсолютным, особенно в тюрьме, где делают все, чтобы лишить тебя этого качества), но если приму, то не премину тебе об этом сообщить, и тогда ты будешь заниматься эссеистами одного только Западного побережья, а сестра каторжного банкира подразнит критиков на Востоке.

Очень жду весточки.

Твой *«30664»*.

3

«Милый Уолт Порч!

Я был настолько ошарашен твоим посланием, что не сразу смог ответить. Да и сейчас я не очень-то понимаю, чем я тебя так прогневал. Я взял копию моего письма, перечитал ее и подивился твоему тону, полному недружественности.

Прости за резкость, но мне сдается, что в тебе просто-напросто заговорила зависть. Мы вместе начинали, но я вырвался вперед на пару корпусов, в то время как ты остался у меня за спиной, бежишь враскачку, задыхаешься от лишнего веса и брюзжишь на все и всех. Нельзя так, Уолт, нельзя, эгоцентризм никого еще не поднимал к вершинам успеха.

Теперь по поводу моего рассказа в «Пост», который показался тебе эпигонством с опусов Портера... Я внимательно перечитал себя и поразился тому, что какие-то рудименты стиля м-ра Портера действительно появились в моей стилистике, что меня совершенно опрокинуло.

Не в моих привычках пускать случившееся по воле волн; я вернулся к рассказам Портера (они высланы тебе вчера с утренней почтой) и заново просмотрел их.

Хотя в них действительно ощутима тяга к новому, но все равно я не могу согласиться с тобою в том, что этот господин может повлиять на качество нашей литературы. Нет, Уолт! Он будет печататься, в этом не приходится сомневаться, даже если другие «христопродавцы» решат его попридержать (кстати, ничего страшного не случится — чем больше литератор ждет, тем для него лучше; слабый сломается, сильный наберет сил), однако имя его не будет замечено широкой публикой потому хотя бы, что он прежде всего думает о себе, рекламирует свое всезнание, подменяет собою своих героев, конферирует действие и совершенно не работает со словом.

В симфоническом оркестре есть первая скрипка, но существуют ведь и фаготы. Значит, и они нужны, не так ли? Пусть он будет фаготом, я обещаю тебе — при случае — сказать свое слово в его поддержку.

Пожалуйста, подтверди получение рассказов м-ра Портера.

Смени гнев на милость.

Твой *Грегори Презерз».*

4

«Дорогая миссис Роч!

Я довольно долго колебался, прежде чем отправить эту весточку. Сначала я вознамерился писать Вам веселые послания про то, как любопытно мне в Колумбусе, как много здесь того самого жизненного материала, который столь необходим человеку, рискнувшему взяться за перо, но потом решил, что это будет совсем уж грубая нечестность.

Как Вы понимаете, это письмо я отправляю не по официальному каналу, через цензуру администрации, но с оказией. Поскольку тюрьма, как и все наше общество, разделена на белых и черных, сильных и слабых,

богатых и бедных, у меня здесь появился знакомый, банкир Карно, который пользуется привилегиями. Он-то и имеет возможность отправлять письма прямиком на волю, без чужого глаза.

К тому же сюда попал и мой давний знакомец по Гондурасу, «полковник» Эл Дженнингс, который работает в тюремной почте, — это второй «канал связи», который я теперь могу использовать.

Поэтому, коли мне не суждено выйти отсюда (человек ни от чего не застрахован), хочу, чтобы Вы, когда Маргарет вырастет, рассказали ей всю правду. И про то, как я был несправедливо осужден, и про то, что такое американская тюрьма, где жизнь человеческая ценится так дешево, как и представить себе нельзя. Администрация смотрит на заключенных как на бездушных и бесчувственных животных. Бывают недели, когда чуть не каждую ночь узники погибают, наложив на себя руки. Люди перерезают себе горло, вешаются... Если человек заболел и не может выходить на работу, его тащат в подвал и пускают на него мощную струю ледяной воды. Напор так силен, что человек падает, теряя сознание. Врач обязан привести его в сознание, беднягу ставят на ноги, связывают руки металлической проволокой и подвешивают к потолку. Так он висит час, два, три, исходя криком, пока, наконец, снова не теряет сознание. После этого надсмотрщик задает ему вопрос, не выздоровел ли он... Назавтра человек снова выходит на работу; чаще всего там же, в цехе, падает в беспамятстве, а уж его смерть от «хронического кишечного заболевания» мы затем оформляем вместе с доктором...

Я не стану писать обо всем том, чему свидетелем здесь стал, потому что описание жестокости не только не спасает от нее мир, но, наоборот, приобщает к ней, рождая чувство звериной вседозволенности сильного.

Поверьте, дорогая миссис Роч, я очень долго думал, прежде чем решился написать Вам это; больше я никогда такого писать не стану, но на меня нахлынул безотчетный страх; я испугался, что могу уйти, не рассказав вам, самым мне близким людям, о том ужасе, который окружает каждого из нас. Большинство об этом не знает, но должно знать.

Пусть Вы, а потом Маргарет останутся хранителями той правды, которую я узнал; то, что знают пять, десять, двадцать человек, уже неистребимо.

Поцелуйте мою маленькую и передайте ей письмо, которое я вложил во второй конверт.

Остаюсь всегда Вам за все благодарным

Биллом Сиднеем Портером.

Мое письмо Маргарет должна вскрыть и прочитать сама.

«Моя любимая шалунишка Маргарет!

Как ты поживаешь?! Как учеба? Напиши мне обо всем большими, очень красивыми буквами самым подробным образом.

Мое путешествие продолжается успешно, работа идет прекрасно, настроение отменно. Совсем скоро я вернусь к тебе, но не один. У меня появился прекрасный друг, который утверждает, что он Домовой, а зовут его Алдибиронтифостифостифорстифорникофокс. Кстати, если ты увидишь падающую звезду и произнесешь мое имя (я имею в виду Домового) семнадцать раз, пока она не погаснет, то, отправившись в метель по дороге в то время, когда пунцовые розы цветут на лозе томата, в первом следе от коровьего копыта ты найдешь бриллиантовый перстень сказочной красоты. Попробуй.

Папа».

5

«Дорогой Ли!

Моя тюремная жизнь проходит не так монотонно, как может показаться тем, кто о судьбе заключенных судит по сообщениям, попадающим в прессу.

Поскольку у нас организовался «кружок», куда входит Эл Дженнингс и банкир Карно, то есть налетчик и финансовый воротила, новая информация стекается ко мне ежедневно.

Ты себе не представляешь, какие судьбы проходят у меня перед глазами...

Взять хотя бы Айру Маралата... Его звали «Тюремным дьяволом» за гигантский рост и яростный нрав. Год назад начальник тюрьмы (слава богу, его убрали) приказал построить для двухметрового, заросшего, буйного Айры клетку из-за того, что на него нападали приступы бешенства. Он жил в этой клетке, как животное, и наиболее уважаемых граждан Колумбуса пускали в тюрьму, чтобы те могли полюбоваться на «изверга». (Говорят,

прежний начальник брал за это деньги, хорошенькие экскурсии, а?!)

Но выяснилось — а сколько прошло лет, прежде чем это произошло! — что на самом-то деле Айра совершил подвиг, остановил вагонетку, которая неслась по рельсам на рабочих (сам он был шахтером), но его так ударило головой о металл, что бедняга потерял сознание и попал в больницу. Он был в беспамятстве восемь месяцев. С грехом пополам его поставили на ноги, память вернулась к нему, и он отправился домой, в свой маленький домик, который арендовал с женою Дорой. Однако в домике уже жили другие люди. Айра спросил, где Дора, а ему сказали, что хозяин ее выселил, потому что женщина не внесла очередной взнос. В сарайчике Айра нашел маленький сундучок, старое тряпье и бельевую корзинку с ленточками — так бедняки готовятся к рождению ребенка, колясочка слишком дорога для них... Айра отправился к тому человеку, у которого купил в рассрочку дом. Тот сделал вид, что не узнал его, потом сказал, что надо вовремя платить взносы, а затем признался, что действительно выселил его жену... Когда Айра спросил, где женщина, которая ждет ребенка, хозяин, заметив пришибленную покорность в облике великана, ответил, что его не интересует, куда ушла потаскуха. Айра перегнулся через стол, взял хозяина за шею и поднял над головой. Когда служащие оторвали Айру от хозяина, тот был мертв.

Разум несчастного снова помутился, но суд это не волновало: за «умышленное убийство» он был осужден на пожизненную каторгу. Так бы он и сгнил в металлической клетке, где, как животное, без прогулок жил зимой и летом, если б Эл Дженнингс не смог объяснить новому начальнику тюрьмы, что с душевнобольным человеком так обходиться негоже.

Айру отправили в госпиталь, обследовали, установили, что во время героического поступка, спасшего жизнь двадцати людям, у него случилась травма черепа, началась опухоль, которая давит на мозг. Сделали операцию, опухоль удалили, и он стал совершенно нормальным человеком, самым добрым и кротким узником... Видел бы ты, как он утешал смертников, как он пытался веселить их смешными, ласковыми историями, как он приносит им лучшую еду...

Чем можно помочь ему?

Мне совестно обращаться к тебе с очередной прось-

бой, дорогой Ли, но было бы славно, сочти ты возможным обратиться к президенту Мак-Кинли. Как всякий человек, отринутый судьбою от политики, я тем не менее неплохо ее ощущаю; сторонность порою более выгодна, чем непосредственное участие, не мешает суета, все видишь издали, то есть объективно. Обращение по поводу Айры Маралата к президенту Мак-Кинли (может быть, стоит попробовать войти в контакт с его помощниками, они ж будут организовывать его следующую кампанию), возможно, даст какие-то плоды. Во всяком случае, попытка не пытка. Да и потом Мак-Кинли нуждается в чисто человеческом «жесте»: когда Америка все более и более превращается в империю, когда наши корабли вторглись на Кубу и Филиппины, когда мы намерены расширить свои границы до тех пределов, которые угодны большому бизнесу, приведшему Мак-Кинли к власти, помилование одного несчастного может весьма выгодно повлиять на тот образ, который тщательно рисуют политические портретисты из окружения президента.

Напиши мне, что у тебя нового на ранчо. Пожалуйста, пиши очень подробно, ведь каждое слово с воли, оттуда, где небо не лимитировано, а шаги во время прогулки не считаешь, кажется спасением, счастьем, надеждой!

Твой *Билл Портер*».

6

«Дорогой мистер Камингс!

Мне стало известно, что Вы принимали определенное участие в подготовке предвыборной кампании нашего уважаемого президента мистера Мак-Кинли.

Я — старый республиканец, фермер, ветеран освоения Дальнего Запада — не могу не отдать дань уважения энергичному направлению политики, проводимой ныне Вашингтоном.

Можно соглашаться или не соглашаться с внешнеполитическими акциями Белого дома, однако результат налицо, а победителей, как известно, не судят.

Но поскольку изо всякого правила жизнь делает свои горестные исключения, то далеко не все могут радоваться расцвету американского бизнеса, протекция которому со стороны администрации принесла столь оче-

видные результаты. Особенно горестно положение тех, кто безвинно осужден и, таким образом, отторгнут от жизни общества.

Позволю себе выразить мнение, что всякий акт справедливости со стороны нашего Белого дома, всякое проявление гуманизма бывают замечены обществом, причем порою значительно более быстро, чем все иные шаги Администрации.

В каторжной тюрьме города Колумбуса отбывает пожизненное заключение несчастный Айра Маралат, углекоп, спасший жизнь двадцати рабочим ценою страшного увечья — череп его был поврежден, он сделался беспамятным инвалидом и в состоянии аффекта убил человека, который, в свою очередь, осознанно и холодно убил его несчастную жену, оставшуюся без средств к жизни в то время, когда ее муж-герой лежал в госпитале.

Мистер Камингс, я рискну выразить уверенность в том, что великодушный акт президента, если он сочтет возможным поручить заново исследовать дело Маралата, принесет существенную выгоду тем, кто будет работать над будущей предвыборной кампанией.

Остаюсь, мистер Камингс, уважающим Вас

Ли Д. Холлом,
землевладельцем и республиканцем».

7

«Мой дорогой мистер Кинг!

Поскольку плебс любит представления, поскольку одно помилование даст возможность вынести десять приговоров (если они понадобятся), считал бы возможным просить тебя обсудить письмо землевладельца Холла с людьми президента.

Судьбу Маралата (ты прочтешь о ней в письме) вполне можно расписать так, что бабульки и дедушки станут плакать жемчужными слезами и слать письма с благодарностью президенту за его добрую душу.

Действительно, сейчас, когда демократическая оппозиция травит Мак-Кинли за агрессию против Кубы и Филиппин, самое время начать подбрасывать в контролируемые нами журналы и газеты материалы «рождественского профиля», про «бедных и обиженных» прежним

режимом, но оправданных мудрым и добрым вождем республиканцев.

Кстати, такого рода акт милосердия по отношению к несчастному, осужденному к тому же прежним составом суда при прежней администрации, хорошо повлияет на Юг, потому что, как я успел выяснить, новый губернатор Стайс, где в тюрьме столицы штата Колумбуса отбывает заключение этот самый Маралат, каким-то образом заинтересован в его судьбе. А именно в Огайо намечается ряд интереснейших разработок, связанных с энергетическими проектами на Миссисипи и Теннесси. Представители «Электрик индастриз», Максвэл и Дрол, обратились ко мне с предложением войти в состав Наблюдательного Совета, чтобы, по их словам, надежно осуществлять связь между администрацией штата и федеральным правительством. Ясное дело, они затевают нечто весьма серьезное, что нельзя протолкнуть без нашей поддержки. Отчего бы нам не принять в расчет и этот весьма немаловажный аспект вопроса?

Сердечно твой
Камингс».

8

«Дорогой Камингс!

Как всегда, ты хитришь. Но я убедился, что твоя хитрость приносит весомую выгоду стране. Промышленности. Мне и тебе. Почему бы в таком случае и не похитрить? Только в следующий раз сначала пиши о проекте «Электрик индастриз» и уж потом о безумном заключенном, в судьбе которого «заинтересован губернатор».

Словом, я дал ход письму этого самого фермера из Техаса.

Приветствую тебя дружески

Кинг».

9

«Дорогой Ли!

Даже не знаю, с чего начать! В моем маленьком мирке каждая новость кажется громадной, самой важной, не может быть важней! Повесился Дикки из сто четырнадцатой камеры — тюрьма жужжит, как улей. За-

били до смерти Вильяма за попытку к бегству — новый бум. Вышел на свободу банкир Гарри, перестук во всех камерах, событие номер один, тем для разговоров на неделю, пока снова кто не удавится...

Но то событие, которое произошло с Айром Маралатом, до сих пор на устах у каждого.

Итак, по порядку. Начальник тюрьмы вызвал Айру к себе и сказал ему, что власти нашли его дочку, которую удочерили люди, состоящие в дружбе с губернатором Огайо, после того как его несчастная жена Дора умерла в пургу, под забором, с крошкой, завернутой в тряпье. Девушке теперь семнадцать, она главная красавица штата, со всей Миссисипи люди приезжают на нее любоваться. Более того, в архиве шахты нашли описание героического поступка Маралата, когда он спас жизнь двадцати рабочим, поплатившись за это своим здоровьем и жизнью несчастной жены. Все это дало возможность властям предержащим помиловать его после того, как он отсидел на каторге семнадцать лет, три месяца и два дня.

Маралату выдали отрез и кожу, портные сшили ему костюм и башмаки, и он вышел из тюрьмы — крадучись, опасливо озираясь по сторонам, как любой арестант, проведший за каменными стенами почти половину жизни. Ему сказали, что дочке о нем ничего не известно; о «Тюремном дьяволе» она, конечно же, была наслышана, как и все жители Огайо, но девушка и представить себе не могла, что двухметровое заросшее чудище, содержавшееся в клетке, было ее отцом. Это повергло Маралата в страшную, недоумевающую тревогу, руки его тряслись, когда он прощался с нами, а в глазах стояли слезы... Он то и дело повторял: «Боже, как мне поступить, научи меня! Научи меня, Боже, научи!»

Да, забыл тебе сказать, что в последний месяц перед освобождением тюремная администрация позволила ему завести в камере канареек, и он вышел на свободу с клеткой, в которой были две голосистые пичуги; он сам учил их мелодиям, они подражали ему и никогда не улетали от него, несмотря на то что он постоянно выпускал их на волю...

Словом, он ушел из тюрьмы с канарейками и пятью долларами, как и полагается каждому освобожденному, и след его между тем простыл, ни слуху ни духу, хотя он обещал писать нам про свою жизнь.

Тогда решили обратиться к приемной матери его

дочки, а Дженнингс уговорил начальника тюрьмы написать ей официальное письмо с вопросом, не появлялся ли в их доме «Тюремный дьявол».

Через два часа в тюрьму приехала девушка поразительной красоты и грации, дочь Маралата. Ей рассказали всю правду об отце.

Более всего узников потрясло и растрогало, как она рыдала, обвиняя тюремщиков, отчего они не сообщили обо всем заранее. Эти ее слова были для нас Великим Лекарством Надежды, дорогой Ли.

Оказывается, именно она, его дочь, несколько недель назад отворила дверь громадному седому старику с маленькой клеткой в руке, где сидели канарейки.

— Не хотите ли вы купить их за доллар? — спросил свою дочь Маралат. Он смотрел на девушку и плакал. Решив, что это какой-нибудь пьянчужка, девушка дала ему серебряную монету и ушла в дом. Одно только ее поразило, когда она закрывала дверь: ей послышалось, что старик сказал: «Прощай, моя маленькая Дора» (так девочка была похожа на свою родную мать, несчастную жену Айры!).

Дочь Айры потребовала, чтобы полиция немедленно нашла ей отца. Она получила хорошее образование, знала законы, но сердце ее не зачерствело от этого горестного знания.

Поскольку ее приемные родители являются друзьями губернатора, полицию подняли на ноги, но все оказалось тщетным...

И лишь спустя три недели, когда пошел снег с дождем, Маралат вернулся в тюрьму — больной, голодный, оборванный. Послали за его дочерью. Айра лежал в госпитале, на койке возле зарешеченного окна, весь обметанный лихорадкой, с высочайшей температурой, то и дело обрушиваясь в тревожное беспамятство. Девушка бросилась ему на грудь, стала шептать, что она его дочь, Мэри, молила Айру не умирать, рассказывала ему, как они теперь будут жить вместе, счастливо и долго...

Айра открыл глаза, в них были слезы счастья, он погладил лицо дочери громадными ладонями, которые никогда не знали радости отцовства, прошептал что-то доброе, закрыл глаза и умер...

Как всегда в нашей жизни, справедливость торжествует, но торжествует слишком поздно, когда и не нужна уж она, да и есть ли эта справедливость, коли жертва не смогла воспользоваться ее плодами? Лишь то угод-

но Судьбе, что приходит в свое время. Лишь то нужно людям, что успевает к тому моменту, когда ждут. Если бы я решился когда-нибудь описать эту судьбу, я бы обязательно сделал так, чтобы справедливость восторжествовала через год-два, но ведь это невозможно, поскольку Мэри не могла бы понять, что седой великан с канарейками — ее отец... Маленькие дети боятся заросших великанов в скрипучих тюремных башмаках (их у нас специально шьют скрипучими — на случай побега; надсмотрщикам легче нести караульную службу; бедняга Дженнингс решил бежать и был схвачен именно из-за проклятых башмаков, поплатился за это карцером и битьем палками над желобом, по которому сливают кровь, оставшуюся после экзекуции «воспитательного характера»). Так что рассказ невозможен, ибо в нем будет нарушена великая традиция времени, места и действия. А если б и был возможен, я бы все равно не стал его писать... Не могу я писать про тюрьму — и все тут, потому что на свободе, даже когда смерть смотрит тебе в лицо, остается шанс на спасение. Здесь этого шанса нет. Его у тебя отнимают в тот миг, когда за тобою затворяются страшные, автоматические, стальные двери...

...Я то и дело вспоминаю туманный день в Сан-Антонио, куда стали приезжать люди, больные тем страшным недугом, который отнял у меня Этол. Я вспоминаю трагедии, которые разыгрывались у меня на глазах, когда те, кто убоялся верить, предпочитали яд борьбе за жизнь. В голове моей складывается рассказ про то, как судьба все же умеет быть милосердной к слабым, но, увы, за счет тех, кто силен духом, Добр и Высок.

Дорогой Ли, сжигай все мои послания, молю тебя! Больше всего на свете я страшусь памяти. Как только (и если) я выйду отсюда, Колумбус должен исчезнуть из моей жизни, словно лет, проведенных здесь, и не было вовсе. Если кто-нибудь спросит меня, как я сидел на каторге, я брошусь с моста, потому что отверженность, ее страшный смысл понятен лишь тем, кто был отверженным.

Жду весточек.

Твой *Билл*».

10

«Уважаемый мистер Грегори Ф. Презерз!

Возвращаем письма, отправленные Вами м-ру Уолту

Порчу, в связи с тем, что он выбыл и по указанному адресу не проживает более.

С уважением

почтмейстер *Конрад У. Стаун».*

11

«Уважаемый почтмейстер Конрад У. Стаун!

Был бы весьма благодарен, найди Вы возможность выяснить новый адрес литератора и эссеиста Уолта Порча.

Ответ заранее оплачен.

Надеюсь на Вашу любезность.

Искренне Ваш

Грегори Ф. Презерз, литератор».

12

«Уважаемый мистер Грегори Ф. Презерз!

С прискорбием должен сообщить, что мистер Уолт М. Порч не менял адреса в привычном смысле этого слова, он умер, покончив жизнь самоубийством (отравился газом).

Искренне Ваш

почтмейстер *Конрад У. Стаун».*

13

«Дорогой Ли!

Да здравствует тюрьма, лучшее сюжетохранилище мира!

Нет, правда! Я замечаю, что в умных книгах, посвященных теории литературы, прежде всего разбирают Язык произведения и Характеры, в нем выведенные. К Сюжету отношение вполне второстепенное, в то время как Слово, то есть Идеи, создающие Характеры, нигде не проявляются так точно, как в Его Величестве Сюжете! Разве б человечество зачитывалось Шекспиром, не будь интересна фабула его вещей? А Гюго? Бальзак? Мопассан? А Диккенс? (Конечно, из каждого правила можно найти исключения — Монтень, Кампанелла, Рус-

со. Но ведь это Проповеди, Новое Откровение, Катехизис Бунтующего Разума.)

Сюжет — я имею в виду истинный Сюжет, а не графоманство — невозможен вне Слова, то есть Идей, воплощенных в Характеры.

Ребенок не станет слушать скучную сказку. Ему потребен Сюжет.

Ребенок не станет слушать корявую сказку. Он внемлет Слову!

Вот так.

Изволь, последний пример по теории «сюжетологии». Лихие парни нашли в Территории несколько серебряных месторождений, застолбили их, задарма продали заявки «Скотоводческому банку» (получили сорок тысяч баков вместо двухсот), переселились в город, попили пару недель и решили чем-то заняться. Первый (его звали Джо) говорит второму (того звали Эд), что, мол, надо стать филантропом не только потому, что это модно, а оттого, что налоги не берут и вообще под это дело можно раскрутить серьезный бизнес. Ну и решили открыть университет, дав ему свое имя. Напечатали объявления, пригласили преподавателей, густо повалил студент, накупили книг для библиотеки, стали самыми уважаемыми людьми в «городе науки», а потом глянули на свой банковский счет и обмерли: там осталась всего пара тысяч! Эд говорит Джо, что пора давать деру, повеселились, и хватит, а Джо ответил ему, что это бесстыдно — бросать в беде доверчивых питомцев, и вызвал из столицы какого-то академика, звезду математического небосклона, положив ему пятьсот баков в месяц. Эд бушевал, клял филантропию Джо, оставившую их без средств к существованию, уверяя друга, что за триста баков в месяц он и сам бы преподавал алгебру с геометрией не то что студентам, а самому Исааку Ньютону, но Джо молчал, вздыхал, а по вечерам ходил в игорный дом, который только что открылся. Там, объяснял он другу, можно по-настоящему понять характер и студентов и профессоров. Так прошел еще месяц. Эд снова пошел в банк и увидел, что деньги кончились совершенно. В панике он бросился искать Джо, два часа мотался по городу и смог встретиться с ним поздней ночью в задней комнате игорного дома, где Джо прятал в саквояж пачки долларов, разделенные на три кучи: одну — себе, вторую — Эду, а третью — молчаливому крупье. Перед тем как нанять экипаж, чтобы дать деру

из облагодетельствованного филантропами города, Эд ворчливо поинтересовался, отчего крупье получил так много. Джо разъяснил, что крупье и есть та математическая звезда, которая получила за консультации пятьсот баков и в течение месяца дала доход в сумме пятьдесят тысяч баков, обыгрывая алчных преподавателей и доверчивых студентов.

Как ты догадываешься, попался умный Джо. Дуракам везет. Эд пишет ему сюда веселые письма и говорит, что ведет переговоры с Арканзасом об открытии колледжа, как только Джо закончит пятилетний курс наук в Колумбусе.

Джо, однако, посоветовал ему переговоры прекратить, потому что все свободное от работы в котельной время он посвящал чтению. Именно в литературе прошлого века он почерпнул сюжет для нового бизнеса, который вознамерен начать, как только окажется на свободе.

Вчера он пришел ко мне с книгой, в которой описывалась история Катрин Дезейе, специализировавшейся при дворе Людовика на организации «черной мессы». Знаешь, что это такое? О, невероятная штука. Сбесившиеся от жира дамы двора, лишенные каких бы то ни было забот, занимались лишь тем, что денно и нощно утоляли жажду плоти.

Катрин Дезейе принимала аристократок королевского рода, герцогинь и прочих баронесс, брала с них по полста тысяч франков (золотом), велела раздеваться, клала голенькими на алтарь, затем входил расстрига-священник с младенцем, купленным в кварталах у бедняков, резал несчастному горло и поливал кровью грудь клиентки в то время, как та высказывала свои желания. Затем запекшуюся кровь дитя оформляли в облатки и давали просительнице: прием утром, после еды, запивать теплой водой! (Мне холодно стало, оттого что все это происходило всего двести лет назад!)

Джо — человек бизнеса, младенцев резать не собирается, да и человек добрый. Он дал указание компаньону по филантропии начать кампанию в южных штатах, где особенно много нуворишей, чтобы заинтересовать их «опытами» доктора Ворса (это он себе придумал такой псевдоним), который через два месяца возвращается из Тибета, где проходит курс обучения в монастыре по узкой специальности: «Гарантия верности мужа и совершенно надежный отвод соперниц. Для девиц —

организация свадьбы с желаемым объектом в течение трех месяцев».

Джо пригласил меня в дело, предложив помудрить с лекарствами; обещал за это пятую часть прибыли.

Я с благодарностью отказался, чем нимало его удивил.

Естественно, интересно узнать, как он намерен раскрутить свою колдовскую индустрию.

«Нет ничего проще, — ответил Джо. — Как и всякий бизнес, этот, колдовской, не имеет права на экспромт. Все надо поставить на деловые, научные рельсы. Эд должен «размять» десяток городов на Юге, завязав широкие связи в каждом салуне, в каждой аптеке и отеле. Это есть «материал для анализа». Причем анализировать должен я, Эд такое наанализирует, что все дело, не начавшись еще, полетит в тартарары. Из полученных данных надо отобрать пару м а т р о н, которые бесятся с жиру, вроде Людовиковых аристократок. Желательно, чтобы кандидатки были с восточного побережья, из богатых семей, на Дикий Запад приехали недавно, ну и, конечно, что такое заработать детям на кружева (не то что на хлеб), понятия никогда не имели. Такая матрона более всего озабочена следующим: а) выслеживает мужа в рабочее время, б) хочет навсегда оградить себя от дурного глаза, в) намерена выдать замуж дочь за Д. С. В. Рокфеллера и г) получить наследство от дальнего родственника, разбогатевшего на Кубе. Эд обязан войти в корыстный контакт с почтмейстером и узнать адреса всех корреспондентов м а т р о н ы. Важнее всего узнать подруг, ибо никто так не предает друг друга, как женщины, состоящие в приятельстве. Обнаружив их, Эд обязан отправиться в те города и фермы, где они проживают, представиться коммивояжером по распродаже туалетов мадам Помпадур, в процессе рекламы и последующей торговли по образцам выяснить об интересующей нас м а т р о н е все, что только удастся, а дальше дело техники».

Как ты понимаешь, «вопрос техники», то есть подробность, самое для меня интересное, но все жулики отчего-то с неохотой про это говорят. Сначала я думал, что они скрытничают, а потом понял свою неправоту. Как истинные профессионалы, они считают совершенно неинтересной свою работу. Их всегда удивляет, отчего же я, неглупый вроде бы человек, не могу уразуметь телячий смысл наипростейшей комбинации.

«Техника отработана здесь, — ответил Джо, постучав *костяшками пальцев по переплету книг.* — Вы пишете матроне письмо, в котором остерегаете ее от того, чтобы она выходила на улицу пятнадцатого числа с двух до трех, потому что несколько месяцев назад ей приснился сон про то, как она копает землю, а в земле черви и она кидает червей на свою племянницу Сузи... Естественно, матрона сидит дома с двух до трех, и в это время Эд стучится в дверь и спрашивает, какую бахрому пришивать на гроб, заказанный ею позавчера вечером... Вот и все, матрона ваша, птичка в клетке». «В клетке? Отчего? Почему «естественно»? Зачем ей помнить сон месячной давности, да и был ли он?» Джо вздохнул: «Так ведь это рассказала подруга, разве не ясно? Матрона писала об этом, подруга помнит, потому что это сон к смерти, все ждут, затаились...»

И все-таки я не мог понять, что последует за этим психологическим пассажем, — слишком для меня мудрено все это.

Джо объяснил — без всякого интереса, так сапожник-виртуоз говорит про свою работу, — что в следующем письме матроне, объятой ужасом после визита гробовщика Эда, он оставляет свой адрес и делает постскриптум: «Готовый к услугам врач-экспериментатор Ноэль Дуримаба-Бамба..» Через час пичужка будет отталкивать портье в пансионате с криком: «Пустите меня к Дуримаба-Бамба!» Ее пустят (портье взят на содержание, тридцать баков в месяц, ибо выучит несколько фраз про то, что «мистер Дуримаба откажется помочь вам, если вы начнете говорить о цене за визит. Положите, причем незаметно, пятьдесят баков в конверте на стол и начинайте излагать просьбу...»). Матрона входит. Я — в чалме, а дело — в шляпе. Вот и все...»

Я снова не понял.

Джо посмотрел на меня как на ублюдочного ребенка и объяснил, что он скажет матроне, какое она вскоре получит известие (об этом узнает Эд, просмотрев корреспонденцию от подруг с помощью почтмейстера), и та, прочитав назавтра письмо приятельницы, решит, что вы посланы ей Богом. Об этом узнают все остальные матроны, успевай принимать клиентуру; потом включат фармакологию (цена за пилюли вполне сносная, не более двадцати баков за пять штук). Если бы я вошел в его предприятие и покрасил каждую таблетку слабительного в

желтый и красный цвет, он бы платил мне двести долларов в месяц.

И все-таки я отказался, хотя так мечтаю послать Маргарет к рождению пятьдесят долларов...

Подожди, меня срочно зовут в лазарет, допишу, когда вернусь...

...А дописывать нечего... Повесился «Джим-кукольник» из двести тринадцатой камеры... Искусственное дыхание не помогло... На столике оставил записку: «А вот теперь-то я навсегда свободен и от вас всех и от страха!»

Пиши чаще, Ли!

Твой *Билл».*

14

«Дорогая миссис Роч!

Билл прислал мне пятьдесят долларов, заработанные им, чтобы я передал их Вам для вручения Маргарет на рождество.

С радостью выполняю его просьбу.

Прилагаю конверт, погашенный в Барселоне, так что это вполне подтвердит девочке, что папа находится в интересном, далеком путешествии и постоянно о ней думает.

Через моих друзей я выяснил, что Билл чувствует себя хорошо, условия в Колумбусе отменные, он много работает, надеясь на скорую встречу с Вами.

Искренне Ваш

Ли Холл».

15

«Хай, Джонни!

Как дела? Что молчишь? Неужели тебе нечего сказать братцу, закатившемуся на каторгу, словно на вечный карнавал, но без переодеваний? Как Па? Я чертовски по вас соскучился!

У меня все по-старому. Билл Портер назначил курс против ревматических болей, я помолодел на десять лет, даже баб стал видеть во сне, а больным их не показывают, им все больше облака, да птичек в кущах, да дедушек с бородками...

Рэйдлер, правда, заваривал кашу, но, думаю, все рассосется. Помнишь, я рассказывал тебе про Фолли, карманника из Нью-Йорка? Боевой парень, ни карцера не боялся, ни палок. Отсидел срок, освободился, прислал Биллу письмо, что, мол, вернулся в Нью-Йорк, нашел свою старенькую тетушку, та разревелась, пришлось придумать сказочку про то, что три года провел в путешествии по музеям Рима и Флоренции (или Неаполя? Я всегда путаю, где там у макаронников расположены музеи), и дать старушке слово, что более никогда от нее не отлучится. В тот же вечер, надев костюм и подбрив усы, отправился в город, купил билеты в театр, принес их старушке, та кинулась наряжаться, а он, нетерпеливый, сказал, что будет ждать ее внизу, на улице, под фонарем. Ну ладно, ждет, а тут к нему подваливает фараон и говорит, что, мол, гад, рано ты еще вышел щипать карманы, не стемнело, пойдем, говорит, в участок, нечего тебе коптить небо в центре города... Фолли божится, что завязал, ждет тетушку, идем, мол, в театр смотреть, как девки скачут и рычат, а фараон гнет свое: «В участок, там разберемся, ворюга недобитая». А Фолли не терпел, когда его обижали, я ж говорю, он себя в тюрьме блюл, как на папском конкордате Ватикана. «Я освободился подчистую, — повторил он фараону, — уйди от меня, не то рассержусь». Тут фараон поднимает дубинку и смеется: как, мол, интересно, ты умеешь сердиться? После тюрьмы люди перестают сердиться, они становятся спокойными и послушными. Ну и огрел для пробы Фолли по носу. Тот умылся кровью, достал из кармана браунинг и жахнул пять штук в брюхо фараона. Тот остался жить, легко отделался, а Фолли оттащили в суд и закатили еще тридцать лет, а у него и без того чахотка в последней стадии, ну, мы и решили пустить шапку по тюремному кругу, чтобы собрать ему на лекарства и дополнительное питание. Каждый узник давал по никелю, Билл Портер внес доллар, а миллионщик Карно отказался дать и цент. Рэйдлер, как услыхал про это, так и попер на него, мол, сколько миллионов унес в клюве, сколько сирот оставил голодными, сколько бедолаг с небоскребов покидалось на мостовую! А тот хнычет, что он финансист и не намерен поддерживать мерзкого карманника. А Рэйдлер на него с кулаками, а я между ними, за драку тут полагается карцер. Правда, Карно это не касается, миллионщик, а нам гнить в сырости, а потом харкать кровью.

Ладно, развел я их, а потом рассказал Портеру, а Карно вокруг него ходит лисом, ведь Билл — главный человек в тюрьме, к нему все идут за правдой, он здесь как Верховный Судья. Билл пожал плечами, а потом сказал, что больше не намерен видеть Карно и отлучает его от себя навеки. Что тут стало с нашим финансистом! Как он плакал и унижался, как клялся, что не понял, о каком Фолли идет речь, как совал деньги и обещал помочь ему, вплоть до освобождения из-под стражи через два года! А Портер ему на это сказал, что суть не в досрочном освобождении, а в том, что человек, отбывший наказание в тюрьме, все равно в нашем вшивом обществе остается парией, даже решив стать на путь труда и благородной бедности. «Если бы родители относились к детям так, как наша власть относится к людям, вольно или невольно преступившим черту закона, — сказал Портер, — тогда бы вся Америка стала страной бандитов. Умение прощать — главное достоинство умных родителей, а еще более важно забывать прошлое, если оно действительно стало прошлым, то есть не угрожает будущему. Власть должна подражать умным родителям, если мы надеемся хоть как-нибудь превратить страну в большую, добрую семью».

Тут Карно сделал еще одну ошибку, нажав на больную мозоль Билла, ибо предложил ему написать цикл очерков о проблеме вины, наказания и тюрьмы.

Портер аж побледнел: «А какое я имею отношение к вине и наказанию, мистер Карно? Я не считаю возможным быть фиксатором тюремных передряг, поскольку меня не намерены выставлять кандидатом в губернаторы, да и потом, у меня нет дяди-миллионера, который бы покупал мне бумагу и карандаши! Я вижу свое призвание в другом, и никто не вправе обсуждать это мое призвание потому лишь, что оно — мое, как и жизнь, которой я распоряжусь так, как мне подскажет достоинство и совесть».

Тут Карно попер цитировать старого француза, который заварил в Европе кашу (то ли Руссо, то ли Вольтер, я их путаю), Портер ответил ему на латыни, тот перешел на немецкий, а Портер начал чесать на французском, тешились так с полчаса, потом кое-как примирились, но что-то между ними пролегло такое, чего уж не переступишь.

Ладно, Джонни, давай рассказывай о своем житье,

но только чего посмешнее, тут своего дерьма хватает, хочется чего повозвышенней!

Остаюсь твоим братом *Элом Дженнингсом*».

16

«Многоуважаемый мистер Камингс!

Хочу порадовать Вас сообщением о том, что я (с компаньонами) открыл институт «Исследование критических ситуаций, советы, помощь действием». Не скрою, предложений поступает огромное количество, в основном от женщин, которые обеспокоены времяпровождением мужей.

Среди клиентов есть дамы, имена которых Вам хорошо известны, ибо мужья являют собой цвет страны.

Поскольку я считаю себя обязанным Вам за то участие в моей судьбе, которое Вы столь добро проявили, готов оказывать Вам и впредь любые услуги.

Примите, уважаемый мистер Камингс, уверения в совершенном почтении.

Искренне Ваш

Бенджамин Во,

Президент фирмы «Исследование критических ситуаций, инкорпорэйтед».

17

«Уважаемый мистер Во!

Рад Вашим успехам.

Убежден, что, как и раньше, Вы будете руководствоваться в Вашей служебной деятельности Законом и Джентльменством.

Лишь святое служение Духу и Букве нашей Конституции может помочь Вам развернуть Ваш бизнес не только на уровне Штата, но и в столице.

В ближайшее время к Вам приедет один из юристов, который даст Вам ряд советов и обменяется соображениями по всем интересующим Вас вопросам.

Искренне

Камингс».

18

«Любимая сестренка!

Как ты поживаешь, ненаглядная, нежная Магда? Уже три дня не было от тебя писем, а мне кажется, что прошла вечность с тех пор, как я разговаривал с тобою. Да, именно так, разговаривал, ибо я слышу твои интонации, когда читаю твои письма, слышу твой смех, вижу твои лукавые глазенки и ямочки на румяных щечках...

Солнце мое, пожалуйста, немедленно, подчеркиваю, немедленно поручи Шульцу связаться с представителем «Фуд корпорэйшн». Эта фирма поставляет продукты нашей богадельне. Пусть Шульц скажет им, чтобы не валяли дурака! Билл Портер, принимающий продукты, рассказал, что в них слишком много червей, и грозился устроить скандал. Мы-то здесь живем привилегированно, и нам, как понимаешь, привозят отменную еду. Портер относится к числу тех людей, которые могут закусить удила.

А у нас с тобой акций этой самой «Фуд корпорэйшн» примерно на сто двадцать тысяч баков.

Понятно, я пока что погасил этот скандал, предложив Портеру написать разоблачительную статью, пообещав переправить ее через тебя в газеты... Не удивляйся, именно так следует поступать с людьми его норова. Попроси я его помолчать, он бы взбрыкнул, как норовистый конь, конец отношениям... Я, наоборот, гневался и пускал пену, говорил, что его подвижничество, которое неминуемо приведет его в одиночку и карцер, станет примером для остальных заключенных. Тут в дискуссию включился «гном», Эл Дженнингс, которому Портер дал кличку «полковник»: «На кой черт Биллу гнить в карцере?! Его оружие — рассказ, а не статья про червивое мясо! Сами пишите, сами садитесь в карцер!» Знаешь, когда трое, всегда можно избежать конфликта. Самое страшное, если друг другу противостоят двое, это как в неудачном браке, разрыв неминуем, трагедия неизбежна.

Словом, Портер, которому недолго уже осталось здесь пыхтеть, испугавшись того, что его упрячут в подвал, а то и еще срок добавят, отступил. Мой план сработал, я ж дока в интригах подобного рода, но вместо Портера может прийти другой, не имеющий призвания к изящной словесности и поэтому не берегущий себя для любимого дела, — тогда возможен скандал, который грозит нам крупным убытком.

Так что пусть Шульц срочно действует. Скажи, что в бизнесе блефовать можно и должно, но до определенных пределов. Если преступишь грань, можешь не досчитаться зубов, а протез дорого стоит.

Как идет ремонт нашего маленького замка в Колорадо? Пожалуйста, не разрешай делать лепные потолки, я буду чувствовать себя как в Версале, а мы с тобою не аристократы, но истинные республиканцы, поборники Равенства и Братства.

Обнимаю

твой брат *Карно».*

19

«Дорогой Ли!

Пожалуйста, перешли в ряд боевых газет те документы, которые я тебе высылаю с этим письмом о том ужасе, который может свершиться в Колумбусе: казнят ни в чем не повинного человека!

Я не могу доказать этого, оттого что лишен права голоса и мысли; я человек «без чести», каторжанин и расхититель. Однако в отличие от многих других (это не хвастовство, поверь) я, как литератор (какой-никакой), чувствую правду кожей, глазами, ощущаю ее в воздухе, она снится мне, я раздавлен ею, как нервная женщина — предчувствиями. Я прекраснейшим образом отдаю себе отчет в том, что это не довод для служителей Фемиды, не человек важен им, а корявые строчки свидетельских показаний и очных ставок. Но, Ли, верь мне, грядет такая несправедливость, которая породит много других несправедливостей. Впоследствии тот же мертвый закон так же мертво осудит на позор всех тех, кто — следуя его мертвой букве — привел невинного мальчика в камеру смертников. Одна несправедливость, санкционированная властью, родит десятки других. Общество может содрогнуться, устои окажутся непоколебленными — вот что такое одна «государственная несправедливость». А если представить себе, что среди родственников того, кого потом, когда истина запоздало восторжествует, накажут, может появиться маленький Лютер, Джефферсон или Робеспьер, то на дрожжах этой несправедливости расцветет философия отмщения, которая чревата новой гражданской войной, штурмом Бастилии, очередным Термидором...

Убери с документов и показаний заключенных упоминание моей фамилии. Пожалуйста, сделай это. Купируй в письме Эла Дженнингса мою фамилию и отправь с сопроводительной памяткой одного из крепких адвокатов в газеты. Уверяю тебя, среди репортеров найдется человек, который может дать ему имя, а имя — это деньги, то есть независимость.

Ли, сделай что-нибудь!

Твой *Билли Портер*».

20

«Дорогой Па!

Я не стал бы беспокоить тебя письмом о моем деле, ты уж и так достаточно хлебнул горя из-за непутевого сына. Но сейчас я сделался свидетелем такого ужаса, который ранее за всю мою жизнь был неведом, а поскольку мне, как заключенному, вменено в обязанность составлять протокол агонии приговоренных к смертной казни на электрическом стуле, я — хоть и косвенно — стану соучастником преступления.

Следовательно, молчание невозможно, ибо преступно.

Конечно, Па, ты можешь подумать, что я снова загибаю, хочу выдать холодного убийцу за несчастную жертву. Нет, в данном случае не я один убежден в полнейшей невиновности осужденного, но все узники Колумбуса.

Поскольку ты судья, а я бывший адвокат, позволю себе изложить историю подробно.

В камеру смертников был посажен молодой парень по имени Кид. Его глаза смотрели на всех по-детски доверчиво, а лицо было дружелюбным и мягким. Обвиняли его в том, что он зверски и преднамеренно утопил своего друга. Кид категорически отрицал свою вину. Я знаю, как умеют преступники играть невиновность, и поэтому, пользуясь должностью секретаря начальника тюрьмы, сделал так, что Портер, не только истинный джентльмен, но и писатель, чьи рассказы рано или поздно составят славу Америки, был допущен к смертнику во время прогулки.

Когда он вернулся ко мне после этого свидания, лицо его стало желтым, на лбу появилась испарина, а сильные пальцы были так сцеплены, что даже ногти впились в кожу.

«Я думал, что это мужчина, но ведь он ребенок, —

сказал Портер. — Ему, оказывается, всего семнадцать лет, понимаете?! Он невиновен, поверьте мне! Он убежден, что в последнюю минуту произойдет что-то неожиданное и его обязательно спасут! Господи, можно ли верить хоть во что-то хорошее на этой земле, где совершаются такие преднамеренные, хладнокровные, злодейские убийства! Этот мальчик невиновен! У него ласковые голубые глаза, такие глаза бывают только у честных людей! Сделайте что-нибудь!»

А что я могу сделать, Па? Что? Отсюда, из-за тюремных стен, каторжанин ничего не может сделать, ибо он обречен на полное недоверие нашего паршивого общества!

Вот фабула дела: в воскресный день Кид и его друг, тоже семнадцатилетний парнишка Боб Уитни, пошли на реку. Кид вернулся домой один, Боб пропал. Через три недели в низовьях реки выловили тело утопленника. Лицо его было изъедено рыбами, но родители, осмотрев тело, опознали сына по родимым пятнам, смутно угадывавшимся на ногах покойного.

Кида арестовали. Три свидетеля показали, что они своими глазами видели Кида с парнем его же возраста на берегу реки, которые то ли дрались, то ли ссорились, и вроде бы Кид крикнул: «Я тебя, гада, утоплю!»

На основании этих показаний мальчишка приговорен к смертной казни на электрическом стуле.

Я спросил его: «Как все было?»

Он ответил: «Все было так, да не так. Я действительно пошел с Бобом купаться и загорать, но только долго лежать на солнце скучно, мы начали возиться, бегать друг за другом, играть, одним словом, Боб одолел меня, оседлал, как коня, а я, вырвавшись, крикнул: «Ну, погоди, сейчас я тебя за это утоплю!» И поволок Боба за ногу к воде. А потом я оделся и пошел в город — я ведь уже работал, надо было жить на что-то, родных нет, а кто сестренку будет кормить? А Боб исчез».

Вот и все. На основании трех свидетельских показаний и обезображенного трупа Кида убьют — по закону, с соблюдением формальностей, а я составлю рапорт о том, сколько времени его била агония, кричал ли он, сопротивлялся, плакал, просил о помиловании или же был в состоянии прострации.

Па, ты обязан сделать что-нибудь!

Я ведь не говорю, что меня неверно отправили на

каторгу. Я говорю только, что меня не имели права катать на пожизненное, а против пяти лет я не возражаю, закон есть закон, я его маму видел кое с кем в гробу после поминок.

Когда меня взяли, я не просил тебя о помощи, ибо знал свою вину.

Сейчас я прошу тебя о помощи, оттого что знаю невиновность Кида.

Твой сын

Эл Дженнингс».

21

«Дорогая и любимая Маргарет!

Как я рад твоему письму!

Как прекрасен твой почерк!

Ты умеешь писать значительно красивее, чем я. Боже, я испытываю зависть к моей любимой Маргарет!

Неужели ты так же лихо решаешь задачи по математике? Если «да», то разрываю контакт с моими компаньонами, бросаю Рим и возвращаюсь домой, потому что ты вполне сможешь обеспечить безбедное существование не только себе, но и мне, твоему старому, больному, тридцатишестилетнему отцу, который, продолжая дружбу с Домовым, прилетает к тебе на чудо-ковре каждую субботу в двенадцать часов семьдесят девять минут в образе пушинки и проводит возле твоей кроватки ровно два часа. Ты помнишь меня? Однажды ты открыла глазки, взяла меня на ладошку, дунула, и я вознесся к темному потолку, счастливый оттого, что побыл рядом с тобою и ощутил тепло твоей руки.

А еще я видел на улице Рима, что ведет к Капитолию, трициклет. О, это чудо-машина будущего! Три колеса, сиденье и моторчик — тридцать миль в час! Я не мог поверить своим глазам до тех пор, пока сам не научился управлять. Это прекрасное ощущение! Когда я вернусь, мы станем с тобою кататься на трициклете по дорогам вокруг Питтсбурга.

Надеюсь, ты по-прежнему не обижаешь бабушку?

Домовой просил передать тебе привет.

Гном, который не расстается со мною ни на минутку, поселившись в кармашке для носового платка, шлет тебе рисунок, на котором изображает Папу и Дочь во время игры в жмурки.

Целую тебя, Человечек!

Папа».

22

«Дорогой мистер Роуз!

Прошу Вас не удивляться этому письму

Действительно, я никогда не посылал Вам ни единой рукописи из тех, что попадают ко мне от начинающих литераторов, однако рассказы Билла Сиднея Портера, которые в свое время направил мне для консультации столь трагически ушедший Уолт Порч, являются своего рода событием в нашей литературной жизни.

Я считаю своим долгом рекомендовать их к публикации, ибо в них есть свой стиль, своя форма мышления, свой подход к теме.

Не скрою, поначалу я не понял стиль м-ра Портера, и лишь по прошествии времени, а особенно когда нас покинул несравненный, честный и талантливый Уолт Порч, я все больше и больше проникался сознанием того, что эта проза, хоть и отличающаяся от моей самым кардинальным образом, тем не менее имеет право на свое место под нашим литературным солнцем.

Искренне Ваш

Грегори Презерз».

23

«Дорогой мистер Презерз!

Для моего литературного агентства была большая честь получить от Вас новеллы молодого неизвестного автора Билла Сиднея Портера.

Мы с радостью начнем публикацию его новелл, однако нам срочно необходим адрес м-ра Портера, чтобы мы могли соответствующим образом оформить наши отношения и оговорить условия оплаты.

Нам, как и Вам — высочайшему ценителю стиля, — понравились рассказы своей новизной, любопытным стилем и уважительным доверием к читателю.

Сердечно благодарим за столь доброе отношение к начинающему автору.

С нетерпением ждем Вашего ответа.

Искренне Ваш

Самуэль Роуз,
директор «Роуз паблишинг хауз»

24

«Почтмейстеру Конраду У. Стауну.

Многоуважаемый мистер Стаун!

Был бы бесконечно Вам признателен, если бы Вы нашли возможность сообщить мне, где находится ныне архив незабвенного Уолта М. Порча.

Ответ оплачен.

Искренне Ваш

Грегори Презерз, литератор».

25

«Многоуважаемый мистер Презерз!

Все бумаги мистера Уолта Порча после его трагической кончины были вывезены на свалку хозяином пансионата перед началом ремонта его номера, который в течение семи лет занимал покойный.

С глубоким уважением

Конрад У. Стаун, почтмейстер».

26

«Уважаемый мистер Роуз!

Пересылаю Вам мою переписку с почтмейстером К У. Стауном.

Адрес м-ра Портера мне неизвестен.

Искренне Ваш

Грегори Презерз».

27

«Дорогой мистер Презерз!

Мы отправим к хозяину пансионата, где жил м-р У. Порч, столь трагически ушедший, нашего сотрудника, который попытается выяснить адрес м-ра Портера.

Мы также дали новеллы м-ра Б. С. Портера на прочтение специалистам по европейским литературам, чтобы застраховать себя от возможной мистификации.

Мы надеемся найти его адрес, ибо без этого публиковать неизвестного автора крайне рискованно.

Мы не теряем надежды на успех.

Надеемся на Ваше сотрудничество и были бы счастливы опубликовать ту Вашу работу, которую Вы сочтете возможным нам прислать.

Искренне Ваш

Самуэль Роуз,
директор «Роуз паблишинг хауз»

28

«Дорогой мистер Холл!

Уж я даже и не знаю, что мне ответить на Ваше заботливое письмо...

Беда никогда не приходит одна... Здесь, в Питтсбурге, климат совершенно иной, и это не могло не сказаться на здоровье Маргарет, нашей любимой маленькой умницы... Врачи и у нее обнаружили начало туберкулезного процесса... Все лекарства, какие есть и в Европе, мы уже приобрели... Конечно, Билл ничего не знает, это подкосит его окончательно... Впереди — мрак и безнадежность... Какой-то ужасающий рок висит над нашей семьей... За что такая несправедливость?

Вы не можете представить себе, как умна и не по летам развита Маргарет, как она похожа на отца, только глаза у нее Этол, такие же карие, широко поставленные, полные озорства, доброты и горькой мысли. На полях ее школьных тетрадей я то и дело нахожу два рисунка: принцесса в роскошном платье (этому ее научил отец, он изобретал для нее самые прекрасные костюмы) и маленькая девочка в гробике. Я боюсь спрашивать ее об этом страшном рисунке... Однажды она уже сказала мне: «Я кашляю, как мамочка».

Каждое утро я жду того страшного момента, когда на ее носовом платке появится капелька крови..

Билл пишет мне веселые письма, только иногда прорывается правда о его жизни, но он сразу же спохватывается и начинает шутить и подтрунивать надо всем... Наверное, только такие мягкие люди, как он, обладают настоящим мужеством... А ведь мне поначалу казалось, что он слишком уж податлив, нерешителен, и я открыто говорила об этом Этол, когда они только поженились, и как же она тогда плакала от обиды за него.. Каждый виноват перед каждым...

Не сердитесь на меня за такое горькое письмо.

Желаю Вам всего лучшего.

Если у Вас появятся какие-то новости про Билла, не сочтите за труд сразу же написать мне.

С глубоким уважением

Ваша *миссис Роч*».

29

«Дорогой Па!

Может быть, ты не получил моего письма или не захотел ничего предпринять, считая, что это моя очередная выдумка, а может, ничего не сумел сделать, но я тем не менее хочу описать тебе, как закончилось дело Кида.

В ночь перед казнью мальчик рассказал мне, как он со своей маленькой сестренкой Эмми убежал из дома мачехи и поселился в заброшенном подвале. Дети, они спали на досках, укрывались лохмотьями, однако счастье их было безмерно оттого, что здесь никто не мог поколотить их, выругать, оскорбить подозрением. Эмми вообще никуда не выходила из подвала — так ее забила мачеха; она боялась всего, каждого нового человека, любого непривычного звука... А Кид отправлялся утром в город продавать газеты. Он запирал сестренку, чтобы никто не смог еще больше испугать ее, возвращался с несколькими центами и парой пряников, дети садились к столику, который он смастерил из старых ящиков, Эмми варила в кастрюле воду, которая называлась кофе, и они пировали до глубокой ночи, и сестренка восхищенно шептала: «Кид, Кид, какой же ты храбрый, ты ничего не боишься, ты один выходишь на улицу и бродишь среди людей!» Когда зимой сестренка заболела, она, чувствуя приближение конца, спросила брата: «Кид, скажи, ты правда ничего не боишься?» И он ответил ей: «Я ничего не боюсь, Эмми». — «И смерти тоже?» — «И смерти не боюсь». Маленькая улыбнулась: «Спасибо тебе, теперь мне будет не так страшно, если придется умирать».

Утром, когда его вели по коридору в камеру, где стоит электрический стул, Кид был бледен, словно ему высыпали на лицо муку, ноги его подворачивались, но, увидав меня, он у л ы б н у л с я, Па! Он осознанно улыбнулся и с вымученной улыбкой сказал: «Здравствуйте, мистер Эл! Видите, я ж не боюсь! Я ни капельки не боюсь!»

Его пиджак был распорот по заднему шву, чтобы

ток мог свободно пройти по телу, макушка выбрита, чтобы на нее наложить электрод, а брюки закатаны, чтобы легче было обвязать икры электрическими проводами.

Хотя глаза мальчика улыбались, но мускулы его казались размякшими, нос ужасающе длинным, синим, хотя вчера еще он был веснушчатым и курносым; Кид был зажат между двумя стражниками, которые подталкивали его к стулу, а позади шел священник и невнятно бормотал слова Библии. Чем ближе к стулу он подходил, тем явственнее дрожал его подбородок, и я услыхал, как его крепкие зубы выбивали какую-то стеклянную дробь.

Начальник тюрьмы Дерби подошел к креслу и сказал:

— Кид, сознайся, зачем ты утопил Боба?! Я исхлопочу тебе замену казни, только сознайся!

Мальчик трясся, никак не мог справиться со своими зубами, а потом наконец пробормотал:

— А я не боюсь, я все равно не боюсь...

Тут начальник Дерби стал кричать на него и упрашивать его признаться и обещал помилование, но мальчик повторил, что он не топил своего Боба, и тогда Дерби прямо-таки повис на рубильнике, и Кид стал корчиться на стуле, лицо его вытянулось и посинело, потом лопнули глазные яблоки и кровь потекла по его щекам, а затем он стал царапать ногтями ручки стула, и лишь когда запахло паленым, как бывает, когда петухов держат над огнем костра, он затих и съежился.

В тот вечер Билл Сидней Портер сказал: «Мятеж — это мысль. Мысль о том, что казнили ни в чем не виноватого человека, мальчика Кида, отныне не даст мне покоя. У меня перед глазами его лицо, а на плече я по-прежнему чувствую его руку... Когда он говорил со мною, он все время дотрагивался до меня, словно понимая, что общение с живым — это и есть жизнь... Он не был виновен, Эл. Нам с вами нет прощения за то, что мы дали погибнуть мальчику. Кара настигнет нас, где бы мы ни были. Мы так же виновны, как судья, отправивший его на стул, как Дерби, включивший рубильник, как священник, смиренно читавший святое писание, как надсмотрщики, привязавшие его худые детские ноги к электродам... Нет, мы даже более виновны, чем они... Им дано лишь выполнять приказ, а нам здесь, за решеткой, даровано высшее право мыслить... Пусть поначалу мысль бес-

сильна, все равно она родит мятеж, и вихрь его будет ужасен».

Дорогой Па, рапорт о том, как у Кида полопались глаза, я составил вполне грамотно, без эмоций.

Извини.

Я понимаю, что тебе, как судье, неприятно читать это письмо. Но ведь ты не только судья и мой отец. Ты еще гражданин, поэтому я посчитал своим долгом отправить тебе эту информацию.

Более не стану тревожить тебя ничем и никогда.

Эл Дженнингс».

30

«Моя маленькая, нежная и любимая Маргарет!

Вот уже и кончилась моя работа в Париже. Я хотел было, бросив все дела, купить билет на пароход и отправиться в Штаты, чтобы успеть на Рождество, как мои компаньоны по фирме, весьма пристойные люди, попросили сесть на поезд и отправиться в Порт Бу, там пересесть на другой поезд и прибыть в Барселону, где хранится яхта, на которой Колумб открыл нас с тобою, то есть Америку.

Дело есть дело, родная Маргарет, мне пришлось подчиниться. Наша встреча состоится лишь в следующем году.

Я понимаю, как тебе не хочется учить латынь, как тебе надоел немецкий, однако, моя нежность, учеба — это тоже дело, и чем лучше ты его сработаешь в детстве, тем легче тебе станет жить, когда кончится обязательное и начнется то, к чему лежит твое сердечко.

Мне отчего-то кажется, что ты станешь великой путешественницей. Нет, правда! Я помню, с каким жадным интересом ты слушала рассказы о моих походах в дальние страны, как горели твои глазенки, какие ты задавала мне вопросы, как они были умны и взрослы.

А еще мне кажется, ты будешь писать. Ты так любила сочинять жуткие истории, что меня аж мороз продирал по коже! Откуда в тебе, дочери банковского клерка, столько изобретательности?! Ума не приложу!

Когда я вернусь, непременно расскажу тебе историю про чудный бал, на котором я был недавно, нарисую наряды дам, а ты их раскрасишь так, как любила это делать раньше.

Крепко целую тебя, дочь *Экс-Монтигомо Кошачьей Лапки!*»

31

«Дорогой Ли!

Пожалуйста, не сердись на меня, но ни в коем случае не надо делать то, что ты предлагаешь.

Допустим, тебе улыбнется счастье и приговор по моему делу отменят. Что дальше! Новое разбирательство. Новый суд. *Новый приговор. А каким он будет?* Есть ли гарантия, что разберутся толком, не сфальсифицируют, не поторопятся (или, что еще страшней, не «перемедлят»), не напутают?

Во время странствий по Южной Америке один бедолага, а звали его Дик, рассказывал мне историю про то, как разбогатевший жулик возмечтал стать шерифом. Это было в Территории, лет семь назад. Дик в ту пору промышлял контрабандной торговлей виски, а тот жулига ему и говорит, что, мол, ты родом из Вашингтона, значит, там есть знакомые, вот тебе косая, езжай в столицу, устрой мне должность шерифа. Вернешься с победой — получишь еще одну косую и право торговать свою контрабанду под моей охраной еще два года. Что ж, бизнес! Дик отправился в столицу, зашел в шикарный отель, бросил на стойку бара пару долларов и начал вести разговор с самыми сведущими людьми Вашингтона, то есть с барменами. Переговоры касались цен на скот, интриг итальянского двора, новых выступлений в прессе графа Лео Н. Толстого, а потом, само собою, вступили в решающую стадию: «кто есть кто» в этом чиновном городе.

Через день Дик был в отеле, где жила некая миссис тридцати трех лет, красотка с темным прошлым и ясными глазами. Он положил перед нею две бумаги и сказал, что, поскольку он заинтересован в том, чтобы его друг из Территории сделался шерифом Соединенных Штатов, еще три бумаги он передаст, когда получит для него назначение.

Миссис поинтересовалась, где живет будущий шериф, открыла свое бюро, вытащила картотеку на депутатов конгресса, быстро определила того, кто сам с Юга, да и к тому же имеет хорошие связи по департаменту юстиции, бегло прочитала досье, собранное на слугу народа, в котором подчеркивалось, что неподкупный больше всего хочет брюнеток, пьянеет после второго стакана виски, любит рассказывать истории про своего дедушку,

героя войны Севера с Югом, кивнула, мол, годится, все ясно, попросила поставить на листочке бумаги с именем будущего шерифа букву «п», «полицейский», а то, говорит, «запутаюсь, ведь стольких приходится устраивать», и велела прийти за ответом через пару дней. Мой бедолага пришел, она ему в зубы конверт, поздравила, велела поприветствовать того, кого она облагодетельствовала. Дик отстегнул ей еще триста баков и, не решаясь вскрыть конверт с гербом, рванул на вокзал. Через три дня он был в Территории, протянул гербовый конверт старому жулику и приготовился получить обещанную тысячу. Счастливый шериф вскрыл конверт и взвыл от ярости: там была бумага из госдепартамента, назначавшая его посланником в Эквадор! Немудрено было миссис запутаться в клиентуре!

Кстати, судьба уготовила мне встречу с такого рода сюжетом здесь, в Колумбусе.

Один из наших банкиров, Джеймс Кросс, зарядил своего адвоката десятью тысячами баков и отправил в столицу хлопотать за себя. (Он хапанул из банка миллион.) Адвокат нашел в Вашингтоне кого надо, не знаю уж, сэра или миссис, и в тюрьму через два месяца пришла бумага об освобождении из-под стражи Джеймса Гросса. А у нас сидел мошенник почти с такой же фамилией, безнадежный пария, гнить бы ему и гнить. В столице снова перепутали фамилию! Как та дамочка спутала «полицейского» с «посланником», так и здесь на свободу вышел Гросс, а банкир Кросс по сей день плачет и стенает в своей камере, оклеенной золотистыми обоями (шторы на зарешеченном окне у него, кстати, серебряные).

Я не верю в нашу справедливость, Ли, только поэтому я не согласился с твоим благородным и добрым предложением.

Я верю только в дружбу и творчество. И ни во что другое.

Я хочу, чтобы скорее прошли эти годы. Я мечтаю забыть их и всю оставшуюся жизнь делать то, что я не могу не делать. Ожидание — гибель для человека, который пишет или рисует. У него перегорает все внутри. Ведь когда ты любишь, ты не можешь думать ни о чем другом, кроме как о предмете своей страсти, разве нет? А если бы тебе при этом надо было постоянно справляться у почтмейстера, не пришла ли срочная кор-

респонденция, ездить в столицу штата на допросы, днем и ночью терзать себя вопросом: «разберутся ли на этот раз?», — разве до любви б тебе было?

Литература — это любовь, дорогой Ли.

Пиши, жду, твой

Билл».

32

«Дорогая моя доченька!

Ты себе не можешь представить, как меня потряс этот остров Борнео!

По делам службы мне пришлось отплыть из Сингапура на маленьком пароходике по морю, кишащему пиратами, акулами, летающими рыбами (у них плавники словно бы сделаны из перламутра) и стадами неведомых животных, которые вполне могут быть дельфинами (кстати, как называется дельфин на латыни? Непременно посмотри в словаре, который, мне помнится, стоял в кабинете дедушки на третьей полке возле окна).

Язык жителей острова колокольчатый, чем-то похож на английский, они маленькие и очень улыбчивые.

Самый главный рыбак Борнео, мистер Тарумбумумбу, поймал говорящую рыбу (это не шутка, я обижусь, если ты не поверишь мне!). Размер ее от хвоста до головы девяносто три сантиметра (они здесь считают именно так, не на дюймы. Кстати, сколько будет дюймов в четырехстах двадцати сантиметрах? Неужели ты сможешь сама сосчитать?!). Как думаешь, какими были ее первые слова, когда Тарабамбалу (это младший внук Тарумбумумбы, ему всего семьдесят три года) представил нас друг другу?

Ни за что не догадаешься!

«Сэр, — сказала говорящая рыба, — поверьте, я бы с радостью отправилась вместе с вами в Штаты, чтобы вы могли преподнести меня в подарок вашей очаровательной дочери, но мне стало известно, что ваше дитя категорически отказывается пить козье молоко с медом, а это ведь столь необходимо для укрепления работы бронхов! Мы начнем болтать, и у Маргарет (да, да, это создание знало твое имя) сядет голос, и я — в этом случае — не смогу смотреть в глаза ее бабушке».

Я поинтересовался, как зовут мою собеседницу. Она

с достоинством ответила, что ее имя невероятно просто: Самунамурабудавана де ля Сингсонгблюз.

Когда я спросил ее, как же нам быть, я бы почел за честь отвезти ее в Питтсбург, а уж что касается козьего молока с медом, которое не пьет Маргарет, то это мы решим, я готов дать слово за дочь, де ля Сингсонгблюз ответила, что «если Маргарет выучит французский в таком объеме, чтобы написать мне письмо, пообещает выполнять все то, о чем ее просит бабушка, тогда я отправлю к ней через океан мою младшую дочь Цинлянуар де Либертэ, главное, чтобы она попала в Гольфштрим (где это, а?), о дате отплытия Цинлянуар я сообщу дополнительно».

Так что теперь все зависит от тебя.

Напиши мне свои предложения. Я вручу их Сингсонгблюз.

Целую тебя, человечек!

Папа».

33

«Дорогой Билл!

Поймите, пожалуйста, мое письмо верно.

Мы уже давно увезли Маргарет в Питтсбург, оставив Остин, чтобы, спаси Бог, она не услышала страшной правды о той несправедливости, которая так больно ударила всех нас, а ее отца — особенно.

Здесь тайна Вашего теперешнего пребывания совершенно гарантирована.

Однако письма, которые Вы ей присылаете, — при невероятной впечатлительности девочки, — то и дело рождают в ее головке слишком много вопросов, на которые нам довольно трудно отвечать. Она чувствует не только слово, но и интонацию, а в Ваших письмах при всей их видимой беззаботности столько горя... Она ощущает это, поверьте, дорогой Билл! Мы не знаем, что делать... Может быть, лучше воздержаться от того, чтобы писать ей? Мы бы придумали историю про то, что Вы находитесь в Азии, откуда крайне трудно отправлять корреспонденцию. Мы бы стали передавать ей приветы от Вас на словах, которые Вы якобы просили ей сообщить через Ваших друзей-путешественников.

Мистер Роч готов договориться со своим приятелем, живущим в Детройте, чтобы тот приехал к нам на Рож-

дество, передал Маргарет от Вас подарок (мы уже присмотрели куклу с закрывающимися глазами) и рассказал несколько историй про Вашу жизнь в Азии.

Как бы Вы ни старались писать, подделываясь под наш обычный стиль, все равно это у Вас не получится, оттого что Вы человек особенный, и это проскальзывает во всем, и в Ваших открытках Маргарет.

Я понимаю, как Вам будет горько получить это письмо, но, дорогой Билл, зная Вашу любовь к девочке, я сочла необходимым поделиться с Вами этими соображениями. Мистер Роч меня всецело поддерживает.

Если же Вам невмочь без того, чтобы писать Маргарет, позвольте мне присылать черновики, которые Вы перепишете своей рукой и перешлете нам, но только, пожалуйста, ничего не добавляйте. Маргарет невероятно умна и чувствительна, но ведь она еще такая маленькая! Мы не имеем права лишать ее самого дорогого — детства.

Пусть Господь сохранит Вас, дорогой Билл!

Ваша *миссис Роч*».

34

«Дорогой мистер Хауз!

Поскольку Ваше литературное агентство является одним из наиболее уважаемых в штате, мне бы хотелось весьма доверительным образом проконсультировать именно с Вами одно дело, в высшей мере деликатное.

Один из моих друзей давно и тяжело болен. Но при этом он много лет занимается литературным творчеством, и не мне, понятно, судить, сколь профессионально он делает это.

Однако я убежден, что если он увидит свои работы напечатанными, собранными в книжку, пусть даже маленькую, это вольет в него силы, поможет бороться с недугом, даст хоть какую-то надежду на будущее.

Именно поэтому мне бы и хотелось просить Вас посмотреть его новеллы лично и в случае, если они понравятся Вам, сообщить мне, кто из издателей смог бы выпустить маленькую книжку его историй, причем я бы оплатил расходы на бумагу, набор и тираж.

Примите, мистер Хауз, уверения в совершенном почтении.

Ли Холл, землевладелец».

35

«Дорогой Ли!

Здесь отбывает пожизненную каторгу девушка, которую зовут Салли. Она прекрасно поет в нашем церковном хоре. Ее голос упоителен. Салли получила такое страшное наказание за то, что убила Филиппа С. Тимоти-Аустина.

Ряд заключенных всячески побуждают меня к тому, чтобы организовать кампанию (естественно, через тебя) в ее защиту.

По-человечески я ее понимаю (м-р Ф. Тимоти-Аустин отказался помочь деньгами на оплату визита доктора к новорожденному, и дитя погибло), но до сих пор я не могу переступить самого себя, ибо мне кажется, что любые хлопоты с целью смягчить ее участь могут быть истолкованы так, будто я злорадно помогаю убийце человека, который, как тебе представляется, сыграл ключевую роль в моей трагедии.

Я запутался в самом себе.

Помоги мне советом.

Билл».

36

«Дорогой Билл!

Ты действительно малость запутался.

Какое ты имеешь отношение к тому, как эта девушка распорядилась жизнью человека, лишившего ее ребенка? Разве она знала, что покойник сыграл такую страшную роль и в твоей судьбе?

Пришли мне все документы о ней, какие сможешь собрать. Я стану думать, как можно помочь несчастной.

Обнимаю!

Твой *Ли*».

37

«Дорогая Магда!

Большое тебе спасибо за посылку, я обожаю джемперы из ангорской шерсти, да и цвет ты выбрала самый что ни на есть элегантный.

Не советовал бы тебе шить себе наряды к осеннему

сезону в Нью-Йорке в одном лишь сиреневом тоне. Поищи сочетание зеленого и серого, тебе это пойдет.

Попроси Шульца купить хорошей земли в районе Сан-Антонио, поближе к пляжам. Когда я освобожусь, мы поселимся именно там.

Запрети Фридриксену играть на бирже Цюриха, он не понимает смысла валютных колебаний, потому что далек от политики.

По поводу договора, который мне предложили подписать со «Стил индастри». Пусть его тщательнейшим образом изучат в Чикаго и Детройте. Поручи Шульцу нанять лучших экспертов и адвокатов. Что-то я опасаюсь за судьбу этого предприятия.

Теперь о предложении купить акции журнала «Уорлд ревю». Это интересная идея, но их требование уплатить семьдесят тысяч смехотворно, так им и скажи. Я готов дать двадцать пять тысяч и ни доллара больше. Мне кажется, что дальнейшее развитие синема рано или поздно сделает журналы не очень-то прибыльным делом, а поскольку мне, после отсидки, нельзя будет заниматься политикой впрямую (только для этого нам и нужен журнал), пусть Шульц подумает, кто из наших людей на Холме в нем заинтересован, пусть подскажут имя компаньона, будем обсуждать более предметно.

По поводу отзывов на рассказы несчастного Портера. Я не стал передавать их ему, потому что они слишком жестоки.

Однако он мне пока еще нужен, поэтому ты поступи следующим образом: пригласи одного из юристов нашей фирмы, не лишенного художественного вкуса, и поручи ему посетить одну из крупных литературных контор. Пусть он намекнет там, что эти рассказы написаны таинственным человеком с крайне тяжелым прошлым. Пусть скажет, что если эти рассказы будут напечатаны, тогда в будущем издатели могут рассчитывать на новую сенсацию из тюремной жизни. Думаю, на это клюнут. Но пусть держат язык за зубами, потому что Портер болезненно самолюбив и более всего на свете страшится, как бы кто не узнал, что его судили и что он отбывает срок на каторге. Такой уж он идеалист, ничего не поделаешь.

Да, ни в коем случае не носи в этом месяце жемчуг, плохая примета, если верить китайскому календарю.

Обнимаю тебя!

Твой брат *Карно*».

38

«Дорогой Ли!

Бесконечно признателен тебе за письмо.

Ты не представляешь себе, как мне дороги весточки от тебя, потому что ты единственный, с кем я могу говорить совершенно откровенно. Даже с добрейшими Рочами я вынужден постоянно цензуровать себя, и так я доставил им достаточно горя, надо точно дозировать правду, ибо в противном случае они могут не уследить за собою, и Маргарет это почувствует, а это трагедия, этого нельзя допустить!

Мне все время снится один и тот же сон: Маргарет входит в спальню к миссис Роч, когда та уехала за покупками, открывает ее ларец, где хранятся письма, и читает то, что я прислал из Колумбуса, а не из «Парижа» и «Пекина». Я просыпаюсь в холодном поту и весь день хожу сам не свой.

...Да, помнишь, я писал тебе про супержулика Джо, который поменял свою университетскую филантропию с игорным домом на ловлю матрон по способу «гадание, отвод дурного глаза, гарантированное предсказание будущего»? Он вернулся к нам через три месяца после освобождения: отказался поделиться заработками от своего «колдовского бизнеса» (а они действительно были гигантскими) с местным шерифом, и тот законопатил практику. Его компаньон Эд по-прежнему остался на свободе. Джо в унынии, но я заметил, что после недельного сплина он снова начал посещать библиотеку, — готовит новое коварство.

Банкир Карно, подкупив администрацию, начал устраивать светские рауты с бифштексом и стаканом бургундского. Снова поменял в камере мебель, привезли парижский ампир с купидонами.

...Вчера приводил в чувство двух бедолаг, которых подвергли экзекуции. Одного спас, а второй совсем плох, вряд ли дотянет до завтрашнего дня...

Пиши!

Билл».

39

«Дорогой Билл!

Вокруг твоих новелл, которые я отправил в литературное агентство Хауза, начался бум. Ко мне трижды

обращались оттуда с просьбой сообщить о тебе всякие подробности, дать твой адрес и все такое прочее.

Так что, думаю, дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.

Адрес твой я им, конечно, не дал, мол, автор находится на излечении в санатории под Женевой, там собрались одни боссы и знаменитости, никого видеть не хотят, ни с кем встречаться не желают. Коли, мол, намерены поддерживать с ним связь, то я к вашим услугам.

Они просят прислать им еще несколько новелл. Я сказал, что не премину отписать тебе об этом, пусть ждут. Но верь моему чутью, полоса невезения кончилась. Так что нос кверху! Победа!

Мне не очень-то, честно говоря, понравился тон твоего последнего письма, есть в нем то, что тебе несвойственно, то есть уныние. Как не стыдно!

Наш мир — в отличие от твоего тюремного — больше размером, злее в нравах и подлее в общении; у вас все на виду, твари видны сразу же; у нас, увы, подлец может считаться самым уважаемым человеком, хотя каждому известно, что он есть на самом деле.

Я получил письмо от миссис Роч. Дома все в порядке, Маргарет очень ждет своего папу, который вот-вот вернется из увлекательнейшего путешествия по Азии.

В Питтсбурге ни одна живая душа не знает о твоей истории, так что девочка ограждена от вопросов.

Я написал пару писем в газеты Детройта, Чикаго и Питтсбурга, рассказав им про то, что у меня есть друг, за которого я могу дать любое гарантийное письмо, возвращающийся вскоре из кругосветного путешествия (как ты и предупреждал, я ни словом не упоминаю твою газету «Роллинг стоун»), проведший долгие годы в Аргентине, Бразилии, Гондурасе и Мексике, знающий жизнь юга нашего континента так, как никто другой.

Думаю, умные люди не смогут не заинтересоваться такого рода кандидатурой.

Так что, пожалуйста, не хандри и готовься к активной журналистской деятельности.

Крепко жму руку, твой

Ли Холл».

40

«Дорогой Ли!

Я хотел написать тебе большое письмо, но не смог сесть за стол, хотя дни были относительно спокойные, не было экзекуций, никто не умер в лазарете, раздирая сердце предсмертными криками, и не повесился в камере.

Просто-напросто та девушка, Салли, документы по делу которой я собрал, сошла с ума. Болезнь не поддается лечению, поскольку безумие ее тихое; она сделала себе куклу (из подушки), ходит с нею по камере и поет ей одну и ту же песню про храброго капитана, который вознамерился переплыть все моря, но умер от тоски по своим детям, которых оставил дома. Она поет постоянно, с утра и до ночи, не прерываясь ни на минуту, словно граммофонная пластинка. Ее песня слышна арестантам, когда их выпускают на прогулку. Сначала люди не понимали, в чем дело, а потом в тюрьме началась истерика: «Пусть она замолчит!»

Салли посадили в одиночную камеру без окон. Она никак на это не реагировала. Лицо ее постоянно сосредоточенно, она поет, как работает.

Я допишу тебе позже, меня зовут.

Билл».

41

«Хай, Джонни!

Как дела? Не болит ли твоя рана вечером, накануне дождя? Если бы я не подставил свое плечо под вторую пулю, она б у тебя не болела уже девять лет: на кладбище никому не больно! Как Па? По-прежнему держит на меня зло? Повлияй на него, чтоб он сменил гнев на милость. Я завязал отношения с поставщиками съестного для нашей богадельни, парни имеют с этого дела большие баки, у них связи, я им кое в чем помогаю, они обещали поговорить кое с кем о моем помиловании, так что если б Па поднажал, дело могло б выгореть. Фрэнк написал мне письмецо (целых двадцать семь слов, ну, разболтался!), что его пятилетнее заключение может окончиться на два года раньше, если Па прокрутит все свои судейские связи, особенно с сенатором Марком Ханна, я ж помню, как Па вытащил из тюряги его пле-

мянника, когда тот раздел своих компаньонов по серебряному бизнесу.

Мой здешний приятель банкир Карно скоро выходит на свободу, он бы мог выйти раньше, но дяди в Верховном суде намекнули, что это будет стоить ему пятьдесят тысяч баков, а он жаден, как Иуда Искариот, предпочел отсидеть в своем здешнем будуаре лишних два года, только б не раскошелиться, а гробанул он два миллиона, куда ни крути, деньги.

Я попросил его связаться с тобою, мужик он ловкий, у него тоже есть идеи, как помочь мой пожизненный срок свести к пяти годам, хватит, насиделся!

Билл Портер тоже готовится к свободе. Похудел, глаза запали, это не шутка — выйти из тюрьмы с клеймом на лбу, отверженным. Но держаться он умеет, вот уж что-что, а такого парня я не встречал еще в жизни.

«Давай, — говорит, — Эл, работай! Ты смачно рассказываешь свои истории, пора научиться их записывать, а потом продавать за двадцать баков в воскресный номер газеты». — «Ладно, — отвечаю я ему, — давай. А как?» — «Да проще простого. Расскажи-ка мне, как ты совершил первый налет на поезд». — «Очень просто, — говорю я ему, — надо найти место, где паровоз заправляется водой, но только чтоб это была не многолюдная станция, а разъезд. Берешь на мушку машинистов, сгоняешь их в сторону, велишь поднять руки и начинаешь работать». — «А это что такое, «работать»?» — «Ну как «что такое»? Грабить начинаешь». — «Ты же знаешь, я не грабил, не знаю, как это делается». — «Да проще простого! Идешь в почтовый вагон и берешь баки!» — «А кто-нибудь есть в почтовом вагоне?» — «Как это? Охрана». — «Вооруженная?» — «Конечно, разве охрана бывает невооруженной?» — «А почему же они не отстреливаются?» — «Так ведь мы нападаем, а они обороняются! Кто напал, тот и выиграл». — «Значит, вы стучитесь в дверь почтового вагона, охранники распахивают двери, приглашают вас на чашку чая и передают мешки с золотом?» — «Ну наивный парень, а?! Кто ж добровольно передаст мешки с золотом?! Это только дерьмо отдают добровольно, и то не всегда: начинающий фермер гоняет свое семейство облегчаться на огород, упаси бог, если кто оправится не на его земле, а в сторонке!» Я начинаю ему рассказывать, что приходится довольно настойчиво стучать в дверь почтового вагона, а он свое: «Чем?» — «Как «чем»? Ясное дело,

рукоятью кольта. А еще лучше для начала бабахнуть из сорок пятого под крышу, дырка останется величиною с кошачью голову, впечатляет». — «А если охранники ответят на ваш выстрел своими двумя?» — «Так у них дробовики!» — «Почему?» Как ребенок «почемукает», честное слово, абсолютный несмышленыш в наших делах. Ну, объяснил я ему, что сорок пятый калибр стоит в десять раз дороже дробовика. «А где хранятся деньги?» — «Как где? В сейфе!» — «А ключи?» — «Ключи в банке, куда они везут деньги». — «А как же вскрыть?» — «Очень просто: упираешь кольт в затылок охранника и почтальона, они и трудятся за милую душу, пыхтят с ломом, а потом отдают содержимое». — «А если в сейфе пусто?» — «Плохо тогда дело!» — «Что, надо ждать нового поезда?» — «Ну да, новый поезд придет с полицией, те всех нас перестреляют». — «Так ведь можно убежать?» — «От полиции бежать трудно». — «Почему?» — «Да потому что все полицейские на Диком Западе сами раньше были налетчиками». — «А как же они смогли попасть в полицию?» — «Да проще простого: заложат своих друзей, скрутят ночью, перестреляют самых ершистых, сдадут властям, вот и получают шерифские звезды». — «Ладно, теперь понял, но что ж делать, если в сейфе пусто?» — «Как что? Грабить пассажиров!» — «Так ведь они могут быть вооружены?» — «Они и с револьверами под лавки залезают». — «Почему?» — «Да потому что люди трусы. Если ты распахнул ногой дверь, гаркнул на них, они сразу потекут!» — «А если найдется человек, который выпустит в вас пять патронов?» — «Это, конечно, будет плохо, но ни разу никогда и никто так не поступал. Я ж говорю, трусы». — «Все?» — «Все, кроме женщин». — «Почему?» — «А потому что те любопытные. Им страсть как интересно на живых налетчиков посмотреть». — «Почему?» — «Да потому что ихние мужики, словно тряпки, прими, подай, пшел вон! Им настоящего хочется, чтоб можно было со всей душой подчиняться». — «Почему?» — «Да потому что баба любит сильного, им матрацы не нужны». — «И не стыдно вам было женщин грабить?» Я аж взвился: «Да я никогда их не грабил!» — «Только мужчин?» — «Конечно. Они хитрые, пока мы почтовый вагон шерудим, все свое передают бабам, а те в чулки прячут». — «Ну и как же вы поступали?» — «Чулочки берем, высыпаем содержимое, всякие там золотые челюсти, бумажники с зелененькими и платиновые

часы берем себе, а сережки и обручальные кольца возвращаем женщинам. С извинением». — «Ладно, ограбили вы поезд, а потом что?» — «Как что? Потом надо смываться». — «Смылись. А дальше?» — «Погуляли маленько, и снова надо искать одиноко стоящую водонапорную башню». — «Так ведь у вас после налета много денег. Куда вы их девали?» — «Это нормальному человеку можно обойтись малым, а когда за тобой постоянно гонит полиция, деньги летят направо и налево; где обычный человек за ночевку платит доллар, нашему брату приходится отваливать четвертак. Потом очень много идет на то, чтоб откупаться от полиции». — «А это как?» — «Через третьих лиц... А вообще-то полицейским с нами выгодно работать... Почему они в перестрелке никого из наших стараются не убивать? Потому что невыгодно». — «То есть как это так?» — «Да вы что, ребенок? Все проще простого... Если мы убежали, тогда начинает работать бюрократия, на нас выписывают ордера и пошла погоня...» — «Ну и что? Какая полицейскому выгода от погони?» — «Ну и ну! То есть как это, что за выгода?! Им же деньги дают на это, бесконтрольные деньги! А они берут фиктивные расписки, что, мол, лошадей купили, фураж, проводнику отвалили полтысячи, врачу семьсот... Они не за нами гоняются-то, шерифы распрекрасные, а за своей выгодой, за дармовыми баками...» — «А когда ж налетчик вкушает сладкой жизни?» — «Да никогда! Вся жизнь в бегах... А если и выдается денек-другой погулять, так сил нет, и все время ждешь, что дружок заложит...» — «Значит, ваша профессия менее заманчива, чем смежные с нею?» — «А какие профессии с нею смежные?» А Портер серьезно так ответил: «Ясное дело, какие: политик и биржевой спекулянт...» Ну юморист, а?! Я только вечером, перед сном понял, какой у него ум... Это мы все так считаем: нет ничего легче, чем сочинять всякие там книжонки, а он мне всю душу вытряс своими «почему», прежде чем я смог вспомнить, что такое налет на поезд... А ведь так все было понятно: согнал машиниста, открыл почтовый вагон, прошелся по пассажирам — и давай стрекача...

Так что ты скажи Па, что я, если только он меня выцарапает отсюда, не стану больше грабить поезда, а начну писать рассказы, благо Портер рядом, научит.

Твой брат *Эл Дженнингс*, спасший тебя от верной смерти.

Это я не зря подчеркнул, давай и ты поворачивайся, помоги мне».

42

«Дорогой Ли!

Эти рассказы — последние, которые я решаюсь послать тебе для литературных агентств. Если и эти вернут, то, значит, надо переквалифицироваться в профессиональные карикатуристы, сейчас люди более охотно глядят смешные рисунки, чем читают грустные книги.

Я много думал над тем, каким псевдонимом подписать эти вещи. «Сидней», «Миллер», «Билл бу», «Вилли Билл» настолько приелись литературным агентствам, что надо придумать нечто новое.

Знаешь, впервые я вспомнил отца, когда мне пришлось идти в карцер, а там был один креол, он к тому же плохо говорил по-английски и очень жаловался на боли в печени, но ему сказали, что он симулянт, и заточили в каземат — без хлеба и воды, на двое суток. Он потерял сознание, лежал бездыханный. Его отнесли в мертвецкую и бросили на лед. А утром он стал стонать. Его волосы, черные, с проседью, вросли в лед. Когда мы вытащили его наверх, в лазарет, он скончался. В коптерке я получил ящик с его вещами. Там были носки, старая рубашка, шляпа, проеденная молью, фотография древнего старика с надписью «Дорогому сыну от беспутного Папы, прости меня, мальчик» и оловянное кольцо. Я пошел в администрацию, чтобы узнать домашний адрес креола, но мне сказали, что адреса нет, поскольку он жил с отцом, а тот вскоре после ареста сына умер от голода, так как креол был единственным кормильцем. Оказывается, он работал почтальоном; отец, которого он трепетно любил, страдал запойной болезнью, а в газетах напечатали объявление, что доктор Снайдерз умеет лечить алкоголиков. Креол заимообразно — до получки — взял чей-то денежный перевод на сорок два доллара и отвез отца к доктору Снайдерзу, но тот, конечно, ничего не смог сделать для старика, а сын угодил к нам в тюрьму на двенадцать месяцев и три недели. Он страшно бушевал, кричал и плакал, доказывая всем, что отец умрет без него, единственного кормильца, а надсмотрщики смеялись: «Не кормильца, а поильца!» Из-за того, что он бушевал, страшась за

жизнь отца, ему то и дело давали наказания, а потом стали отправлять в карцер, и все дело кончилось смертью тридцатилетнего человека с густой сединой в курчавых, когда-то черных как смоль волосах.

И вот когда мы закрыли ему глаза и положили в гроб, сколоченный из плохо строганных досок (впрочем, какая разница, в каком гробу лежать?!), я вдруг вспомнил своего отца и мою к нему несправедливость, и мне стало так горько, что нет слов передать. Я вспомнил огромный лоб отца и вечно удивленные глаза, взирающие на мир доверчиво, ищуще и просто! А я по наущению бабушки сжигал его чертежи, а ведь, может быть, он был близок к своему открытию, быть может, он был на грани того нового, что могло дать людям хоть какое-то облегчение в их каждодневном каторжном труде во имя хлеба насущного!

Знаешь, дети редко ценят отцов, они тянутся к женщине, к ее теплу, они ведь неосознанно помнят мать и бабушку с первых дней своих, и нет, им кажется, умнее и сильнее существ на земле, чем женщины. А ведь самые страшные удары судьбы принимают на себя мужчины, именно поэтому так суровы они, так редко ласкают детей, так часто обрушиваются в пьянство. Когда женщине нечем кормить ребенка, она сокрушается о нем лишь, об одном, маленьком, а мужчина чувствует, как разрывается сердце не только за дочь или сына, но и за ту, которая решила стать его подругой. Боль за двоих страшнее, чем боль за одного, тут арифметика, а не геометрия, это понять просто, но понимание это приходит к людям, когда отцов нет в живых уже, сиротство и одиночество.

В первые месяцы моего заключения соседом по камере был Нельсон Грэхэм, он угодил к нам, потому что грабил в аристократических районах, но он стал заниматься этой работой лишь после того, как испробовал все пути, чтобы получить место на службе, а у него было двое детей, и их надо было кормить... Боже, как он плакал по ночам, Ли! Он весь трясся под суконным, пропахшим карболкой одеялом, рвал зубами подушку, чтобы никто не услыхал его слез и не увидел их — в тюрьме такое мало кому прощают, слабого затаптывают, закон выживания, ничего не поделаешь... Когда он получил письмо, что его жена вышла на панель, а детей отдала в приют, он умудрился повеситься на простыне, а у нас такие дырявые и старые простыни, что только можно было диву даваться, как он набрался смело-

сти на такой шаг — останься в живых, сидеть бы ему в карцере пару недель, как пить дать...

А Ричард Прайс?! Он получил бессрочную каторгу за то, что открывал самые надежные сейфы банков, и делал это не оттого, что родился взломщиком, а потому, что нечем было кормить маму. Ты думаешь, это просто — вскрыть сейф?! О, это страшное и кровавое искусство! Прайс спиливал напильником кожу с пальцев и о щ у щ а л ими секреты шифра, понимаешь? Он провел в тюрьме больше пятнадцати лет и уже смирился с мыслью, что здесь и умрет; он был лишен права на переписку — то, что поддерживало Надеждой одних, для него оказалось спасением, потому что он был отрезан от Памяти по своей семье; ему были запрещены свидания, ни одного за пятнадцать лет; даже газет и книг ему не давали — дядя Сэм умеет сурово наказывать тех, кто посягает на святая святых — Ее Величество Собственность! И надо ж было случиться такому, что в здешнем банке дал деру один босс, прихватив с собой ключи от сейфа! Тюремщики пообещали Прайсу свободу, если он вскроет сейф, и подтвердили свое обещание тем, что позволили ему написать письмо домой, и он получил ответ, и мама писала, что ждет его, любит его и верит в его благородство, и Прайс спилил кожу на пальцах и открыл сейф, а его за это отправили не на свободу, а в ледяной карцер. Как он плакал перед смертью, как он рвал грудь своими окровавленными пальцами: «Зачем?! Ну зачем?! Зачем?!» А ведь он пошел на это только во имя семьи, во имя кого же еще?!

Поэтому я долго размышлял, дорогой Ли, чем я могу искупить свою невольную вину перед отцом. Я ведь не только сжигал его чертежи и модели, я ревниво следил за тем, с кем из женщин он раскланивается на улице, ибо память об умершей маме была для меня дороже живого отца. Ах, разве можно выразить все это в письме? Много рассказов потребно для того, чтобы составить некую картину общего, да и получится ли такого рода картина? Кому она по плечу? Наверное, будущие поколения смогут судить о жизни своих предшественников не по романам одного писателя, но по творчеству многих. Даже Христос имел помощников, и правда его времени запечатлелась в их рассказах, столь, казалось бы, одинаковых по сюжету, но таких разных по языку, характерам и стилям!

В нашей жизни существуют два вида борьбы.

Первый: человек видит несправедливость, то, что мешает жить окружающим, что развращает их, унижает и губит. Он восстает против этого каждый день, час, каждую минуту. Он борется со злом так, как только может, всеми способами, ему доступными.

(Если бы я избрал этот путь, я был бы обязан переслать тебе документы о том, как здесь жульничают, покупая хорошую пищу, а заключенным дают помои, выручка — в свой карман; я был бы должен объявить голодовку, пойти в карцер и на экзекуцию, когда казнили Кида; я был бы обязан поднять голос против неравенства даже здесь, когда «банкирам» можно все, обычным бедолагам — ничего, и за это бы мне прибавили срок, и неизвестно, вышел бы я из тюрьмы или нет.)

Второй: человек знает несправедливость, видит все то, что развращает, унижает, оскорбляет людей, но он чувствует в себе силу бороться не с локальным злом, каждодневным и ежечасным, а Огромным, Всеобщим. Такого рода чувствование приходит лишь к тем, кто одарен даром Мелодии, Цвета и Формы или же Слова.

Я рискнул избрать второй путь.

Я пошел во имя этого на временные компромиссы с совестью, ибо мне нужно было выждать и выжить, чтобы отдать всего себя этой моей борьбе.

Не знаю, смогу ли я преуспеть на этом поприще.

Я сделаю все, чтобы смочь.

Теперь о моем псевдониме. Помнишь песенку нашей ковбойской молодости: «Скажи мне, о, Генри!»? Или историю с моим французским коллегой, фармацевтом Оссианом Анри? Я тебе рассказывал о нем, когда мы ехали к границе... Мы ведь тоже звали его на американский манер «О'Генри», экономия времени прежде всего, а фармацевтика — моя детская страсть. И еще: папу звали Олджернон. С нашим языком не соскучишься — пишется «а», читается «о». Олджернон Генри. О. Генри.

Жду ответа с надеждой, а потом — будь что будет.

Твой каторжник Билл, или, если угодно, литератор
О. Генри».

«Колумбус.

Начальнику тюрьмы м-ру Дерби.

Срочно освободите из-под стражи приговоренного к смерти Кида за убийство его друга Боба Уитни. По настоянию репортера газеты «Пост» м-ра Грога было проведено повторное расследование, и оказалось, что Боб Уитни не был утоплен Кидом в реке после ссоры, а сбежал от родителей и в настоящее время проживает в Пенсильвании.

Выдайте Киду пять долларов из бюджета тюрьмы и оплатите билет за проезд к месту проживания.

Прокурор *Дэйв Кальберсон».*

1984 год, Ялта

ВЕРСИЯ IV („НАУЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ")

Апрель был на редкость студеным; по ночам звенели прозрачные заморозки; черные ветви деревьев раздирали холодную голубизну воздуха, словно бы моля о тепле.

Предмет живописи, подумал Маяковский; ветки, как руки; голос не суть важен; «мысль изреченная есть ложь; всегда ли? Тем не менее смысл молитвы сокрыт именно в руках; единственно, видимо, что в человеке до конца истинно, так это жест; наверное, поэтому балет бессмертен.

Он неторопливо размял папиросу, прикурил, тяжело затянулся, подвинул листки бумаги, испещренные выписками из критических статей о нем: «поэт кончился», «гонит строки», «не стихи, а рубленая лапша», «неумение понять новое время», «мастер штампа», «дешевое развлекательство», «саморекламность»...

Набрал номер Яна:

— Хочешь выпить чашку крепкого чая?

— Мечтаю.

— Тогда я ставлю воду на примус.

— Через три минуты буду у тебя.

Через шесть, подумал Маяковский; наверняка встретит кого-нибудь в коридоре, да и регулировщик долго держит пешеходов. Москва помаленьку становится Нью-Йорком; имел ли я право публиковать — «ненавижу Нью-Йорк в воскресенье»? Все-таки, наверное, да, потому что я действительно в воскресенье ненавидел этот город, зато очень любил его в будни. Эльза говорила, что в парижских газетах меня назвали человеком, готовящим русских к ненависти против американцев. Слепота? Неумение читать? Ведь я писал об Америке так, чтобы вызвать к ней симпатию. Мы никогда не умели спорить: «или думай как я, или ты ирод, враг, третьего нет». Барство, как и рабство, не терпит ни личности, ни мнения, ни права на

собственную позицию; в общем-то логично: барство — это неограниченное владение себе подобными, а владеть можно только теми, кто запуган, лишен стержня. Правят рабами... Интересно, кто правит медузами? Есть же и у них главный барин?!

Ян пришел через семь минут, зажмурился:

— Сколько пачек «Герцеговины» выкурил, Влодек?

— Много. Сахар класть?

— Чай с сахаром — это не чай.

— Вчера я говорил с людьми Госиздата... Из текста поэмы они потребовали выбросить «...По приказу товарища Троцкого! — «Есть!» — повернулся и скрылся скоро, и только на ленте у флотского под лампой блеснуло «Аврора». В «Памяти Войкова» просят убрать «Слушайте голос Рыкова, народ его голос выковал, в уши наймита и барина лезьте слова Бухарина — это мильон партийцев слился, чтоб вам противиться...»

Ян допил чай; чашка была маленькой, подарок Лили; поднялся, резко закашлявшись, — весной и осенью страдал чахоточными кровотечениями, с времен первой каторги.

— Одевайте тужурку, поэт, — сказал он. — Здесь невозможно говорить, впору вешать топор.

— Метафора, — отрезал Маяковский. — Это метафора, Ян. А я перестал им верить — истина конкретна. В коридоре есть топор, возьми его и попробуй повесить... Он ударит тебя по ноге, будет больно...

На улице, зябко поежившись, Ян спросил:

— Выписываешь из газет всю ту пакость, что на тебя теперь стали лить?

— Заметил?

— Мудрено не заметить... Если не уберешь те строки, что просят в Госиздате, удары станут еще более сильными.

— Что посоветуешь?

— Замолчать... На какое-то время — во всяком случае... Оглядеться. Мужиковствующих свора не прощает самости... Сейчас они бьются за расширение плацдарма... Ты — конкурент... Талант суверенен и сам назначает себе цену, помнишь? Ты ее назначил двадцать лет назад. И читатель поныне продолжает платить самой высокой ценой, какая только есть на земле, — он знает тебя, Влодек.

— Я привык к укусам критики, черт с ней... Важно другое: отчего молчат те, кто призван быть арбитром?

— Арбитров назначают, увольняют, корректируют... Читатель — главный арбитр... А он уже давно сказал свое слово...

— Полагаешь, главного арбитра нельзя сбить с панталыку? Капля камень точит. Атака против меня еще только начинается.

— Испугался?

Глаза Маяковского сделались яростными:

— Ты плохо говоришь со мной.

— Надо утешать? Уволь. Для этих целей у тебя есть тысячи знакомцев...

— Уже не тысячи. Оказывается, люди удивительно чувствуют, когда дерево начинает трещать под ударом топора... Отбегают загодя...

— Ты не имеешь права сдаваться.

— Поэту нельзя советовать замолчать, Ян. Это несопрягаемые понятия — «молчание» и «поэзия».

— Хочешь, сегодня я побуду с тобой?

— Да.

— Я свободен до трех, потом совещание, я обязан там быть... Но вечером я приду к тебе и посидим вместе... А сейчас пообедаем у Шуры, ладно?

Маяковский недоуменно глянул на друга:

— Когда ты был у Шуры последний раз? Его закрыли. Нет больше Шуриной блинной, заняла контора по утильсырью... Шура оказался буржуем... Из Грузии приехал Бесо, рассказывал, что там теперь негде выпить вина и кофе, и никто не продает лепешек, и на базаре шаром покати... Произошло что-то горестно-неповторимое, Ян... Во имя чего? В Госиздате сказали: «Левый фронт и государственное строительство взаимоисключающие понятия». Вот так-то... «Идея государственности есть центр, никаких шараханий, мужик должен быть п р о т а щ е н сквозь горнило новостроек металлургии». Я возразил: «В свое время товарищ Троцкий предлагал протащить мужика сквозь военно-промышленный труд-фронт, идею отвергли, зачем же ее сейчас реанимировать?» Мне ответили, что я не понимаю настроений бедняцкой массы. Я грохнул: «Не понимаю настроений лентяев и обломовых! Республика Ленина дала равные гарантии всем, только надо учить людей пользоваться правами, добытыми в семнадцатом»...

— Ты сказал: «в Октябре семнадцатого», поэт... Ты был точен в разговоре с ним...

— Что, уже сообщили?

— А ты как думаешь?! Карлики учатся искусству борьбы на колоссах... Ничего, в конечном счете станешь печататься в кооперативных издательствах...

Маяковский покачал головой:

— На каком свете ты живешь?! Кооперативные издательства доживают последние дни... Без санкции РАППа теперь и за границей нельза печататься, — отныне не читатель решает, что ему покупать в лавке, а писательская ассоциация... Будь я уверен, что смогу печататься по-прежнему, разве б...

Маяковский резко оборвал себя; Ян терпеливо ждал окончания фразы; не дождался; нахохленно поднял чахоточные углы-плечи:

— Ударишь по всему, что всех нас гнетет, в поэме «Плохо!»...

— Убежден, что напечатают?

На какое-то мгновение лицо Маяковского сделалось морщинистым, старческим; персонаж Пиросмани: в огромных глазах, обращенных к небу, черные ветки ломались причудливыми сплетениями иссохшихся рук.

— Иногда я думаю, — тихо, с болью сказал он, — что теперь мое место в Париже и Берлине: Арагон, Брехт, Пискатор, Пикассо, Нексе... С ними у меня нет разногласий, во мнениях едины...

Ян снова зябко поежился:

— Отныне выезд за границу будет жестко лимитироваться, Влодек...

— Сколько я помню, при Ленине самым страшным наказанием было лишение гражданства с высылкой за границу, потом уже расстрел...

— Ленин — это Ленин. Но и семинария кое-что значит, — тысяча девятьсот тридцать лет опыта, как ни крути...

Маяковский явственно, до пекущей, изжоговой боли в солнечном сплетении, вспомнил льняную голову Есенина; бедолага, не смог перестроить себя на революцию, я — под нынешнее время; квиты...

— Все чаще мне кажется, — сказал Маяковский, — что мы бессильны помочь грядущим событиям... Мы добровольно положили все свои права на алтарь революции, свято ей веря, но того, кто начал Октябрь, уж нет, а те далече... Нет ничего страшнее ощущения собственной букашистости — отчетливо понимаешь, что беду нельзя предотвратить, как бы ни старался...

...В столовке нарпита было грязно и липко; от радиаторов отопления тянуло холодом — котельная работала по графику, спущенному сверху, а не в зависимости от того, какая на дворе погода; две буфетчицы в грязных халатах о т п у с к а л и кашу, сваренную кусками, — все равно съедят, идти больше некуда.

— Твои недруги, — сказал Ян, ковырнув вилкой перловку, — ищут человека с профессиональным именем, чтобы тот подписал их статью, — «спекулянт от поэзии»...

— Это уж было, — с усталым безразличием откликнулся Маяковский. — «Сочиняет горбатую агитку, чтоб больше платили»... Полонский в «Новом мире» дает два рубля за строчку, а я в нашем ЛЕФе получал двадцать семь копеек, да и то отчислял гонорары в общую кассу — Наркомпрос дотациями не жаловал, у нас ведь со своими не церемонятся, только перед чужими заискивают... Лакейство проистекает от вековечного рабства...

— Влодек, ты обижен и оттого становишься неблагоразумным...

— Благоразумие — позорно...

Маяковский отчего-то вспомнил, как в Доме печати его остановил Василий: «Зачем ты выступил против Булгакова?! Он же талантлив!» — «Испорченное радио, — ответил тогда Маяковский. — Я выступил как раз против того, чтобы запрещали его «Дни Турбиных». Пусть бы пьеса шла у Станиславского, пусть! А то, что мне не нравятся его герои, вполне естественно... Подобные им посадили меня в одиночку... И держали там не день или месяц, Василий... Возьми стенограмму: смысл моего выступления в том, чтобы мерзавцы из реперткома не смели запрещать творчество, — даже то, которое мне не по душе».

В бильярдной на Пименовском, пока маркер Григорий Иванович готовил стол, выкладывая пирамиду, Маяковский достал из кармана письмо, еще раз пробежал четкие, каллиграфически выведенные строки: «Товарищ правительство, членами моей семьи прошу считать... Жаль, что не успел доругаться с Ермиловым...»

Не годится, подумал он в который уже раз; надо переписать. Есть нечто жалостливое в интонации. Выстрел будет в сердце, но ведь его должны услышать те, кто не сможет прочесть мою посмертную волю. Как-никак, наша

матерь Византия, умеем терять неугодное, забывать нежелаемое, переворачивать с ног на голову...

— Владим Владимыч, кто разобьет? — спросил маркер.

Маяковский медленно, словно бы дразняще растягивая время, намелил кий и деловито поинтересовался:

— Сколько дадите форы?

— Пять.

— Десять, — отрезал Маяковский. — Разобью я. Играю на падающего.

И — ударил с оттягом, подумав: «О Пушкине в последние месяцы тоже писали, что выдохся, эпиграммами кололи... Только через двадцать лет снова вспомнили: нет пророка в отечестве своем; крутые мы люди, что имеем — не храним, потерявши — плачем... Плачем ли?»

Пританцовывая, Григорий Иванович обежал огромный стол, приладился, поднялся на мысочки (ботинки парусиновые, в латках, а ведь большие деньги берет, в матрац, что ль, пакует?) и легоньким ударом положил «двенадцатого», выведя свояка к «десятке»; снял и ее; лицо после этого сделалось жестким, недвижным, — человек в тайге, на медвежьей охоте, скрадывает не трофей, а мясо...

Какой ужасный запах сытости таит в себе свежеразделанная туша, сопротивляясь себе самому, подумал Маяковский; голландские мастера писали чуть заветренную натуру, на первый план клали битых птиц в пере, ставили плетеную бутыль и зеленый бокал... Нет ничего холоднее сытости... Почему они так любили натюрморты с тушами? Натюр — морт... Мертвая натура... «Левый фронт искусств не уживается с идеей государственности»... А туши? Ян прав: свора не прощает тех, кто рискнул быть самим собой... Грядет рубанок — все одинаковы, не высовываться! Видимо, талантом коронуют тех, кто покорен и маломощен; какое страшное родилось выражение — «в среднем»...

Наблюдая за тем, как маркер выцеливал «тринадцатого», Маяковский явственно видел лица тех, кто сидел в издательстве на последнем обсуждении его стихов: «Время всяческих «измов» кончилось раз и навсегда! Курс отныне определяем мы, коллектив, а не вы, индивид!»

Как же, повылазили из нор подлипалы и перевертыши после того, как изо всех членов Октябрьского ВРК говорить стали лишь об одном... Рабская угодность

абсолютизма... Как быстра плесень на приспособляемую размножаемость!

Глядя, как Григорий Иванович подкрадывался к «семерке» (если и этот положит, партию не вытянуть), Маяковский вспомнил парижский клуб «Сёркль», куда его привел Арагон; Эльзу не пустили — играть в рулетку и бильярд можно только мужчинам. «Жаль девочку, — сказал тогда Маяковский, — пойдем куда-нибудь, где она сможет посмотреть, как я обыграю всех, кто решится стать против меня». — «Там шары плохие, — ответил Арагон, глядя на Маяковского длинными голубыми глазами, — вы проиграете, зачем, это же обидно! Проигрывать можно только раз в жизни».

Ум — это врожденное, талант — нарабатываемое, подумал Маяковский об Арагоне, стараясь передать тяжелому костяному шару свое острое нежелание видеть его в лузе; он верил, что и вещам можно диктовать волю, не только человеку; лишь людское множество неуправляемо и катит по тому пути, который загодя прочерчен таинственным геометром; фу, гадко, слабость, откуда это во мне?! А откуда в тебе решение у й т и? Ты ведь не хочешь этого, но случилось что-то такое, что выше тебя, неподвластно твоей воле и, видимо, угодно не только тебе одному...

Вспомнил отчего-то, как учил играть на бильярде Лилю; такая тоненькая, а удар резкий, если человек талантлив — он во всем талантлив. Только Лиля чувствовала, как надо красить его рисунки в РОСТе, только она понимала кадр на съемочной площадке, лишь она понимает, что с ним...

Григорий Иванович п е р е т о н ь ш и л, шар волчком завертелся на сукне, конечно, бить его трудно, но все же это шанс; если я положу «семерку», партия будет моей, загадал он. Загадывать на желаемое было его страстью.

«Семерку» он положил с клацем, убойно; легко взял и «пятнадцатого».

— По всему, будем играть последнего шара, — заметил Григорий Иванович.

— Я и его положу, — пообещал Маяковский.

Маркер покачал головой:

— Нет, Владим Владимыч, не положите. В вас мягкость появилась... Вы как словно с большого устатку, а это проигрышное дело. Либо уж надо стать ремесленником,

вроде меня: вас стих кормит, меня — шар, упускать нельзя, оголодаю.

...Как-то Триоле показала ему огромный платан на Монмартре: «Здесь продавала жареные каштаны древняя старуха в рванье, вечно пьяная, с немытыми, седыми патлами; когда она умерла, в ее конуре нашли сто тысяч франков; каждая купюра была пронумерована карандашом; даже в цифрах было заметно, как менялся почерк несчастной, — она торговала пятьдесят три года... Зачем было их нумеровать?»

Но ведь когда меня втолкнули в бутырскую одиночку, подумал Маяковский, а за день перед этим «товарищ Иван» — хотя почему Иван, никакой не Иван, Николай Иванович, Бухарин, — судорожно оглаживая редкие рыжие волосы, горько, словно бы самому себе, говорил нам, что гребень революции спал, надо готовиться к худшему, следует научиться ждать, маневрировать, работать, стиснув зубы, тогда-то ведь было страшнее и хуже?! Тогда ты был молод, ответил он себе, и поэтому верил в то, что завтра обязано быть лучше, чем сегодня. Возраст убивает иллюзии, а может быть — и это еще горше, — надежду; иллюзия — это цирк, надежда — жизнь. Когда я сражался с Северяниным за титул короля поэтов, в этом было рыцарство игры. Нынешнее сражение ведут поэтические бандиты, их не корона волнует, а государственные блага; Карфаген должен быть разрушен; все верно, все возвращается на круги своя.

...Теперь оба — и Маяковский, и Григорий Иванович — осторожно охотились за «девяткой», поскольку «двойка» не интересовала ни того, ни другого, — в «девятке» партия.

Ты положишь ее, сказал себе Маяковский, ощутив тепло, разливающееся по пальцам; они были ледяными с того дня, как он написал письмо и сунул его в карман пиджака, поняв, что отступление теперь невозможно, — игра с самим собою, недостойно; Арагон прав: проигрывать можно только один раз. Ты положишь «девятку», сказал он себе, выйдешь из подвала и позвонишь Николаю Бухарину... А что он сейчас может сделать? Сидит в Наркомтяжпроме, отринут Политбюро, ему еще хуже, чем мне; но почему, почему он не стоял насмерть в борьбе за нэп и кооперацию, это же Ленин, его Завещание...

Маяковский ощущал требовательную собранность; мысль о том, что́ предстоит, каким-то чудодейственным образом исчезла, остался желтоватый шар слоновой кос-

ти на шершавой зелени бильярдного стола, прищур глаза, *совмещение линии между «своим» и «девяткой»*, замысел, что должен стать действом, когда «свой» попадет именно в ту точку «девятки», которая и сообщит удар кия остальной массе шара, и он прочертит единственную возможную — из тысяч возможных — траекторию и окажется в лузе. Но, победив, ты снова станешь думать о том, что в письме надо исправить несколько слов, — именно в словах сокрыта главная тайна, исповедь, призыв... Какое счастье, что не все и не сразу понимают Слово, иначе б Пушкин погиб раньше, и Лермонтов, и Блок.

Целься дольше, сказал он себе, это так важно растягивать каждое мгновение, пока ты принадлежишь себе, а не досужему суду оставшихся.

— Как, Григорий Иванович, — спросил Маяковский, прищурливо глядя на шар, — верно я целю?

— Надо отвечать? Или — промолчу?

— Не хочется врать, — убежденно сказал Маяковский.

— А кому хочется? Ко лжи понуждает дурной закон да собачья жизнь.

— Ну а к правде? Что подвигает человека к правде?

— Горе, — ответил маркер. — Человек лишь в страдании чист, греха бежит...

— Ерунда это, Григорий Иванович. В горе человек слаб и мал, но только в счастье совестлив.

И — забил шар, как и первый, с клацем, когда приказал себе переломить партию. Зачем? Огорчил старика, не надо бы...

Положив на стол кий, закурил:

— В другой раз приду, отыграетесь, тогда и сочтемся...

— Форы больше давать не стану, набрали силу, по хорошему разряду выступаете, Владим Владимыч...

...На площадке возле Камерного театра мальчишки гоняли резиновый мяч; лица одержимые, взрослые; откуда такая испепеляющая тяга к победе? Почему обязательно надо стать первым? Ты жалко подумал, сказал себе Маяковский; нет человека, который бы мечтал быть вторым... Хотя настоящие первые не слишком-то тщатся ухватить зубами призовое место, талант суверенен, все верно, талант сам назначает себе цену, однако с диалек-

тикой не поспоришь; в лидеры, как правило, прорываются середнячки, причем не только в поэзии...

Мальчишки яростно гоняли рваный мяч по пыльной площадке; пронзительно трезвонили трамвайные вагончики, раскачливо гнавшие от Страстной к Никитским, а он неотрывно смотрел на худеньких игроков с пепельными лицами, думая: «А каким было мое детство?»

Впервые он явственно вспомнил себя, — маленького, (на коленях отца), в Варшаве; проезжал зимою; посол Войков пригласил погостить; печи топили так же, как в Кутаиси, — запах детства. С тех пор польская столица с ее рынком Старого Мяста навсегда осталась в нем городом нежной памяти, — охота за сосульками во дворе отцовского дома, катание на санках, валкие сугробы в горах, где так приятно возюкаться до той поры, пока пальтишко не покроется льдом, а из-за пазухи не начнет дымно валить пар.

Какое оно, мое детство?

Маяковский не смог ответить себе, потому что, видимо, детство мальчика кончается со смертью отца... Как сказала эта толстая американка Арагону о двух рассказчиках из Штатов, поселившихся в Париже после войны? Как их зовут? Того, что моложе, кажется, Скотт; а второго, высокого, с фигурой профессионального боксера? Она сказала Арагону именно об этом высоком: «потерянное поколение». Я тоже сейчас оказался «потерянным», странно... «Странно»? Ты подумал «страшно», но не решился сказать это самому себе, ловко подредактировав слово в самый последний миг — перед тем, как оно нашло свои буквы, чтобы объять сущность в окончательную, трудноизменяемую форму...

Нет ничего ужаснее, когда обстоятельства вынуждают человека лгать. Гнусно врать окружающим, но страшней — себе, а ведь я запрещаю себе даже видеть, как годы меняют прекрасное лицо Лили, как появляются мелкие морщинки вокруг ее глаз; начало старения любимой женщины — это и твоя безвозвратность, песня кончилась, настал быт... Эти слова были во мне давно, но только сейчас я не запретил им стать фразой...

...Мальчишки гоняли мяч яростно и молча; Маяковскому показалось, что над площадкой, словно смог, повисло их яростное сопение; ноздри выбелило; и в этом было нечто противоестественное, — хрусткие ноздри изнеженных кокаинистов на лицах оборвышей.

...Когда, попрощавшись с Арагоном и Триоле, он по-

ехал с Таней в «Куполь», рядом с ними за столиком сидели две девушки, и у них были такие же подрагивающие ноздри, и глаза без зрачков — черные дыры в белках.

— Вам страшно жить? — спросила тогда Таня.

— Отчего же?

— Потому что вы не знаете, чего хотите.

— Никто никогда не знает до конца, чего он хочет...

— Здесь перепечатали подборку из статей, которые про вас стали публиковать в Москве... Может быть, вам лучше какое-то время поработать здесь? Те, кто умеет читать, понимают, что́ вы писали, зачем и как...

Он тогда заставил себя улыбнуться, глухо прочитал:

— Мы теперь к таким нежны — спортом выпрямишь не многих, — вы и нам в Москве нужны, не хватает длинноногих...

...Один из мальчишек оторвался от защитников, толпившихся вокруг него, стремительно рванулся через площадку и с маху, озорно играючи и с преследователями, и с самим собой, пульнул мяч что было сил, не думая даже, что неотразимо поразит «ворота», отмеченные двумя белыми кирпичами.

— Гол! — закричал мальчишка истошно и заломил тоненькие руки за голову, — точно так во время дружеского застолья забрасывал руки Нетте. Маяковский испугался поразительного сходства мальчугана с погибшим другом; отчего покойники так прибавляют в росте? Нетте в гробу был огромным, словно я, а ведь при жизни был на полголовы короче... Может быть, мертвый — в таинственный момент перехода в иное состояние материи — сбрасывает тот груз, что так давит живого?

Чаще всего Маяковский вспоминал Нетте в вагоне экспресса «Париж — Москва». Впервые они встретились именно там шесть лет назад; как же летит время, целая вечность.

Возвращаясь из-за границы в прошлом году, Маяковский сидел в купе один; поезд шел полупустой, мимо вымерших станций; дзеньканье хрустального стакана в мельхиоровой подставке еще больше подчеркивало безысходную обреченность и одиночество; он гнал от себя постоянно возникавшее воспоминание о хозяине цветочного магазина на Ваграме — очень быстр, чрезмерно учтив, а в глазах несколько испуганное недоумение; все же западный прагматизм порою приобретает уродливые формы:

«Но, месье, вы даете мне столько денег, что я обязан посылать цветы мадемуазель Тане в течение трех лет... А вдруг я умру? Или обанкрочусь? Не лучше ли вам отдать эти франки в банк и написать поручение? Они тщательно следят за выполнением воли клиента, мсье». — «Вы не умрете и не обанкротитесь, Париж — город цветов, здесь скорее закроют банки, чем ваши магазины».

...Цветы в Париже, на каждом перекрестке цветы, и — словно эйзенштейновский кинофильм — трагичное безлюдье русских полустанков...

Пять лет назад спутник Нетте, конопатый крепыш, поначалу принявший Маяковского в штыки («пусть покажет документы» — «не фолнуйся, Пеття, этто Маякофский, у него есть краснокошая паспортина»), вышел в Орше на перрон и, тогуясь с крестьянами, купил жареного гуся, вареной картошки, соленых огурчиков, шмат сала; привокзальный базар был в ы в а л и в а ю щ и м с я от щедрости, шумным, доброжелательным. Лихо накрыв стол — русский человек легко переходит от привычного недоверия к несколько исступленной доброжелательности, — дипкурьер, потеснившись к окну, примирительно заметил:

— Товарищ Нетте, не сердись, закон есть закон. Коли инструктируют, чтоб мандат был налицо, значит, так надо; без нужды б не стали требовать... А вообще-то я против Маяковского ничего не имею, книжонки у него хорошие, только читать их трудно, стихи какие-то горбоносые...

Маяковский всегда помнил резкую, как удар хлыста, обиду: «книжонки». Он резко распахнул дверь купе, однако Нетте взял его за руку:

— Тофарищ Маякофский, пошалуйста, сять рядом со мною, я хочу рассказать тепе, отчего ты тля меня самый большевистский поэт нашего времени. Я не льщу, я гофорю это как партиец — партийцу.

— Я беспартийный, — ответил Маяковский.

Нетте рассмеялся:

— Этот ты можешь рассказывать на своих выступлениях за границей, там иначе тепе нельзя, а мне зачем врешь? Если ты не партиец, то кто ше?

...Перед отъездом в Москву Маяковский встретился с Цветаевой. Они сели в тихом, совершенно пустом кафе на Сен-Жермене, возле запотевшего окна, за маленький столик.

— Мраморные покрытия, — он постучал длинным пальцем о холодные разводы камня, — приучают людей

думать о смерти даже в минуты застолья. Я так благодарен вам, Марина, я так к вам нежен..

Когда эмиграция восстала против его приезда и выступлений на публике, лишь Цветаева с детским удивлением прилюдно заметила:

— Как стыдно, если грамотные люди зашорены или вовсе не умеют читать... Грешно называть гениального поэта «красным агитатором»... Право литератора верить в то, во что он хочет... Нужно читать слова и строки, а не отвергать великое только потому, что не нравится тема. Несчастные русские люди, мы никогда не научимся демократии...

— Демократия предполагает личностность, Марина, — Маяковский медленно чеканил, словно бы продолжая давно прерванный разговор. — А откуда ей в нас взяться? Сначала иго, потом свое рабство!.. Наши родители еще могли видеть невольничьи рынки... Я потому и бросился в революцию, что свято верил: пришла пора раскрепощения, настало время свободы поступков, родятся мыслящие люди, общественную значимость которых будет определять не банковский счет или место в бюрократической иерархии, но вертикальность собственного достоинства...

Цветаева сделала маленький глоток кофе; она очень красиво держала чашку в неженских, крупных пальцах, и глоток ее был утонченным, потому что он был естествен, как и вся она:

— Слушая вас, я увидела давнишние строки...

— Прочтете?

Она легко согласилась:

— В его лице я рыцарству верна, — всем вам, кто жил и умирал без страху! Такие — в роковые времена — слагают стансы и идут на плаху...

Маяковский, будто смущаясь чего-то, шепнул:

— Прекрасно.

— Когда наши бешеные бились в падучей — «не пускать лазутчика ГПУ в Париж», — я все время видела, как по морям носятся с миноносцем миноносица.. Эти стихи мог написать только очень маленький мальчик с воображением Андерсена... Какой же вы потаенный человек.

...Тот мальчишка, что пульнул первый гол, снова бросился в атаку, но его подло сбили возле ворот; он, од-

нако, не заплакал; поднявшись, огляделся; взгляд его задержался на Маяковском:

— Дядя, все равно не работаете, станьте судьей, а?

— Лучше я буду защитником, — ответил Маяковский и пошел к проходной таировского театра; склонившись к окошечку, где сидел вахтер, спросил:

— Позвольте позвонить с вашего аппарата?

Седая женщина с лицом, изрубленным резкими морщинами, казавшимися серо-коричневыми, ответила:

— Называйте номер, я наберу, аппарат укреплен на столе...

Маяковский назвал телефон Бриков; трубку сняла домашняя работница Паша.

— От Лили Юрьевны ничего?

— Нет, Владимир Владимирович... Ужинать придете?

Ах, как ужасно, что Лили сейчас нет рядом, в который уже раз подумал он, никто мне сейчас так не нужен, как она...

Вахтерша, приняв из его рук трубку, вздохнула:

— Владимир Владимирович, у вас никак жар? Глаза сухие, не простудились ли? На дворе по утрам студено...

— Я здоров, — ответил Маяковский. — Жара нет... Наоборот... Упадок сил, — он вымученно улыбнулся. — Где мы встречались?

— В январе семнадцатого, Владимир Владимирович, в Петербурге, в клубе поэтов, я там была с Трубецким, нас знакомил Эренбург, я баронесса Бартольд, не узнать, поди, время, целых тринадцать лет...

— Кажется, тогда вы переводили норвежскую поэзию? Отчего же здесь, в этой проходной...

— Жду визу, Владимир Владимирович, пока отказывают...

Маяковский вышагивал по бульварному кольцу властно, по-хозяйски; куда ты идешь, недоуменно спросил он себя, и не смог ответить; однако, помимо его сознания, вне логики, упорно и, казалось бы, слепо, он все шел и шел, пока наконец не остановился, ощутив внутри толчок; вот куда я шел, понял он; я шел в начало: именно здесь я прочитал Бурлюку первые стихи, именно здесь Бурлюк вкопанно замер: «Вы — гениальный поэт»...

Бурлюка нет, в Америке... И Верочка Шехтель в Париже, и Наташа Гончарова, и Миша Ларионов... А я —

тут... И то, что сытая критика предрекала мне в пятнадцатом, ныне доделывают молодцы из писательской ассоциации...

Маяковский сухо рассмеялся, испугав бабушку, выгуливавшую внучат; невольно вспомнил себя, прежнего, в Кунцеве, на даче у Шехтелей; декламировал строки Саши Черного: «Когда меж собой поделили наследники царство и трон, то новый шаблон, говорили, похож был на старый шаблон»...

Маяковский вышел с бульвара на трамвайную остановку, вспрыгнул на подножку «аннушки», ощутив, как б у л т ы х н у л с я револьвер в заднем кармане брюк: кончики пальцев сразу же похолодели; в первый раз так было, когда писал «Флейту».

Пересев на «тройку», добрался до Мещанки, остановился возле того дома, где арестовали во второй раз — после того, как устроили побег политкаторжанок из Новинской тюрьмы.

Ты прощаешься с друзьями, понял он, вот почему ноги сами несут тебя по городу; как трогателен был Подвойский, когда позвонил после «Хорошо!»: «Спасибо, что не забыли. Антонов-Овсеенко тоже благодарит... Сейчас не очень-то принято вспоминать полный состав военно-революционного комитета... И достойно то, что вы написали о Троцком, — из песни слова не выкинешь, он был с нами...»

Черт, а ведь когда меня выпустили из Бутырей, я тоже пришел сюда... Только я здоровался с городом, а теперь прощаюсь... Тогда денег на трамвай не было, и ботинки худые, а сейчас туфли от Дижонэ, но револьвер в кармане...

...Странно: человек любит только тех, кого любит, но его самого, как правило, любят совсем другие... Если кто и сможет сохранить обо мне правду, так лишь Лиля. «Володя, почему ты написал: «он к товарищу милел людскою лаской»? — Потому что он был для других. Сначала он отдавал себя и лишь потом брал; «милел» — от понятия «милосердие»...

«Володенька, милый, — услышал он тихий голос, — когда трудно, нельзя быть одному, любовь бережет человека от напасти, ты так нежно пишешь про корабли, — каждый имеет свою гавань, чтоб переждать шторм». — «Не гавань, товарищ мама, а порт приписки», — ответил

он тогда, хотя ответить хотел совсем другое, что я за человек, право?! А как я мог ответить?! Никому невозможно объяснить, как слова, живущие в тебе, постоянно рвут сердце и мозг, требуют строки, строфы, стиха; о, они ненавидят каждого, кто приближается к тебе, становятся вампирами; они, правда, порою принимали Лилю, но и то, верно, потому, что мужняя жена, но не моя... Они Веронику не всегда принимают, Таню не приняли, слова, что во мне, не интересуются славой, заработком, дачей в Кунцеве, машиной марки «рено», шофером Гамазиным; им нужен лишь тот, через которого они вырываются в мир... Но ведь можно запереться у себя, стать тихим и незаметным, чуть не взмолился он; пока еще дверь квартиры остается гарантией отдельности; только ты и лист бумаги... Нет, ответил он себе, жизнь — это обрастание обязанностями и связями; жизнь — это долг...

...На Большом Черкасском, в редакции «Комсомолки», он пробыл недолго; тех, кого любил, не было; вообще-то, единственная газета, хоть как-то помянувшая его выставку,— «Двадцать лет работы», все другие промолчали.

«Братьев» по литературному цеху особенно возмутило то, что он укрепил на стенде письмо Цветаевой: «Дорогой Маяковский! Знаете, чем кончилось мое приветствие Вас в «Евразии»? Изъятием меня из «Последних новостей», единственной газеты, где меня печатали... «Если бы она приветствовала только Маяковского, но она в лице его приветствует новую Россию»... Вот Вам Милюков, вот Вам я, вот Вам Вы... Оцените взрывчатую силу Вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и кому еще найдете нужным. Можете и огласить. До свидания! Люблю Вас».

Ермилов, пришедший на предварительный прием выставки вместе с Авербахом, — вся головка РАППа, — не скрыл удивления:

— Гордиться запиской поэтической кривляки, чуждой революции?! Владимир Владимирович, вам еще работать над собой и работать! Как же вы далеки от пролетарских писателей! По совести прошу: снимите со стенда эту гадость, у вас и так грехов хватает, чтобы добровольно на себя вешать Цветаеву!

— А вы хоть знаете, что произошло в «Евразии»? — набычился Маяковский.

— И знать не хочу, — ответил Ермилов. — Я стихов м а д а м не читал и впредь читать не намерен! Я радуюсь стихам своих, чего и вам желаю... Настало время учиться у молодых орлов, они острее вас чувствуют время... Не взыщите за прямоту, но партия учит нас критике...

Приветствие Цветаевой было для Маяковского наградой. Ломко и прозрачно — ветви деревьев в апрельском небе — она говорила тогда: «Двадцать восьмого апреля двадцать второго года, накануне моего отъезда из России, рано утром на совершенно пустом Кузнецком мосту я встретила Маяковского. «Ну-с, Маяковский, что же передать от вас Европе?» — «Что правда здесь»... Седьмого ноября двадцать восьмого года поздним вечером, выходя из кафе «Вольтер», я на вопрос: «Что же скажете о России после чтения Маяковского?» — не задумываясь, ответила: «Что сила там»...

Маяковский даже зажмурился: клопы полезли изо всех щелей; медленно, слепо, устремленно, неудержимо надвигается безликая масса; кусают в кровь все, что не склоняется перед ними и слепо не славит их безусловную правоту...

Маяковский потер веки; вызеленело; потом пошло черными кругами, — десятки в тире.

— Переработали? Глаза устали? — участливо осведомился Ермилов, заново услышав суховатый низкий голос невидимого ему собеседника, позвонившего вчера в РАПП: «А вам не кажется странным, что беспартийный попутчик Маяковский сплошь и рядом выдвигает такого рода тезисы, которые поначалу следовало бы утвердить? Не надо бы беспартийному футуристу лезть попереД батьки в пекло, обожжет...»

— От работы устают трутни, — глухо ответил Маяковский.

«За что нам такое?» — Маяковский услышал в себе безысходный, отчаянный вопрос, который в последние недели — особенно после окончания его выставки — звучал все чаще и чаще. Ты думал не «нам», поправил он себя, ты думал «мне»... Когда и почему человек начинает корректировать даже те мысли, которые рождаются в нем не для того, чтобы стать строкою?! А может быть, спасение сейчас в том, чтобы думать «нам»? Противуположить банде «литературных заседателей» организацию профессионалов? Разве Горькому не было так же обидно, когда «На посту» напечатал о нем: «Бывший Главсокол,

ныне Центроуж»... А каково Эренбургу? Осе Брику? Ведь статья, посвященная им, называется «Клеветники»? Банда намерена превратить литературных карликов в послушных им «гениев», но ведь такое невозможно, рано или поздно жизнь все расставит по своим местам... А у меня нет сил ждать, когда эта самая жизнь, руководимая научными законами и сонмом комчванских бюрократов, соизволит начать инвентаризацию книжной продукции... Да и ждать, судя по всему, долго...

— Владимир Владимирович, нужен материал о пролетарских писателях Франции, — голос у литсотрудника Гены был не по годам хриплым, — вы кого-то, помню, называли...

— Я материалов не пишу, — ответил Маяковский. — Я пишу поэзию и прозу. А также рекламу — это тоже литература в период торжества «главных управлений по согласованию»...

Гена медленно поднялся со скрипучего, шатающегося стула:

— Это вы так определяете наше замечательное время?!

...Маяковский сразу же вспомнил «Куполь», канун праздника революции, голубоглазого молодого человека с точеным лицом аристократа, размытые сетчатым, теплым ноябрьским дождем фонари на брусчатке Монпарнаса, гулкий шум кафе, слитую разноязыкость, камертон постоянного веселья, серые глаза женщины, сидевшей рядом, ее наполненную тишину и ясную уже им обоим ее от него отдельность, услышал свои слова: «Пусть скажут Арагону, что его приглашает к столу Маяковский» — и счастливое изумление на лице Луи, таком открытом и доверчивом. Арагон сразу же начал рассказывать, какой он чувствует Советскую Россию: «Мечтаю выучить русский».

— Молодец. Без этого можете сломаться, — заметил тогда Маяковский. — У нас умеют пугать те держиморды, кто не хочет учить французский.

— Все равно мы победим! — голос Арагона был ликующим.

Сейчас начнет читать стихи, подумал Маяковский; ошибся; Арагон резко откинул патрицианскую голову: «Вы поэт, сделавший из слова оружие... Вы есть связь между миром и мною... Вы мой символ, отныне я жду в моей жизни высоких перемен!»

Через три дня они увиделись там же; Арагон был с Эльзой Триоле, он познакомился с нею на другой день после разговора с Маяковским; только что написанные стихи прочитал певуче: «Мелькайте в памяти безумства и распутья, ты в ноябре пришла и вдруг исчезла боль и сразу смог на жизнь по-новому взглянуть я, в тот поздний час, в кафе «Куполь»...»

«Вмещаемость», подумал Маяковский. Загадочное слово, странное несовпадение формы и смысла. «Вместительный чемодан», «вмещающее сердце». Пульсирующая мышца, готовая или не готовая к тому, чтобы равно вобрать в себя любовь к отцу, маме, Люде, Оле, Лиде Веронике, Татьяне, Паоло, Осе, Коле, Яну, Николаю Ивановичу, Исааку... Сколь же разны человеческие сердца! А ведь объем крови, пропускаемой ими, одинаков, да и размер — с кулак, не больше и не меньше... Почему одно сердце открыто для нежного вмещения в себя всех а другое отвергает все, что ему не угодно?! Я стал думать длинными предложениями, странно. Молодость — это быстрота; фраза обязана быть краткой, как удар. Неужели те, кто ближе всех, не понимают, что собственничество противно любви? Разве можно делить? Почему на смену любви приходит месть? Жестокость? Как же несовершенен человек, как мал — для тех задач, которые ставит человечество!

...Безответственность живых страшна, но как темна безответственность мертвых! Мое прощальное слово будет читать тот, кто обладает правом трактовки моей мысли... А стрелять надо в сердце... Есть что-то невозможно жестокое, если выстрел разнесет голову... У кого это — «рыжий мозг индивидуалиста»? Ах, да, Пастернак говорил, что у Тихонова лицо «Мексиканца» из Джека Лондона, обидно, что не снимают, у него выразительная воля в облике, а это редкостно: лица людей стерты...

С острым чувством неприязни к себе и одновременно ненавистной ему сосуще-жалостливой тоски Маяковский вспомнил, как на открытие выставки «Двадцать лет работы» принесли его портрет, исполненный на меловой бумаге; на втором листе было напечатано: «В. В. Маяковского, великого революционного поэта, неутомимого поэтического соратника рабочего класса, горячо приветствует «Печать и Революция» по случаю двадцатилетия его творческой и общественной работы».

Единственный журнал — «Печать и Революция» — решил отметить его выставку; он жадно ждал появления

этого номера; успокаивал себя: «Неужели тебе мало известности? Откуда такая болезненность ожидания выхода злосчастного номера?»

Он, однако, логично и собранно отвечал себе, что ныне, когда секретариат РАППа — видимо, с согласия агитпропа, — организовал заговор молчания против его творчества, заговор, который изредка прорывался неуемной бранью тальниковых и ермиловых, появление любого печатного слова о его творчестве, отданном революции, угодно не столько ему, сколько именно революции.

Тем не менее его портрет со статьей вырвали из напечатанного уже номера; хоть бы не говорили заранее, я ж намылился идти благодарить редколлегию, чувствуешь себя скукоженным и беззащитным, как же умеют у нас унижать художника, как умеют ломать тех, кто живет нравственными категориями, не пересекающимися с общинностью рапповских гениев, увешанных лаврами официального благорасположения тех, кому вменено в обязанность руководить творчеством...

Господи, подумал он вновь с тоской, как ужасно, что нет Лили; такая маленькая, а сколько силы.

Вернувшись из Америки, он сказал, что у него в Нью-Йорке родилась дочь; женщина, которую он любил, зовут Элли; с тех пор Лиля стала дружочком; Ося Брик связал жизнь с другой женщиной, но разрушить ту общность, что связывала их, не могли — каждый жил в своей комнате, только стол был общим, стол, за которым собирались друзья Маяковского, значит, и ее...

...Маяковский быстро зашагал на Камергерский, в кафе, что напротив МХАТа, — назначил встречу с Вероникой Полонской.

Любуясь ею, двадцатилетней, с длинными зелеными глазами, нереально красивой, Маяковский всегда вспоминал теплый день прошлой весны, шум на трибунах ипподрома, когда жокей Игорек Сергеенко первым привел своего серого, в яблоках, цельнотянутого Красавчика; муж Вероники, артист Яншин, отправился получать в кассу тотализатора деньги, приз был большой, Красавчика считали «темным», его никто не играл, кроме Маяковского, — он с юмором относился к тем, кто слушал жучков с конюшен и рассматривал коней накануне заезда в бинокль. «Случай, удача, рок, — пыхал он сквозь зажатый мундштук «Герцеговины Флор», — поверьте старому покеристу, Вероника-Норочка». Он тогда устроил веселый обед в «Селекте»; всего год назад, как же быст-

ролетно время, какие прекрасные люди собрались за столом: и Юрий Олеша, и Довженко, и Пастернак, и Мейерхольд с Зиночкой Райх, и затаенно-искрометный Игорь Ильинский, и Ося Брик, и Татлин...

...Маяковский сел в дальний угол кафе, оперся подбородком на тяжелую рукоятку палки, подошедшему половому сказал принести стакан чая, покрепче, три заварки.

Вероника пришла с репетиции замкнутая, отрешенная, — роль не давалась, страшилась показа Немировичу-Данченко.

— Норочка, брось ты этот чертов театр, расстанься с Яншиным, я хочу, чтобы ты жила у меня, подле, всегда...

Он знал, что она ответит; он многое чувствовал загодя, еще до того, как слово было произнесено другим; бедненькая, она до сих пор не решается сказать мне «ты», ни разу не сказала «Володя», а «Владимир Владимирович» — смешно... А может, горько; я стал старым, шестнадцать лет разницы. У меня совсем не осталось сердца, я его всем раздавал — Лиле, Тане, Веронике, Джо, даже нашей той маленькой девушке из Сочи со странным именем Калерия... Как же страшно думать про то, что обо мне станут говорить п о т о м, какое раздолье для любителей сплетен...

Он вспомнил, как Вероника рассказывала, что Олеша, проигравшись на Гендриковом в покер, мелко рвал колоду и посыпал обрывки пиковых королей и трефовых дам на лестнице — от квартиры Бриков до парадной двери; потом, впрочем, тихо прошептал: «Прекрасное название для романа — «Зависть».

Злость искреннего признания все равно талантлива...

Он плохо понимал быстрые слова Вероники, в голове шумело, болел затылок, отчетливо, словно вбитые в мозг, звучали слова тех, кто пришел на вчерашний диспут: «Все, что вы пишете, — демагогия!»; «Вы — «якающий» поэт, в вас нет скромности, свойственной нашему народному характеру!»

Отчего же так злы люди?!

Близко увидел рубленое лицо Пикассо, — на Монпарнасе тогда собрались самые близкие — Леже, Барт, Пикассо, Гончарова, Ладо Гудиашвили, Дягилев, Жак Липщиц. «Я наконец понял вас, поэт Маяковский, — гвоздил Пабло. — Вы большое дитя. Вы изнываете от мечтаний. Вы самый одинокий человек на земле, оттого что самый талантливый — на данном историческом отрезке.

Потом вас сменю я, правда. Конечно, я не скрипка, со мной жить трудно, но если решите пожить нежно, — переселяйтесь из своей «Истрии» в мое ателье»...

Люди проходят мимо самых прекрасных предложений, сделанных самыми нежными друзьями, — почему? Закон воронки, чавкающее засасывание суетой повседневности? Или предопределенность?

— Вы чем-то огорчены? — услышал он наконец Полонскую.

— Я? — Маяковский пожал плечами, презрительно усмехнулся. — А чем можно меня огорчить?

— Почему вы так скрытны? Вы как стена... Постоянно отталкивание. Любовь — это когда знаешь все друг о друге...

Он покачал головой:

— Тогда это не любовь, а протокол допроса, Норочка...

... Лавут, импресарио Маяковского, сразу же бросился на кухню, к примусу:

— Я подогрею бульон, у вас очень грустное и усталое лицо...

— Бульон лечит усталость?

— Конечно! — Лавут несколько даже обиделся такому вопросу. — Куриный бульон — это еврейский стрептоцид! Снимайте пиджак, ложитесь на диван, я вернусь и помассирую вам пальцы...

— Погодите, — остановил его Маяковский. — Я что-то не хочу куриного бульона... Не сердитесь. А вот чаю бы выпил...

— Хм... С чаем не совсем хорошо, но я одолжу у соседей, кажется, у них осталась пара заварок...

— Чем отдадите?

— Как чем?! Бульоном! Прямой обмен, как в семнадцатом! Что революция «снизу», что «сверху», все равно люди сразу же начинают меняться товаром, а не купюрами... Это хорошо, правда?

Маяковский закурил:

— Скажите, вы бы смогли устроить мне турне с чтением новой работы?

Лавут откликнулся не сразу, в глаза не смотрел, слишком суетливо расставлял на столе, покрытом толстой плюшевой скатертью, золоченые фарфоровые чашки:

— И как же определим в афише произведение?

— Поэма «Плохо!»... Критика недостатков республики... Обо всем, что компрометирует революцию, отбрасывает нас вспять, в ужас самодержавной сонливости, обрученной с кичливой коммунистической бюрократией...

— Вы говорите слишком громко, у меня внимательные соседи...

— То, во что веришь, надо говорить громко.

...Лавут занимался переговорами с цирком, который только что поставил феерию Маяковского «Москва горит», посвященную четвертьвековой годовщине восстания на Пресне; поскольку боями руководили те, кого ныне объявили «уклонистами», театры на предложение поэта не откликнулись; выручили старые связи с Дуровым; все же какое это счастье, что традициям тихой покорности противопоставляется дружество! Нигде это так не берегут, как в цирке, — искусство смелых, что канатоходец, что клоун, один бьется, другого сажают, — видимо, все дело в этом...

Маяковский внешне спокойно пережил замалчивание в прессе и этой его новой работы; на премьере, чувствуя на себе скорбный взгляд Лавута, шепнул: «Паша, вон главная оценка моей работы: в третьем ряду, — это дороже всех рецензий». — «При чем здесь третий ряд и рецензии?» — не понял Лавут. В третьем ряду, на седьмом месте сидел Пастернак; лицо пепельное от волнения, длинные пальцы пианиста сцеплены нерасторжимо, в глазах слезы. «Он похож на коня», — вздохнул Лавут, когда Маяковский объяснил ему, что он имел в виду, говоря про «третий ряд». «Каждый из нас по-своему лошадь, — сказал Маяковский. — Самые добрые люди на земле — это лошади. Вообще, дрессированные львы производят жалкое впечатление, — выглядит так, если бы меня приучили заученно кричать: «Да здравствует самый великий стилист мировой литературы пролетариата Кудрейко!» А лошади, заметьте, достойные соучастники представления, и еще неизвестно, кто в е д е т программу — человек или конь».

...Последние недели Маяковский слышал поэму «Плохо!» в каждой своей клеточке, она рвала мозг, — жарко, так что леденели пальцы, слезились глаза, сжималось сердце. Он слышал в себе строки-удары про то, как на ленинскую идею обмена свободным трудом и мыслью началось наступление тотальной регламентированности: «Я» — это гимн индивидуализму!», «На смену выскочкам

от поэзии катит лавина ударников слова!», «Правда за «мы»!». Несчастные, доверчивые люди! Ведь за примат средне-общего, против самовыявления личности тайно борется самое что ни на есть чванливое и царственное «я»! Уничтожить тех, кто живет правдой, то есть мыслью, остальных подмять под свою графическую догму, стать затем надо всеми, — неужели непонятно?!

...Он чувствовал новую поэму каждой клеточкой, но при этом в каждой клеточке его огромного существа жило воспоминание о том разговоре, состоявшемся после того, как был закончен «Клоп». Оно, это унизительное воспоминание, жило в нем отдельно, затаенно, помимо его воли. «А где положительный герой? — пытали его холодноглазые собеседники. — У вас нет противопоставления злу добра, Владимир Владимирович. Вас не поймут трудящиеся!» — «Комедия — не универсальный порошок: клеит и Венеру, и ночной горшок». — «Товарищ Маяковский, вы не Эзоп, вам не дано прятать свои идеи между строками буффонадной комедии... А если вы станете относиться свысока к критике коллег по цеху, мы вас вычеркнем из литературы: в истории есть примеры, когда предписывалось забыть более громкие имена, — ничего, прекраснейшим образом забывали...»

Маяковский с ужасом вспомнил, как после обсуждения «Бани», когда он отказался принять правку, ему сказали: «Что ж, тогда пошлем вашу комедию на рецензию». В ярости он не сразу понял, что это такое. Ему сострадающе заметили: «Не надо гневаться, Владимир Владимирович... Даже в науке это принято — каждую новую идею следует опробовать на оппонентах». — «Вот поэтому мы так и отстаем! Боимся п о с т а в и т ь на смелую идею, не обкатав ее предварительно на старых китах-авторитетах!» — «Обкатать? Это жаргон бильярдного закутка... Или ипподрома... Замахиваетесь на существующее, товарищ Маяковский? Зря. Все существующее ныне — оправданно, целесообразно и — на века!»

— Родной, приляжте, на вас лица нет, — сказал Лавут. — Прошу вас, не отказывайтесь от бульона... Чтобы читать «Плохо!», надо быть сильным...

— А я — сильный, — ответил Маяковский с детской, удивившей его самого обидой. — Человек, который может принимать решения, не очень-то слаб. Ужасно, когда наступает паралич воли. Вот тогда действительно конец, прозябание, жалкость, страх... Слушайте, а за что банда так меня ненавидит, а?

Лавут беззвучно рассмеялся.

— И вы берете в расчет их ненависть?! Они — пигмеи, Володя! Пройдет время, и они исчезнут! А вы уже при жизни бронзовый... Они не могут простить вам того, что вас знают и любят, на вас идут, а про них слыхом не слыхали... Моцарт и Сальери, это же вечное... Только моцартов мало, а сальерями пруд пруди... Вы думаете, они не подкатываются ко мне: «Займитесь концертами пролетарских поэтов»? Ого! Знаете, сколько они сулят процентов со сбора?! В десять раз больше, чем вы! Я не люблю говорить о любви в глаза, но о деньгах надо говорить только так, поэтому я им ответил: «На ваших поэтов я не загоню и мильонной части тех, кто рвется на Маяковского! Процент всегда будет в его пользу!» Так они пригрозили: «Смотрите, закроем вашу нэповскую лавочку!»

— Я позвоню Пастернаку и напишу Ахматовой, чтобы они обсудили с вами их гастроли по Союзу... Будьте им другом... Они — высокие поэты.

— Позвольте мне продолжать работу с Маяковским, пока я жив, ладно?

Маяковский смял лицо рукою; остались красные полосы:

— Позволю...

— Так я подаю бульон, да? Вы себе не представляете, что с вами станет, когда вы покушаете курочки, Володя! Усталости как не бывало! В глазах блеск! Легкая сонливость, переходящая в десятиминутный отдых! И вы снова готовы к бою!

— Паша, — медленно, с трудом рождая слова, сказал Маяковский, — ответьте мне, отчего самые любимые и любящие так непримиримо неуживчивы и эгоистичны в своей любви? Неужели и любовь подобна спорту — как и там необходима крутая полная победа, завершающий гол, верхняя планка?

Лавут вздохнул:

— Берегись любящих.

Ты не ощутишь боли, сказал себе Маяковский; мгновение ужаса перед тем, как палец превозможет сопротивление металла, который разрешит бойку ударить в капсюль, чтобы началась реакция плавящего жара и направленной силы, — а потом спокойствие избавления от постоянной тоски. Ты сделал все, что мог, пусть доделывают те, что идут следом... А смогут? Ну а ты, спросил он себя, ты сможешь продолжать, если порвешь письмо?

Каждый человек должен исповедовать правду, ответь же себе! Когда клопы — методично и кроваво — доказывают, что твое творчество мелко, ненужно и случайно, рифмоплет политики, чуждый заботам простого человека, когда гавани разбиты штормами, каково бороться? Мимикрия не для меня, я не научусь искусству житейского благоразумия, хотя это достаточно простая задача с одним лишь неизвестным, но это неизвестное — совесть... Если бы я все же сел за «Плохо!», я бы написал о тщательно обструганной совести, хотя к такому ужасу очень горько прилагать сладостное слово детства, — в Багдади, у папы, в лесничестве, всегда пахло свежей стружкой, похожей на волосы Вероники.

Мама гордится тем, какой я сильный, а Лиля и Джо, наоборот, боятся: «Ты слишком добр и открыт для удара»... Нет одной правды. Истина многомерна. Фашизм Муссолини начался с того, что от любого человека директивно требовали однозначного ответа на любой вопрос: А разве такое возможно? Это сделка, внутренний торг: «Кого ты больше любишь — папу или маму?»

...Интересно, кто из рапповских борцов за чистоту идеи нашептывает в Кремле про мою «Желтую кофту», страсть к железке, «Пощечину общественному вкусу». «Царь не имеет права подпускать того, на ком есть пятна»... Бедный русский владыка, даже на Солнце есть пятна.

А если уехать в Грузию, подумал он, на какое-то мгновение ощутив себя пловцом, выбившимся из сил. Ах, любимая моя Сакартвело, нежная страна, гордый народ, зачем я так редко приезжал к тебе?!

Он никогда не мог забыть, как Шенгелая, весело рассказывая, как он снимает свою фильму с головоломными трюками, взбросил свое тело гимнаста на перила моста через Куру, выжал стойку и замер, услыхав крик Нато Вачнадзе; она закричала, будто раненая чайка, только грузинки так плачут по любимому. Маяковский невольно вспомнил, как он сам сделался пустым и ватно-бестелесным, когда тринадцать лет назад нажал на спусковой крючок револьвера, но лязгнула осечка...

И совсем другим было лицо Шенгелая, когда он, приехав на Лубянку два года назад, сказал: «Владимир Владимирович, у Ломинадзе есть друзья в Кремле, вас выпустят за границу, идите и оформляйтесь в ассоциацию писателей, туда уже звонили»...

Шенгелая смущался этих слов — грузин должен по-

мочь другу так, чтобы тот не обиделся, ведь помогают только слабым... А теперь Ломинадзе стал «ублюдком», так вроде бы про него сказали... За что? Только потому, что он противится расстрелу нэпа? Но ведь не один он, миллионы этому противятся...

Маяковский открыл новую пачку «Герцеговины Флор», достал папиросу, размял ее в плоских пальцах, но закуривать не стал; не уследив за собою, повторил вслух:

— Противятся? Нет, все кончено, п р о т и в и л и с ь...

А раньше-то я бормотал, только когда сочинял стихи, подумал он; все, конец работе...

Он резко обернулся, словно бы испугавшись чего-то; вспомнил, как ощутил безотчетный ужас, когда ему кричали из залы: «Убирайтесь с вашим ЛЕФом на Запад! Там ваше место, а не на ниве русского искусства!» Он тогда в ярости закричал, что товарищ Бурлюк в Америке выпустил альбом к десятилетию Октября, с портретом Ленина на обложке; кто-то засмеялся: «Он рисовать не умеет, маляр!»

Я тогда впервые дрогнул перед их затаенной, невидимой злобой, подумал Маяковский; они умеют таиться, боятся открытой схватки — рабская привычка молчать сделалась их стратегией замалчивания. Все, что вчуже им, как бы исчезает, растворяется, постепенно заменяется другим; живой еще, ты начинаешь ощущать свою холодную ненужность людям...

...Заседание руководства РАППа проходило на Никольской; секретарь Зиночка сосредоточенно стригла ногти; ручки у нее были аккуратные, но какие-то птичьи, чересчур маленькие; в семье такие женщины обычно становятся деспотами, подумал Маяковский, впрочем, у Александра Македонского тоже были женские руки...

— Что случилось, Зинуля? — спросил он. — Зачем меня зазывали в ковчег?

— Товарищи Авербах и Ермилов просили непременно разыскать вас.

Маяковский прислушался к словам оратора: дверь в кабинете начальства была давно не ремонтированной, пошла щелями: «За Маяковским тащится шлейф футуризма и разнузданность ЛЕФа! Приспособленец, в своих стихах он славил тех, кого мы ныне разоблачили как оппортунистов! Если РАПП уговорился считать осново-

положниками пролетарской поэзии Курочкина и Беранже, будем стоять на этом до конца! Рифмованная политика трескучей агитки нам чужда! А Бабель? Товарищ Авербах прав, утверждая, что так называемое творчество Исаака Бабеля, попавшего в литературу с новаторской лопаты ЛЕФа, есть не что иное, как смакование темного бунта, клевета на русский революционный процесс!»

Ах, Илья Ефимович, Илья Ефимович, детский в своих ломких движениях Репин, как же он был добр ко мне: «Не поддавайтесь тем, кто корит вас беспочвенным новаторством! Б у д ь т е! Я вашей поэзией восторгаюсь. Вы завербовали читателя, вам теперь шавки из критических подворотен не страшны...»

...Голос нового оратора был визгливым: «Поставим заслон буржуйским тенденциям! Гнать из страны концессионных бандитов!» Все возвращается на круги своя; революционные мещане из мужиковствующих так же кидались на Ленина, когда тот ввел нэп: «Предательство революции, сдача позиций, разбазаривание русских земель под иностранные концессии!» «Повторение столыпинских фермеров!»

Маяковский внезапно вспомнил душный июньский вечер в берлинской кнайпе, изможденное, с запавшими щеками, лицо Ходасевича, курившего одну сигарету за другой, белобрысого немца, что-то яростно втолковывавшего соседям по столику; Маяковский попросил перевести.

— Доказывает, что он истинный немец, в седьмом колене, — раздраженно ответил Ходасевич.

«Это здесь очень важно?» — «Он, видимо, симпатизирует Хитлеру, тот прежде всего требует чистоты расы». — «Но ведь над ним потешаются». — «„Союз русского народа“ помните? Он тоже был занят вычислением колен истинной крови своих членов... Дикость? Но сколько же народа ей поддалось, Маяковский! Горестно на мир глядеть неблизорукими глазами»...

А в зале страсти накалялись.

— У меня реплика, — сказал критик Ермилов. — Я заново полистал «Хорошо!», написанную в разгар нэпа: «В полях — деревеньки, в деревнях — крестьяне. Бороды веники. Сидят папаши. Каждый хитр. Землю попашет, попишет стихи. Что ни хутор, от ранних утр работа любá. Сеют, пекут мне хлебá. Доят, пашут, ловят рыбицу. Республика наша строится, дыбится»... Пастораль! А где же классовое расслоение?! Его и в помине

нет у Маяковского! Ему была люба бухаринская идиллия... Или: «Окна разинув, стоят магазины. В окнах продукты: вина, фрукты. От мух кисея. Сыры не засижены. Лампы сияют. «Цены снижены». Стала оперяться моя кооперация». А что пишет Маяковский сегодня? «Уважаемые товарищи потомки! Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне, наших дней изучая потемки, вы, возможно, спросите и обо мне»... Если наш сегодняшний день кажется Маяковскому «окаменевшим говном», а борьба против мужицкого обогащения видится «потемками», будущие поколения о нем не спросят! Вдумайтесь в строки, написанные сегодня, в наши дни, о нас с вами: «Неважная честь, чтобы их этаких роз мои изваяния высились по скверам, где харкает туберкулез, где блядь с хулиганом и сифилис. И мне агитпроп в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас — доходней оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне». Маяковский, ничтоже сумняшеся, при жизни ставит себе изваяние на скверах новостроек, заполненных проститутками и хулиганами! Да где он видел такое?! Почему ему сходит с рук чудовищная клевета на наш прекрасный светлый день?!

А что обо мне наговорят, когда я уйду? Любимая — жена друга; красивая Вероника в поклоне на авансцене — законная с у п р у г а Яншина; Таня, белая эмиграция, ныне — жена барона, и — нежность красного агитатора. Но ведь и это правда. Обидно, если напишут: «запутался». А могут. У нас умеют танцевать на крышке гроба. Ну так останься, взмолился в нем маленький мальчик с губами негритянского трубача и глазами олененка. Ты волен, только ты! Никто же не знает о письме, которое жжет твою грудь! Н и к т о? Значит, я — никто? Или мне все можно? Единственно, в чем человек свободен, так это в решении, принятом наедине с самим собою, — ты, слово, и никого более... Гвоздями слов прибит к бумаге... Если бы в мире не было горя, не существовало бы литературы. Неужели страдание угодно поэзии? Как отвратительно кто-то писал, что Тургенев панически испугался во время кораблекрушения и сулил капитану деньги, если тот пустит его в лодку первым... И никогда, никто не сможет понять его и Виардо — «ведь у Полины были муж и дети!»... А многим ли дано знать, что самое сложное слово на земле — «вмещать»? Сердце Пушкина

вмещало всех, кого он любил, но после того, как его расстреляли, об этом начали писать мемуары... Ах, отчего же нет Лили?! В Берлине еще день, два часа разницы во времени, будь проклята эта ее поездка...

Отстраненно и вминающе Маяковский вспомнил ватное ощущение бессильной ярости, которое сковало тело, когда он пришел с Романом в темный подвал варшавского кабачка, где собиралась богема, заявлявшая себя «фаши а-ля Муссолини»; среди выступавших был эмигрант из Москвы: «Чего стоит трагедия Маяковского?! Русский дворянин, он доверчиво считает, что его самым счастливым днем был тот, когда он встретил Лилю Брик, урожденную Каган; торгаша Давида Давидовича Бурлюка называет учителем и самым близким другом. А ведь именно эти люди по заданию кагала погубили его, оторвав от поэзии! Все эти Брики, Кушнеры, Штернберги и Альтманы растоптали в нем лирика. Конечно же, они, Лиля Каган, Брик, заагентурили его в Чеку, вертят им, как хотят, отбирая гонорары! Он запуган ими, их незримой, страшной властью, он сломан ими, потому-то на смену поэту и пришел холодный сочинитель заказных реклам! Но грядет время, когда история вынесет свой приговор бриковско-бурлюковским изуверам, грядет суд правый и беспощадный, суд национальный, наш суд!»

...Ермилова сменил кто-то незнакомый, грохочущий:

— Я тут взял стенограммку одного из выступлений Маяковского... Какое глумление над искренней, доброй, ищущей крестьянской поэзией! Цитирую: «Вот новое толкование марксизма в журнале «Жернов», где рассказывается о рождении Владимира Ильича, о том, как он искал себе доспехов в России, оных не мог найти, поехал в Неметчину, где жил богатырь большой Карла Марсович, — и после смерти этого самого Марсовича все доспехи его так без дела лежали и ржавели... Ленин пришел и эти Марсовы доспехи надел, и как будто по нем их делали. Одевшись, вернулся в Россию обратно. Тут собирается Совнарком. Как приехал Алеша Рыков со товарищи, а впереди едет большой богатырь Михайло Иванович Калинычев, и вот разбили они Юденича, Колчака. Воротился домой Ильич с богатой добычею и славою»... Конец цитаты... Каково, а?! Это же откровенное издевательство над традициями и историей — как древней, так и нынешней! Или другое, на этот раз о живописи Бород-

ского! Цитирую: «До какой жути, до какой пошлости, до какого ужаса может дойти художник-коммунист... Никакой разницы между вырисовыванием членов государственного совета и работников нашего Коминтерна...»

Жаль, не успею поправить стенограмму, подумал Маяковский; надо было бы перед «государственным советом» вставить слово «царский»; если дело и дальше пойдет, как сейчас, совсем скоро люди просто не поймут, что я имел в виду, отшибут у них память, обрекут на тяжелое незнание правды...

— Я долго не мог понять логику Маяковского, — продолжал между тем оратор. — Однако же разобрался... Кто из пролетарских писателей смеет разъезжать по Москве на собственном автомобиле? Да никто! Кроме Маяковского! Привез из Парижа «рено» серого цвета! И шофера нанял! Личного шофера! Кто из пролетарских писателей позволяет себе вызывающе одеваться во все заграничное? Да никто, — гимнастерка и сапоги! У всех, кроме опять-таки Маяковского! Кто из пролетарских писателей смеет держать при себе разных женщин, арендовать по нескольку жилых помещений? Никто! Кроме Маяковского! Да кто ж он такой, этот Маяковский?! Кто?!

Маяковский достал папиросу, резко сунул в угол рта, сделавшегося за последние месяцы трагичным, начал медленно жевать мундштук.

А если все же завтра утром купить билет и уехать в Сакартвело? — снова подумал он. Паоло встретит на тбилисском перроне, и мы сразу же отправимся в Багдади; синие ели поднимают в небо крутые отвесы скал; тишина будет первозданной, оттого что битое стекло потока рокочет постоянно, он вневозрастен; сколько поколений внимали его гулу? Люди вольны слышать его или нет, потому что он отдает себя всем, хотя принадлежит лишь себе. Только тот, кто хранит в себе тайну, понимает мир. Единственным критиком был Гумилев, потому что сам был поэтом... Нигде так не пахнет по утрам хлеб, сдобренный дымом и хрустящим жаром очага, как в Багдади... Ну и что? Начать все сначала? В тридцать семь лет на смену фонтанной щедрости приходит чавкающее втягивание в самого себя; нет, с н а ч а л а уже не получится, цейтнот... Травля — травлей, это принято в литературе, но кто же так истово желает моей смерти? Словно бы чей-то злой сглаз постоянно внушает: «уйди», «уйди, уйди»...» Какой будет ужас, подумал он, когда люди

научатся направлять приказную волю злодея на души неугодных... Но ведь боли не будет... Я лишь почувствую жаркий удар, тупой и опрокидывающий, ничего рвущего, я даже ничего не успею осознать, — мир цвета сменит неприсутственная черно-белая конкретика.

Маяковский резко поднялся, громыхнул тростью о паркет:

— Зинуля, ноготки стричь вам нужно коротко, послушайте мужчину, который чтит красоту...

Не отрывая глаз от своих маленьких, молочных пальцев, Зина сказала:

— Владимир Владимирович, не обращайте на них внимания... Ведь если у них тутошнюю работу отобрать, они с голоду помрут... А вы гений, в любом месте проживете, с вами все считаются, оттого эти-то и бесятся... А вообще — странно: каждый из них, — она кивнула на дверь, — сам по себе добрый, а как все вместе соберутся... Ужас, — она резко подняла глаза на Маяковского. — Никто в мире так не понимает зависть, как женщина, Владимир Владимирович... Мужчины — большие, обидчивые дети, их постоянно утешать надо, правда?

Маяковский закурил, остановился возле двери и тихо, с болью сказал:

— Так утешьте.

Зина вздохнула:

— Фу, и вы о том же! А мне всегда казалось, что великий и в помыслах чист...

Выходя на улицу, Маяковский устало подумал: «Ужасно, когда за тебя говорят и думают не враги, а свои, — значит, тебе никто не верит».

...Вечером, вернувшись от Катаевых, где много пили, Маяковский ощутил гнетущий, безглазый ужас; позвонил Диме; тот попросил достать лекарство от мигрени; «Я дам рецепт, купишь в Париже, ты ведь катаешь туда, когда хочешь»; мама уснула уже; Чагин был в Баку, он бы пришел или затащил к себе; Петр сказал, что занят, — на самом деле ждал перевыборов в РАППе, не хотел встречаться, знал, как, впрочем, и все, что Ермилов готовит новый залп; время клопов, воистину...

Отошел к окну; ночь была безлюдной; деревья, ли-

шенные из-за поздних холодов почек на ветках-воплях, застыли в молчаливом ожидании...

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне»... Снова вспомнил он пепельнокудрую голову Есенина; все свое приходит в срок; как я понимаю его сейчас... Никто не знает, что было бы, приласкай его кто возле «Англетера»...

Позвонил Яну.

— Влодек, у меня совещание и продлится оно до утра. Не сердись, я не смогу прийти.

— Слушай, пожалуйста, помоги баронессе Бартольд, она вахтерша у Таирова, несчастная женщина, ей не дают визу в Париж.

— Завтра поговорим.

— Хорошо. Непременно. Только ты сейчас запиши на календарике фамилию...

— Ладно.

— Ты не записал, Ян. Забудешь. А я хочу, чтобы ты помнил.

— Имя?

— Баронесса Бартольд из проходной Камерного, этого достаточно...

— Аристократка?

— Да. И это прекрасно!

Маяковский отошел к столу, достал из кармана потрепанный блокнот и быстро записал то, что жило в нем все эти дни: «Уже второй. Должно быть, ты легла. В ночи Млечпуть серебряной Окою. Я не спешу. И молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить... Ты посмотри, какая в мире тишь! Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданью...»

Достав револьвер, он сел к окну: ждать, когда зыбкую высь апрельского неба прорвет первая звезда.

А если сегодня небо будет беззвездным? — спросил он себя. Ведь когда поворачивает на тепло, облака спускаются к земле... Что будет, если пахнёт липким запахом набухающих почек и на смену колючей стуже придет цветение? Ну и что? Все равно через пять месяцев снова грядут заморозки... Только бы минула ночь, наперекор самому себе подумал он; нет ничего тревожнее ночи; затаенность и одиночество... Ведь скоро вернется Лиля... Утром придет Вероника... Ну а днем ударит какая-нибудь газета... Вечером начнут прорабатывать в РАППе... Измываться над всем, что я сделал... Справедливость общества не только в том, чтобы равно распределять хлеб;

доброту тоже надобно уметь делить, доброту, память и благодарность... Если бы я мог начать все сначала... Если бы...

Через тридцать минут после того, как Маяковского не стало, текст его предсмертного письма был распечатан в нескольких экземплярах. Он звучит так:

«Всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.

Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.

Лиля — люби меня.

Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.

Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась о быт.

Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид.

Счастливо оставаться. Владимир Маяковский. 12.4.30.

Товарищи Рапповцы, не считайте меня малодушным. Сериозно. Ничего не поделаешь... Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы поругаться. В. М...»

...Через час в мастерскую поэта вошел Бухарин. Маленький, в потрепанной кожаной куртке, он опустился на колени перед Маяковским и замер, как изваяние; потом не смог сдержать себя — затрясся в рыданиях.

Через три часа руководство Российской ассоциации пролетарских писателей приступило к составлению некролога; было принято решение особо подчеркнуть опасность «апологетического восхваления всего в Маяковском... Его жизнь и творчество были и останутся примером того, как надо перестраиваться и как трудно перестраиваться...»

Через две недели баронесса Бартольд уехала в Париж.

Через семь лет редактором «Литературной газеты» был утвержден Ермилов.

Необходим авторский комментарий:

Через сорок три года после гибели поэта В. В. Воронцов, фактический глава редколлегии, осуществлявшей шеститомное собрание сочинений (в свободное от основной работы время он, будучи помощником М. А. Суслова, пробавлялся литературоведением), круто настаи-

вал на весьма своеобразном комментарии творчества Маяковского. Например, главу о художнике Бурлюке в автобиографии «Я сам» («всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом...») сопроводили следующим пояснением: «Буржуазные толкователи жизни и творчества Маяковского, авторы антиисторических и вульгаризаторских работ «отталкиваются» в своих «исследованиях» преимущественно от слов «прекрасный друг. Мой действительный учитель»... Сторонники «левых» течений также охотно цепляются за эти слова...» Д. Бурлюк «извлекал нужных людей, заготовлял их впрок для использования... Под флагом борьбы с «застоем искусства» Бурлюк с необычайной легкостью озлобленного буржуазного обывателя оплевывал всех лучших представителей русской национальной культуры...»

По-новому комментировалась и другая глава Маяковского: «Радостнейшая дата. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками». Примечание поучающе правит Владимира Владимировича, лишенного возможности ответить, намекает на особость отношений поэта с «Л. Брик, урожденной Каган»; подчеркивается, что «совсем не случайно в автобиографической поэме «Флейта-позвоночник» Маяковский гневно пишет о своей оскорбленной любви: «Сердце обокравшая, всего его лишив».

О лирических стихах в прижизненном, 1928 года собрании сочинений, посвященных Л. Брик, о его письмах к ней, полных нежности, не говорилось ни слова.

В новом, двенадцатитомном собрании сочинений, в редколлегию которого Воронцов пригласил своих «ученых» — единомышленников по «филологии», готовился новый удар по памяти Маяковского. В комментариях к пятому тому уже совершенно открыто, грубо подтасовывалась предсмертная воля Маяковского, отношения Поэта с Л. Брик.

Редколлегия, в частности, намеревалась опубликовать следующий текст:

«...В 1968 году Татьяна Яковлева высказала предположение, что приезд Маяковского к ней в Париж был сорван не без вмешательства Л. Брик, которая имела все основания опасаться, что с появлением Татьяны в Москве она лишится возможности использования Маяковского в своих целях. Татьяна Яковлева не ошиблась в своих предположениях. Нашлись силы, которые сорвали

Маяковскому поездку в Париж за Татьяной. Это явилось большим ударом для поэта...»

Научный комментарий обязан оперировать фактами. Естествен вопрос: каковы были «цели» Л. Брик? Есть ли доказательства, что Т. Яковлева дала согласие на приезд в Москву? Кто представлял «силы», которые сорвали «женитьбу» Маяковского, отказав ему в визе? Почему в комментарии не говорится, что Т. Яковлева уже в 1929 году вышла замуж за французского аристократа?

Почему, наконец, игнорировалась запись беседы Т. Яковлевой (по мужу Либерман), живущей ныне в Нью-Йорке, в которой она подчеркивала, что никогда не собиралась возвращаться в Москву, а тем более выходить замуж за поэта?

Да и вообще, — нравственно ли утверждать, кого Маяковский любил, а кого нет? Допустимо ли игнорировать предсмертное письмо Поэта?

Порядочность разрешает исследовать д о з в о л е н н о е, личное, лишь исходя из тех стихов, выступлений, писем, которые известны читателю; все остальное — подсматривание в замочную скважину, домысел, полицейщина.

Невозможно безапелляционно утверждать — кому отдал сердце Поэт, которая из его подруг была нужна ему больше всех иных; сердце истинного художника — явление особого рода, понять которое дано не каждому.

Переделывание истории, умолчание ее персонажей — есть глумление над правдой. В рассматриваемом случае этому не дал осуществиться Константин Симонов: кощунственный пассаж по отношению к воле Поэта не был напечатан, — воистину преемственность порядочности есть константа, при всей ее трагической пунктирности.

...Поздним вечером, когда сетчатый октябрьский дождь обреченно кропил багряную листву осин, глушил все звуки окрест и делал наш пахринский поселок затаенным, безлюдным, Симонов, безучастно слушая мои слова про то, как Воронцов давит на тех, кто пытается противостоять его одержимой, нездоровой нечистоплотности, посасывал трубку (когда писал — никогда не курил; «впрочем, я не могу отказать себе в стакане красного вина за ужином»), думал, казалось, о своем... Потом, спрятав трубку в карман кожанки, заметил:

— Я знаю об этом... Мне уже звонили... Я всегда обращался только к первым лицам — будь то Сталин, будь Хрущев... Видимо, Суслову писать бесполезно... Обращусь к Брежневу... Речь идет о литературном черносотенстве, открытый вызов...

...Через два дня скромная табличка «т. Воронцов В. В.» была снята с кабинета могущественного «литературоведа»; сам он отправлен на пенсию; кощунственный комментарий купирован...

...А Лиля Брик покончила с собой, завещав развеять свой прах в столь любимом ею Подмосковье, возле Звенигорода.

1985 год, Карловы Вары

СОДЕРЖАНИЕ

Версия I. Смерть Петра 5
Версия II. Гибель Столыпина 125
Версия III. Псевдоним 317
Версия IV. «Научный комментарий» 518

Ю. Семенов

С30 Собрание сочинений: В 8-и томах. Т. 7. Повести. — М.; МШК МАДПР, ДЭМ, 1994. — 559 с.

ISBN 5-85207-038-6

В седьмой том собрания сочинений Ю. Семенова вошли повести, объединенные общим названием «Версии»: «Смерть Петра», «Гибель Столыпина», «Псевдоним», «Научный комментарий».

4702010200—003

Без объявл. ББК 84.3Р7

МШК МАДПР, ДЭМ, 1994

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ
ТОМ СЕДЬМОЙ. ПОВЕСТИ

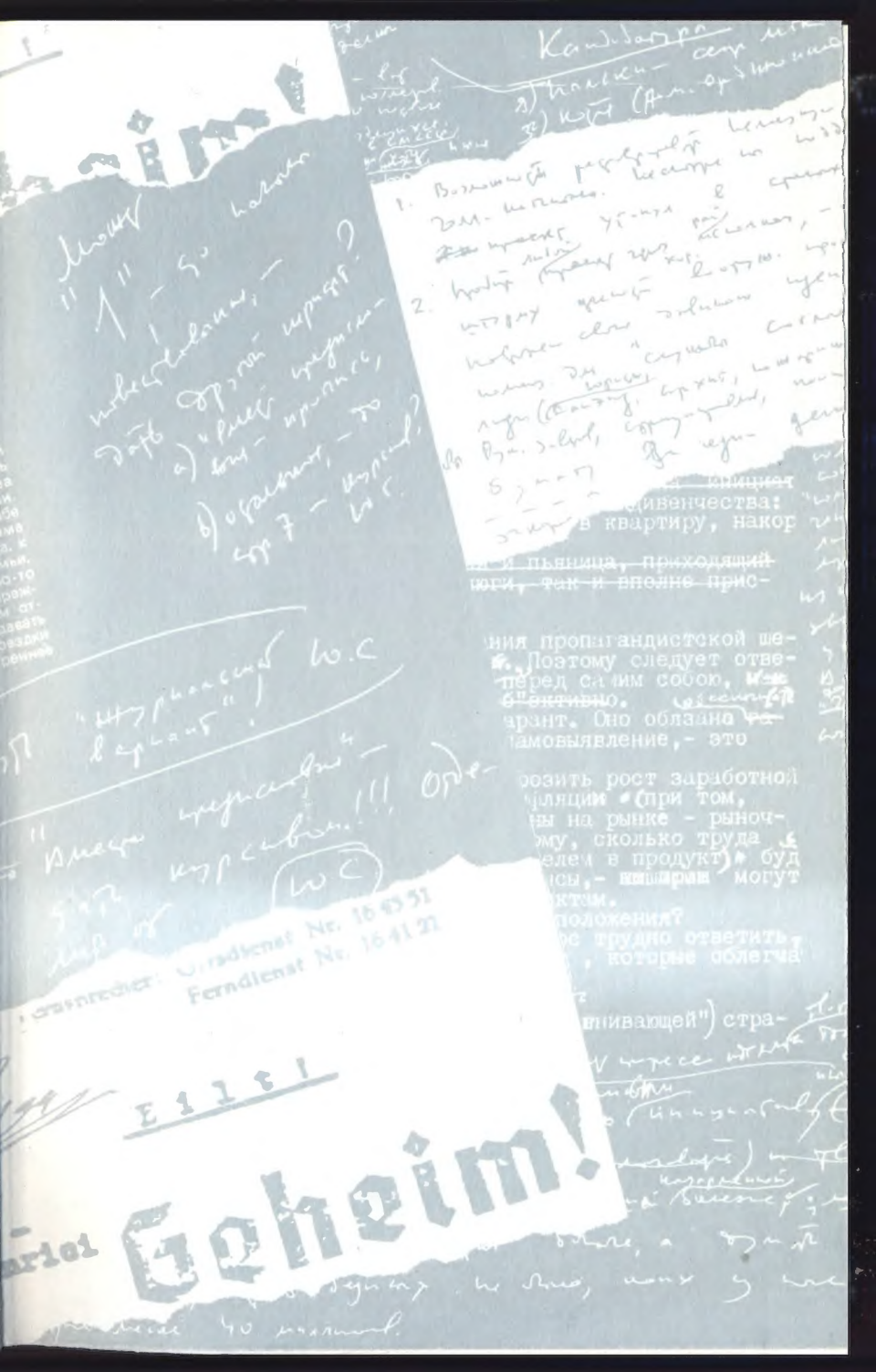
Редактор *И. В. Стабникова*
Оформление художников *В. М. Белякова, В. С. Помочилина, М. Н. Шестопала*
Художественно-технический редактор *Т. К. Койранская*
Корректоры *Т. П. Поленова, А. Л. Курочкина*
НК

ЛР № 090028 от 01.11.91.

Сдано в набор 5.11.91 г. Подписано в печать 5.06.92 г. Формат 84×108/32. Бумага Типографская № 2 Гарнитура Литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт 30,03. Уч.-изд. л. 32,24 Тираж 60 000 экз. Заказ № 550.

117049, Москва, Крымский вал, 9, СП «ДЭМ»

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.


Eilt!
Geheim!